



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.



Тем, что эта книга дошла до Вас, мы обязаны в первую очередь библиотекарям, которые долгие годы бережно хранили её. Сотрудники Google оцифровали её в рамках проекта, цель которого – сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Эта книга находится в общественном достоянии. В общих чертах, юридически, книга передаётся в общественное достояние, когда истекает срок действия имущественных авторских прав на неё, а также если правообладатель сам передал её в общественное достояние или не заявил на неё авторских прав. Такие книги – это ключ к прошлому, к сокровищам нашей истории и культуры, и к знаниям, которые зачастую нигде больше не найдёшь.

В этой цифровой копии мы оставили без изменений все рукописные пометки, которые были в оригинальном издании. Пускай они будут напоминанием о всех тех руках, через которые прошла эта книга – автора, издателя, библиотекаря и предыдущих читателей – чтобы наконец попасть в Ваши.

Правила пользования

Мы гордимся нашим сотрудничеством с библиотеками, в рамках которого мы оцифровываем книги в общественном достоянии и делаем их доступными для всех. Эти книги принадлежат всему человечеству, а мы – лишь их хранители. Тем не менее, оцифровка книг и поддержка этого проекта стоят немало, и поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые меры, чтобы предотвратить коммерческое использование этих книг. Одна из них – это технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас:

- **Не использовать файлы в коммерческих целях.** Мы разработали программу Поиска по книгам Google для всех пользователей, поэтому, пожалуйста, используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- **Не отправлять автоматические запросы.** Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого рода. Если Вам требуется доступ к большим объёмам текстов для исследований в области машинного перевода, оптического распознавания текста, или в других похожих целях, свяжитесь с нами. Для этих целей мы настоятельно рекомендуем использовать исключительно материалы в общественном достоянии.
- **Не удалять логотипы и другие атрибуты Google из файлов.** Изображения в каждом файле помечены логотипами Google для того, чтобы рассказать читателям о нашем проекте и помочь им найти дополнительные материалы. Не удаляйте их.
- **Соблюдать законы Вашей и других стран.** В конечном итоге, именно Вы несёте полную ответственность за Ваши действия – поэтому, пожалуйста, убедитесь, что Вы не нарушаете соответствующие законы Вашей или других стран. Имейте в виду, что даже если книга более не находится под защитой авторских прав в США, то это ещё совсем не значит, что её можно распространять в других странах. К сожалению, законодательство в сфере интеллектуальной собственности очень разнообразно, и не существует универсального способа определить, как разрешено использовать книгу в конкретной стране. Не рассчитывайте на то, что если книга появилась в поиске по книгам Google, то её можно использовать где и как угодно. Наказание за нарушение авторских прав может оказаться очень серьёзным.

О программе

Наша миссия – организовать информацию во всём мире и сделать её доступной и полезной для всех. Поиск по книгам Google помогает пользователям найти книги со всего света, а авторам и издателям – новых читателей. Чтобы произвести поиск по этой книге в полнотекстовом режиме, откройте страницу <http://books.google.com>.

THE
UNIVERSITY
OF CHICAGO
LIBRARY

КОЛЛЕГІЯ
ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА

Б. 16. 70. 825

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE
UNIVERSITY
OF CHICAGO
LIBRARY

КОЛЛЕГІЯ
ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА

§ 16 п. 11 823

1871

Русское
"богатство"

60.
75163.

ОКТАБРЬ.

1901.

КОЛЛЕГІЯ
ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА

РУССКОЕ БОГАТСТВО

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

№ 10.

0-1, 1901



Дав 711 895

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Н. Н. Клобукова, Пряжка, уг. Заводской, д. 1—3.

1901.

AP 50
R 94



Exchange

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 25-го октября 1901 г.

КОЛЛЕГІЯ
ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА ІІ

СОДЕРЖАНІЕ:

	СТРАН.
1. Въ поискахъ. Повѣсть. П. Булыгина. I—IX . . .	5— 34
2. Посадскіе избирательные сходы XVIII столѣтія. А. А. Кизеветтера. Продолженіе	35— 71
3. Вечерняя печаль. Стихотвореніе. О. Чюминой . .	72
4. Фабрика. Стихотвореніе Н. Шрейтера.	73
5. Мечты узника. Стихотвореніе. А. А. Б.	74
6. Фараоновы коровы. Повѣсть. Н. Тимковского. . . .	75—106
7. Субъективный методъ въ социологіи и его философскія предпосылки. В. М. Чернова. Продолженіе. .	107—156
8. У казаковъ (Изъ лѣтней поѣздки на Уралъ). В. Г. Короленко. I—IV	157—199
9. Боевая пѣснь. Стихотвореніе, С. Травникова. . . .	199
10. Отрывки о религіи. Н. К. Михайловскаго. Продолженіе	200—222
11. „Согрѣшихъ“. Романъ. Э. У. Хорнунга. Переводъ съ англійскаго З. Журавской. Продолженіе	223—272
12. Четвертое поколѣніе. Романъ. Вальтера Безанта. Переводъ съ англійскаго В. К—чъ. (Въ приложеніи) Продолженіе	129—176
13. Новые матеріалы для исторіи «Молодой Германіи». П. И. Вейнберга. Окончаніе	1— 36
14. Новыя книги: М. Г. Васильева. Пѣсни сибирячки.—С. С. Будченко. Маленькій букетъ.—С. С. Антоновъ. Сны.—С. Аполлоновъ. Стихотворенія.—Альфредъ Дрейфусъ. Пять лѣтъ моей жизни.—И. Е. Рѣпинъ. Воспоминанія, статьи и письма изъ-за границы.—Ф. Брюнетьеръ. Европейская литература XIX вѣка.—Е. Волкова. Аравія и Магометъ.—Больтонъ Кингъ.	

(См. на оборотѣ).

- Исторія объединенія Италіи. — С. Васюковъ. Цѣлебный край. Кавказскія минеральныя воды. — Восемь лѣтъ на Сахалинѣ. И. П. Миролюбова. — Люди и нравы Дальняго Востока. Г. Т. Мурова. — А. И. Дукмасовъ. Вопросы права и закона. — Новыя книги, поступившія въ редакцію . . . 36— 70
15. **Политика.** Китайскія дѣла. «Либеральныя» вице-короли долины Янтсе. — Юбилей Рудольфа Вирхова. — Текущія событія. С. Н. Южакова. . . . 71— 88
16. **Литература и жизнь.** Предисловіе А. Θ. Кони къ сочиненіямъ Горбунова. «Отзвуки разсказовъ Горбунова», гр. Шереметева. — Нѣсколько словъ о «Молодомъ Москвитинѣ» и «Русскомъ Собраніи» Н. К. Михайловскаго 89—107.
17. **Хроника внутренней жизни:** I. Изъ обывательской жизни. — Владивостокскій полицеймейстеръ и г. Ремезовъ. — Дѣло дворянъ Безмѣновыхъ. — Дѣло редактора «Дальняго Востока» — II. Порядки Астраханскаго реальнаго училища. — III. Правила объ общественныхъ работахъ въ пострадавшихъ отъ неурожая мѣстностяхъ. — Последнія распоряженія относительно печати . . . 107—136
18. **Наша текущая жизнь** (Журнально-газетное обозрѣніе). «Гражданинъ» за три четверти года (съ января по сентябрь включительно). — «Міръ Божій», «Вѣстникъ Европы» и «Русская Мысль» за іюль, августъ, сентябрь. В. Г. Подарскаго . . 137—176
19. **Объявленія.**

Открыта подписка на 1902 годъ.

(X-ый ГОДЪ ИЗД.)

НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

РУССКОЕ БОГАТСТВО,

ИЗДАВАЕМЫЙ

Вл. Г. Короленко и Н. К. Михайловскимъ.

Подписная цѣна:

На годъ съ доставкой и пересылкой.	9 р.
Безъ доставки въ Петербургъ и Москвѣ	8 р.
За границу	12 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ С.-Петербургѣ—въ конторѣ журнала—*ул. Спасской и Васковой ул., д. 1—9*
Въ Москвѣ—въ отдѣленіи конторы—*Никитскія ворота, д. Гагарина.*

При непосредственномъ обращеніи въ контору или въ отдѣленіе, допускается *разсрочка*:

при подпискѣ 5 р.	} или {	при подпискѣ 3 р.
и къ 1-му іюля. 4 р.		къ 1-му апрѣля. 3 р. и къ 1-му іюля 3 р.

Не приславшимъ доплатъ въ означенные сроки высылка журнала прекращается.

Для городскихъ подписчиковъ въ Петербургѣ и Москвѣ безъ доставки (за исключеніемъ книжныхъ магазиновъ и библіотекъ) допускается разсрочка по 1 р. въ мѣсяцъ съ платежомъ впередъ: въ декабрѣ за январь, въ январѣ за февраль и т. д. по іюль включительно.

Книжные магазины, библіотeki, земскіе склады и потребительныя общества, доставляющіе подписку, могутъ удерживать за комиссію и пересылку денегъ только 40 коп. съ каждаго годового экземпляра.

Подписка въ разсрочку отъ книжныхъ магазиновъ, библіотекъ, земскихъ складовъ и потребительныхъ обществъ не принимается.

Изданія журнала „РУССКОЕ БОГАТСТВО“.

СБОРНИКЪ ЖУРНАЛА «РУССКОЕ БОГАТСТВО», подъ редакціей **Н. К. Михайловскаго** и **В. Г. Короленко**. Въ двухъ частяхъ. Часть 1-я. БЕЛМЕТРИСТИКА. Цѣна 2 руб. Часть 2-я. ПУБЛИЦИСТИКА. Цѣна 1 руб.

С. А. Ан—скій. ОЧЕРКИ НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Ц. 80 к.

Н. Гаринъ. ДѢТСТВО ТЕМЫ. *Третье изд.* Ц. 1 р. 25 к.

— ГИМНАЗИСТЫ. Изд. *второе*. Ц. 1 р. 25 к.

— СТУДЕНТЫ. Ц. 1 р. 25 к.

С. Я. Елпатьевскій. ОЧЕРКИ СИБИРИ. Изд. *второе*. Ц. 1 р.

Вл. Короленко. ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ. Кн. 1-ая. Изданіе *девятое*. Цѣна 1 р. 50 к.

— ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ. Кн. 2-ая. Изданіе *четвертое*. Ц. 1 р. 50 к.

— ВЪ ГОЛОДНЫЙ ГОДЪ. Изд. *третье*. Ц. 1 р.

— СЛѢПОИ МУЗЫКАНТЪ. Изд. *седьмое*. Ц. 75 к.

Л. Мельшинъ. ВЪ МІРѢ ОТВЕРЖЕННЫХЪ. Записки бывшаго каторжника. *Т. I. (Изданіе второе):* Въ преддверіи. Шелавскій рудникъ.—*Т. II:* Съ товарищами. Кобылка въ пути Среди сопокъ. Эпилогъ. Цѣна каждаго тома 1 р. 50 к.

— ПАСЫНКИ ЖИЗНИ. Разказы. Ц. 1 руб.

Н. К. Михайловскій. СОЧИНЕНІЯ ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ. Удешевленное изданіе большого формата, въ два столбца, въ 30 печатныхъ листовъ каждый томъ, съ *портретомъ автора*. Ц. 12 р.

— ЛИТЕРАТУРНЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ и СОВРЕМЕННАЯ СМУТА. Два тома, по 2 рубля каждый.

А. О. Немировскій. НАПАСТЬ. Повѣсть изъ временъ холерной эпидеміи 1892 г. Ц. 1 р.

С. Н. Южаковъ. ДВАЖДЫ ВОКРУГЪ АЗИИ. Путевыя впечатлѣнія. Ц. 1 р. 50 к.

П. Я. СТИХОТВОРЕНІЯ. Т. I. Изданіе *четвертое*. Ц. 1. руб. Томъ II. Ц. 1 р.

Подписчики „Русскаго Богатства“, выписывающіе эти книги, за пересылку не платятъ.

СКЛАДЫ ИЗДАНІЙ: въ **С.-Петербургѣ**—*контора редакціи, уг. Спасокой и Васковой ул., д. 1—9.*

въ **Москвѣ**—*отдѣленіе Конторы, Никитскія ворота, д. Гагарина.*

Шесть томовъ соч. Н. К. МИХАЙЛОВСКАГО. Ц. 12 р.

СОДЕРЖАНИЕ I Т. 1) Предисловіе. 2) Что такое прогрессъ? 3) Теорія Дарвина и общественная наука. 4) Аналогическій методъ въ общественной наукѣ. 5) Дарвинизмъ и оперетки Оффенбаха. 6) Борьба за индивидуальность. 7) Вольница и подвижники. 8) Изъ литературныхъ и журнальных замѣтокъ 1872 и 1873 гг.

СОДЕРЖАНИЕ II Т. 1) Преступленіе и наказаніе. 2) Герои и толпа. 3) Научныя письма. 4) Патологическая магія. 6) Еще о герояхъ. 6) Еще о толпѣ. 7) На вѣнской всемірной выставкѣ. 8) Изъ литературныхъ и журнальных замѣтокъ 1874 г. 9) Изъ дневника и переписки Ивана Непомнящаго.

СОДЕРЖАНИЕ III Т. 1) Философія исторіи Луи Блана. 2) Вико и его «новая наука». 3) Новый историкъ еврейскаго народа. 4) Что такое счастье? 5) Утопія Ренана и теорія автономіи личности Дюринга. 6) Критика утилитаризма. 7) Записки Профана.

СОДЕРЖАНИЕ IV Т. 1) Жертва старой русской исторіи. 2) Идеализмъ идолопоклонство и реализмъ. 3) Суздальцы и суздальская критика. 4) О литературной дѣятельности Ю. Г. Жуковскаго. 5) Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Ю. Жуковскаго. 6) Въ перемежку. 7) Письма о правдѣ и неправдѣ. 8) Литературныя замѣтки 1878 г. 9) Письма къ ученымъ людямъ. 10) Житейскія и художественныя драмы. 11) Литературныя замѣтки 1879 г. 12) Литературныя замѣтки 1880 г.

СОДЕРЖАНИЕ V Т. 1) Жестокий талантъ. 2) Гл. И. Успенскій. 3) Щедринъ. 4) Герой безвременья. 5) Н. В. Шелгуновъ. 6) Записки современника. I. Независящія обстоятельства. II. О Писемскомъ и Достоевскомъ. III. Нѣчто о лицѣтрахъ. IV. О порнографіи. V. Мѣдные лбы и вареныя души. VI. Послушаемъ умныхъ людей. VII. Три мизантропа. VIII. Пѣснь торжествующей любви и нѣсколько мелочей. IX. Журнальное обозрѣніе. X. Торжество г. Ціона. чреда образованности и проч. XI. О нѣкоторыхъ старыхъ и новыхъ недоразумѣніяхъ. XII. Все французъ гадить. XIII. Смерть Дарвина. XIV. О доносахъ. XV. Забытая азбука. XVI. Гамлетизированные поросята. 7) Письма посторонняго въ редакцію «Отечественныхъ Записокъ».

СОДЕРЖАНИЕ VI Т. 1) Вольтеръ-человѣкъ и Вольтеръ-мыслитель. 2) Графъ Бисмаркъ. 3) Предисловіе къ книгѣ объ Иванѣ Грозномъ. 4) Иванъ Грозный въ русской литературѣ. 5) Палка о двухъ концахъ. 6) Романическая исторія. 7) Политическая экономія и общественная наука. 8) Дневникъ читателя. 9) Случайныя замѣтки и письма о разныхъ разностяхъ.

Для подписчиковъ „Русскаго Богатства“, вмѣсто 12 р., цѣна 9 руб. безъ пересылки. Пересылка за ихъ счетъ *наложеннымъ платежомъ*—товаромъ большой скорости, посылкой или заказной бандеролью.

Къ свѣдѣнію гг. подписчиковъ.

1) Контора редакціи не отвѣчаетъ за аккуратную доставку журнала по адресамъ станцій желѣзныхъ дорогъ, гдѣ нѣтъ почтовыхъ учреждений.

2) Подписавшіеся на журналъ черезъ книжные магазины—съ своими жалобами на неисправность доставки, а также съ заявлениями о перемѣнѣ адреса благоволятъ обращаться непосредственно въ контору редакціи—*Петербургъ, уг. Спасской и Басковой ул., д. 1—9.*

Книжные магазины только передаютъ подписныя деньги въ контору редакціи и не принимаютъ никакого участія въ экспедиціи журнала.

3) Жалобы на неисправность доставки, согласно объявленію отъ Почтоваго Департамента, направляются въ контору редакціи не позже, какъ по полученіи слѣдующей книжки журнала.

4) При заявленияхъ о неполученіи книжки журнала, о перемѣнѣ адреса и при высылкѣ дополнительныхъ взносовъ по разсрочкѣ подписной платы, **необходимо прилагать печатный адресъ**, по которому высылается журналъ въ текущемъ году, или сообщать его №.

5) При каждомъ заявленіи о перемѣнѣ адреса въ предѣлахъ провинціи слѣдуетъ прилагать 25 коп. почтовыми марками.

6) При перемѣнѣ городского адреса на иногородный уплачивается 1 р.; при перемѣнѣ же иногороднаго на городской—50 к.

7) Перемѣна адреса должна быть получена въ конторѣ не позже 10 числа каждаго мѣсяца, чтобы ближайшая книга журнала была направлена по новому адресу.

8) Лица, обращающіяся съ разными запросами въ контору редакціи или въ Московское отдѣленіе конторы, благоволятъ прилагать почтовые бланки или марки для отвѣтовъ.

Къ свѣдѣнію авторовъ статей.

Не сообщаяціе № своего печатнаго адреса затрудняютъ наведеніе нужныхъ справокъ и этимъ замедляютъ исполненіе своихъ просьбъ.

1) На отвѣтъ редакціи по поводу присланной статьи, а также на случай возвращенія обратно рукописи должны быть приложены марки.

2) Непринятая рукопись, обратная пересылка которыхъ не была оплачена, возвращаются заказной бандеролью съ наложеннымъ платежомъ стоимости пересылки.

3) Рукописи, доставленные въ редакцію до 1899 г. и не востребованные обратно до 1-го ноября 1900 г., уничтожены.

4) По поводу непринятыхъ стихотвореній редакція не ведетъ съ авторами никакой переписки, и такія стихотворенія уничтожаются.

ВЪ ПОИСКАХЪ.

П о в ѣ с т ь .

1.

Послѣ нѣсколькихъ лѣтъ отсутствія Жолнинъ вернулся въ свою запущенную усадьбу. Въ прошлый свой прїѣздъ на родину онъ едва заглянулъ въ дѣдовское гнѣздо, но теперь намѣревался пожить подолѣе. Сторожъ и вмѣстѣ управляющій имѣніемъ Григорій Архиповъ, старикъ огромнаго роста, съ широкими плечами, еще румяный, крѣпкій, одѣтый, не смотря на зажиточность, въ посконную рубаху, одобрилъ Жолнина, услыхавъ, что онъ пробудетъ, быть можетъ, съ годъ въ имѣніи.

— Это, батюшка, Иванъ Миколаичъ, на что лучше, какъ въ своей вотчинѣ жить,—сказалъ онъ, одной рукой почесывая животъ, а другой поглаживая гуменце на головѣ,—полно тебѣ по чужой сторонѣ мыкаться... Здѣсь родители упокоились, здѣсь и тебѣ жить...

Григорій искренно одобрилъ намѣреніе хозяина, хотя, казалось бы, одному ему свободнѣе распоряжаться на усадьбѣ.

Правда, въ самой глубинѣ души старикъ сознавалъ, что не все у него ладно; на примѣръ, безъ вздоха душевнаго сокрушенія онъ не могъ вспомнить о томъ, что построилъ себѣ на деревнѣ пятистѣнную избу изъ барскаго лѣса, снабдилъ срубами отдѣленныхъ сыновей и срубы взялъ оттуда же, да и вообще не очень стѣснялся съ лѣсомъ Жолнина; но, съ другой стороны, кто же не знаетъ на деревнѣ, что дѣдъ Григорій никому иному не позволить сучка взять изъ охраняемыхъ рощъ. Вообще все, что охранялось старикомъ, все было въ цѣлости и сохранности, кромѣ того, что было взято имъ самимъ. Однажды, когда Степка Чужакъ вздумалъ подобраться къ барскимъ яблокамъ, Григорій такъ его избилъ, что Степка чуть не померъ.

Срубы въ счетъ не шли. Лѣсъ Божіе добро; Богъ его растилъ. Грѣха поэтому нѣтъ въ томъ, что Григорій попользуется рощей. А такъ какъ лѣсъ, съ другой стороны, барскій, а старикъ любитъ своего барина, то никто изъ иныхъ прочихъ не смѣй тронуть, а не то старикъ изобьетъ до полусмерти.

Ивана Николаевича Григорій любилъ, но уважать не уважалъ. Жолнинъ былъ для него чудень. Ребенкомъ онъ очень сдружился съ Григоріемъ, и послѣдній все, бывало, дивился, какогомышленнаго сыночка Богъ далъ барину Николаю Аверьяновичу. Подъ конецъ старикъ совсѣмъ привязался къ мальчику, но, когда послѣдній выросъ и самъ сталъ хозяиномъ, то много потерялъ въ глазахъ Григорія. Старикъ на другой же день по прїѣздѣ Жолнина сказалъ ему:

— Дивлюсь я на тебя, Иванъ Миколаичъ, совсѣмъ ты не обстоятельный выходишь человѣкъ.

— Чего ты ругаешься, Архипычъ? — весело замѣтилъ Жолнинъ.

— Я не ругаюсь; я правду говорю. А ругать тебя надоть-бы. Кабы папенька покойникъ всталъ бы изъ могилки, да на тебя поглядѣлъ, задалъ бы онъ тебѣ жару.

— Было бы за что.

— Ужъ онъ бы нашель.. И перво на перво, больно ты простъ. Чего ты, къ примѣру сказать, посадилъ меня съ собой чай распивать?..

— Старость твою почитаю.

— Это ты хорошее слово сказалъ. Это правильно. Старость почитать первое дѣло.. Ну, иначе, и того забывать не слѣдъ, что ты природный господинъ, а я холопскаго роду.. Нѣтъ, что ни говори, прѣстъ ты, Иванъ Миколаичъ..

— Простота моя не проста,—пошутилъ Жолнинъ.

— Ну, гдѣ тебѣ хитрить!.. Не таковскій!.. Ты, поди, и не знаешь, что у тебя есть добра...

— За то ты знаешь.

Старикъ грустно вздохнулъ.

— Это, вотъ, правда. Ужъ я тебя не обижу. Сохраню. А вотъ, пошлетъ Богъ по мою душу, что ты тогда дѣлать будешь? Народъ нонѣ выжига пошелъ, фабричный народъ, воръ-народъ. Другого управителя гдѣ найдешь?

— А много тебѣ годковъ, дѣдъ?

— Мнѣ-то? Да десятковъ съ шесть, чай, будетъ.

Жолнинъ раасмѣялся.

— Это я слышу отъ тебя лѣтъ двадцать.

— Ой-ли? Ну, може, и поболѣ мнѣ. Кто е знаетъ...

— Гляди, правнуки ужъ есть?

— Какъ не быть... Ганька внученокъ парень ловкій и баба

у него ничего, гладкая баба. Четверыхъ народили. Опять же и Матюха... Да и Наркизь намедня на крестины звалъ.

Они помолчали.

— Да,—задумчиво замѣтилъ Жолнинъ,—покойникъ отецъ не чета мнѣ былъ хозяинъ.

— И какой еще хозяинъ!.. На удивленіе...

— А сердитый?

— И-и! бѣды!.. Да и силища же въ емъ была. Одно слово, Ерусланъ.

— Да вѣдь и ты Добрыня.

— Что я? Я, можно сказать, перелъ имъ щенокъ. Одна разсерчалъ, ка-акъ хватить меня по плечу, думалъ вся половина отвалится.

— А дѣда моего помнишь?

— Дѣда? какъ не помнить... И воитель же былъ; не дай Господи во снѣ увидеть..

— Сердитъ?

— Озорникъ былъ, царствіе ему небесное... Чуть что, до смерти запереть... Ну, и на счетъ женскаго естества слабъ...

— Да,—проговорилъ Жолнинъ,—времена-то мѣняются.

— Еще какъ мѣняются-то. Удивленіе! Что было здѣсь за житье! Приволье какое!.. Лѣсовъ-то кругомъ, лѣсовъ!.. Рѣдкій годъ медвѣдь коровъ не драй. Поймаетъ, вымя ей выѣстъ да и пустить... А народъ-отъ какой былъ. Крѣпкій народъ, коренной народъ. Нонѣ все мозглякъ пошелъ; глядѣть не на что...

Хотя Жолнину было всего лѣтъ тридцать, но и онъ припоминалъ, что въ его дѣтствѣ житье въ Дубкахъ было иное. И прежде всего, на порядкѣ онъ всегда встрѣчалъ какихъ-то особенныхъ стариковъ, плечистыхъ, кражистыхъ, узловатыхъ, съ суровыми лицами, могучихъ, какъ тѣ дубы, остатки которыхъ еще уцѣлѣли въ окружавшихъ деревню лѣсахъ. По темнымъ слухамъ эти дѣды не прочь бывали во времена своей молодости выйти на большую дорогу, пролегавшую не вдалекѣ. Быть можетъ, не одна память хранила картины кроваваго дѣла...

Дѣдъ Григорій ушелъ, а Жолнинъ сѣлъ у окна и задумался, переживая воспоминанія своихъ дѣтскихъ лѣтъ. Ему были дороги эти Дубки съ ихъ сѣверной, суровой природой, съ таинственнымъ мракомъ лѣсовъ, которыми была окружена деревня и которые будто надвинулись на нее, будто давили ее. Противъ самой усадьбы начинался безплодный песчаный бугоръ, шаговъ въ триста ширины, а за нимъ подымалась стѣна величаваго, полнаго какой-то тайны сосноваго бора. И куда ни оглянешься, вездѣ лѣсъ и лѣсъ, угрюмый, могучій. Къ вечеру, когда солнце опускалось позади усадьбы,

видъ изъ переднихъ оконъ становился зловѣщимъ. Красныя сосны будто горѣли. Точно пламенемъ покрывались вѣковые стволы, могучіе, взлетѣвшіе подъ облака зелеными вершинами. Здѣсь, въ этомъ затѣненномъ лѣсами затишьи сердце успокоивается, кровь начинаетъ бѣжать тише, ровнѣе. Мысль сосредоточивается въ созерцаніи таинственныхъ, творящихъ силъ природы. Воображеніе рисуешь, что міръ людей, тревожный, смущенный, остался гдѣ-то позади, далеко въ сторонѣ отъ этого уголка, гдѣ жизнь остановилась, и что идти больше некуда. Но здѣсь же и родина грусти; отсюда порой мятежное сердце начинаетъ рваться на просторъ, въ ширь полей, гдѣ видны горизонты, гдѣ люди и страсти...

Здѣсь, въ этомъ уголкѣ протекло дѣтство и юность Жолнина. Первая впечатлѣнія его дѣтской души была та таинственность, которая, казалось, окружала глухую усадьбу. Угрюмый, молчаливый отецъ, робкая, тихая, всегда печальная и тоже молчаливая мать, тишина, царившая въ домѣ, гдѣ слуги ходили неслышной поступью, гдѣ такъ упорно, настойчиво скреблись долгими зимними вечерами мыши, гдѣ по цѣлымъ днямъ не слышать, бывало, человѣческаго голоса. А кругомъ, куда ни достигалъ взоръ, вездѣ лѣса и лѣса, темные, мрачные, таящіе какія-то думы, какую-то тайну, которую они напрасно старались повѣдать въ осеннія и зимнія бури, негодующіе, страдающіе, что нѣтъ у нихъ словъ рассказать эти думы.

Бывало, ребенокъ напряженно прислушивался къ этимъ дикимъ лѣснымъ, къ этимъ скорбнымъ рѣчамъ, и въ душѣ его поднимались картины, образы, смутные, туманные, но чарующіе. Но, если и не было бури, если вершины лѣса стояли неподвижно, будто задремавшія,—все же ребенку казалось, что онъ читалъ въ этомъ величавомъ безмолвіи что-то странное, какую-то повѣсть давно минувшихъ временъ...

Самое сильное впечатлѣніе производили на Жолнина длинные осенние вечера. Въ тѣ темные, унылые вечера послѣдніе проблески жизни замирали въ комнатахъ. Отецъ уходилъ въ кабинетъ и тамъ сидѣлъ за книгами до глубокой полночи. Мать тоже уединялась у себя, молчаливая, грустная, за вѣчной работой, которая такъ спорилась въ ея нѣжныхъ, прекрасныхъ рукахъ. Тогда ребенокъ любилъ уйти потихоньку изъ дѣтской изъ подъ надзора задремавшей няньки, пробраться въ темную столовую и тамъ, дрожа отъ ужаса, навѣвшаго на него темнотой ночи, открыть потихоньку форточку и слушать, затаивъ дыханіе, съ бьющимся сердцемъ, въ упоеніи и сладкомъ забытіи то, что творилось кругомъ.

Гдѣ-то вдали, казалось, за предѣлами міра раздавался одинокій густой вой. Этотъ вой затихалъ, потомъ слышался

снова, но уже ближе. И ему отвѣчали десятки голосовъ въ разныхъ концахъ лѣса. Потомъ голоса приблизились, слышались совсѣмъ уже невдалекѣ, будто на опушкахъ и сливались въ одинъ протяжный и могучій хоръ. Это собирались волки и облегали деревню. Вотъ эти-то пѣсни, такія унылыя, такія безконечно грустныя, превращались въ душѣ мальчика въ мелодіи, которыя навсегда остались для него чѣмъ-то тоскливымъ, но жгуче сладкимъ.

II.

Въ настоящее время Жолнинъ былъ человѣкъ лѣтъ тридцати, хорошо сложенный, мускулистый, но худощавый, сухой, нервный. Его лицо въ черной рамкѣ густыхъ волосъ и небольшой бородки обращало на себя вниманіе огромными черными безъ блеска, задумчивыми, грустными глазами. Въ этихъ близорукихъ глазахъ было что-то мечтательное; казалось, что обладатель этихъ глазъ никогда не глядитъ передъ собой, а всегда за тысячу верстъ впередъ...

Жолнинъ и былъ мечтателемъ, всегда живущимъ въ работѣ отвлеченной мысли. То таинственное, мистическое, что окружало его дѣтство, положило особый отпечатокъ на всю его жизнь. Дѣйствительность не удовлетворяла его; онъ вѣчно былъ въ разладѣ съ самимъ собой, не готовый для жизни реальной, страдающій въ поискахъ высшей правды. Въ жизни онъ былъ ребенкомъ, въ сношеніяхъ съ людьми—слѣпцомъ. Учился онъ много и хорошо, но ничто не удовлетворяло его.

Онъ бросался въ изученіе буддизма, масонства; увлекся одно время оккультизмомъ. Самыя чудовищныя гипотезы находили въ немъ изслѣдователя. Онъ готовъ былъ дойти до астрологіи, хиромантіи, но почувствовалъ, что усталъ отъ этихъ занятій, и оставилъ ихъ. Они не удовлетворяли его, такъ-же какъ не удовлетворяли и болѣе положительныя знанія... А душевный разладъ усиливался... Онъ искалъ „высшей правды“ и душевной чистоты, а страстная натура то и дѣло кидала его въ грязь; онъ стремился къ дѣятельной любви, но дожилъ до тридцати лѣтъ, все еще не выбравъ даже „рода дѣятельности“. Наконецъ, онъ усталъ отъ этого разлада, отъ душевной тревоги и пріѣхалъ въ Дубки обдуматься, сосредоточиться въ себѣ и разобраться...

Онъ жилъ уже нѣсколько дней въ отцовской усадьбѣ и все еще не могъ насытиться тѣмъ сладкимъ и вмѣстѣ тоскливымъ чувствомъ, которое охватило его въ этихъ мрачныхъ, унылыхъ комнатахъ, въ этомъ воздухѣ, среди этихъ угрюмыхъ ландшафтовъ. Старый, потемнѣвшій, съ неоклеенными

стѣнами домъ, такой неуютный, непривѣтливый, заставлялъ его переживать вторично впечатлѣнія грустнаго, молчаливаго дѣтства. Здѣсь все было по старому: тѣ же жесткіе диваны съ вычурно изогнутыми спинками и ножками, посуда съ архаическими рисунками, горка, изъ которой и въ прежнее время невозможно было изгнать какой-то особенный крѣпкій и ѣдкій запахъ, самоваръ удивительной формы, какой уже не встрѣтишь нигдѣ, деревянные, жалобно скрипѣвшія, кровати, стонущія по ночамъ ставни, а, главное, эта угнетающая тишина, которая, казалось, не выйдетъ изъ дома ни при какомъ многолюдствѣ. И все это вмѣстѣ такъ было знакомо, такъ мило и навѣвало такую грусть.

Въ первую же ночь, когда Жолнинъ остался совѣтъ одинъ въ домѣ и когда, потушивъ огни, легъ на скрипящую кровать, ему вспомнилось, какъ онъ мальчикомъ слышалъ, бывало, чьи-то шаги въ комнатахъ. Въ тѣ давно минувшіе дни онъ испытывалъ настоящий ужасъ, оставившій на долго слѣды въ его душѣ. Но и теперь воспоминанія о дѣтскихъ дняхъ были такъ живы, что ему казалось, будто онъ дѣйствительно слышитъ чью-то осторожную, но тяжелую поступь въ дальнихъ комнатахъ. Ему казалось, что послѣднихъ пятнадцати лѣтъ не было, что онъ по-прежнему мальчикъ подростокъ. И, какъ тогда, онъ лежалъ теперь, затаявъ дыханіе, среди мрака и тишины и все слушалъ что-то, все съ тою же, какъ бывало прежде, тоскою сердца. Въ домѣ царила полная тишина и, какъ въ давно прошедшіе годы, она все что-то шептала.

И внѣ дома не слышалось ни единого звука. Селеніе спало; заснулъ и ночной сторожъ, задремали и деревенскія собаки. А въ комнатахъ все кто-то ходилъ тяжелою, мѣрною поступью. Обманъ чувствъ доходилъ до полной иллюзіи. Жолнину начинало казаться, что онъ слышитъ, какъ черезъ двѣ комнаты отъ него шепчеть молитвы передъ сномъ его всегда печальная мать, та бѣдная, робкая женщина-раба, которая провела въ этомъ уныломъ домѣ свою трепетную жизнь жены и матери. Потомъ отецъ, захлопнувъ знакомымъ стукомъ книгу, которую читалъ на ночь, запахнувъ старенькій халатъ, пошелъ дозоромъ по всѣмъ комнатамъ, не исключая и людской, осматривать, всѣ-ли окна и двери заперты, вездѣ-ли потушены огни. И, когда шелъ, все, что было живого въ домѣ, все притаилось, прикинулось спящимъ. Даже собака Миледи и та плотнѣе забивалась подъ столъ и только чуть слышно, съ видомъ рабы, униженной, жалкой, рѣшалась искательно ударять объ полъ хвостомъ.

И Ивану Николаевичу казалось, что онъ, дѣйствительно, слышитъ эти мягкіе удары собачьяго хвоста и, какъ въ тѣ

минувшіе дни, онъ готовъ былъ задать себѣ тревожный вопросъ: зайдетъ-ли сюда, въ дѣтскую отецъ, или не зайдетъ? И готовъ былъ молиться, какъ нѣкогда:

— Господи, прinesi его мимо...

Да, подумалъ онъ, поворачиваясь на другой бокъ, не-легка была жизнь мамы... Да и мое дѣтство—какое было, въ сущности, страшное дѣтство, если я и до сихъ поръ все переживаю эти мучительныя минуты рабскаго страха передъ отцомъ...

Но, какъ ни тяжелы были эти воспоминанія, они заключали въ себѣ что-то такое щемящее и сладкое, что хотѣлось продлить ихъ, страдая и наслаждаясь въ одно и тоже время. Онъ и страдалъ, и наслаждался, обходя заросшій пустынный дворъ, заглядывая въ сарай, гдѣ помѣщалось съ полдюжины старыхъ, никуда не годныхъ тарантасовъ и долгушъ, въ конюшни, когда-то полныя лошадей, а теперь пріютившія лишь одного престарѣлаго мерина, какой-то розовой масти, на задворки, гдѣ виднѣлась покривившаяся баня, а далѣе рига, теперь тоже упраздненная, стоящая, какъ памятникъ минувшаго. А въ старомъ саду, примыкавшемъ съ двухъ сторонъ къ дому, какъ все было знакомо и мило, и какъ все, однако же, измѣнилось. Эти серебристые тополи, эти липы, вязы, акаціи, какъ разрослись они, какъ заполнили все пространство въ загороди. Вотъ она любимая скамья между черными, угрюмыми липами. Въ какой ужасъ пришелъ разъ мальчикъ, набѣжавъ съ разбѣгу на мать, сидѣвшую на этой скамьѣ и горько плакавшую! Съ какимъ воплемъ раненаго сердца бросился онъ къ ней, прижался къ ея плечу и цѣловалъ ее, и плакалъ вмѣстѣ съ ней... Онъ ничего тогда не зналъ, ни о чемъ не догадывался. Онъ только чувствовалъ сердцемъ, что мать несчастна и что причиной ея горя все тотъ же, наводящій на всѣхъ въ домѣ ужасъ, отецъ, этотъ суровый, угрюмый человекъ, на котораго лѣсъ какъ будто набросилъ свою мрачную тѣнь...

Жолнинъ выбрался за околицу и пошелъ по дорогѣ. Шагнулъ черезъ двѣсти онъ поравнялся съ амбарами, совсѣмъ почернѣвшими, покрытыми мохомъ. И съ этими амбарами связано столько воспоминаній, чувствъ жгучихъ и сладкихъ. Какъ-то въ дѣтствѣ онъ подслушалъ разговоръ прислуги, что скотница Авдотья ходила ночью къ амбарамъ гадать и слышала, что въ сусѣкахъ кто-то стонетъ. Этотъ рассказъ глубоко запалъ въ душу ребенка, и еще долго спустя ему даже издали было жутко глядѣть на эти амбары...

Онъ свернулъ въ сторону, миновалъ небольшую куртину березъ и вышелъ къ озеру, которое врѣзалось въ сосновый лѣсъ. Это озеро было особенно дорого ему. Здѣсь онъ провелъ

лучшіе часы своей дѣтской жизни, то катаясь на лодкѣ и изображая изъ себя Куперовскаго краснаго морскаго разбойника, то ловя рыбу. Но и это озеро, вода въ которомъ была совершенно черная, внушало ему, бывало, какую-то мистическую робость. Онъ боялся купаться въ немъ. Ему думалось, что стоитъ опуститься въ воду, какъ она начнетъ засасывать его, потопить, увлечетъ въ бездонную глубину...

Онъ постоялъ надъ неподвижной, мертвой гладью, вздохнулъ почему-то и направился къ дому. Осень уже давала себя знать. Свѣжій, слегка морозный воздухъ былъ чистъ и прозраченъ. На ясномъ, блѣдномъ небѣ горѣло не жаркое солнце.

III.

День проходилъ за днемъ, а Жолнину все еще не хотѣлось выбраться отсюда навѣстить городскихъ знакомыхъ. Онъ былъ точно въ постоянной дремотѣ, переживая минувшее, позабывъ о настоящемъ. Онъ цѣлыми часами просиживалъ въ саду, слушая шелестъ деревьевъ, вглядываясь въ осеннія краски лиственный лѣса, вдыхая ароматъ свѣжаго воздуха. Но наслаждался онъ этими видами, звуками, ароматомъ потому, главное, что любилъ все это, когда былъ ребенкомъ, потому что вторично переживалъ дѣтство.

Когда онъ отрывался отъ этого забытья, то шелъ въ домъ, открывая въ отцовскомъ кабинетѣ книжные шкафы и, присѣвъ за старый письменный столъ, развертывалъ какую-нибудь книгу и съ наслажденіемъ погружался въ чтеніе. Но наслаждался онъ не содержаніемъ книги, а тѣми вновь переживаемыми чувствами, которыя испытывалъ нѣкогда, открывая въ этихъ старыхъ съ пожелтѣвшими листами книгахъ пѣлый новый міръ. Тутъ были и Вольтеръ, и Руссо, и Жоржъ Зандъ, и Кантъ, и Гегель. Но были и Эккартсгаузенъ, и Іоаннъ Массонъ. Здѣсь же стояли номера „Современника“ пятидесятихъ годовъ, „Отечественныхъ записокъ“, „Москвитянина“. Благодаря имъ Жолнинъ познакомился съ Шекспиромъ, Байрономъ, Теккереемъ, Диккенсомъ.

Чѣмъ-то живымъ, юнымъ вѣяло на него въ этомъ угрюмомъ кабинетѣ, среди суровой обстановки. Здѣсь онъ сильнѣе, чѣмъ гдѣ-либо, переживалъ свои юношескія чувства. Послѣднихъ пятнадцати-двадцати лѣтъ не существовало; онъ опять былъ мальчикомъ или юношей, вдумчивымъ, съ неустанной сложной работой въ чуткой, отзывчивой душѣ...

Далекое дѣтство, румяныя зори, таинственные голоса, которые слышались отовсюду: изъ глубины угрюмыхъ лѣсовъ,

изъ темныхъ угловъ стараго дома, съ этихъ полокъ книжныхъ шкафовъ...

Такъ среди мечтательнаго полузабытья и воспоминаній,—подходила поздняя осень.

Жолнинъ всталъ рано утромъ и, наскоро умывшись, вышелъ въ садъ. Солнце еще не показывалось на блѣдномъ осеннемъ небѣ, но уже было свѣтло. День начинался ясный, морозный. Бѣлая, серебристая ткань покрывала крыши домовъ, заборы, озябшую вялую траву. Изъ трубъ прямо вверхъ валили огромные, тяжелые клубы дыма. Слышался крикъ гусей, скрипъ колодцевъ, вся эта бодрящая суета начинающагося рабочаго дня...

Жолнинъ прошелъ черезъ дворъ на зады, чтобы оттуда направиться къ озеру. Сейчасъ же, какъ только онъ миновалъ огромное зданіе скотнаго двора, на него пахнуло запахомъ топившихся овиновъ, а до слуха дошелъ мѣрный стукъ цѣповъ на гумнѣ. А твердая, точно каменная, благодаря морозу, дорога съ сверкающими въ лучахъ поднявшагося солнца льдинками, такъ и манила идти по ней, впивая свѣжій, ароматный воздухъ осени.

И покорный этому призыву, съ наслажденіемъ здороваго, мускулистаго человѣка, Жолнинъ бодро шагаль между озябшихъ озимей по направленію къ озеру. Кровь быстрѣе бѣжала по жиламъ; бодрое, жизнерадостное настроеніе охватывало душу. Онъ понялъ вдругъ, что ему страстно, неудержимо хочется жить. Насладиться бы всѣмъ, что только доступно человѣку. Жить и любить страстной, горячей любовью. Все то, что до послѣднихъ дней наполняло его душу, заставляя усиленно работать мозгъ и сердце: вѣчные вопросы о жизни и смерти, о сущности бытія, о цѣляхъ мірозданія; то усиленное стремленіе поставить себя задачу жизни, понять сердцемъ, что требуется отъ него, какой приказъ получилъ онъ отъ рожденія,—все это отступало на второй планъ передъ новымъ, властнымъ и сложнымъ чувствомъ, въ которомъ пробивалась и жажда любви къ женщинѣ. И онъ почувствовалъ, что сердце его усиленно бьется, и въ воображеніи мелькнулъ знакомый образъ полурепбенка, полудѣвушки...

Его родители издавна были хороши съ семьей Алферовыхъ, которые безвыѣздно проживали въ уѣздномъ городѣ Коневцѣ. Иванъ Николаевичъ еще мальчишкой знавалъ младшую дочь Алферова, Нину, потомъ, уже подростая, видалъ ее часто и дружилъ съ ней, не смотря на значительную разницу лѣтъ. Четыре года тому назадъ онъ заглянулъ на родину, побывалъ у Алферовыхъ и страшно удивился, увидавъ, что Нина почти уже взрослая дѣвушка. Онъ встрѣтился съ ней попріятельски, поговорилъ, вспомнилъ, какъ носилъ ее на

рукахъ, а затѣмъ уѣхалъ и позабылъ про нее. Но въ послѣднее время его мысль все чаще и чаще стала возвращаться къ этому некрасивому, немного нескладному, но веселому и оживленному подростку. И привыкнувъ анализировать каждое свое душевное побужденіе, онъ задавалъ теперь себѣ вопросъ, почему именно эта неграціозная, еще не сформировавшаяся дѣвушка занимаетъ его воображеніе. Онъ встрѣчалъ на своемъ пути не мало красивыхъ, умныхъ женщинъ, но ни одна изъ нихъ серьезно не затронула его сердца. Всѣ связи его были мимолетны, не крѣпки. И никогда еще въ немъ не просыпалась такая жажда любви, чистой, озаренной чувствомъ, какъ теперь. И почему-то мысль его упорно рвалась въ Коневецъ, гдѣ уже навѣрно расцвѣла эта неловкая, некрасивая дѣвочка-подростокъ...

По обыкновенію, Жолнинъ унесся въ мистическія области, пытаясь строить законы „вѣчной логики“, и находя признаки „предопредѣленія“ въ этой необъяснимой склонности.

Почему не допустить, что Нина и онъ были парой въ цѣпи предшествующихъ жизней... И вотъ, смутное воспоминаніе о прошломъ влечетъ ихъ другъ къ другу, и они должны идти за этимъ указаніемъ сердца...

И Жолнину думалось, что онъ улавливаетъ законы бытія... Вѣчная смѣна матеріи, вѣчная эволюція духа. Прогрессъ вездѣ и во всемъ; совершенствованіе матеріи, борьба духа съ плотью и конечная побѣда духа... Жизненное начало, проходя черезъ рядъ организмовъ, ведетъ ихъ къ постепенному совершенствованію; послѣдній этапъ духа въ человѣкѣ...

Развивая эту не вполне ясную ему самому, но пріятно возбуждающую воображеніе теорію, Жолнинъ почти бѣжалъ по твердой, замерзшей дорогѣ. Прядь черныхъ волосъ выбилась и застилала его близорукіе глаза, шляпа съѣхала на затылокъ, шуба распахнулась и холодъ пробирался въ тѣло. Но Жолнинъ ничего этого не замѣчалъ. Онъ дѣлалъ огромные шаги своими длинными ногами, размахивалъ руками и рѣшительно не зналъ въ эту минуту, гдѣ онъ и что съ нимъ. Ему думалось, что именно теперь онъ все понялъ, все разгадалъ!.. Охваченный радостнымъ чувствомъ, остановился онъ, умиленный и взволнованный, среди поля и глядѣлъ на небо мечтательными глазами. Все было полно тишины и покоя, и на небесахъ, и здѣсь кругомъ, на покрытыхъ серебряной ризой мороза нивахъ, въ таинственныхъ, будто думающихъ великія думы лѣсахъ. Да, несомнѣнно, въ природѣ заключена великая тайна мірозданія, его цѣлей и задачъ. И человѣкъ ищетъ разгадки, и хотя мгновеніями, но чувствуетъ ее.

Въ душѣ Жолнина воцарилась въ этотъ мигъ та полная гармонія, которая изрѣдка посѣщаетъ человѣка. Въ этотъ

сладкій и торжественный мигъ любовь наполнила его душу. Онъ любилъ все живущее, и человѣка, cadaго, кто бы ни встрѣтился на его пути, и этотъ лѣсъ, и каждую озябшую былинку, и эти мгlistыя дали, и блѣдное небо поздней осени, и все то, что живетъ за предѣлами земли, все мірозданіе, весь безконечный циклъ сотвореннаго... И ему было непонятно, какъ это люди могутъ ставить себя отдѣльно отъ другихъ по происхожденію, по богатству, по религіи, по націи. Въ этомъ было для него въ то мгновеніе что-то дурное, фальшивое, мертвящее. Какъ не поймутъ люди, что надо любить и любить.

IV

На другой день онъ направился въ городъ на своемъ розовомъ меринѣ. За кучера сидѣлъ сгорбившись въ рваномъ полушубкѣ не отдѣленный сынъ Григорья Пантелѣй, слабогрудый, сумрачный и молчаливый мужикъ лѣтъ сорока пяти.

Казалось, жизнь непосильнымъ гнетомъ давила этого человѣка. Его движенія были усталыя, лицо изнуренное, скорбное. Жолнинъ попробовалъ было разговориться съ нимъ, но Пантелѣй отвѣчалъ такъ нехотя, что разговоръ поневолѣ прекратился. И только, когда имъ попался навстрѣчу мужичокъ изъ Дубковъ, везшій въ высокой плетеной корзинѣ двѣ четвертныя бутылки водки, Пантелѣй вдругъ оживился, изъ всѣхъ силъ натянулъ возжи, останавливая лошадь, и закивалъ головой на встрѣчнаго:

— Ивану Иванычу... тпру, ты окаянная!.. водочки, никакъ купилъ...

— Водки, Григорычъ, водки, — равнодушно отвѣтилъ встрѣчный, медленно двигаясь своей дорогой.

— На праздникъ, видно, купилъ?

— На праздникъ; извѣстное дѣло, на праздникъ.

Онъ былъ уже позади тарантаса Жолнина, и Пантелѣю приходилось избочениться, чтобы продолжать разговоръ.

— Ужъ безъ вина прямо дѣло не обойдешься... Полведра видно, купили?

— Да ужъ, видно, такъ...

— Но-о! ты!.. что сталъ, окаанный... Вотъ я-те вытяну!... Эко проклятуящая лошадь!.. Но-о!.. Ужъ гдѣ безъ винца на праздникъ... Ужъ праздникъ, извѣстное дѣло, винца желаетъ... Вонъ и мы намедни ведро взяли... Но-о! трогай!..

И онъ опять погрузился въ прежнюю апатію, сонный, вялый, будто пришибленный судьбой...

Пріѣхавъ въ городъ, Жолнинъ прежде всего направился къ Алферовымъ. Но тамъ никого не оказалось дома, и онъ

прошелъ къ зятю Алферова, отставному полковнику Риттеру. Онъ очень любилъ этого человѣка, хотя и признавалъ его безчисленныя слабости. Когда Жолнинъ былъ еще гимназистомъ, Риттеръ, — въ тѣ времена офицеръ генеральнаго штаба, не такъ давно женатый на старшей дочери Алферова, красавицѣ Музѣ Андреевнѣ, — сразу обратилъ на него вниманіе, обласкалъ его, почти подружился съ нимъ, не смотря на разницу лѣтъ. Одно время Жолнинъ готовъ былъ видѣть въ немъ идеалъ человѣка. Впослѣдствіи онъ лучше понялъ своего старшаго пріятеля, но теплое отношеніе осталось къ нему въ душѣ Ивана Николаевича.

Когда Жолнинъ вошелъ въ кокетливо убранный домъ полковника, на него сразу повѣяло тѣмъ духомъ крайняго легкомыслія, который всегда царилъ въ этой семьѣ. Здѣсь, повидимому, никогда не задумывались надъ жизнью, жили, какъ мотыльки, порхая и наслаждаясь. Бездѣ были удобныя кресла, качалки, пуфы, цвѣты, кокетливыя драпировки; весь домъ былъ, какъ бомбоньерка. Но рѣдкій стулъ имѣлъ всѣ четыре ноги, по бархатнымъ коврамъ ходили въ грязныхъ калошахъ, изъ спинки дивана, покрытаго дорогимъ плюшемъ, торчалъ пукъ мочалы.

Хозяинъ, человѣкъ лѣтъ сорока пяти, маленькій, черно-волосый, съ морщинистымъ, сильно потасканнымъ лицомъ и съ острыми, безпокойными, но несомнѣнно добродушными глазками, тотчасъ же выбѣжалъ изъ своего кабинета и въ припрыжку бросился въ объятія гостя.

— Кого я вижу! — не смотря на свой крошечный ростъ и тщедушную фигуру, густымъ басомъ воскликнулъ онъ, — вотъ такъ фунтъ!.. Ахъ, вы моя прелесть!.. — (Онъ сильно картавилъ, не выговаривая буквы р). — Не повѣрите, — увѣрялъ онъ, — какъ я радъ... Чисто праздникъ для меня...

И онъ обнималъ Жолнина, жалъ его руки, а гость тѣмъ временемъ успѣлъ замѣтить, что симпатичный ему полковникъ сильно постарѣлъ, осунулся, сталъ особенно безпокойно бѣгать маленькими глазками и какъ-то пропахъ спиртнымъ запахомъ.

— Муза Андреевна здорова-ли? — спросилъ Жолнинъ.

— Музочка сейчасъ придетъ.. Музочка пошла пройтись съ знакомымъ... Знаете, свѣжій воздухъ... я всегда былъ за свѣжій воздухъ...

Глаза его опять забѣгали, а лицо передернулось судорогой.

— Ужасно буду радъ увидаться... Что она все такая же красавица?

— Музочка? Музочка прелесть. Еще лучше стала... По секрету скажу вамъ на ушко...

Онъ притянулъ къ себѣ голову Жолнина и прошепталъ

ему что-то очень скромное насчетъ своей жены. Жолнинъ не удивился этому. Онъ давно привыкъ, что Риттеръ любилъ скабрзности. и что Муза Андреевна, притворно сердясь за это на мужа, охотно слушала ихъ, дѣлая видъ, что конфузится. Но Жолнинъ зналъ и то, что полковникъ, бурно проведенный свою молодость, былъ примѣрнымъ мужемъ, влюбленный въ жену, подпавшій вполне подъ ея вліяніе. Его цинизмъ былъ чисто внѣшній, то молодечество, которымъ онъ любилъ прихвастнуть. Но на этотъ разъ шутка Риттера какъ-то не удалась. Даже какой-то грустью повѣяло отъ нея на гостя.

— Экій вы,—сказалъ Жолнинъ,—все, видно, такой же...

— Я все такой же. Развѣ я могу измѣниться? Одно слово, рубака,—онъ сказалъ „хубака“,—кавалеристъ.

— Кавалеристъ! А въ штабъ зачѣмъ сидѣли?

— Мерзость! Насильно заперли туда... Говорилъ имъ: какой я моментъ? Въ штабахъ нѣмцы должны сидѣть. А мы русакъ, мы на конѣ, маршъ-маршъ!..

— Что Нина Андреевна?

— Прелесть!—воскликнулъ Риттеръ и схватился рукой за свой длиннѣйшій усъ.—Вѣрите-ли, это такая милая дѣвушка...

И, къ удивленію Жолнина, онъ вдругъ усиленно заморгалъ и поспѣшно высморкался.

— Ниночка, это мой другъ. Она понимаетъ меня... Про Музочку, разумѣется, нечего и говорить. Съ Музочкой мы душа въ душу. Мы съ ней, чортъ возьми, русакъ, прямыя натуры... Да, демонъ меня заѣхъ, мы хоть и со слабостями, но правду-матку любимъ...

Онъ остановился и даже запыхался. А маленькіе глазки были по-прежнему грустны и сиротливы.

— Но,—продолжалъ онъ,—надо же, чтобы кто-нибудь... понималъ человѣка... порядочнаго человѣка; одно слово русакъ... Эхъ, лѣшій меня забодай, отчего вы не блондинъ? А? Сейчасъ бы васъ въ уланы. А?.. По взводно р'ысью маршъ!.. А?.. Я, вѣдь, былъ лихой, заѣхъ меня французъ... Ну, идемъ въ кабинетъ...

Въ кабинетѣ сидѣлъ около бутылокъ пива нѣкто Суземцевъ, человѣкъ лѣтъ тридцати пяти, худой, нервный. Это былъ одинъ изъ мѣстныхъ дѣятелей и притомъ человѣкъ, старавшійся изо всѣхъ силъ казаться именно дѣтелемъ, только и помнящимъ, что объ общественномъ благѣ, борцомъ за идеи, свѣтильникомъ среди тьмы уѣзднаго міра. Такъ какъ Суземцеву для того, чтобы выставить себя свѣтильникомъ, надо было окружающее общество представить въ видѣ гасильника, то многіе обижались на этого самоувѣреннаго, самовлюбленнаго дѣтеля-говоруна. Большинство, однако, относилось къ нему, какъ къ человѣку нустому и безвредному.

— Нашъ гласный,—представилъ его Жолнину Риттеръ,—такая, я вамъ скажу, зубастая штука... бѣда съ нимъ...

Лицо Суземцева выразило удовольствіе отъ этой рекомендаціи. Пожавъ руку Жолнина, онъ проговорилъ вполголоса съ видомъ заговорщика:

— Вы, конечно, нашъ. Въ земствѣ *мы* нужны.

— То есть кто?—не понявъ его, спросилъ Жолнинъ.

— Ну, люди мысли, люди идеи, принципа... Въдѣ здѣсь что? болото, трясиная...

Риттеръ налилъ стаканы пивомъ.

— А мы тутъ только что разговорились по душѣ,—сказалъ онъ,—слушайте, Жолнинъ, это самый новѣйшій анекдотъ...

И онъ, путаясь въ словахъ, но заранѣе уже смѣясь, неловко, неумѣло разсказалъ какую-то забористую, циничную, нелѣпую пошлость и хохоталъ такъ, что слезы лились у него изъ глазъ.

— А? ловко?... А она-то ему...—И онъ опять залился смѣхомъ.

Суземцевъ не любилъ слушать анекдоты; онъ любилъ ихъ самъ разсказывать и считалъ себя неподражаемымъ.

— Нѣтъ, погодите,—перебилъ онъ,—вотъ слушайте, объясненіе безъ словъ.

Онъ жестами и мимикой передалъ какую-то еще болѣе сальную, неприличную сцену. А когда окончилъ, то весь затрясся отъ смѣха. На лицѣ его выражалось полное нравственное удовлетвореніе, сознаніе того, что никто не превзойдетъ его въ умѣнны передавать скабрзные анекдоты. Но и Риттеръ не сдавался; онъ былъ какъ бы ходячій сборникъ подобныхъ скабрзностей и сейчасъ началъ новый разсказъ. Суземцевъ выслушалъ его и опять разсказалъ свой. Анекдоты шли одинъ за другимъ безъ перерыва, и всѣ три собесѣдника громко хохотали, не замѣчая, какъ летитъ время. Жолнинъ уже давно такъ не смѣялся, какъ сегодня. Онъ пытался и самъ разсказать что-либо въ этомъ же родѣ, но неудачно; путался, сбивался, начиналъ смѣяться ранѣе времени...

V.

Въ прихожей позвонили и вслѣдъ за тѣмъ послышался голосъ хозяйки дома. Риттеръ весь вдругъ съежился, на морщинистомъ лицѣ его опять появилось уныніе и какая-то печаль; оживленіе исчезло безъ слѣда. А глаза робко бѣгали по сторонамъ.

Въ комнату быстро вошла, распространяя вокругъ себя

запахъ духовъ, высокая женщина лѣтъ сорока, роскошно развитая, съ веселымъ, оживленнымъ лицомъ, красивая, цвѣтущая.

— Здравствуй, Котикъ,—какъ-то особенно радостно воскликнула она,—что твоя невралгія?.. Здравствуйте, Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ... Ахъ! это кто? Иванъ Николаевичъ, вотъ неожиданность!..

Она радостно жала руки Жолнина, а когда онъ нагнулся поцѣловать ея прекрасную руку, горячо поцѣловала его щеку. Она оживленно говорила о своей радости, сыпала вопросами, не слушая отвѣтовъ, перебѣгала къ новымъ, но сквозь это оживленіе Жолнинъ улавливалъ и въ ней все ту же, что и у ея мужа, нотку безпокойства, неловкости.

— А какъ папа съ мамой будутъ рады,—сыпала Муза Андреевна,—вы видѣли ихъ? Нѣтъ? Ахъ, да, они, вѣдь, уѣхали до завтра въ деревню... Но вы теперь часто будете здѣсь, неправда-ли? Каждый день, непременно каждый день... Котикъ, прикажи ему слушаться...

— Ты съ кѣмъ, Музочка, ходила?—спросилъ Риттеръ и усиленно, растерянно забѣгалъ глазами.

— Я? Мы гуляли съ Букиной въ скверѣ... Потомъ она ушла...

— Такъ ты потомъ все одна была?

— Ахъ, нѣтъ. Сначала встрѣтилась Крейцъ, потомъ... Кравчинъ подошелъ... Ахъ, какой онъ смѣшной...

— А что?

— Ха, ха, ха... Знаешь, Котикъ, онъ такой еще зеленый... Ха, ха, ха, ну, совсѣмъ желторотый птенецъ...

Она смѣялась, но Жолнину смѣхъ ея казался искусственнымъ, а сморщенное потасканное лицо полковника выражало страданіе. Что-то было неладное въ этой прежде такой дружной семьѣ. Что именно, угадать было трудно, но уже ясно было, что разложеніе началось.

И онъ припоминалъ себѣ, какъ были счастливы нѣкогда Риттеры. Онъ помнилъ Музу Андреевну еще дѣвчушкой, красавицей, сводившей съ ума весь уѣздъ. Всегда она была безмятежно веселой, радостной, не знающей, что такое задумчивость, серьезное настроеніе. Случалось и ей поплакать и даже весьма нерѣдко, но слезы лились исключительно изъ-за пустяковъ и такъ же быстро исчезали, какъ и появлялись. То горничная не такъ выгладила юбку, то папа взялъ не тѣ мѣста въ театрѣ.

Гдѣ появлялась Муза Андреевна, тамъ царило оживленіе, смѣхъ. Никто не умѣлъ такъ танцовать, какъ она, никто не вѣдилъ верхомъ такъ красиво и смѣло... Она царила въ городѣ; она всѣмъ и всегда говорила правду въ глаза, смѣлая, сознающая силу своей красоты.

„Эта милая сумазбродная Музочка“,—говаривали про нее, опредѣляя этимъ, что съ красавицы и спрашивать больше ничего... Одно осуждали въ ней,—ея чрезмѣрную влюбчивость. Еще дѣвочкой подросткомъ она безумно влюбилась въ своего учителя русскаго языка, семинариста, человѣка застѣнчиваго и серьезнаго. Она такъ стрѣляла въ него глазами, что бѣдняга, готовившійся въ священники и пріискивавшій невѣсту съ приходомъ, пришелъ въ отчаяніе и отказался отъ урока. Потомъ она придумывала планъ бѣжать въ Америку съ банковскимъ чиновникомъ, человѣкомъ лѣтъ пятидесяти, женатымъ и имѣющимъ взрослыхъ дочерей. Она только дожидалась, чтобы чиновникъ этотъ объяснился ей въ любви. Но этого не случилось. Предметъ ея страсти дѣйствительно ухаживалъ за ней, приносилъ ей цвѣты, конфеты, котятъ, но дѣлалъ это съ невинной цѣлью поправиться старику Алефрову, директору банка, и повиситься по службѣ.

Но самымъ сильнымъ увлеченіемъ Музы Андреевны былъ молодой Никинадзе, заѣхавшій въ городъ на вакаціяхъ къ своему дядѣ аптекарю. Здѣсь была уже настоящая страсть, при томъ взаимная, при томъ пугавшая дѣвушку. Молодой Никинадзе, встрѣчаясь съ Музой Андреевной, становился страшнѣе. Глаза его наливались кровью, синія то усиленнаго бритья щеки дѣлались багровыми и какъ-то распухали, вообще Никинадзе казался близкимъ къ обморку. Дѣвушка мечтала „посвятить ему свою жизнь“. Но и тутъ ее встрѣтило разочарованіе: оказалось, что Никинадзе было только четырнадцать лѣтъ.

Наконецъ, въ городъ завернулъ слушатель академіи, молодой гусаръ Риттеръ, веселый, душа общества, удивительный танцоръ. Не прошло двухъ мѣсяцевъ, какъ старшая дочь Алферова стала его женой и блаженству молодой пары не предвидѣлось конца. Сначала Риттеры блаженствовали въ Петербургѣ, потомъ гдѣ-то на западной границѣ, но часто пріѣзжали въ Коневецъ и, наконецъ, поселились въ немъ, когда Риттеръ вышелъ въ отставку. Весь кружокъ знакомыхъ поглядывалъ на нихъ съ нѣкоторою завистью. Есть же на свѣтѣ такіе счастливые супруги! И это представленіе обихъ ненарушимомъ счастья такъ и осталось въ памяти Жолнина, хотя со времени брака Риттеровъ прошло уже лѣтъ двадцать... И теперь ему было тяжело думать, что блаженство Риттеровъ уже окончилось. Она все такая-же красавица; она, кажется, стала еще лучше прежняго. Онъ, правда, худъ, постарѣлъ, поистасканъ; но вѣдь онъ и молодымъ не былъ свѣжъ. За то вѣдь онъ воплощенная доброта.

VI.

Жолнинъ задумчиво ѣхалъ домой, размышляя о той вѣчной истинѣ, что полнаго счастья нѣтъ на землѣ, и ему было грустно.

И кругомъ въ природѣ все становилось мрачно и грустно. Ночь уже опустилась на землю, угрюмая, неласковая. Тучи укрыли небо, вѣтеръ не шелохнулъ. Когда телѣжка подѣзжала къ лѣсу, Пантелѣй повернулъ голову въ бокъ и пристально вглядывался во что-то. Жолнинъ тоже повернулъ голову и увидалъ на небѣ багровое зарево.

— Безпремѣнно въ Тугановкѣ занялось,—скорбнымъ голосомъ проговорилъ возница.

Это зловѣщее зарево такъ гармонировало съ общей тоской, разлитой и въ природѣ, и въ душѣ Жолнина. Какимъ-то предчувствіемъ грядущихъ бѣдъ повѣяло на него.

А когда онъ подѣхалъ къ усадьбѣ, гдѣ-то въ сторонѣ, далеко, далеко послышался надрывающій душу волчій вой...

Раздѣвшись и почитавъ передъ сномъ первое, что попало подъ руку въ книжномъ шкафу, Жолнинъ потушилъ свѣчу и приготовился заснуть. Но сонъ долго не шелъ къ нему. Жолнинъ вспоминалъ проведенный день, то, что онъ подмѣтилъ у Риттеровъ, и тѣ часы, которые онъ посвятилъ съ Риттеромъ и Суземцевымъ анекдотамъ. Духомъ пошлости, мерзости пахнуло на него отъ этого воспоминанія. И какъ онъ могъ чувствовать наслажденіе, слушая эти скабрёзности, рассказывая ихъ самъ? Это онъ-то, человѣкъ, отыскивающій вѣчную правду, тоскующій о великомъ и идеальномъ! И вѣдь всегда это съ нимъ случается. Не въ силахъ онъ не поддаваться настроенію минуты, вліянію окружающей среды. Сердцемъ онъ рвется въ небо, а самъ всегда на землѣ. Да и на землѣ-то все выбираетъ мѣстечки, гдѣ погрязнѣй...

А волки все выли, и ихъ скорбная, унылая пѣсня надрывала душу, будила тоску.

Вся ночь прошла для Жолнина тяжело. Какіе-то томительные, полные ужаса и скорби сны посѣтили его, чѣмъ-то безотраднымъ была полна его душа. Онъ проснулся за полночь, устрешенный сномъ, сѣлъ на постели и долго оглядывался въ темнотѣ, будто не понимая, гдѣ онъ. А издали все доносились унылые стоны волковъ.

Жолнинъ пришелъ, наконецъ, въ себя, зажегъ свѣчу и закурилъ папиросу. Но угнетенное состояніе не проходило, даже сердце будто слабѣе билось, точно замирало. Онъ старался страхнуть съ себя это настроеніе, вспоминалъ, что на-

ходится подъ впечатлѣніемъ сновъ и унылой, угрюмой обстановки, но эти разсужденія не помогали. И опять, всегда склонный къ мистическому и таинственному, онъ пересталъ успокаивать себя и призналъ за фактъ, что какое-то горе уже близко къ нему, что онъ наканунѣ печали. Тогда душа его еще болѣе омрачилась. Недавнее радостное настроеніе, чувство гармоніи, признаніе законѣрности, логичности всего, что ни совершалось вокругъ него, исчезло. И взамѣнъ того, на душу хлынула потокомъ тоска... Въ одинъ мигъ уничтожилась работа мысли длиннаго ряда годовъ и, какъ неотразимый, голый фактъ, предстала та страшная истина, что земля это царство зла...

Близкій къ холодному отчаянію, лежалъ Жолнинъ навзничъ на подушкахъ и, стиснувъ зубы, неподвижно глядѣлъ передъ собою во мракъ ночи. Онъ уже давно испытывалъ эти приступы тоски. Логика сердца, неуловимая, чуть замѣтная исчезала; выходила впередъ логика разума, неотразимая, холодная, безжалостная. Ничего нѣтъ на свѣтѣ, кромѣ какой-то случайной жизни, полной горя, тоски. Какая-то насмѣшка царитъ надъ міромъ... А если нечему вѣрить, если нѣтъ того, къ чему такъ рвется сердце,—то незачѣмъ и жить.

Лишь подъ утро забылся онъ тяжелымъ сномъ и всталъ позднѣе обыкновеннаго съ удрученнымъ сердцемъ, съ тупой тяжестью на душѣ. Когда онъ вышелъ въ столовую, куда прислуживавшій ему мальчикъ лѣтъ четырнадцати, Ваненка, уже внесъ самоваръ, его поразила какая-то суетня на дворѣ у флигеля, гдѣ жилъ Григорій. Тамъ были какія-то женщины, кто-то громко причиталъ

— Что такое случилось?—встревоженно спросилъ Жолнинъ.

— У дѣдушки Григорья бѣда!..—съ радостнымъ оживленіемъ отвѣтилъ Ваненка,—внукъ померъ.

Извѣстіе это поразило Жолнина. Оно показалось оправданіемъ его ночныхъ предчувствій. Онъ спѣшно прошелъ во флигель и засталъ тамъ Григорія, Пантелѣя и молодую, красивую женщину съ груднымъ ребенкомъ на рукахъ. Это была вдова скончавшагося Матвѣя. Старикъ сидѣлъ, положивъ свой могучій локоть на столъ, осунувшійся, постарѣвшій. Онъ былъ въ такой скорби, что даже не обратилъ вниманія на вошедшаго хозяина. Лицо Пантелѣя выражало тупое уныніе, безучастіе. Но болѣе всего поражала своимъ видомъ молодая женщина. Она была страшно блѣдна, потухшіе глаза остановились, на лицѣ выражалось безысходное отчаяніе.

Сердце Жолнина сжималось отъ боли и какого-то озлобленія, страшившаго его самого. Онъ сразу осмыслилъ тяжесть извѣстія. Матвѣй былъ любимый внукъ старика, веселый,

работающій и трезвый парень. Годъ тому назадъ онъ женился на красавицѣ Настасѣ, выбравъ самъ себѣ жену по сердцу, и всѣ любовались на эту пару. И жена попалась Матвѣю на рѣдкость: работающая, ласковая, добрая. Недѣли двѣ тому назадъ дѣдъ послалъ Матвѣя на возродившійся въ уѣздѣ механическій заводъ въ селѣ Пынинѣ, а сегодня утромъ пришла оттуда вѣсть, что Матвѣй убитъ оторвавшимся поршнемъ машины.

Жолнинъ подошелъ и присѣлъ около старика.

— Горе, дѣдъ, пришло?

Григорій поднялъ на него печальные глаза и безнадежно кивнулъ головой.

— Бабу жаль больно,—тихо проговорилъ онъ и смахнулъ съ лица слезу.

Для Жолнина потянулись тяжелые часы. Еще никогда припадки тоски не приходили къ нему съ такой силой. Все, что онъ съ мучительными усилиями выработалъ въ себѣ за послѣднее время, разлетѣлось, какъ дымъ, и въ душѣ не было ни вѣры, ни надежды. Онъ пробовалъ вернуть эту вѣру, найти хоть отголосокъ той гармоніи, которая изрѣдка посѣщала его, но ничто не удавалось. Нежданная смерть Матвѣя поражала его, какъ страшная несправедливость, какъ ненужная, безцѣльная жестокость. И онъ строилъ цѣлый обвинительный актъ противъ кого-то, самъ мучился этими мыслями и все болѣе и болѣе поддавался тоскѣ...

Наступилъ вечеръ. Въ деревнѣ все затихало. Огни гасли. Только изрѣдка раздавался сухой стукъ деревянной колотушки караульщика, да издали, изъ-за лѣса доносился слабый, стонущій звукъ сторожевого колокола. Въ избѣ Григорія не было видно огня. Молодая вдова уѣхала со свекоромъ въ Пынино, а дѣдъ забрался, должно быть, на печь со своимъ одинокимъ, старческимъ горемъ.

Накинувъ на плечи мѣховую куртку, Жолнинъ вышелъ на балконъ и, присѣвъ на ступени лѣстницы, задумчиво сидѣлъ, безцѣльно вглядываясь въ окружающую его темноту. Ночь была не по времени теплая. Легкій морозъ, который былъ днемъ, ушелъ. Небо укрылось облаками. Безнадежная грусть смѣнила ту тоску, которая мучила Жолнина цѣлый день. Ему жаль было себя, своихъ исчезнувшихъ надеждъ, грѣзъ о счастіи. Онъ уже вѣрилъ, что все сложившееся у него міровоззрѣніе рухнуло сразу и навсегда отъ одного легкаго толчка, что онъ опять, какъ десять лѣтъ назадъ, среди душевной пустыни, одинокій, безпріютный, безъ вѣры и надежды.

Вдали за лѣсомъ слышался унылый, щемящій душу вой. Черезъ минуту такая же унылая нота пронеслась въ

другомъ концѣ лѣса, потомъ еще гдѣ-то и еще, и все затихло. Прошло нѣсколько минутъ и, вдругъ, уже совсѣмъ близко завылъ густымъ, низкимъ голосомъ волкъ, и его пѣсню подхватили десятокъ голосовъ и слился въ одну ужасающую своей скорбью ноту.

VII.

Голоса то умолкали, будто ослабѣвая, то усиливались, доходили до страшнаго напряженія. Временами хоръ нарушался; волки были въ перебивку, отдѣльными плачущими нотами, вскрикивали щемящими душу воплями и снова сливались въ одной удручающей, протяжной нотѣ. И какое-то забвеніе находило на душу Жолнина. Временами ему казалось, что это не лѣсъ кругомъ него и не волки стонутъ передъ нимъ; что онъ гдѣ-то въ волшебной странѣ, полной грѣзъ и очарованія, и что тысячи человѣческихъ голосовъ поютъ въ унисонъ какую-то торжественную пѣсню. Но хоръ опять разбивался на отдѣльные голоса и очарованіе исчезало. Опять были мракъ и тоска, и унылый, зловѣщій вой...

Какая-то тѣнь съ очертаніями человѣка показалась на дворѣ влѣво отъ балкона. Потомъ послышался сухой старческой кашель.

— Григорій, ты это, что-ль? — окликнулъ Жолнинъ, выходя изъ своего забвенія.

— Я, Иванъ Николаичъ, я, батюшка.

— Иди сюда. Посидимъ, если не спится.

Старикъ ощупью нашелъ калитку, поднялся на лѣсенку и сѣлъ на приступкѣ, плотнѣе кутаясь въ тулупъ.

— И то не спится, — проговорилъ онъ, вздохнувъ.

Опять острая, щемящая боль охватила сердце Жолнина.

— Дѣдъ, — проговорилъ онъ во внезапномъ порывѣ, — горе-то какое! И ничѣмъ не помочь, ничѣмъ, ничѣмъ!..

— Всѣ мы подъ Богомъ, — покорно отвѣтилъ старикъ.

Но Жолнинъ уже не въ силахъ былъ сдерживать себя. Онъ задыхался отъ томившихъ его мыслей и тоски. Ему надо было съ кѣмъ-нибудь подѣлиться этими мыслями, кому-нибудь повѣдать удручающія его думы и печали. И онъ началъ говорить отрывистыми, полными горечи фразами, забывшая о томъ, что слушатель, быть можетъ, и не пойметъ его. Къ чему эта смерть? кому нужна эта скорбь и зачѣмъ она, налетѣвшая на неповинную, такую счастливую семью? Гдѣ же правда, если живутъ негодные, а люди, достойные счастья, гибнутъ, оставляя за собою скорбь и слезы?

— Неужели же нѣтъ правды? Боже, Боже! — воскликнулъ онъ въ непритворной тоскѣ. — Нѣтъ ея...

Онъ замолчалъ и не ждалъ отвѣта. Ему и не нуженъ былъ отвѣтъ. Но старикъ, внимательно слушавшій его, покачалъ головой и сказалъ дрогнувшимъ голосомъ:

— Не грѣши, баринъ, не испытай Господа... Вотъ тебѣ и Божья правда на первый случай; ты господинъ, а меня стараго пожалѣлъ. Тебя бы горе-то мое мужицкое и касаться-то не должно, а ты вонъ, гляди, самъ затосковалъ... Господь тебѣ воздастъ...

Онъ отеръ глаза мозолистой ладонью и продолжалъ свою рѣчь. Онъ говорилъ тѣ общія, какъ думалось Жолнину, мѣста о Промыслѣ, объ испытаніяхъ, о томъ, что человѣкъ не знаетъ, что ему къ добру идетъ и что нѣтъ. Жолнинъ слушалъ его равнодушно и невнимательно, опять уносясь печальными думами далеко прочь отсюда.

— А что прискорбно, такъ что подѣлаешь,—продолжалъ старикъ,—видно такъ нужно... Божье произволеніе... Онъ, милосердный, лучше насъ знаетъ...

Жолнинъ быстро повернулъ къ нему голову.

— Божье произволеніе,—задумчиво повторилъ онъ, чувствуя, что эти, повидимому, ничего не поясняющія слова, запали ему въ душу...

— Ну, господинъ хорошій, — проговорилъ Григорій, — баиньки пора... Взялъ бы я тебя, какъ бывало, въ старину, на руки да отнесъ бы на кровать, да больно великъ ты сталъ. Не судвинешь... Утѣшилъ ты меня старика, Иванъ Николаичъ...

Григорій ушелъ, а Жолнинъ долго еще сидѣлъ на балконѣ, но теперь мракъ и тишина, и волчьи стоны не удручали его, какъ передъ тѣмъ. Сквозь печаль о погибшей молодой жизни, сквозь жалость сочувствія, онъ уже разглядывалъ опять подходившее къ нему успокоеніе.

— Видно такъ нужно было,—шепталъ онъ,—какая-нибудь цѣль была. Ничто не свершается въ мірѣ безъ причинъ и цѣлей...

Онъ поднялся, наконецъ, прошелъ въ спальню и легъ. И сразу заснулъ крѣпкимъ и цѣлебнымъ сномъ выздоравливающаго человѣка...

Утро чуть брезжило, когда онъ проснулся. Онъ поднялся съ постели и подошелъ къ окну. Кругомъ все было бѣло; ночью выпалъ первый снѣгъ, и земля будто улыбнулась счастливой улыбкой сквозь сонъ. Бодрящее чувство охватило Жолнина. Наскоро одѣвшись, онъ вышелъ на крыльцо и жадно вдыхалъ свѣжій ароматъ снѣга. Чуть замѣтный вѣтерокъ проносился надъ землей; оголенные вершины деревьевъ что-то шептали, будто раздумывая о случившемся,

о приходѣ зимы. Воробы и чайки хлопотливо перекликались, перелетая съ мѣста на мѣсто.

Изъ конюшни вышелъ Григорій, сердитый, съ нахмуренными бровями, ворчащій на кого-то вполголоса.

— Собачій сынъ... Право слово, собака, песъ непутевый. Наломать бы тебѣ спину, подлецу, умнѣй бы сталъ...

— Ты это кого?—спросилъ Жолнинъ, подходя къ нему.

— Да все его, подлеца... Озорникъ, право, озорникъ.

— Да кто?

— Пантелѣй... Кто еще?.. Взмылилъ подлецъ лошадь, ровно домовою... Обрадовался сукинъ котъ, гонить, словно баринъ какой... На-ко-съ, верстъ двадцать отъ завода-то будетъ, а онъ жарить безъ передышки...

— Вернулись?

— Даве пріѣхали!

— Ну, и что-жъ?

— Слава Тебѣ, Господи... Помяло шибко, а ничего.

— Неужто живъ?

— Вонъ онъ краснорожій глядитъ... Все изъ-за его, изъ-за подлеца вышло...

— Ахъ, Господи!.. А говорили померъ...

— Думали померъ, а нѣтъ ничего. Помиловалъ Господь.

Захватывающая радость, умиленіе охватили Жолнина. Онъ не въ силахъ былъ спокойно перенести это извѣстіе и, схвативъ старика за плечо, старался скрыть свое волненіе подъ усиленно и притворно грубымъ выкрикомъ:

— Такъ ты что, старый хрѣнь, на Пантелѣя напалъ?

— А чего лошадь гналъ? Обрадовался песъ...

Чувство радости и гармоніи все утро не покидало Жолнина. Ему опять хотѣлось жить и любить, и опять онъ вспомнилъ о Нинѣ и рвался душой увидать ее.

VIII.

Къ полудню онъ былъ уже въ городѣ и, оставивъ лошадь на постояломъ дворѣ, поспѣшилъ къ Алферовымъ. Первымъ встрѣтилъ его хозяинъ дома, человѣкъ лѣтъ подъ семьдесятъ, худой, съ гладко выбритыми щеками, въ черномъ парикѣ, съ черными крашеными усами. Алферовъ не умѣлъ улыбаться. Онъ всегда имѣлъ видъ человѣка, хранящаго въ груди важнѣйшія тайны, а потому и теперь выразилъ свою радость по поводу прибытія гостя тѣмъ лишь, что съ таинственнымъ видомъ притянулъ его къ себѣ и поставилъ для поцѣлуя морщинистую бритую щеку.

— Радъ, очень радъ,—все такъ же таинственно и впол-

голоса проговорилъ онъ, потомъ пригладилъ рукой парикъ, на которомъ волосы лежали кругообразно отъ виска до виска, искоса поглядѣлъ на гостя зелеными потухшими глазами и добавилъ съ видомъ заговорщика:

— Курить хочешь?

Старикъ Алферовъ былъ прирожденный политикъ. Онъ и самъ бы не могъ выяснитъ, что заставляетъ его служить, всегда вращаться въ кругу новѣйшихъ губернскихъ и уѣздныхъ интересовъ, жадно ловить и съ таинственнымъ видомъ передавать каждое слово, исходящее съ верховъ, напряженно слѣдить, предполагать, рассчитывать, кто долженъ оставить служебный постъ, кто занять этотъ постъ, кто получить орденъ, кто—выговоръ. Онъ первый встрѣчалъ пріѣзжающаго архіерея, первый спѣшилъ поздравить съ именинами начальствующихъ лицъ. И все это дѣлалось безкорыстно, изъ одного лишь усердія, потому что ни повышеній, ни наградъ онъ лично ожидать не могъ.

Жолнинъ зналъ слабости старика, зналъ и то, что Алферова не очень уважали, но всѣ притворялись, что вѣрятъ въ его служебное значеніе, такъ, въ приносимую имъ пользу.

— Генеральша въ добромъ ли здоровьи?—съ невольной легкой усмѣшкой спросилъ Жолнинъ.

Алферовъ поднялъ съ значительнымъ видомъ палецъ, кивнулъ головой въ сторону и прошепталъ:

— Мигрень... нервы... Будетъ рада, весьма.—Потомъ сѣлъ на кресло противъ гостя, похлопалъ его по колѣнкѣ и, скрививъ лицо подъ видомъ улыбки, добавилъ:

— Служишь?

— Нѣтъ.

— И-э, и-э, и-э,—укоризненно покачалъ головой Алаферовъ,—не одобряю.

— Вотъ, хочу здѣсь пожить.

— Надолго пріѣхалъ?

— Какъ поживется.

— Оставайся-ка здѣсь. Мы тебя устроимъ. Въ земскіе хочешь?

— Спасибо; нѣтъ.

— На-апрасно, на-апрасно. Ты знаешь ли, что сказалъ генераль Бекутовъ, а?

— Ну, его...

— Нѣтъ, ты послушай.

Договорить ему не пришлось. Въ комнату вошла высокая, полная, представительная женщина лѣтъ подъ шестьдесятъ; уже сѣдая, но все еще красивая, со свѣжимъ лицомъ, Серафима Сергѣевна Алаферова. Жолнинъ поспѣшилъ встать и поцѣловать у нея руку.

— Наконецъ-то вернулся,—низкимъ контральто проговорила Алферова,—сидить цѣлый мѣсяцъ въ деревнѣ, а къ намъ ни ногой.

Она подавляла своимъ величіемъ окружающихъ, а болѣе всего мужа. Андрей Ѳедоровичъ при ней ступшеывался, становился маленькимъ, незначительнымъ. Онъ смущенно покашлялъ въ ладонь, повертѣлся на креслѣ и скороговоркой произнесъ:

— Ну, я васъ оставляю... Дѣла, все дѣла...

И, волоча ноги, онъ прошелъ въ кабинетъ.

Серафима Сергѣевна оглядѣла гостя сквозь пенсне и одобрительно качнула головой.

— Служите?

— Нѣтъ.

— Имѣнія не закладывали?

— Нѣтъ... Кажется, нѣтъ.

— Главное „кажется“. Хорошъ!.. А лѣсъ рубите?

— Позвольте... Да. Григорій, это дѣдъ такой... Григорій, говорилъ, что сводилъ... Деньги присылалъ.

— Ну, мой другъ, васъ надо въ руки взять. Это ни на что не похоже такъ вести дѣла!.. Въ винтъ играете?

— Нѣтъ.

— Опять нѣтъ... Васъ надо женить... Хотите сватать буду? Жолнинъ весело, по-дѣтски улыбнулся.

— А что жъ, я, пожалуй, не прочь.

— Въ самомъ дѣлѣ? Ну, смотрите, не отказываться.

— Только вѣдь я привередливъ.

— Положитесь на мой вкусъ.

А Жолнинъ уже разслышалъ въ дальнихъ комнатахъ чьи-то легкіе шаги и почувствовалъ, что сердце его забилось.

— Это ужъ не барышня ли наша?—неосторожно краснѣя, воскликнулъ онъ.

Серафима Сергѣевна зорко поглядѣла на него и слегка нахмурила брови.

— Да, это Ниночка.

А сама что-то уже соображала своей умной, хотя и облѣнившейся головой; потомъ опять оглядѣла гостя и опять нахмурилась. Нѣтъ, этотъ не годится въ женихи для Нины. Разсѣянный, не заботливый о своихъ интересахъ, не чиновный, не умѣющій сдѣлать карьеру, мечтатель, фантазеръ, словомъ, не годится въ мужа...

Вошедшая Нина прервала ея соображенія. Увидѣвъ Жолнина, она радостно вскрикнула и подбѣжала къ нему съ протянутыми руками.

— Иванъ Николаевичъ! Вотъ радость-то!

Она жала его руки, а сама все приглядывалась къ нему, оживленная, радостная, съ дѣтскимъ смѣхомъ на лицѣ, со сверкающими глазами.

— Чуть не поцѣловала васъ,—добавила она.

— Нина,—строго замѣтила мать.

— Ахъ, мама, вѣдь „чуть-чуть“ не считается. А съ Иваномъ Николаевичемъ мы друзья дѣтства. Онъ не осудить.

А онъ слова не могъ выговорить отъ радостнаго волненія. Онъ глядѣлъ и глазамъ своимъ не вѣрилъ. Вмѣсто прежняго беззаботнаго, некрасиваго, немного неуклюжаго подростка, передъ нимъ стояла красавица лѣтъ двадцати, высокая, стройная, со строгимъ, вдумчивымъ лицомъ. Это былъ прикрашенный портретъ Музы Андреевны, но безъ легкомысленной жизнерадостности послѣдней. Жолнинъ уже чувствовалъ, что сердце его занято, но чувствовалъ и то, что прежней дружбы съ Ниной у него не будетъ. Онъ теперь робѣлъ передъ нею; она переросла его, казалась какой-то властной...

Послѣ обѣда они остались вдвоемъ; онъ несмѣло подошелъ къ ней, поднялъ на нее свои близорукіе глаза и проговорилъ, конфузясь:

— Какъ же вы измѣнились. Васъ и не узнать.

— Да,—серьезно и задумчиво отвѣтила она,—я очень измѣнилась.

— На васъ теперь только любоваться.

— Ахъ, вы вотъ о чемъ... Ну, тутъ я не судья.

Потомъ, сразу повеселѣвъ, она улыбулась, озаривъ Жолнина этой улыбкой и добавила, чуть-чуть кокетничая:

— Что жъ, по вашему, хороша я?

— Красавица!—восторженно прошепталъ Жолнинъ.

— Смтрите, не влюбляться... Нѣтъ, не шутя, оставимъ это. Вы мой дорогой другъ и будемъ друзьями... Я про другое сказала; я душой измѣнилась.

— Что же такое?

— Выросла я; взрослой стала. И какъ-то вдругъ пришло, что состарилась. Прежде была такая беззаботная, а тутъ... Даже странно мнѣ это.

Она замолчала и задумалась. Тѣнь грусти пробѣжала по ея прекрасному лицу. Но Жолнинъ не въ силахъ былъ остановиться мыслью на ея словахъ.

Онъ жадно глядѣлъ на нее и восхищался. Все нравилось ему въ ней: большіе, темные глаза, правильныя черты лица, нѣжный румянецъ, маленькія уши, прекрасныя руки, густая коса. Она казалась ему совершенствомъ, идеаломъ женской красоты.

Уже позднѣе, передъ отъѣздомъ онъ вспомнилъ о ея словахъ и спросилъ ее:

— Скажите, васъ что-то опечалило? Вы говорили, что состарились душой.

Она подняла на него задумчивые глаза.

— Да... Я прежде какъ-то не видала жизни. А потомъ точно что спало съ глазъ. Сразу разглядѣла и... и страшно мнѣ стало.

— Это такъ, это вы правду... Я васъ понимаю. Я самъ испытывалъ это въ свое время.

— И успокоились, примирились?

— Какъ вамъ сказать... Примирился условно.

— А въ чемъ ваше условіе?

— Если есть высшая правда, если увѣрую въ нее, тогда буду жить. Тогда буду знать, что надо любить людей, даже носителей зла...

Онъ по обычаю тотчасъ же увлекся, позабылъ про свою влюбленность и зашагалъ изъ угла въ уголъ.

— Если есть она, эта правда, тогда я живу, хочу жить, любить, быть счастливымъ. Но, если придется потерять эту вѣру, тогда... Нѣтъ, объ этомъ не стоитъ и говорить...

— А нашли вы ее?

— Вотъ въ томъ-то и горе мое, что человѣкъ я жалкій, слабый. Не установилось еще во мнѣ многое. Все колебанія, сомнѣнія, упадокъ духа. Но я найду эту правду, потому что она есть, я ее чувствую всѣмъ существомъ своимъ.

Нина глядѣла на него ласковыми глазами.

— Вы всѣ такой же милый, славный...

— Охъ, нѣтъ, не говорите такъ. Вотъ славнаго-то во мнѣ и нѣтъ ничего.

— Полноте... Ну, такъ вотъ о чемъ я хочу просить васъ. Вы мнѣ другъ, я всегда вѣрила въ васъ; помогите же и мнѣ найти эту правду. И я тоскую по ней...

Нина протянула ему руку и глядѣла на него, взволнованная, почти восторженная.

— Ахъ, зачѣмъ вы подаете мнѣ руку? — воскликнулъ Жолнинъ.

— А что же?

— Видите... Я не могу... мнѣ хочется поцѣловать ее.

Какая-то печаль скользнула по лицу дѣвушки.

— Иванъ Николаевичъ,—проговорила она,—пожалуйста, пожалуйста, будемъ просто друзьями. Мнѣ вы такъ нужны, какъ мой умный, ученый и добрый, добрый другъ... Знаете, я точно среди толпы чужихъ людей и не могу выбраться изъ толпы, не знаю дороги домой...

Потомъ, развеселясь, она добавила:

— Ну, на-те, цѣлуйте, но только о чувствахъ и нѣжностяхъ ни-ни!..

IX.

Жолнинъ цѣлую недѣлю не показывался въ городѣ. Онъ сидѣлъ въ своемъ деревенскомъ домѣ и все провѣрялъ себя. Нина Алферова произвела на него впечатлѣнiе болѣе сильное, чѣмъ онъ ожидалъ, но онъ боялся вѣрить этому впечатлѣнiю, зная свою способность увлекаться минутными вспышками чувства.

— Ну,—порѣшилъ онъ, наконецъ,—возьму себя въ руки, хоть разъ въ жизни буду трезво относиться къ жизни и, если... Ну, тогда постараюсь заслужить любовь этой чудной дѣвушки..

И радостный, успокоенный, онъ поспѣшилъ въ городъ.

У него стояла теперь на конюшнѣ пара недурныхъ лошадей, а на кухнѣ появилась кухарка, старуха Маремьяна и кучеръ Антонъ, молодой парень, человѣкъ удивительной удали, сердцеѣдъ и обидчикъ. Антонъ носилъ въ ухѣ серьгу, игралъ на гитарѣ, а свое кучерское дѣло ставилъ выше всего на свѣтѣ. Въ первый же выѣздъ на новокупленной парѣ Жолнинъ подмѣтилъ въ нихъ и въ Антонѣ что-то въ своемъ родѣ таинственное. Лошади шли дружной рысью, работали добросовѣстно, какъ слѣдуетъ; но лишь только появилось ровное, гладкое мѣстечко, Антонъ молча дѣлалъ какое-то чуть замѣтное движенiе руками, и лошади сходили съ ума отъ наслажденiя. Коренникъ, поднявъ голову, страстно раздувая красныя ноздри, начиналъ идти могучей рысью, какъ будто хотѣлъ костями лечь, а пройти пространство однимъ духомъ; пристяжная чуть не до самой земли нагибалась вбокъ красивую голову и мчалась, едва касаясь земли стальными подковами. Потомъ Антонъ такими же незамѣтными движенiями рукъ переводилъ лошадей въ болѣе тихій ходъ, а самъ поворачивалъ къ сѣдоку самодовольное рябое лицо и строго замѣчалъ:

— Въ случаѣ, ежели чего, вы, Иванъ Николаичъ, будьте безъ сумлѣнiя... Только крѣпче держитесь, а ужъ лошади не выдадутъ... Эй, вы, жаворонки!.. заснули!..

И въ видѣ награды и поощренiя вытягивалъ ихъ кнутомъ...

Жолнинъ часто, чуть не каждый день бывалъ теперь въ городѣ и всегда видѣлся съ Ниной или у Алферовыхъ, или у Риттеровъ. Но говорить съ ней ему почти не приходилось. Дѣвушка все была какъ-то озабочена, задумчива и какъ будто сторонилась отъ него.

Однажды онъ попалъ на именины къ исправнику, гдѣ

послѣ ужина устроились танцы. Такъ какъ кавалеровъ оказалось мало, то дамы принудили и пожилыхъ мужчинъ принять участіе въ танцахъ. Риттера силой вытащили изъ-за карточного стола, и лихой полковникъ, тряхнувъ плечами, подхватилъ хорошенькую, бѣленькую дочку хозяина, сталъ въ первую пару и голосомъ, оживившимъ все общество, командовалъ размѣщаться для кадрили. Жолнинъ съ добродушнымъ участіемъ оглядывалъ залъ, полный молодежи, жадной до веселья.

— А вы не танцуете?—раздался надъ его ухомъ низкій, бархатный, милый его слуху голосъ Нины.

— То-то нѣтъ.

— Идемте со мной; я васъ буду учить.

Онъ покорно послѣдовалъ за ней, немилосердно путалъ фигуры къ общему удовольствію присутствующихъ, наступалъ на ноги сосѣдямъ, задѣвалъ за стулья, но съ серьезнымъ видомъ и добросовѣстно исполнялъ все, что приказывала его дама. А она, тоже серьезная и строгая, брала его за плечи, подталкивала, выговаривала, грозила. И онъ былъ счастливъ, слушая ея распоряженія, а самъ то и дѣло взглядывалъ на нее своими большими черными мечтательными глазами.

— Нѣтъ, слушайте,—сказалъ Риттеръ, подходя къ нему по окончаніи танца,—вы должны поступить въ гусары. Вы чортъ возьми, будете молодчина. А?..

А Жолнинъ подсѣлъ къ Нинѣ и радостно глядѣлъ на нее.

— Хорошо, когда всѣ веселы. Люблю,—сказалъ онъ своимъ задумчивымъ, искреннимъ голосомъ.

— Не всегда весело на душѣ бываетъ.

— Да, да, это правда... Но зачѣмъ вамъ быть печальной? Пока нѣтъ серьезнаго горя, будемъ веселы.

— Пойдемте походимъ по залу,—сказала Нина и они стали медленно ходить, она своей легкой красивой походкой, онъ—тяжелой поступью сильнаго человѣка.

— Мнѣ вотъ что тяжело,—добавила она,—дѣла нѣтъ. Не знаю, чѣмъ заняться.

— А вы какого бы дѣла хотѣли?

— Я и сама не знаю. Но вѣдь человѣку надо имѣть дѣло. Нельзя жить только для удовольствій.

— Разумѣется.

— Вотъ, я и хотѣла бы дѣла. Я удовольствовалась бы и домашнимъ дѣломъ, но ни мамѣ, ни папѣ моя помощь не нужна.

— Значить?..

— Значить надо искать дѣла внѣ дома.

— Правда ваша. И я добавлю: надо не просто дѣла искать а непременно дѣла любви.

— Я и хотѣла бы... такого.

— Такъ оно всегда передъ вами. Только пожелайте!— съ внезапной увѣренностію сказалъ Жолнинъ.

— Научите же, укажите.

— Видите-ли... Я думалъ объ этомъ много... Надо набраться храбрости, не бояться насмѣшекъ, пожатій плечами. Стоитъ только начать. Мало-ли нужды кругомъ васъ. И не въ однихъ деньгахъ нужда, хоть и ихъ надо. Есть семьи бѣдныя, гдѣ некому учить дѣтей, некому обшивать ихъ. Есть больные, за которыми некому ходить. Есть огорченные, а ихъ некому утѣшить. Спуститесь съ вашей высоты генеральской дочери, идите, познакомьтесь съ этими низшими для васъ семьями, войдите къ нимъ безъ грома и блеска, незамѣтно, осторожно, съ великимъ тактомъ, такъ, чтобы они сами не догадались, что вы что-то высшее, чтобы они сразу почувствовали себя ровней съ вами, и чтобы вы сами непременно, непременно позабыли о вашей высотѣ передъ ними... И дѣлайте тихое, незамѣтное дѣло любви. Не испугайтесь при этомъ ни обстановки, ни привычекъ, ни пошлости, которая, пожалуй, поразитъ вашъ утонченный вкусъ. Припоминайте себѣ, что и въ нашемъ кругу пошлости не меньше, только она иначе обставлена...

Онъ уже позабылъ, гдѣ онъ, ходилъ большими шагами, не обращая вниманія на то, что Нина должна чуть не бѣгать за нимъ, размахивалъ руками и говорилъ громче, чѣмъ слѣдовало... Она, наконецъ, взяла его за рукавъ и заставила остановиться у окна. А сама слушала его съ разгорѣвшимися глазами.

— Вотъ оно что,—продолжалъ онъ, не замѣчая насилія Нины,—у насъ только на словахъ равенство, братство; мы только лицемѣримъ, говоря про христіанскую любовь. А на дѣлѣ, какъ это я, баринъ, войду къ мѣщанину Иванову въ домъ съ почтеніемъ къ хозяевамъ; какъ приму бабу Кузьминишну гостей у себя? Если войду, такъ не снимая шапки. „Ты, молъ, братецъ, сдѣлай то-то и то-то“. А гостю приму въ прихожей или на кухнѣ. Ближніе-то для меня начинаютъ съ титулярнаго совѣтника... Да... Ну, а какъ все это сдѣлать,—не расскажешь. Главное въ томъ, чтобы и самой вамъ ни единого разу не подумать, что вы нисходите съ высоты въ низины. Подумаете—тогда бѣда; все пропадетъ... Главное, самой понять, повѣрить, что вы рѣшительно ничѣмъ не лучше и не выше, а, пожалуй, и ниже самого послѣдняго изъ этихъ низшихъ...

— О, да, ниже, ниже, восторженно прошептала дѣвушка.

— Ну, когда сумѣете понять все это, тогда легко будетъ войти туда, гдѣ нужда, горе, отчаяніе, войти не благодѣтельницай, а слугой... А тогда...

Его огромные глаза горѣли почти вдохновеніемъ. Нина тоже съ восторгомъ глядѣла на него.

— Говорите, говорите.

— Тогда сразу спадетъ слѣпота, которая всѣхъ одолѣла. Сразу увидите, какъ просто, какъ радостно и сладко то дѣло любви, котораго многіе напрасно ищутъ...

Ихъ разговоръ опять становился громкимъ, а оживленные лица обращали на себя вниманіе. Серафима Сергѣевна слегка встревожилась, опасаясь, чтобы все это не показалось неприличнымъ. Она подошла къ нимъ своей великолѣпной походкой, величественная, какъ королева, и приложила къ глазамъ пенснэ.

— О чемъ это вы такъ горячо разсуждаете?—протянула она, дотрогиваясь до локтя Жолнина.

Но послѣдній съ обычной у него разсѣянностью не замѣтилъ ея прихода, машинально отстранилъ локоть и продолжалъ разговоръ, выражавшій его задушевные мысли.

— Да. И тогда высшая правда, та правда, которой мы оба ищемъ, будетъ открываться по немногу...

— Но только вотъ что,—добавилъ онъ вдругъ съ жалкой стыдливой улыбкой,—я все это... могу на словахъ... А на дѣлѣ не умѣю.

— Мой другъ,—перебила его недовольно Серафима Сергѣевна,—высшая правда въ томъ, чтобы на вечерѣ танцевать, а не занимать барышень философіей. N'est ce pas?

Она позолотила слова веселой улыбкой, но рѣшительнымъ жестомъ взяла дочь подъ руку и пошла.

— Нѣтъ, позвольте,—началь было Жолнинъ, но потомъ сразу опомнился, конфузливо оглянулся и покорно склонилъ голову.

— Простите, я увлекся.

— Вы, смотрите, не увлекайте въ вашу философію мою Ниночку. Она вѣдь у меня горячая головка... Ахъ, вы мечтатель, мечтатель!.. И когда вы образумитесь?

— Виноватъ, кругомъ виноватъ.

— Ну, идемъ. Молодежь хочетъ petits jeux начинать...

Она удалилась подъ руку съ дочерью. Но во весь остальной вечеръ Жолнинъ часто встрѣчался глазами съ Ниной и видѣлъ, что дѣвушка глядитъ на него ласковымъ и радостнымъ взглядомъ.

П. Булыгинъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Посадскіе избирательные сходы XVIII столѣтія.

Опредѣливъ съ нѣкоторой точностью обязательныя формальности для созыва избирательныхъ сходовъ и для написанія выборнаго приговора, практика главнаго магистрата съ меньшей опредѣленностью, съ большими колебаніями трактовала вопросъ о порядкѣ самой избирательной процедуры. Въ этомъ отношеніи мѣстный обычай гораздо труднѣе поддавался указной регламентации. Съ одной стороны, центральная власть нерѣдко сталкивалась здѣсь съ слишкомъ жгучими интересами мѣстнаго населенія, съ другой стороны, введенію единообразныхъ порядковъ мѣшала въ этомъ случаѣ неустойчивость, двойственность тѣхъ основныхъ точекъ зрѣнія на значеніе выборной службы и самыхъ выборовъ, которыми руководились и сами посадскія общества, и органы центральнаго управленія. Мы замѣтили нѣсколько выше, что въ текстѣ избирательныхъ приговоровъ можно уловить указаніе на *два момента*, изъ которыхъ слагалась сущность избирательнаго акта. Это—1) облеченіе избираемыхъ лицъ „полною мочью“ на занятіе соотвѣтственныхъ должностей: „...по указу Е. И. В.—ва... выбрали мы въ бургомистры (имя и фамилія), въ ратманы (имя и фамилія)...“ и 2) „заручное“, т. е. скрѣпленное подписями избирателей удостовѣреніе въ томъ, что избранныя лица „къ тому дѣлу пригодны“: „а...они люди пожиточные и первостатейные и грамотѣ умѣющіе, въ томъ мы и приговоръ сей дали за своими руками“.

Теперь спрашивается, какимъ образомъ совмѣщались эти оба момента въ одномъ и томъ же избирательномъ актѣ? Укладывались ли они мирно въ опредѣленную стройную комбинацію или это были два контрастирующія и конкурирующія начала, своей взаимной борьбой вносившія смуту въ правильное теченіе избирательной практики посадскихъ обществъ? Отвѣтить на эти вопросы значитъ понять истинный характеръ посадскихъ выборовъ прошлаго столѣтія во всемъ ихъ своеобразіи. Для этой цѣли намъ предстоитъ войти въ детальныя анализы различныхъ фактовъ изъ исторіи посадскихъ выборовъ. Изучая такимъ образомъ

избирательную процедуру, практиковавшуюся на мірских посадских сходахъ, мы подходимъ къ самой сущности вопроса о роли этихъ выборовъ въ общинно-посадской жизни XVIII столѣтія.

Въ самомъ дѣлѣ, тѣ или другія формы избирательной процедуры находились въ непосредственной связи съ общей постановкой посадскихъ выборовъ. Если первенствующее значеніе получалъ первый изъ отмѣченныхъ нами выше моментовъ избирательного акта, въ такомъ случаѣ вся избирательная процедура должна была быть рассчитана на то, чтобы результаты выборовъ возможно полнѣе и правильнѣе выражали коллективную волю посадской общины, чтобы общественныя полномочія были въ концѣ концовъ переданы лицамъ, дѣйствительно пользующимся довѣріемъ большинства населенія даннаго посада. Это могло быть достигнуто только съ помощью упорядоченной избирательной процедуры, обеспечивающей всѣмъ законнымъ членамъ мірскихъ собраний равномѣрное вліяніе на исходъ выборовъ. Иныя консеквенціи предполагались другимъ отмѣченнымъ нами моментомъ избирательного акта. Избиратели ручались своими подписями за наличность у избранныхъ лицъ извѣстныхъ качествъ, обуславливающихъ ихъ служебную пригодность. Ручались передъ кѣмъ? На этотъ вопросъ намъ отвѣчаетъ правительственная практика. На подписавшихся подъ выборами избирателей обращались казенныя взысканія за всѣ упущенія избранныхъ ими магистратскихъ членовъ въ тѣхъ случаяхъ, когда имущественная отвѣтственность самихъ этихъ членовъ была уже исчерпана. Опираясь на избирательный актъ, правительственная власть трактовала избирателей, какъ поручителей передъ казною за выбранныхъ ими лицъ. Спеціальный изслѣдователь древне-русскаго поручительства *) усматриваетъ его сущность „въ удостовѣреніи поручителя въ готовности и способности главнаго обязаннаго исполнить обязательство и въ принятіи на себя отвѣтственности исполненіемъ сего обязательства или вознагражденіемъ убытковъ“. При этомъ Капустинъ замѣчаетъ, что въ отличіе отъ современнаго намъ законодательства въ древнемъ русскомъ правѣ поручительство по договорамъ съ казною ни по существу, ни по прибавочнымъ условіямъ не представляло никакихъ особенностей сравнительно съ поручительствомъ по личному пайму“ (стр. 299). Стоя на почвѣ этихъ воззрѣній, правительственная практика изучаемой эпохи приурочивала къ избирательному акту всѣ тѣ *последствія*, которыя истекали и изъ акта поручительства. Это отражалось и на своеобразномъ трактованіи вопросовъ, касающихся избирательной процедуры. Вопросъ о томъ, насколько правильно и полно избирательный приговоръ выражаетъ собою

*) С. Капустинъ. «Древне-русское поручительство». Юридическ. Сборникъ Мейера.

коллективную волю посадской общины, отступать при этомъ на второй планъ, совершенно затушевываясь другимъ вопросомъ: насколько солидно и прочно обставлялось поручительство по избраннымъ кандидатамъ. Обращаясь къ анализу дошедшихъ до насъ дѣлопроизводствъ по посадскимъ выборамъ XVIII ст., мы и постараемся прослѣдить взаимоотношеніе обѣихъ указанныхъ тенденцій въ избирательной практикѣ того времени.

Мы видѣли выше, какъ мало былъ затронутъ внутренній распорядокъ избирательнаго схода законодательствомъ прошлаго вѣка. Законодатель предоставилъ въ этомъ отношеніи широкій просторъ самостоятельности міра, отдалъ судьбу посадскимъ выборовъ почти всецѣло въ руки боровшихся на мірскихъ сходахъ партій. Это не мѣшало установленію въ нѣкоторыхъ посадахъ весьма упорядоченныхъ формъ избирательной процедуры. Разсматривая ходъ избирательныхъ собраній въ различныхъ посадахъ, мы замѣчаемъ тамъ и сямъ слѣды правильнаго представительства на этихъ сходахъ, которые являлись въ этихъ случаяхъ не безформенной толпой скучившихся въ земской избѣ гражданъ, а собраніемъ представителей отъ cadaго посадскаго двора. Слѣды такого порядка находимъ, напримѣръ, въ Кашинѣ. Въ маѣ 1744 г. въ Кашинѣ состоялись выборы магистратскихъ членовъ, на которыхъ участвовали посадскіе люди всѣхъ трехъ статей. Подъ избирательнымъ приговоромъ подписалось всего 52 человека. Сличая эти подписи съ именной росписью всѣмъ кашинскимъ посадскимъ людямъ, приложенной къ дѣлопроизводству о выборахъ, замѣчаемъ, что въ числѣ избирателей находились какъ отцы посадскихъ семействъ, т. е., главные хозяева тяглыхъ посадскихъ дворовъ, такъ и взрослые сыновья, жившіе при отцахъ. При этомъ ни одинъ посадскій дворъ не имѣлъ на сходѣ болѣе одного представителя, отъ cadaго двора присутствовалъ или отецъ, или одинъ изъ взрослыхъ сыновей даннаго семейства *). Важнымъ указаніемъ на то, что такой составъ схода не явился на этотъ разъ случайно, можетъ служить одна подробность изъ другого дѣла о посадскихъ выборахъ. Въ ноябрѣ 1744 г. каширская воеводская канцелярія представила въ главный магистратъ доношеніе о происходившихъ въ Каширѣ купеческихъ выборахъ и допущенныхъ на этихъ выборахъ различныхъ неправильностяхъ. Въ числѣ неправильностей, могущихъ, по мнѣнію канцеляріи, служить поводомъ къ кассации выборовъ, было указано, между прочимъ, и то, что „во время онаго совѣту къ помянутому выбору руки прикладывали изъ одного двора отецъ съ сыномъ“ **).

*) Дѣла гл. маг. вязка 25 № 9.

**) Ibid. вязка 29, № 102. Въ другихъ мѣстахъ сыновья и при отцахъ участвовали въ сходахъ и подписывались «въ свое и въ отца своего мѣсто», см. напр. в. 37, № 99.

Выборы дѣйствительно были затѣмъ кассированы главнымъ магистратомъ, впрочемъ по совокупности многихъ причинъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ для большей упорядоченности избирательной процедуры общепосадскій избирательный сходъ расчленялся на группы, при чемъ передъ окончательными выборами производились предварительные выборы кандидатовъ. Такъ было, наприм., въ Москвѣ. Когда передъ возстановленіемъ магистратовъ при Елизаветѣ купечество было вновь разобрано по тремъ гильдіямъ, въ январѣ 1742 г. была издана инструкція гильдейскимъ старшинамъ и старостамъ московскаго купечества *). Въ 19 п. этой инструкціи предписывалось выбирать гражданъ къ казеннымъ сборамъ въ службы по гильдіямъ за руками членовъ каждой гильдіи особо. Изъ дѣла о московскихъ выборахъ, сохранившагося въ архивѣ главнаго магистрата, видно, что тотъ же порядокъ примѣнялся и къ выборамъ членовъ московскаго магистрата **). Въ составленной Крестининымъ хроникѣ архангелогородскаго посада находимъ указаніе на то, что этотъ видъ упорядоченія избирательной процедуры способствовалъ огражденію большей независимости низшихъ слоевъ посадскаго населенія, почему послѣдніе и настаивали на его выполненіи съ особенною энергіей. До 1764 года—разсказываетъ Крестининъ—въ архангелогородскомъ посадѣ выборы производились безъ раздѣленія по гильдіямъ, что и приводило къ „порабощенію второстатейныхъ и троестатейныхъ гражданъ подъ иго первостатейныхъ купцовъ“. „Рабоѣпство сіе продолжалось въ въ нашемъ посадѣ со всегдашнюю, почитай, жалобою на пристрастіе въ выборахъ сильныхъ богачей до 1764 года. Но состоявшійся того-жъ года въ коммисіи о коммерціи указъ объ описаніи во всѣхъ російскихъ посадахъ каждыя гильдіи торговъ и промысловъ подалъ причину второй нашей гильдіи стараться производить *собою* выборы, касающіеся до второстатейныхъ и троестатейныхъ безъ зависимости первостатейныхъ; на послѣдокъ же сіе законное право утверждено, *не безъ приказной распри*, бывшей съ магистратомъ въ окончаніи 1765 г. подвигомъ разумныхъ и къ общей пользѣ ревнительныхъ второстатейныхъ гражданъ Василія Шульгина и Елисея Святоносова съ товарищи“... ***).

Въ 20-хъ годахъ встрѣчаемъ въ Москвѣ дробленіе избирательнаго схода по „четвертямъ“. Указы о производствѣ выборовъ пересылаются изъ московскаго магистрата „четвертнымъ старостамъ“, чтобы „оныя старосты каждый въ своей четверти объявили купецкимъ людямъ и согласно съ прочими слободами о томъ подали выборы“ ****). Кое гдѣ особую отъ купцовъ избира-

*) П. с. зак. № 8504.

**) Д. гл. магистр. вязка 13, № 33.

***) Крестининъ, Краткая исторія о городѣ Архангельскомъ. стр. 30.

****) Д. глав. маг. вязка 3, № 20; в. 4, № 29.

тельную группу составляли цеховые, приписанные къ посаду. Въ этихъ случаяхъ собраніе цеховыхъ слѣдовало за собраніемъ купцовъ, при чемъ прежде всего подвергались обсужденію уже опредѣлившіеся результаты купеческихъ выборовъ. Такъ, въ чебоксарскомъ посадѣ, въ 1757 г., вслѣдъ за купеческими выборами состоялся слѣдующій приговоръ чебоксарскихъ „цеховъ“: „понеже въ силу присланныхъ Е. И. В. изъ главнаго магистрата о выборѣ на мѣсто имѣющихся въ чебоксарскомъ магистратѣ присутствующихъ (имена) изъ чебоксарскаго купечества другихъ въ чебоксарскій магистратъ указовъ, *по выбору чебоксарскаго купечества выбраны* и удостоены къ тому служенію чебоксарскіе купцы (имена), которые люди и добрые и къ тому достойные, того ради *и мы чебоксарскіе цехи*, нижеподписавшіеся имяны и находящіеся въ вѣдомствѣ магистратскомъ, *того не препятствуемъ* и на оныхъ выбранныхъ бургомистромъ и ратманомъ съ вышеобъявленнымъ извѣстнымъ одобреніемъ согласно *отъ себя вторичный выборъ сей за руками учиня* для отсылки въ главный магистратъ обще съ купеческимъ выборомъ объявляемъ въ чебоксарскій магистратъ и подписуемся“. Слѣдуетъ 69 подписей *). Такой же порядокъ наблюдается въ пензенскомъ посадѣ. Въ 1755 г. пензенскіе „цехи“ говорили: „понеже онымъ пензенскимъ купечествомъ... такой то... избранъ въ президенты... въ чемъ выборъ учиненъ, того ради *и мы* предписанному бургомистру Крюкову за его поряточные и добрые по командѣ поступки и защищенія быть въ пензенскомъ магистратѣ въ президентахъ желаемъ, что онъ Крюковъ за его тщательныя и рачительныя о насъ защищенія ко опредѣленію его въ президенты весьма достойнъ, въ чемъ мы и сей выборъ на него учинили“. Приговоръ скрѣпленъ 28 подписями **). Обыкновенно цеховые, на ряду съ купцами являвшіеся членами посадской общины, участвовали въ избирательныхъ сходахъ на общемъ основаніи, и мы нерѣдко встрѣчаемъ ихъ подписи въ перемежку съ подписями купцовъ подъ однимъ и тѣмъ же приговоромъ ***). Такимъ образомъ, въ только что приведенныхъ случаяхъ мы должны усматривать не устраненіе цеховыхъ отъ участія въ общепосадскихъ собраніяхъ, а лишь дробленіе общепосадскаго схода на избирательныя группы въ пѣляхъ техническаго упорядоченія избирательной процедуры. Эта процедура дѣйствительно, отливалась иногда въ довольно опредѣленные формы.

Не однажды встрѣчаются указанія на то, что выборы производились въ нѣкоторыхъ посадахъ путемъ правильнаго голосованія намѣченныхъ кандидатовъ. Когда требовалось отразить

*) Д. глав. маг. в. 23, № 36.

**) *ibid.* в. 48, № 39.

***) Арх. гл. маг. в. 40, № 41; в. 30, № 143 и друг.

доносы враждебныхъ выбраннымъ лицамъ партій яснымъ подтвержденіемъ законности и правомѣрности состоявшихся выборовъ, нерѣдко подчеркивалось, что выборы произведены „поголосомъ“ *). Руководить голосованіемъ и слѣдить за его правильностью почиталось въ этихъ случаяхъ обязанностью городского старосты. Въ 1751 г. бургомистръ слободского купечества Платоновъ хлопоталъ у главнаго магистрата указъ объ отставкѣ отъ магистратской службы за старостью, болѣзненностью и долговременнымъ служеніемъ. На сходѣ, созванномъ для новыхъ выборовъ, мнѣнія раздѣлились. 38 человекъ написали выборъ на купца Рысева, но тутъ же состоялся приговоръ, подписанный 41 человекомъ, о томъ, чтобы въ бургомистрахъ по прежнему оставаться Платонову, какъ болѣе молодому сравнительно съ другими первостепенными купцами, имѣющему двухъ сыновей и превзошедшему всѣхъ слободскихъ гражданъ размѣрами торговаго промысла.— Тогда Платоновъ вооружился противъ этого приговора доводами формальнаго характера. Въ поданномъ въ слободской магистратъ предложеніи о вторичномъ предписаніи посадскому міру выбрать вмѣсто него другого бургомистра онъ указалъ, на то, что „градской староста Косаревъ скрѣпилъ тотъ приговоръ, не чиня настоящихъ опросовъ разныхъ голосовъ и не давъ всему средней статьи купечеству подѣ тѣмъ приговоромъ, дабы отъ него противныхъ къ тому голосовъ не было, подписаться“ **). По распоряженію слободского магистрата вновь былъ созванъ избирательный сходъ, на которомъ окончательно былъ избранъ Рысевъ. Главный магистратъ утвердилъ эти выборы. Въ чемъ же состоялъ этотъ „настоящій опросъ разныхъ голосовъ“ при примѣненіи правильнаго голосованія? Отвѣтить на это довольно трудно. За отсутствіемъ узаконеннаго обряда выборовъ, единообразнаго порядка въ этомъ отношеніи не существовало. Встрѣчаются упоминанія о томъ, что голоса подавались письменно ***), что практиковалось и тайное и открытое голосованіе... Въ обширномъ дѣлѣ о посадскихъ выборахъ въ Соликамскѣ приведенъ, между прочимъ, любопытный эпизодъ, показывающій, что порядокъ голосованія устанавливался на самихъ избирательныхъ сходахъ. Въ соликамскомъ посадѣ въ сороковыхъ годахъ всѣми общественными дѣлами вертелъ крупный купецъ и соляной промышленникъ Алексѣй Турчаниновъ. Не выступая лично кандидатомъ на магистратскія должности, онъ держалъ въ своихъ рукахъ весь мірской сходъ и произвольно распоряжался посадскими выборами,

*) *ibid.* в. 19, № 117.

**) Д. гл. маг. в. 31, № 42.

***) *Ibid.* в. 3, № 10. Въ регламентѣ 1721 г., глава VI, сказано, правда, «выборы имать у нихъ на письмѣ», но здѣсь разумѣлось не балотированіе посредствомъ записокъ, а обличеніе окончательныхъ результатовъ выборовъ въ форму писаннаго «приговора».

саяя въ магистратъ нужныхъ ему людей. Въ упомянутомъ дѣлѣ описана неудачная попытка выдти изъ повиновенія всемогущему заводчику, на которую соликамскій міръ рѣшился было въ 1747 г.

Въ сентябрѣ 1747 г. въ соликамскіе бургомистры былъ избранъ купецъ Зыряновъ. Заулисную исторію этого выбора узнаемъ изъ двухъ документовъ: изъ доношенія самаго Зырянова, которое онъ подалъ въ кунгурскій провинціальный магистратъ, прося избавить его отъ магистратской службы и изъ показаній соликамскаго городского старосты Тарутина на слѣдствіи, открытомъ кунгурскимъ магистратомъ по жалобѣ Зырянова. Когда состоялся указъ о производствѣ выборовъ, посадскіе люди долго не рѣшались явиться на сходъ, очевидно уже заранѣе предвидя отъ него большія непріятности. Прошло болѣе недѣли въ безплодныхъ стараніяхъ старосты собрать посадскихъ людей черезъ разсылщиковъ. Но собравшись въ концѣ концовъ въ земскую избу, купцы не замедлили столкнуться съ Турчаниновымъ. Явившись на сходъ, Турчаниновъ сразу „насилъно напалъ“ на Зырянова и, окруживъ его небольшою кучкой своихъ клевретовъ, сталъ принуждать собраніе писать на него „выборъ“. Поднялся ропотъ. Сходъ готовъ былъ превратиться въ свалку. Тогда то и былъ поставленъ вопросъ о способѣ голосованія. „Изъ за великаго принужденія для того выбору—показывалъ послѣ староста Тарутинъ,—мірскіе люди, *по согласію советовавъ, по тому совету* и по прежнему обыкновенію требовали о выборѣ въ бургомистры, тогда купецъ и соляной промышленникъ Алексѣй Турчаниновъ *отпрошниковъ дать запретилъ* и говорилъ, что та служба главная и надлежитъ говорить и выбирать всѣмъ *вслухъ*“. Посадскіе люди не соглашались на открытое голосованіе и лишь только Турчаниновъ, не ожидавшій такой оппозиціи, вышелъ изъ собранія, „всѣ мірскіе люди, видя его (Зырянова), къ той службѣ несостояніе и недостойнство, съ своего мірскаго единогласія написали приговоръ на Герасима Анофріева“. Этотъ приговоръ и былъ скрѣпленъ старостой Тарутинымъ. Однако, на другой же день Турчаниновъ, встрѣтивъ Тарутина въ магистратѣ, жестоко избилъ его и принудилъ его „похерить“ свою подпись подъ вчерашнимъ приговоромъ. Вслѣдъ за тѣмъ подписали новый выборъ на Зырянова *). Итакъ, вопросъ о способѣ голосованія ставился иногда очень остро. Стремленіе установить тайную подачу голосовъ въ той или иной формѣ и вообще регулировать ходъ выборовъ правильною обрядностью исходило, главнымъ образомъ, изъ среды низшихъ, зависимыхъ слоевъ посадскаго населенія, которые видѣли въ этомъ средство самообороны противъ различныхъ давленій на свободу ихъ голосованія. Напротивъ того, крупные мірѣбды и воротилы были прямо заинтересованы въ предпочте-

*) Д. гл. маг. в. 39, № 20.

нии открытаго голосованія. Легко догадаться, какой именно порядокъ голосованія получалъ на практикѣ болѣе широкое примѣненіе.

Какимъ способомъ намѣчались кандидаты, подвергавшіеся окончательному голосованію? Мы только что видѣли одинъ изъ этихъ способовъ: турчаниновскій. Но столь примитивные приемы не согласовались, конечно, съ упорядоченными избирательными сходами. Были случаи, когда кандидаты въ свою очередь намѣчались предварительнымъ голосованіемъ. Въ 20-хъ годахъ сенатъ предписывалъ производить выборы „тройнымъ числомъ“, т. е. изъ намѣченныхъ предварительнымъ голосованіемъ кандидатовъ подвергать окончательной баллотировкѣ по трое на каждую должность. Такимъ образомъ, для выбора двухъ бургомистровъ и трехъ ратмановъ приходилось подвергать окончательной баллотировкѣ намѣченныхъ предварительно шесть кандидатовъ на должности бургомистра и девять кандидатовъ на должности ратмана и т. п. Мы встрѣчаемъ примѣры такихъ выборовъ „тройнымъ числомъ“ въ 20-хъ годахъ прошлаго вѣка въ городахъ Сѣвской провинціи и въ Москвѣ *). По возобновленіи магистратскихъ учреждений при Елизаветѣ опять попадаются упоминанія о такомъ же порядкѣ выборовъ—въ Москвѣ въ сороковыхъ годахъ и въ шестидесятыхъ годахъ въ Ярославлѣ. Такъ, приговоръ о выборѣ президента въ ярославскій магистратъ въ декабрѣ 1763 г. изложенъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „ярославскіе граждане нижеподписавшіеся, выслушавъ Е. И. В. изъ ярославскаго магистрата къ старшинѣ Ѳеодору Охотникову съ товарищи указъ... по числу голосовъ и въ силу онаго указа и учиненнаго нами о выборѣ въ президенты *изъ назначенныхъ нами трехъ кандидатовъ* приговору мы нижеподписавшіеся желаемъ быть президентомъ Ивану Сергѣеву Дьяконову“ **).

Впрочемъ, выборы „тройнымъ числомъ“ получали на практикѣ различное значеніе. Въ только что приведенномъ ярославскомъ примѣрѣ, какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ (наприм., въ сѣвской провинціи въ 20-хъ годахъ), этотъ способъ являлся въ качествѣ средства упорядоченія избирательной процедуры. Сходъ намѣчалъ кандидатовъ и затѣмъ на томъ же сходѣ производилась и окончательная баллотировка, но лишь изъ опредѣленно-ограниченнаго числа кандидатовъ. Это упрощало исходъ выборовъ и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ могло содѣйствовать ихъ большей правильности. Допущеніе къ окончательной баллотировкѣ *не болѣе* извѣстнаго количества—въ данномъ случаѣ не болѣе трехъ—кандидатовъ давало возможность сосредоточить избирательное состоязаніе лишь на тѣхъ лицахъ, которыя группировали около

*) Ibid в. 39, № 28.

**) Д. гл. маг. в. 249, № 1.

себя наибольшее количество голосовъ и являлись, слѣдовательно, избранниками большей части мѣстнаго населенія. Съ другой стороны, допущеніе къ окончательной баллотировкѣ *не менѣе* трехъ лицъ изъ числа намѣчавшихся кандидатовъ могло создавать нѣкоторый противовѣсъ тѣмъ *мѣстнымъ воротиламъ, которые всегда* могли собрать около себя при предварительномъ голосованіи подавляющее большинство голосовъ, ставившее ихъ внѣ всякаго конкурса сравнительно съ прочими кандидатами. При выборахъ „тройнымъ числомъ“ такіе воротилы все же обязательно получали двойное количество соперниковъ при окончательной баллотировкѣ. Конечно, фактическое всемогущество воротиль могло превратить въ фикцію и это соперничество. Именно такой случай встрѣчаемъ при выборахъ въ Брянскѣ въ 1723 г. Избирательная борьба въ Брянскѣ достигла значительной обостренности. Двѣ группы сильныхъ первостатейныхъ купеческихъ фамилій никакъ не хотѣли уступить другъ другу монополіи магистратской службы, которая еще болѣе усиливала ихъ и безъ того властное положеніе въ посадѣ. Обѣ группы попеременно завладѣвали мірскимъ сходомъ и проводили на немъ своихъ кандидатовъ. Въ разгаръ этой борьбы въ Брянскѣ произошло распоряженіе сената производить выборы „тройнымъ числомъ“. Распоряженіе было исполнено, но нисколько не измѣнило характера борьбы. Группа, въ данную минуту владѣвшая избирательнымъ сходомъ, не допускала противную партію проводить своихъ кандидатовъ, и выборы „тройнымъ числомъ“ превращались въ пустую формальность. Въ качествѣ дополнительныхъ кандидатовъ къ главнымъ вожакамъ торжествующей на сходѣ партіи выставлялись не представители враждебной партіи, а ихъ собственные клеветы, лично неприкосновенные къ погонѣ за магистратскимъ мѣстомъ и въ большинствѣ случаевъ не получавшіе при окончательной баллотировкѣ ни одного голоса. Очевидно это были—подставныя лица *).

Если въ подобныхъ случаяхъ выборы тройнымъ числомъ не достигали своей цѣли, то можно указать и такіе факты, когда самая цѣль ихъ получала совершенно иную окраску. Такъ, при выборахъ въ Москвѣ въ 1744 г. произошло слѣдующее. На московскій магистратъ полагалось согласно регламенту одинъ президентъ, 4 бургомистра и 8 ратмановъ. Избравъ на двухъ сходахъ тройное число кандидатовъ: трехъ въ президенты, 12 въ бургомистры и 24 въ ратманы, сходъ, не производя окончательной баллотировки, представилъ всѣхъ этихъ 39 кандидатовъ на усмотрѣніе главнаго магистрата. Главный магистратъ вошелъ въ оцѣнку всѣхъ этихъ кандидатовъ, прибавивъ къ нимъ даже и еще

*) Д. гл. маг. в. 3, № 10. См. результаты окончательныхъ выборовъ съ подсчетомъ голосовъ каждаго кандидата.

трехъ—лицъ, на которыхъ былъ поданъ „выборъ“ всего отъ весьми рукоприкладчиковъ, ставшихъ въ этомъ случаѣ особнякомъ отъ своего міра *). Такимъ образомъ, въ данномъ примѣрѣ примѣненіе выбора „тройнымъ числомъ“ было понято, какъ лишеніе мѣстнаго схода обыкновенно присущаго ему права окончательно намѣчать тѣхъ лицъ, которыя подлежали затѣмъ утвержденію главнаго магистрата. Установленіемъ выбора тройнымъ числомъ, какъ оно было понято въ этомъ случаѣ, общинѣ какъ бы предписывалось указать центральнымъ властямъ возможно большее количество пригодныхъ къ магистратской службѣ лицъ, между тѣмъ какъ опредѣленіе того, кто изъ этихъ вообще пригодныхъ лицъ наиболѣе желателенъ большинству мѣстнаго населенія въ качествѣ магистратскаго члена, почиталось излишнимъ и замѣнялось сравнительной оцѣнкой кандидатовъ по усмотрѣнію центрального органа городского управленія. Стремленіе упорядочить избирательную процедуру ради обезпеченія возможно болѣе полного и правильнаго отраженія въ результатахъ выборовъ воли „міра“ перебивалось въ этомъ случаѣ иной тенденціей, которую намъ еще предстоитъ изслѣдовать.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда окончательный выборъ изъ предложенныхъ предварительно кандидатовъ производился на самомъ мѣстномъ сходѣ, тамъ наблюдались иногда и другого рода формальныя обрядности, устанавливавшія опредѣленные рамки для распорядка выборовъ. Въ іюнѣ 1744 г. состоялись выборы въ магистратскіе члены въ Гороховецкомъ посадѣ. Выбранный въ ратманы посадскій человекъ Чистяковъ подалъ черезъ мѣсяцъ доношеніе въ воеводскую канцелярію съ просьбой отрѣшить его отъ должности. Въ этомъ доношеніи находимъ, между прочимъ, любопытное описаніе избирательной процедуры. Сначала по указу изъ гороховской ратуши было собрано на сходѣ все купечество, которое и выбрало въ бургомистры человека гостинной сотни Петра Ширяева. Затѣмъ, „по прошествіи многого времени въ разныя числа были собранія о выборѣ ратмановъ и на оныхъ нѣкоторыми изъ первостатейныхъ купцовъ выбраны въ ратманы Чистяковъ и Лазаревъ, точію, какъ къ оному, такъ и къ общему, который на помянутаго бургомистра Петра Ширяева и на меня и на сотоварища моего, избраннаго въ ратманы-жъ, представленъ въ воеводскую канцелярію для отсылки въ главный магистратъ *выборамъ*“ нѣкоторые первостатейные купцы, всего 6 человекъ, рукъ не приложили, „представляя во всѣхъ собраніяхъ, что ихъ выбрали не по силѣ указовъ, ибо они не первостатейные и кормятся работою.“ Въ томъ же дѣлѣ находимъ и еще одно интересное указаніе, дополняющее приведенную картину. Нѣкоторые первостепенные купцы не присутствовали на

*) Д. гл. маг. в. 13, № 33.

избирательномъ сходѣ и не приложили рукъ къ окончательному избирательному приговору. Воеводская канцелярія сочла нужнымъ сдѣлать имъ запросъ о причинахъ этого уклоненія. Одинъ изъ нихъ показалъ: „не приложилъ къ выбору рукъ, ибо онъ въ бургомистры Петра Ширяева, а въ ратманы Чистякова не выбиралъ, такъ какъ имѣеть съ ними приказныя ссоры, а на Лазарева онъ никакого подозрѣнія не знаетъ и руки не приложилъ только за тѣмъ, что съ помянутыми Ширяевымъ и Чистяковымъ имѣеть приказныя ссоры“ *). Совокупность чертъ, приведенныхъ въ этихъ двухъ документахъ, рисуешь намъ такую картину: сначала намѣчаются кандидаты на каждую должность въ отдѣльности, для чего созывается послѣдовательно нѣсколько избирательныхъ сходовъ. Затѣмъ, намѣченный такимъ образомъ полный составъ магистратскаго присутствія баллотировъ на заключительномъ сходѣ уже весь сразу, такъ что при несогласіи съ кандидатурой одного изъ баллотировъ избирателю приходится отвергнуть цѣликомъ весь баллотировъ списокъ.

Таковы были различныя формальности избирательной процедуры, о которыхъ встрѣчаются упоминанія въ дѣлахъ о выборахъ въ различныхъ посадахъ. Совокупность этихъ формальностей помогала иногда очень хорошо дисциплинировать ходъ избирательныхъ собраній. Особенной упорядоченностью отличались выборы въ посадахъ Ярославской провинціи въ сороковыхъ годахъ прошлаго столѣтія. Мы находимъ въ этихъ посадахъ единообразный порядокъ избирательныхъ сходовъ, отличающій эту провинцію отъ многихъ другихъ мѣстностей посадской Россіи того времени. Какимъ образомъ установился этотъ порядокъ, объ этомъ у насъ нѣтъ свѣдѣній. Введеніе его во всей провинціи по распоряженію ярославскаго провинціального магистрата представляется мало вѣроятнымъ, такъ какъ провинціальныя и городовыя магистраты были по закону устранены отъ всякаго вмѣшательства въ внутренній распорядокъ избирательныхъ сходовъ. Нельзя предполагать также, что примѣненіе этого порядка было вызвано специальнымъ указомъ главнаго магистрата: въ такомъ случаѣ этотъ указъ непременно былъ бы выписанъ *in extenso* въ дѣлопроизводствѣ по ярославскимъ выборамъ. Не установился ли этотъ единообразный для всей провинціи порядокъ въ результатѣ совместнаго обсужденія желательной избирательной процедуры на одномъ изъ тѣхъ сѣздовъ представителей различныхъ посадовъ, о которыхъ встрѣчаются упоминанія въ магистратскихъ дѣлахъ прошлаго вѣка и на которыхъ мнѣ уже приходилось останавливаться въ другомъ мѣстѣ **)? Мы узнаемъ объ этомъ порядкѣ изъ текста

*) Д. глав. маг. в. 55, № 48.—

**) См. мою статью «Происхожденіе городск. наказовъ 1767 г.» «Русское Богатство». 1898 г., ноябрь.

избирательных приговоров посадов Ярославской провинции. Въ противность общему обыкновенію, эти приговоры, кромѣ самого „выбора“, заключали въ себѣ также и протоколъ всѣхъ избирательныхъ дѣйствій. Такъ какъ эти приговоры наиболѣе полно рисуютъ намъ картину „упорядоченныхъ“ посадскихъ выборовъ прошлаго столѣтія, то мы позволимъ себѣ привести здѣсь въ видѣ образца дословный текстъ одного изъ нихъ. Вотъ избирательный приговоръ ярославскаго посада отъ 18-го мая 1744 г.: „въ ярославской ратушѣ ярославское гражданство по присяжной своей должности самую сущую правдою *черезъ неоднократныя гражданъ собранія и совѣты*, выбирая, во-первыхъ, отъ президента и до членовъ на каждую персону въ кандидаты достойныхъ людей по три человѣка и изъ оныхъ трехъ достойныхъ людей *), *требуя на каждого и отъ каждого въ собраніи гражданина* порознь голосовъ и по собраніи тѣхъ голосовъ имѣя *разсужденія* и изъ воспослѣдующихъ за подписками *большаго числа голосовъ* всегражданскимъ согласіемъ выбрали...“ Затѣмъ уже слѣдуютъ имена выбранныхъ и подписи избирателей **). Тотъ же самый текстъ дословно повторяется, напимѣръ, въ избирательномъ приговорѣ кинешемскаго посада 1744 г. съ той лишь разницей, что здѣсь не упоминается о выборахъ „тройнымъ числомъ“, а говорится такъ: „*черезъ неоднократныя гражданъ собранія и совѣты*, выбирая во-первыхъ отъ бургомистра и до членовъ на каждую персону въ кандидаты достойныхъ людей по одному человѣку“... и т. д. ***). Такимъ образомъ избирательная процедура слагалась на этихъ упорядоченныхъ сходахъ изъ слѣдующихъ моментовъ: 1) предварительно намѣчались кандидаты по одному или по трѣмъ числу на каждую должность; это производилось на нѣсколькихъ послѣдовательно созывавшихся сходахъ; 2) созывался заключительный сходъ, которому предъявлялся списокъ всѣхъ намѣченныхъ кандидатовъ; 3) этотъ сходъ открывался преніями по обсужденію списка баллотируемыхъ, „имѣли разсужденія“; 4) затѣмъ слѣдовало голосованіе, состоявшее въ поголовномъ опросѣ всѣхъ присутствующихъ на сходѣ и въ правильномъ подсчетѣ поданныхъ голосовъ; 5) результаты выборовъ опредѣлялись большинствомъ голосовъ. Мнѣніе большинства считалось приговоромъ всей общины: „всегражданскимъ согласіемъ“.

Приведенные образцы упорядоченныхъ избирательныхъ сходовъ представляли собою, такъ сказать, вершину того правильного благоустройства, какого могла достигать иногда практика посадскихъ выборовъ прошлаго столѣтія. Эти образцы показыва-

*) «Выборы тройнымъ числомъ»

**) Д. главн. маг., вѣзка 24, № 54.

***) Д. главн. маг., вѣзка 41, № 80.

ютъ, что въ средѣ посадскаго населенія или тѣхъ круговъ его, которые стояли ближе къ посадскому самоуправленію, несомнѣнно существовало сознаніе необходимости правомѣрно урегулировать дѣятельность посадскаго схода вообще и въ частности организацію общинныхъ выборовъ. Тѣ формы избирательной процедуры, которыя практиковались, наприм., въ посадахъ Ярославской провинціи, устанавливали хоть какія нибудь рамки неограниченному произволу мѣстныхъ воротилъ, стремившихся поработить міръ и всевластно хозяйничать на мірскомъ сходѣ. Стремленіе къ выработкѣ правильнаго избирательнаго обряда опиралось на потребность вѣрнѣе обезпечить свободу выборовъ для болѣе широкаго круга посадскихъ избирателей. Это стремленіе исходило изъ среды самого посадскаго населенія и мы уже могли видѣть на приведенномъ выше эпизодѣ изъ исторіи соликамскихъ выборовъ, цѣною какихъ тяжелыхъ междоусобицъ приходилось отстаивать каждый шагъ при установленіи подобной правильной процедуры въ практикѣ избирательныхъ сходовъ.

Изъ всего сказаннаго явствуетъ, что въ примѣненіи такой правильной процедуры были заинтересованы прежде всего низшіе слои посадской общины и тамъ, гдѣ мы встрѣчаемся съ большей или меньшей упорядоченностью посадскихъ выборовъ, мы вправѣ усматривать побѣду маломочныхъ элементовъ посадскаго населенія. Подтверженіе этому предположенію мы находимъ въ упомянутой уже хроникѣ архангелогородскаго посада, составленной Крестининымъ. Точный бытописатель современныхъ ему событій изъ жизни мѣстнаго посада, Крестининъ нерѣдко вскрываетъ передъ нами бытовую подладку такихъ явленій посадской дѣйствительности прошлаго вѣка, которыя отразились лишь съ чисто внѣшней, формальной стороны въ сохраненныхъ нашими архивами юридическихъ актахъ. Вотъ почему Крестининская хроника не разъ послужитъ намъ объяснительнымъ ключемъ къ истолкованію этихъ актовъ. Описавъ яркими красками „раболѣнное,—по его выраженію,—состояніе законныя гражданскія свободы архангелогородскаго посада“ подѣ правленіемъ небольшой кучки мѣстныхъ богачей, Крестининъ указываетъ на отсутствіе правильныхъ формъ дѣлопроизводства на мірскихъ сходахъ, какъ на одинъ изъ важныхъ источниковъ царившаго надъ посадомъ произвола. „Исправленіе разума нашихъ согражданъ вѣденіемъ—говоритъ Крестининъ—столь было медлительно, что въ архангелогородскомъ посадѣ даже до 1766 г. не знали какъ должно въ мірскихъ дѣлахъ *большинствомъ голосовъ одерживать верхъ надъ силою и злобою богатствъ*.“ Въ „хронолигической росписи архангелогородской исторіи“ подѣ 1766 г. Крестининъ отмѣчаетъ: „*первый* выборъ въ архангелогородскомъ посадѣ на магистратскаго ратмана *черезъ даваніе голосовъ избирателей на бумагахъ под-*

писаніемъ ихъ имянъ подѣ именами кандидатовъ *)“. Изъ предшествоващаго видно, что это нововведеніе явилось съ точки зрѣнія вдумчиваго наблюдателя тогдашней посадской жизни и личнаго участника въ дѣлахъ посадскаго самоуправленія несомнѣнной побѣдой посадской мелкоты „надъ силою и злобою богатыхъ“. Примѣры посадовъ Ярославскаго уѣзда свидѣтельствуютъ о томъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ установленіе болѣе или менѣе правильно оформленной избирательной процедуры было достигнуто гораздо ранѣе, чѣмъ на родинѣ Крестинина. Очевидно, въ силу какихъ то условій обстоятельства сложились тамъ благоприятныя для стремленій низшихъ элементовъ посадскаго населенія.

Что касается правительственной власти, то ни общее законодательство прошлаго вѣка о посадскомъ управленіи, ни распорядительная дѣятельность главнаго магистрата до самого конца 60-хъ годовъ не только не проявляли инициативы въ выработкѣ правильнаго обряда выборовъ, но и не оказывали существенной поддержки попыткамъ къ его установленію тамъ, гдѣ такія попытки обнаруживались въ средѣ самихъ посадскихъ общинъ. Наряду съ приговорами такихъ избирательныхъ сходовъ, какъ ярославскіе, кинешемскіе и имъ подобные, главный магистратъ утверждалъ и признавалъ законными выборы, происходившіе и при совершенно иныхъ условіяхъ и приѣмахъ.

Всѣ разсмотрѣнныя нами до сихъ поръ формы избирательной процедуры являлись лишь рѣдкими единичными исключеніями въ господствовавшей практикѣ избирательныхъ сходовъ. Не только такой законченный по своей правильности распорядокъ, который примѣнялся въ Ярославской провинціи, но даже и тѣ попытки установить отдѣльныя части этого распорядка, которыя мы встрѣтили въ другихъ мѣстахъ, можно сказать, тонуть въ подавляющей массѣ фактовъ иного рода.

Въ видѣ контраста правильно регулируемымъ избирательнымъ сходомъ Ярославской провинціи я приведу теперь наиболѣе типичные образчики посадскихъ выборовъ болѣе обычнаго характера. На насъ тотчасъ пахнеть отъ нихъ глубоко архаическимъ духомъ. Въ 1744 г. въ Каширѣ были произведены магистратскіе выборы, результатомъ которыхъ остались недовольны нѣкоторые купцы первой и средней статей. Недовольные не замедлили подать челобитье въ каширскую воеводскую канцелярію. Въ этомъ-то челобитѣ мы и находимъ весьма яркую картинку избирательнаго схода, такъ сказать, средняго, наиболѣе общераспространеннаго типа. Вотъ что мы здѣсь читаемъ: „повѣщать де имъ каширскаго купечества староста Вас. Свѣшниковъ, чтобы де имъ быть въ каширской ратушѣ для совѣту и того же де числа пришли де

*) Крестининъ loc. cit. стран. 12 и 119.

они въ оную каширскую ратушу для помянутаго совѣту и въ той де ратушѣ собраны купцы многое число и тотъ староста Вас. Свѣшниковъ объявилъ имъ, что прислана де изъ каширской канцеляріи промеморія, а о чемъ, того не объявилъ и сказалъ, чтобы пообождать имъ бургомистра, а какъ пришедъ бургомистръ Аврамъ Казаковъ и приказалъ вычестъ присланный Е. И. В. изъ главнаго магистрата указъ... (слѣдуетъ текстъ указа о производствѣ выборовъ)... и по прочтеніи вышеписаннаго указу *они именованные стали между собой о вышеписанномъ вновь выборы совѣтовать* и въ то число въ той каширской ратушѣ случились каширскіе купцы Федоръ Еремѣевъ и незнаемо ради чего съ первостатейнымъ купцемъ Ѡ. Калининымъ учинили великій шумъ ссору... (слѣдуютъ доказательства того, что шумѣвшіе купцы не имѣли права даже присутствовать на избирательномъ сходѣ, такъ какъ одинъ изъ нихъ состоитъ подъ слѣдствіемъ по „нѣкому интересному дѣлу“, т. е. по казенному начету, а другіе все—люди меньшей статьи, „у которыхъ не точію никакого торговаго промыслу, но и двора не имѣется“) и оныя купцы о томъ выборѣ знатно съ согласія съ помянутымъ бургомистромъ Ав. Казаковымъ во оной ратушѣ учинили великій шумъ и крикъ“...

Сходъ разошелся на этотъ разъ безъ всякихъ результатовъ. Спустя уже мѣсяцъ, староста вторично созвалъ сходъ для производства тѣхъ же самыхъ выборовъ. Лишь только по прочтеніи указа о выборахъ присутствующіе на сходѣ „начали между собой совѣтовать“, таже шумная компанія малотяглыхъ купцовъ, „не согласясь“ съ купцами, подписавшими впоследствии протестъ противъ этихъ выборовъ, „своею волею“ написала приговоръ о выборѣ угодныхъ ей кандидатовъ *). Въ описанномъ эпизодѣ изъ практики посадскихъ выборовъ мы не находимъ уже никакихъ слѣдовъ сколько нибудь упорядоченной избирательной процедуры. Староста собираетъ сходъ. Прочитывается указъ главнаго магистрата о производствѣ выборовъ, и купцы начинаютъ „между собой совѣтовать“,—но при этомъ нѣтъ и помина ни о правильныхъ преніяхъ, ни о правильномъ голосованіи. Сходъ разбивается на группы, между которыми тотчасъ же открываются враждебныя дѣйствія. Сначала группы, не обращая вниманія другъ на друга, начинаютъ писать каждая свой собственный выборъ. Затѣмъ путемъ уговоровъ и угрозъ группы вербуютъ подписи подъ эти „выборы“, взаимно исключаяющіе другъ друга. Эта операція отнюдь не носитъ характера послѣдовательнаго опроса всѣхъ наличныхъ членовъ схода о томъ, къ какому „выбору“ каждый изъ нихъ склоняется. Группѣ достаточно лишь набрать подъ свой „выборъ“ нѣкоторое количество подписей. Вербованіе подписей ежеминутно переходитъ въ насильственные столкновенія. Такъ какъ при

*) Д. глав. маг. вѣзка 29, № 102.

отсутствіи правомѣрныхъ избирательныхъ формъ нѣтъ возможности устранить „выбора“ противной партіи на почвѣ правильной избирательной борьбы, то очень часто одна изъ группъ „срываетъ сходъ“, подымая шумъ и драку, превращая сходъ въ сплошное побоище и въ концѣ концовъ разгоняя собравшихся. Любопытно отмѣтить, что купцы, недовольные результатомъ избирательныхъ собраний въ Каширѣ, добиваясь отмѣны состоявшихся выборовъ и перечисляя съ этой цѣлью въ своемъ доношеніи допущенныя при выборахъ неправильности, какъ то: присутствіе на сходѣ мѣстнаго бургомистра, участіе въ сходѣ людей малолетнихъ и состоящихъ подъ слѣдствіемъ,—ничего не возражаютъ противъ самой процедуры собиранія подписей подъ групповые приговоры, очевидно и не представляя себѣ возможности какого либо иного избирательнаго распорядка.

Въ pendant къ описанному эпизоду можно привести въ качествѣ типичнаго образчика неупорядоченныхъ посадскихъ выборовъ—выборы, состоявшіеся въ томъ же году въ козьмодемьянскомъ посадѣ. Вслѣдствіе затянувшихся несогласій среди посадскаго населенія Козьмодемьянска по поводу выборовъ магистратскихъ членовъ въ Козьмодемьянскъ былъ отправленъ по распоряженію главнаго магистрата бургомистръ изъ Свіязска для разбора поступившихъ отъ козьмодемьянскихъ купцовъ многочисленныхъ челобитій. Изъ распросныхъ рѣчей, занесенныхъ въ донесеніе о результатахъ этого слѣдствія, выясняется такой ходъ козьмодемьянской избирательной компаніи 1744 г. На первомъ избирательномъ сходѣ начали писать выборъ на трехъ посадскихъ людей—на одного въ бургомистры и на двухъ—въ ратманы. Послѣ приложенія немногихъ рукъ прежній бургомистръ заявилъ подозрѣніе на одного изъ избираемыхъ, и это обстоятельство остановило дальнѣйшій ходъ рукоприкладства. Одинъ купецъ взялъ приговоръ изъ рукъ старосты, чтобы посмотреть, сколько тамъ набралось подписей, но староста выхватилъ приговоръ обратно, приговоръ разорвался и затѣмъ куда то исчезъ. Слѣдователь уже позднѣе нашелъ его въ козьмодемьянской ратушѣ надорваннымъ сверху, подписей подъ нимъ оказалось 34. Между тѣмъ, другая группа выставила свой приговоръ съ другими кандидатами, собрала подъ нимъ 12 подписей и представила его въ ратушу. Однако, мѣстный бургомистръ отказался представить этотъ приговоръ въ главный магистратъ за малымъ количествомъ подписей. Разумѣется, отъ представителей обѣихъ групп полетѣли челобитія въ главный магистратъ, что и вызвало указъ о разслѣдованіи всего дѣла постороннимъ посаду лицомъ *).

При подобныхъ избирательныхъ порядкахъ—а порядки такого рода представляли собой, повторяю, явленіе господствующее—

*) Д. гл. маг. вѣзка 31, № 25.

сходъ пересталъ служить органомъ выработки и общаго опредѣленнаго постановленія о замѣщеніи выборныхъ должностей, постановленія, обязательнаго для всей общины, какъ формальное выраженіе коллективной воли посадскаго общества. Каждая изъ тѣхъ группъ, на которыя распадался сходъ, стремилась къ обособленной выработкѣ своего собственнаго приговора и каждая изъ нихъ съ одинаковымъ сознаніемъ своего права стремилась выдать свой групповой приговоръ за окончательное рѣшеніе всего общепосадскаго схода. Прямымъ послѣдствіемъ такой постановки дѣла оказывалось то, что избирательный сходъ нерѣдко заканчивался составленіемъ нѣсколькихъ, другъ друга исключающихъ приговоровъ, при чемъ рукоприкладства избирателей распределялись между ними въ неодинаковомъ количествѣ. Спрашивается теперь, который же изъ этихъ приговоровъ входилъ въ законную силу, на какихъ основаніяхъ одинъ изъ приговоровъ предпочитался прочимъ и кому именно было предоставлено производить сравнительную оцѣнку такихъ групповыхъ приговоровъ? Выясненіе этихъ вопросовъ чрезвычайно важно для характеристики истиннаго значенія посадскихъ выборовъ, такъ какъ эти вопросы, внѣ всякаго сомнѣнія, разрѣшались въ непосредственной зависимости отъ общей постановки основъ и задачъ посадскаго самоуправленія.

Окончательное утвержденіе посадскихъ выборовъ принадлежало главному магистрату. Разумѣется, каждая группа отстаивала при этомъ свой „приговоръ“ и отрицала законность и правильность приговоровъ противныхъ ей партій. Потому-то вмѣстѣ съ „приговорами“ въ главный магистратъ поступалъ обыкновенно ворохъ „доношеній“, въ которыхъ заключалась перекрестная критика разнаго рода приговоровъ и различныхъ пріемовъ ихъ выработки. Сопоставляя эти полемическіе аргументы заинтересованныхъ сторонъ съ окончательными резолюціями главнаго магистрата, мы получаемъ возможность выяснить взгляды какъ самихъ посадскихъ обществъ, такъ и центральныхъ установленій на сущность посадскихъ выборовъ. Въ какой мѣрѣ отдѣльная группа посадскихъ людей могла рѣшать выборъ магистратскихъ членовъ за все общество своего посада, иначе говоря, въ какой мѣрѣ почиталось необходимымъ, чтобы выборъ магистратскаго члена обуславливался согласіемъ всего общества, представителемъ котораго долженъ былъ явиться членъ мѣстнаго магистрата въ своей служебной дѣятельности? Вотъ основной вопросъ, разрѣшеніе котораго проливаетъ свѣтъ на роль посадскихъ выборовъ въ общемъ строѣ государственныхъ учреждений и посадскаго самоуправления того времени. Мы видѣли выше попытки урегулировать дѣятельность избирательныхъ сходовъ съ цѣлью обезпеченія большей правомѣрности посадскихъ выборовъ. Эти попытки исходили изъ среды самого посадскаго населенія. Органы центрального управленія не находили основаній противоdѣйствовать

этим попыткамъ, но и не обнаруживали съ своей стороны никакихъ усилій къ ихъ поддержанію и распространенію. Посмотримъ теперь, какъ относился главный магистратъ, этотъ высшій авторитетъ въ вопросахъ посадскаго самоуправленія, къ тѣмъ случаямъ изъ практики избирательныхъ сходовъ, когда само посадское населеніе не обнаруживало ясно сознанныхъ основаній избирательнаго права, путалось въ противорѣчіяхъ, порождаемыхъ столкновеніемъ враждебныхъ партійныхъ интересовъ и нуждалось въ твердомъ объединяющемъ руководствѣ.

Прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что само по себѣ раздѣленіе посадскаго схода на группы и замѣна совмѣстнаго обсужденія заявленныхъ кандидатуръ собираніемъ подписей подъ отдѣльные групповые приговоры вполнѣ допускалось. Требовалось только, чтобы каждая группа составляла свой приговоръ и собирала подъ него подписи не иначе, какъ на общепосадскомъ сходѣ. При отсутствіи правильнаго голосованія, каждая группа могла составить свой приговоръ, нисколько не считаясь съ рѣшеніями остальной части посадскаго населенія, лишь бы этотъ групповой приговоръ оказался скрѣпленнымъ неособенно уже незначительнымъ количествомъ подписей. Очень часто группа формировалась внѣ самаго схода, не какъ результатъ послѣдовавшихъ на сходѣ обсужденій, которыхъ при описанныхъ условіяхъ могло вовсе и не подыматься, а являлась на сходѣ уже въ готовомъ составѣ, съ готовымъ кандидатомъ, являлась иногда даже не для того, чтобы пропагандировать этого кандидата, а просто для того, чтобы выполнить предписанную формальность составленія своего групповаго приговора именно въ стѣнахъ земской избы, во время схода. Могло явиться сразу нѣсколько такихъ готовыхъ группъ. Каждая группа писала свой приговоръ и всѣ эти приговоры отсылались въ главный магистратъ, которому предстояло сдѣлать между ними окончательный выборъ *). Отсюда раскрывается настоящее значеніе тѣхъ споровъ и взаимныхъ насилій между группами, которыми, какъ это показано выше, часто ознаменовывались избирательные сходы. Споры и насилія подымались не потому, что сходу обязательно предстояло выработать какое-нибудь одно постановленіе, согласиться на какомъ-нибудь общемъ рѣшеніи и для того приходилось убѣжденіемъ или насиліемъ устранять противорѣчіе несогласныхъ; споры и насилія возникали лишь по естественному стремленію каждой группы явиться съ своимъ приговоромъ передъ главнымъ магистратомъ безъ всякихъ конкурентовъ, воспрепятствовать подачѣ контръ-приговоръ другихъ группъ. Это было желательно для группы, такъ какъ при наличности нѣсколькихъ приговоровъ всегда оставалось еще вопросомъ, на чей приговоръ падетъ окончательный

*) См. наприм. д. глав. маг. вязка 20, № 17 и мног. друг.

выборъ главнаго магистрата, но это не было необходимо по общимъ правиламъ выборной процедуры. Сходъ созывался не для выработки непрѣмѣнно общаго рѣшенія, а лишь для *единовременнаго* совѣщанія о кандидатахъ, все равно всѣми членами схода сообща или дробно, по группамъ. Для составленія даже совершенно обособленнаго группового приговора группа непрѣмѣнно должна была явиться на общепосадскій сходъ. Избирательный приговоръ, составленный отдѣльной группой „по дворамъ“, помимо схода, признавался незаконнымъ, не подлежащимъ оцѣнкѣ главнаго магистрата, не могущимъ конкурировать съ приговорами, постановленными на сходѣ. Подтверженіе этому мы встрѣчаемъ во многихъ фактахъ избирательной практики. Беремъ для примѣра дѣло о посадскихъ выборахъ въ Брянскѣ. Челобитье, поданное въ 1727 г. въ главный магистратъ отъ брянскаго посада, повѣствуетъ, какъ послѣ выбора членовъ въ брянскій магистратъ „съ общаго совѣту“ бывший брянскій бургомистръ съ кучкой своихъ клеветовъ „своевольствомъ своимъ, безъ совѣту земскаго старосты и знатныхъ посадскихъ людей“ выбралъ на тѣ же мѣста другихъ лицъ. Эти узурпаторы или, какъ ихъ называетъ нашъ документъ, „саможелатели“ насильственно завладѣли ратушей, смертнымъ боемъ и сажаніемъ на цѣпь принуждая земскаго старосту и посадскихъ людей признать ихъ власть и повиноваться ихъ распоряженіямъ. „Своевольство“ и „саможелательство“ признается въ челобитѣ не въ томъ, что группа намѣтила своихъ кандидатовъ, а какъ разъ въ томъ, что она сдѣлала это „безъ совѣту“ съ посадскими людьми, т. е. вѣѣ схода. Потому то эта партія и не рѣшила представить свой приговоръ по общему порядку на утвержденіе главнаго магистрата, а предпочла захватить въ свои руки ратушу формальнымъ приступомъ. Когда въ Брянскѣ пришелъ отвѣтный указъ главнаго магистрата на только что изложенное доношеніе съ утвержденіемъ выборовъ, произведенныхъ „на общемъ совѣтѣ“, и когда земскій староста приступилъ къ оглашенію этого указа на дворѣ ратуши, „саможелатели“ и „самовольные засѣдатели“ толпой двинулись къ ратушѣ, прокладывая себѣ путь камнями и полѣньями. Ударили въ набатъ. Началась общая свалка. Только случившійся въ Брянскѣ для переписи душъ майоръ астраханскаго кавалерійскаго полка съ оберъ-офицерами разогнали толпу и возстановили порядокъ *).

Естественно возникаетъ вопросъ, зачѣмъ нуженъ былъ общепосадскій избирательный сходъ, если для производства выборовъ не требовалось непрѣмѣнно общаго рѣшенія всего схода, если отдѣльныя группы могли функционировать на сходѣ, какъ совершенно обособленные кружки избирателей? Отчего для постано-

*) Д. глав. маг. вязка 3, № 10.

вленія группового приговора требовалось обязательное присутствіе группы на сходѣ, если, и явившись на сходѣ, группа могла начать и кончить составленіе своего приговора вполне изолированно?

Здѣсь дѣйствовали двоякаго рода соображенія. Съ одной стороны собраніе подписей подѣ избирательные приговоры на общепосадскомъ сходѣ, въ присутствіи земскаго старосты и на глазахъ всѣхъ членовъ схода,—хотя бы то были приговоры групповые, а не общепосадскіе,—разсматривалось, какъ гарантія рукоприкладчиковъ отъ насильственныхъ давленій со стороны мѣстнымъ вожаковъ и воротилъ. Насколько подобная гарантія была дѣйствительна, это вопросъ другой, но этотъ мотивъ очень часто звучитъ въ тѣхъ доношеніяхъ, которыя были подаваемы въ главный магистратъ съ дѣлюю добиться отмѣны избирательнаго приговора, какъ незаконнаго. Нерѣдко въ этихъ доношеніяхъ особенно подчеркивается то обстоятельство, что подписи подѣ приговоръ были собираемы не на сходѣ, а „по дворамъ“, съ угрозами и насиліями, иногда даже ранѣе составленія текста самаго приговора, подѣ чистымъ листомъ бумаги *). Во избѣжаніе такихъ-то злоупотребленій рукоприкладство и должно было производиться „на общепосадскомъ совѣтѣ“. Другое соображеніе имѣло болѣе глубокій хаактеръ и вытекало изъ пониманія самаго существа посадскихъ выборовъ. Допуская свободное дробленіе избирательнаго схода на обособленныя избирательныя группы, предоставляя себѣ лишь окончательный выборъ изъ приговоровъ различныхъ группъ, правительственная власть не смотрѣла на магистратскіе выборы, какъ на коллективную функцію всей посадской общины, ей нужно было лишь закрѣпить за каждымъ выборнымъ магистратскимъ членомъ болѣе или менѣе надежную группу поручителей ради обезпеченія казеннаго интереса, сопряженнаго съ дѣятельностью магистратскихъ учреждений. Вотъ почему, если въ главный магистратъ поступалъ „выборъ“ на магистратскихъ членовъ, подписанный группой посадскихъ людей, и всѣ рукоприкладчики удовлетворяли требованіямъ „добрыхъ поручителей“, приговоръ былъ утверждаемъ безъ дальнѣйшихъ справокъ о томъ, насколько выборъ данныхъ лицъ отвѣчаетъ желаніямъ всей посадской общины. Правительственная власть желала имѣть дѣло не съ избирателями, а съ поручителями, не съ посадской общиной во всей ея совокупности, а съ данной группой посадскихъ людей. Съ этой правительственно-фискальной точки зрѣнія поименное голосованіе каждаго предложеннаго кандидата всѣми различными членами схода и представлялось совершенно излишней роскошью. Достаточно было лишь выдѣлить изъ среды посадскаго населенія извѣстную группу надежныхъ поручителей по

*) Дѣла гл. маг., вязка 19, № 117.

выбраннымъ лицамъ. Но прежде чѣмъ утвердить выборы, для правительственной власти важно было удостовѣриться, какое количество и какія именно группы поручителей можетъ выдѣлить изъ своей среды данная посадская община: это давало возможность предпочесть такую группу, которая представлялась наиболѣе надежной, и слѣдовательно утвердить именно тѣхъ кандидатовъ, которые обставлены болѣе солиднымъ поручительствомъ. Нужно было, чтобы каждая составившаяся избирательная группа стала *общезвѣстна* на посадѣ, чтобы ея выдѣленіе тотчасъ же могло вызвать выдѣленіе всѣхъ другихъ конкурирующихъ группъ, какія только могли сформироваться въ средѣ даннаго посада, чтобы, такимъ образомъ, передъ центральной властью былъ вскрытъ весь тотъ наличный матеріалъ, изъ котораго она могла-бы сдѣлать затѣмъ свой выборъ. Этой-то пѣли и достигалъ посадскій избирательный сходъ. Явившись на сходъ для скрѣпленія рукоприкладствомъ своего приговора, группа гласно и официально констатировала свое выдѣленіе. Если это не вызывало на сходѣ образованія другихъ группъ съ избирательными контръ-приговорами, то правительственная власть была тѣмъ удостовѣрена, что ей въ данномъ случаѣ не изъ чего дѣлать выбора, и групповой приговоръ утверждался, почему составленіе группового приговора внѣ схода и не считалось правильнымъ.

По тѣмъ же основаніямъ выставлялось и другое обязательное требованіе: избирательный сходъ долженъ былъ созываться непременно съ вѣдома всей общины. Пользуясь тѣмъ, что для посадскаго схода не было установлено обязательнаго минимума присутствующихъ членовъ, извѣстная партія могла явиться въ земскую избу, заручиться присутствіемъ земскаго старосты и, по соблюденіи этихъ необходимыхъ для законнаго схода формальностей, всетаки составить приговоръ съ участіемъ однихъ своихъ приверженцевъ безъ вѣдома, а потому и безъ противодѣйствія другихъ группъ посадскаго населенія. Въ попыткахъ такого рода не было недостатка. Къ нимъ неоднократно прибѣгала, напримѣръ, кучка солепромышленниковъ въ Старой Руссѣ, дѣйствовавшая обособленно отъ остальной общины. Въ жалобѣ, которую подали на ихъ дѣйствія прочіе купцы старорусскаго посада въ 50-хъ годахъ прошлаго вѣка, указываются факты къ родѣ слѣдующихъ: семь человекъ этихъ солепромышленниковъ являются въ земскую избу, приводятъ съ собою не болѣе 19 человекъ купцовъ, „кто кого хотѣлъ“, призываютъ старосту и пишутъ приговоръ отъ лица всего посада объ отрѣшеніи нѣкоторыхъ членовъ мѣстнаго магистрата. Этотъ приговоръ, лишь только онъ сталъ извѣстенъ, тотчасъ вызвалъ противъ себя протестъ, скрѣпленный массой подписей, которыя заняли четыре полныхъ страницъ. Черезъ мѣсяцъ повторилось тоже самое. Намѣтивъ къ удаленію еще одного магистратскаго члена,

8 солепромышленниковъ призвали городского старосту и „безъ собранія полномочнаго градскаго совѣта“, тайно отъ прочаго старорусскаго купечества написали приговоръ о смѣнѣ этого члена и выборъ на его мѣсто другого. Однако, на этотъ разъ прочіе купцы, узнавъ о томъ, что въ земской избѣ идетъ незаконное засѣданіе, „пришедъ, такой ихъ приговоръ испровергнули и оныя вымышленники изъ градской земской избы со стыдомъ вышли“ *).

Итакъ, о предстоящемъ въ земской избѣ сходѣ долженъ былъ быть извѣщенъ чрезъ повѣстки весь посадъ. Въ противномъ случаѣ собраніе не было признаваемо „полномочнымъ градскимъ совѣтомъ“. Впрочемъ, главный магистратъ признавалъ это правило на практикѣ лишь постольку, поскольку оно являлось необходимымъ для вышеуказанной цѣли, для выясненія всѣхъ наличныхъ въ посадѣ группъ, способныхъ представить собою надежное поручительство за избираемыхъ лицъ. Когда перипетіи партійной избирательной борьбы сами собою выдвигали на сцену всѣ наличныя въ посадѣ группы, главный магистратъ уже не настаивалъ на непремѣнномъ исполненіи формальнаго оповѣщенія всѣхъ посадскихъ людей о созывѣ каждаго избирательнаго собранія. Характернымъ образчикомъ такого оппортунистскаго отношенія главнаго магистрата къ правиламъ формальной обрядности избирательныхъ сходовъ можетъ служить слѣдующій эпизодъ. На московскихъ выборахъ въ апрѣлѣ 1744 г. на двухъ избирательныхъ собраніяхъ былъ произведенъ выборъ кандидатовъ на магистратскія должности „тройнымъ числомъ“. Кромѣ того, во время второго избирательнаго собранія секретарь московской ратуши объявилъ, какъ доносили послѣ купцы, „*незнаемо гдѣ написанный* безъ общаго нашего всего московскаго первой и второй гильдіи купеческаго совѣта приговоръ“ отъ лица всего 8 человекъ, изъ которыхъ 4 между собой родственники, на другихъ кандидатовъ. Этотъ выборъ вмѣстѣ съ прочими былъ представленъ въ главный магистратъ. И вотъ, составляя изъ предложенныхъ кандидатовъ присутствіе московскаго магистрата, главный магистратъ утвердилъ въ томъ числѣ и одного изъ кандидатовъ, намѣченныхъ приговоромъ восьми, найдя нужнымъ, впрочемъ, прибѣгнуть въ этомъ случаѣ къ спеціальной мотивировкѣ: „хотя о немъ и представлено—сказано въ резолюціи главнаго магистрата—что онъ выбранъ *не съ согласія купечества*, а малымъ числомъ и что онъ уже въ 1742 г. даже и сверхъ срока былъ бургомистромъ, *но другого законнаго подозрѣнія, почему бы ему не быть президентомъ не представлено*, а хотя его выбрали и немногіе купцы, но за то самыя лучшіе и первостатейныя“ *).

Избранникъ правильно созваннаго схода и избранникъ келейно спѣвшейся кучки поставлены здѣсь на совершенно равную ногу.

*) См., напр., Дѣла гл. маг., вязка 8, № 2 и мн. друг.

Ясно, что главный магистратъ цѣнилъ правильно созванный сходъ лишь какъ сравнительно болѣе пригодное орудіе для выдѣленія изъ посадской общины самой надежной группы поручителей, а чуть только подобная группа подвергивалась сама собой, главный магистратъ игнорировалъ формальную сторону избирательной процедуры.

Вышеизложенныя замѣчанія объясняютъ и еще одну характерную особенность выборной процедуры. За исключеніемъ рѣдкихъ сравнительно случаевъ какихъ-либо явныхъ несообразностей въ избирательныхъ дѣйствіяхъ, главный магистратъ входилъ въ обсужденіе магистратскихъ выборовъ лишь тогда, когда къ нему поступало *нѣсколько* групповыхъ приговоровъ, которые и предстояло подвергнуть сравнительной оцѣнкѣ. Въ противномъ случаѣ, имѣя дѣло лишь съ *однимъ* приговоромъ, главный магистратъ обыкновенно утверждалъ его безъ дальнѣйшихъ изслѣдованій, хотя бы даже въ этомъ приговорѣ были такія черты, которыя непременно вызвали бы кассацию приговора при сопоставленіи его съ приговорами другихъ конкурирующихъ группъ. Это указываетъ на то, что въ основаніе кассационной дѣятельности главнаго магистрата полагались не какіе-либо общіе принципы посадскаго самоуправленія, а исключительно стремленіе охранить казенный интересъ данной минуты. Когда представлялась возможность сдѣлать выборъ между различными группами избирателей, выставившими разныхъ кандидатовъ, тогда главный магистратъ выдвигалъ тѣ или другіе общіе критеріи, доказывавшіе неправомѣрность одного изъ сопоставляемыхъ приговоровъ; въ другихъ случаяхъ тѣ же самые критеріи были оставляемы безъ вниманія.

Намъ предстоитъ теперь подробнѣе разсмотрѣть случаи столкновенія двухъ или нѣсколькихъ избирательныхъ групповыхъ контр-приговоровъ. Это поможетъ намъ еще детальнѣе изслѣдовать роль отдѣльной группы въ качествѣ представительницы всей посадской общины на избирательныхъ сходахъ. Изложимъ сначала нѣсколько типичныхъ фактовъ избирательной практики, которые лягутъ въ основаніе нѣкоторыхъ дальнѣйшихъ заключеній.

Въ началѣ 1753 г. по прошеніямъ нѣсколькихъ казанскихъ купцовъ, во главѣ которыхъ стоялъ крупный купецъ и фабрикантъ Дрябловъ, главный магистратъ отставилъ отъ должности президента казанскаго магистрата Андрея Пушникова въ виду его разнообразныхъ злоупотребленій. Въ маѣ того же года состоялся въ Казани сходъ для выбора новаго президента. Сходъ тотчасъ же разбился на партіи. Дрябловская партія „пустила голосъ“ на Аникіева, человека гостинной сотни, но дядя отставленнаго президента Борисъ Пушниковъ, окруженный своими „фаворитами и

*) Дѣла гл. маг., вязка 13, № 33.

свойственниками“, выставил кандидатуру Дементія Иванова, который состоялъ бургомистромъ въ томъ же казанскомъ магистратѣ. „Не слушая многихъ голосовъ“ пушниковской партіи, староста Давыдовъ, предсѣдательствовавшій на сходѣ, скрѣпилъ выборъ Аникіева. Пушниковская партія начала шумѣть, мѣшати рукоприкладчикамъ подписываться подъ выборомъ Аникіева, а затѣмъ, выйдя толпой изъ земской палаты, направилась прямо въ магистратъ, гдѣ и предъявила бургомистру Иванову написанный на него выборъ въ президенты. Однако, Ивановъ отказался скрѣпить этотъ выборъ, найдя его неправильнымъ. Тогда Пушкиновъ вмѣстѣ съ своими сторонниками отправилъ въ главный магистратъ доношеніе съ доказательствами неправильности и недѣйствительности произведенныхъ на сходѣ выборовъ и съ просьбой назначить новые выборы уже не въ земской избѣ, а въ самомъ казанскомъ магистратѣ и безъ участія старосты Давыдова. Въ доношеніи указывалось, во-первыхъ, на то, что Аникіевъ состоитъ подъ слѣдствіемъ и потому не можетъ занимать магистратской должности, во-вторыхъ, на то, что на избирательномъ сходѣ староста Давыдовъ неправильно скрѣпилъ выборъ на Аникіева, „не послушавъ *многихъ голосовъ* казанскаго купечества“ и сдѣлалъ это въ угоду Дряблову, которому онъ всецѣло обязанъ своимъ собственнымъ выборомъ въ старосты и которому онъ постоянно во всемъ угождаетъ.—Главный магистратъ произвелъ разслѣдованіе по обоимъ пунктамъ этого доношенія. По первому пункту дѣло рѣшила простая справка, показавшая, что Аникіевъ уже освобожденъ отъ слѣдствія. По второму пункту главный магистратъ обратилъ вниманіе на то, что изъ числа 50 лицъ, подписавшихъ выборъ Аникіева, 4 оказались принадлежащими къ партіи даже враждебной Дряблову, а 30 лицъ—совершенно непричастными къ предшествующей партійной борьбѣ. Такимъ образомъ выборъ Аникіева, по мнѣнію главнаго магистрата, не носилъ характера партійности. Дальнѣйшая справка показала, что нѣкогда самъ Борисъ Пушкиновъ съ товарищи подписался подъ выборами въ старосты Давыдова, котораго онъ обвиняетъ теперь въ полученіи старостинскаго мѣста по проisku Дряблова. Всѣ эти данныя подрывали довѣріе къ доношенію Пушкинова и главный магистратъ утвердилъ выборы Аникіева *).

Въ изложенномъ эпизодѣ для насъ наиболѣе важна одна подробность: обѣ спорящія партіи, на которыя раздробился избирательный сходъ, въ концѣ концовъ одинаково признаютъ, что изъ двухъ групповыхъ избирательныхъ приговоровъ преимущественное значеніе получаетъ тотъ, къ которому присоединяетъ свою подпись—скрѣпу городской старосты. Партія Пушкинова, не встрѣтившая въ старостѣ поддержки выставленному ею „приговору“, первоначально

*) Д. Главн. Маг. вѣзка 22, № 63.

попробовала незаконный ходъ: игнорируя старосту, представила свой приговоръ въ мѣстный магистратъ, какъ, рѣшеніе схода. Когда это не удалось, она обратилась, такъ сказать, къ легальнымъ средствамъ опротестованія состоявшагося выбора Аникіева. Такихъ средствъ было два—или доказать, что выбранное лицо не подходитъ подъ какія-либо официальные требованія отъ замѣстителя данной должности, или доказать, что предсѣдательствовавшій на сходѣ староста *неправильно* предпочелъ одинъ групповой приговоръ другому. Какъ мы видѣли, пушниковская партія въ своемъ протестѣ противъ выбора Аникіева выдвинула одновременно оба эти соображенія, хотя съ одинаковымъ неуспѣхомъ. Интересно отмѣтить при этомъ, что, критикуя дѣйствія старосты, протестующая партія указала на то, что староста скрѣпилъ своею подписью не тотъ приговоръ, за который стояло *большинство* наличныхъ членовъ схода: „не послушавъ *многихъ* голосовъ“.

Мы не узнаемъ изъ разбираемаго дѣла, какую цѣну получило въ глазахъ главнаго магистрата это послѣднее соображеніе, такъ какъ протестъ пушниковской партіи былъ оставленъ безъ послѣдствій по совокупности многихъ другихъ обстоятельствъ, въ виду которыхъ главный магистратъ счелъ уже излишнимъ затрагивать также и этотъ пунктъ въ мотивировкѣ своего постановленія. Но выставленіе на видъ этого именно пункта не было со стороны пушниковской партіи простою случайностью. Намъ извѣстны другіе эпизоды изъ практики посадскихъ выборовъ, въ которыхъ вопросъ о большинствѣ и меньшинствѣ получалъ при аналогичныхъ обстоятельствахъ центральное значеніе. Весьма любопытно въ этомъ отношеніи дѣло о старорусскихъ выборахъ въ 1744 г. На избирательномъ сходѣ составились два приговора на различныхъ кандидатовъ. Подъ однимъ приговоромъ было собрано 140 подписей, но 14 соляныхъ промышленниковъ подали челобитье въ мѣстную воеводскую канцелярію съ протестомъ на дѣйствія земскаго старосты и съ доказательствами того, что предпочтеніе долженъ былъ получить ихъ приговоръ. Воеводская канцелярія предписала старостѣ, черезъ ратушу, произвести выборы вновь. Но созданный 11 іюля 1744 г. въ силу этого предписанія сходъ заключился составленіемъ резолюціи, въ которой подтверждался прежній приговоръ 140 и цѣлымъ рядомъ соображеній опровергались доводы солепромышленниковъ. Среди разнообразныхъ аргументовъ, выставленныхъ при этомъ обѣими партіями, для насъ особенно важны мотивы, касающіеся формальнаго вопроса—какіе объективные признаки законности приговора указываютъ обѣ спорящія стороны. Въ резолюціи 11 іюля настаивается прежде всего на томъ, что приговоръ 14 солепромышленниковъ составленъ „собою“, т. е. внѣ общепосадскаго схода. Напротивъ того, солепромышленники утверждаютъ, что ихъ „выборъ“, хотя и оставшійся въ меньшинствѣ, тѣмъ не менѣе

произведенъ „по голосомъ“, на общемъ сходѣ. Во-вторыхъ, резолюція 11 іюля исходитъ изъ того положенія, что во всякомъ случаѣ староста своей скрѣпляющей подписью долженъ былъ санкціонировать именно первый приговоръ, какъ рѣшеніе *большинства*, ибо указы повелѣваютъ отдавать предпочтеніе выборамъ, „подъ которыми голосовъ больше“ *). Въ противоположность этому утвержденію солепромышленники выдвигаютъ на первый планъ социальное положеніе рукоприкладчиковъ той и другой стороны и настаиваютъ на томъ, что большинство должно быть считаемо не относительно общаго количества рукоприкладчиковъ, а относительно однихъ лучшихъ и первостатейныхъ среди нихъ лицъ. Такимъ образомъ, по ихъ толкованію, староста долженъ былъ скрѣпить приговоръ 14-ти рукоприкладчиковъ, которые всѣ принадлежатъ къ числу „лучшихъ людей“, такъ какъ приговоръ 140 подписанъ исключительно людьми „подлыми“. Постановленіемъ главнаго магистрата утверждёнъ былъ однако приговоръ 140, при чемъ главный магистратъ категорически мотивировалъ свое рѣшеніе предпочтеніемъ выбора *большинства* **).

Въ только что приведенномъ и другихъ подобныхъ фактахъ передъ нами снова обнаруживается—хотя въ нѣсколько иной формѣ—стремленіе посадскихъ людей превратить избирательный сходъ въ органъ выработки общепосадскаго, коллективнаго мірскаго рѣшенія. Главный магистратъ свободно допускалъ представлять на его сравнительную оцѣнку и окончательное усмотрѣніе приговоры всѣхъ безъ различія группъ, на которыя разбивался посадскій сходъ. Но даже и въ тѣхъ посадахъ, гдѣ избирательные сходы обходились безъ правильно оформленной и строго выдержанной процедуры выборовъ, гдѣ каждая группа свободно „пускала свой голосъ“ и одновременно съ этимъ вербовала подъ „свой голосъ“ рукоприкладства, даже и въ тѣхъ посадахъ мы замѣчаемъ стремленіе посадскаго населенія поставить окончательное разрѣшеніе партійной борьбы въ независимость отъ произвольнаго усмотрѣнія главнаго магистрата съ точки зрѣнія однихъ фискальных соображеній. Одинъ изъ групповыхъ приговоровъ по смыслу этихъ стремленій долженъ былъ стать признаннымъ приговоромъ всего схода прежде, чѣмъ дѣло о выборахъ поступало на окончательное разсмотрѣніе главнаго магистрата. Формальнымъ актомъ такого признанія являлась скрѣпа одного изъ приговоровъ председателемъ схода, земскимъ городонымъ старостой ***) Осуществляя этотъ актъ, городской ста-

*) Ср. VI главу регламента 1721 г.

**) Дѣла гл. маг. вязка 19 № 117.

***) Регламентъ и указы нигдѣ не устанавливали этой функціи городского старосты. Она возникла, очевидно, путемъ обычной практики.

роста долженъ руководиться при сравнительной оцѣнкѣ приговоровъ разныхъ группъ не личнымъ усмотрѣніемъ, а нѣкоторыми опредѣленными объективными основаніями. Сущность этихъ основаній не была твердо установлена, являлась спорной и подвергалась противоположнымъ толкованіямъ сообразно временнымъ партійнымъ расчетамъ. Но важно то, что, сталкиваясь другъ съ другомъ изъ за различнаго пониманія этихъ основаній, спорившія партіи въ занимающихъ насъ теперь случаяхъ вполнѣ сходились во взглядѣ на роль старосты и на общее значеніе избирательнаго схода. Сходъ представлялся имъ не поставщикомъ возможно большаго количества групповыхъ приговоровъ для главнаго магистрата, а органомъ выработки такого рѣшенія, которое могло бы быть признано за выраженіе воли всей посадской общины. Групповые приговоры, составлявшіеся на сходѣ, разсматривались при этомъ въ качествѣ, такъ сказать, отдѣльных проектовъ общепосадскаго постановленія и съ предпочтеніемъ одного изъ нихъ, на основаніи извѣстныхъ общихъ критеріевъ, остальные должны были терять силу.

Разсматривая выше строгоупорядоченную процедуру выборовъ, дѣйствовавшую въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, мы показали, что источникъ возникновенія этой процедуры коренился въ стремленіи посадскаго населенія обезпечить болѣе или менѣе равномерное вліяніе на исходъ выборовъ возможно большому количеству членовъ посадской общины. Иная бытовая подкладка лежала въ основаніи той комбинаціи, которая занимаетъ насъ теперь. Эта комбинація явилась, наоборотъ, результатомъ стремленія отдѣльныхъ группъ къ исключительному господству на избирательномъ сходѣ. Центральное правительство, имѣвшее въ виду прежде всего не интересы самоуправления, а интересы фиска, допускало ничѣмъ не стѣсненную конкуренцію отдѣльныхъ группъ посадскаго населенія въ подачѣ выборныхъ приговоровъ. Но во многихъ мѣстностяхъ эти группы сами стали стремиться къ ограниченію этой свободной конкуренціи, конечно, каждая—въ надеждѣ оставить за собой монополію на выставленіе своихъ кандидатовъ отъ имени всей посадской общины. Главный магистратъ при сравнительной оцѣнкѣ представляемыхъ ему групповыхъ приговоровъ придерживался, конечно, нѣкоторыхъ общихъ критеріевъ, выражаемыхъ въ его мотивированныхъ резолюціяхъ. И вотъ вліятельныя группы посадскаго населенія, заранѣе уже имѣя въ виду эти критеріи, все чаще стараются отвоевывать *своему* групповому приговору значеніе общепосадскаго „мірскаго“ рѣшенія еще до поступленія всѣхъ групповыхъ приговоровъ на воззрѣніе главнаго магистрата, еще не выходя, такъ сказать, за порогъ земской избы, гдѣ функціонируетъ сходъ. Вмѣсто того, чтобы подвергать свой групповой приговоръ риску перекрестнаго сопоставленія съ приговорами другихъ группъ въ главномъ ма-

гистратѣ, гораздо спокойнѣе было перемѣстить этотъ рѣшающій моментъ избирательной кампаніи на самый мірской сходъ, гдѣ всегда можно было разсчитывать получить расположеніе старосты при помощи подкупа или личнаго вліянія. На долю главнаго магистрата оставалось въ этихъ случаяхъ разсмотрѣніе п утвержденіе лишь одного приговора, который представлялся ему отъ имени всей общины. Мы можемъ понять теперь, почему въ однихъ посадахъ переходили отъ групповыхъ рѣшеній къ системѣ строго упорядоченнаго поголовнаго голосованія всякаго кандидата, а въ другихъ, предпочитая оставаться при старой системѣ составленія приговоровъ по группамъ, въ тоже время пытались, однако, перенести на самый сходъ окончательный выборъ между групповыми приговорами. Въ однихъ посадахъ торжествовала рядовая посадская масса, искавшая гарантіи отъ давленія мѣстныхъ воротилъ, а въ другихъ посадахъ брали полный перевѣсъ эти самые воротилы, вожди группъ, стремившіеся погубить другъ друга во взаимномъ соперничествѣ. Но при всемъ различіи по существу между той и другой комбинаціей, съ формальной стороны обѣ онѣ приводили къ одинаковому результату: посадскій избирательный сходъ становился органомъ выработки единаго мірскаго приговора, получавшаго значеніе общаго мірскаго рѣшенія; посадскіе выборы становились не столько актомъ „поручительства“ рукоприкладчиковъ передъ казною за выставленныхъ кандидатовъ, сколько актомъ мірскаго уполномочія выборнаго лица на отправленіе извѣстныхъ функцій въ сферѣ мірскаго самоуправленія.

Чаще всего, однако, имѣла мѣсто третья комбинація: право сравнительной оцѣнки различныхъ групповыхъ приговоровъ, опредѣлившихся на сходѣ, ускользало изъ рукъ самаго схода и вообще мѣстныхъ посадскихъ властей и цѣликомъ переходило къ главному магистрату; отъ избирательнаго схода не требовалось какого-либо законченнаго, общаго, объединеннаго постановленія, сходъ утрачивалъ значеніе органа выраженія коллективной воли посадской общины, а превращался лишь въ мѣсто сборища отдѣльных, обособленныхъ избирательныхъ группъ.

Получая чрезъ мірскіе сходы приговоры всѣхъ этихъ группъ, главный магистратъ дѣлалъ между ними выборъ, уже не оставаясь на вопросѣ, насколько полно представляла собою каждая изъ группъ желанія и интересы большинства членовъ посадской общины. Правда, давая окончательную санкцію избирательному приговору, главный магистратъ вообще слѣдилъ за тѣмъ, чтобы приговоръ былъ скрѣпленъ достаточнымъ количествомъ подписей, чтобы между количествомъ рукоприкладчиковъ и общей численностью ревизскаго населенія даннаго посада не получалось слишкомъ рѣзкой, бьющей въ глаза разницы. Бывали случаи неутвержденія приговоровъ именно на этомъ основаніи

Такъ напримѣръ, на докладѣ главному магистрату „выбора“, присланнаго изъ Владиміра, подѣ которымъ стояло 67 подписей, была сдѣлана помѣта: „а по справкѣ въ главномъ магистратѣ съ присланной изъ камеръ-коллегіи вѣдомостью по прежней переписи во владимірскомъ купечествѣ показано мужескаго полу 1049 душъ“. Основываясь на этой справкѣ, главный магистратъ не утвердилъ „выбора“ за малымъ количествомъ подписей. Доставленный черезъ мѣсяцъ новый избирательный приговоръ, скрѣпленный 84 подписями, получилъ утвержденіе главнаго магистрата *). Или въ 1761 г. главный магистратъ не счелъ возможнымъ утвердить выборы, присланные изъ Вятки, въ виду того, что подѣ ними подписалось 36 человекъ, тогда какъ по послѣдней ревизіи по хлыновскому (вятскому) посаду было показано 1465 душъ купечества и 43 души цеховыхъ. Главный магистратъ постановилъ истребовать предварительно письменное „извѣстіе“ отъ первостатейнаго и второстатейнаго хлыновскаго купечества „подлинно-ль тѣ выборы учинены съ общаго согласія“.—Однако это правило далеко не было устойчивымъ въ практикѣ главнаго магистрата, ему не придавалось очевидно рѣшающей важности. Такъ, въ томъ же самомъ дѣлѣ о выборахъ въ хлыновскомъ посадѣ встрѣчаемъ совершенно обратное явленіе: въ 1769 г. изъ Хлынова были представлены выборы на ратмана всего съ 29 подписями. На полѣ избирательнаго протокола рукою канцеляриста главнаго магистрата сдѣлана помѣта: подписалось 29, а по ревизіи 1402 д. **). Итакъ, и въ данномъ случаѣ при докладѣ приговора главному магистрату было обращено вниманіе на ничтожное количество рукоприкладчиковъ сравнительно съ общей населенностью посада. Однако, выборы были на этотъ разъ утверждены безъ всякихъ затрудненій и колебаній.

Мы можемъ привести одинъ случай, когда подобный вопросъ вызвалъ разногласіе среди членовъ самаго главнаго магистрата. Въ 1750 г. ратманъ тверскаго магистрата Блохинъ подалъ въ главный магистратъ прошеніе объ увольненіи его отъ должности, которую онъ занималъ уже нѣсколько лѣтъ. Одновременно съ этимъ былъ доставленъ и мірской приговоръ тверскаго посада, которымъ опредѣлялось Блохина и нѣкоторыхъ другихъ магистратскихъ членовъ уволить отъ службы. Большинство членовъ главнаго магистрата было склонно удовлетворить просьбу Блохина въ виду его одиночества и престарѣлости. Но два ратмана подали особое мнѣніе съ требованіемъ, чтобы предварительно 1) болѣзнь Блохина была освидѣтельствована установленнымъ порядкомъ; 2) былъ составленъ приговоръ тверскаго купечества о желательности увольненія Блохина. Полученный

*) Дѣла гл. маг. вязка 108, № 34.

**) Ibid. вязка 33, № 33.

приговоръ за подписью 77 человекъ не можетъ, по ихъ мнѣнію, имѣть значенія, ибо „въ тверскомъ купечествѣ, какъ не безвѣстно, находится болѣе 2000 душъ и *на подписи 77 человекъ утвердиться нельзя*“. Черезъ нѣсколько дней, вслѣдствіе подачи этого особаго мнѣнія, въ главномъ магистратѣ „по силѣ генеральнаго регламента имѣли диспутъ, по которому диспуту всѣ остались при своихъ мнѣніяхъ“ и по большинству голосовъ рѣшено было все же Блохина отставить *). Итакъ, вопросъ о количествѣ рукоприкладчиковъ, необходимомъ для того, чтобы избирательный приговоръ былъ признанъ достойнымъ утвержденія, не былъ выясненъ и оставался спорнымъ.

При сравнительной оцѣнкѣ *нѣсколькихъ* избирательныхъ приговоровъ количество рукоприкладчиковъ, какъ показатель того, что данный выборъ соответствуетъ желаніямъ *большинства* посада, не играло преимущественнаго значенія. При равенствѣ прочихъ условій главный магистратъ предпочиталъ, конечно, приговоръ количественно болѣе группы. Это согласовалось съ буквой регламента и при томъ вполне отвѣчало соображеніямъ фискальнаго характера. Большее количество надежныхъ рукоприкладчиковъ солиднѣе обезпечивало поручительство за избранныхъ лицъ. Но лишь только съ конкурирующими приговорами выступали группы неодинаковаго соціального состава, соображенія количества тотчасъ уступали мѣсто *качественной* оцѣнкѣ, какъ избирателей-рукоприкладчиковъ, такъ и выставленныхъ кандидатовъ соперничающихъ группъ. Несомнѣнно, всего проще рѣшался вопросъ, когда преимущества и количества и качества совпадали на сторонѣ одной и той же группы. Такъ, въ 1748 г. главный магистратъ, получивъ два выбора на президентское мѣсто въ орловскомъ магистратѣ, сопоставилъ, какъ общее количество подписей подъ каждымъ изъ приговоровъ, такъ и количество подписей *первостепенныхъ* купцовъ въ обоихъ приговорахъ. На сторонѣ одного кандидата оказалось 33 подписи, въ томъ числѣ 6 подписей первостатейныхъ купцовъ, на сторонѣ другого—545 подписей, въ томъ числѣ 42 подписи первостатейныхъ. Главный магистратъ не замедлилъ утвердить второго кандидата **). Но такія совпаденія представлялись лишь рѣдкой случайностью. Въ большинствѣ случаевъ главному магистрату приходилось выбирать между многочисленной группой захудалыхъ членовъ посадской общины и небольшой кучкой первостатейныхъ купцовъ. Въ этихъ случаяхъ—почти въ видѣ общаго правила—побѣда оставалась не на сторонѣ количества. Первенствующее значеніе получала платежная способность рукоприкладчиковъ. Отстаивая передъ главнымъ магистратомъ предпочтительность своего выбора передъ выборами

*) Дѣла гл. маг. вязка 17, № 45.

**) Дѣла сената кн. 387—2870.

своихъ соперниковъ, обыкновенно партія прежде всего старается подчеркнуть именно это обстоятельство.—Въ 1765 г. партія ярославскихъ первостатейныхъ купцовъ доносила, что, хотя подъ ея избирательнымъ приговоромъ стоитъ всего 96 подписей, а подъ „выборами“ противной партіи собрано 128 подписей, но за то эти 96 человѣкъ состоятъ всѣ вмѣстѣ по градскимъ окладамъ болѣе, чѣмъ въ 2200 р., тогда какъ общая сумма окладовъ тѣхъ 128 человѣкъ не превышаетъ 684 р. *). Очевидно, въ данномъ случаѣ партія выдвигаетъ именно такіе аргументы, которые она считаетъ болѣе убѣдительными для главнаго магистрата.

Правда, могутъ быть указаны случаи, когда при сопоставленіи нѣсколькихъ избирательныхъ приговоровъ количеству избирателей оказывалось предпочтеніе передъ соображеніями о ихъ качественныхъ достоинствахъ. Но всѣ эти случаи носятъ какую нибудь спеціальную окраску, сообщающую имъ исключительный характеръ. Такъ, напримѣръ, когда при выборахъ въ Старой Руссѣ столкнулись двѣ партіи, изъ которыхъ одна опиралась на свой численный перевѣсъ, а другая выдвигала указаніе на социальный составъ своихъ рукоприкладчиковъ, главный магистратъ рѣшилъ дѣло исключительно по счету количества подписей (164 противъ 14), хотя болѣе многочисленная партія состояла изъ „среднихъ и худшихъ“ людей, а кучка 14-ти выдѣлилась изъ „первостатейныхъ“ купцовъ. Но при этомъ слѣдуетъ принять во вниманіе, что эти „лучшіе“ люди стояли въ особомъ положеніи; то были соляные промышленники, которые и въ порядкѣ управленія, и въ отношеніи отбыванія обычныхъ посадскихъ повинностей не находились въ полномъ и безраздѣльномъ вѣдомствѣ главнаго магистрата: судомъ и расправой они были вѣдомы въ старорусскомъ соляномъ комиссарствѣ и по указу 1732 г. были освобождены отъ посадскихъ службъ и постоянной повинности **). Или еще примѣръ. При выборахъ въ Сѣвскѣ въ 1744 г. главный магистратъ два раза послѣдовательно оказываетъ предпочтеніе болѣе многочисленной партіи, хотя меньшинство опять таки слагалось изъ первостатейныхъ людей. Въ іюнѣ 1744 г. были представлены два разные выбора изъ кандидатовъ магистратскаго присутствія, подъ однимъ было 79 подписей, подъ другимъ 14. Въ октябрѣ того же года при производствѣ дополнительныхъ выборовъ на оставшіяся еще вакантными мѣста опять явилось два приговора: подъ однимъ была 91 подпись, подъ другимъ всего 7. Въ доношеніяхъ, которыми сопровождались присланные въ магистратъ избирательные приговоры, ставилось на видъ, что хотя подъ вторыми приговорами „и немного рукъ подписалось,

*) Дѣла гл. маг., вязка 249, № 1.

**) Арх. гл. маг. в. 19. № 117.

только все одни первостатейные“. Оба раза главный магистратъ предпочелъ однако кандидатовъ болѣе многочисленной партіи.

Дѣло объясняется, повидимому, тѣмъ, что въ данномъ случаѣ во главѣ многочисленной и малотяглої партіи стояла тоже кучка крупныхъ первостатейныхъ купцовъ, такъ что главному магистрату приходилось выбирать въ данномъ случаѣ не между двумя классами посадскаго населенія, а между двумя группами одного и того же класса, при чемъ одна изъ этихъ группъ опиралась на сочувствіе всего прочаго посадскаго населенія, а другая стояла совершенно изолированно. Ясно, что предпочтеніе выпало на долю первой группы. Такое объясненіе даннаго эпизода подсказывается одной подробностью. Когда въ главный магистратъ уже были отосланы оба конкурирующіе октябрьскіе приговора, въ сѣвскомъ магистратѣ въ ожиданіи резолюціи главнаго магистрата вновь собрались „сѣвскіе гостинной сотни и купецкіе люди“ и сочинили дополнительный приговоръ, въ которомъ отвергали всякія достоинства у кандидатовъ 7-ми избирателей, доказывали невозможность допустить ихъ къ отправленію магистратской службы и подтверждали еще разъ „выборъ“, скрѣпленный ранѣе 91 подписью. Подъ этимъ дополнительнымъ приговоромъ, имѣвшимъ значеніе стратегическаго маневра въ виду ожидаемой резолюціи главнаго магистрата, находимъ всего 13 рукоприкладствъ, изъ числа тѣхъ 91 рукоприкладчиковъ, которые подписали одобряемый здѣсь „выборъ“. Эти-то 13 человекъ и являлись, очевидно, вожаками всей этой многочисленной партіи; иначе можетъ показаться страннымъ, къ чему для подтвержденія силы приговора 91 избирателя понадобилось дополнительное постановленіе 13 человекъ. Эти вожаки навербовали своевременно подъ свой приговоръ 91 подпись, а теперь въ виду появленія контр-приговора соперничающей группы изъ 7 первостатейныхъ купцовъ собрались еще разъ, чтобы подкрѣпить дѣло своихъ рукъ этой новой манифестаціей *).

Наряду съ качественной оцѣнкой *избирателей* принималась во вниманіе и качественная оцѣнка избираемыхъ *кандидатовъ*. Такъ, въ цитированномъ уже по другому поводу дѣлѣ о московскихъ выборахъ въ 1744 г. главный магистратъ, сопоставляя выборы двухъ партій, на одно изъ мѣстъ предпочелъ кандидата немногочисленной избирательной группы въ 8 человекъ на томъ основаніи, что избиратели этой группы при всей своей немногочисленности—„самые главные первостатейные и лучшіе посадскіе люди“. И, однако, это обстоятельство не воспрепятствовало главному магистрату въ то же время отвергнуть всѣхъ другихъ кандидатовъ той же группы въ пользу избранниковъ противоположной партіи, на этотъ разъ уже въ силу оцѣнки свойствъ не изби-

*) Д. гл. маг. вязка 20, № 17.

рателей, а самихъ кандидатовъ, изъ которыхъ нѣкоторые оказались „дряхлы, неспособны или не изъ первостатейныхъ“ *). При этомъ возможна была и такого рода комбинація, при которой группа избирателей, не удовлетворяющихъ обычной оцѣнкѣ главнаго магистрата, выступала съ кандидатами, вполне подходящими къ правительственнымъ требованіямъ отъ замѣстителей магистратскихъ должностей. Чему отдавалъ предпочтеніе главный магистратъ, оцѣнивая подобные выборы—качеству избирателей или качеству кандидатовъ? Здѣсь опять таки мы не находимъ въ практикѣ главнаго магистрата какихъ либо неизмѣнно проводимыхъ принципіальныхъ основаній выборнаго распорядка; вмѣсто твердо установленныхъ принциповъ мы встрѣчаемся опять съ казуистическими опредѣленіями по отдѣльнымъ случаямъ. Характеренъ въ этомъ отношеніи слѣдующій примѣръ. Въ 1744 г. въ Арзамасѣ были произведены выборы магистратскихъ членовъ, подавшіе поводъ къ протесту со стороны мѣстной провинціальной канцеляріи. Представляя въ главный магистратъ избирательный приговоръ, эта канцелярія указала въ препроводительномъ доношеніи на двоякаго рода неправильность, допущенную при выборахъ: 1) подъ выборами подписался 51 человекъ, изъ которыхъ первостатейныхъ самое малое число, а всѣ остальные рукоприкладчики—люди подлые, и 2) трое изъ выбранныхъ лицъ принадлежатъ къ самымъ „маломочнымъ“ членамъ посада. Не взирая на постановленіе VI главы регламента и указа 1731 года, коими прямо запрещалось участіе подобныхъ людей въ выборахъ магистратскихъ членовъ, главный магистратъ при разслѣдованіи этого дѣла обошелъ вопросъ о составѣ избирательнаго схода и сосредоточилъ свое вниманіе исключительно на оцѣнкѣ выбранныхъ кандидатовъ. Изъ произведеннаго всѣмъ кандидатамъ перекрестнаго допроса выяснилось, что показаніе арзамасской провинціальной канцеляріи справедливо лишь относительно двухъ кандидатовъ, тогда какъ третій не можетъ быть причисленъ къ „непожиточнымъ“ посадскимъ людямъ Арзамаса, равно какъ и всѣ прочіе выбранные кандидаты, о которыхъ въ доношеніи канцеляріи было умолчено, вполне пригодны къ отправленію магистратской службы. И вотъ, главный магистратъ утверждаетъ всѣхъ выбранныхъ кандидатовъ за исключеніемъ только двухъ, оказавшихся малосостоятельными, для замѣны которыхъ предписываетъ созвать вторичный сходъ **). Итакъ, цѣлый рядъ кандидатовъ удостоился утвержденія главнаго магистрата, не смотря на то, что составъ избирательнаго схода явно противорѣчилъ прямымъ предписаніямъ закона. Очевидно, въ данномъ случаѣ зажиточность и платежнспособность самихъ кандидатовъ являлись сами

*) Дѣла глав. маг. вязка 13, № 33.

**) Дѣла глав. маг. вязка 17, № 62.

по себѣ на столько достаточной гарантіей интересовъ фиска, что главный магистратъ счелъ возможнымъ утвердить ихъ, не заботясь уже о составѣ поручившихся за нихъ рукоприкладчиковъ.

Итакъ, приведенные и подобные имъ частные случаи не колеблютъ значенія того общаго наблюденія, что главный магистратъ при оцѣнкѣ избирательныхъ приговоровъ въ сущности не заботился обыкновенно о томъ, отвѣчаетъ ли данный приговоръ волѣ большинства посадскаго населенія. Выбору большинства сплошь и рядомъ былъ предпочитаемъ выборъ меньшинства, если это меньшинство состояло изъ лицъ болѣе состоятельныхъ; предпочтеніе, оказывавшееся въ иныхъ случаяхъ выбору большинства, обуславливалось очень часто не столько многочисленностью избирателей, сколько качествами выставленныхъ ими кандидатовъ. Такое, какъ мы уже позволили себѣ выразиться, оппортунистское отношеніе главнаго магистрата къ общимъ основаніямъ организаціи выборовъ при оцѣнкѣ отдѣльныхъ случаевъ избирательной практики объясняетъ намъ, между прочимъ, и слѣдующее характерное явленіе. Въ случаяхъ обостренной и затяжной избирательной борьбы въ какой-либо посадской общинѣ главный магистратъ обыкновенно не спѣшитъ высказать свое окончательное сужденіе по спорнымъ вопросамъ избирательнаго порядка, поднимаемымъ борющимися партіями, и ограничивается тѣмъ, что отмѣняетъ выборъ за выборомъ по мѣрѣ того, какъ на каждый выборъ къ нему поступаютъ протестующія доношенія отъ взаимно враждебныхъ группъ. Его задачей при этомъ является не пресѣчь избирательную борьбу въ ея началѣ авторитетнымъ разъясненіемъ спорныхъ пунктовъ избирательной процедуры и тѣмъ облегчить установленіе общаго соглашенія, а, напротивъ, продлить эту борьбу, чтобы при ея развитіи дать возможность выдѣлиться большому количеству различныхъ избирательныхъ группъ, между которыми можно было бы сдѣлать потомъ свой выборъ. И лишь послѣ того, какъ эта партійная борьба достигаетъ наибольшей обостренности, когда мѣстныя власти начинаютъ доносить, что въ посадѣ „мало что не всѣ граждане пришли во всеконечное враждебное разногласіе“, главный магистратъ приступаетъ, наконецъ, къ внутренней оцѣнкѣ тѣхъ доводовъ, съ помощью которыхъ борющіяся партіи взаимно критикуютъ избирательные приемы другъ друга. Оцѣнивая эти доводы, главный магистратъ имѣетъ въ виду уже опредѣлившіяся группы избирателей и выставленныя ими кандидатуры и, сообразно съ личными качествами тѣхъ и другихъ, отдаетъ предпочтеніе то болѣе многочисленной, то болѣе тяглоспособной группѣ, то болѣе упорядоченному способу избранія, то келейно обособившейся кучкѣ мѣстныхъ воротилъ.

Однимъ изъ многихъ примѣровъ такого отношенія главнаго магистрата къ избирательной борьбѣ можетъ служить исторія выборовъ въ каширскомъ посадѣ въ 40 годахъ прошлаго сто-

лѣтія. Въ апрѣлѣ 1744 года каширское купечество произвело выборы Абрама Козакова въ бургомистры и Ивана Попова въ ратманы съ приложеніемъ къ выборамъ 89 рукоприкладствъ. Въ іюнѣ на эти выборы поступило протестующее доношеніе, подписанное купцомъ Калининымъ, съ указаніемъ на то, что эти выборы были произведены безъ участія первостатейныхъ и среднихъ купцовъ, что большинство избирателей составилось изъ родственниковъ и свойственниковъ избранныхъ кандидатовъ, что многія подписи были присоединены къ избирательному приговору спустя нѣсколько дней послѣ мірскаго схода, для чего купцы по одиночкѣ были призываемы въ ратушу 23 августа главный магистратъ постановилъ произвести новые выборы. Сентябрь, октябрь и ноябрь прошли въ ожесточеннѣйшей борьбѣ партій. На цѣломъ рядѣ избирательныхъ приговоровъ, сопровождавшихся бурными столкновеніями и насиліями, было произведено нѣсколько другъ друга исключаящихъ выборовъ. Одна группа выбрала въ бургомистры Наума Иванова и въ ратманы Дмитрія Дрозжина. Тотчасъ же появилось доношеніе противной партіи съ цѣлымъ рядомъ возраженій, какъ-то: названные кандидаты—„не изъ первостатейныхъ и не изъ умныхъ людей“, кромѣ того одинъ изъ нихъ подлежитъ слѣдствію по незаконному торгованію заповѣдными товарами и „въ бою и озарничествѣ“ по исковымъ челобитьямъ частныхъ лицъ и, наконецъ, при выбораніи ихъ не было соблюдеѣо должнаго порядка: „руки прикладывали изъ одного двора отецъ съ сыномъ“. Другая партія выбрала въ бургомистры Афанасія Чертова и въ ратманы Максима Челюскина за подписью 49 человекъ. Одновременно съ этимъ выборомъ былъ составленъ и протестъ противъ него, подписанный 54 лицами съ указаніемъ на то, что Челюскинъ—малограмотенъ и не первостатейный, а Чертовъ былъ „бить батоги“ и потому не можетъ быть допущенъ къ отправленію магистратской службы. Наконецъ, третья партія сдѣлала попытку выдвинуть кандидатуру Калина Осина, за котораго стояла группа, предводимая двоюроднымъ братомъ кандидата Ефимомъ Осинымъ. И этотъ кандидатъ встрѣтилъ обильныя возраженія со стороны другихъ группъ; отмѣчалось, что онъ 1) возбудилъ нѣкогда доносъ по одному „интересному“ дѣлу и того доноса не доказалъ, 2) со всѣмъ каширскимъ купечествомъ издавна имѣетъ „многую ссору въ луговомъ дѣлѣ“, а именно, арендуя луга у сосѣдней пушкарской слободы, перекашивалъ траву „по многу“ на посадскихъ лугахъ и 3) „въ каширскую ратушу для совѣтовъ не знаемо почему по многимъ повѣсткамъ не ходитъ“. Такимъ образомъ, перекрестная борьба избирательныхъ группъ выдвинула рядъ принципиальныхъ вопросовъ по оцѣнкѣ какъ пріемовъ избирательной процедуры, такъ и условій избираемости въ магистратскія должности. Получивъ этотъ ворохъ избиратель-

ныхъ приговоровъ и протестующихъ противъ нихъ доношеній, главный магистратъ не вошелъ, однако, въ разслѣдованіе и обсужденіе этихъ вопросовъ. Онъ просто еще разъ предписалъ произвести новые выборы. Ближайшія перипетіи послѣдующей борьбы не освѣщены нашимъ документомъ. Но борьба продолжалась еще въ 1746 г. и лишь въ началѣ 1747 г. главный магистратъ вышелъ изъ своего пассивно-наблюдательнаго положенія. Такъ, въ 1746 г. мѣсто бургомистра было, наконецъ, утверждено за Евстр. Лепешкинымъ, находившимся въ то время въ отлучкѣ изъ своего посада для торговаго промыслу въ Малороссіи. Но скоро получилось извѣстіе, что Лепешкинъ умеръ во время разѣздовъ по Малороссіи, и избирательная борьба вспыхнула въ Каширѣ съ новой силой. На сцену выступили все прежніе кандидаты: Дрозжинъ, Калина Осинъ и др. Въ главный магистратъ снова полетѣли „выборы“, доношенія и челобитья. На этотъ разъ главный магистратъ положилъ 17 марта 1747 г. слѣдующую резолюцію: 1) всѣ произведенные выборы отставить и произвести новые, но при этомъ, 2) „за показанными въ выборахъ многими несогласіями“ командировать въ Каширу члена изъ сосѣдняго коломенскаго магистрата на коштъ того, кто по слѣдствію виновенъ явится, для производства всесторонняго разслѣдованія о всѣхъ предшествующихъ спорахъ и столкновеніяхъ на выборахъ, а также и для надзора за вновь назначенными выборами. Докладъ о результатахъ слѣдствія вмѣстѣ со своимъ заключеніемъ слѣдователь долженъ представить въ главный магистратъ *).

Суммируя всѣ вышеприведенныя наблюденія надъ практикой избирательныхъ посадскихъ сходовъ прошлаго столѣтія, мы приходимъ къ слѣдующимъ заключеніямъ. Благодаря отсутствію подробной законодательной регламентаціи избирательнаго обряда, организація посадскихъ выборовъ отличалась по отдѣльнымъ посадкамъ большимъ разнообразіемъ. Среди хаотически разнородныхъ фактовъ избирательной практики можно уловить *три различныхъ типа* избирательныхъ сходовъ: 1) сходы съ строго упорядоченной избирательной процедурой, устанавливавшейся главнымъ образомъ путемъ мѣстной обычной практики и обусловливавшей собою объединеніе различныхъ партійныхъ кандидатуръ въ одномъ общемъ окончательномъ рѣшеніи, въ которомъ формулировалась воля большинства членовъ схода. Это были сходы, наиболѣе рѣдкіе въ практикѣ посадскихъ выборовъ. 2) Сходы, на которыхъ правильная выработка общаго рѣшенія замѣнялась обособленнымъ обсужденіемъ разныхъ кандидатуръ по отдѣльнымъ избирательнымъ группамъ, при чемъ каждая группа составляла свой приговоръ и собирала подъ него подписи. При

*) Дѣла глав. маг. вязака 29, № 102.

этомъ, по окончаніи составленія групповыхъ приговоровъ, они подвергались на томъ же сходѣ общей сравнительной оцѣнкѣ и одинъ изъ нихъ утверждался, какъ рѣшеніе всего схода. Рѣшающій голосъ принадлежалъ въ этомъ случаѣ городовому старостѣ, который скрѣплялъ предпочтенный передъ прочими приговоръ своимъ рукоприкладствомъ. Рѣшеніе старосты могло быть, впрочемъ, обжаловано въ главный магистратъ, которому во всякомъ случаѣ принадлежало право окончательнаго утвержденія приговора избирательнаго схода. 3) Сходы, на которыхъ избирательныя дѣйствія ограничивались составленіемъ выборныхъ приговоровъ по отдѣльнымъ группамъ, при чемъ всѣ групповые приговоры отправлялись на усмотрѣніе главнаго магистрата. Такого рода сходы представляли собою наиболѣе распространенное, заурядное явленіе.

Ал. Кизеветтеръ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕЧАЛЬ.

Въ раскрытое окно прохладой вѣетъ лѣтней,
Рыдаетъ тихими аккордами рояль,
И, словно въ ладъ ему, полнѣй и беззавѣтнѣй
Звучить въ душѣ моей вечерняя печаль.

Вечерняя печаль! Въ ней грустная истома,
Прощальный мягкій блескъ блѣднѣющихъ огней,
Въ дни юности—чужда, она съ теченьемъ дней
Становится для насъ понятна и знакома.

Изъ глубины ея встаютъ—укоръ нѣмой,
Ошибка каждая и каждая утрата...
Еще горитъ вдали сіяніе заката,
Но мы уже дрожимъ передъ грядущей тьмой.

Нѣтъ, сердце дивную мечту не разлюбило,
Но гаснутъ силы въ немъ—тревожномъ и больномъ.
Пережитое все—дѣйствительно-ли было,
Иль, можетъ быть, оно лишь смутнымъ было сномъ?

И какъ сливаются въ вечернемъ небѣ краски,
Какъ очертанія—въ прозрачной полутьмѣ,
Такъ впечатлѣнія слились теперь въ умѣ,
И я не отличу дѣйствительность отъ сказки.

На все печаль души набросила покровъ,
Неразрываемый покровъ воспоминаній,
И жаль мнѣ радостей, и жаль бывшихъ страданій—
Въ смягченномъ сумракѣ прозрачныхъ вечеровъ.

О. Чюмина.

ФАБРИКА.

Все успокоилось, мирно все спать.
Въ небѣ луна безпечально-ясна...
Фабрика только металломъ гремитъ,
Фабрика только томится безъ сна.

Жарко чудовище дышетъ огнями,
Свѣтятся окна зловѣще-свѣтло;
Копоть изъ трубъ выплываетъ клубами,
Къ ясному небу ползетъ тяжело.
Въ воздухъ прозрачный впиваются змѣи,
Черныя кольца ихъ вьются къ лунѣ,
Будто, надъ свѣтомъ смѣясь, чародѣи
Мракомъ небесной грозятъ глубинѣ...

Люди усталые въ копоти черной,
Въ огненномъ блескѣ, какъ духи, спуютъ...
Люди толпою угрюмо-покорной
Цѣпи себѣ по-неволѣ куютъ!
Черныя лица и черныя думы,
Думы подъ грохотъ немолчный труда—
Звуки оркестра такого угрюмы:
Имъ дирижируетъ властно нужда!..

Тихо серебристое небо съ луною;
Вѣетъ дремотой блаженной весна...
Все отдается безмолвно покою,
Фабрика только грохочетъ безъ сна.

Н. Шрейтеръ.

МЕЧТА УЗНИКА.

Я часами съ окошка тюремной больницы
Не сходилъ, наблюдая съ безмолвной тоской,
Какъ кишѣлъ подо мной муравейникъ столицы,
Какъ нестройнымъ аккордомъ росъ шумъ городской.
И казалось тогда мнѣ, въ больномъ возбужденъи,
Сквозь преграды цѣпей и рѣшетки окна,
Что толпы этой вольной и жизни движенье
Такъ свободно кипить, какъ морская волна,—
Безъ границъ, безъ замковъ, въ ореолѣ свободы,
Вѣчно заткано солнечнымъ блескомъ лучей,
Безъ печалей и слезъ, безъ угрозъ непогоды,
Безъ угрюмага мрака холодныхъ ночей..

Только здѣсь, въ этихъ грязныхъ, унылыхъ палатахъ,
Въ этихъ сѣрыхъ, массивныхъ, какъ скалы, стѣнахъ
Бѣдняки въ арестантскихъ суконныхъ халатахъ
Видятъ жизнь и свободу въ несбыточныхъ снахъ.
Если бъ крылья мнѣ, крылья орлиныя дали!
Горделиво взмахнувъ, я понесся бъ тогда
Высоко надъ землею въ небесныя дали,
Гдѣ царить вѣнценосно свободы звѣзда!

А. А. Б.

ФАРАОНОВЫ КОРОВЫ.

Повѣсть.

I.

Утро. Понудинъ пьетъ кофе и читаетъ газету. Ярко-красное солнце, едва поднявшееся надъ горизонтомъ, бросаетъ косые лучи сквозь разрисованныя морозомъ стекла. Въ столовой мертвая тишина, только ноетъ самоваръ, на которомъ грѣется кофейникъ, да изрѣдка трещать отъ мороза стѣны...

По утрамъ Понудинъ бываетъ обыкновенно не въ духѣ,—особенно послѣ того, какъ прочтетъ газету. Эти газеты возмущали его до глубины души: въ нихъ ежедневно печаталось о чемъ угодно, только не о немъ и не объ его книгахъ. Англичане и буры... президентъ французской республики... пренія въ рейхстагѣ... столкновение губернской управы съ уѣздной—и ни слова о его „Блуждающихъ огняхъ“ и его „Оазисѣ“!.. „Блуждающими огнями“ онъ назвалъ сборникъ своихъ стихотвореній: въ нихъ, по его мнѣнью, отразилось блужданіе одинокой, тоскующей души, которая горделиво отвергаетъ всякую мысль о примиреніи съ дѣйствительностью, алчетъ демонической красоты, всеобъемлющаго чувства и дерзновенно посягаетъ на все. Что касается „Оазиса“, то онъ озаглавилъ такъ сборникъ своихъ статей объ искусствѣ и красотѣ, давая этимъ заглавіемъ понять, кому слѣдуетъ, что его взгляды на красоту и искусство являются однимъ изъ немногихъ оазисовъ среди безплодной пустыни...

И вотъ, какъ будто нарочно не хотятъ замѣчать ни „Блуждающихъ огней“, ни „Оазиса“! Были двѣ—три рецензіи въ журналахъ,—но что это за рецензіи? Коротенькія, небрежныя, да еще напечатанныя отвратительно-мелкимъ шрифтомъ. А въ газетахъ такъ и совсѣмъ ничего не было: точно всѣ они сговорились писать не о немъ, Понудинѣ, а о разныхъ по-

стороннихъ предметахъ! Вотъ, напримѣръ, сегодня они написались на цѣлыхъ двухъ столбцахъ о французскомъ президентѣ... Бѣсилъ его этотъ президентъ, и эти буры, и рейхстаги!

Низко наклонивъ надъ газетою свое молодое еще, но сморщенное лицо, Понудинъ читалъ и хмурился, а худые, длинные пальцы его блѣдныхъ рукъ находились въ непрерывномъ движеніи: то судорожно сжимали газету или чайную ложечку, то быстро-быстро барабанили по скатерти, то просто шевелились въ воздухѣ. И вся фигура Понудина, худая и какая-то острая, то и дѣло подергивалась отъ непріятнаго возбужденія. Брови то поднимались, то опускались; узкій лобъ, который казался большимъ отъ старательно зачесанныхъ кверху жидкихъ волосъ, безпрестанно морщился; на губахъ появлялась то желчная, то презрительная усмѣшка..

— Ослы!.. Идіоты!.. Мѣдные лбы!—то и дѣло говорилъ онъ злымъ, свистящимъ шопотомъ.

Осторожно скрипнула дверь, и на порогѣ показался тестъ Понудина, маленькій, чистенькій старичокъ, старавшійся держаться прямо и выпячивать грудь по военному, хотя никогда не былъ военнымъ. Его сѣдые волосы были причесаны очень тщательно и даже не безъ кокетства, а добрые, неопредѣленнаго цвѣта глаза, постоянно слезащіеся, искрились безпричиннымъ оживленіемъ. Онъ постоялъ нѣсколько секундъ на порогѣ, потомъ вошелъ въ столовую, какъ-то молодцовато разбрасывая на ходу ноги.

— Какъ почивали, Игнатій Ивановичъ?

— Скверно...—угрюмо буркнулъ въ отвѣтъ Понудинъ.

Ему непріятно было слышать собственное имя: „Игнатій“ да еще „Ивановичъ“—это такъ тривиально! А фамилія еще хуже: „Понудинъ“—какая пошлость! Впрочемъ, онъ утѣшалъ себя тѣмъ, что „Пушкинъ“ тоже звучало прежде банально..

— Какъ находите сливки? Хороши ли?—спросилъ старичокъ, нерѣшительно присаживаясь къ столу.

Пріѣзжая гостить къ зятю, Никонъ Ѳедоровичъ каждый разъ привозилъ съ собой изъ имѣнія множество разныхъ продуктовъ, въ томъ числѣ и сливки. Понудинъ любилъ деревенскіе продукты, но въ то же время презиралъ заботу о такихъ мелочахъ.

— Мм... да... хороши,—нехотя отозвался онъ.

Старичокъ еще болѣе оживился и сталъ развивать ту мысль, что „сливки есть душа всякаго кофе, какъ репертуаръ есть душа всякаго театра“. Пальцы Понудина нетерпѣливо и нервно шевелились въ воздухѣ, и Никону Ѳедоровичу казалось, что это—щупальцы, инстинктивно стремящіеся поймать добычу, схватить ее, смять... Онъ испугался

пальцевъ и хмураго лица зятя и съ перепугу поспѣшили заговорить о „Блуждающихъ огняхъ“ и „Оазисъ“.

— Ваши книги возбуждаютъ въ публикѣ ажитацию,—говорилъ онъ, торопясь и волнуясь.—На журъ-фиксѣ у Свѣчниковъ былъ о васъ длинный... продолжительный споръ... или лучше сказать: цѣлый диспутъ. Одни—за васъ, другіе—*противъ* васъ, третьи—и *за*, и *противъ*, четвертые—ни *за*, ни *противъ*... Словомъ, большой, большой успѣхъ!.. Сильно написаны книги!.. Хорошо, что цензура проморгала... Тамъ такія мѣстечки есть!.. Мы съ Машурочкой три раза читали... Положимъ, наша публика не доросла еще до такихъ идей... А вотъ странно, что въ прессѣ такъ мало критическихъ сентенцій объ „Оазисъ“: замалчиваютъ, замалчиваютъ! Впрочемъ, это, пожалуй, и къ лучшему: вѣдь всѣ они покрыты рыбьей чешуей, эти критиканчики!

Сначала Понудинъ выслушивалъ довольно благосклонно комплименты тестя, но когда старичокъ повторилъ буквально его собственныя слова о публикѣ и „критиканчикахъ“, Игнатій Ивановичъ вдругъ брезгливо сморщился: въ его сердце, какъ заноза, вонзилась мысль, что въ то время какъ о другихъ пишутъ, печатаютъ, спорятъ, онъ, Понудинъ, принужденъ довольствоваться льстивыми словами этого убогаго старика. Вѣдь это значить пить не изъ свѣтлаго источника славы, а просто-напросто изъ стоячей лужи! Это тѣмъ болѣе унижительно, что вѣдь и книги-то изданы на деньги тестя...

И Понудинъ остановилъ на старичкѣ взглядъ, который обладалъ свойствомъ уничтожать Никона Ѳедоровича сразу всего, цѣликомъ, со всѣми его добрыми чувствами и свѣжими деревенскими продуктами. Старичокъ глядѣлъ оторопѣло на сѣро-голубые глаза зятя, съ блѣдными, какъ бываетъ у малокровныхъ, вѣками, и ему казалось, что Понудинъ смотритъ не на него, а сквозь него, точно онъ, Никонъ Ѳедоровичъ, былъ стеклянный...

— Да, да... большой успѣхъ,—бормоталъ онъ, готовый провалиться сквозь землю.—И изданы книжки въ высшей степени недурно: обложка, бумага—все это, знаете... Погляжу-ка я пойду, что тамъ Машурочка съ Тамарочкой дѣлаютъ...

И смущенно посѣменивъ подъ столомъ ногами, онъ торопливо, на ципочкахъ, вышелъ...

II.

Едва онъ переступилъ порогъ, лицо его сдѣлалось дряблымъ, какъ у очень древнихъ стариковъ, и спина безпомощно согнулась. Сколько разъ просила его дочь не заговаривать по утрамъ съ зятемъ, но Никонъ Ѳеодоровичъ не могъ удержаться; ему было несносно видѣть, что вотъ сидитъ человѣкъ одинъ - одинешенекъ и хмурится: хотѣлось развеселить, разговорить его, „оживить какъ-нибудь атмосферу“. И каждый разъ дѣло кончалось „сквознымъ“ взглядомъ Понудина, отнимавшимъ у старика сразу весь запасъ его безпричиннаго оживленія...

Пройдя залу и гостиную, Никонъ Ѳеодоровичъ остановился передъ дѣтской, подтянулся, устроилъ себѣ веселое лицо, выпрямилъ грудь и вошелъ въ дверь какимъ-то молдцоватымъ бочкомъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ Понудинъ сказалъ однажды при женѣ, что „люди вообще мало интересны, а натошакъ и совсѣмъ непереваримы“,—Марья Никоновна перестала выходить по утрамъ въ столовую, а сидѣла съ дочерью въ дѣтской. Никонъ Ѳеодоровичъ засталъ ихъ за книжкой: Марья Никоновна читала, а Тамара слушала, опершись подбородкомъ о столъ (ея любимая поза) и широко раскрывъ глаза. По этимъ расширеннымъ глазамъ и тому тревожному вниманію, съ которыми она обыкновенно слушала все, что бы ей ни читали, видно было, что она на половину слушаетъ книгу, а на половину какъ будто все прислушивается къ чему-то и думаетъ не о книжкѣ, а о чемъ-то своемъ. И въ лицѣ матери, въ ея свѣтло-карихъ, кроткихъ и какъ будто впавшихъ глазахъ, сквозила та же тревога, и также казалось, что она все время чутко прислушивается къ чему-то. Она силилась придать себѣ беззаботный видъ, читать звонко, весело, но это плохо удавалось ей: и ея улыбка, и веселый голосъ, и старательно сдѣланныя завитушки на лбу—все это не шло къ тому выраженію глубоко затаеннаго, привычнаго горя, которое прочно залегло въ каждой чертѣ ея лица...

— А вы все за книжкой?!—воскликнулъ Никонъ Ѳеодоровичъ удалымъ тономъ.—„Не довольно ли учиться, не пора ли порѣзвиться“?

Марья Никоновна внимательно посмотрѣла на отца и поняла, что у него внутри скребуть кошки, а Никонъ Ѳеодоровичъ, въ свою очередь, сразу увидалъ, какъ волновалась Машурочка, пока онъ сидѣлъ съ зятемъ въ столовой. Онъ

почувствовалъ себя виноватымъ передъ дочерью, но сдѣлалъ видъ, что все обстоитъ въ высшей степени благополучно.

— А ты бы лучше попрыгала, поиграла, моя козочка!—говорилъ онъ, заигрывая съ внучкой, между тѣмъ какъ Тамара смотрѣла на него съ недоумѣніемъ своими серьезными глазами, точно спрашивая: „Какъ это „попрыгать“?“ Она черезчуръ привыкла ходить дома на цыпочкахъ, говорить вполголоса: она такъ часто слышала кругомъ себя эти „тс!.. тише!..—Папа работаетъ!—Игнатій Ивановичъ занимается!..—Барину не мѣшайте!“ Всѣ шепчутся, всѣ ходятъ неслышно, какъ тѣни, всѣ повторяютъ то и дѣло на разные лады: „Тс!.. Тише!.. Тише!..“ Когда она забывалась и начинала бѣгать по комнатамъ, возить стулья или барабанить по клавишамъ рояля, Марья Никоновна прибѣгала въ испугъ и говорила: „Что ты дѣлаешь, Тамарочка! Ты знаешь, папа не любитъ этого. Пойдемъ лучше, почитаемъ книжку“. Столько тревоги бывало при этомъ въ глазахъ и въ голосѣ Марьи Никоновны, что Тамарочка сама вся наполнялась безпокойствомъ: ей самой уже казалось чѣмъ-то дикимъ нарушить эту мертвенную тишину громкимъ звукомъ или стукомъ; и вотъ она тоже вслѣдъ за матерью повторяетъ, приложивъ пальчикъ къ губамъ: „Папа не любить... Папа разсердится... Тише, тише!“

— Старушка ты моя, старушка!—говорилъ Никонъ Ѳеодоровичъ, щечка Тамару легонько подъ мышками.—И все-то она думаетъ, все-то она думаетъ!

Задумчивость дѣвочки, ея привычка смотрѣть изподлобья взглядомъ, такъ мало подходящимъ для шестилѣтняго ребенка, и ея постоянная неподвижность безпокоили и мать, и дѣдушку. Оба всячески старались развлечь ее, покупали ей игрушки, книжечки съ картинками. Тамара играла, смотрѣла картинки, но не переставала къ чему-то прислушиваться и думать о своемъ. Только „Матрешка“ оживляла ее: это была кукла, которую собственноручно свертѣлъ для нея дѣдушка изъ тряпокъ. Тамара вѣчно носилась съ нею и любила ее тѣмъ больше, чѣмъ грязнѣе становилась она...

— А гдѣ же наша Матрена Ивановна?—спросилъ Никонъ Ѳеодоровичъ.—Какъ ея здоровье?

Тамара сорвалась съ мѣста и засовалась по дѣтской, отскивая глазами куклу; потомъ вспомнила, что кукла у бонны, и торопливо вышла.

— Дѣвчурочка все объ отцѣ думаетъ,—замѣтилъ со вздохомъ Никонъ Ѳеодоровичъ.—Сама молчитъ, а сама все папу въ головѣ держитъ.

Грустная складка около губъ Марьи Никоновны стала еще болѣе грустной; она вспомнила, какъ вчера, ложась спать, Тамара допрашивала ее: за что папа сердится на нихъ?—и

какъ долго послѣ этого лежала въ кроваткѣ съ широко раскрытыми глазами, въ которыхъ виднѣлась мучительная забота... Желая „оживить атмосферу“, Никонъ Ѳедоровичъ подсѣлъ къ дочери, сталъ гладить ее по рукѣ и говорить что-то утѣшительное; но въ эту минуту вошелъ Понудинъ.

Онъ заходилъ сюда ежедневно передъ тѣмъ, какъ идти на службу, и каждый разъ появленіе его производило сенсацию, точно было чѣмъ-то необычайнымъ. Марья Никоновна мгновенно вся растерялась, точно мужъ засталъ ее врасплохъ за какимъ-нибудь предосудительнымъ занятіемъ, а Никонъ Ѳедоровичъ заморгалъ въ смущеніи: онъ зналъ, что зять брезгуетъ своей службой въ Страховомъ Обществѣ, куда попалъ по его протекціи, и потому старичокъ чувствовалъ себя виноватымъ передъ Понудинымъ.

— Здравствуйте, Машурочка,—произнесъ Игнатій Иваиовичъ своимъ обычнымъ безпричинно-ироническимъ тономъ и поцѣловалъ жену въ лобъ, скользнувъ при этомъ глазами по ея лицу, прическѣ, костюму.

Марья Никоновна заботилась о своей наружности единственно для того, чтобы не оскорбить эстетическаго чувства въ мужъ, не увидать на его лицѣ гримасы, не услыхать отъ него: „Это некрасиво... это вульгарно“... потому что послѣ такихъ замѣчаній она чувствовала себя смѣшной, глупой, виноватой...

— Здравствуй, малютка,—сказалъ Понудинъ, увидавъ Тамару, которая вошла въ дѣтскую и впиалась въ лицо отца тревожнымъ, напряженнымъ взглядомъ.—А ты, я вижу, все не расстаешься со своей „Матрешкой“? Развѣ у тебя нѣтъ другихъ куколъ?

Онъ поцѣловалъ дочь, которая отъ этого вся съежилась, и съ трудомъ вынулъ изъ ея крѣпко стиснутыхъ ручонокъ уродливую куклу, на тряпичной головѣ которой были аляповато нарисованы чернилами глаза, носъ, ротъ.

— Имя у васъ, малютка, поэтическое; а чувства красоты въ васъ нѣтъ,—говорилъ нараспѣвъ Понудинъ, держа дочь за подбородокъ.—Вамъ бы самимъ надо именоваться не Тамарой, а Матрешкой или Акулишей... да. Вѣдь мы, Тамарочка, не блещемъ красотой: у насъ и глазки, и носикъ, и ушки порядочно-таки тривиальны... да. Поэзій въ васъ, малютка, весьма мало, и это очень грустно... да.

Тамара, въ самомъ дѣлѣ, некрасива: жидкіе, растущіе врозь волосы, подхваченные гребенкой, торчатъ торчкомъ въ разныя стороны; небольшіе сѣрые глаза, безформенный носъ и нездоровый цвѣтъ лица также не заключаютъ въ себѣ ничего поэтическаго. Отецъ глядѣлъ на нее и морщился, а дѣвочка отвѣ-

чала ему взглядомъ изподлобья, въ которомъ свѣтились и обида, и вражда, и страхъ.

—Выбросите, пожалуйста, вонъ это безобразіе!—фыркнулъ Понудинъ, передавая куклу женѣ.

Лицо Тамары подергивалось отъ слезъ, а Никонъ Федоровичъ, авторъ „Матрешки“, ерзалъ на стулѣ, сконфуженно мигая своими слезящимися глазами.

— Это у Тамарочки самая любимая кукла...—нерѣшительно замѣтила Марья Никоновна, страдая и за дочь, и за отца.

— Очень жаль, что вы, Машурочка, воспитываете ее на такихъ уродцахъ,—сухо возразилъ Понудинъ,—а еще больше жаль, что въ самихъ васъ такъ мало, повидимому, чувства красоты. Я полагаю, что въ жизни и безъ того слишкомъ много тряпичныхъ людей: незачѣмъ еще искусственно разводить ихъ... Вы, конечно, понимаете меня, Машурочка?—насмѣшливо заключилъ онъ и, насвистывая, вышелъ изъ дѣтской.

III.

Нѣтъ ничего ужаснѣе для Марья Никоновны, какъ этотъ безпричинно-ироническій тонъ: онъ мгновенно уничтожаетъ ее всю безъ остатка, какъ уничтожаетъ Никона Федоровича „сквозной“ взглядъ Понудина. Отъ этого тона она сразу теряетъ всѣ мысли, всѣ желанія и наполняется ощущеніемъ собственнаго ничтожества. Ужъ одно это: „вы, Машурочка“—полно для нея убійственнаго смысла. Чутьемъ понимаетъ она, что это—не насмѣшка, не шутливый оборотъ, а нѣчто худшее: „вы, Машурочка“—вѣдь это есть точное выраженіе того чувства, съ какимъ относится къ ней мужъ, того взгляда, какимъ онъ смотритъ на нее. Въ устахъ отца „Машурочка“ звучитъ лаской, въ устахъ мужа—пренебреженіемъ: такъ и слышится въ этой его „Машурочкѣ“ намекъ на что-то маленькое, безличное, ничтожное. Онъ и заимствовалъ-то эту Машурочку у тестя нарочно для обозначенія того, что она не столько его жена, сколько дочь своего отца... А это „вы“, которое онъ присоединилъ потомъ къ „Машурочкѣ“? Какъ оно краснорѣчиво! Вѣдь въ немъ нѣтъ ничего намѣренно холодного, язвительнаго: для этого оно звучитъ у него слишкомъ непосредственно; нѣтъ, это—просто стѣна, черезъ которую переговариваются между собой чужіе другъ для друга люди. И это „вы, Машурочка“ появилось у него такъ же невольно, незамѣтно и естественно, какъ восемь лѣтъ тому назадъ вырвалось у него впервые: „ты, Манечка“.

Въ спальнѣ виситъ поясной портретъ Понудина. Его портреты есть и въ гостиной, и въ кабинетѣ, но тамъ Понудинъ

(уже авторъ напечатанныхъ произведеній) имѣтъ надменно-вдохновенный видъ, пугающій Марью Никоновну; а на портретѣ, чтò виситъ въ спальнѣ, онъ изображенъ совсѣмъ юнымъ, съ такими славными, понятными для Марьи Никоновны глазами: въ нихъ свѣтится любовь къ ней, нѣжная мысль о ней, которая тогда была его невѣстой. Здѣсь Понудинъ, авторъ еще не напечатанныхъ произведеній, кажется ей близкимъ, роднымъ, между тѣмъ какъ всѣ другіе портреты какъ будто цѣдятъ сквозь зубы это ненавистное: „вы, Машурочка“...

Восемь лѣтъ тому назадъ Понудинъ, живущій впроголодь студентъ, одинокій, какъ перстъ, и изнывающій отъ своего одиночества, былъ пригрѣтъ и обласканъ въ семьѣ Никона Ѳедоровича. Онъ уже начиналъ тогда ожесточаться отъ своей нужды и одиночества, мучиться болѣзненнымъ самолюбіемъ, которое вѣчно ныло въ немъ отъ сознанія своей затерянности среди толпы маленькихъ, сѣрыхъ людей. Въ стихахъ своихъ (которыхъ не принимала тогда ни одна редакція) онъ жаловался на жестокость судьбы и толстокожесть людей, оплакивалъ свое одиночество и взывалъ къ родной душѣ, способной понять и полюбить его. Такой душой оказалась Марья Никоновна, тронутая до глубины своего нѣжнаго сердца грустными стихами юнаго студента. И она, и Никонъ Ѳедоровичъ скоро стали смотрѣть на него, какъ на родного, близкаго, а онъ, не привыкшій къ ласкѣ, платилъ имъ за это сначала горячей благодарностью, потомъ—не менѣе горячей любовью. Ожесточеніе у него прошло, больное самолюбіе успокоилось, онъ сталъ добрѣе, мягче. Обвѣнчавшись, молодые жили нѣсколько мѣсяцевъ всецѣло въ атмосферѣ любви и ласки: Игнатій Ивановичъ былъ настолько счастливъ, что нѣкоторое время даже стиховъ не писалъ, а Никонъ Ѳедоровичъ только и дѣлалъ, что радовался, глядя на ихъ любовь, которою оба они были точно насквозь пропитаны. Едва мужъ поворачивалъ голову или дѣлалъ движеніе, какъ жена уже догадывалась, чтò ему нужно, и бѣжала за папиросами, спичками, за книгой, за карандашомъ; Игнатій Ивановичъ говорилъ:—„Манечка, что ты! Я самъ“!.. и тоже бросался, чтобы предупредить жену: супруги сталкивались среди комнаты и цѣловались. За обѣдомъ и жена, и тестъ угощали Понудина, какъ дорогого, рѣдкаго гостя.—„Кушай супикъ“! упрашивала Манечка.—„Вотъ стрючочекъ... вотъ бобочекъ“... ласково журчалъ Никонъ Ѳедоровичъ, и Понудинъ чувствовалъ себя такъ, какъ будто онъ все время сидитъ въ теплой ваннѣ и нѣжится.

Мало-по-малу Игнатій Ивановичъ привыкъ къ тому, чтобы о немъ вѣчно заботились: онъ уже не торопился предупре-

дить жену, а преспокойно сидѣть и ждалъ, пока она принесетъ ему нужную вещь. За обѣдомъ онъ уже ворчалъ, если не удавалось блюдо или въ тарелку попадали волосы, хотя они падали съ его собственной головы. Марья Никоновна хорошо играла на рояли и недурно пѣла, но теперь ея музыка уже мало интересовала его: до такой степени онъ привыкъ, чтобы Манечка, по первому его мановенію, играла и пѣла для него.

Все чаще и чаще слышалъ онъ изъ устъ жены и тестя повтореніе его собственныхъ словъ: они какъ будто брали отъ него готовыми его мысли, вкусы, интересы, брали безъ размышлений и споровъ,—просто потому, что очень любили его и очень вѣрили ему. Понудинъ былъ солнцемъ, жена и тесть—планетами, которыя вращались вокругъ него и освѣщались имъ. Скоро онъ началъ видѣть на каждомъ шагѣ отблескъ себя самого, точно онъ находился въ зеркальной комнатѣ, гдѣ отовсюду глядѣло на него его собственное „я“. И вотъ его стало коробить отъ мысли, что эти люди, глядѣвшіе на него снизу вверхъ, считаютъ себя близкими ему, жаждутъ этой близости, вѣрятъ въ нее: вѣдь этимъ они какъ будто хотятъ принизить его до себя—все равно, какъ если бы тѣнь человѣка захотѣла быть равной самому человѣку! Когда жена называла его: „Гнатикъ“ или тесть говорилъ ему: „Игнашечка“, онъ морщился и нервно пожимался, какъ отъ непріятной щекотки. Ихъ ухаживанье, ихъ заискивающая ласка начали казаться ему чѣмъ-то противно-липкимъ... Самолюбіе его опять ныло при мысли, что онъ, Понудинъ, восхищается лишь свой муравейникъ, между тѣмъ какъ другіе завоевываютъ себѣ извѣстность въ обществѣ. Все домашнее представлялось ему мизернымъ, пошлымъ, „обывательскимъ“. Когда жена нянчилась съ новорожденной Тамарой, любясь своей дѣвочкой, онъ подходилъ къ ней, смотрѣлъ съ брезгливой усмѣшкой на ребенка и произносилъ: „Кусокъ мяса... брр!“ Или, увидя, что жена читаетъ что-то, заглядывалъ къ ней въ книгу и говорилъ съ той же усмѣшкой:

— Хорошій авторъ. Мы съ Машурочкой понимаемъ кое-что въ литературѣ.

Машурочка торопливо закрывала книгу и сидѣла сконфуженная, а Понудинъ ходилъ по комнатѣ, глумясь надъ авторомъ книги и самъ хорошенько не понимая, откуда у него берется столько желчи?..

Чѣмъ больше жена и тесть ухаживали за нимъ, стараясь всѣми силами угодить ему, тѣмъ придирчивѣе и требовательнѣе становился онъ. Прежде его ожесточали нужда, одиночество, отсутствіе ласки,—теперь, напротивъ, онъ сталъ

испытывать необъяснимое ожесточеніе отъ своей теплой, сытой жизни, отъ нѣжныхъ заботъ, которыми былъ постоянно окруженъ. Какой-то невидимый червякъ безпрестанно грызъ его, поддерживая въ немъ глухое раздраженіе и острое недовольство жизнью. И опять въ своихъ стихахъ онъ жаловался на одиночество, на пошлость жизни и мелочность людей, проклиналъ судьбу, которая не даетъ исхода его глубокимъ стремленіямъ, мечталъ съ тоской о новой, прекрасной жизни, полной какого-то таинственного смысла и красоты... Жена и тесть по прежнему восхищались его стихами, но въ глубинѣ души мучились, слушая о его одиночествѣ, о его презрѣннѣ къ пошлой дѣйствительности. Они не могли отдѣлаться отъ мысли, что въ его страданіяхъ виноваты именно они, но не знали, въ чемъ заключается ихъ вина: они только все больше и больше терялись, пугались и нравственно съеживались. Тесть уже не рѣшался говорить ему: „ты, Игнаша“, не похлопывалъ его по плечу... Смутно чувствуя, что его присутствіе раздражаетъ зятя, онъ все чаще и чаще ѣздилъ къ себѣ въ имѣніе, а потомъ и совсѣмъ поселился тамъ, только изрѣдка навѣзая погостить. Это было очень тяжело и для него, и для дочери, но оба они молча согласились на томъ, что такъ лучше и что въ этомъ ничего для нихъ обиднаго нѣтъ.

— Я понимаю Игнашу, Машурочка, — говорилъ Никонъ Ѳедоровичъ, поглаживая и похлопывая дочь по рукѣ. — Вѣдь онъ — поэтъ, потому и нелюдимъ. Онъ бережетъ свои чувства, такъ сказать, для публики, для печати... хе, хе... Всѣ поэты таковы, Машурочка: ихъ нельзя мѣрить на нашъ аршинъ.

И дѣйствительно, Понудинъ жилъ для публики, т. е. для неопредѣленнаго множества людей, которыхъ онъ не зналъ и не хотѣлъ знать, но для которыхъ страстно желалъ стать предметомъ любви и поклоненія. Онъ ощутилъ это въ тотъ моментъ, когда впервые увидалъ свое стихотвореніе въ печати. Съ тѣхъ поръ онъ какъ бы раздѣлился на двѣ половины: одна слонялась безцѣльно по комнатамъ, брюзжала, придиралась ко всѣмъ, обѣдала, зѣвала; другая — сочиняла стихи, грезилла о свободѣ и красотѣ, мечтала о славѣ, о лаврахъ. Пока эта вторая половина писала стихи, первая проживала женино приданое: скоро Понудину стало ясно, что его стихи и статьи не приносятъ ему ни славы, ни денегъ. Пришлось, скрѣпя сердце, обратиться къ протекціи тестя, и это еще больше ожесточило его, какъ незаслуженное оскорбленіе, за которое онъ началъ мстить тестю высокомернымъ тономъ.

Нѣкоторое время послѣ этого Понудинъ жилъ исключительно мыслью объ изданіи своихъ произведеній. „Тогда-то—

думалъ онъ—явятся сразу и слава, и деньги!“ Все свободное отъ службы время онъ проводилъ за обработкой своихъ стихотвореній и статей и за мечтами о славѣ, которую они принесутъ ему. Онъ жаждалъ не столько пониманія и сочувствія, сколько успѣха:—успѣха во что бы то ни стало! Пусть хоть мало поймутъ, хоть плохо поймутъ,—но пусть говорятъ о немъ, шумятъ, спорятъ. Онъ уже не писалъ ничего новаго, а только старался переработать старое въ угоду моднымъ вкусамъ, во имя все того же крикливаго успѣха. Нетерпѣливая жажда славы такъ волновала его, что онъ не спалъ по ночамъ, перебирая мысленно свои произведенія и стараясь предугадать, какіе толки они возбуждаютъ въ критикѣ и публикѣ.

Деньги на изданіе пришлось взять у того же тестя. Понудинъ такъ былъ увѣренъ въ своемъ успѣхѣ, что обѣщалъ Никону Федоровичу уплатить долгъ въ непродолжительномъ будущемъ. Но время текло, а слава и деньги не приходили. По прежнему Понудинъ влачилъ постылую службу, по прежнему въ газетахъ писали не о немъ, а о французскомъ президентѣ.

Сидя на службѣ, Понудинъ сознавалъ, что онъ для своихъ сослуживцевъ—не поэтъ, не глашатай новыхъ формъ искусства, не авторъ „Блуждающихъ огней“ и „Оазиса“, а просто выскочка, врѣзавшійся клиномъ въ ихъ среду, благодаря протекціи. Брезгливо смотрѣлъ онъ на окружающія его равнодушныя дѣловыя лица, на спины, согнутыя надъ столами и конторками, и каждый разъ уходилъ со службы съ больнымъ запасомъ скрытаго раздраженія. Брезгливо смотрѣлъ онъ, идя по улицѣ, на людскую сутолоку, брезгливо сторонился отъ встрѣчныхъ... И на службѣ, и на улицѣ, и въ театрѣ—ездѣ онъ видѣлъ передъ собой не людей, а „толпу“, суетную, поверхностную, толстокожую толпу „обывателей“, сквозь которую надо пролираться локтями, чтобы, продравшись, подняться надъ этой „людской кашей“ и заставить ее преклониться передъ красотой своихъ мыслей и чувствъ. И чѣмъ презрительнѣе относился онъ къ этой толпѣ, тѣмъ острѣе хотѣлось ему покорить ее, насильно ткнуть ее носомъ въ „Блуждающіе огни“ и „Оазисъ“, какъ тычутъ слѣпнотного котенка въ блюдечко съ молокомъ. Но толпа не покорялась ему, и онъ ненавидѣлъ ее:—„Идіоты! они покупаютъ табакъ, закуски, вино, галстуки, чепчики, а не покупаютъ ни „Блуждающихъ огней“, ни „Оазиса!“.

Подходя къ дому, онъ коробился отъ мысли, что дома его ждетъ то же, что и прочихъ обывателей: обѣдъ, законная жена, кухарка, бонна, „у которой вмѣсто лица тарелка“, старикъ-тесть, слезливый и ничтожный,—словомъ, „домаш-

ній очагъ“, что-то банальное, прозаически-пошлое и противно-липкое. Въ своихъ стихотвореніяхъ Понудинъ любилъ сравнивать себя съ орломъ, одиноко гнѣздящимся на неприступныхъ вершинахъ горъ, или съ соколомъ, свободно рвущимъ подъ облаками, или съ леопардомъ, одиноко и гордо разгуливающимъ по безграничной пустынь. И вотъ теперь этого орла, сокола, леопарда ждетъ борщъ по малороссійски или супъ съ клецками, ждетъ жена, которая будетъ смотрѣть на него съ боязливымъ участіемъ и выбирать для него кусокъ получше, ждетъ дочь, это маленькое, невзрачное, некрасивое созданіе, рвущее ему глаза своимъ тривіальнымъ лицомъ; наконецъ, эта глупенькая нѣмочка съ парой блестящихъ пуговицъ вмѣсто глазъ... Ни гордаго уединенія, ни отважной борьбы, ни полета въ высшія сферы! „Пошлость, пошлость!“

IV.

Придя со службы домой, Понудинъ засталъ жену за роялю. Марья Никоновна играла своего любимаго Шуберта, а Никонъ Федоровичъ, склонивъ голову на бочокъ, съ умиленіемъ слушалъ ея игру.

— А, Шубертъ!—замѣтилъ мимоходомъ Понудинъ.

Марья Никоновна, застигнутая врасплохъ, вздрогнула и поспѣшно закрыла рояль.

— Что же вы, Машурочка? Продолжайте.

Но она уже не могла продолжать: настроеніе ея исчезло; вмѣсто Шуберта она ощущаетъ остро только присутствіе мужа, и это ощущеніе парализуетъ ее. Довольно Понудину войти и произнести: „Играете, Машурочка?“—и пальцы у нея сразу становятся точно деревянными, а все ея существо наполняется сознаніемъ, будто она позволила себѣ какое-нибудь непростительное ребячество...

— Надо обѣдать...—смущенно пробормотала она и торопливо вышла.

Обѣдъ бывалъ истинной мукой для всѣхъ домашнихъ Понудина. Всѣ сидѣли какъ на тычкѣ, въ напряженномъ молчаніи, нетерпѣливо ожидая, когда можно будетъ выдти изъ-за стола. Марья Никоновна стыдилась своего грустнаго лица и употребляла всѣ силы на то, чтобы казаться спокойной. Тамара сидѣла, какъ мертвая, на своемъ стулѣ и только изподлобья взглядывала украдкой на отца: въ эти минуты въ ея личикѣ появлялось что-то непріятно-старческое. Бонна, совсѣмъ юная бѣлокурая нѣмочка, съ пухлымъ подбородкомъ и блестящими простодушными глазами, казалась ря-

домъ съ ней наивной дѣвочкой, готовой играть въ куклы, катать обручъ, прыгать черезъ веревочку. Марья Никоновна нарочно подыскала такую бонну, чтобы внести въ домъ ребячески-шаловливый элементъ, котораго такъ не хватало ея дѣвочкѣ. Но при Понудинѣ бонна вся обмирала: этотъ большой нѣмецкій ребенокъ страшился, какъ огня, его холоднаго, „сквозного“ взгляда; а когда Понудинъ обращался къ ней съ вопросомъ, она вспыхивала, пухлыя губы ея подѣтски раскрывались, и все лицо ея выражало доходящій до смѣшного испугъ...

Никонъ Ѳедоровичъ, угнетаемый молчаніемъ, собрался съ духомъ, устроилъ себѣ оживленное лицо и заговорилъ. скрѣпя сердце, о дѣлахъ на Дальнемъ Востокѣ.

— Желтолицые черти противъ блѣднолицыхъ дьяволовъ! — восклицалъ онъ, стараясь только о томъ, чтобы нарушить невыносимую тишину за обѣдомъ. — Раса противъ расы! Какъ попретъ эта желтизна изъ Азіи въ Европу, такъ поневолѣ призадумаешься!

— Что же васъ, собственно, беспокоитъ? — процѣдилъ сквозь зубы Понудинъ, не поднимая глазъ отъ тарелки.

— Да вѣдь это грозитъ разрушеніемъ цивилизаціи! — взвизгивался старичокъ, обрадованный тѣмъ, что зять подалъ ему реплику. — Представьте: вдругъ такая уйма хлынетъ? Она затопитъ собой всю культуру, всю цивилизацію!

— Ну, такъ что жъ изъ этого? — произнесъ Понудинъ, глядя на него въ упоръ „сквозными“ глазами. — *Вамъ-то что?*

Старичокъ, убитый взглядомъ, смутился, замолкъ и только быстро-быстро жевалъ передними зубами, какъ кроликъ, мелко крошенное мясо...

— А я вотъ все собираюсь зубы вставить, — попробовалъ онъ съострить, чтобы загладить непріятное впечатлѣніе и „поднять тонъ“, — да ужъ очень эти вставные зубы кусаются... хе, хе!

Но никто не смѣялся, а Марья Никоновна видимо страдала за отца; Понудинъ сдѣлалъ непроницаемое лицо и что-то мычалъ про себя...

— Да, Машурочка, славно мы проводимъ время, — заговорилъ онъ тягучимъ тономъ: — сначала сидимъ на службѣ за конторкой, пишемъ бумажки, тупѣемъ, линяемъ; потомъ разговариваемъ о зубахъ Никона Ѳедоровича... да. И все-таки надо денно и ночью благодарить Бога за то, что дома тебя ждетъ сытный обѣдъ, послѣ котораго ты можешь завалиться на мягкій обывательскій диванъ и почивать мирнымъ обывательскимъ сномъ...

Онъ долго тянетъ въ этомъ духѣ. Всѣ молча сидятъ съ

потупленными головами и чувствуютъ себя виноватыми въ чемъ-то передъ этимъ худымъ, вѣчно взвинченнымъ чело-вѣкомъ, чей голосъ звучить и насмѣшкой, и горечью, и безсильнымъ раздраженіемъ. Наконецъ, Понудинъ встаетъ и, ковыряя въ зубахъ, уходитъ къ себѣ въ кабинетъ. И опять въ квартирѣ мертвая тишина, и опять отовсюду слышится: „Тс!.. Потише, потише!“...

V.

Вечеромъ къ Понудину пришелъ его сослуживецъ Глютовъ: это былъ единственный чело-вѣкъ, съ которымъ Игнатій Ивановичъ поддерживалъ отношенія внѣ службы. Понудинъ мало гдѣ бывалъ, да и къ нему рѣдко кто за-хаживалъ. Онъ сторонился отъ людей потому, что, находясь въ обществѣ, чувствовалъ себя вѣчно насторожѣ: съ одной стороны, обидно, если забудутъ, что онъ — писатель, и стану-тъ разсматривать его просто какъ обывателя, а съ другой стороны,—еще обиднѣе, если вспомнятъ, что онъ—писатель, и задѣнуть его авторское самолюбіе. Вдругъ кто-нибудь спросить: „Хорошо-ли расходятся ваши книги?“ или: „А какъ критика отзывается о вашихъ произведеніяхъ?“...

Съ Глютовымъ Понудинъ сблизился потому, что тотъ былъ тоже поэтъ, тоже выпустилъ сборникъ своихъ стихотво-реній и также, какъ Понудинъ, не интересовался ничѣмъ, кромѣ „проблемъ чистаго искусства“...

Глютовъ былъ благообразный, хорошо сложенный брю-нетъ, съ полнымъ, упитаннымъ, выхоленнымъ лицомъ, сма-кующій поэзію (особенно свою собственную), какъ карамельку. Помимо службы въ страховомъ обществѣ, онъ участвовалъ, какъ пайщикъ, въ какихъ-то коммерческихъ предпріятіяхъ, ловко и неусыпно велъ свои дѣла, получалъ солидные ди-виденды, но не любилъ говорить объ этомъ. Держался онъ необыкновенно прямо, на ходу закидывалъ голову и по вре-менамъ встряхивалъ своими длинными, густыми, расчесан-ными волосами съ самымъ независимымъ видомъ. Какъ и Понудинъ, онъ презиралъ „обыденщину“, презиралъ толпу и любилъ говорить: — „Это буржуазный взглядъ“, „это мѣ-щанство“; какъ и Понудинъ, онъ ненавидѣлъ критиковъ и писателей, о которыхъ критики пишутъ, и не могъ безъ за-миранія сердца читать газетной рецензіи о себѣ; какъ и Понудинъ, онъ смотрѣлъ на текущую литературу, какъ на скачки, гдѣ все сводится къ вопросу: кто кого обскочетъ? Подобно Понудину, онъ цѣнилъ выше всего красоту, без-престанно говорилъ о ней и бредилъ въ своихъ стихахъ о

прекрасномъ. Онъ терпѣть не могъ толстыхъ, увѣсистыхъ книгъ, обожалъ изящныя обложки и былъ помѣшанъ на какомъ-то новомъ стилѣ...

Между нимъ и Понудинымъ разговоры шли большею частью о красотѣ и искусствѣ, о стилѣ и стильности; ругали критиковъ, публику, писателей...

— А знаете,—скажетъ Глютовъ:—цензура вѣдь не пропустила повѣсти Кубинскаго?

— Да?

И оба сдерживаютъ на своихъ лицахъ довольныя улыбки...

— А читали критическую статью Лучинскаго о Шадриновѣ?

— Какже!.. И раскаталъ же онъ его!

— Лучинскій — деревяшка, но въ данномъ случаѣ онъ правъ...

И опять оба стараются скрыть другъ отъ друга радостное оживленіе, которое играетъ на ихъ лицахъ...

На этотъ разъ Глютовъ былъ какъ-то неестественно оживленъ и имѣлъ такой видъ, будто тайлъ про себя что-то очень важное, сенсационное. Онъ съ мѣста въ карьеръ заговорилъ о „Блуждающихъ огняхъ“ и „Оазисѣ“, открывалъ въ нихъ все новыя и новыя красоты, безпрестанно повторялъ: „это тонко... это глубоко“...—но Понудину казалось, что все это не то, что Глютовъ не за этимъ пришелъ, что онъ самага-то важнаго пока не открываетъ. Но вотъ Глютовъ какъ-то смѣшно заморгалъ и, запинаясь, произнесъ:

— Мнѣ хочется, Игнатій Ивановичъ, прочитатъ вамъ одну вещицу. Такъ какъ вы принадлежите къ числу новаторовъ въ искусствѣ, то... Словомъ, мнѣ хотѣлось бы прочитатъ вамъ первую главу изъ своего романа.

Теперь Понудинъ понялъ причину оживленія Глютова, и ему сразу сдѣлалось скучно, такъ какъ онъ самъ только что собирался разсказать гостю сюжетъ задуманной имъ повѣсти...

— Это очень интересно...—промямлилъ онъ, чувствуя къ Глютову почти отвращеніе.

Глютовъ поспѣшно вынулъ изъ бокового кармана тетрадку, которую уже давно ощупывалъ рукой, поправилъ очки и началъ читать. Романъ назывался: „Призраки“. Первая глава его состояла въ томъ, что герой, котораго всѣ считаютъ счастливецомъ, начинаетъ испытывать странное ощущеніе, будто все—жена, дѣти, служба—не болѣе какъ призраки или какіе-то символы, истиннаго смысла которыхъ онъ никакъ не можетъ постигнуть. Глава кончается восклицаніемъ героя: „Да можетъ быть, высшій-то смыслъ и заключается именно въ томъ, что все, кромѣ меня, кромѣ моей личности, условно и призрачно?!“.

Кончивъ чтеніе, Глютовъ положилъ рукопись въ карманъ и сталъ дрожащими руками раскуривать сигару. Понудинъ молчалъ. При другихъ условіяхъ онъ сказалъ бы автору, что вещь общаетъ быть интересной, но теперь его бѣсило то, что Глютовъ предвосхитилъ его собственную идею. Самое заглавіе романа, „Призраки“, очень напоминаетъ заглавіе его повѣсти: „Фатаморгана“; да и въ содержаніи, и въ мысли есть какое-то непріятное сходство: очевидно, Глютова вдохновили ихъ постоянныя бесѣды о личности и символизмѣ, о „свободной красотѣ и красивой свободѣ“,—бесѣды, натолкнувшія Понудина на идею его „Фатаморганы“...

— Идея моего романа, говоря вкратцѣ, такова...—началъ было Глютовъ, уже обезпеченный молчаніемъ Понудина.—„Призраки“—это...

— Да, вотъ я тоже въ своей повѣсти хочу провести ту мысль, что символизмъ есть, такъ сказать...

— Видите, Игнатій Ивановичъ,—центръ тяжести моего романа...

— У меня квинтъ-эссенція повѣсти выражена въ эпиграфѣ,—опять перебилъ его Понудинъ.—Эпиграфомъ я взялъ слѣдующія слова...

Но Глютовъ былъ слишкомъ задѣтъ за живое, чтобы интересоваться повѣстью Понудина, и потому опять свелъ разговоръ на свой романъ. Понудина это раздражило, и онъ, сказавъ двѣ-три сухихъ фразы о „Призракахъ“, снова заговорилъ о „Фатаморганѣ“. Но Глютовъ былъ упрямъ и хотѣлъ сначала исчерпать вопросъ о „Призракахъ“... Такъ разговаривали они довольно долго: когда рѣчь заходила о „Фатаморганѣ“, оживлялся Понудинъ, и замиралъ Глютовъ; когда же дѣло касалось „Призраковъ“, воскресалъ Глютовъ, а Понудинъ испытывалъ уныніе и скуку. Они словно качались на качеляхъ: чѣмъ выше возносился одинъ, тѣмъ ниже опускался другой. Наконецъ, они разстались, крайне недовольные въ душѣ другъ другомъ.

По уходѣ Глютова, Понудинъ принялся было за свою повѣсть, но ничего не выходило.—„Чортъ бы побралъ Глютова съ его „Призраками“—выбранился онъ; потомъ легъ на диванъ, подложилъ руки подъ голову и долго лежалъ такъ, тупо смотря въ потолокъ и прислушиваясь къ тишинѣ. Въ душу къ нему прокрадывалось ощущеніе какой-то сиротливости: это часто случалось съ нимъ, когда онъ сидѣлъ одинъ въ кабинетѣ, а кругомъ бывала мертвая тишина и работа не клеилась... Часы въ столовой пробили девять, потомъ десять, а онъ все лежалъ. Вдругъ вниманіе его привлекли какіе-то звуки: это кашляла Марья Никоновна, заглушая чѣмъ-то свой кашель.—„Должно быть, она уткнула голову въ подушку?“

предположилъ Понудинъ. Кстати вспомнилъ онъ, что она кашляетъ уже давно, и нехорошо кашляетъ. Ему вдругъ стало жаль жену. Онъ всталъ и пошелъ спросить ее о здоровье, сказать ей что-нибудь доброе, ласковое.

Въ залъ еще горѣла лампа; гостиная тоже была освѣщена: это означало, что Никонъ Ѳедоровичъ еще не ложился спать, такъ какъ обыкновенно онъ тушилъ на ночь всѣ лампы. — „Стало быть, сидитъ у жены“, — подумалъ съ неудовольствіемъ Понудинъ. Проходя черезъ гостиную, онъ увидалъ на столѣ свои „Блуждающіе огни“. Машинально взялъ онъ книжку въ руки и нахмурился: очевидно, сборникъ былъ разрѣзанъ на скорую руку той самой шпилькой, которая торчала изъ него. Понудинъ сердито смотрѣлъ на обезображенные по разрѣзу края страницъ, на женину шпильку, и опять съ раздраженіемъ думалъ о женѣ, которая такъ непочтительно обошлась съ его книгой. Онъ раскрылъ „Блуждающіе огни“ на томъ мѣстѣ, откуда торчала шпилька, и сталъ машинально перечитывать одно свое стихотвореніе за другимъ, котораго онъ и безъ того помнилъ наизусть. Мало-по-малу раздраженіе его уступало мѣсто другому чувству: передъ нимъ обрисовывался образъ страдальца, одинокаго, непонятаго, осмѣяннаго всѣми. Страдалецъ этотъ — онъ самъ, Понудинъ. Онъ говоритъ людямъ о своей душевной трагедіи, — а они глумятся надъ нимъ; онъ указываетъ имъ на идеалъ высшей красоты, высшей свободы, — а они швыряютъ въ него камнями... Наконецъ, онъ, надломившись въ борьбѣ за идеалъ, падаетъ, сраженный недугомъ: у него чахотка, его бьетъ зловѣщій кашель, и алая кровь, та самая кровь, которою онъ писалъ свои вдохновенныя произведенія, струится теперь изъ его устъ, — и возлѣ него никого нѣтъ, онъ — одинъ, одинъ!

Вдохновенный собственными стихами, Понудинъ присѣлъ тутъ же въ гостиной и, подъ аккомпаниментъ женинаго кашля, сталъ писать на обложкѣ „Блуждающихъ огней“ новое стихотвореніе, такое грустное, трогательное, — и на глазахъ у него навертывались слезы, потому что ему было безконечно жаль себя.

VI.

— Читали? — спросилъ однажды утромъ Глютовъ, подходя къ конторкѣ, за которой сидѣлъ Понудинъ, и протягивая ему книжку журнала. — Только что вышла... Сегодня утромъ получилъ.

Глютовъ былъ видимо ажитированъ; глаза его странно блестѣли.

— Что такое?—спросилъ Понудинъ.

— Рецензія о вашемъ „Оазисъ“... И о „Блуждающихъ огняхъ“ тутъ есть...

Понудинъ, употребляя всѣ силы, чтобы казаться спокойнымъ, уже раскрылъ дрожащими руками книжку на томъ мѣстѣ, которое Глютовъ предупредительно заложилъ шведской спичкой... Пока онъ читалъ, по лицу его все больше расходились пятна, а на лбу выступилъ потъ. Рецензія указывала на отсутствіе оригинальности въ авторѣ вмѣстѣ съ неудачными претензіями на нее, на безсодержательность его стиховъ и статей, на вычурность стиля и на излишнее пристрастіе къ декадентству.—„Впрочемъ, по нынѣшнимъ временамъ бываетъ и хуже“,—заключалъ свою замѣтку рецензентъ.

Прочитавъ это, Понудинъ поднялъ голову и увидалъ, что Глютовъ стоитъ возлѣ него, жадно наблюдая за впечатлѣніемъ, какое производитъ на него рецензія. На лицѣ Глютова играло то радостное оживленіе, которое обыкновенно испытывалъ онъ вмѣстѣ съ Понудинымъ при видѣ чужой литературной неудачи. Застигнутый врасплохъ, Глютовъ смутился и забормоталъ что-то о „деревянности рецензента“.

— Надо бы хорошенько обсудить это совмѣстно,—сказалъ онъ, бѣгая глазами.—Вы сегодня дома?

— Нѣтъ,—рѣзко возразилъ Понудинъ и отвернулся отъ Глютова.

Глютовъ покраснѣлъ, потоптался около конторки и пошелъ къ своему мѣсту. Понудинъ зналъ, что Глютовъ больше не придетъ къ нему, а Глютовъ догадывался, что если онъ придетъ къ Понудину, то будетъ встрѣченъ очень недружелюбно... Они поняли другъ друга.

Понудинъ пришелъ домой разстроенный. Отъ этой рецензіи точно пощечина горѣла на его лицѣ, а отъ Глютова у него осталось ощущеніе гадливости:—„Дрянной человѣчишка! Мелкая душонка“!

Войдя къ себѣ въ кабинетъ, онъ вдругъ увидалъ, что подъ диваномъ копошится какая-то сѣрая масса. Это была кошка съ новорожденными котятками...

Вчера Тамара находилась весь день въ припадкѣ радостнаго возбужденія; увидавъ у кошки двухъ маленькихъ котятъ, она обомлѣла, а когда Маруська принесла за шиворотъ третьяго котенка, потомъ четвертаго, потомъ пятаго, она не взвидѣла отъ радости свѣта, стояла надъ кошкой съ котятками и говорила въ экстазѣ:—„Марусенька, я люблю тебя! Еще больше принесешь котяточекъ,—еще больше буду любить тебя“! Потомъ она до вечера не отходила отъ котятъ, а ночью положила ихъ и Маруську къ себѣ подъ кровать. Теперь кошка, пользуясь тѣмъ, что Тамара ушла гулять, сочла за

лучшее перетащить своих новорожденных въ болѣе укромное мѣсто, но при этомъ упустила изъ виду настроеніе хозяина.

— Скотина рецензентъ... низкая душонка Глютовъ... а теперь эта мерзость подъ диваномъ!—думалъ въ раздраженіи Понудинъ.

— Эй, кто тамъ!—закричалъ онъ на весь домъ.—Возьмите отсюда эту гадость!

Потомъ, не дожидаясь отвѣта, сталъ вышвыривать ногой изъ-подъ дивана котятъ. Кошка жалобно замыкала, схватила одного котенка въ зубы и, бѣгая съ нимъ по кабинету, безпомощно оглядывалась на другихъ котятъ; а Понудинъ, раздражаясь отъ кошачьяго писка все больше и больше, толкалъ ихъ носкомъ сапога, готовый растоптать ихъ ногами...

Вернувшись съ прогулки и заслышавъ еще въ дверяхъ передней мяуканье и пискъ, Тамара уже бѣжала къ кабинету съ сильно бьющимся сердцемъ, съ предчувствіемъ недобраго. Она подоспѣла въ тотъ самый моментъ, когда Понудинъ, преодолевъ отвращеніе, схватилъ котенка рукой и швырнулъ его изъ кабинета на середину залы; потомъ шваркнулъ объ полъ залы другого, затѣмъ—третьяго... Тамара замерла и глядѣла на искаженное злостью лицо отца расширенными отъ ужаса глазами. Хотѣла крикнуть—и не могла: у нея захватило дыханіе... За то кричала раздирающимъ голосомъ Маруська: она выпустила изъ рта котенка, бѣжала то въ залу, то опять въ кабинетъ, то къ котятамъ, то къ Понудину и, не переставая, кричала... На этотъ шумъ прибѣжали изъ передней Марья Никоновна и Никонъ Ѳедоровичъ, гулявшіе съ Тамарой. Понудинъ, не помня себя отъ бѣшенства, схватилъ за голову послѣдняго котенка и размахнулся, чтобы вышвырнуть его... Тамара съ визгомъ бросилась къ отцу и уцѣпилась ему за руку.

— Не трогай!.. Не смѣй!—кричала она истерически.—Ты—злой, папа!.. Ты—гадкій!.. Я тебя не люблю!.. Ты злой, злой!..

Она разразилась рыданіями... Марья Никоновна въ испугѣ бросилась къ ней, схватила ее на руки, стала крѣпко прижимать ее къ себѣ и цѣловать.

— Тamarочка... дѣточка моя... успокойся!—говорила она ей.

— Злой... гадкій папа!—выкрикивала дѣвочка...

— Полно, Тamarочка, замолчи,—что ты говоришь!—твердила ей въ испугѣ мать...

— Да, злой, гадкій!—вдругъ заклокоталъ Никонъ Ѳедоровичъ, подступая къ Понудину и смотря на него своими покраснѣвшими, точно заплаканными глазами.—Вы никого не любите... никого не жалѣете!.. Всѣхъ мучите, всѣмъ портите жизнь!

— Избавьте меня отъ вашего присутствія! Вы надоѣли мнѣ до тошноты!.. Всѣ вы опостылѣли мнѣ!—крикнулъ въ изступленіи Понудинъ и яростно захлопнулъ за собой дверь кабинета...

— Всѣмъ заѣдаетъ вѣкъ!—продолжалъ кричать внѣ себя Никонъ Ѳедоровичъ.—Жену заморилъ, дочь заморилъ, душу у всѣхъ вытянулъ!

— Папа, папа!..—говорила съ отчаяніемъ Марья Никоновна, пытаюсь остановить отца.

Но, разъ прорвавшись, старичокъ уже не могъ остановиться и продолжалъ выкрикивать жидкимъ, дребезжащимъ голосомъ:

— Всѣ ему мѣшаютъ, всѣ!.. Никто при немъ слова пикнуть не смѣетъ!.. Тамарочка пальцемъ шевельнуть боится... одичала совсѣмъ!.. Тетку Анну Прокофьевну теперь калачомъ сюда не заманишь... А все изъ-за него! Онъ всѣхъ разогналъ, всѣхъ распугалъ! У меня, когда я сижу за столомъ, кусокъ поперекъ горла становится!.. Это—деспотъ! Это мучитель!.. Это... это...

— Папа!..—крикнула Марья Никоновна.

Страшный припадокъ кашля не далъ ей говорить. Она торопливо прижала платокъ къ губамъ, спустила съ колѣнъ Тамару и, корчась отъ кашля, выбѣжала изъ комнаты.

VII.

Ночью Никонъ Ѳедоровичъ сидѣлъ у постели дочери. При свѣтѣ ночника, тускло освѣщавшаго спальню, лица обоихъ казались совсѣмъ больными и жалкими. Старикъ какъ будто сразу одряхлѣлъ, а Марья Никоновна осунулась, и глаза ея уныло смотрѣли изъ глубокихъ впадинъ. Нѣжно поглаживая холодную руку дочери и согрѣвая ее своимъ дыханіемъ, Никонъ Ѳедоровичъ говорилъ стонущимъ голосомъ:

— Ты-ли это, моя Машурочка? Такою ли ты была прежде? Полная, веселая, ямочки на щекахъ... Здоровья на двоихъ хватило бы... А теперь?..

Марья Никоновна переводить взглядъ на свой портретъ, висящій въ спальнѣ рядомъ съ любимымъ ею портретомъ мужа, и изумляется: она-ли—эта полная, жизнерадостная блондинка, съ беззаботнымъ лицомъ дѣвочки-институтки, съ пышными бѣлокурыми волосами, вся дышащая свѣжестью и здоровьемъ? Когда и какъ успѣла она превратиться въ такое унылое, вялое существо, какова она теперь? Откуда явились эти впалые, потухшіе глаза, эти скорбныя морщинки

около губъ, этотъ недоумѣлый, испуганный, туповатый видъ, который такъ оскорбляетъ ее, когда она смотрится въ зеркало? Куда исчезла жизнь, недавно переполнявшая все ея существо?

Припавъ къ отцу, она говоритъ ему заунывнымъ шопотомъ о томъ, что теперь она вся какъ будто пустая. Прежде она любила читать, а теперь берется за книгу только изъ страха, какъ бы не спросилъ мужъ: „Вы еще не разучились читать, Машурочка? Простудите хотя поваренную книгу“. Прежде она любила музыку, а теперь рояль по цѣлымъ недѣлямъ не открывается... Да, она опустѣла, отупѣла. Отчего такъ вышло? Она сама не понимаетъ этого хорошенько. За что бы она ни бралась, ко всему примѣшивался неизмѣнный вопросъ: какъ отнесется къ этому мужъ? — и все для нея упиралось въ этотъ вопросъ, какъ въ стѣну. Не успѣвъ она раскрыть книгу, какъ уже спрашиваетъ себя: можетъ быть, мужъ найдетъ, что глупо читать это? Или разговаривается съ кѣмъ-нибудь, — и вдругъ представитъ себѣ ироническую усмѣшку мужа: „Такъ, такъ... продолжайте Машурочка!“ слышится ей, — и вотъ языкъ у нея нѣмѣетъ, мысль замираетъ...

— А теперь мнѣ и разговаривать ни съ кѣмъ не хочется, и думать противно, и сама я себѣ въ тягость...

— Дѣточка моя, — говоритъ Никонъ Ѳедоровичъ, — уѣдемъ завтра со мной въ деревню! Тебѣ надо отдохнуть, придти въ себя... И Тамарочку захватимъ съ собой, а то вѣдь она совсѣмъ заморышемъ станетъ. Голубка моя, поѣдемъ!

Голосъ его дрожитъ, красные отъ слезъ глаза жалобно мигаютъ...

— Буду отпаивать обѣихъ васъ молокомъ... Будете вы у меня гулять на свѣжемъ воздухѣ, успокоитесь, поправитесь. Ты, Машурочка, станешь спать хорошо, и кашель твой скоро пройдетъ. Поѣдемъ, ангелочекъ! Пожалѣй ты себя и Тамарочку... да и меня, старика!

Но Марья Никоновна грустно качаетъ головой.

— Нѣтъ, папа, нѣтъ... я не могу уѣхать...

Потомъ притягиваетъ голову отца къ себѣ и шепчетъ ему на ухо:

— Мнѣ жалко, папа, оставить его одного...

— Да подумай, Машурочка, ради Бога: зачѣмъ ты ему? Развѣ онъ разговариваетъ когда съ тобой путемъ? Всѣ мы — только помѣха для него, всѣ!.. Неужто ты не видишь этого? Мнѣ обидно за тебя, Машурочка! Эхъ, да что говорить!..

Глаза Марьи Никоновны уходятъ глубже во впадины, блѣдныя губы вздрагиваютъ...

— Я знаю это, папа... — шепчетъ она беззвучно. — Можетъ

быть, ему безъ насъ будетъ даже спокойнѣе... А я все-таки не могу уѣхать. Я не знаю, какъ жить безъ него... Мнѣ тяжело здѣсь... Я все время мучаюсь...—а оставить его не въ силахъ. Я сама не понимаю, что это за чувство, а только я еще хуже изстрадаюсь вдаль отъ него...

— Ну, въ такомъ случаѣ и я не уѣду отъ тебя,—говорить рѣшительно Никонъ Ѳедоровичъ:—пусть онъ оскорбляетъ меня, какъ его душѣ угодно, а я тебя не покину въ такомъ состояніи.

— Нѣтъ, папа, ты уѣзжай лучше, а то онъ будетъ раздражаться, и тебѣ будетъ тяжело... да и я измучаюсь за васъ обоихъ. Лучше уѣзжай, папочка.

На глазахъ у нея слезы; голосъ ея—больной и виноватый... Она нѣжно обнимаетъ отца и шепчетъ ему на ухо:

— Лучше уѣзжай, папа!..

Никонъ Ѳедоровичъ чувствуетъ, какъ дрожать у нея руки, и угадываетъ, что происходитъ въ сердцѣ дочери. Ему нестерпимо больно сознавать, что она вся насыщена мучительной заботой о мужѣ, что ея нѣжная любовь къ отцу тонетъ безслѣдно въ этой заботѣ, что съ мужемъ она разстаться не можетъ, а съ отцомъ...

— Да, да, конечно, я уѣду, Машурочка...—лепечетъ онъ, захлебываясь, и вдругъ, не выдержавъ, опускаетъ голову на постель и начинаетъ рыдать...

VIII.

Еще тише стало въ квартирѣ Понудиныхъ. Даже бонна поддалась мертвенной атмосферѣ и уже начинала утрачивать видъ шаловливаго ребенка...

Марья Никоновна еще больше ушла въ себя, ходила по комнатамъ совсѣмъ неслышно, говорила беззвучно. Отцу писала, что ей гораздо лучше, но кашляла по прежнему.

Тамара сдѣлалась еще задумчивѣе и старообразнѣе. Когда она, въ большомъ бѣломъ капорѣ, съ муфточкой въ рукахъ, степенно гуляетъ съ бонной по бульвару, то производитъ впечатлѣніе маленькой женщины, много думавшей, много испытавшей и какъ бы уже усталой отъ жизни... Изъ состоянія задумчивой неподвижности выводили ее только котята. Они значительно подросли, но все еще не разставались съ матерью, которая великодушно позволяла имъ играть ея хвостомъ. Ночью и мать, и дѣти по прежнему спали подъ кроваткой Тамары, и дѣвочка привыкла ощущать рукой Маруську и котятъ и ласково бормотать въ полу-

снѣ: „Марусенька, еще принесешь котяточекъ,—еще больше буду любить тебя“...

Никонъ Федоровичъ сидѣлъ одинъ у себя въ имѣніи, тосковалъ по дочери и внучкѣ, но пріѣхать не рѣшался, боясь зятя. У него разыгрался ревматизмъ и разные старческие недуги, но онъ скрывалъ это отъ дочери и въ письмахъ своихъ говорилъ больше о томъ, какъ хорошо живется въ деревнѣ и какой тамъ удивительно цѣлебный, здоровый воздухъ: „ложками хлебать можно!..“

Самъ Понудинъ какъ-то странно затихъ: въ тонѣ его уже не слышалось прежней рѣзкости и самоувѣренности. Лицо его еще больше сморщилось, а „щупальцы“ двигались, шевелились, сгибались и разгибались какъ-то беспомощно и нерѣшительно. Онъ чувствовалъ, что внутри него точно вертится калейдоскопъ: мысли и ощущенія всплываютъ на поверхность души и тотчасъ же исчезаютъ, какъ пузыри на водѣ, и нѣтъ между ними никакой связи: это какая-то мозаика, какая-то несносная душевная пестрота и разрозненность.

Изъ редакціи толстатаго журнала послали ему обратно его символистическую поэму въ стихахъ подъ заглавіемъ: „Сѣверное сіяніе“. Надъ заглавіемъ стояла редакціонная пометка: „№ 2185“—и больше ничего. Этотъ „№ 2185“ глубоко уязвилъ Понудина; но когда онъ сталъ перечитывать этотъ отвергнутый №, то, къ ужасу своему, почувствовалъ, до какой степени его „Сѣверное сіяніе“ холодно, блѣдно, безсодержательно: какъ будто онъ вложилъ въ свою поэму то безжизненное, лишенное всякихъ красокъ настроеніе, отъ котораго самъ не зналъ, какъ избавиться. Такою же безжизненной выходила и повѣсть „Фатаморгана“, въ которую ему хотѣлось вложить всѣ свои завѣтныя думы. Каждый вечеръ, затворившись у себя въ кабинетѣ, онъ кладетъ передъ собой листъ бумаги и пробуетъ писать; ерошитъ волосы, кусаетъ ногти, бѣгаетъ по комнатѣ, безпрестанно макаетъ перо въ чернильницу, но писать ничего не можетъ: мысли точно слиплись въ головѣ, воображеніе уперлось въ глухую стѣну, внутри нѣтъ ничего, кромѣ ощущенія своего безсилія. Онъ въ отчаяніи ложится на диванъ, смотритъ въ потолокъ, хочетъ насильно вызвать въ себѣ настроеніе.—но все напрасно: и жизнь, и люди, и природа, и собственная душа—все кажется ему такимъ тусклымъ, безцвѣтнымъ...

Съ нѣкоторыхъ поръ онъ началъ спать особенно скверно. и видѣть престранные сны. То увидитъ самого себя вставленнымъ въ рамку и повѣшеннымъ, въ видѣ портрета, на стѣну, такъ что нельзя разобрать: портретъ ли это, или живой человѣкъ? То будто идетъ онъ по тротуару, а по другому тротуару параллельно съ нимъ идетъ онъ же: оба эти

Понудины, заложивъ руки за спину, идутъ въ ногу, идутъ безконечно долго, сами не зная куда, и обоимъ безконечно скучно... То приснится ему, будто передъ нимъ надуваютъ огромный шаръ. Когда его надули, онъ увидалъ, что это опять таки его собственное лицо, только толстое, глупое, „обывательское“,—и ему сдѣлалось противно до омерзѣнія и страшно. Особенно угнетало его то, что каждый разъ въ этихъ случаяхъ онъ видѣлъ самого себя всего цѣликомъ, какъ на ладони, со всѣми своими тайными думами и желаніями, и тогда ему казалось, что все его „я“ могло бы свободно помѣститься въ пригоршнѣ... Онъ просыпался съ ощущеніемъ душевной тошноты, и вслѣдъ за этимъ въ немъ тотчасъ же разомъ воскресало его привычное дневное настроеніе, безнадежно-неизмѣнное и мертвенно неподвижное, какъ голыя опостылѣвшія стѣны одиночной камеры. И явь, и сонъ сливались для него въ одно нераздѣльное ощущеніе какой-то безвкусицы жизни, какой-то гадкой оскотины и отъ прошлаго, и отъ настоящаго, и отъ будущаго. Вставая, онъ уже съ отвращеніемъ предвкушалъ этотъ ожидающій его холодный, пустой, мертвый день и морщился брезгливо, какъ больной при мысли о безконечно-длинномъ больномъ днѣ, наполненномъ больными мыслями, лѣкарствами, пролежнями на бокахъ, безплодными жалобами и вздохами... Пересиливая себя, онъ вяло одѣвался, нехотя пилъ кофе, нехотя прочитывалъ газету, которая обыкновенно вызывала въ немъ какія-то пустопорожнія, „мизерныя“ мыслишки...

Въ одно утро онъ увидалъ на первой страницѣ газеты свою фамилію—и вздрогнулъ. Конечно, онъ въ тотъ же моментъ, понявъ, что его тревога напрасна: просто-напросто скоростижно умеръ какой-то Павелъ Семеновичъ Понудинъ, „о чемъ увѣдомляютъ съ глубокимъ прискорбіемъ жена и дѣти покойнаго“. Но это тотчасъ же навело живого Понудина на мысль: „что будетъ написано о немъ въ некрологахъ, когда самъ онъ („настоящій“ Понудинъ) умретъ“? Воображеніе его уже заработало, онъ уже представлялъ себѣ роковой моментъ такъ живо, точно завтра же должна появиться въ газетахъ публикація о его смерти, точно сейчасъ же, сію же минуту ему необходимо принять какія-нибудь мѣры, чтобы въ некрологахъ не наптели чего-нибудь неподходящаго...—„Что за пошлости лѣзутъ въ голову!“ съ отвращеніемъ подумалъ онъ; но маленькія, дрянненькія, обидно-безсодержательныя, оскорбительно ненужныя мыслишки продолжали насильно лѣзть ему въ голову.

Онъ пошелъ въ дѣтскую, откуда доносился сдержанный кашель Марьи Никоновны, поздоровался съ женой, съ дочерью и какъ бы вскользь замѣтилъ:

— А Никонъ Ѳедоровичъ что-то не ѣдетъ къ намъ.

И жена, и дочь молча смотрѣли на него съ такимъ выраженіемъ, точно спрашивали себя: что такое скрывается за его словами? Понудинъ увидалъ эти боязливо-недовѣрчивые взгляды и, насупившись, вышелъ, а Тамара сказала матери суровымъ тономъ:

— Пускай лучше дѣдушка пріѣдетъ. Пускай лучше не боится папы...

Въ другой разъ Понудинъ, проходя мимо жены, спросилъ какъ будто между прочимъ:

— А тетка, повидимому, совсѣмъ перестала бывать у насъ?.. Отчего такъ?

Онъ зналъ хорошо, что тетка перестала бывать съ тѣхъ поръ, какъ онъ однажды слишкомъ явно выразилъ свое отвращеніе къ ней; и Марья Никоновна хорошо помнила, какъ онъ говорилъ, что ему противно видѣть „громадныя ступни этой бабицы“, что его коробитъ, когда она подаетъ ему „кончики своихъ шероховатыхъ пальцевъ“, и что если она и добра, то „какъ-то омерзительно добра“... И опять онъ прочелъ въ глазахъ жены недоумѣніе и ушелъ, не дождавшись отъ нея отвѣта.

А между тѣмъ Понудина съ каждымъ днемъ все больше угнетали тишина и мертвенность въ домѣ. Ему хотѣлось теперь, чтобы по комнатамъ ходилъ, удалски разбрасывая ноги, старичокъ-тестъ, чтобы вообще бывали здѣсь люди, слышались разговоры, пахло „человѣчьимъ духомъ“; но онъ не рѣшался признаться даже самому себѣ въ этомъ стремленіи „перекинуть мостъ къ обывательщинѣ“. Ему хотѣлось бы возобновить отношенія съ Глютовымъ, но онъ предвидѣлъ, что Глютовъ спроситъ его о судьбѣ „Сѣвернаго сіянія“ и обрадуется, узнавъ, что оно отвергнуто редакціей...

По временамъ эта тишина, эта безжизненность въ домѣ начинала бѣсить его. Онъ злился на жену, на дочь и иногда, не сдержавъ своего раздраженія, сердито говорилъ женѣ:

— Да что это вы всѣ словно мертвые?

Марья Никоновна отъ его сердитаго окрика замирала еще больше, а Понудинъ, при видѣ этого замиранія, морщился съ выраженіемъ горечи и злости. Потомъ ему становилось стыдно своего раздраженія и какъ будто жаль жену, жаль того прошлаго, когда имъ такъ хорошо говорилось вдвоемъ, и у обоихъ было такъ много жизни. Говорилъ-то, положимъ, онъ, а она больше слушала, но въ ея миломъ, ласковомъ лицѣ было столько сочувствія, столько оживленія, такія славныя ямочки — на щекахъ и подбородкѣ, такіе свѣтлые, блестящіе глаза! И онъ самъ былъ тогда не такой, какъ те-

перъ: съ какимъ жаромъ говорилъ онъ своей Манечкѣ о чувствахъ, о поэзіи, и какимъ добрымъ, великодушнымъ чувствовалъ онъ тогда себя!.. Или, бывало, бѣгаетъ съ Манечкой по комнатамъ, дурачится, хохочетъ, отдается безудержно молодому веселью,—и такъ хорошо, легко и тепло у обоихъ въ душѣ!.. Теперь ему опять хотѣлось оживленія, веселья, смѣху, музыки, пѣсенъ...

— А я вотъ собираюсь купить вамъ куклу, — пошутилъ онъ однажды съ бонной, намекая на ея ребяческій видъ.

Нѣмочка побагровѣла... Ей почудился въ словахъ Понудина выговоръ за то, что она недостаточно серьезна, — и съ тѣхъ поръ она старалась изо всѣхъ силъ быть какъ можно смиреннѣе, солиднѣе, а при встрѣчѣ съ Понудинымъ каждый разъ невольно дѣлала унылое, озабоченное лицо, такъ что онъ сталъ отворачиваться отъ нея.

Тамара, завидѣвъ отца, тоже инстинктивно дѣлала напряженно-серьезное личико, въ которомъ появлялось что-то старчески-брезгливое, или старалась неслышно, какъ мышь, ускользнуть куда-нибудь въ уголокъ. Какъ-то разъ, замѣтивъ, что она шмыгнула отъ него въ дѣтскую, Понудинъ пошелъ къ ней и засталъ ее съ кучей котятъ. При взглядѣ на отца, дѣвочка въ испугѣ загородила руками котятъ и приняла оборонительное положеніе.

— А ты, малютка, все съ котятами?—сказалъ Понудинъ какъ можно ласковѣе.

Тамара молчала и продолжала оборонять своихъ любимцевъ.

— Да не бойся, я не трону ихъ. Ну, расскажи мнѣ, малютка, что ты еще дѣлаешь? Гуляешь, читаешь съ мамой книжку?

— Да... — прошептала дѣвочка, смотря изподлобья на отца.

— Смотришь картинки?

— Да...

— Ну, расскажи мнѣ, какія картинки ты видѣла?

Тамара уперлась глазами въ землю и молчала, нервно теребя свой рукавъ худенькими пальчиками. И чѣмъ ласковѣе говорилъ съ нею отецъ, тѣмъ ниже наклоняла она голову, тѣмъ упорнѣе смотрѣла въ землю.

— Ну, чего же ты все молчишь? Погляди на меня...

Онъ поднималъ лицо дѣвочки за подбородокъ и увидѣлъ ея маленькіе сѣрые глаза: они бѣжали безпокойно, какъ у звѣрька, котораго хотятъ схватить и который ищетъ, куда бы укрыться—или юркнуть.

— Чего же ты боишься?.. Аѣ, какъ стыдно!.. Вотъ я тебя сейчасъ...

Онъ началъ шутя теребить ее. Дѣвочка не сопротивлялась, но была какъ мертвая, а въ глазахъ ея отражались недоумѣніе и испугъ... Понудину стало и больно, и неловко...

— Ай, ай, какая ты...—сказалъ онъ съ кривой усмѣшкой и ушелъ отъ Тамары.

Еще труднѣе было ему подойти съ ласковымъ словомъ къ женѣ. Много разъ онъ внутренно рѣшался измѣнить свое „вы“ на „ты“, но едва разѣвалъ ротъ, какъ тотчасъ же чувствовалъ, что это „ты“ прозвучитъ слишкомъ фальшиво, и жена еще болѣе смутится отъ этой фальши. И опять онъ говорилъ: „Вы, Машурочка“... и опять они оба чувствовали стѣну между ними...

— Вы, Машурочка, сыграли бы что-нибудь,—сказалъ онъ какъ-то женѣ намѣренно-небрежнымъ тономъ.

Марья Никоновна уныло усмѣхнулась...

— Какая ужъ игра?.. Пальцы не ходятъ... Отвыкла я отъ музыки.

Понудинъ постоялъ противъ нея и молча ушелъ.

Нѣсколько разъ приходилъ онъ къ ней съ книгой и предлагалъ почитать вмѣстѣ. Марья Никоновна сейчасъ же бросала вышиванье, за которымъ обыкновенно сидѣла, и вся обращалась въ слухъ. Понудинъ читалъ, но въ то же время чувствовалъ, что оба они съ женой притворяются другъ передъ другомъ: у него, въ сущности, нѣтъ желанія читать вмѣстѣ съ женой, и дѣлаетъ онъ это только для того, чтобы опять приручить ее къ себѣ, потому что ему холодно и страшно отъ своего одиночества; жена, въ свою очередь, понимаетъ, что ему нѣтъ никакой надобности читать совмѣстно съ нею, но она боится огорчить его невниманіемъ и потому вся настораживается. Понудинъ чувствуетъ ея мучительное напряженіе, не ведущее ни къ чему („вонъ она и вышиванье свое отложила зачѣмъ-то въ сторону!“), чувствуетъ, что это для нея тяжелѣе всякаго труда, что она не можетъ сейчасъ интересоваться книгой, такъ какъ невыносимо остро ощущаетъ и себя, и его, и взаимное ихъ притворство, и то, что это притворство не удастся... Отъ такого напряженія у обоихъ устаютъ и разстраиваются нервы. Понудинъ начинаетъ чувствовать, какъ у него въ душѣ, въ мозгу, во всемъ тѣлѣ шевелится раздраженіе, растеть, подступаетъ къ горлу, какъ это раздраженіе, точно непріятный, острый зудъ, не даетъ ему сидѣть на мѣстѣ, побуждаетъ его кричать, ругаться, топтать ногами... Онъ внезапно обрываетъ чтеніе.

— Ну, на этотъ разъ довольно,—говоритъ онъ сквозь зубы, захлопываетъ книгу и спѣшитъ уйти.

А когда Понудинъ пробуетъ заговорить съ женой по хорошему, все вниманіе Марьи Никоновны направляется къ тому, чтобы не сказать чего-нибудь глупаго, не подходящаго, не разсердить, не разстроить мужа. Если ей приходится отвѣчать на какой-нибудь вопросъ, высказывать свое мнѣніе, она чувствуетъ себя настоящей мученицей, видитъ, что Понудинъ невольно смотритъ на нее, какъ на мученицу, и отъ этого она еще больше мучится.

— Я какъ-то отвыкла разговаривать...—сказала она ему однажды съ своей виноватой улыбкой.

И Понудинъ мало-по-малу опять началъ обмѣниваться съ женою только незначительными фразами о Тамарѣ, о прислугѣ, о погодѣ и разныхъ житейскихъ вещахъ, послѣ чего каждый спѣшилъ уйти скорѣе въ свой уголь. Такъ и сидѣли они, каждый въ своемъ углу, со своей думой, съ своимъ одиночествомъ. Вечеромъ, уложивъ Тамару, Марья Никоновна брала вязанье и усаживалась въ спальню. Работа лежала у нея на колѣняхъ, а сама она по цѣлымъ часамъ сидѣла неподвижная, думая въ одиночку все одну и ту же безотрадную думу. Понудинъ въ это время лежалъ у себя въ кабинетѣ, тупо смотря въ потолокъ, или ходилъ изъ угла въ уголь, чувствуя оскомину жизни и томясь одиночествомъ... А тамъ, за сотни верстъ отъ Понудиныхъ, одиноко тосковалъ въ глуши Никонъ Ѳедоровичъ, не зная, какъ скоротать длинный вечеръ, охая отъ ревматизма и чувствуя, какъ подкрадывается къ нему смерть...

IX.

Въ одинъ изъ такихъ тоскливыхъ вечеровъ Понудинъ, не вынеся холодной скуки, пошелъ къ женѣ. Марья Никоновна, опустивъ руки съ вязаньемъ на колѣни, сидѣла неподвижно съ понуренной головой. Понудина поразили обострившіяся черты ея лица, его матовый цвѣтъ, впалые глаза съ синими кругами... „Совсѣмъ точно покойница!“ подумалъ онъ,—и вдругъ у него невольно вырвалось со страхомъ и болью:

— Что это ты, Машурочка?!

Марья Никоновна вздрогнула всѣмъ тѣломъ; вязанье сползло у нея съ колѣнъ. Она взглянула на мужа, и отъ этихъ большихъ, болѣзненно горѣвшихъ глазъ задрожало въ немъ сердце. Онъ сѣлъ рядомъ съ женой, взялъ ея руку, безсильно лежавшую на колѣняхъ, и растерянно бормоталъ:

— Такъ нельзя, Машурочка... Что же это?... Такъ нельзя... Это невозможно!...

Съ ея пальца соскользнуло обручальное кольцо и покатилося по полу. Поднявъ машинально кольцо, онъ такъ же ма-

пинально надѣлъ его женѣ на палецъ—и тутъ только впервые понялъ со всей ясностью, до чего она исхудала. Онъ держалъ эту блѣдную, казавшуюся прозрачной руку, повертывалъ на ея пальцѣ кольцо, теперь слишкомъ просторное для нея, и повторялъ срывающимся отъ волненія голосомъ:

— Такъ нельзя, такъ нельзя, Манечка... Что же это наконецъ?!...

Рука ея дрожала; все тѣло стало подергиваться и трепетать отъ беззвучныхъ рыданій... Трясаясь отъ слезъ, она опустила голову на плечо мужа и силилась подавить рыданія. Понудинъ гладилъ ее по волосамъ, по щекѣ, говорилъ, что онъ любитъ ее, жалѣетъ, что ему самому невыносимо тяжело и больно, что такъ продолжаться не можетъ: теперь все измѣнится,—они поймутъ другъ друга, и имъ, какъ прежде, станетъ легко жить вмѣстѣ; онъ будетъ ухаживать за нею, повезетъ ее въ деревню, станетъ лѣчить ее, покоить: она выздоровѣетъ, сдѣлается опять спокойной, веселой, и они снова заживутъ, какъ въ первое время ихъ семейной жизни...

Марья Никоновна слушала и переставала вздрагивать отъ рыданій: теперь она плакала тихо, неслышно, какъ будто спокойно, и слезы ея стали казаться Понудину тѣмъ неторопливымъ, равномернымъ осеннимъ дождемъ, который идетъ, не переставая, день, два, цѣлую недѣлю. Голова ея, недвижно лежавшая на его плечѣ, была такой горячей, тяжелой...

Исчерпавъ всѣ слова утѣшенія, Понудинъ, къ ужасу своему, почувствовалъ, что нѣжное состраданіе, только что заволновавшее его, уже начинаетъ испаряться изъ его души: точно онъ уже израсходовалъ въ сочувственныхъ словахъ весь запасъ любви и жалости. Онъ взглянулъ на лицо жены: сбившіеся волосы съ опустившеюся на глаза прядью, сморщенный отъ слезъ лобъ и покраснѣвшій носъ произвели на него мимолетное, но острое впечатлѣніе чего-то некрасиваго и непріятно-немошняго. Тогда онъ понялъ, что ему сейчасъ станетъ тяжело и скучно, и отъ этой мысли сразу потухла въ его сердцѣ послѣдняя искра тепла.—„Что же это?!“ думалъ онъ съ холодной тоской.—„Неужели во мнѣ умерло все живое? Неужели я даже теперь не въ состояніи искренно пожалѣть ее? Но вѣдь я долженъ пожалѣть, я хочу жалѣть,—хочу, хочу!“

Такъ говорилъ онъ себѣ, а наряду съ этимъ откуда-то изъ глубины души его поднималось нетерпѣніе:—„Ну, плачешь... а дальше-то что же, дальше-то?“ Такъ бываетъ у нетерпѣливаго зрителя, когда ходъ пьесы черезчуръ замедляется... Нетерпѣніе, помимо его воли, переходило въ глухое, безсознательное раздраженіе на жену, на ея ужъ очень долгія слезы, на ея безнадежное молчаніе.—„Говори же что-нибудь, ради всего святаго, прояви въ чемъ-нибудь свою

жизнь, свою личность." стонало у него внутри въ то время, какъ онъ машинально гладила жену по рукѣ и холодно смотрѣлъ на ея припухшіе отъ слезъ и закрытые глаза. Ему хотѣлось услышать отъ жены слова, добрыя или злыя, радостныя или печальныя—все равно, лишь бы они несли съ собой жизнь, напомнили чѣмъ-нибудь живымъ зіяющую внутри него пустоту, отъ которой онъ цѣпенѣлъ. Но она молчала и плакала, и онъ начиналъ уже чувствовать, что ему неловко сидѣть, начиналъ уже смотрѣть на себя и жену со стороны, какъ зритель... Онъ уже замѣтилъ, что лампа какъ будто коптитъ, что часы въ столовой пробили двѣнадцать, вспомнилъ, что они на полчаса отстаютъ... Временами онъ переставалъ чувствовать возлѣ себя жену, забывалъ о томъ, что она плачетъ, припавъ къ нему, что она серьезно больна, что надо говорить о ея здоровьѣ, успокаивать ее; забывшись, онъ думалъ о своемъ—все о томъ же, о чемъ думалъ каждый вечеръ, слоняясь по кабинету или лежа на диванѣ. Это были даже не мысли, а просто холодное, ядовитое ощущение своей обнищавшей души, своего безсильнаго сердца, которое все больше ожесточалось отъ этого презрѣннаго безсилія и жадно искало, на кого бы можно было излить желчь за это опустошеніе души... Рѣзкимъ движеніемъ отстранилъ онъ отъ себя жену, всталъ и началъ, какъ звѣрь въ клѣткѣ, ходить по ковра тѣсной спальни, ожесточенно грызя ногти; губы его кривила злая и вмѣстѣ жалкая усмѣшка. Марья Никоновна подняла голову и, машинально поправляя прическу, смотрѣла на мужа растеряннымъ взглядомъ... Потомъ ей вдругъ стало стыдно и за свои слезы, и за свое, пылавшее отъ слезъ лицо, и за свои растрепанные волосы. И когда она ощутила этотъ стыдъ, въ сердцѣ ея заняло въ первый разъ въ жизни ощущеніе такой обиды, которой нельзя ни забыть, ни перенести. Въ глазахъ ея загорѣлась глухая вражда къ этому нервно подергивающемуся человѣку, который сейчасъ такъ надругался въ душѣ надъ ея мукѣю.

— Уйди лучше...—сказала она истерическимъ шопотомъ.— Оставь меня... Оставь ради Бога!

Но Понудинъ ходилъ по комнатѣ, кусая то губы, то ногти, и молчалъ...

— Зачѣмъ ты пришелъ сюда?..—говорила Марья Никоновна, съ трудомъ переводя дыханіе, и въ голосъ ея звучало что-то безнадежное, напоминающее похоронный звонъ.—Ну, я умираю... ну, я умру, — что тебѣ до того?.. Развѣ ты можешь кого-нибудь любить, кого-нибудь жалѣть, кромѣ себя самого? Если бы ты хоть капельку жалѣлъ, развѣ я сейчасъ была бы такая?.. Зачѣмъ ты притворяешься? Это гадко! Всю жизнь не жалѣлъ—и теперь не жалѣешь. И никого тебѣ не

надо: ни жены, ни ребенка... Не мучь меня,—дай мнѣ умереть спокойно!..

Она замолчала и закрыла глаза ладонью, загоразживаясь отъ лампы; въ тишинѣ слышно было ея нервное дыханіе. Понудивъ продолжалъ ходить мечущимися шагами по комнатамъ, блѣдный отъ тоски и злости, которыя разрывали ему душу...

— Знаете что, Машурочка...—произнесъ онъ сдавленнымъ голосомъ, останавливаясь противъ жены и весь внутренно корчась отъ переполнявшаго его раздраженія.—Вы сказали сейчасъ истинную правду... да. Не постигаю только: отчего вы раньше молчали? Почему вы предпочли стоять передо мной всю жизнь нѣмымъ укоромъ? Этотъ кроткій видъ угнетенной добродѣтели... Что можетъ быть невыносимѣе его?.. Не лучше ли было уйти вамъ отъ меня заблаговременно, чтобы я не заѣдалъ вашъ вѣкъ? Да, дѣло-то было бы чище, Машурочка!.. И зачѣмъ это папенька вашъ, который васъ такъ любить, оставилъ васъ на жертву того, кого онъ называетъ деспотомъ, мучителемъ, палачомъ? И зачѣмъ вы, обожающая своего ребенка, позволяли мнѣ мучить его? почему не отстаивали его, не защищали отъ моего эгоизма? И какъ это вы сами, сами-то соглашались влечить жизнь, такую унижительную, убійственную для васъ?.. Сдѣлайте милость: разгадайте мнѣ эту загадку, Машурочка!

Марья Никоновна не отвѣчала, а только вздрагивала по временамъ всѣмъ тѣломъ... Понудивъ, сдѣлавъ усиліе, справился съ своимъ болѣзненнымъ, крикливымъ раздраженіемъ и продолжалъ какъ будто болѣе спокойно:

— Я—деспотъ? Я—эгоистъ? Я—мучитель?—говорилъ онъ, буравя жену упорнымъ, горящимъ взглядомъ.—Ну хорошо... Такъ и запишемъ. Только, Машурочка, тутъ дѣло-то не совсѣмъ просто—нѣтъ! Я вамъ вотъ что доложу, если вы соблаговолите меня выслушать... Жаль, что здѣсь нѣтъ вашего папаши: и онъ бы послушалъ. Презанятная исторія... да. Давно собираюсь рассказать вамъ... Изволите видѣть, Машурочка, какъ дѣло было. Жила на свѣтѣ тощая и злая фараонова корова. Злая она была потому, что была тощая и вѣчно голодная и ничѣмъ не могла заполнить пустоту внутри себя. И вдругъ она встрѣтила другую фараонову корову: тучную, добрую, съ ласковыми глазами, съ лоснящеюся шерстью, вскормленную на обильномъ пастбищѣ. И сказала себѣ тощая корова: „Надо пожрать ее, потому что я худая и голодная, а она добра и сыта и сама хочетъ, чтобы ее съѣли. Можетъ быть, пожравъ ее, я сдѣлаюсь тучной, сытой, довольной?“ И съѣла тощая корова тучную, но осталась все такъ же худая, голодная и злая, даже стала еще голоднѣе и еще злѣе и еще больше

заскучала, потому что еще пустѣе стало кругомъ нея. И ожесточилась тощая корова на тучную, которую пожрала, и говорила сама съ собой:

„Зачѣмъ она позволила мнѣ пожрать себя? Вѣдь и я не сыта, и она съѣдена, и никому отъ этого не вышло добра. Я такъ зла на нее за это, что если бы я опять встрѣтила ее, то опять пожрала бы—ужъ не отъ голода, а единственно со злости“. Что вы скажете на это, Машурочка?

Но Марья Никоновна не могла говорить: ее билъ злой кашель. Задыхаясь, она выхватила изъ кармана платокъ, приложила его къ губамъ, и Понудинъ увидѣлъ на платкѣ зловѣщее розовое пятнышко...

Н. Тимковскій.

Субъективный методъ въ социологіи и его философскія предпосылки.

(Продолженіе).

III.

Въ предыдущихъ главахъ мы видѣли лицомъ къ лицу исходныя точки двухъ міросозерпаній. Оба стремились къ объединенію теоретическаго и практическаго момента, къ монизму мысли и жизни, къ изгнанію всего сверхъопытнаго. Но выбранные ими пути были глубоко различны. Съ одной стороны—путь критическаго позитивизма, научно-систематической обработки эмпиріи и рѣшительнаго отверженія всякихъ постороннихъ примѣсей къ этой эмпиріи; это—путь, на который все болѣе и болѣе рѣшительно начинаетъ вступать міровая философская мысль. Эмпириокритицизмъ Авенаріуса, ставящій единственнымъ своимъ фундаментомъ *чистый опытъ*—„опытъ, къ которому не примѣшивается ничего, что въ свою очередь не было бы опытомъ, и который самъ по себѣ есть ничто иное, какъ опытъ, имѣющій во всѣхъ своихъ составныхъ частяхъ предпосылками составныя части окружающей насъ среды“ *), является философскою школою, особенно ярко отражающей это теченіе нашего времени, теченіе, которому, на нашъ взглядъ, принадлежитъ несомнѣнно будущее. И наши социологи, о которыхъ мы вели рѣчь—П. Миртовъ и Н. К. Михайловскій—съ самаго начала обнаружили рѣшительное тяготѣніе къ этой точкѣ зрѣнія—къ критически обоснованному позитивизму и эмпиризму **). Съ другой стороны—дорога, по которой

*) «Kritik der reinen Erfahrung», I, s. 4—5.

**) Въ этомъ смыслѣ и можно объединить цѣлый рядъ философовъ, называющихъ себя то позитивистами, то эмпириками, то просто критицистами, въ одно направленіе, лишь послѣдовательно развивающееся въ высшія формы. П. Струве даже вообще предпочитаетъ именемъ позитивизма обозначать не ученіе Конта, а «возведенный въ философскую систему и обоснованный на теоріи познанія *эмпиризмъ*, главными представителями котораго въ исторіи философской мысли являются—если не считать мионическаго Протагора—Юмъ,

пошелъ ортодоксальный марксизмъ, т. е. попытка объединенія матеріализма съ гегельянствомъ. Смѣлость отрицанія и воинственность, обнаруженная нѣкогда матеріализмомъ по отношенію къ теологіи добраго стараго времени, послужили сильнымъ соблазномъ для Маркса, а еще болѣе для Энгельса, на долю котораго выпала философская обосновка новаго міросозерцанія. Съ другой стороны не менѣе сильнымъ соблазномъ послужила для него сила гегелевской діалектики, основы величайшей изъ метафизическихъ системъ ихъ времени. Отсюда и несчастная мысль соединить отдѣльные элементы двухъ этихъ системъ воедино. Энгельсъ дѣйствительно глубоко вѣрилъ, что соединенію формы, т. е. метода гегелевской философіи, съ содержаніемъ, т. е. положительными итогами философскаго матеріализма, принадлежитъ будущее. И; воображая, что вступаетъ на столбовую дорожку историческаго развитія философіи, Энгельсъ ушелъ въ сторону, по тропинкѣ, кончавшейся безнадежнымъ тупикомъ, изъ котораго только одинъ выходъ—назадъ...

Въ этомъ то и заключается причина того, что среди позднѣйшихъ марксистовъ началъ все чаще и чаще повторяться этотъ лозунгъ „назадъ“, „назадъ“, уже одной своей внѣшностью не безъ основанія сильно смущающій многихъ. Какъ! чтобы призывъ „назадъ“ сдѣлался философскимъ лозунгомъ самаго передового изъ общественныхъ движеній современности? Да развѣ этотъ кличъ не свидѣтельствуетъ неизбежно о какомъ то попятномъ движеніи, о ретроградномъ развитіи? „Ортодоксы“ совершенно правильно уловили въ призывѣ „назадъ“ весьма печальное знаменіе. Они не уловили только, что есть положенія, изъ которыхъ возвращеніе даже той же самой дорогой, которая къ нимъ привела, будетъ лучше, чѣмъ неподвижность. Другой вопросъ, есть ли это путь самый ближайшій. Но я допускаю, во всякомъ случаѣ, что для бывшаго правовѣрнаго марксиста всего естественнѣе, всего болѣе по плечу вернуться отъ Гегеля обратно къ поворотному пункту современной исторіи философіи—кантіанству и предварительно перепробовать, пройти всѣ послѣдовательные этапы историческаго развитія философской мысли, чтобы, наконецъ, добраться до болѣе современныхъ философскихъ системъ...

Въ 1865 году въ нѣмецкой философской литературѣ раздался горячій призывъ Отто Либмана „zurück auf Kant“! Что касается

Милля и Лаасъ» (стр. VII). Для г. Струве здѣсь необычайно характерно полное игнорированіе Авенариуса. Впрочемъ, кажется, оно объясняется очень просто. Дѣло въ томъ, что и *свое* весьма своеобразное и мѣткое опредѣленіе позитивизма, изчисленіе въ главные его представители Протагора, Юма и Милля (съ выключеніемъ самаго Конта—творца термина позитивизмъ) Струве просто «позаимствовалъ» изъ Лааса (*Idealismus und Positivismus*, I, s. 183): Лаасъ же писалъ въ 1879 г., до «критики чистаго опыта» Авенариуса. А потому г. Струве, не мудрствуя лукаво, ограничилъ свою смѣлость прибавленіемъ къ названымъ именамъ только имени самого Лааса.

философовъ марксизма, то они запоздали лѣтъ на сорокъ съ хвостикомъ въ своемъ философскомъ развитіи *) и догадались провозгласить вторично этотъ самый кличъ совсѣмъ недавно. Съ тѣхъ поръ они добросовѣстно стараются пройти „всѣ фазисы“ послѣ-кантовской философіи: вѣдь извѣстно, что еретическое желаніе „перепрыгивать черезъ ступени естественнаго развитія“ имъ всегда было чуждо. За призывомъ „назадъ къ Канту“ послѣдовалъ призывъ „назадъ къ Ланге“, „назадъ къ Фихте“ и т. п. Нашлись и такіе, которые нашли неестественнымъ и страннымъ ограничиваться одной послѣкантовской эпохой и предприняли съ немальшимъ успѣхомъ „поворотъ къ Спинозѣ“...

Къ числу „поворачивающихъ“ принадлежитъ и г. Бердяевъ, философскими взглядами котораго намъ предстоитъ заняться въ этой статьѣ. Онъ также идетъ „назадъ къ Канту“. Онъ находитъ одинаково слабыми какъ позитивизмъ, такъ и діалектическій матеріализмъ **). Контловскій позитивизмъ онъ упрекаетъ прямо въ „безпринципности“. Къ эмпирикамъ вообще онъ еще жесточе. Ихъ онъ присуждаетъ къ „интеллектуальному самоубійству“, „чудовищнымъ по своей нелѣпости выводамъ“ и, наконецъ, изобличаетъ ихъ въ „нецлѣдовательности и трусости мысли“. Онъ „главнымъ орудіемъ своимъ считаетъ критическую философію“ и заявляетъ, что двигать впередъ марксизмъ можно, „только оплодотворивъ его великимъ духомъ философскаго критицизма“ ***). Онъ заявляетъ себя далѣе восторженнымъ почитателемъ трансцендентальной философіи Канта, оговариваясь такимъ образомъ: „мы примыкаемъ къ тому толкованію Канта, которое предложено Германомъ Когеномъ и Алоизомъ Рилемъ“. Самою цѣнною и безсмертною частью Кантовской философіи онъ считаетъ ученіе объ апіорныхъ формахъ мышленія.

*) Самъ г. Бердяевъ вынужденъ признаться, что «философія марксизма... очень хромаетъ» (стр. 48). Это *testimonium paupertatis*, какъ мы увидимъ ниже, не утратило своей силы и послѣ появленія книги г. Бердяева.

**) Подъ «діалектическимъ матеріализмомъ» въ данномъ случаѣ разумѣется общеполитическое міросозерцаніе Маркса—Энгельса, а вовсе не ихъ социологическая система, которая гораздо ближе, на нашъ взглядъ, характеризуется терминомъ «экономическій матеріализмъ».

***) Это противопоставленіе критицизма позитивизму и эмпиризму опять таки въ высшей степени характерно для г. Бердяева. Любопытно было бы знать, неужели для него не «критицистъ», напр., Лаасъ? Или какъ онъ относится къ системѣ «критической философіи» К. Геринга? Если онъ не знакомъ съ этими авторами, то изъ предисловія г. Струве онъ можетъ узнать, что это—«двое важнѣйшихъ представителей» нѣмецкаго позитивизма. А какимъ *contradictio in adjecto* долженъ ему показаться уже по самому своему названію «эмпирикритицизмъ»! Г. Бердяевъ просто на-просто отождествляетъ критицизмъ съ неокантианствомъ, что могло быть еще, пожалуй, простительно въ 60—70-хъ гг., при самомъ зарожденіи современнаго критицизма, когда различныя вѣтви его еще не дифференцировались другъ отъ друга, но ужъ во всякомъ случаѣ не теперь, когда критицизмъ вовсе не особая школа, а скорѣе методъ, которымъ пользуются самыя различныя школы.

Мы не можемъ прямо обратиться къ разбору того, что высказываетъ по этому вопросу самъ г. Бердяевъ. Дѣло въ томъ, что его изложеніе предполагаетъ со стороны читателей или предварительное знакомство съ основами Кантовской философіи, съ ученіями нѣкоторыхъ философовъ неокантіанства, съ сущностью нѣкоторыхъ спорныхъ вопросовъ теоріи познанія,—или же вѣру на слово автору. Мы бы, со своей стороны, хотѣли воздержаться отъ того и отъ другого. Мы не вправѣ требовать отъ читателей общелитературнаго журнала цѣлаго ряда предварительныхъ свѣдѣній по философіи. Но еще менѣе желаемъ мы внушать суевѣрное уваженіе голословными ссылками на тѣ или иныя „философскія истины“, какъ уже установленныя, на тѣхъ или иныхъ авторитетныхъ авторовъ, тѣ или другія сочиненія. Это поневолѣ значительно усложнитъ нашу задачу. Не предполагая по возможности ничего заранее извѣстнымъ, мы должны будемъ дать, конечно, лишь (вкратцѣ) понятіе прежде всего объ ученіи Канта относительно апріорныхъ и апостеріорныхъ элементовъ въ нашемъ познаніи.

Во первыхъ, что значить познаніе *a priori* и познаніе *a posteriori*? Самые термины эти ведутъ свое происхожденіе изъ философіи классической древности. Тамъ, въ школѣ Аристотеля, они имѣли вполнѣ опредѣленное, ясное и подходящее своему этимологическому составу значеніе. Различались два рода умозаключеній: отъ предыдущаго къ послѣдующему, отъ причины къ ея дѣйствию, и наоборотъ. Когда, исходя отъ причины, умозаключали *напередъ* (*a priori*) о ея дѣйствиі—то этотъ родъ умозаключенія и назывался, естественно, *апріорнымъ*. Наоборотъ, когда исходили уже изъ даннаго дѣйствія и возвращались назадъ, къ причинѣ, умозаключали о предыдущемъ по *послѣдующему* (*a posteriori*), то такого рода умозаключеніе называлось *апостеріорнымъ* *). Не трудно видѣть, что въ этомъ видѣ различеніе *a priori* отъ *a posteriori* не заключаетъ въ себѣ необходимо никакого принципиальнаго противопоставленія двухъ родовъ познанія. Различіе можетъ приниматься и чисто-внѣшнимъ, поверхностнымъ, не имѣющимъ существеннаго значенія. Одна и та же эмпірія, одно и то же наблюденіе и опытъ могутъ давать понятіе о такъ называемой причинной связи между опредѣленнымъ рядомъ явленій; а затѣмъ, опираясь на пріобрѣтенное такимъ образомъ знаніе, можно различнымъ образомъ прилагать его: то апріорно, умозаключая отъ предшествующаго состоянія къ еще не наступившему послѣдующему, то апостеріорно, отыскивая для уже имѣющагося въ наличности послѣдующаго его необходимые antecedentes (предшествующія) въ прошломъ. Рѣчь шла бы, слѣ-

*) Ср. Шубертъ-Зольдериъ «Ueber Erkenntniss *a priori* und *a posteriori*», Vierteljahrschr. f. wiss. Phil., VII, 1883, кн. IV, s. 413 ff.

довательно, въ такомъ случаѣ объ одномъ и томъ же родѣ, способѣ познанія и о различіи лишь въ направленіи, по которому устремляется нашъ умственный взоръ отъ даннаго исходнаго пункта: впередъ или назадъ, въ прошлое или въ будущее. Именно такъ и сейчасъ употребляется выраженіе а priori въ обыденной рѣчи: зная характеръ того или другого человѣка, мы а priori беремъ предсказать его поведеніе въ томъ или другомъ конкретномъ случаѣ *).

Принимая а priori въ этомъ простомъ и ясномъ смыслѣ, мы не создаемъ никакой особой философской проблемы. Способность умозаключать а priori при этомъ является мѣриломъ основательности нашихъ знаній о явленіяхъ даннаго порядка. Знаніе а priori имѣетъ общій источникъ съ знаніемъ а posteriori.

Что касается философской проблемы апіорнаго, то она могла возникнуть только съ тѣхъ поръ, какъ самымъ терминамъ а priori и а posteriori было придано совершенно другое, несоответствующее ихъ смыслу значеніе. Это было сдѣлано двумя различными способами: съ одной стороны, въ до-Кантовской метафизикѣ, съ другой—въ Кантовской философій.

Метафизикъ не довольствуется тѣмъ міромъ, который данъ намъ по отношенію къ нашему сознанію, обусловленному чувственнымъ опытомъ. Метафизикъ порывается къ таинственной сущности вещей, къ тому безусловному бытію вещей „самихъ въ себѣ, самихъ по себѣ и самихъ для себя“, которое создано его мыслью и помѣщено на подобіе орѣха подъ презрѣнной и ненужной шелухой поверхностнаго „міра явленій“, міра относительнаго бытія. Онъ тщетно ищетъ въ нашемъ познаніи основы, опираясь на которую, онъ могъ бы оправдать свои претензіи выйти изъ міра, даннаго въ опытѣ, изъ міра *имманентнаго* сознанію и перейти въ область сверхъопытнаго, *трансцендентнаго* знанія. Понятно, что для метафизика апіорное и апостеріорное знаніе съ этой точки зрѣнія должны были представляться качественно неравноцѣнными. Еще бы! При апостеріорныхъ умозаключеніяхъ *факты опыта* даны раньше, чѣмъ сужденія объ нихъ; при апіорныхъ, напротивъ, сужденіе упреждаетъ свой предметъ. Для метафизика естественно было попытаться создать изъ а priori особый видъ познанія, особую способность получать „чисто-интеллектуальнымъ путемъ“ готовые рѣшенія помимо опыта и эмпирическое изслѣдованіе вопроса объ отношеніи между *фактами* замѣнять логическимъ изслѣдованіемъ вопроса объ от-

*) Кантъ упоминаетъ мимоходомъ объ этомъ *относительномъ* апіоризмѣ, какъ объ основанномъ «не непосредственно на опытѣ, но на какомъ нибудь общемъ положеніи, которое, однако, извлечено нами уже изъ опыта», «Кг. d. r. V», с. 41. Это понятіе объ апіорномъ не имѣетъ ничего общаго съ Кантовскимъ а priori, «никоимъ образомъ не зависящемъ отъ какого бы то ни было опыта» (Ibid.).

ношеніи между *понятіями*. Если удастся доказать, что такая особая способность существует, то на ней и можно построить свое право добратся до міра сверхъ-опытнаго, трансцендентнаго.

Противъ этого то толкованія, согласно которому чисто-логическимъ путемъ, помимо опыта, изъ *понятія* о какой либо вещи можно умозаключить о ея дѣйствіи на другую вещь, и была направлена сокрушительная критика эмпириковъ, особенно Юма. Этотъ послѣдній вынужденъ былъ иронически поучать своихъ противниковъ, что даже „Адамъ, о которомъ говорятъ, что его разсудочныя способности вначалѣ были совершенными, изъ прозрачности и жидкаго состоянія воды не могъ бы сдѣлать заключенія, что онъ можетъ въ ней задохнуться“.

Спасая а priori отъ эмпириковъ и Юма, Кантъ и здѣсь, какъ въ вопросѣ о реальности вещи въ себѣ, прибѣгаетъ къ помощи различія между *регулятивными* и *конститутивными* положеніями. Одно дѣло—умозаключеніе отъ извѣстныхъ данныхъ къ *конкретному содержанію* неизвѣстнаго; другое дѣло—умозаключеніе къ *отношенію* между ними. Юмъ правъ, поскольку онъ отрицаетъ возможность логически построить („конституировать“) а priori *особенную природу* дѣйствія, исходя изъ понятія о причинѣ. Такая чисто-логическая дедукція невозможна; цѣли достигнуть можно въ данномъ случаѣ лишь апостеріорнымъ путемъ, путемъ опыта. Логически, конечно, отнюдь неясно, почему снѣгъ не можетъ имѣть вкуса соли или горѣть и жечь, какъ огонь. Но сказать, напримѣръ, вообще, что всякая данная причина непременно должна имѣть какое-нибудь дѣйствіе, что всякое данное явленіе не можетъ остаться безъ какого бы то ни было слѣдствія, можно а priori, помимо всякаго опыта. Это утвержденіе будетъ уже не конститутивнымъ (ничего не будетъ высказывать о матеріальномъ *содержаніи* необходимаго дѣйствія или слѣдствія), а чисто-формальнымъ, абстрактнымъ, *регулятивнымъ*. „Нѣтъ дѣйствія безъ причины и обратно“—является утвержденіемъ, которое не можетъ быть основано на опытѣ, такъ какъ на дѣлѣ-то мы совершенно не знаемъ причинъ очень и очень многихъ явленій. А въ то же время мы приписываемъ нашему положенію о наличности въ природѣ причинной связи такой всеобщій, необходимый характеръ, который а posteriori доказанъ быть не можетъ. Слѣдовательно, всеобщее господство причинности есть идея не опытнаго происхожденія. Это а priori высказываемое нами правило (Regel; откуда и regulativ), не допускающее никакихъ исключеній. Итакъ, возможно составленіе апріорнымъ путемъ понятій и сужденій *регулятивнаго* характера, т. е. имѣющихъ характеръ общихъ, формальныхъ положеній, которыя хотя сами по себѣ не даютъ опредѣленнаго, положительнаго конкретнаго знанія, но въ то же время являются необходимыми общими состав-

ными элементами или условіями всякаго знанія и всякаго мышленія.

Такой же апріорный характеръ, по Канту, имѣютъ и два другихъ основныхъ положенія, на которыхъ зиждется наше познаніе природы. Одно изъ этихъ положеній гласитъ: при всѣхъ измѣненіяхъ и процессахъ природы ничто не рождается изъ ничего и ничто не исчезаетъ: слѣдовательно, всѣ перемѣны въ природѣ суть лишь перемѣны формы, при которыхъ остается постоянной нѣкоторая субстанція явленій, субстанція, которая всегда равна себѣ самой, не увеличивается и не уменьшается. Другое положеніе гласитъ о всеобщей связи и взаимодействіи всѣхъ явленій природы, слѣдовательно, о единствѣ структуры всего мірового цѣлаго. Всѣ эти положенія, по мнѣнію Канта, заходятъ далеко за границы всякаго возможнаго опыта *), и въ то же время мыслятся нами настолько необходимыми и не допускающими исключеній, что, по его мнѣнію, есть лишь два пути: или признать всеобщее господство причинности, постоянство субстанціи и единство мірового цѣлаго за простые фантомы и отвергнуть ихъ, или признать, что эти положенія имѣютъ не опытное, не апостериорное, а особое, апріорное происхожденіе **). Первый путь ведетъ къ полному и безнадежному скептицизму въ области познанія. И только второй даетъ твердое основаніе для нашего мышленія.

Кромѣ трехъ этихъ формальныхъ основоположеній, Кантъ становится на апріорномъ характерѣ цѣлаго ряда самыхъ общихъ

*) Чтобы лучше отѣнить разницу этого воззрѣнія отъ позитивистскаго, мы приведемъ небольшое характерное мѣстечко изъ Лааса: «Чѣмъ дальше, тѣмъ больше даетъ намъ право опытъ и достигаемые нами практическіе результаты предполагать единообразіе порядка природы и его формъ—времени и пространства—и пользоваться этой предпосылкой, какъ твердымъ руководящимъ принципомъ всякаго изслѣдованія. Мы доверяемся этой руководящей, регулятивной схемѣ и слѣдуемъ ей, сводя все случаяющееся къ мѣняющимся отношеніямъ постоянныхъ агентовъ, потому что этотъ путь ведетъ насъ къ наибольшимъ удачамъ. Кантіанецъ недоволенъ этимъ. Для него это «свойство природы» только тогда достаточно утверждено, когда онъ можетъ обосновать его на постоянствѣ своего я, на его собственныхъ функцияхъ и дѣйствіяхъ» (*Idealismus* etc., s. 506). И категория «необходимости» съ позитивистской точки зрѣнія не есть что-то, открываемое въ вещахъ а priori. Въ самихъ вещахъ мы не находимъ никакихъ таинственныхъ «необходимостей»: понятіе это произошло изъ психологіи человѣческой жизни и перенесеніе этого психологическаго понятія въ міръ объектовъ было бы грубымъ антропоморфизмомъ. Необходимость есть лишь форма нашихъ сужденій, а не что либо иное. Высшее достринство, которое придается ею сужденію передъ простымъ констатированіемъ, основывается на степени достовѣрности и обоснованности опытнаго знанія—не болѣе. Въ этомъ смыслѣ понятіе «возможности» отвѣчаетъ минимуму нашихъ знаній, необходимости же—максимуму.

**) «Begriff der Ursache... entweder völlig a priori im Verstande gegründet sein, oder als ein blosses Hirngespinnst gänzlich aufgegeben werden müsse». Kr. d. r. V., s. 134.

понятій или категорій, при помощи которыхъ единственно и возможно какое либо мышленіе: единичность, множественность, всеобщность, возможность, необходимость, бытіе, причинность, реальность и т. п. И, наконецъ, въ воспріятіяхъ онъ считалъ за апріорныя формы *время* и *пространство*.

Апріорный характеръ времени и пространства, категорій и основоположеній въ глазахъ Канта былъ неоспоримъ. Время не есть предметъ опыта, ибо самый опытъ совершается *во времени*, требуетъ его, какъ своей необходимой предпосылки. Пространство не есть предметъ опыта—напротивъ, всякій предметъ опыта находится въ пространствѣ, предполагаетъ его. Самое простѣйшее наблюденіе мы высказываемъ въ видѣ сужденія, а мы не можемъ составить никакого сужденія, не прибѣгая къ помощи категорій. Все, что мы узнаемъ изъ опыта, относительно, условно. Поскольку наблюдались такіе-то и такіе-то факты, оказывалось то-то и то-то; вотъ все, на что можетъ уполномочивать насъ эмпирическое знаніе. Форма безусловности, необходимости и всеобщности не можетъ вытекать изъ опыта. А между тѣмъ мы не можемъ, абсолютно не можемъ представить себѣ явленія или процесса внѣ времени, или предмета внѣ пространства; не можемъ познавать безъ категорій причинности или субстанціи; не можемъ ничего себѣ представить, не оперируя съ такими категоріями, какъ бытіе или небытіе, необходимость или возможность, сходство или отличіе, единство или множество и т. д. Слѣдовательно, все наше мышленіе и все наше познаніе, начиная отъ элементарныхъ воспріятій и кончая сложнѣйшими теоретическими построениями, протекаетъ въ рамкахъ сказанныхъ категорій и основоположеній, осуществляется только съ ихъ помощью и относится къ нимъ, какъ къ своимъ общимъ и необходимымъ формамъ.

„Въ явленіяхъ—говоритъ поэтому Кантъ—я называю то, что соответствуетъ чувственному ощущенію—*матеріей* явленія; а то, благодаря чему въ разнообразіе явленій вносится порядокъ посредствомъ опредѣленныхъ отношеній, я называю *формой* явленія. И такъ какъ то, въ чемъ единственно только и могутъ упорядочиваться и оформливаться чувственные ощущенія, естественно, само не можетъ быть опять таки ощущеніемъ,—то и выходитъ, что матерія всѣхъ явленій дана намъ только а *posteriori*, тогда какъ форма ихъ должна для всѣхъ нихъ лежать а *priori* готовой въ человѣческомъ духѣ (*im Gemüthe a priori bereit liegen*) и поэтому разсматриваться обособленно отъ всякаго ощущенія“ *).

Итакъ, формы воспріятія и мышленія должны имѣть иное происхожденіе, иной источникъ, чѣмъ то эмпирическое содержаніе, которымъ мы ихъ наполняемъ. Если матеріальное содержа-

**) «Kritik d. r. V.», hgb. von Vorländer, s. 68.

ніе ощущенія и мышленія дается опытомъ, внѣшними чувствами, слѣдовательно, идетъ отъ объекта, то *формы*, въ которыхъ сырой матеріалъ ощущеній упорядочивается и обрабатывается, принимаетъ опредѣленные очертанія и *формы*,—привносятся самимъ субъектомъ. Такимъ образомъ, для сторонника трансцендентальной философіи, выражаясь словами Ф. А. Ланге, познаніе есть „результатъ объективныхъ вліяній и субъективнаго формованія ихъ“. Апріорные элементы познанія свидѣтельствуютъ о „факторѣ понятій, происходящемъ не изъ вещей, а изъ насъ“.

Кантъ въ этомъ отношеніи выражается самымъ недвусмысленнымъ образомъ. Про тѣ всеобщія понятія, помощью которыхъ мы мыслимъ, онъ говоритъ, что не они примѣняются, соображаются съ предметами (*richten sich nach den Gegenständen*), а на оборотъ—„предметы, или, что то же, опытъ, въ которомъ они только и познаются, какъ данные намъ предметы, примѣняются къ этимъ понятіямъ.“ Дѣло объясняется очень просто. „Самъ опытъ представляетъ собою такой родъ познанія, который требуетъ участія разсудка; а я долженъ предположить существованіе въ себѣ извѣстной нормы для его дѣятельности еще прежде, чѣмъ мнѣ будутъ даны предметы, т. е. а priori; она то и находитъ свое выраженіе въ понятіяхъ а priori, съ которыми и должны необходимо согласоваться и гармонизировать (*übereinstimmen*) предметы опыта.“ Итакъ, понятія эти не суть обычнымъ путемъ выведенныя абстракціи, а самостоятельныя порожденія нашего ума, неразложимыя и несводимыя ни къ какимъ эмпирическимъ даннымъ. „Мы именно и познаемъ о вещахъ а priori только то, что сами въ нихъ вкладываемъ“. *) И это многозначительное утвержденіе—не какой-нибудь lapsus, не простая словесная оговорка. Нѣтъ, это вполне обдуманное утвержденіе, въ совершенно обдуманной формулировкѣ. Оно и встрѣчается у Канта вовсе не одинъ разъ. Со всѣми „чистыми представленіями а priori“—говоритъ Кантъ въ другомъ мѣстѣ—происходитъ одно и то же: „мы потому только и можемъ извлечь ихъ изъ опыта въ видѣ такихъ ясныхъ понятій, что мы сами вложили ихъ въ опытъ и тѣмъ самымъ черезъ ихъ посредство сдѣлали то, что самый опытъ могъ совершиться“ **).

Такимъ образомъ, самый механизмъ происхожденія акта познанія изъ взаимодействія двухъ факторовъ, объективнаго вліянія и субъективной формовки, представляется въ слѣдующемъ видѣ: „впечатлѣнія чувствъ даютъ первый поводъ (*Anlass*) для того, чтобы развернуть по отношенію къ нимъ всю познавательную силу и создать опытъ, содержащій такимъ образомъ два весьма

*) «Kr. d. r. V., hrb. von Vorländer, s. 22: «wir nämlich von den Dingen nur das a priori erkennen, was wir selbst in sie legen».

**) Ibid., s. 220.

неодинаковыхъ элемента: именно, матерію познанія—изъ чувствъ, и опредѣленную форму для ея упорядоченія—изъ внутренняго источника чистаго воззрѣнія и мышленія, развивающихся, однако, лишь при условіи наличности матеріи познанія“ *). Для порождаемыхъ изъ этого внутренняго источника апіоріныхъ понятій поэтому можно искать „если не самого принципа возможности, то *повода* для ихъ происхожденія—въ опытѣ“. И въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: „я продолжаю утверждать о понятіяхъ а priori, что они могутъ происходить каждый разъ лишь въ качествѣ формальныхъ и необходимыхъ условій опыта вообще, но никогда не изъ такихъ понятій лишь самихъ для себя“ **). Отсюда и общій выводъ: „что все наше познаніе начинается вмѣстѣ съ опытомъ—въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія... Но если все наше познаніе одинаково начинается съ опыта, то не все оно, однако, происходитъ (entspringt) изъ опыта“.

Таковы общія черты Кантовскаго ученія объ апіоризмѣ въ нашемъ познаніи міра. Мы намѣренно излагали его словами самого Канта, такъ какъ въ виду его способа выражаться въ высшей степени трудно ручаться за полную точность всякаго другого изложенія. Кантъ употребляетъ одни и тѣ же термины сплошь и рядомъ въ варьирующихъ значеніяхъ; построение его фразъ нерѣдко крайне запутано, а иногда и противорѣчиво. Немудрено, что, благодаря темнотѣ, неясности, а иногда и разнообразію формулировокъ, открывается полный просторъ субъективизму толкователей; немудрено, что среди новокантіанцевъ и понынѣ истолкованіе Канта служитъ вѣчнымъ яблокомъ раздора, хотя комментаріевъ и монографій, занимающихся Канто-толкованіемъ и даже Канто-филологіей, накопилось неизмѣримое количество. Въ результатъ всего этого мы имѣемъ едва ли не столько же различныхъ Кантовъ, сколько различныхъ новокантіанцевъ...

Намъ, однако, нѣтъ надобности входить въ подробности и детали различныхъ взглядовъ Канта. Въ этомъ отношеніи наше положеніе облегчается тѣмъ, что мы несогласны съ самой основой ученія Канта объ апіоризмѣ, а потому для насъ и безразлично, съ какими именно модификаціями возводятъ на этой основѣ господа кантіанцы остальное зданіе. Къ тому же, въ данный моментъ насъ интересуетъ отнюдь не трансцендентальная философія Канта въ полномъ ея объемѣ, а лишь вопросъ объ апіорномъ познаніи.

Не трудно видѣть, что основной идеей, проникающей все ученіе Канта объ апіорномъ, является старая метафизическая идея о господствѣ формы всего сущаго надъ содержаніемъ. Въ то время, какъ для позитивиста-эмпирика форма и содержаніе всего

*) Ibid, s. 130.

**) Ibid. s. 241.

сущаго едино суть, даны нераздѣльно и неразрывно, а слѣдовательно, могутъ различаться лишь въ абстракціи—для метафизика въ *формѣ* заключается особое, верховное начало, владѣющее матеріаломъ, подчиняющее его себѣ, творческое... Для позитивиста во всемъ форма и содержаніе суть лишь различныя *стороны* бытія, открывающіяся нашему умственному взору, благодаря различнымъ точкамъ зрѣнія и различнымъ практическимъ интересамъ, которыми мы руководимся въ нашемъ взглядѣ на вещи. Для метафизика это—различныя самостоятельныя *начала*, слитіе которыхъ въ дѣйствительности является нѣкоторымъ таинствомъ, пресуществленіемъ, воплощеніемъ формы въ содержаніе, въ матерію *)...

Изучая законмѣрное теченіе процессовъ природы, изучая различныя отношенія вещей и явленій природы, мы научаемся пользоваться ими, комбинировать ихъ такъ или иначе для своихъ цѣлей. Сообразно этому, насъ интересуютъ въ вещахъ то тѣ, то иныя стороны. Въ красивомъ ландшафтѣ насъ интересуетъ форма, насъ удовлетворяетъ опредѣленная *комбинація* явленій. Въ немъ мы цѣнимъ не составныя части, какъ они существуютъ отдѣльно отъ цѣлаго, а именно гармонію ихъ расположенія. Съ другой стороны, мы нуждаемся въ такихъ комбинаціяхъ явленій, которыя въ природѣ готовыми встрѣчаются крайне рѣдко или даже совсѣмъ не встрѣчаются. Ради нашихъ потребностей мы ставимъ цѣлый рядъ вещей или предметовъ природы въ такія отношенія между собою, изъ которыхъ для насъ проистекаютъ нѣкоторыя особенныя удобства. Понятно, что при этомъ насъ интересуютъ предметы уже совершенно съ другой стороны. Мы отвлекаемся отъ той *формы*, т. е. отъ тѣхъ отношеній, въ которыхъ они стояли другъ къ другу раньше. Эта форма была для насъ не важна, не интересна, несущественна. На нее мы просто не обращали вниманія. Мы пользовались вещами просто какъ матеріаломъ, мы придавали имъ ту форму, которая намъ была нужна—напр., форму прочнаго или красиваго зданія.

И такъ какъ въ связи съ той или иной комбинаціей предметовъ получаютъ тѣ или иныя новыя свойства, то эти свойства умъ и привыкаетъ разсматривать уже не въ качествѣ свойствъ,

*) До какой степени это метафизическое воззрѣніе наложило свою печать даже на кантіанскій апіоризмъ, покажутъ хотя бы слѣдующія цитаты изъ Фолькельта: «присущіе разсудку способы связыванія матеріала во всякомъ случаѣ представляютъ нѣчто иное и новое по отношенію къ матеріи опыта»; исходя изъ этой послѣдней, «никогда нельзя подняться надъ разложенной и лишенной законмѣрности грудой», ибо «простой агрегатъ такъ и остается агрегатомъ, какъ въ области сознательнаго, такъ и въ области лишеннаго сознанія, до тѣхъ поръ, пока не вступаетъ, какъ нѣчто принципиально новое, опредѣленный способъ связи» («Erfahrung und Denken», Kritische Grundlegung der Erkenntnisstheorie von Johannes Folkelt. Hamburg 1886, s. 497).

принадлежащихъ самимъ предметомъ, а въ качествѣ какихъ то новыхъ свойствъ, приносимыхъ самою формою, независимо отъ предметовъ...

До какой степени легко впасть въ подобную aberrацию вездѣ, во всѣхъ областяхъ знанія, покажетъ примѣръ изъ одной очень отдаленной и на первый взглядъ, казалось бы, совершенно посторонней области. Извѣстно, что кооперація работниковъ имѣетъ свойство увеличивать во много разъ производительность ихъ труда. „Сумма механическихъ силъ отдѣльныхъ работниковъ отлична отъ механической силы, развивающейся въ то время, когда множество рукъ участвуютъ сообща и одновременно въ одной и той же нераздѣльной операци. То дѣйствіе, которое совершаетъ при этомъ комбинированный трудъ, либо вовсе не могло быть достигнуто одиночными усилиями отдѣльныхъ работниковъ, либо могло бы быть исполнено ими только въ гораздо болѣе продолжительный періодъ времени, или только въ ничтожномъ размѣрѣ. Здѣсь дѣло идетъ не только объ увеличеніи, посредствомъ коопераціи, индивидуальной производительной силы, но о *созданіи особенной производительной силы* — силы массы“. „Помимо новой потенціальной механической силы, возникающей изъ сліянія многихъ силъ въ одну общую силу, уже простое общественное соприкосновеніе порождаетъ между работниками въ большей части производительныхъ работъ особенное соревнованіе, особенное возбужденіе духа, которое увеличиваетъ индивидуальную способность къ труду каждаго отдѣльнаго работника“. Теперь посмотрите, какъ этотъ механическій и этотъ психологическій плюсъ, это увеличеніе механической и психической энергіи *работниковъ-людей*, проистекающее изъ *ихъ собственнаго взаимодействія*, начинаетъ казаться чѣмъ то, притекающимъ со стороны, чуждымъ для нихъ, происходящимъ изъ совершенно особаго источника, изъ той общественной *формы*, въ который происходитъ ихъ координированный трудъ. „*Взаимная связь ихъ функцій и ихъ единство*, какъ одного обширнаго производительнаго тѣла, лежитъ *вне ихъ*, а именно въ томъ капиталѣ, которой свелъ ихъ и держитъ ихъ вмѣстѣ“. „Рабочіе, какъ независимыя личности, представляютъ собою отдѣльныя единицы, которыя вступаютъ въ нѣкоторое отношеніе къ одному и тому же капиталу, но не одна къ другой. Ихъ кооперація начинается впервые только въ процессѣ труда; но въ процессѣ труда они перестали уже принадлежать самимъ себѣ. Со вступленіемъ въ этотъ процессъ они входятъ въ составъ капитала. Какъ кооперирующіе между собою работники, какъ члены одного работающаго организма, они представляютъ собою только особенную форму существованія капитала. Поэтому та производительная сила, которую работникъ развиваетъ, какъ общественный работникъ, есть производительная сила капитала. Общественная производительная

сила труда развивается безвозмездно, *какъ бы сама собою*, каждый разъ, какъ только работникъ будетъ поставленъ въ извѣстныя, опредѣленныя условія; а капиталъ ставитъ его именно въ эти условія. Такъ какъ общественная производительная сила труда не стоитъ капиталу ничего, и такъ какъ, съ другой стороны, она не можетъ быть обнаружена работникомъ прежде, чѣмъ самый трудъ его уже станетъ принадлежать капиталисту, то она представляется производительной силой, дарованной капиталу отъ природы, производительной силой капитала“ *).

Эти мѣста изъ гениальнаго анализа „Капитала“ написаны точно специально для того, чтобы иллюстрировать въ специальной, экономической области ту обще-философскую ошибку, которая свойственна умамъ съ метафизическими повадками мысли: именно, тенденцію разсматривать новыя свойства, дѣйствія и эффекты, развиваемые предметами въ ихъ взаимодействіи, уже не какъ ихъ законную собственность, не какъ ихъ сложную, составную, совокупную функцію, а какъ нѣчто, привносимое особымъ началомъ, корнящимся въ той формѣ, которой *подчинено* это взаимодействіе вещей.

Въ основѣ этого взгляда, какъ и большинства метафизическихъ воззрѣній, лежитъ скрытое, контрабанднымъ путемъ привнесенное антропоморфическое начало. Мы уже говорили, что различіе формы и содержанія, формы и матеріи имѣетъ прочное основаніе въ области нашихъ практическихъ интересовъ, въ томъ или другомъ *способѣ пользованія* предметомъ: иногда насъ интересуеетъ предметъ или нѣкоторая совокупность предметовъ въ ихъ натуральной, наличной, данной въ природѣ комбинаціи; чаще же всего мы пользуемся ими лишь какъ матеріей, какъ пассивнымъ матеріаломъ, обрабатывая ихъ опредѣленнымъ образомъ, сообщая имъ ту форму, которая болѣе всего отвѣчаетъ нашимъ практическимъ нуждамъ. Отсюда и беретъ начало взглядъ на матерію, какъ на что то пассивное, инертное, какъ на мертвый матеріалъ, а на форму—какъ на символъ активности, созиданія, превращенія пассивнаго и разрозненнаго матеріала въ живое, осмысленное цѣлое. При этомъ упускается изъ виду, позабывается, что понятія форма и матерія суть понятія не только отвлеченныя, абстрактныя, но и условныя, относительныя. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь то, что съ одной точки зрѣнія явится формой, то съ другой—лишь матеріаломъ для высшей „формы“ и наоборотъ. Въ красивомъ ландшафтѣ именно переходъ отъ свѣжей зелени луга къ синевѣ водъ, затѣмъ къ черной громадѣ горъ и, наконецъ, къ лазури небесъ или яркому пурпуру заката и удовлетворяетъ наше зрѣніе. Лугъ, синева воды или горныя громады сами по себѣ—лишь матеріалъ, изъ котораго построена вся эта

*) К. Марксъ «Капиталъ», т. I, стр. 278, 284, 286.

эффектная комбинація контрастирующихъ цвѣтовъ, доставляющая своимъ разнообразіемъ и богатствомъ красокъ должную интенсивность нашимъ зрительнымъ воспріятіямъ. Но, въ свою очередь, синяя поверхность воды есть тоже *форма*, привносящая нѣчто новое, нѣчто, неразложимое на механическую сумму безцвѣтныхъ капелекъ. И ничтожная капля воды есть тоже форма, въ которой совокупное существованіе молекулъ водорода, кислорода etc. открываетъ нашимъ чувствамъ новыя свойства. Форма и содержаніе, форма и матерія такимъ образомъ вовсе не суть какія-то самостоятельныя и независимыя начала, которыя можно абсолютно разграничить, раздѣлить между собою, и взаимодействіе которыхъ *порождаетъ* цѣлостныя явленія. Напротивъ, разграниченіе формы и содержанія есть фактъ вторичный и совершается актомъ нашей абстрагирующей способности, обозначающей различныя свойства и стороны явленій особыми именами существительными,—какъ будто нарочно для того, чтобы потомъ дать собственнымъ же своимъ созданіямъ обмануть себя, чтобы, благодаря особому имени существительному, приписать отвлеченію ума независимое, самостоятельное существованіе, принять его за какую-то особую „сущность“, „начало“, „производящую силу“.

Ученіе объ апріорномъ есть только перенесеніе этой аберраціи, этой само-мистификаціи ума въ область теоріи познанія. И перенесеніе это имѣетъ свою долгую исторію. „Извѣстный психологическій дуализмъ, которому особенно способствовало христіанство,—читаемъ мы у Гёринга,—обострилъ до крайности противоположность между матеріей и духомъ, тѣломъ и душою; матерія и тѣло считались за вялую, неподвижную, мертвую, безформенную массу; духъ же и душа—за истинныхъ носителей, за *формирующие элементы* (formgebende Principien) матеріи и жизни. Эти-то воззрѣнія, и теперь еще не вполнѣ отжившія свой вѣкъ, и оказали вліяніе на теорію познанія въ томъ смыслѣ, что вся способность чувствованія, сознанія и мышленія была перенесена въ душу, тѣло же являлось лишь ея обиталищемъ—а пожалуй, даже темницей—по существу, слѣдовательно, чѣмъ то ненужнымъ и обременительнымъ“. Но этому взгляду приходилось рѣшить много вопросовъ, преодолѣть много трудностей. „Прежде всего не знали, что дѣлать съ познаніемъ посредствомъ ви́шнихъ чувствъ, которыя очевидно принадлежали къ тѣлу. Было твердо установлено, что душа можетъ познавать и безъ ви́шнихъ чувствъ. Но такъ какъ, не смотря на это, она пользовалась ими, какъ орудіями, то нужно было дать чувственнымъ познаніямъ такое опредѣленіе, посредствомъ котораго было бы подведено подъ извѣстную норму (ge-regelt wurde) ихъ отношеніе къ собственному, своеобразному способу познаванія души. А такъ какъ тѣло считалось чѣмъ-то весьма несовершеннымъ, то эта оцѣнка была перенесена также и на

чувственное познание. Оно было определено, какъ спутанное, смутное познание, нетождественное тому объективному содержанию, къ которому оно относилось, тогда какъ душа будто бы познавала посредствомъ понятій то же содержание отчетливо и ясно. Удивительныя несообразности этого психологическаго воззрѣнія были поняты Кантомъ. Прежде всего ему было ясно, что вообще не существуетъ независимыхъ отъ чувствъ прирожденныхъ познаний, и что поэтому чувства во всякомъ случаѣ не исполняютъ такой функціи, которая бы только препятствовала самобытному познанию посредствомъ разума. Поэтому онъ отбросилъ „двойственность познания“ своихъ предшественниковъ. Но вліяніе дуализма сидѣло въ немъ все-таки настолько сильно, что единое познание онъ разложилъ также на двѣ части, на матерію и форму познания. Сообразно съ этимъ онъ различалъ и два отдѣльных источника (zwei getrennte Stämme) человѣческаго познания, изъ которыхъ одинъ — чувственность — доставлялъ матерію, другой же — разумъ — форму познания. Только посредствомъ соединенія обоихъ происходитъ познание“ *).

Въ связи съ этимъ позитивисты ставятъ основную ошибку Канта при разбѣженіи источниковъ опыта въ зависимость отъ недостаточности психологическихъ знаній, отъ младенческаго состоянія психологіи того времени. Благодаря этому Кантъ не могъ, если бы и хотѣлъ, прослѣдить *фактическое* происхожденіе наиболѣе общихъ понятій и идей человѣчества. Для этого нужна была сравнительная психологія, имѣющая объектомъ своихъ наблюденій человѣчество на разныхъ стадіяхъ его развитія. Канту оставался открытымъ путь чисто логическаго анализа готовыхъ сложныхъ результатовъ. Онъ думалъ, что и этимъ путемъ можно рѣшить вопросъ о происхожденіи различныхъ элементовъ опыта. На дѣлѣ же этотъ путь былъ столь же ненадеженъ, какъ, приблизительно, хотя бы попытка чисто-логическимъ путемъ опредѣлить происхожденіе цифры 56. Она могла получиться и путемъ умноженія, и путемъ вычитанія, и путемъ сложенія двухъ или нѣсколькихъ величинъ. Логическое расчлененіе даетъ лишь противопоставленіе десятковъ—единицамъ. Но то, что разрознено логическимъ анализомъ, вовсе не необходимо является въ то же время фактическими первоначальными элементами, сліяніе которыхъ даетъ цѣлое. Такъ и здѣсь, въ области теоріи познания, логическій анализъ исходитъ изъ сложныхъ продуктовъ неизвѣстнаго, еще подлежащаго изученію процесса. Мы, образованные люди, привыкли все, даже данныя элементарнѣйшихъ непосредственныхъ ощущеній и воспріятій облекать въ форму стройнаго, по всѣмъ правиламъ логики построеннаго сужденія. Это не зна-

*) «System der kritischen Philosophie» von K. Göring, Leipzig, 1874, I, s. 279—280.

читать, чтобы само это ощущение было ничто иное, какъ стройный логическій процессъ. Мы только въ послѣдствіи оформливаемъ то, что содержится въ этомъ ощущеніи, въ видѣ синтаксически правильнаго предложенія, съ подведеніемъ субъекта подъ понятіе предиката. Съ помощью выработаннаго тысячелѣтіями орудія—языка—и съ помощью логически правильнаго примѣненія понятій мы присоединяемъ къ общей сокровищницѣ нашего знанія и освѣщаемъ съ ея помощью само по себѣ скудное, элементарное, темное, недифференцированное содержаніе непосредственнаго ощущенія. Канту же казалось, что это синтаксически и логически оформленное сужденіе, въ которое мы такимъ образомъ облачаемъ усвоенное нами и освѣщенное ранѣе накопленнымъ умственнымъ матеріаломъ содержаніе элементарнаго воспріятія,—что это сужденіе есть не только *позднѣйшая форма выраженія*, но и элементарный, непосредственный *процессъ полученія* опыта. Поэтому онъ непосредственное знаніе поставилъ въ зависимость отъ позднѣйшаго, обусловленнаго абстрактными понятіями. Въ этихъ понятіяхъ онъ вынужденъ былъ, такимъ образомъ, видѣть элементарныя функціи, которыми, наряду съ воспріятіями, можно объяснять опытное познаніе. Чисто словесную форму, въ которую мы одѣваемъ наше воспріятіе, онъ логически отдѣлилъ отъ матеріи самого воспріятія и противопоставилъ ихъ другъ другу, какъ различные факторы образованія опыта. И такъ какъ первая регулировала послѣднюю, то Кантъ и создалъ свое ученіе о томъ, что опытъ сообразуется съ природой и понятіями нашего ума, а не наоборотъ, что эти понятія суть необходимыя условія опыта, предшествуютъ ему и происходятъ, очевидно, изъ другого источника. Такъ и создалось знаменитое ученіе объ апріоризмѣ понятій и творчествѣ ими опыта *).

Нѣтъ сомнѣнія, что въ этомъ ученіи все-таки приходится видѣть прогрессъ сравнительно съ господствовавшими до Канта воззрѣніями, согласно которымъ апріорными были не формальные только элементы опыта, а совершенно особые, независимыя отъ опытныхъ сужденій логическія функціи, не для нихъ только доставлявшія необходимыя условія, а самостоятельно вырабатывающія познаніе съ опредѣленнымъ матеріальнымъ содержаніемъ. Апріоризмъ Канта—прогрессъ сравнительно съ этой идеей о двухъярусномъ познаніи, съ его параллельными и противорѣчащими другъ другу рядами чувственныхъ и умозрительныхъ познаній. Но и полное согласованіе, сліяніе данныхъ, происходящихъ изъ двухъ совершенно различныхъ источниковъ, въ одно стройное и гармоническое цѣлое представляетъ тоже достаточно несообразную, или, если хотите, „загадочную“, „тайнственную“ вещь,—

*) Эта аргументація заимствуется нами у Геринга, «System», I, 281—285 и II, 175—176.

не менѣе таинственную, чѣмъ сліяніе и гармоническое сосуществованіе въ единомъ человѣческомъ индивидѣ двухъ независимыхъ „субстанцій“—матеріальной и духовной—для метафизиковъ-дуалистовъ въ психологіи *). Но именно тотъ фактъ, что Кантъ форму и матеріальное содержаніе познанія отнесъ къ двумъ различнымъ источникамъ—именно это и внесло разъѣдающій дуализмъ въ его теорію познанія.

Какъ относится къ этому дуализму нашъ кантіанецъ-марксистъ г. Бердяевъ? Онъ краснорѣчиво говоритъ въ одномъ мѣстѣ о Кантѣ, какъ „величайшемъ изъ философовъ міра“ и предсказываетъ: „Но придетъ время, когда элементы кантіанства, *очищенного отъ дуалистическихъ примѣсей и компромиссовъ*, войдутъ во всеобщее сознаніе. Въ философіи Канта есть элементы вѣчные и неизблемые, потому что Кантъ сдѣлалъ предметомъ своихъ философскихъ изслѣдованій вѣчныя и неизблемыя основы познавательной и нравственной дѣятельности“ **).

Откуда можно было бы заключить, что г. Бердяевъ будетъ отрицать двойственное происхожденіе формы и матеріальнаго содержанія познавательнаго процесса. Не тутъ то было. Взгляды Бердяева на основныя проблемы теоріи познанія, по его собственнымъ словамъ, покоятся „на апріоризмѣ и феноменализмѣ критической теоріи познанія“ ***). Для него „объективность познанія и строго законосообразный характеръ познаваемого объекта гарантируются логическимъ а priori, *вносимымъ въ актъ познанія познающимъ субъектомъ*“ ****). „Понятіе объективности впервые

*) Э. Лаасъ указываетъ, что кантіанцы всегда забываютъ одно обстоятельство: «Kein Inhalt geht in eine ihm absolut spröde Form ein» («Idealismus» etc., III, 474).

**) Н. Бердяевъ, «Субъективизмъ и индивидуализмъ» etc., стр. 33, прим. 1. Мимоходомъ, отмѣтимъ характерную для г. Бердяева черту, проскальзывающую даже въ мелочахъ: онъ вѣчно дѣлается плѣнникомъ своего краснорѣчія, и составляя красивыя, звонкія фразы, то и дѣло упускаетъ изъ виду элементарныя логическія правила образованія силлогизмовъ. Такъ, г. Бердяевъ, если хорошенько подумаетъ, то, вѣроятно, и самъ согласится, что еще мало сдѣлать «предметомъ своихъ изслѣдованій»—вѣчное и неизблемое» для того, чтобы элементы получающейся отсюда философіи *потому* сдѣлались то же вѣчными и неизблемыми. Да простить намъ г. Бердяевъ это мелочное замѣчаніе. Мы дѣлаемъ его въ увѣренности, что для самого г. Бердяева оно не такъ ужъ мелочно въ виду его гиперболическаго почтенія къ логикѣ, которой онъ поетъ такіе гимны въ прозѣ: «Если даже погибнетъ человѣчество, погибнетъ наша солнечная система, народятся новые міры, бесконечно (!) отличные отъ нашего, возникнутъ формы жизни и сознанія, не имѣющія почти ничего общаго съ нашими, логическій законъ тождества останется въ полной силѣ, трансцендентальное сознаніе не измѣнится ни на одну іоту (!); его элементы одинаково вѣчны, какъ въ прошломъ, такъ и въ будущемъ; они одинаково обязательны для всякаго сознанія въ мірѣ, когда бы и гдѣ бы это сознаніе ни являлось».

***) Ibid., стр. 29.

****) Ibid., стр. 35. Курсивъ нашъ.

получаетъ глубокий смыслъ въ философіи Канта. Только трансцендентальная философія обосновываетъ познавательный объективизмъ. Объективное для нея значить общеобязательное, имѣющее всеобщую примѣнимость (*allgemeingültig*), это понятие находится въ центрѣ кантіанской философіи и *отвѣчаетъ на вопросъ о цѣнности, а не о происхожденіи* нашего познанія“ *). „Что же такое это трансцендентальное, общечеловѣческое сознаніе и чѣмъ оно отличается отъ обыкновеннаго психологическаго сознанія? Всякій актъ познанія предполагаетъ познающаго субъекта; въ познающемъ субъектѣ мы открываемъ элементы, обязательные для всѣхъ познающихъ; они составляютъ логическія условія познанія, необходимыя его предпосылки. Все наше познаніе — опытное, но познавательный опытъ возможенъ только потому, что ему *логически* предшествуютъ такія необходимыя условія, какъ, напр., законъ тождества, какъ формы пространства и времени, какъ категория причинности и т. д. Мы не говоримъ, что *а priori хронологически* предшествуетъ опыту; по времени до опыта въ познающемъ субъектѣ нѣтъ ничего; трансцендентальные познавательные элементы существуютъ только для опыта и безъ него лишены всякаго смысла, они не имѣютъ никакой другой примѣнимости, кромѣ міра, являющагося намъ въ опытѣ. Мы только открываемъ въ каждомъ актѣ познанія определенную *логическую* послѣдовательность“ **). И въ другомъ мѣстѣ: „Слѣдуетъ *особенно подчеркивать*, что Кантовскій вопросъ какъ въ теоріи познанія, такъ и въ этикѣ — это вопросъ *не о генезисѣ познанія* и нравственности, а объ ихъ объективной цѣнности“ ***).

Итакъ, г. Бердяевъ, марксистъ-трансценденталистъ, противникъ дуализма, въ то же время убѣжденный апріористъ. Но въ ученіи Канта объ апріорномъ онъ не видитъ никакихъ дуалистическихъ элементовъ. Кантовскій вопросъ въ теоріи познанія по его мнѣнію — вовсе не вопросъ о генезисѣ, а только объ объективной цѣнности познанія. Апріорное, имѣющее всеобщую примѣнимость предшествуетъ опыту не хронологически, не психологически, а лишь логически: это понятіе отвѣчаетъ на вопросъ о цѣнности, а не на вопросъ о происхожденіи нашего познанія.

Посмотримъ, такъ ли это.

Уже во введеніи къ „Критикѣ чистаго разума“ Кантъ проводитъ различіе между догматической метафизикой и философскимъ критицизмомъ. Первая стремится „покинувъ область опыта, тотчасъ же воздвигнуть цѣлое зданіе при посредствѣ готовыхъ по-

*) Ibid., 21. Курсивъ нашъ.

**) Ibid., стр. 21—22. Курсивъ автора.

***) Ibid., стр. 21, прим. 1. Курсивъ нашъ.

знаній, не зная, откуда они приобрѣтены, и основываясь на до-
вѣріи къ основоположеніямъ, *происхождение* (Ursprung) которыхъ
неизвѣстно“. Критическая же система трансцендентальной фило-
софіи „предварительно стремится обезпечить для этого фунда-
ментъ путемъ тщательныхъ разысканій“, вращающихся въ области
двухъ вопросовъ: „какъ можетъ приходить умъ ко всѣмъ этимъ
познаніямъ а priori и какой объемъ, значеніе и цѣнность они
могутъ имѣть“ *). Сообразно съ этимъ онъ создаетъ наряду съ
общей, формальной логикой, другую, которую онъ называетъ
трансцендентальной. Первая, какъ выше было имъ разъяснено,
„подробно излагаетъ и строго доказываетъ ничто иное, какъ фор-
мальныя правила всякаго мышленія—будетъ ли оно априорнымъ
или эмпирическимъ, каковы бы ни были его *происхождение*
(опять-таки Ursprung) или объектъ“ **). Трансцендентальной
же логикой онъ называетъ „такую науку, которая опредѣляетъ
происхождение, объемъ и объективную цѣнность“ (den Ursprung,
den Umfang und die objective Giltigkeit)“ априорныхъ позна-
ній ***). „Она обратилась бы также къ вопросу о происхожденіи
(auf den Ursprung) нашихъ познаній о предметахъ, поскольку
оно не можетъ быть отнесено на счетъ самихъ предметовъ (so-
fern er nicht den Gegenständen zugeschrieben werden kann); тогда
какъ общей логикѣ нечего дѣлать съ этимъ вопросомъ о проис-
хожденіи нашего знанія; она разсматриваетъ представленія, будь
они даны первоначально (*uranfänglich!*) а priori въ насъ самихъ
или же только эмпирически, сообразно тѣмъ законамъ, по кото-
рымъ соединяетъ ихъ между собою нашъ умъ, когда онъ мы-
слитъ“ ****).

Какъ ни рѣшительно, поэтому, утверждаетъ г. Бердяевъ, будто
„Кантовскій вопросъ въ теоріи познанія... это вопросъ не о ге-
незисѣ, а объ объективной цѣнности“—тѣмъ не менѣе это утверж-
деніе стоитъ въ самомъ рѣжущемъ противорѣчій съ неоднократ-
ными утвержденіями самого Канта. Какъ ни находить нужнымъ
г. Бердяевъ „старательно подчеркивать“, что априорность всего
общеобязательнаго — есть априорность въ чисто логическомъ
смыслѣ, что этимъ ничего не говорится о *происхожденіи*, а
только *цѣнности* познанія—однако, старикъ Кантъ еще упрямѣе
въ „старательномъ подчеркиваніи“ слова *Ursprung*, происхожде-
ніе *****). Г-ну Бердяеву слѣдовало бы внимательнѣе отнестись къ
„величайшему изъ философовъ міра“, приверженцемъ котораго
онъ себя считаетъ, и побольше считаться съ его собственными

*) Kr. d. r. V., s. 46.

**) Ibid., s. 16.

***) Ibid., s. 103.

****) Ibid., s. 102.

*****) Ср. также стр. 43: aber nicht bloss in Urtheilen, sondern selbst in Begriffen zeigt sich ein *Ursprung* einiger derselben a priori.

заявленіями. Напомнимъ ему, кстати, что, по Канту, въ область трансцендентальной логики входитъ и вся дедукція „чистыхъ апріорныхъ понятій разсудка“ или категорій. Она должна доказать „возможность понятій а priori посредствомъ того, что мы разыскиваемъ ихъ *единственно въ разсудкъ, какъ мѣсть ихъ рожденія* (als ihrem Geburtsorte)“ *), ибо они имѣютъ „совершенно иное свидѣтельство о рожденіи (einen ganz anderen Geburtsbrief), чѣмъ происхождение (Abstammung) изъ опытовъ“ **); они идутъ „изъ другого источника“ (aus anderen Quellen) ***).

Но что же это такое за „другой источникъ“, изъ котораго порождаются чистыя апріорныя понятія? Не являются ли эти понятія *прирожденными*? Нѣтъ, смѣшивать ученіе Канта объ апріорномъ со старымъ метафизическимъ ученіемъ о *прирожденныхъ* понятіяхъ нѣтъ никакой возможности. Г. Челпановъ въ „Мірѣ Божіемъ“ (повидимому, окончательно превратившемся въ органъ „трансцендентальнаго марксизма“) имѣетъ *нѣкоторое* право утверждать, что, „дѣля понятія на двѣ группы (апріорныя и апостериорныя), Кантъ вовсе не желалъ сказать, что апріорныя понятія, какъ что-нибудь *готовое*, находятся въ нашемъ умѣ при рожденіи“ ****). Онъ имѣлъ бы даже *полное* право это утверждать, если бы подчеркнул въ приведенной цитатѣ не слово „готово“, а слова „при рожденіи“. Налегать на то, что по Канту апріорныя понятія не находятся въ умѣ *въ готовомъ видѣ*, врядъ ли возможно въ виду хотя бы слѣдующихъ двухъ его утверждений: по его мнѣнію, форма явленій „muss zu ihnen insgesamt im Gemüthe a priori bereit liegen“ *****); съ другой стороны, мы

**) Ibid., s. 110.

***) Ibid., s. 131.

****) Ibid., s. 17. Происхождение этой грубой ошибки г. Бердяева, повидимому, слѣдующее. У Риль мы читаемъ: «Критика чистаго разума, предпринятая Кантомъ, трактовала *главнымъ образомъ* «не о происхожденіи опыта, а о томъ, что онъ въ себѣ *заключаетъ*» («Теорія науки» etc., стр. 92). Г. Бердяевъ пропустилъ два словечка: «главнымъ образомъ». Положимъ, слова небольшія, но слово *не* еще меньше, однако, позабыть о немъ безъ прегрѣшенія противъ логики невозможно. Мало того. Къ словамъ «не о происхожденіи опыта, а о томъ, что онъ въ себѣ *заключаетъ*» Риль дѣлаетъ еще примѣчаніе-поправку такого рода: «Это изъ Прологоменаъ приведенное мѣсто, какъ я теперь вижу, относилось только къ *методу упомянутого сочиненія*». Риль тутъ же прибавляетъ, что оно «точно и вѣрно выражаетъ ту мысль, которая различаетъ *критику* познанія отъ *теоріи* его». т. е. задача критики — раскрыть *содержаніе* опыта, задача же полной теоріи — кромѣ того изслѣдовать и происхожденіе его. Бердяевъ же второяхъ и не разобравшись въ томъ, что говоритъ Риль, а кстати пропустивши слова «главнымъ образомъ», увѣряетъ, что именно «въ *теоріи* познанія» «кантовскій вопросъ» — это вопросъ *не* о происхожденіи познанія, а о его цѣнности. Таковъ способъ, которымъ г. Бердяевъ «примыкаетъ къ тому толкованію Канта, которое предложено», между прочимъ, «Алонзомъ Рилемъ». (Н. Бердяевъ, стр. 21).

*****) Г. Челпановъ, «Философія Канта» ст. I, «Мірѣ Божій» № 3, стр. 16.

*****) «Kr. d. r. V.», s. 68. Курсивъ нашъ.

встрѣчаемъ у него слѣдующее поясненіе при отнесеніи извѣстнаго воззрѣнія въ область апріорныхъ: „Diese Anschauung muss a priori, d. i. *vor aller Wahrnehmung* eines Gegenstandes in uns angetroffen werden“ *). Нельзя игнорировать эти мѣста, и только въ связи съ ними нужно истолковывать все ученіе Канта объ апріорномъ знаніи, какъ „знаніи, независимомъ отъ опыта и даже отъ всякихъ чувственныхъ впечатлѣній“, „совершенно независимомъ отъ *всякаго* опыта“, и, напротивъ, представляющемъ, въ совокупности своихъ элементовъ „условія, отъ которыхъ зависятъ всякій опытъ“ **).

Откуда же, однако, беретъ разсудокъ эти удивительныя понятія „совершенно независимыя отъ всякаго опыта“? Не творить же онъ ихъ изъ ничего? Г. Челпановъ попробовалъ дать очень смѣлое толкованіе мысли Канта, заявивъ, что „эти понятія, какъ и всякія другія (?!) понятія, пріобрѣтаются нашимъ сознаніемъ. Оно (они?) не было, конечно, у ребенка при рожденіи, оно является продуктомъ логической переработки (чего? что служитъ матеріаломъ—данныя опыта или нѣтъ?). Вмѣляя эти понятія въ особую группу, Кантъ хотѣлъ только (!) сказать, что понятія эти имѣютъ совершенно особенный характеръ, что имъ въ дѣйствительности не соотвѣтствуетъ что либо опредѣленное *въ томъ смыслѣ*, въ какомъ что либо опредѣленное соотвѣтствуетъ, напр., понятію камня или растенія“ ***).

Подумаешь, какъ просто открывался ларчикъ! И какъ напрасно бились надъ проблемой апріорнаго до сего времени тысяча и одинъ „механикъ и мудрецъ“! Понятію дерева или камня соотвѣтствуетъ „нѣчто опредѣленное“ въ очень простомъ и ясномъ смыслѣ: это—два родовыхъ понятія для обозначенія опредѣленныхъ группъ реальностей. Понятія же времени, пространства, единства, множества, возможности и необходимости не обозначаютъ никакой опредѣленной реальности и никакой группы конкретныхъ реальностей—вотъ Кантъ и назвалъ ихъ апріорными. Ну, а понятіе измѣненія, цвѣта, вкуса, тепла, движенія? Развѣ имъ „соотвѣтствуетъ что либо опредѣленное въ томъ смыслѣ, въ какомъ что либо опредѣленное соотвѣтствуетъ, напр., понятію камня или растенія“? Почему же Кантъ не считалъ ихъ апріорными?

Этотъ способъ истолкованія Канта, имѣющій цѣлью цѣной какихъ угодно натяжекъ представить положенія Канта въ наименѣе противорѣчащемъ позитивному знанію смыслѣ, чрезвычайно характеренъ для философской апологетики Канта, которую мы видѣли и у г. Бердяева. Подобно Бердяеву, г. Челпановъ утверж-

*) Ibid., s. 73.

**) Ibid., ss. 40, 129, 240 etc.

***) «Міръ Божій», № 3, стр. 16.

даетъ, что „предшествованія формъ въ процессѣ познанія Кантъ не признавалъ; говоря объ обусловливаніи, онъ имѣлъ въ виду только лишь *логическое* отношеніе между понятіями“ *).

Чрезвычайно характерно, далѣе, для обоихъ—для г. Бердяева и г. Челпанова—ихъ полное и абсолютное нежеланіе обратиться къ вопросу о фактическомъ, дѣйствительномъ происхожденіи того, что у Канта называется апріорными понятіями. Кантъ смотрѣлъ на дѣло иначе. Для него именно особое происхожденіе, особое, болѣе благородное „свидѣтельство о рожденіи“ апріорныхъ понятій было ручательствомъ за ихъ общеобязательную, сверхъ-эмпирическую цѣнность. Ихъ значеніе основывалось на ихъ происхожденіи. Но въ нашъ вѣкъ, вѣкъ эволюціонизма—увы! корни всего открываются въ самыхъ презрѣнныхъ, прозаическихъ, элементарныхъ явленіяхъ жизни. И вотъ г. Бердяевъ безсильно отрицается отъ точки зрѣнія развитія. „Точка зрѣнія развитія, имѣющая полную силу для психологическаго сознанія (объекта психологіи), не имѣетъ мѣста въ теоріи познанія, которая вѣдаетъ только логическое, изслѣдуетъ не происхожденіе и развитіе познанія (это опять таки дѣло психологіи), а его составъ и общепримѣнимость, его цѣнность“ **). Прекрасно, отвѣчаемъ мы; мы ничего не имѣемъ противъ приписки этого вопроса къ психологическому департаменту вмѣсто гносеологическаго. Но насъ сейчасъ не мѣсто приписки интересуетъ. Кантъ обосновывалъ особенную цѣнность нѣкоторыхъ положеній и понятій на ихъ особенномъ происхожденіи. Вы подписываетесь подъ его теоріей.

*) Тамъ же, стр. 19.

**) Н. Бердяевъ, «Индивидуализмъ etc.», стр. 22. Кстати, г. Бердяеву слѣдовало бы точнѣе опредѣлить, что онъ разумѣетъ подъ «логическимъ предшествованіемъ» и въ чемъ его отличіе отъ «психологическаго предшествованія». Всякое общее понятіе, пожалуй, логически предшествуетъ болѣе частнымъ понятіямъ или конкретнымъ представленіямъ, заключая уже ихъ въ себѣ, покрывая, охватывая ихъ собою, и дѣлая возможнымъ ихъ дедуктивный выводъ изъ себя. Но въ то же время оно «фактически слѣдуетъ за» ними, представляя собою только логическую надстройку надъ ними, какъ своимъ фундаментомъ. Логическое отношеніе какъ разъ обратно фактическому. А, между тѣмъ, многіе апіористы допускаютъ смѣшеніе этихъ противоположныхъ вещей, выводъ не наиболѣе общія понятія изъ опыта, а наоборотъ—разсматривая ихъ какъ предварительныя «условія» и «предпосылки» опыта. Въ этомъ отношеніи гораздо послѣдовательнѣе Гегель. Онъ изъ наиболѣе абстрактной категоріи—«Идеи» вообще—сдѣлалъ внѣ-міровую сущность и первоисточникъ всякаго бытія, превративъ логическое дедуцированіе изъ этого общаго понятія болѣе конкретныхъ понятій въ фактическую сущность и механизмъ мірового процесса. Онъ началъ послѣдовательно вскрывать содержаніе единой «Идеи» путемъ противопоставленія другъ другу охватываемыхъ ею частныхъ разнородныхъ понятій, идя такимъ образомъ, путемъ діалектическаго выкручиванія, отъ абстрактнаго къ все болѣе и болѣе конкретному. Въ результатѣ онъ и получилъ всю исторію природы и общества какъ порожденіе и воплощеніе діалектическаго процесса раскрытія всей полноты содержанія этой «Идеи».

Вы говорите, напр., что только нѣкоторые, а не всѣ „элементы субъекта“ можно вывести „изъ опыта, изъ объекта“ *), другіе же вы признаете „вносимыми въ актъ познанія познающимъ субъектомъ“ **). Не потрудитесь ли вы намъ объяснить, откуда ихъ *выносить* тотъ субъектъ, который ихъ потомъ въ познаніе *вноситъ*? „Прямо поразительно, до какой степени эмпирики не понимаютъ своеобразнаго характера трансцендентально-критической проблемы!“ ***)) сердится г. Бердяевъ. Да поймите же, что „селекціонное ученіе... прекрасно можетъ объяснить исторію нашихъ идей и теорій, но совершенно безсильно установить критерій истины и не имѣть никакого мѣста въ теоріи познанія!“ ****)). Мы видимъ, что простого и яснаго отвѣта на ребромъ поставленный вопросъ мы отъ г. Бердяева такъ таки и не дождемся и обращаемся съ нашими сомнѣніями и вопросами къ г. Челпанову. Тотъ отзывается гораздо скромнѣе. „Какимъ путемъ это (априорное) понятіе могло получиться, при помощи какихъ психологическихъ процессовъ оно вырабатывается—мы разсматривать не станемъ, это для насъ важности не представляетъ“. И тутъ же, „не разсматривая“ вопроса о психологическомъ происхожденіи априорныхъ понятій, г. Челпановъ, однако, обязательно сообщаетъ намъ окончательный выводъ несостоявшагося къ величайшему нашему прискорбію разсматриванія: „для насъ важно отмѣтить только, что оно отличается отъ другихъ понятій (святая истина, ибо всѣ понятія чѣмъ нибудь да отличаются другъ отъ друга!), что его происхожденіе должно быть (sic) инымъ (какъ это опредѣленно!), что оно не получается путемъ обыкновенной абстракціи (а развѣ есть еще и „необыкновенная“ абстракція?) и т. д., и т. д.“ *****). Во всякомъ случаѣ, спѣшитъ успокоить насъ г. Челпановъ, Кантъ „вовсе не имѣлъ въ виду признать его чѣмъ то изъбующимъ сверхъестественное происхожденіе“ *****). „Вѣрить прикажете?“ отзовемся мы словами одного изъ персонажей Островскаго.

Въ чемъ же, однако, по Канту, лежитъ послѣднее основаніе синтеза а priori? Это—довольно темный пунктъ Кантовской философіи. Мы видѣли его отвѣтъ. Наши познанія о предметахъ въ извѣстной мѣрѣ не могутъ быть сведены къ самимъ этимъ предметамъ, отнесены на ихъ счетъ, а должны идти отъ субъекта, имъ самимъ влагаться въ явленія опыта. Но что слѣдуетъ понимать въ этомъ положеніи подъ словами: предметы, субъектъ? Понимать ли ихъ эмпирически или какъ вещи въ себѣ? Эмпирически

*) Бердяевъ, стр. 24, прим.

**) Тамъ же, стр. 35.

***) Тамъ же, стр. 33.

****) Тамъ же, стр. 32.

*****) «Міръ Божій», № 3, стр. 16—17.

*****) Ibid.

понимать невозможно. Какъ сводить на актъ дѣятельности эмпирическаго субъекта порожденіе формъ опыта, когда объ самомъ эмпирическомъ субъектѣ, о себѣ, какъ цѣлостномъ психофизическомъ индивидуумѣ, мы только изъ опыта и вырабатываемъ понятіе; а вѣдь для того, чтобы опытъ могъ состояться, уже требуется наличность субъективныхъ формъ познанія. Эти формы суть нѣчто болѣе первичное, чѣмъ составленное опытнымъ путемъ представленіе о познающемъ чувственномъ индивидѣ. Остается, слѣдовательно, предположить *), что Кантъ имѣлъ въ виду природу *трансцендентнаго* субъекта, его сверхъопытную духовную сущность. Она—съ одной стороны, внѣшній міръ, какъ „вещи въ себѣ“—съ другой: вотъ два основныхъ фактора, изъ которыхъ истекаетъ познаніе. Разгадку того, откуда берется въ послѣдней инстанціи синтезъ а priori, что является его конечной причиной, такимъ образомъ пришлось бы отодвинуть за то непроницаемое покрывало Изиды, которымъ отъ насъ сокрыта истинная внутренняя сущность вещей, міръ ноуменовъ **))...

Я не хочу этимъ сказать, что такое рѣшеніе было бы свободно отъ противорѣчій, не меньшихъ, чѣмъ тѣ, изъ-за которыхъ мы отвергли первое рѣшеніе. Напротивъ. Идея о томъ, что синтезъ а priori коренится въ субъектѣ, какъ существѣ сверхчувственномъ, какъ духовной субстанціи по существу „не отъ міра сего“ и лишь временно вынужденной проявлять свои дѣйствія въ мірѣ явленій — эта идея мнѣ лично кажется противорѣчивой въ высшей степени. Вѣдь это значитъ вводить „вещь въ себѣ“ въ цѣпь причинности съ вещами эмпирическими, а вѣдь и по Канту категория причинности примѣнима лишь къ міру опытнаго. Я уже и не говорю о томъ, что это значитъ превращать вещь въ себѣ въ особый видъ реальности, тогда какъ для меня это можетъ лишь свидѣтельствовать о непониманіи истинной сущности „предѣльнаго понятія“. Но дѣло въ томъ, что отмѣченное мною сейчасъ противорѣчіе—вполнѣ въ духѣ Канта. Не онъ ли писалъ: „если явленіямъ не придавать больше значенія, чѣмъ они на самомъ дѣлѣ имѣютъ, т. е. не считать ихъ вещами въ себѣ, а только представленіями, связывающимися по эмпири-

*) Отвѣты на этотъ вопросъ поневолѣ вращаются въ сферѣ наиболѣе вѣроятныхъ гипотезъ.

**) Въ самомъ дѣлѣ, если принять, что время и пространство суть «субъективные формы», разъ признать, что ихъ «влагаетъ въ опытъ» самъ «субъектъ», то очевидно, что этотъ «субъектъ» данъ до времени и пространства и внѣ ихъ—напротивъ, пространство и время находятся «въ немъ», получили свое бытіе «отъ него». Итакъ, мы приходимъ къ идеѣ о субъектѣ вполнѣ трансцендентномъ, существующемъ, подобно Божеству, «прежде всѣхъ вѣкъ». Недаромъ также одинъ изъ наиболѣе крайнихъ апіористовъ, Фолькельтъ, говорить, что «всякое объективное познаваніе въ отношеніи основъ, на которую опирается его претензія на достовѣрность, носитъ мистическій характеръ» («Erfahrung u. Denken», s. 137).

ческимъ законамъ,—то сами они должны имѣть свое основаніе, лежащее внѣ круга явленій. Такая чисто умопостигаемая причина сама въ своей причинности, однако, не обусловлена явленіями, хотя дѣйствія ея проявляются и могутъ обуславливаться другими явленіями. Т. е. она со своей причинностью стоитъ внѣ ряда; напротивъ, дѣйствія ея входятъ въ рядъ эмпирическихъ условій“ *). Подобнымъ образомъ можно представить себѣ и трансцендентнаго субъекта, порожденія котораго — понятія а priori—входятъ въ рядъ эмпирическихъ условій и сплетаются по опредѣленнымъ законамъ съ матеріей опыта, данными внѣшнихъ чувствъ. Самъ же онъ стоитъ внѣ цѣпи эмпирической причинности,—его причинность совершенно особая: причинность изъ свободы, какъ выражается Кантъ. Синтезъ а priori будетъ въ такомъ случаѣ свободнымъ актомъ творчества субъекта, несвязаннаго эмпіріей и, даже напротивъ того, вносящаго формулирующее начало въ эту эмпірію.

Въ такомъ случаѣ Кантовское рѣшеніе вопроса было бы простой модификаціей стараго идеалистическаго ученія объ апіорномъ. По Платону, человѣка принципиально отдѣляетъ отъ всего міра животныхъ и приближаетъ къ божеству особая способность—духъ, разумъ. Этотъ разумъ оперируетъ съ понятіями, содержаніе которыхъ не можетъ быть разыскано ни въ какомъ воспріятіи; мы ими обладаемъ до всякаго опыта. Это—первоначальные, „пресущественныя“ (preexistenzielle) познанія, обоснованныя въ природѣ самого духа: они указываютъ на внѣміровую жизнь души и сверхчувственную реальность **). Къ этому у Платона присоединялась цѣлая поэтическая миеологическая теорія о судьбѣ души до ея воплощенія, до соединенія съ тѣломъ.

Въ извѣстномъ письмѣ къ Марку Герцу Кантъ самъ ставитъ свои воззрѣнія въ связь съ взглядами Платона и одного изъ послѣдующихъ апіористовъ, Крузіуса. У этого послѣдняго познанія внѣопытнаго характера основывались на внѣдренныхъ божествомъ въ душу человѣческую нормахъ, которыя заранѣе были цѣлесообразно приспособлены къ тому, чтобы гармонизировать съ вещами. Кантъ, во первыхъ, совершенно устранилъ изъ теоріи апіоризма всякую миеологическую догматику. Поступить иначе, значило бы для него впасть въ метафизику самаго низшаго сорта. Его критика познавательной способности человѣка должна была быть свободной отъ всякихъ миеологическихъ и метафизическихъ предпосылокъ: она должна была впервые доказать права практическаго разума заполнить въ человѣческомъ міросозерцаніи ту пустоту, которая образовывалась вслѣдствіе доказательства, что нашъ міръ есть лишь міръ представленій,

*) Kr. d. r. V., s. 461.

**) Излагаемъ по Лаасу. Idealismns und Positivismus, s. I, 55—56.

совершающихся въ субъектѣ — не болѣе. Какъ выражался самъ Кантъ: „ich musste das Wissen aufheben, um für das Glauben Platz zu bekommen“. Этимъ, быть можетъ, и объясняется тотъ фактъ, что онъ предпочелъ въ предварительной теоретико-познавательной работѣ оставить въ тѣни вопросъ о послѣднемъ основаніи апріорнаго знанія. Во вторыхъ, Кантъ перевернулъ формулу Крузіуса вверхъ ногами. Не апріорныя формы приспособлены къ внѣшнимъ предметамъ—наоборотъ, предметы воспріятія сообразуются съ познавательными формами. Въ этомъ отношеніи онъ уподоблялъ свое дѣло—открытію Коперника, который, замѣнивъ геоцентрическую точку зрѣнія геліоцентрической, такъ же поставилъ вверхъ ногами господствовавшія до тѣхъ поръ понятія. Нетрудно, однако, видѣть, что переворотъ Канта является только по формѣ и по объему своему *коперникановскимъ*, по направленію же и тенденціи онъ скорѣе *антикоперникановскій*. Коперникъ своимъ открытіемъ подрывалъ корни у антропоцентризма; Кантъ же положилъ начало своеобразному теоретико-познавательному антропоцентризму. Недаромъ одинъ изъ философовъ имманентной школы, представляющей въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ кантіанство въ кубѣ, такъ-таки прямо и заявляетъ: „мое я—есть центръ міра!“ Да чего же дальше ходить: не заявляетъ ли и самъ г. Бердяевъ, что „трансцендентальное сознаніе *создаетъ* (sic!) міръ“ *) и притомъ „создаетъ міръ не только причинно-обусловленнымъ, но и движущимся къ цѣли“ **).

Итакъ, повидимому, въ Кантовской системѣ дуализмъ апріорнаго и апостеріорнаго познанія былъ тѣсно связанъ съ другимъ дуализмомъ — дуализмомъ міра вещей въ себѣ и міра явленій. По крайней мѣрѣ, обосновка апріорнаго познанія на метафизической сущности субъекта съ какой-то неотвратимой силой всплываетъ даже у такихъ неокантіанцевъ, которые по всему своему складу какъ будто вовсе не расположены къ экскурсіямъ въ область „вещей себѣ“ или даже совершенно отрицательно относятся къ этой сторонѣ ученія Канта.

Возьмемъ, напр., Отто Либмана. Ему принадлежитъ инициатива провозглашенія „поворота къ Канту“ въ философіи. Онъ находитъ ученіе объ апріорномъ—базисомъ всей кантовской филосо-

*) Н. Бердяевъ, стр. 34.

**) Тамъ же, стр. 139. Нечего и говорить, что толкованіе, которое даетъ апріоризму Зигвартъ, представляетъ уже громадную уступку. Для него а priori — «не столько законы, которые разумъ предписываетъ природѣ или чувственнымъ воспріятіямъ, сколько законы, которые онъ самъ себѣ ставитъ въ изслѣдованіи и мысленной обработкѣ природы»; они апріорны «не въ смыслѣ самоочевидныхъ истинъ, а въ смыслѣ предпосылокъ, безъ которыхъ мы не могли бы разсчитывать ни на какой успѣхъ»; мы должны въ нихъ «вѣрить», это — постулаты, это — основы *идеала* научнаго изслѣдованія. (Logik, Freiburg 1893, II, s. 22).

фіи, ученіе же о „вещахъ въ себѣ“ — чѣмъ то совершенно чуждымъ всему ея духу. Подобно г. Бердяеву, онъ преисподненъ глубочайшимъ презрѣніемъ къ „вышей степени поверхностному, бессмысленному, дѣтскому“ реализму, который, къ сожалѣнію, раздѣляется не только „подлою чернью“, но и многими изслѣдователями; онъ хочетъ разоблачить „полное ничтожество“ этого реализма для вящаго торжества „идеалистическаго міросозерцанія“. Подобно г. Бердяеву, онъ заставляетъ сознание „создавать“ міръ, ибо „совершенно превратно мнѣніе, будто человекъ обитаетъ въ мірѣ, полномъ свѣта, красокъ, звуковъ и тепла: скорѣе этотъ міръ живетъ въ немъ, въ его сознаніи“ *)... Подобно г. Бердяеву... или нѣтъ, г. Бердяевъ подобно ему считаетъ это сознание „метафизическимъ мѣстонахожденіемъ (sic!) доступной воспріятіямъ природы“ **). вмѣстѣ съ г. Бердяевымъ онъ твердо знаетъ, что нѣтъ „ни малѣйшаго сходства“ между нашими представленіями о мірѣ и его „оригиналомъ“. Но въ то же время, если мы обладаемъ не „оригиналомъ“, а лишь „копійей“ міра, то мы необходимо должны считать самое существованіе „оригинала“ не подлежащимъ сомнѣнію. „Что вообще долженъ существовать такой объективно-реальный факторъ, это—убѣжденіе, принимаемое а priori, вытекающее изъ организациі нашего разсудка, изъ категорій причинности и субстанціи“ ***). Этотъ, несомнѣнный а priori объективно-реальный факторъ онъ обозначаетъ черезъ У, какъ величину неизвѣстную. Съ другой стороны, есть еще одна такая же „сама по себѣ совершенно неизвѣстная величина“, —Х—, „которая мнѣ самому и другимъ одинаково со мною организованнымъ существамъ является какъ мое *тѣло*“. Изъ отношенія или взаимодействія между этими Х и У и возникаетъ наше познаніе ****). Спрашивается теперь, чѣмъ эти Х и У отличаются отъ кантовскихъ „вещей въ себѣ“? Да тѣмъ, что „вещи въ себѣ“ по Канту принципиально не допускаютъ никакихъ опредѣленій, къ нимъ неприменимы ни причинность, ни время, ни пространство — ихъ бытіе не имѣетъ ничего, ровно ничего общаго съ эмпирическимъ бытіемъ. Поэтому у Канта являлось противорѣчивымъ доказательство дѣйствительности вещей въ себѣ, какъ послѣдней причины „міра явленій“. Чтобы избѣжать этого противорѣчія, Либманъ замѣняетъ „вещи въ себѣ“ своими Х и У, отрицаетъ ихъ полную непознаваемость, и... называетъ отношеніе между ними „трансцендентнымъ факторомъ“ нашего „созерцанія“; а по его собственному опредѣленію, трансцендентное —

*) Otto Liebmann, «Ueber den objectiven Anblick», Eine kritische Abhandlung, Stuttgart, 1869, s. 140.

**) Ibid., 145.

***) Ibid., 152.

****) Ibid., 137 и 153.

это то, „о чемъ мы ничего не можемъ знать и ничего не можемъ понимать“ *).

Гораздо менѣе правовѣрнымъ апіористомъ является Ланге. По его мнѣнію, а priori, вносимое въ процессъ познанія самимъ субъектомъ, признать необходимо; иное рѣшеніе противорѣчило бы всякой аналогіи изъ области естествознанія. Въ природѣ для произведенія какого либо явленія должны быть на лицо всегда два фактора, и оба должны играть непремѣнно извѣстную опредѣляющую роль. Поэтому мы и должны признать, что „не всѣ свойства вещей приходятъ извнѣ“, а и субъектъ привноситъ нѣчто, именно—апіорныя формы. Эта аргументація, напоминающая Либмана, вообще нерѣдко пускается въ ходъ, какъ послѣдній и сильнѣйшій козырь апіористовъ. Но до какой же степени слаба эта аргументація! Превосходно, поищемъ „аналогіи“ въ области внѣшней природы, въ области естествознанія. Для того, чтобы получилась вода, напримѣръ, дѣйствительно нужно нѣсколько „образующихъ факторовъ“—эти факторы или элементы будутъ кислородъ, водородъ etc., взятые въ извѣстной пропорціи. Конечно, если бы ктонибудь вздумалъ утверждать, что водородъ ничего не „привнесъ“ со своей стороны, а что только „кислородъ“ сообщилъ водѣ всѣ ея качества, то это было бы изумительной нелѣпостью. Но если бы ктонибудь взялся опредѣлить, какія именно качества или стороны воды „даны“ кислородомъ и какія—водородомъ, развѣ это не было бы такою же изумительной нелѣпостью? Что бы вы сказали, если бы ктонибудь „съ ученымъ видомъ знатока“ началъ утверждать, что кислородъ привнесъ съ собою „форму“ воды, а водородъ—ея жидкую матеріальную консистенцію, ея „содержаніе“? А вѣдь этого-то и хотятъ апіористы въ области теоріи познанія. Всякій позитивистъ и всякій эмпириокритицистъ, какъ мы видѣли, признаетъ познаніе актомъ, обусловленнымъ соотносительностью субъекта и объекта, познающаго индивида и противостоящей ему среды. Онъ будетъ протестовать только противъ попытки опредѣлить долю познающаго индивида и долю познаваемой среды въ актахъ и результатахъ познанія, обусловленного отношеніемъ двухъ этихъ „факторовъ“. Совершенно также, какъ онъ станетъ отрицать возможность рѣшенія слѣдующей задачи: если $5 \times 6 = 30$, то какая часть, сколько именно единицъ изъ этого произведенія 30 обязано своимъ существованіемъ тому, что 6 было множимымъ, и какая тому, что 5 было множителемъ? Кромѣ того, для позитивиста и эмпириокритициста вообще совершенно не требуется никакихъ „влагающихъ“, „производящихъ“, „созидающихъ“ и т. п. „факторовъ“. Поэтому ему и не приходится залѣзть въ область сверхъопытнаго, трансцендентнаго. Для него вопросъ рѣшенъ, если всякое

*) Ibid., s. 129.

„обусловленное“ разложено на совокупность его „условій“. Данъ не трансцендентный, а эмпирический, чувственный, „познающій индивидъ“, дана столь же реальная „окружающая среда“ съ ея вполне конкретными составными частями. Вотъ—условія; обусловленнымъ будетъ то или иное „высказываніе“ индивида (выражаясь терминами Авенариуса) или то или другое впечатлѣніе, воспріятіе, познаніе, облеченное въ форму вполне опредѣленнаго сужденія. Познающій индивидъ при этомъ не только не игнорируется, но наоборотъ: всякому его „высказыванію“ приискивается опредѣленное соответствующее молекулярное движеніе частицъ его центральной нервной системы и они разсматриваются, какъ величины функціонально связанныя.

Впрочемъ, Ланге самъ въ концѣ концовъ тяготеетъ въ этомъ пунктѣ къ позитивизму. Хотя онъ и держится еще за опредѣленные данныя сознанія, какъ ~~са~~ априорныя, за то въ обоснованіи априорнаго онъ, со свойственной ему въ подобныхъ вопросахъ нерѣшительностью и колебаніями, высказывается напр., такъ: „*то въ насъ*—понимать ли это фізіологически или психологически,—*въ силу чего* колебанія струны для насъ становятся звукомъ, есть а priori въ процессѣ опыта“. Ни одинъ эмпиристъ не будетъ спорить, что данная индивидуализированная единица съ ея біологическимъ строеніемъ, есть нѣчто первичное, данное а priori, до всякаго конкретнаго опыта, какъ его предварительное условіе. Но изъ этихъ же словъ Ланге видно, что „порожденіемъ“ этой „психофизической организаціи“ является вовсе не „формы“ познанія: все познаніе, включающее форму и содержаніе, отличаема лишь въ абстракціи, обусловлено не только наличными составными частями среды, но и свойствами познающаго индивида.

И здѣсь, какъ во многихъ другихъ вопросахъ, Ланге стоитъ на распутьи многихъ дорогъ. Выводить познаніе изъ взаимодействія субъекта и объекта, какъ вещей въ себѣ, онъ не хочетъ, не считаетъ возможнымъ, ибо къ вещамъ въ себѣ неприменима категорія причинности. Видѣть послѣднюю причину синтеза а priori въ „организаціи нашего духа“, подобно Отто Либману, онъ отказывается: „организація духа“ это опять сверхъопытное, метафизическое понятіе. Онъ хватается за понятіе „физико-психической организаціи“, но тутъ его страшитъ призракъ матеріалистическаго грѣхопаденія. Какъ! Синтезъ а priori объяснять чуть-чуть не фізіологіей? И вновь онъ возвращается къ тому же послѣднему убѣжищу, къ какому вернулся и Отто Либманъ. Какъ тотъ, выгнавъ „вещи въ себѣ“ въ дверь, потомъ отворилъ имъ окно, такъ и Ланге отворяетъ, если ужъ не окно, то форточку. Онъ напоминаетъ, что никакого матеріализма не будетъ, если мы физико-психическую организацію будемъ считать лишь представителемъ проявляющейся въ ней „вещи въ себѣ“...

Еще болѣе короткимъ путемъ заѣзжаетъ въ область трансцен-

дентнаго г. Бердяевъ. Мы еще недавно видѣли, какъ рѣшительно и настойчиво устранялъ онъ подъ разными предлогами разсмотрѣніе вопроса объ историческомъ генезисѣ „формъ познанія“, „апріорнаго въ познаніи“. Нашу настойчивость въ обращеніи къ этому вопросу онъ безжалостно громилъ, какъ грубѣйшее непониманіе „своеобразнаго характера критико-гносеологической проблемы“, какъ смѣшеніе „метода критическаго съ генетическимъ“. А, между тѣмъ, вотъ что мы неожиданно читаемъ у него сотней страницъ далѣе: „То проникновеніе всеобщихъ логическихъ, этическихъ и эстетическихъ нормъ въ жизнь человѣчества, которымъ сопровождается социальный процессъ, есть, можетъ быть, торжество единого мірового „Я“ въ „я“ индивидуальномъ“ *). А, такъ вотъ оно что! Теперь-то мы, наконецъ, кажется, начинаемъ понимать „своеобразность трансцендентально-критической проблемы“ въ постановкѣ г. Бердяева. Она состоитъ въ томъ, чтобы сначала подъ разными формальными, внѣшними предлогами освободить себя отъ изслѣдованія *реальнаго, естественнаго* генезиса дорогихъ его сердцу „апріорностей“, а затѣмъ *взаймѣнъ* такого изслѣдованія контрабанднымъ путемъ провести идейку объ ихъ супра-натуральномъ—хотя бы совершенно проблематическомъ—происхожденіи...

Впрочемъ, проблематическое „можетъ быть“ у г. Бердяева скоро исчезло. Лиха бѣда начать, а ужъ потомъ расхрабриться не трудно. И въ недавней своей статьѣ „Борьба за идеализмъ“ г. Бердяевъ уже въ гораздо болѣе рѣшительной формѣ провозглашаетъ „этический пантеизмъ“—философіей будущаго. Такъ „трансцендентальный марксизмъ“—это новое дѣтище г. Бердяева—на нашихъ глазахъ превратился въ „марксизмъ пантеистическій“. Въ добрый часъ! Нужно же пройти „всѣ стадіи развитія“...

Какъ разъ передъ тѣмъ мѣстомъ, въ концѣ котораго г. Бердяевъ поражаетъ насъ грандіозной картиной торжества „Я“ съ заглавной буквы въ смиренномъ маленькомъ „я“ съ обыкновенной строчной буквы—онъ вновь даритъ милостыней своего вниманія насъ, недорослихъ до пониманія столь выспренныхъ идей эмпириковъ, позитивистовъ и т. п., которые въ Аполлона Бель-

*) Н. Бердяевъ, стр. 135. Это очень характерно. Г. Бердяевъ то и дѣло попадаетъ въ пѣнь къ собственному краснорѣчію и увлекается имъ по разному, часто совершенно противоположнымъ направленіямъ. Послѣ тирады о «единомъ мировомъ я» ему ничего не стоитъ сказать: «Для того, чтобы покончить съ противорѣчіями кантіанства, необходимо прежде всего устранить дуализмъ эмпирическаго и умопостигаемаго міра». И устраняетъ, объявивъ, что «внѣ эмпирическаго міра явленій... вообще ничего нѣтъ» (Н. Бердяевъ, стр. 82). Десница строить, шуйца разрушаетъ или наоборотъ,—несоединимое соединяется, на зло всякой логикѣ,—и подъ соусомъ громкихъ словъ и фразъ все это преподносится публикѣ... Въ этомъ отношеніи книга г. Бердяева представляетъ едва ли не *unicum*.

ведерскаго и прочихъ его сородичей не вѣрять, а въ печной горшокъ вѣрять. „Пусть это не слишкомъ пугаетъ слабонервныхъ позитивистовъ, падающихъ въ обморокъ отъ малѣйшаго намека на телеологическій принципъ“, иронизируетъ онъ свысока... *).

Г. Бердяевъ напрасно беспокоится. Та глубокая философская идея о совершенно особомъ „я“—„я“ сознающемъ, мыслящемъ, страдающемъ, торжествующемъ и въ тоже время *безмозглымъ* въ буквальномъ смыслѣ этого слова—слишкомъ старая, слишкомъ покрытая плесенью вѣковъ, слишкомъ засиженная идея, чтобы „падать въ обморокъ“ при всякомъ новомъ, исправленномъ и дополненномъ ея изданіи. И, какъ все ненаучное, болѣе или менѣе грубо-антропоморфическое, она раздѣляется такимъ громаднымъ количествомъ людей, что однимъ меньше—однимъ больше... да развѣ же это что нибудь составляетъ, г. Бердяевъ? Развѣ ужъ это такое великое событіе, чтобы изъ-за него стоило позитивистамъ—хотя бы даже самымъ слабонервнымъ—падать въ обморокъ? Нѣкій г. Бердяевъ, въ добавленіе къ тьмѣ тьмъ и тысячамъ тысячъ другихъ русскихъ Любомудровъ на—евъ,—овъ и—ичъ, провозгласилъ, что съискалъ „начало всѣхъ началъ“. Вѣдь только же всего и было, право, не болѣе!

Пусть г. Бердяевъ свободно и безбоязненно продолжаетъ идти впередъ по тому же пути, на который онъ вступилъ. Пусть онъ развивается дальше въ томъ же самомъ направленіи. Позитивисты могутъ только этому радоваться. Пусть карты будутъ раскрыты. Пусть каждый договорится до своего послѣдняго слова. Пусть не останется болѣе мѣста ни для какого смѣшенія понятій: мы—здѣсь, вы—тамъ, съ одной стороны—позитивное знаніе, съ другой—откровенная метафизика. Къ чему это заигрываніе съ позитивнымъ научнымъ духомъ, къ чему эта неопредѣленность и туманность выраженій! „Спой свѣтикъ, не стыдись“: пора назвать вещи ихъ собственными именами. „Но есть одна идея, въ которую упирается идеалистическій взглядъ на міръ и жизнь—это идея нравственнаго міропорядка. Если наука переходитъ въ философію, то философія переходитъ въ религію. Безъ религіозной вѣры въ нравственный міропорядокъ, въ кровную связь индивидуальнаго съ всеобщимъ и неумирающее значеніе всякаго нравственнаго усилія—жить не стоитъ“... „Въ тотъ моментъ, когда вы устанавливаете самостоятельное качество добра въ вашей душѣ, признаете его абсолютную цѣнность и служите ему, вы совершаете величайшій актъ вашей жизни, истинное богослуженіе, служеніе Богу правды“... Все это недурно, но и здѣсь то и дѣло чувствуется нѣкоторая неуловимость и расплывчатость формулировки, все это обильно разведено мутной водой, въ которой по желанію можно выловить любую рыбу...

*) Н. Бердяевъ, стр. 135.

Передо мной лежит характерная книжечка: „Стихотворенія NN“. Скромный авторъ, скрывшійся подъ этия буквы, — такая же философская и такая же поэтическая натура, какъ и г. Бердяевъ. Я даже могъ бы заподозрить въ г. NN. того же г. Бердяева, если бы перваго не отличала выгодно отъ втораго большая опредѣленность выражений. То, что у г. Бердяева дано въ неясной, зародышевой формѣ, то у г. NN. распустилось пышнымъ цвѣтомъ. Г. Бердяевъ говоритъ о „проникновеніи въ жизнь человѣчества логическихъ, этическихъ и эстетическихъ нормъ“ и о параллельномъ ему „соціальномъ прогрессѣ“, какъ внѣшнихъ формахъ, подъ которыми можетъ крыться „торжество единого мірового Я въ я индивидуальномъ“. Г. NN. превосходно и прочувствованно, съ необычайной яркостью и выпуклостью развиваетъ ту же идею, но въ гораздо болѣе конкретной формѣ. Г. Бердяевъ можетъ поучиться у него звучности и выпуклости формулировки.

Браздой предвѣчнаго закона
Космогоническихъ началъ
Повелѣваетъ сверху трона
Трипостасный идеалъ.
Его бытѣе—есть благо свѣта,
А благо свѣта есть прогрессъ,
Рожденный таинствомъ завѣта,
Вѣнчанный волею небесъ!

Вотъ онъ, настоящій языкъ „религіозной вѣры въ нравственный міропорядокъ“, до котораго далеко г. Бердяеву съ его пышной, порою красивой, но всегда лишенной яснаго содержанія декламацией. Въ томъ-то и дѣло, что у г. Бердяева есть только двусмысленное заигрыванье съ настоящей „вѣрой въ нравственный міропорядокъ“ и потому его краснорѣчивѣйшіе пассажи въ большинствѣ случаевъ остаются лишь „мѣдью звенящею и кимваломъ бряцающимъ“... Какъ писалъ нашъ старинный сатирикъ—„такъ громко, высоко... а нѣтъ, не веселить, и сердца, такъ сказать, ничуть не шевелить“...

И въ презрѣніи къ позитивистамъ, эмпирикамъ, эволюціонистамъ и т. п. г. Бердяеву всетаки еще далеко до г. NN. Видно, что г. Бердяеву приходится всячески искусственно взвинчивать себя рѣзкими выходками и словечками противъ нихъ: „трусость мысли“, „безпринципность“, „чудовищные по своей нелѣпости выводы“, „интеллектуальное самоубійство“... Какъ ни старается онъ показать, что относится къ эмпирикамъ пренебрежительно и свысока, но ясно видно, что на дѣлѣ-то они ужасно обезпечиваютъ нашего автора... Но онъ долженъ бы позаимствоваться у г. NN той простой, ясной и величавой непосредственности, которою проникнуто презрѣніе этого послѣдняго философа-поэта ко всякимъ эволюціонистамъ и позитивистамъ.

Они-ль поймутъ Фиччино иль Бруно
Иль трубный гласъ пророка Сведенборга,
Которому мистически дано
Такъ много чувствъ священнаго восторга!..

Правда, отсюда видно, что мистицизмъ г. NN уже привелъ его къ спиритизму, а г. Бердяевъ пока еще говоритъ только на спиритуалистическій, а не спиритическій ладъ. Но вѣдь г. Бердяевъ все еще стоитъ на распутьи, и куда въ концѣ концовъ онъ придетъ вмѣстѣ со своимъ соратникомъ г. Струве—одному Аллаху извѣстно! Вѣдь имъ уже и теперь „мистически дано такъ много чувствъ священнаго восторга!“

Упрашивая „позитивистовъ“, извѣстныхъ ему своей „слабонервностью“, не падать въ обморокъ отъ тѣхъ ересей, которыя онъ сейчасъ наговоритъ—г. Бердяевъ дѣлаетъ еще одинъ забавнѣйшій промахъ. Ему все кажется, что своимъ „этическимъ пантеизмомъ“ онъ кого-то поразитъ и изумитъ. А если бы г. Бердяевъ читалъ книжку о Кантѣ одного изъ этихъ столь презираемыхъ имъ позитивистовъ, а именно Эрнста Лааса, то онъ узналъ бы, что Лаасъ даже *предсказалъ* пантеистическое грѣхопаденіе, какъ самый естественный выходъ изъ трудной задачи—поставить Кантовскія „всеобщія нормы“, Кантовское а priori на твердый неизблемый фундаментъ. И предсказалъ онъ это ни больше, ни меньше, какъ уже четверть вѣка тому назадъ. А г. Бердяевъ все еще думаетъ, что кого-то „благоудивить“ своимъ „пантеистическимъ“ оборотомъ...

Съ точки зрѣнія интересовъ апріоризма, говоритъ Лаасъ, было бы всего болѣе соответствующимъ цѣли, всего болѣе удовлетворительнымъ приписать всеобщія формы познанія не просто „намъ самимъ“, не „мыслящему субъекту“, который долженъ самъ „влагать“ ихъ въ опытъ,—а *метафизической первоосновѣ явленій вообще*... Это значило бы, дѣйствительно, „поднять кантовское а priori на степень абсолютной необходимости“ *). Въ этомъ случаѣ „первоисточники нашего мышленія“ получили бы свое обоснованіе въ единствѣ природы, Universum'a, которому мы принадлежимъ, какъ его члены **). Это была бы „гипотеза“ (Лаасъ предусмотрѣлъ даже Бердяевское „можетъ быть“!), которая бы „модифицировала кантовское трансцендентальное единство апперцепціи въ пантеистическомъ смыслѣ, которая разсматривала бы апріорныя формы... не въ качествѣ строенія нашего (понимаемаго индивидуально или антропологически) ума, но въ качествѣ ведущихъ свое происхожденіе изъ „первоосновы“ ірового цѣлаго ***). Но именно такъ и поступаетъ г. Бердяевъ. Начавъ

*) E. Laas, Kants Analogien der Erfahrung, s. 220—221.

**) Ibid., s. 314.

***) Ibid., s. 343.

съ того, что въ явномъ противорѣчїи съ Кантомъ онъ утверждалъ, будто „Кантовскій вопросъ“ касается не происхожденія, а только цѣнности апріорныхъ и апостеріорныхъ познаній, Бердяевъ кончилъ тѣмъ, что собственной персоной доказалъ вѣрность обратнаго: самъ постарался обосновать высшую цѣнность апріорнаго болѣе благороднымъ „свидѣтельствомъ о рожденіи“ апріорнаго... отъ „мірового Я“. Послѣ этого подвига г. Бердяеву, конечно, оставалось только заявить, что у эмпириковъ и позитивистовъ, не имѣющихъ особой метафизической основы для того, чтобы подпереть ею храмъ логики, послѣдній остается въ самомъ жалкомъ, ненадежномъ и шаткомъ положеніи „Общеобязательныя формы мышленія висятъ у г. Михайловскаго въ воздухѣ“ *).

Но это еще не все. Предсказаніе Лааса идетъ еще дальше. Логически развивая эту примѣрную „пантеистическую гипотезу“, онъ говоритъ, что она должна была бы еще болѣе рѣзко и рѣшительно утвердить необходимость апріорнаго; она должна была бы отбросить кантовское признаніе возможности другихъ родовъ познанія и мышленія, чѣмъ человѣческіе, и такимъ образомъ „въ этомъ отношеніи обезпечила бы дѣйствительно окончательный опорный пунктъ потребности метафизическаго характера“ **). А мы уже видѣли, какъ смѣло провозглашаетъ г. Бердяевъ, что „трансцендентальное сознаніе не измѣнится ни на одну іоту“ даже въ томъ случаѣ, „если погибнетъ человѣчество, наша солнечная система, если народятся новые міры, безконечно отличные отъ нашего“; что элементы этого диковиннаго апріорнаго „одинаково вѣчны какъ въ прошломъ, такъ и въ будущемъ; они обязательны для всякаго сознанія въ мірѣ, гдѣ бы и когда бы (sic!) это сознаніе ни являлось“ ***). Словомъ г. Бердяевъ послушно выполнилъ все, что четверть вѣка назадъ продиктовалъ метафизикамъ въ видѣ цѣлой программы одинъ „слабонервный позитивистъ“. Онъ иронизировалъ, г. Бердяевъ, а вы приняли въ серьезъ, послушались, да еще ожидаете, что мы, эмпирики и позитивисты, отъ этого въ обморокъ упадемъ!..

Впрочемъ, виноватъ. Не все сдѣлалъ г. Бердяевъ по программѣ, продиктованной Лаасомъ. Г. Бердяевъ забылъ одно: забвѣлъ вытравить изъ своей работы слѣды другого, не спинозистско-пантеистическаго, а чисто-Кантовскаго взгляда. „Трансцендентальные познавательные элементы—читаемъ мы на стр. 22 книги Бердяева—существуютъ только для опыта и безъ него лишены всякаго смысла, они не имѣютъ никакой другой примѣнимости, кромѣ міра, являющагося намъ въ опытѣ“ (курсивъ нашъ). Вѣдь что нибудь одно, г. Бердяевъ: или трансцендентальные элементы

*) Н. Бердяевъ, стр. 25.

**) Лаас., I. с.

***) Н. Бердяевъ, стр. 33—34.

полносильны только для міра, „являющагося намъ“, или „для всякаго сознанія, гдѣ бы и когда бы оно ни являлось“,—вплоть до сознанія того „мірового Я“, которому вы бьете челомъ и заглавной буквой. Или они существуютъ „только для опыта“—или и для того виѣщнаго сознанія, которымъ единственно и можетъ быть надѣлено ваше „міровое Я“: вѣдь оно—все, кромѣ него нѣтъ ничего, ему ничто не можетъ противостоять, какъ предметъ воспріятія и опыта... Какъ же плохо нужно разобраться въ трансцендентальной философіи, чтобы преспокойно соединять на страницахъ одной и той же книги два противорѣчивыхъ и несоединимыхъ отвѣта на одинъ и тотъ же вопросъ!

Насколько недостаточно разобрался онъ въ различныхъ теченіяхъ среди философовъ, продолжающихъ въ той или другой формѣ держаться апріоризма, показываетъ еще и слѣдующій примѣръ. „Мы примыкаемъ, — говоритъ г. Бердяевъ, — къ тому толкованію Канта, которое предложено Германомъ Когеномъ и Алоизомъ Рилемъ“. Но вѣдь если систему Когена и можно назвать своеобразнымъ *истолкованіемъ* Кантовской, то Риль сплошь и рядомъ развиваетъ свои идеи въ оппозиціи къ этой послѣдней. Идеалистъ чистѣйшей воды Когенъ и называющій самъ себя „критическимъ реалистомъ“ А. Риль вообще настолько различныя величины, что исповѣдывать Канта въ толкованіи Рилиа и Когена будетъ приблизительно тѣмъ же, что исповѣдовать Маркса въ толкованіи Николая-она и Туганъ-Барановскаго. Мы, конечно, здѣсь не имѣемъ ни времени, ни надобности входить по этому поводу въ какія-нибудь подробности. Для нашей цѣли достаточно отмѣтить хотя бы слѣдующія слова А. Рилиа: „логическія условія опыта... даны намъ *не такъ*, какъ училъ Кантъ, — не во многихъ разнородныхъ понятіяхъ, готовымъ уже, чисто фактическимъ строемъ нашего разсудка“... *) Если, отступая отъ Канта, Риль еще и продолжалъ въ главномъ своемъ трудѣ всетаки держаться, хотя бы значительно урѣзаннаго, апріорнаго принципа, то не надо забывать, что этотъ чрезвычайно ясный и глубокій умъ не сказалъ еще намъ своего послѣдняго слова **). Какъ бы то ни было, но то пониманіе апріорнаго, которое допускаетъ даже его обосновку въ міровомъ Я, совершенно чуждо пониманію Рилиа и съ нимъ несоединимо.

Риль находилъ, что въ Кантовской теоріи апріоризма есть

*) Риль, «Теорія науки и метафизики» etc., стр. 81. Къ сожалѣнію, у насъ нѣтъ подъ руками полнаго нѣмецкаго текста всего труда Рилиа, изъ котораго на русскій языкъ переведена только часть. Дѣло въ томъ, что трудъ этотъ довольно давно вышелъ изъ продажи, второго же изданія до сихъ поръ нѣтъ.

**) Со времени выхода въ свѣтъ этого труда взгляды Рилиа потеряли дальнѣйшую эволюцію въ сторону позитивнаго реализма, чѣмъ, кстати сказать, повидимому, и объясняется задержка въ выходѣ второго изданія.

„доля истины“, и что эта „доля истины“ заключается въ признаніи „активной стороны сознанія наряду съ пассивной“. Но вмѣсто того, чтобы, подобно Канту, ощущенія внѣшнихъ чувствъ считать лишь за пассивную „матерію“ познанія въ противоположность активному формирующему разсудку, Риль констатируетъ, что и ощущеніе не можетъ быть чисто пассивнымъ, что и въ немъ уже содержится нѣкоторый актъ сознанія. Но этимъ самымъ Риль еще болѣе подрываетъ корни у попытокъ внести двойственность въ сознаніе. Априоризмъ возникъ изъ стремленія устранить тотъ взглядъ, согласно которому субъектъ познанія являлся бы чѣмъ то вполне пассивнымъ; лишь воспринимающимъ посылаемые въ него вещами снимки или копии съ самихъ себя. Чтобы спасти инициативу, активную роль самого субъекта, Кантъ принялъ априорный характеръ разсудочныхъ формъ, потому что непосредственный внѣшній чувственный опытъ былъ для него символомъ „вліянія“ внѣшняго объекта. Современная научная философія выясняетъ, что въ основѣ этого взгляда лежитъ ошибка, вытекающая изъ заключеннаго въ немъ скрытаго антропоморфизма. По аналогіи съ человѣческимъ „дѣйствіемъ“ или „вліяніемъ“ на внѣшнюю природу человѣкъ составляетъ себѣ понятіе о „причинѣ“, какъ о чемъ то активномъ, а о „слѣдствіи“ какъ о чемъ то пассивномъ. Признавъ, что составныя части окружающей среды „вліяютъ“ на наши внѣшнія чувства, отсюда и вывели заключеніе, что чувственные ощущенія суть пассивный „продуктъ“, „результатъ“, „дѣйствіе“ этихъ „вліяній“. При этомъ упустили изъ виду незаконную антропоморфическую примѣсь къ чистому опыту, который нигдѣ въ природѣ не обнаруживаетъ никакихъ таинственныхъ принужденій, которымъ бы подвергалось всякое послѣдующее со стороны предшествующаго. Упустивъ это изъ виду, постарались спасти попорченную „активность“ познающаго субъекта, отнеся ее въ область наиболѣе высшихъ, наиболѣе отвлеченныхъ функцій и понятій „духа“, гдѣ связь съ элементарнѣйшими воспріятіями дѣлается наиболѣе тонкой, незамѣтной, отдаленной, гдѣ поэтому разорвать ее всего легче. Противопоставили другъ другу пассивное воспріиманіе и активное воздѣйствіе разсудка на воспріятое. Но какъ только обнаружилось, что въ терминахъ „причина—дѣйствіе“ заключается нѣкоторая ложная видимость, способная вводить въ заблужденіе; какъ только ихъ замѣнили гораздо болѣе простыми и строгими терминами „условія — обусловленное“, такъ тотчасъ иллюзія должна была разсѣяться. Каждое, самое элементарное проявленіе неразрывной связи человѣческаго индивида съ окружающей средой, каждая самомалѣйшая реакція этого индивида, самомалѣйшее его „высказываніе“ есть „обусловленное“, условіями котораго является не только „внѣшняя“ среда, но и „внутреннія“ свойства самого индивида: его органы чувствъ, строеніе и процессы въ его цент-

ральной нервной системѣ и т. п. Строго говоря, при этомъ ни о какой „пассивности“ и „активности“ не можетъ быть и рѣчи, или, если угодно, всё условія и все обусловленное въ научномъ смыслѣ равно активны и равно пассивны *). Алоизъ Риль все еще до нѣкоторой степени находится въ плѣну у старой, никуда негодной терминологіи. Для него все еще „акты сознанія“ ассоціированы съ понятіемъ „иниціативы“, „активности“. И вотъ, вмѣсто того, чтобы радикально устранить различіе пассивнаго ощущенія и активнаго сознанія, онъ во всякое ощущеніе влагаетъ кромѣ того еще и „актъ сознанія“, и благодаря этому дѣлаетъ и ощущеніе „активнымъ“. „Первое ощущеніе, когда либо достигнутое какимъ бы то ни было живымъ существомъ, предполагало, какъ и любое нынѣшнее ощущеніе, для возникновенія своего, кромѣ чувствительности или раздражаемости, еще (sic) дѣятельность сознанія“ **).

Такова позиція Рилья, оспаривающаго „чистый эмпиризмъ“, но и въ теоріи Канта открывающаго лишь „долю истины“. Теперь посмотрите, какъ понялъ это мѣсто у Рилья г. Бердяевъ и въ какомъ сугубо метафизическомъ видѣ преподноситъ онъ его читающей публикѣ.

„Эмпиризмъ, доведенный до крайняго логическаго вывода, приводитъ къ слѣдующей нелѣпости: если всё элементы субъекта выведены изъ опыта, изъ объекта ***), то, слѣдовательно, исторія

*) Этого не видитъ Вундтъ, который пытается поэтому истолковать априоризмъ въ смыслѣ «происхожденія духовнаго продукта путемъ проявленія первоначально данныхъ условій физической и духовной организаціи». По его мнѣнію, «отъ эмпирическаго происхожденія это происхожденіе отличается тѣмъ, что при немъ подходятъ къ внутреннимъ условіямъ образованія представленій, въ противоположность которымъ внѣшнія впечатлѣнія имѣютъ значеніе поводовъ». (Logik, 2-te Aufl., Stuttgart, 1893, I, s. 509). Но въ томъ то и дѣло, что поднимать одни изъ необходимыхъ условій до степени «причинъ», а другія разжаловать до роли «поводовъ» столь же легко для вулгарнаго мышленія, сколь трудно—для научнаго. Искру, отъ которой взорвался пороховой складъ, можно назвать по желанію или активной производящей причиной взрыва, или поводомъ для появленія взрыва той силы пороха. То и другое произвольно и основывается на антропоморфизмѣ, перенося на объективный міръ чисто субъективное различіе истинныхъ *причинъ* и *предлоговъ* введенія.

**) Риль, I. с., 62.

***) Кстати, что бы это могло обозначать: «выведены изъ опыта, изъ объекта»? Что это за подстановка? Развѣ понятія «опытъ» и «объектъ» — синонимы? Развѣ опытъ есть символъ чего то абсолютно-объективнаго, въ чемъ «субъектъ» не играетъ никакой роли? Это такъ же ошибочно, какъ и противоположное воззрѣніе, считающее опытъ чѣмъ то исключительно субъективнымъ. Со свойственной ему логичностью, г. Бердяевъ принимаетъ заразъ оба противоположныхъ взгляда; ибо здѣсь онъ строитъ уравненіе: опытъ=объекту, а въ другомъ мѣстѣ, напротивъ, у него выходитъ, что если принять опытное происхожденіе всѣхъ нашихъ категорій, то «познаніе превращается въ субъективную игру, не знающую ничего объективнаго» (стр. 22). Даже

міра знала непостижимый фактъ—актъ познанія, совершающійся безъ субъекта. Что нибудь изъ двухъ: или всякій, самый элементарный актъ познанія первый въ исторіи міра (sic) уже требуетъ нѣкоторыхъ логическихъ предпосылокъ въ познающемъ субъектѣ, или этотъ первичный актъ познанія былъ результатомъ одного объекта безъ всякаго субъекта, выводъ чудовищный по своей логической нелѣпости. Отрицать гносеологическій априоризмъ можно только замалчиваніемъ великой проблемы“ *).

Hic Rhodus, hic salta! „Вотъ загадка моя—мудрый Эдипъ, разрѣши!“

Данъ х, „первый въ исторіи міра актъ познанія“. Спрашивается: нужны ли были для него „нѣкоторыя логическія предпосылки въ познающемъ субъектѣ“. Новый Эдипъ,—онъ же, впрочемъ, и сфинксъ, задающій загадку—согласенъ признать состоятельной только ту философскую систему, которая дастъ удовлетворительный отвѣтъ на этотъ вопросъ. Эмпирики дають неудовлетворительный отвѣтъ. Для того, чтобы произошелъ первый актъ познанія—требуется познающій субъектъ. Но онъ не былъ бы „познающимъ субъектомъ“, если бы въ немъ до этого не было бы ничего „познавательнаго“. Итакъ, даже для *перваго* познавательнаго акта уже требуется существованіе *предпосылки* или *предпосылокъ* познавательнаго характера—вотъ единственный отвѣтъ, который для г. Бердяева можетъ быть правильнымъ. Онъ не замѣчаетъ, что эмпирикъ можетъ со своей стороны поставить ему коварный вопросъ: но если мы примемъ для *перваго* акта познанія необходимость какой либо *логической предпосылки*, то не значить ли это, что нашъ *первый* актъ не будетъ *первымъ*?

Вдохновившись примѣромъ г. Бердяева, мы также становимся въ позу сфинкса и ставимъ на очередь не менѣе глубокомысленный вопросъ. Данъ х, „первый въ исторіи міра человекъ“. Спрашивается: могъ ли онъ произойти, если ему не предшествовало,

г. Струве считаетъ по этому поводу нужнымъ необычайно скромно, мелкимъ прифтомъ въ примѣчаніи замѣтить; «Мнѣ кажется только, что самъ г. Бердяевъ не уяснилъ себѣ, что монастическая теорія познанія, *которой онъ, повидимому* (sic), придерживается, несовмѣстима съ обычнымъ признаніемъ субъективности чувственныхъ качествъ» (стр. XVI). Эта путаница совершенно непростительна для г. Бердяева, который «примыкаетъ къ Рилью», тогда какъ Риль очень ясно говоритъ; «я долженъ прямо отвергнуть допущеніе всякой первоначально чистой субъективности ощущеній: мнѣ кажется, она чуть ли не вполнѣ противорѣчитъ настоящему положенію вещей. ...Сознать какое бы то ни было содержаніе чисто-субъективнымъ можно, только противопоставивъ ему что-нибудь объективное. Развѣ первоначальное состояніе чувствсннаго сознанія должно въ самомъ дѣлѣ обладать такимъ сравнительно утонченнымъ различіемъ, а не характеризоваться, напротивъ, недостаткомъ способности различить въ ощущеніи *объективную сторону* отъ *субъективной*, и наоборотъ?» (Теорія науки etc., стр. 64).

*) Н. Бердяевъ, стр. 24.

въ качествѣ необходимой предпосылки, чего либо „человѣчнаго“? Эволюціонисты и дарвинисты даютъ неудовлетворительный отвѣтъ на этотъ вопросъ. Они выводятъ человѣка изъ животнаго міра, чуть ли не отъ обезьяны. Не ясно ли, однако, что „первый человѣкъ“ долженъ былъ имѣть родителей, отъ которыхъ онъ и унаслѣдовалъ свою „человѣчность“? Не ясно ли, что мысль о животномъ происхожденіи человѣка—„выводъ чудовищный по своей логической нелѣпости“? Не ясно ли, что эволюціонизмъ спасается „только замалчиваніемъ великой проблемы“? Но тутъ ко мнѣ подходитъ коварный эволюціонистъ и, чтобы запутать меня въ моихъ собственныхъ сѣтяхъ, говоритъ: „но вѣдь вы хотѣли знать о происхожденіи *перваго* человѣка, а разъ вы его производите отъ человѣческихъ родителей, то не ясно ли, что вы допустили перекладку и говорите уже не о первомъ, а, по крайней мѣрѣ, о *третьемъ*?“

Тотъ поистинѣ *тупой* переулокъ, въ который заводитъ насъ постановка вопросовъ à la Бердяевъ, какъ нельзя болѣе характеренъ для всѣхъ *метафизическихъ* проблемъ. Тотъ самый Кантъ—дѣйствительно великій мыслитель, не смотря на то, что и онъ не могъ выпрыгнуть изъ условій своего времени и вполне освободиться отъ разныхъ метафизическихъ „предпосылокъ“—прекрасно показалъ въ своихъ „антиноміяхъ“, до какой степени невозможны отвѣты на всѣ вопросы, имѣющіе въ виду „начало всѣхъ началъ“; онъ показалъ, что самыя различныя и прямо противоположныя отвѣты одинаково внутренне противорѣчивы. Но что до этого г. Н. Бердяеву! Онъ забылъ, что вопросъ о „первомъ въ исторіи міра актѣ познанія“ равносильнъ вопросу о „первомъ человѣкѣ“, каковой извѣстенъ только для міеологій, а не для науки. Онъ, того и гляди, потребуеетъ отъ философскихъ системъ отвѣта на вопросъ „что было, когда ничего не было?“ и въ пышныхъ декламаціяхъ будетъ и здѣсь изливать свое негодованіе противъ „замалчиванія великой проблемы“ нами, пошлыми эмпириками, позитивистами и тому подобными „истами“.

Въ своей статьѣ „Борьба за идеализмъ“ г. Бердяевъ преподноситъ намъ еще разъ, въ новомъ видѣ, тотъ же самый вопросъ метафизической онтологіи. „Въ настоящее время,—говоритъ онъ,—нельзя не быть эволюціонистомъ. (Мнѣ кажется, что я слышу тотъ вздохъ, который долженъ былъ испустить г. Бердяевъ, написавъ эти слова. В. Ч.). Но для того, чтобы теорія развитія приобрѣла философскій смыслъ и значеніе, она нуждается въ переработкѣ. Научно философская теорія развитія должна прежде всего понимать то, чего не понимаютъ многіе эволюціонисты: уже Демокритъ зналъ, что nihil ex nihilo, жизнь не можетъ развиваться изъ отсутствія жизни, психическое изъ отсутствія психическаго, нравственность изъ отсутствія нравственности, познаніе изъ от-

сутствія познанія, красота изъ отсутствія красоты. Должно быть *то, что развивается*“ *).

Г. Бердяевъ еще милостивъ съ эволюціонистами. Онъ могъ бы по тому же дедуктивно-бердяевскому методу продолжить до безконечности свой рядъ примѣненій идеи—*ex nihilo nihil*. Гражданственность не могла развиться изъ отсутствія гражданственности, законность—изъ отсутствія законности, грамотность—изъ отсутствія грамотности, государственность—изъ отсутствія государственности, культурность—изъ отсутствія культурности, и т. д., и т. д., ибо вѣдь „должно быть то, что развивается“! А мы то этого и не подозревали. Намъ казалось, что нравственность, познаніе, гражданственность, жизнь и т. п. суть лишь обозначенія для различныхъ проявленій мировой эволюціи въ ея различныхъ, рѣзко выраженныхъ стадіяхъ; что всѣ эти обозначенія и разграниченія условны; что между явленіями, обозначаемыми, напр., словомъ „живое“ и словомъ „безжизненное“, есть цѣлый рядъ неумовимыхъ переходныхъ ступеней, отъ которыхъ мы мысленно отвлекаемся, чтобы противопоставлять двѣ группы явленій другъ другу; что также точно условно дѣленіе странъ на культурныя и некультурныя, лицъ на нравственныхъ и нравственно-безсознательныхъ и т. п. Мы полагали, что самая суть теоріи эволюціи и состоитъ въ выясненіи того пути и той законмѣрности, по которымъ шло возникновеніе и развитіе жизни, сознанія, нравственности, культурности и т. п. Оказывается, что мы грубо заблуждались. Оказывается, что въ этомъ видѣ теоріи эволюціи „не имѣетъ философскаго смысла“. Г. Бердяевъ поэтому предпринимаетъ „переработку“ эволюціоннаго ученія. Отнынѣ оно будетъ основываться на признаніи того положенія, что въ эволюціи гражданственности, нравственности, грамотности, познанія etc. не можетъ быть и рѣчи о *возникновеніи* всѣхъ этихъ прекрасныхъ вещей. Своимъ апріорнымъ методомъ г. Бердяевъ добылъ чрезвычайно важное положеніе: „должно быть *то, что развивается*“, — иначе никакое развитіе невозможно... Для того, чтобы происходило духовное развитіе, изначала долженъ быть на лицо духъ, для нравственной эволюціи человечества—необходимо вѣчное бытіе особаго нравственнаго начала... для развитія грамотности также, вѣроятно, требуется извѣчное и безсознательное бытіе въ человѣкѣ особой „грамотной субстанціи“. Или, можетъ быть, требуется какое нибудь, „спеціальное твореніе“ для того, чтобы всѣмъ сферамъ жизни дать все то же мистическое „*то, что развивается*“?

*) «Борьба за идеализмъ», «М. Б.» № 6, стр. 14. Не мѣшаетъ замѣтити, что дѣйствительно принадлежитъ Демокриту изъ всей послѣдней тирады *только* положеніе *ex nihilo nihil*; все же остальное — «самопроизвольная» прибавка г. Бердяева къ совершенно противоположному ученію матеріалиста Демокрита.

Послѣ всѣхъ этихъ скитаній по метафизическимъ дебрямъ врядь ли кто удивится, если узнаетъ, что г. Бердяевъ недо-
вѣряетъ опыту, какъ основѣ нашихъ понятій о законмѣрности
міра, всеобщемъ господствѣ причинности и т. п. Спрашивается—
почему? Отвѣтъ простъ. „Опытное происхожденіе этой познава-
тельной категоріи не давало бы никакихъ гарантій для ея все-
общности, мы не имѣли бы никакихъ ручательствъ за то, что буду-
щій опытъ не представитъ намъ безпричинныхъ явленій и во-
обще какихъ угодно сюрпризовъ“. Безъ а priori „міръ обратился
бы въ какой-то ужасный хаосъ, не знающій законмѣрности, а
познаніе—въ субъективную игру, не знающую ничего объектив-
наго“ *). Поэтому „гносеологическій скептицизмъ, фатальный ре-
зультатъ эмпиризма, отнимаетъ у своихъ сторонниковъ всякую
почву подъ ногами и приводитъ къ интеллектуальному самоубій-
ству“ **). А такъ какъ г. Бердяевъ понимаетъ, что никому не
хочется такого „самоубійства“, то онъ и предлагаетъ признать,
что „объективность познанія и строго законсообразный харак-
теръ познаваемого объекта гарантируются логическимъ а priori,
вносимымъ въ актъ познанія познающимъ субъектомъ“ ***).

Все это прекрасно, но вотъ въ чемъ вопросъ: почему „дѣя-
тельность познающего субъекта“ представляетъ намъ больше
гарантій, чѣмъ простой естественный строй природы? Что и го-
ворить, трудно освоиться съ мыслью, что та самая земля, кото-
рая намъ казалась раньше символомъ устойчивости и неподвиж-
ности, самымъ легкомысленнымъ образомъ болтается въ воздухѣ
и увивается вокругъ солнца. Становится боязно, какъ бы вмѣстѣ
съ ней намъ не бухнуть куда-нибудь внизъ, къ черту на кулички.
И гораздо больше спокойствія и увѣренности, если принять, что
земля имѣетъ превосходныя точки опоры въ трехъ китахъ. Но
вѣдь это все хорошо лишь до тѣхъ поръ, пока не поставленъ
вопросъ: а киты-то на чемъ держатся? Такъ и здѣсь. Г. Бер-
дяевъ очень предусмотрительно подпираетъ ненадежность и со-
мнительность „всеобщаго порядка природы“ — постоянствомъ
свойствъ нашего „познающего субъекта“. Но ужъ если мы въ
постоянствѣ природы сомнѣваемся, то въ постоянствѣ „познаю-
щего субъекта“ и подавно позволительно усомниться. Гдѣ и въ
чемъ его гарантій?

Г. Бердяевъ боится, что на бѣломъ свѣтѣ вещи сегодня бу-
дутъ совершаться такъ, а завтра—совсѣмъ напротивъ; показанія
опыта въ этомъ его недостаточно обезпечиваютъ, ибо опытъ го-
воритъ лишь „поскольку наблюдалось... то замѣчалось“. Опытъ
не говоритъ, что такъ непремѣнно всегда и вездѣ *должно* быть,

*) Н. Бердяевъ, стр. 22.

**) Тамъ же, стр. 24.

***) Тамъ же, стр. 35.

что иначе *и быть не может*. Иное дѣло, если мы знаемъ, что есть такое особенное „трансцендентальное сознание“, которое „создаетъ міръ“. Если въ это сознание а priori заложено пониманіе всѣхъ вещей, какъ связанныхъ причинно, то тутъ ужъ дѣло крѣпко: мы можетъ быть увѣрены, что „вещи“ не взбунтуются противъ „законодательства нашего разсудка“ и не преподнесутъ намъ никакихъ сюрпризовъ: трансцендентальное сознание того не допустить. Все это прекрасно, но что убѣждаетъ насъ въ постоянствѣ самого этого трансцендентальнаго сознания? Это—фактъ, говорятъ намъ въ отвѣтъ трансценденталисты: оно таково потому, что оно таково; нѣтъ высшаго ручательства, на которомъ зиждилась бы сила и надежность его свидѣтельствъ. Въдѣ вездѣ и всегда мы доходимъ до такихъ послѣднихъ фактовъ, которые таковы просто потому, что они таковы и не сводимы ни на что другое. Конечно, что и говорить, во всякомъ случаѣ не эмпирикамъ и позитивистамъ протестовать противъ такого утвержденія. Но почему же тогда трансценденталисты не удовлетворены аналогичнымъ отвѣтомъ эмпириковъ: постоянство свойствъ вещей, постоянство ихъ проявленія при тѣхъ же самыхъ условіяхъ есть послѣдній фактъ, принимаемый нами просто потому, что такъ онъ констатируется, что весь прогрессъ нашихъ знаній состоитъ въ его постоянномъ подтвержденіи? Почему для нихъ постоянство свойствъ одного отрѣзка природы—познающаго субъекта—достовернѣе, чѣмъ постоянство всей природы, со включеніемъ и этого субъекта? Да и въ чемъ же можетъ заключаться большая гарантія постоянства свойствъ познающаго субъекта, чѣмъ въ постоянствѣ, въ правильности, въ законности всего того міропорядка, ничтожную часть котораго онъ составляетъ? *).

Метафизикъ въ извѣстной баснѣ, упавшій въ темную яму благодаря своей чрезмѣрной поглощенности вопросомъ о началѣ всѣхъ началъ, ни за что не хотѣлъ вылѣзть, схватившись за простую, прозаическую, нефилософскую *веревку*. Г. Бердяевъ тоже ни за что не хочетъ выбраться изъ того метафизическаго лабиринта, въ который забрался, взявши за путеводную нить презрѣнный опытъ. Въ самомъ дѣлѣ, что это такое? „Веревка!

*) Наши вопросы представляютъ собою, въ сущности, простую модификацію тѣхъ вопросовъ, которые задаются Канту, Когену, Либману и др. Э. Лаасомъ. См. назв. соч., стр. 631, 506 и т. д. Любопытно, что именно эта аргументація заставила Рила—до нѣкоторой степени апіориста—принять, что «необходимыхъ условій опыта вообще не слѣдуетъ искать съ одной субъективной стороны его, какъ не найдется ихъ и на одной объективной... Очевидно, что опытъ возможенъ лишь настолько и до тѣхъ поръ, пока со стороны *какъ объекта*, такъ и субъекта постоянство и единообразность существуютъ на дѣлѣ, да притомъ и мыслятся существующими». («Теорія науки» etc, стр. 93). Это—огромная уступка, которой г. Бердяевъ, по своему обыкновению, «и не примѣтилъ».

вервѣ простое!“ Опытъ говорить лишь: „такъ есть“, и только; апріорныя знанія говорятъ: „такъ должно быть, иначе быть не можетъ“. Поэтому только апріорное даетъ намъ настоящее, необходимое, вполне убѣдительное объективное знаніе; только апріорнымъ путемъ, а не чисто-эмпирическимъ получаются вѣчныя истины. И опять-таки прекрасно: пусть такъ. Но мы зададимъ г. Бердяеву старый, но вѣчно новый для многихъ трансценденталистовъ вопросъ: а какимъ путемъ вы открыли существованіе въ познающемъ субъектѣ логическихъ а priori? Такимъ ли путемъ, который представляетъ достаточныя ручательства? Такимъ ли, который даетъ вѣчныя и необходимыя истины? Или обыкновеннымъ путемъ профановъ и эмпириковъ? Очевидно, что апріорное апріорнымъ же путемъ не могло быть найдено, не могло быть выведено изъ какого-нибудь болѣе общаго апріорнаго принципа; апріорное было еще искомъ, величиной, подлежащей опредѣленію, величиной, которую нужно было отыскать. Для этого не было другихъ путей, кромѣ самаго обыкновеннаго наблюденія надъ различными элементами нашего познанія, кромѣ ихъ сравненія и методическаго размышленія надъ данными этого наблюденія, анализа, сравненія. И вотъ Ф. А. Ланге, старающійся спасти хотя бы осколки апіоризма, самъ вынужденъ былъ признать справедливость той мысли, что „методъ къ открытію а priori не можетъ быть, дѣйствительно, ничѣмъ инымъ, кромѣ метода индукціи“. Кромѣ этого мыслимъ только выводъ апіорнаго путемъ дедукціи изъ какого либо чисто-догматическимъ путемъ установленнаго положенія; но такого „выведенія изъ нѣкотораго метафизическаго принципа Кантъ потому уже не могъ имѣть въ виду, что этимъ онъ предполагалъ бы уже тотъ самый метафизическій методъ, права и границы котораго онъ хотѣлъ, однако, только еще изслѣдовать“. Вмѣстѣ съ этимъ Ланге долженъ былъ признать и возможность *зablужденій а priori*, которыя могутъ быть разоблачены и исправлены... посредствомъ опыта! Вынужденъ это признать изъ новѣйшихъ сторонниковъ апіоризма хотя бы, напр., и глава „имманентной школы“ Шуппе. „Нетрудно подчеркнуть,—говоритъ онъ,—наше сознаніе, что и эти (апіорныя) опредѣленія мы, однако же, не прибавляемъ откуда-то изъ собственнаго кармана, а по-просту находимъ путемъ размышленія надъ содержаніемъ нашего сознанія—такимъ образомъ, это также а posteriori“ *). Вы понимаете, что это означаетъ, г. Бердяевъ? Это означаетъ, что апіористы, обливъ только что презрѣніемъ обычный путь полученія истинъ такимъ ненадежнымъ путемъ, какъ индукція, опиравшаяся на наблюденіе и опытъ — сами вынуждены довѣряться индукціи въ разрѣшеніи величайшаго для

*) Wilhelm Schuppe, Grundriss der Erkenntnistheorie und Logik, Berlin, 1894, s. 36.

нихъ вопроса теоріи познанія—установленія руководящихъ, формирующихъ понятій а priori! Но если этотъ путь эмпириковъ — ненадежный, невѣрный, недостаточный путь даже для обычнаго познанія природы, то какъ же прибѣгать къ нему для выработки самой основы трансцендентальной философіи—теоріи апіоризма? Не здѣсь ли болѣе всего уместенъ тотъ суровый приговоръ (объ „интеллектуальномъ самоубійствѣ“), который по странному недоразумѣнію изрекаетъ г. Бердяевъ надъ позитивистами и эмпириками?

Да, „философія марксизма очень хромаетъ“, эти слова г. Бердяева — святая истина. Если что либо его философскими упражненіями блистательно доказано, такъ это именно хромота на обѣ ноги не только старой, ортодоксальной, но и ново-критической марксистской философіи. Въ своемъ предисловіи къ книгѣ Бердяева г. П. Струве произноситъ чрезвычайно рѣзкій приговоръ надъ сродными г. Бердяеву по духу, но значительно болѣе осторожными, сдержанными и основательными критическими попытками Вольмана. Обливая ядомъ своего презрѣнія Вольмана, г. Струве не жалѣетъ образовъ и рисуетъ даже слѣдующую картину, достойную кисти великаго мастера: „онъ (Вольманъ) въ совершенно неперевавленномъ видѣ извергаетъ“ передъ своими читателями историческаго Канта со всѣми его противорѣчіями“ *)... Этими онъ уже достаточно, казалось бы, характеризуетъ со своей точки зрѣнія книгу г. Бердяева, то и дѣло ссылающагося на Вольмана, какъ на авторитетъ, перѣдко даже на ряду съ Випдельбандомъ, Рплемъ, Зигвартомъ и др. (см. стр. 19, 27, 33, 68, 71, 73, 74 и др.), хотя съ оговоркой о нѣкоторыхъ частичныхъ разногласіяхъ (стр. 80). Неожиданно оказывается, однако, что книга Бердяева „знаменуетъ собой умственную жизнь и критическое движеніе“... что въ ней видны „душевный подъемъ, рождающій вѣру и энтузіазмъ“, „критика, которая не сверлитъ душу“, „порывъ вѣры, который не слѣпнитъ умственнаго зора“ и т. п. прекрасныя вещи. За то, съ другой стороны, и г. Бердяевъ въ статьяхъ г. Струве усматриваетъ не то, чтобы этотъ послѣдній на подобіе Вольмана „извергалъ въ совершенно неперевавленномъ видѣ“ передъ своими читателями имманентную философію вмѣстѣ съ трансцендентною метафизикой, кантіанцевъ вмѣстѣ съ неокантіанцами и некантіанцами, остатки марксизма вмѣстѣ съ зачатками пантеизма и т. п.; нѣтъ, онъ видитъ въ этихъ статьяхъ „свѣжую струю“... Что касается насъ, такъ мы не отрицаемъ, что гг. новые, „критическіе“ марксисты, всѣ эти Вольманы, Струве, Бердяевы, Бернштейны и другіе мелкіе и крупныя авторы иногда очень вѣрно подмѣчаютъ пробѣлы и слабыя стороны прежняго ортодоксальнаго марксизма. Заслуживаетъ всякаго сочувствія и

*) Предисловіе П. Струве, стр. V.

стремленіе ихъ внести элементъ идеализма въ старую догму, которая такъ долго и такъ упорно отворачивалась отъ всего „идеологическаго“. Къ сожалѣнію, идеализмъ они отождествляютъ съ метафизикой, граничащей даже съ спиритуализмомъ. И все это такъ тѣсно переплетено въ ихъ писаніяхъ, что зачастую невозможно бываетъ распутать, гдѣ же собственно начинается та „свѣжая идеалистическая струя“, которую они „пускаютъ въ марксизмъ“, и гдѣ кончается та, другая, не столь свѣжая „струя“, о которой говорилъ со свойственными ему красотой и изяществомъ выраженій П. Струве въ его приговорѣ о Вольтманнѣ...

Если г. Бердяевъ такъ плохо разбирается даже въ тѣхъ авторахъ, къ которымъ онъ „примыкаетъ“, то нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что онъ, даже при всемъ своемъ желаніи, почти никогда не умѣетъ понять тѣхъ авторовъ, съ которыми онъ несогласенъ. Бѣднягѣ Конту отъ него такъ достается, что даже г. Струве нашелъ нужнымъ сдѣлать въ своемъ предисловіи оговорку, что-де хотя и въ самомъ дѣлѣ дѣйствительная цѣнность трудовъ Конта гораздо ниже того вліянія, которое они имѣли, однако же всетаки „третировать его въ качествѣ философскаго ничтожества и смѣшно, и несправедливо“. Если г. Бердяевъ всѣхъ эмпириковъ уличаетъ въ трусости мысли, и только Миллю, въ знакъ особой милости, даетъ, по крайней мѣрѣ, хоть званіе „добросовѣстнаго“,—то г. Струве, мимоходомъ, пытается обратить его вниманіе на Лааса—„настоящаго философа, едва ли не самаго глубокаго и послѣдовательнаго изъ всѣхъ нѣмецкихъ критическихъ позитивистовъ“. Если г. Бердяевъ такъ рѣшителенъ съ западно-европейскими мыслителями, то про русскихъ—и особенно про Михайловскаго—и говорить нечего. У послѣдняго онъ находитъ „слабость и непродуманность философскихъ основъ міросозерцанія, результатъ увлеченія контовскимъ позитивизмомъ и игнорированія критической философіи“ (стр. 13). Въ трудахъ Михайловскаго, продолжаетъ онъ, „цѣликомъ сказывается безпринципность контовскаго позитивизма, на который, въ философскомъ отношеніи, опирается г. Михайловскій“ (стр. 26). „Кромѣ того, у него даетъ себя чувствовать недостатокъ философской эрудиціи и философской глубины мысли“ (стр. 18). Откуда-то г. Бердяевъ узнаетъ, что „съ критической философіей г. Михайловскій знакомъ, главнымъ образомъ, по г. Лесевичу, который самъ стоитъ далеко не на высотѣ своего философскаго призванія“ (стр. 12). Не пропускаетъ онъ случая уличить Михайловскаго въ томъ, что „у него не видно даже и знакомства съ Фейербахомъ“ (стр. 45).

Словомъ, г. Бердяевъ выступаетъ съ самыми рѣшительными претензіями, полный вѣры въ свои права на раздачу аттестатовъ философской зрѣлости всѣмъ этимъ Михайловскимъ, Лесевичамъ и т. п. Но чѣмъ съ большими претензіями выступаетъ человѣкъ, тѣмъ большія требованія мы имѣемъ право къ нему предъявить.

Что же касается г. Бердяева, то онъ, къ сожалѣнію, не удовлетворяетъ даже самому элементарному требованію—не перевертывать и не переименовывать столь строго „срѣзанных“ имъ на экзаменѣ авторовъ. Гдѣ это, спрашивается, нашелъ г. Бердяевъ у Михайловскаго „увлеченіе контовскимъ позитивизмомъ“? Еще въ 1869 г., когда философская муза г. Бердяева, надо полагать, еще пѣшкомъ подъ столъ ходила, Михайловскій высказался о позитивизмѣ очень опредѣленно, и въ такомъ смыслѣ, который далекъ отъ слѣпого „увлеченія“. Онъ относитъ первое зарожденіе нѣкоторыхъ изъ характерныхъ для позитивизма идей къ глубокой древности, со временъ Протагора; онъ указываетъ, что „разрозненные, непроведенные до конца и растворенные въ болѣе или менѣе чуждой массѣ принципы положительной философіи, проскальзывающіе тамъ и сямъ въ предшествующіе вѣка, не мѣшаютъ считать началомъ позитивизма именно XIX вѣкъ“. „Это не значитъ, разумѣется—тотчасъ же прибавляетъ онъ—что принципы положительной философіи во всѣхъ сферахъ знанія и жизни получили должное примѣненіе или что тамъ, гдѣ были попытки приложить ихъ къ дѣлу, они вездѣ были приложены должнымъ образомъ. Положительной философіи, несомнѣнно, предстоитъ еще большая и тяжелая работа. И не только въ поступательномъ движеніи впередъ должна состоять эта работа, не только въ расчисткѣ новыхъ и новыхъ закоулковъ науки и жизни, но и въ исправленіи и пополненіи многихъ важнѣйшихъ уже существующихъ выводовъ отдѣльныхъ представителей новаго строя мысли“ *). Переходя специально къ Конту, Михайловскій неоднократно указываетъ то на ту, то на другую его слабость, одна изъ которыхъ „заводитъ иногда его самого въ метафизическія глубины“, такъ что Контъ оказывается „только наполовину правъ, а на остальную половину не только не правъ, но и прямо грѣшитъ противъ положительной философіи“ **). Въ другомъ мѣстѣ онъ снова указываетъ на то, что Контъ порою „самъ становится на чисто метафизическую точку зрѣнія отвлеченной справедливости“, что въ разработкѣ вопросовъ о нравственныхъ цѣляхъ людей „сказывается слабая сторона ученія Конта, потому что само оно, собственно говоря, не имѣетъ конца“ ***). Михайловскій говоритъ даже и о томъ, что Бердяевъ съ чрезмѣрной рѣзкостью называетъ „безпринципностью“ контовскаго позитивизма. Всякая цѣлостная жизненная доктрина, говоритъ Михайловскій, „имѣетъ свой девизъ, которымъ, какъ цѣлью, суммируются практическіе мотивы; на знамени позитивизма такого девиза нѣтъ. Его принципы чисто-научные, а не философскіе“ ****). „Позитивизмъ сдѣлалъ до сихъ поръ поль-дѣла,—

*) Соч. Н. К. Михайловскаго, т. I, стр. 65.

**) Тамъ же, стр. 68.

***) Тамъ же, стр. 69.

****) Тамъ же, стр. 70.

установилъ законность человѣческой точки зрѣнія на явленія природы, а человѣческая точка зрѣнія есть здѣсь точка зрѣнія человѣка мыслящаго и ощущающаго, т. е. цѣлостнаго недѣлимаго, обладающаго всею суммою органовъ и всею суммою отправлений, собственныхъ организму человѣка. Такимъ совмѣстнымъ участіемъ всѣхъ сторонъ индивидуальности получается истина,—не абсолютная, а истина для человѣка“ *). Если Михайловскій такъ рѣшительно-критически относится къ Конту, то его учениковъ, Литре и др., онъ критикуетъ еще рѣшительнѣе, и въ ихъ соціологическихъ построеніяхъ онъ не видитъ „ничего, кромѣ общихъ мѣстъ“ **).

Это-то все и называется, на языкѣ г. Бердяева, «увлеченіемъ контовскимъ позитивизмомъ“.

Рука объ руку съ этимъ „увлеченіемъ“ въ ряду грѣховъ Н. К. Михайловскаго числится „игнорированіе критической философіи“. И опять таки это утвержденіе г. Бердяева совершенно невѣрно. Въ 1877 г., почти четверть вѣка тому назадъ Михайловскій усиленно рекомендовалъ своимъ читателямъ „то, что обычно называется теоріей познанаія“ ***), рассматривая, однако, этотъ призывъ вовсе не какъ какую-то новостъ, а наоборотъ, даже предполагая, что читатели его „конечно, знаютъ хотя въ общихъ чертахъ, къ какимъ результатамъ пришло на этотъ счетъ большинство мыслящихъ людей“, изъ которыхъ онъ особенно рекомендовалъ знакомство съ критическими системами Дюринга и Ланге. Мало того, еще въ 1871 г. онъ стоялъ на этой точкѣ зрѣнія—необходимости путемъ критической теоріи познанаія подготовить и расчистить почву настоящей наукѣ—и сурово осуждалъ одного близкаго ему по многимъ тенденціямъ мыслителя за его „полюййшую невинность относительно вопроса о методахъ познанаія, т. е. о путяхъ, которыми получаютъ нами познанаія объ окружающемъ мірѣ и о насъ самихъ“ ****).

Впрочемъ, повидимому, и самъ г. Бердяевъ замѣтилъ свою ошибку, и хотя и не выпустилъ мѣста относительно „игнорированія“ критической философіи Михайловскимъ, однако, счелъ нужнымъ пустить другую стрѣлу—относительно „знакомства Михайловскаго съ критической философіей по Лесевичу“, а кстати ужъ и позволить себѣ развязную выходку по адресу послѣдняго, какъ „не стоящаго на высотѣ своего философскаго призванія“. Я не говорю уже о томъ, что г. Лесевичъ, по крайней мѣрѣ, разъ въ десять лучше г. Бердяева знаетъ современную критическую и научную философію. Но откуда онъ взялъ, что Михайловскій зна-

*) Тамъ же, стр. 105.

**) Тамъ же, стр. 74.

***) Соч. Н. М., т. IV, стр. 460.

****) Тамъ же, т. III, стр. 37.

комился съ ней по Лесевичу? Мнѣ извѣстны два мѣста въ соч. Михайловскаго, гдѣ онъ упоминаетъ имя Лесевича мимоходомъ, кстати, беря его подъ свою защиту, по случаю полемики противъ тѣхъ или другихъ враговъ или ложныхъ друзей позитивизма *). Но нигдѣ Михайловскій, развивая свои общеполитическія воззрѣнія, не опирается на тотъ или другой трудъ, на то или другое положеніе, установленное Лесевичемъ; сколько мнѣ извѣстно, ни разу онъ не цитируетъ никого по Лесевичу и т. п. Откуда же могъ взять г. Бердяевъ то свѣдѣніе, которымъ онъ дѣлится со своими читателями? Или онъ приобрѣлъ его какими нибудь *нелитературными* путями? Тогда было бы любопытно узнать, какіе именно изъ нелитературныхъ „методовъ изслѣдованія“ употреблялъ г. Бердяевъ, каково ихъ „происхожденіе, объемъ и объективная цѣнность“. Это—требованіе, необходимо вытекающее изъ той „критической теоріи познанія“, которой г. Бердяевъ намеревается оплодотворять марксизмъ.

Столь же развязно пущенной и столь же тупой стрѣлой является и утвержденіе, будто у Михайловскаго „не видно *даже и знакомства* съ Фейербахомъ“. Мы, однако, уже въ первой статьѣ видѣли, что знакомство съ Фейербахомъ у г. Михайловскаго было, что онъ неоднократно отзывается съ симпатіей о нѣкоторыхъ взглядахъ Фейербаха, напр. о его своеобразномъ „категорическомъ императивѣ“ (въ статьѣ „Жизнь познанія“) или о его теоріи религіи (въ статьѣ о Штраусѣ). Да если бы даже этихъ упоминаній и не было! Г. Бердяевъ, повидимому, полагаетъ, будто всякій писатель долженъ непременно уснащать свои статьи цитатами изъ всѣхъ авторовъ, которыхъ онъ когда либо читалъ или перелистывалъ! Смію его завѣрить, что это бываетъ далеко не со всѣми, и ужъ менѣе всего нуждался Михайловскій въ томъ, чтобы обставлять свои статьи виѣшнимъ аппаратомъ учености.

Вполнѣ понятно, что г. Бердяевъ такъ и не понялъ смысла идеи о единствѣ практическаго и теоретическаго момента у Михайловскаго и Зиммеля. Но онъ, по крайней мѣрѣ, замѣтилъ, что Зиммель поставилъ себѣ задачу, аналогичную той, которую раньше ставилъ и Михайловскій, да и пришелъ къ аналогичному выводу о томъ, что источники нашего познанія лежатъ въ практической области. Для г. Бердяева этотъ взглядъ равносильнъ замѣнѣ логическаго критерія истины — біологическимъ, т. е. принципомъ полезности для жизни. Г. Бердяевъ необычайно легко раздѣливается съ этимъ взглядомъ. „Что, напр., скажетъ Зиммель о тѣхъ религіозныхъ представленіяхъ прошлаго человѣчества, которыя несомнѣнно были полезны для жизни общества и вызывались приспособленіемъ мысли и чувствъ къ общественной средѣ, но ко-

*) Въ статьѣ „Суздальцы и сузд. критика“ и въ Литерат. замѣткахъ 1878 г. (т. IV).

торыя противорѣчатъ научнымъ представленіямъ самого Зиммеля? Съ одной стороны, Зиммель долженъ признать ихъ истинными, съ другой—ложными.“ Г. Бердяевъ начинаетъ пробовать разные отвѣты, которые могъ бы дать Зиммель на его вопросъ. „Зиммель можетъ сказать, что онъ не вѣритъ, чтобы ложныя представленія могли быть полезными, но этого утверждать онъ не имѣетъ права, это утвержденіе предполагаетъ логическій критерій истины, возвышающійся надъ полезностью“. Съ другой стороны, можно было бы сказать, что истины абсолютной нѣтъ, есть истина относительная, истина своего времени. Но въ этомъ заключается крупное недоразумѣніе: въ существѣ дѣла, „отрѣкаясь отъ вчерашней истины, мы не говоримъ, что истина измѣнива... истина всегда абсолютна, всегда равна самой себѣ... мы только говоримъ, что мы ошибались, считая ее за истину“ *). Къ сожалѣнію, г. Бердяевъ напрасно бралъ на себя трудъ отвѣчать самъ себѣ за Зиммеля. Онъ лучше поступилъ бы, если бы прочиталъ ту статью Зиммеля, которую разбираетъ. Тамъ отвѣтъ на его вопросъ давно данъ. „Тотъ фактъ, что представленія, которыя мы впоследствии признаемъ ложными, также могутъ намъ быть полезными, т. е. побуждать къ полезнымъ актамъ, объясняется просто тѣмъ, что наши интересы въ виду сложности нашего существа являются крайне противорѣчивыми. Ошибкой считается то, что не можетъ устоять надолго и что вытѣсняется представленіями, которыя благопріятнѣе для нашихъ главнѣйшихъ и постоянныхъ интересовъ“ **). Стоя на этой точкѣ зрѣнія, можно cum grano salis признать, что истина для человѣка одна, вѣчная и абсолютная; но только придется при этомъ прибавить, что она — не эмпирически-данное, а лишь предѣльное, идеальное понятіе, т. е. полезная фикція, а не конкретная реальность.

Еще менѣе понимаетъ г. Бердяевъ мысль г. Михайловскаго, что „природа человѣка“ съ ея „требованіями“ ***)) можетъ быть критеріемъ истины, что истина есть „частный случай равновѣсія между познающимъ индивидуумъ и окружающей средой“. Онъ видитъ здѣсь „біологическую абстракцію“, а это словосочетаніе для

*) Н. Бердяевъ, стр. 31—33.

**) Зиммель, «объ отношеніи селекціоннаго ученія къ теоріи познанія». (Дарвинистическая бібліотека, СПб. 1899, вып. I, стр. 14).

***)) Онъ съ торжествомъ указываетъ Михайловскому, что «природа человѣка измѣнива», и не подозревая, что опять таки еще въ 1872 г. Михайловскій считался съ возможностью такого возраженія и заранѣе отпарировалъ его. «Вопросъ не въ томъ, измѣняется ли человѣкъ или нѣтъ... вопросъ въ томъ, дѣйствительно ли это принятіе въ расчетъ людей, какими мы ихъ знаемъ, неизбежно связано съ предположеніемъ абсолютной неизмѣнимости человѣка. Очевидно, что нѣтъ, ибо въ число нашихъ знаній о человѣкѣ входитъ и знаніе объ его измѣняемости. Ничто не мѣшаетъ намъ, принимая во вниманіе людей, каковы они въ дѣйствительности, ввести въ свои расчеты и понятіе измѣняемости, роста человѣка». (Соч., III, стр. 147).

него играет роль такого же пугала, какъ „жупель“ или „металл“ для кучихи Островскаго. Но это—отжившій метафизическій взглядъ, будто теорія познанія должна имѣть дѣло съ человѣкомъ, какъ съ чистымъ „духомъ“. Ту же біологическую абстракцію“ встрѣтитъ г. Бердяевъ и у спеціалиста-философа Авенариуса, который даже основой всей своей критики чистаго опыта „принималъ біологію, принципъ человѣческой организаціи.“ (Карстанъенъ). Для г. Бердяева „субъектъ теоріи познанія не знаетъ ни субъективныхъ прихотей, ни субъективныхъ настроеній,—формально-логическій, онъ лишенъ всякаго психологическаго содержанія“ (стр. 29). Въ противоположность этому диковинному субъекту, для Михайловскаго и Авенариуса „субъектъ“ теоріи познанія есть просто цѣлостная, реальная человѣческая личность, ощущающая, мыслящая и дѣйствующая. Въ то время, какъ по системѣ г. Бердяева эта личность искусственно разсѣкается, и берется сначала—какъ чистый кристалъ логическаго, а потомъ—какъ такой же чистый кристалъ практическаго, этическаго,—для системы Авенариуса остается въ полной силѣ *монизмъ*. Авенариусъ ставитъ въ центрѣ своей системы человѣка, какъ такового. „Именно всеобщія нормы, сообразно которымъ индивидуумы опредѣляютъ и раздѣляютъ знаніе и бытіе, познаваемое и не познаваемое, достовѣрное и сомнительное,—мало того, даже относящіяся къ нимъ самимъ нормы, сообразно которымъ ихъ отношеніе къ составнымъ частямъ окружающей среды опредѣляется то какъ познаніе, то какъ дѣйствіе—всѣ эти нормы для *всеобщей* теоріи познанія должны только еще сдѣлаться предметами изслѣдованія. И поскольку мы касаемся этой проблемы, наши изслѣдованія приобрѣтаютъ характеръ общей теоріи человѣческихъ нормъ“ *), чѣмъ и достигается „единство охвата практической и теоретической сторонъ“ **), къ которой стремились всегда и русскіе соціологи—Михайловскій и Миртовъ.

Для того, чтобы усвоить эту точку зрѣнія, г. Бердяеву пришлось бы перейти, если можно такъ выразиться, на совершенно другую плоскость мышленія. Выходя изъ совершенно иныхъ философскихъ предпосылокъ, раскалывая человѣка на логическаго и психологическаго, г. Бердяевъ отрѣзалъ себѣ путь къ пониманію той глубоко-монистической теоріи, которая извѣстна подъ именемъ субъективнаго метода въ соціологіи. Въ чемъ состоитъ сущность этой теоріи? И какія возраженія могутъ быть противъ нея предъявлены? Къ разсмотрѣнію этихъ вопросовъ мы теперь и обратимся.

Викторъ Черновъ.

*) R. Avenarius, Kritik der reinen Erfahrung, Leipzig 1888, s. 7—8.

**) Карстанъенъ, Введеніе къ Критику чистаго опыта, СПб. 1899, стр. XX.

У КАЗАКОВЪ.

(Изъ лѣтней поѣздки на Уралъ).

I.

Дорогой.—Вольная степь.—На вокзалѣ.—«Рыбопромышленная застава».

Раннимъ утромъ, съ билетомъ прямого сообщенія „Петербургъ—Уральскъ“, я пріѣхалъ въ Саратовъ... Только около 3-хъ часовъ дня передаточный поѣздъ лѣниво потащилъ насъ къ переправѣ черезъ Волгу, заходя и останавливаясь на товарныхъ станціяхъ, запасныхъ путяхъ и разъѣздахъ. Все это тянулось такъ утомительно долго, что публика начинала терять терпѣніе, боясь, что уральскій поѣздъ уйдетъ безъ насъ. Привычные кондуктора только насмѣшливо пожимали плечами.

Наконецъ, все такъ-же медлительно поѣздъ подползъ къ Волжскому берегу и остановился. По привычкѣ торопясь и толкаясь, публика кинулась на пароходъ, который долженъ былъ доставить насъ въ Покровскую слободу, откуда собственно начинается уральская желѣзная дорога... Какъ будто для поощренія этой суеты, пароходъ далъ уже первый свистокъ, но затѣмъ стоялъ еще неподвижно цѣлый часъ у пристани. Извозчики, подвозившіе изъ города новыхъ пассажировъ, всѣ разъѣхались, пристань опустѣла. Мимо насъ по зеркальной рѣкѣ лѣниво проплывали баржи, буксирные пароходы, лодки... Какой-то рыбакъ-любитель зачалилъ свою лодочку какъ разъ на нашемъ пути и попробовалъ наудачу закинуть удочки, а мы все продолжали ждать чего-то, и мнѣ казалось даже, что насъ начинаетъ заносить здѣсь пескомъ и пылью...

Наконецъ, пароходъ какъ бы проснулся, далъ быстро два послѣднихъ свистка, забурлилъ колесами и, плавно взрѣвая Волгу, двинулся къ другому берегу. Здѣсь, надъ яромъ, за очень неудобнымъ подъемомъ ждали насъ нѣсколько ва-

гоновъ... Опять суетливая поспѣшность публики и—новое ожиданіе... Дуетъ теплый вѣтеръ, плещется на отмели рѣчной струя отъ проѣхавшаго парохода, порой пройдетъ лѣнивый покровскій хохоль или группа дачниковъ и дачницъ иронически оглянется на неподвижный поѣздъ, неизвѣстно для чего стоящій на пустомъ берегу. А вдали, на той сторонѣ—затянутые туманомъ, дымомъ и пылью, дома и горы Саратова... Въ окнахъ вагоновъ безнадежно скупающія лица пассажировъ.

— Д-а-а... Степь-матушка,—говоритъ одинъ изъ нихъ, какъ бы въ объясненіе и этой смутной истомы, и безпричинныхъ остановокъ. Онъ зѣваетъ и креститъ ротъ, а рядомъ, въ другихъ окнахъ видны такіа-же апатичныя лица, у которыхъ челюсти раздвигаются такой-же сладкой дремотой.

Свистокъ, толчки, скрипъ буферовъ, десятиминутное движеніе—и опять долгая остановка у Покровской станціи съ тѣмъ-же теплымъ вѣтромъ, дующимъ какъ будто изъ печки, и съ тою-же истомой... Наконецъ—звонокъ, и нашъ поѣздъ ползетъ по низкой насыпи съ узкой колеей, на этотъ разъ съ очевиднымъ намѣреніемъ пуститься въ путь. Степь тихо раздвѣивается передъ нами свои дремотныя красоты. Спокойная нѣга, тихое раздумье, лѣнь... чувствуется, что вы оставили на томъ берегу Волги и торопливый бѣгъ поѣздовъ, и суету короткихъ остановокъ и вообще ускоренный темпъ жизни. Тутъ на васъ надвигается, охватываетъ, баюкаетъ васъ широкое степное раздолье, ровное, молчаливое, дремотное...

Чудесный закатъ въ степи, потомъ сумерки, потомъ тихій звѣздный вечеръ спускаются надъ этой однообразной картиной. Вечеромъ—долгіе остановки у маленькихъ неуютныхъ станцій съ странно, иной разъ по монгольски звучащими названіями, съ раскачиваемыми вѣтромъ фонарями и убогими буфетами. Здоровенные, загорѣлые и лѣнивые жители степныхъ хуторовъ и поселковъ выползаютъ изъ синей темноты на огни поѣзда, чтобы получить приказанія отъ юркихъ людей, по большей части не русскаго типа, ѣдущихъ въ вагонахъ перваго и втораго класса. Они одни какъ будто не дремлютъ и имѣютъ видъ властителей степи. Они говорятъ быстро, быстро выпиваютъ за буфетами, быстро вскакиваютъ на подножку уже трогающагося поѣзда, который и уноситъ ихъ дальше, между тѣмъ, какъ степные жители съ лѣнивой покорностью направляются къ своимъ телѣгамъ и, тихо поскрипывая колесами, расползаются въ темнотѣ въ разныя стороны, развозя полученные приказы...

Полная луна выкатывается надъ темнымъ горизонтомъ и точно старается разсмотрѣть въ степи что-то и что-то обдумать... Но степь темна и молчалива. Поѣздъ несется среди однообразнаго, заснувшаго пространства...

На утро кондуктора выкрикиваютъ станцію „Семиглавый маръ“... Невдалекѣ отъ станціи мѣстный житель пытался указать мнѣ въ волнистой степи семь кургановъ (по мѣстному „маровъ“), отъ которыхъ урочище получило свое романтическое названіе. Когда проводили желѣзную дорогу, одинъ изъ этихъ кургановъ „нарушили“, и въ немъ, говорятъ, оказался хорошо сохранившійся скелетъ невѣдомаго воина, верхомъ на скелетѣ лошади, съ лицомъ, обращеннымъ глазами впадинами къ востоку... Но разобрать и сосчитать эти курганы, среди однообразно взволнованной степи, мнѣ не удалось... По ней то и дѣло вставали и тонули такіе-же курганы и, быть можетъ, въ каждомъ изъ нихъ сидятъ и ждутъ чего-то такіе же невѣдомые воины съ глазами впадинами, обращенными къ востоку, между тѣмъ, какъ съ запада летитъ громыхающій поѣздъ и сыплетъ искрами въ ночную темноту, и сотрясаетъ старыя степныя могилы.

— Тутъ уже вольна степь пошла, недѣленая,—сказалъ мнѣ молодой казакъ, высунувшійся рядомъ со мной въ соседнее окно вагона.

Дѣйствительно, гдѣ-то, около этого семиглаваго урочища проходить граница Самарской губерніи, и теперь поѣздъ неся уже по казачьей землѣ...

Начиная отъ Гурьева городка, тамъ, гдѣ-то далеко у Каспійскаго моря и кончая среднимъ теченіемъ Урала и его притоками, отъ теряющихся въ пескахъ Узеней на западѣ и до киргизскихъ степей на востокѣ—вся эта земля не знаетъ ни частной собственности, ни даже русскихъ общинныхъ передѣловъ. Всѣ ея обитатели—какъ бы одна семья, каждый членъ которой имѣетъ одинаковое право на любой клочокъ этой земли, раскинувшейся отъ края и до края горизонта, недѣленной, немежеванной и никѣмъ не захваченной въ личное владѣніе...

Я съ любопытствомъ вглядывался въ эту однообразную ширь, стараясь уловить особенности „вольной степи“. Но она была все та же... Она какъ будто лѣнилась проснуться для знойнаго дня, дали были еще завѣшаны клочьями тумана, изъ-за котораго выступала та же линія горизонта, кое-гдѣ взломанная очертаніями могильниковъ...

Поѣздъ громыхнулъ по мостику и затѣмъ побѣжалъ вдоль небольшой рѣчки, на отлогомъ берегу которой пріютился степной хуторокъ. Нѣсколько строеній, нѣсколько деревьевъ, вѣтряная мельница, двѣ-три кабитки киргизъ пастуховъ, кучка скромныхъ крестовъ на кладбищѣ, какъ бы скрѣпляющимъ степную осѣдлость...

— Чей это хуторъ?—спросилъ я, невольно любуясь своеобразной красотой этого степного поселка.

Казакъ называлъ фамилію извѣстнаго степного богача, скотопромышленника, владѣющаго въ вольной степи нѣсколькими такими хуторами и десятками тысячъ головъ скота. Невдалекѣ за хуторомъ нѣсколько упряжекъ быковъ тянули тяжелые плуги, взрѣзавшіе землю. Черная полоса уже поднятой пашни легла во всю степь, начинаясь за пологимъ гребнемъ одной возвышенности и утопая за другимъ. И все время, пока поѣздъ бѣжалъ мимо,—волы бѣлыми точками ползли по краю черной полосы, безъ остановки и перерыва...

— А вѣдь тоже казакъ,—сказалъ одобрительно немолодой торговецъ, когда хуторъ, купы деревьевъ и волы исчезли за поворотомъ дороги.

— Да,—сказалъ, усаживаясь на скамѣ, молодой казакъ,—мой сосѣдъ, такой же вотъ казакъ, какъ и я...

Торговецъ окинулъ его строгимъ, холоднымъ взглядомъ, въ которомъ виднѣлось пренебреженіе. Казакъ былъ одѣтъ въ поношенную форму. Лицо у него было смуглое, но худое, черные глаза глядѣли печально, какъ у больного. Онъ заболѣлъ на службѣ, гдѣ-то подъ Кіевомъ и теперь ѣхалъ на родину—можетъ быть поправляться, а можетъ быть и умирать въ родной степи. Онъ подолгу простаивалъ у окна, рядомъ со мною, и вдыхалъ полной грудью родной воздухъ. Въ его глазахъ свѣтилась какая-то особенная радость.

— Такой-же, да не такой,—сказалъ торговецъ поучительно.

— Нѣтъ, такой-же,—отвѣтилъ казакъ.—Только я вотъ служилъ, а онъ мою землю пахалъ, да мою траву косилъ... Только и есть...

Купецъ не возражалъ. Впослѣдствіи эту фразу о службѣ и о „моей землѣ“ я слышалъ не разъ изъ устъ бѣдныхъ казаковъ, для которыхъ эта „вольная степь“ съ ея общинными порядками часто является мачихой... Явленіе старое! Нигдѣ, быть можетъ, проблема богатства и бѣдности не ставилась такъ рѣзко и такъ остро, какъ въ этихъ степяхъ, гдѣ они не разъ подымались другъ на друга „вооруженной рукой“. И нигдѣ она не сохранилась въ такихъ застывшихъ, неизмѣнныхъ формахъ. Изстари въ этой немежеванной степи лежатъ рядомъ „вольное“ богатство, почти безъ всякихъ обязанностей, и „вольная“ бѣдность, несущая всѣ тягости... А степь дремлетъ въ своей неподвижности, отдаваясь съ стихійной безсознательностью и богатому, и бѣдному, не пытаясь разрѣшить, наконецъ, вѣковыя противорѣчія, то и дѣло подымавшіяся надъ ней внезапными бурными вспышками, какъ эти вихри, взметающіе пыль надъ далекимъ про-

сторомъ... Вихри встають и падають безслѣдно, а подъ ними все та же степь, недвижимая, лѣнивая и дремотная...

Около двухъ часовъ дня, вправо отъ желѣзной дороги замелькали зданія Уральска, и, проѣхавъ мимо казачьяго лагеря, поѣздъ тихо подползъ къ уральскому вокзалу, конечному пункту этой степной дороги. Мнѣ предстояло получить багажъ и, когда, покончивъ съ этимъ дѣломъ, я вышелъ на крыльцо вокзала, то увидѣлъ съ непріятнымъ удивленіемъ, что на дворѣ уже не было ни одного извозчика. Оживленіе единственнаго (въ сутки) поѣзда схлынуло какъ то удивительно быстро, вокзалъ опустѣлъ и затихъ. Верстахъ въ трехъ къ югу, за дымкой густой золотистой пыли, видѣлись церкви и дома Уральска. Впечатлѣніе получалось такое, какъ будто казачьему городу нѣтъ никакого дѣла до тѣхъ, кто подъѣзжаетъ къ нему по желѣзной дорогѣ. На противоположной, сѣверной сторонѣ выдѣлялись кирпичные сараи и ворота скакового поля, въ видѣ гигантской подковы, дальше клочъ степи, дорога съ какими-то крестами и полоски садовъ за Чаганомъ... Мнѣ нужно было именно туда, за Чаганъ, въ эти сады, гдѣ жили мои добрые знакомые, и гдѣ я предполагалъ устроиться на лѣто... Но до садовъ было верстъ шесть, а мой багажъ безпомощно лежалъ на каменномъ перронѣ.

Какой-то добродушный желѣзнодорожный служащій принялъ участіе въ моемъ печальномъ положеніи и послалъ сторожа къ желѣзнодорожнымъ складамъ. Вскорѣ оттуда подѣхали ломовыя дроги, на которыхъ сидѣлъ дюжій человекъ съ совершенно бронзовой фizioноміей, огромной спутанной бородой и въ фуражкѣ съ малиновымъ околышемъ. Мы скоро сторговались. Узнавъ, что придется ѣхать „въ сады“, онъ запустилъ руку подъ фуражку и почесалъ пятерней въ головѣ.

— Эхъ, не зналъ, — сказалъ онъ, — что въ сады угожу ѣхать.

— А что?—спросилъ служащій.

— Косу бы захватилъ, травы нарѣзалъ.

— Такъ тебѣ и позволять!

— Чего не позволить. Я вѣдь казакъ, имѣю право. Ему вотъ нельзя,—кивнулъ онъ въ сторону подѣхавшаго въ это время товарища, такого-же загорѣлаго, такого-же дюжаго и лохматаго, только безъ околыша.—Вамъ вотъ тоже нельзя...

— Ладно, ладно, увязывай,—иронически перебилъ желѣзнодорожникъ, окидывая полноправнаго человека насмѣшливымъ взглядомъ.

Вскорѣ возъ, поскрипывая, двинулся съ вокзала, сопровождаемый возницей - казакомъ, — первымъ, который встрѣтился мнѣ здѣсь, такъ сказать, у себя дома, за совершенно партикулярнымъ занятіемъ... Я слѣдовалъ за нимъ пѣшкомъ, съ любопытствомъ присматриваясь къ новымъ мѣстамъ.

Желѣзная дорога уползала въ степь, которую мы только что проѣхали и изъ которой тянуло тѣмъ-же теплымъ вѣтромъ, точно изъ печки. Влѣво, за густой пылью высились колокольни городскихъ церквей и затѣйливая триумфальная арка въ восточномъ стилѣ. Изъ города къ садамъ по пыльной дорогѣ тянулись телѣги съ бородатыми казаками, ковыляли верблюды, мягко шлепая въ пыль большими ступнями. На одномъ изъ нихъ сидѣлъ киргизъ въ полосатомъ стеганомъ халатѣ, подъ зонтикомъ и съ высоты съ любопытствомъ смотрѣлъ на велосипедиста въ кителѣ, мчавшагося мимо. Верблюдъ тоже повернулъ за нимъ свою змѣиную голову и сдѣлалъ презрительную гримасу. Я невольно залюбовался этой маленькой сценой: медлительная, довольно грязная и оборванная, но величавая Азія смотрѣла на юркую и подвижную Европу...

Миновавъ желѣзнодорожныя зданія на отчужденной полосѣ, мы тоже выѣхали на эту дорогу, и казакъ возница повернулъ въ степь. Я слѣдовалъ за нимъ, но мое вниманіе было опять привлечено неожиданной картиной. Передъ мостикомъ у небольшого вала стояла казеннаго вида будка, а невдалекѣ отъ нея человѣкъ съ малиновымъ околышемъ, задержавъ проѣзжую телѣгу, шарилъ въ ея задкѣ руками съ какой-то дѣловито-лѣнивой безнадежностью. Проѣзжій казакъ даже не оглядывался назадъ, равнодушно ожидая конца этой процедуры.

Замѣтивъ, что я съ любопытствомъ наблюдаю это зрѣлище, обыскивавшій пересталъ шарить и махнулъ рукой. Владѣлецъ телѣги хлестнулъ возжей свою лошадь...

— Что вы это ищете?—спросилъ я, подходя къ казаку.

Онъ какъ будто нѣсколько сконфузился. Повидимому, всякому человѣку свойственно инстинктивное сознаніе, что шарить въ имуществѣ ближняго есть занятіе по самому своему существу какъ бы противоестественное и возбуждающее невольную стыдливость. Но тотчасъ же это мимолетное выраженіе исчезло и, указавъ на будку, онъ произнесъ внушительно:

— Застава.

Дѣйствительно, надъ будкой виднѣлась надпись: „Уральская, № 4, рыбопромышленная застава“, и вся она была увѣшана и внутри, и снаружи печатными плакатами. Пользуясь любезнымъ разрѣшеніемъ надсмотрщика, я вошелъ въ будку и

съ интересомъ сталъ читать многочисленные параграфы, опредѣлявшіе роль этой внутренней заставы, до сихъ поръ еще сохраненной консервативною „вольною степью“. Изъ печатныхъ правилъ я узналъ, что вывозимая за черту города рыба, оплачивается поплиной... Внезапное легкое беспокойство возникло въ моемъ умѣ, и я спросилъ:

— А сколько же можно пронести бесплатно, для собственного употребленія?

— Ни вотъ столько! То есть ни одного малъка,—отвѣтилъ онъ рѣшительно.

Тутъ я уже совершенно опредѣленно почувствовалъ себя въ роли контрабандиста. Со мной было около полфунта икры и немного балыка, купленныхъ еще въ Саратовѣ и оставшихся отъ дорожнаго продовольствія.

— Вы взимаете пошлину?—спросилъ я, намѣреваясь очистить свою совѣсть.

— Никакъ нѣтъ, не имѣю права.

— А что-же вы дѣлаете, если найдете, ну, скажемъ, полъ фунта рыбы?

Онъ посмотрѣлъ на меня очень пытливо, но затѣмъ отвелъ глаза и отвѣтилъ съ оттѣнкомъ грусти:

— Протоколъ и... въ городъ, въ контору...

— Сколько же тамъ взяли-бы за одинъ фунтъ?

— По такци... Копѣйку, а можетъ и двѣ.

— И изъ за этого въ городъ?

— Обязательно!

Его взгляды скользнулъ по мнѣ, какъ бы привлеченный инстинктомъ, но тотчасъ-же онъ опять стыдливо отвелъ глаза и сказалъ со вздохомъ:

— Конечно, дѣлаемъ уваженіе...

Въ открытое окно, какъ въ рамкѣ, виднѣлась широкая городская дорога, и по ней приближалась изъ города телѣжка. Въ телѣжкѣ сидѣла дама и молодой человѣкъ съ околышемъ. Въ ногахъ у нихъ виднѣлись кульки и свертки. Надсмотрщикъ инстинктивно насторожился, но остался на мѣстѣ, только проводивъ телѣжку тѣмъ-же какъ-бы застѣнчивымъ взглядомъ...

— Съ рыбой проѣхали?—спросилъ я, улыбаясь.

— Да ужъ... не безъ этого... на дачу, въ сады, съ провизіей...

И, какъ-бы подкупленный тѣмъ, что я уже сталъ свидѣтелемъ его слабости, онъ сказалъ довѣрчиво:

— Въ нашей должности большой умъ надо... Дѣло наше, прямо сказать, суворовское...

— Почему именно суворовское?—спросилъ я, улыбаясь этому сравненію.

— Да вы про Суворова-то развѣ не читали? Какой генералъ былъ,—знаменитый! А по такцыи никогда не дѣйствовалъ. Все больше по глазомѣру. Такъ-ли я говорю?

— Пожалуй.

— То-то и оно. То-же и въ нашемъ дѣлѣ: станешь всякаго останавливать, — скажутъ: напрасное безпокойство. Не останавливать вовсе, — зачѣмъ и поставленъ?..

Онъ вдумчиво и важно посмотрѣлъ на меня и сказалъ:

— Возьмемъ такой случай: идетъ въ луга косецъ, несетъ для своего, напримѣрно, продовольствія десятокъ вобловъ. Ежели ему пошлину платить, въ конторѣ сколько время окочачиваться, да и цѣфы такой нѣту: много полтъ-копѣйки. Что я долженъ дѣлать?

— Не знаю,—отвѣтилъ я съ полной искренностью.

— По правилу, я обязанъ сказать: садись, милый человекъ на валу, скушай воблу свою на здоровье, а съ рыбой я за валъ пустить не обязанъ. Хорошо! Да вѣдь онъ можетъ не голоденъ, а въ лугахъ ему вобла нужна...

— Ну, и по глазомѣру?—сказалъ я сочувственно.

— По глазомѣру-то, по глазомѣру, а вѣдь тоже зачѣмъ нибудь и будка поставлена. Начальство скажетъ: тебя зачѣмъ опредѣлили, — галокъ считать?..

И, въ послѣдній разъ скользнувъ по мнѣ какъ бы все еще сомнѣвающимся взглядомъ, онъ прибавилъ:

— Дѣлаемъ уваженіе, конечно...

И затѣмъ, попрощавшись, онъ спокойно уѣхалъ на ступенькахъ будки, а я перешагнулъ городскую черту въ роли контрабандиста, которому оказана явная поблжка или „уваженіе“... Отойдя шаговъ съ десятокъ, я оглянулся. Суворовъ опять шарилъ въ телѣгѣ проѣзжаго казака, но, повидимому, его снисходительность истощилась, и у будки завязывался крупный разговоръ. Черезъ минуту телѣга обогнала меня — и ея хозяинъ старый, сѣдой казакъ, что-то сердито ворчалъ. Въ качествѣ казака, онъ имѣетъ право безошлинно провезти около пуда рыбы. Но даже золотника не въ правѣ вывезти, не выправивъ предварительно билета, что сопряжено съ цѣлой процедурой *)...

Своего возницу я нагналъ у спуска дороги, около двухъ крестовъ. Здѣсь-же остановился только что обысканный казакъ и два „иногороднихъ“ мужика съ косами за плечами,—

*) Когда впоследствии я говорилъ объ этомъ съ знакомыми людьми, они сказали мнѣ, что во время лова войско получаетъ въ общемъ около 200 тыс. рыбной пошлины. Однако, почему именно нужна такая архаическая форма взиманія этой пошлины и отчего отъ этой процедуры не освобождены минимальныя количества рыбы, вывозимой не для продажи, — никто объяснить не могъ.

и всѣ они съ раздраженіемъ говорили о „рыбопромышленной заставѣ“. Изъ этихъ разговоровъ мнѣ стало ясно, что суворовское „разсмотрѣніе“ не всегда оказывалось такимъ снисходительнымъ... А недѣли черезъ двѣ, когда, пробѣжали изъ садовъ въ городъ, я захотѣлъ навѣстить моего знакомаго у заставы,—его—увѣ!—уже не было. Суворовская тактика, повидимому, въ чемъ то измѣнилась, и на ступенькахъ будки сидѣлъ другой Суворовъ, впрочемъ, какъ двѣ капли воды похожій на прежняго и такъ-же, съ разсмотрѣніемъ, шарившій у однихъ и дѣлавшій „уваженіе“ другимъ...

Остальную часть пути мы сдѣлали безъ приключеній. Дорога, извиваясь, подошла къ садамъ, пробѣжала по бревенчатому мосту за рѣку Чаганъ и поднялась на небольшую возвышенность. Здѣсь на время опять мелькнулъ просторъ степи, уходящей вдаль. Цѣлыя облака пыли надвигались отсюда по старому казанскому тракту. Киргизъ-косячникъ гналъ табунъ лошадей къ своей кибиткѣ, одиноко стоявшей на выгонѣ, и лошадиныя морды мелькали, слабо рисуясь въ золотистомъ пыльномъ облакѣ... Скоро сады прижали дорогу къ тихой степной рѣчкѣ, Деркулу, причудливыми извилинами какъ бы переплетавшейся съ Чаганомъ. Городъ, со своей аркой и главами церквей лишь издали мелькалъ въ промежуткахъ зелени...

II.

На учугѣ.

Первая „достопримѣчательность“ города Уральска, съ которой мѣстные жители прежде всего познакомятъ всякаго пріѣзжаго, есть безъ сомнѣнія такъ называемый уральскій учугъ.

Учрежденіе это—единственное въ своемъ родѣ. Идея его очень проста: если въ извѣстномъ мѣстѣ переградить поперекъ всю рѣку, то красная рыба, подымаясь съ моря, остановится у перегородки и дальше уже не пойдетъ. Для метанія икры она должна выбирать мѣста ниже этой преграды и такимъ образомъ будетъ скопляться здѣсь въ большихъ количествахъ.

Такія перегородки, сдѣланныя изъ шестовъ и плетня, можно видѣть на многихъ захоластныхъ рыбныхъ рѣчкахъ. Въ нѣкоторыхъ сѣверныхъ губерніяхъ ихъ называютъ „заплотами“, и изъ за этихъ заплотовъ между сосѣдями рыбаками дѣло нерѣдко доходитъ до дреколя. Яицкое казачье войско, сложившееся на степномъ просторѣ въ величайшую земельную общину, соорудило также и величайшій въ мірѣ

заплотъ, перегородившій огромную рѣку, по величинѣ неуступающую Рейну.

Первые, впрочемъ, пришли къ этой мысли астраханскіе „гости“, которые, пробравшись изъ Астрахани къ устьямъ Яика, наколотили здѣсь свай и шестовъ и черпали толпившихся у этой перегородки осетровъ, бѣлугъ и сазановъ, точно изъ готоваго садка. Въ 1645 году купецъ Михайло Гурьевъ получилъ отъ московскаго правительства грамоту на свое нехитрое изобрѣтеніе, съ обязательствомъ построить защитный каменный городокъ, который названъ Гурьевымъ. Совершенно понятно, что уловка Гурьева, обезрыбившая весь Яикъ отъ учуга до верховьевъ, не могла нравиться яицкимъ казакамъ, которые долгое время вооруженной рукой отбивали рѣку и у татаръ, и у киргизовъ и теперь привыкли считать ее своею. Поэтому между купецкимъ городкомъ и казаками начался ожесточенный споръ, и казаки будари не разъ безпокоили купецкія низовыя ловли. Въ уральскомъ войсковомъ архивѣ хранится цѣлая серія дѣлъ „объ учугѣ“, которыя, вѣроятно, могли бы дать любопытную страницу къ исторіи Урала. Въ концѣ концовъ побѣдили казаки. Вся зайицкая сторона была тогда дикою степью, открытою дверью для „легкомысленнаго степного народа“, который то и дѣло, „перелѣзши“ черезъ Яикъ, устремлялся на Волгу и даже въ завожскую Русь, налетая, какъ вихрь, и какъ вихрь опять теряясь въ своихъ степяхъ, угоняя скотъ и „есырей“ на хивинскіе и бухарскіе рынки. Совершенно понятно, что сторожевая служба казаковъ была очень важна для государства, а казаки жаловались, что астраханскіе гости оголодали все войско. На этотъ разъ „булатъ“ побѣдилъ, злато уступило. Гурьевцамъ сначала велѣно разгородить учугъ на 8 сажень отъ обоихъ береговъ, а въ 1752 году учугъ переданъ цѣликомъ въ содержаніе казакамъ, вмѣстѣ съ кабацкими и таможенными сборами. Казаки рѣшили перенести учугъ вверхъ, на нынѣшнее его мѣсто, а въ 1770 году правительство передало казакамъ и самый Гурьевъ городокъ. Такимъ образомъ, все низовье и часть средняго теченія рѣки очутились въ нераздѣльномъ владѣніи Яицкаго казачьяго войска, учугъ сталъ какъ бы центромъ экономической жизни Урала, и около него образовалась крѣпко сплоченная огромная полувоенная, полурыбачья община.

Случилось это уже передъ самой пугачовщиной, въ которой учугъ сыгралъ, хотя и косвенно, довольно видную роль. Дѣло въ томъ, что, вырабатывая самымъ точнымъ образомъ свои внутренніе трудовые распорядки, казачья община никогда не умѣла устроить какъ слѣдуетъ политическую сторону своего существованія, ту его сторону, которою общинѣ

приходилось соприкасаться съ государствомъ. Посредники-старшины всегда грабили и утѣсняли войско; казаки порой хватались за сабли и расправлялись съ одними грабителями, чтобы тотчасъ же посадить такихъ же или худшихъ. Получивъ въ нераздѣльное владѣніе „золотое дно“ Яика вмѣстѣ съ таможенными и кабацкими сборами, войско обязалось уплачивать правительству около 5½ тысячъ рублей. Это было очень выгодно, но, разумѣется, деньги надо было собрать съ тѣхъ же казаковъ. Система фиска была такъ же наивна, какъ и все управление. На Чаганскомъ мосту поставили заставу (вродѣ, вѣроятно, той рыбо-пошлинной заставы, которую мнѣ пришлось встрѣтить съ первыхъ шаговъ на казачьей землѣ)—и, когда войско возвращалось съ ловель, рыбаковъ задерживали у моста, какъ рыбу на учугѣ, и взымали „по разсмотрѣнію“ столько, сколько хотѣлось старшинамъ. Войско платило, пока одинъ изъ старшинъ, нѣкто Логиновъ, отецъ и дѣдъ котораго вели „крамольную“ оппозицію противъ господствующей старшинской партіи, не разъяснилъ войску, что сборы давно превысили установленную сумму и старшины продолжаютъ взымать деньги уже въ свою пользу. Войско жаловалось, посылало ходоковъ въ Петербургъ, императрица приказывала учесть старшинъ и отстранить ихъ отъ должности. Но даже императрица оказывалась безсильна на далекой окраинѣ. Петербургскихъ посланцевъ старшины задерживали и продолжали свое, а одинъ изъ петербургскихъ защитниковъ мѣстныхъ воровъ, извѣстный генераль Череповъ, въ своемъ усердіи приказалъ даже стрѣлять по казамъ, стоявшимъ передъ нимъ на колѣняхъ и умолявшимъ исполнить волю императрицы. Наконецъ, войско потеряло терпѣніе, и при новомъ эпизодѣ этого рода схватилось за сабли. Въ схваткѣ былъ убитъ генераль Траубенбергъ и войсковой атаманъ Митрясовъ. Тогда, разумѣется, казаковъ принялись усмирять уже по настоящему. Генераль Фрейманъ, двинувшись изъ Оренбурга, разбилъ ихъ въ правильной битвѣ на рѣкѣ Ембулатовкѣ и занялъ Яицкій городокъ регулярными войсками.

Такимъ образомъ, еще года за два до пугачовщины—въ войскѣ кипѣло „возмущеніе“. Люди, боровшіеся съ завѣдомымъ даже для императрицы хищеніемъ—оказывались бунтовщиками, а завѣдомые воры—усмирителями... Въ это-то время, на границѣ казачьей области, въ одинокомъ степномъ уметѣ, появился таинственный купецъ, Емельянъ Пугачовъ и сталъ зорко присматриваться къ событіямъ... И изъ всего этого возникла буря, потрясшая всю Россію. Разумѣется, причины ея очень сложны, но и нехитрое сооруженіе, пергородившее подъ Яицкимъ городкомъ быструю рѣку,—

играло здѣсь нѣкоторую, пожалуй, даже не малую роль. Первые вспышки будущаго взрыва происходили именно здѣсь, около учуга и около рыбопошлинной заставы на Чаганскомъ мосту...

Въ тотъ день, когда я, вмѣстѣ съ однимъ знакомымъ казачьимъ офицеромъ, подъѣхалъ къ учугу, — былъ сильный вѣтеръ. Рѣка, вспѣнная крѣпкой волной, мчалась въ крутыхъ берегахъ, шумя и прыгая, какъ дикій степной скакунъ. Передъ нами, съ одного берега до другого, лежалъ неширокій дощатый помостъ на сваяхъ. Вдоль этой настилки, напоминающей простой пѣшеходный мостикъ, съ лѣвой стороны виднѣлась частая щетина тонкихъ желѣзныхъ шестовъ. Эти шесты, проходя черезъ два горизонтальныхъ бревна (называемыхъ „бѣлоногами“), образуютъ вмѣстѣ съ ними частую рѣшетку, доходящую до дна. Это—такъ называемый „кошакъ“, черезъ который можетъ проходить лишь мелкая рыба. На обоихъ концахъ помоста возвышаются деревянные рѣшетчатые сооруженія съ дверьми и надписью: „входъ на учугъ постороннимъ строго воспрещается“.

Теперь весь этотъ помостъ вздрагивалъ отъ быстрого теченія и волны. У кошака стоялъ шумъ и звонъ... Кругомъ на рѣкѣ не было видно ни лодочки, ни паруса, ни парома, за исключеніемъ двухъ-трехъ бударь, опрокинутыхъ на песчаной отмели и принадлежащихъ учужной водолазной командѣ. Яикъ, дикій и красивый, несся на просторѣ, срывая глинистые яры, и внезапно кидался на неожиданную преграду. Во всей картинѣ чувствовалась какая то дикая прелесть, своеобразная и значительная. Дѣйствительно, здѣсь, на мѣстѣ столкновенія свободной рѣки съ желѣзной рѣшеткой—центральное мѣсто Урала, настоящая душа его, одинъ изъ главныхъ ключей къ его жизни...

Учугъ ставятъ весной и снимаютъ поздней осенью. Въ тихія лѣтнія утра или передъ солнечнымъ закатомъ уральскіе жители пріѣзжаютъ сюда смотрѣть рыбу. Подымаясь съ моря, вверхъ по теченію,—огромные осетры, толстыя бѣлуги и сазаны доходятъ до учуга и здѣсь недоумѣло останавливаются. Начиная съ іюля, весь августъ и сентябрь можно видѣть, какъ рыба суется вдоль кошака, разыскивая проходъ. Но желѣзная рѣшетка не уступаетъ усиліямъ и, посовавшись напрасно, рыба уходитъ внизъ, мечетъ икру и подыскиваетъ мѣста для „ятовей“, гдѣ располагается на зимовку. А за всѣми ея движеніями слѣдятъ, отъ низовьевъ и до самаго учуга, особо назначенные отъ войска караулы. Объ ея появленіи береговые и учужные казаки доносятъ войсковому управленію, какъ о движеніяхъ непріятеля.

Въ тотъ день, когда я стоялъ на помостѣ учуга, рыбы

совсѣмъ не было видно. Вода вся замутилась, желѣзные шести дрожали и звенѣли, около рѣшетки рѣка образовала настоящій водонадѣ, отшибавшій рыбу обратно. Караульный казакъ сунулъ въ мутную воду длинный шестъ, который называется „наслушкой“. Суясь вдоль рѣшетки, рыба толкаетъ боками шестъ и такимъ образомъ обнаруживаетъ свое присутствіе. Но на этотъ разъ и наслушка дрожала только отъ ударовъ струи. Глубь рѣки была мутна, непроницаема и какъ будто мертва.

— Нѣтъ вашего счастья, — сказалъ казакъ, добродушно улыбаясь. — Штурма на рѣкъ большая.

— А осетръ уже пришелъ? — спросилъ мой спутникъ, офицеръ.

— Пришелъ! Вчера утромъ все ходилъ вдоль кошака... Сунетъ носъ межъ шестовъ и идетъ книзу. Потомъ кверху подымется. Весь кошакъ этакъ ощупаетъ... Потомъ уже броситъ, идетъ вонъ туда, къ яру.

— А сазанъ?

— Сазанъ еще не подходилъ. А вонъ тамъ, подъ дальнимъ ярѣмъ уже видно. Малька хватаетъ...

И казакъ дѣлится новостями этой мутной глубины, въ которой онъ читаетъ, какъ въ открытой книгѣ. Лицо у него типичное, широкое и скуластое, глаза маленькіе, необыкновенно добродушные, а порой лукавые. На немъ неизбѣжная фуражка съ малиновымъ околышемъ, кумачевая косоворотка, штаны съ малиновыми лампасами засунуты въ голенищи. Что-то необыкновенно характерное сквозить въ каждомъ его движеніи. Это не мужикъ и не солдатъ, это именно казакъ. Рыбакъ, стоящій по военному на караулѣ у рѣки, военный, справляющій войсковую службу у рыбы. Когда я направляю на учугъ свой фотографическій аппаратъ, онъ становится на серединѣ помоста и вытягивается во фронтъ, забывъ, что мы застали его даже безъ кафтана, въ одной косовороткѣ. И онъ выходитъ на моемъ снимкѣ въ этой вытянутой служебной позѣ часового. А затѣмъ меня опять пріятно поражаетъ свободная непринужденность, съ какой онъ ведетъ бесѣду съ офицеромъ. Это не начальникъ и не подчиненный, а два рыбака, обмѣнивающиеся интересующими обоихъ рѣчными новостями. Осетръ ищетъ уже мѣсто для „ятовей“, бѣлуга еще не пришла, сазанъ уже поднялся почти къ самому учугу. Вчера водолазная команда поймала большого персидскаго осетра. Персидскимъ онъ называется потому, что не зимуетъ въ уральскихъ водахъ. „Выбьетъ икру и катать, подлець, опять въ море, къ персидскому берегу. И видомъ отличается отъ нашего: бѣлѣе и жучка (пятна) крупная“. Водолазы испугали этого иностранца, и онъ выкинулся

на мель. Его продали съ аукціона въ пользу войсковой казны...

— Все въ нее матушку, какъ въ прорву,—иронически говоритъ казакъ...—А что толку?

Въ его глазахъ, пытливо и быстро взглядывающихъ на офицера, сверкаетъ огонекъ.

— Мало ли у войска надобностей, — говоритъ тотъ.

— У войска?—переспрашиваетъ казакъ, и огонекъ въ его глазахъ вспыхиваетъ сильнѣе.—Нѣтъ, ваше благородіе,—не видитъ себѣ войско отъ казны пользы... Вотъ послушай, что я тебѣ скажу,—поворачивается онъ ко мнѣ.—Были у насъ голодныя годы. Отопцали казаки до той степени: и ѣсть нечего, и сѣять нечѣмъ. Тутъ бы, кажется, вспомнить: есть, дискать, у казаковъ казна накоплена. Купить хлѣба, купить сѣмянъ, раздать. Потомъ изъ урожая—хоть опять возьми. Такъ ли я говорю?

Я не видѣлъ основанія для возраженій.

— Что-жъ ты думаешь: дала казна подмогу? Чорта лысаго! Неправду я говорю, ваше благородіе?

Офицеръ не отвѣчаетъ. Лицо у него нѣсколько скупающее: очевидно, онъ эти разговоры слышалъ уже много разъ и, вѣроятно, они ему уже надоѣли.

— Ты свистунскій?—спросилъ онъ, вмѣсто отвѣта.

— Такъ точно,—отвѣтилъ казакъ, и легкая, чуть замѣтная усмѣшка пробѣжала подъ его жидкими свѣтлыми усами. Станица Круглоозерная, въ просторѣчии именуемая почему-то Свистуномъ, расположена верстахъ въ 12-ти отъ Уральска, но по обычаямъ, одеждѣ и всему старинному укладу своей жизни напоминаетъ самыя отдаленныя низовыя станицы, нетронутыя вліяніемъ новыхъ временъ. Населеніе ея сплошь старообрядцы разныхъ толковъ, народъ зажиточный, умный и упрямо подозрительный ко всякимъ нововведеніямъ.

И теперь при взглядѣ на простодушно-лукавое лицо свистунца съ его задорными вопросами—мнѣ невольно вспомнилась старина, съ поборами старшинъ и оппозиціей войска, напрасно требовавшего „учета“. Времена, конечно, перемѣнились, но и теперь „войско“, т. е. собственно огромная хозяйственная община, не имѣетъ прямого рѣшающаго вліянія ни на опредѣленіе размѣровъ, ни на распоряженіе своей „казной“. Вѣдается она чисто бюрократическимъ учрежденіемъ—войсковой канцеляріей, надъ которой стоитъ атаманъ, военный генералъ не изъ Уральцевъ, иногда не имѣющій понятія объ этомъ своеобразномъ общинномъ хозяйствѣ, въ которомъ, однако, онъ „командуетъ“ (порой чисто по военному) и покосами, и рыбной ловлей...

По настилкѣ учужнаго помоста мы перешли на другой берегъ рѣки. Здѣсь онъ значительно выше и обрывается крутымъ, глинистымъ яромъ...

— Азія!—сказалъ мой спутникъ, указывая рукой на безграничную степь, уходящую далеко къ горизонту... Рѣка невдалекѣ поворачивала и терялась за мысомъ, но далѣе, въ синѣвшихъ передвечернею мглою лугахъ долго еще сверкали ея разорванныя, свѣтлыя излучины... Правый берегъ ея („самарская сторона“)—издавна казачій; лѣвый, а за нимъ вся степь до Бухары и Аральскаго моря—принадлежалъ прежде кочевникамъ-киргизамъ... Когда-то надъ этой свѣтлой полоской, сверкающей въ зелени луговъ, кипѣла неустанная борьба и лилась кровь. Орда считала рѣку своею, и еще во времена уральскаго Ильи Муромца, „старога казака Харкушки“,—„перелазила“ черезъ броды и переправы и кидалась „на Русь“, уводя оттуда скотъ и плѣнныхъ. Казаки сторожили переправы и старались, наоборотъ, захватить въ свое владѣніе и лѣвый берегъ съ его богатыми поемными лугами и ковыльною степью.

Теперь все это давно миновало. Орда „замирилась“ и, не смотря на послѣднія вспышки 1874 и 1879 годовъ, когда казакамъ опять приходилось умирять своихъ сосѣдей,—сами они говорятъ, что отъ Уральска до Каспійскаго моря можно теперь проѣхать совершенно безопасно и даже безъ оружія... Значеніе боевой границы Урала исчезло, и онъ представляетъ отъ учуга до моря только огромный живорыбный садокъ. Начиная отсюда и до самаго Гурьева, рѣка лежитъ въ своихъ берегахъ, неприкосновенная и дѣвственная... Ни бударки, ни паруса, ни плота, ни парома. Даже перевозки устроены только въ четырехъ мѣстахъ.

При взглядѣ на эту полную быструю рѣку, у меня невольно явилась мысль о пароходствѣ. Въ Петербургѣ я слышалъ, что отъ Уральска можно проѣхать на пароходѣ до Оренбурга, и теперь я спросилъ наивно, гдѣ-же здѣсь пароходная пристань.

Мой спутникъ, офицеръ, усмѣхнулся.

— Слышишь!—обратился онъ къ учужному казаку,—вотъ они спрашиваютъ насчетъ парохода?

Свистунецъ насторожился.

— Какъ, ваше благородіе, пароходы? Вѣдь у насъ никакихъ пароходовъ нѣтъ.

— А я слышалъ, что у васъ пароходы ходили отъ Оренбурга.

— А! Это ты видно про ваяюшинску машину... Ну-у!—сказалъ онъ съ пренебреженіемъ и какъ бы успокоившись.—

Какой пароходъ. Такъ, дрянная посудина... Я на бударкѣ обгонялъ...

Пароходъ, говорили мнѣ, дѣйствительно былъ неважный, изъ тѣхъ, какіе бултыхаютъ старыми колесами по мелкимъ рѣченкамъ волжскаго бассейна. И, однако, въ теченіе своей недолгой карьеры эта „посудина“ своимъ бултыханіемъ заставила весь Уралъ насторожиться, точно передъ новымъ непріятельскимъ нашествіемъ.

— Все войско, подлець, растравилъ!—прибавилъ учужный казакъ съ раздраженіемъ.—Потомъ отказали: не надо. Такъ что войско болѣе не желать...

— Чего же вы боялись?—спросилъ я съ невольной улыбкой.—Ходилъ онъ выше учуга, да и сами вы говорите, что посудина дрянная.

— Да вѣдь... дрянная-то она дрянная, а сколько пудовъ все таки тащить...

— Такъ что-же?

— То-то вотъ. Войско, значить, и опасается. Почуетъ, проклятая, припентъ, перекинется и за учугъ. Пожалуй, не удержишь... Тогда вѣдь можетъ всю рыбу распугать. Войско должно оголодиться... Такъ ли я говорю, ваше благородіе?—прибавилъ онъ, тревожно всматриваясь въ лицо офицера.

Въ тонѣ его голоса звучала неувѣренность и грусть. Можетъ быть, у него явилось подозрѣніе, что я тутъ разсматриваю и разспрашиваю неспроста и что въ моемъ лицѣ жадная до „припента“ машина уже изслѣдуетъ ходы на дѣвственную рѣку, гдѣ ея свистокъ вмѣстѣ съ рыбой распугаетъ и многіе бытовые устои казачьей жизни...

— Вѣрно, вѣрно!—успокаиваетъ его офицеръ.—Дѣйствительно,—говоритъ онъ, обращаясь ко мнѣ,—пароходъ пробова въ установить рейсы по среднему теченію Урала, но это было уже давно...

— Войско не пожелало!—твердо прибавляетъ учужный казакъ,—шишь съѣла!

Оттого ли, что войско „не пожелало“, или по другой причинѣ, но дѣйствительно рейсы прекратились, и дикій Яикъ, дѣвственный и вольный, пока свободно бѣжитъ между ярами, шипитъ у желѣзныхъ шестовъ учуга и баюкаетъ залегающія въ омутахъ ятови красной рыбы.

Впослѣдствіи, во время моей поѣздки по верховымъ станицамъ выше учуга,—когда я заговорилъ о томъ же предметѣ съ рыболовомъ-казакѣмъ, онъ высказалъ полную увѣренность, что пароходу уже навсегда запретили тревожить воды Урала.

— Какъ это можно,—говорилъ онъ съ убѣжденіемъ.—Вонъ у меня подъ яромъ сазанъ держится. Вотъ какой са-

зантъ... агромадный! Такъ вѣдь онъ у меня жилой (жилой—не уходящій въ море).

— Ну, такъ что же?

— Какъ что? Да вѣдь пароходъ его долженъ испугать. Онъ, значить, можетъ тогда податься въ море. Конечно!

И онъ былъ вполне увѣренъ, что этого достаточно и что его жилой сазанъ во вѣки вѣковъ не пустить въ рѣку парохода...

Въ другой разъ я подъѣхалъ къ берегу Урала у Бѣлыхъ горокъ (верстахъ въ 10 ниже Уральска, въ запретной части рѣки). Здѣсь, на увалѣ, стояла сторожка, изъ которой къ намъ вышелъ старый казакъ въ сѣромъ пиджакѣ и форменной фуражкѣ.

Это былъ караульный пикетчикъ, на обязанности котораго было слѣдить за рѣкой. Нѣкогда такіе пикеты наблюдали за движеніями орды, теперь они слѣдятъ только за поступками рыбы. Пикетчикъ зналъ рѣчную глубину такъ же отчетливо, какъ и учужный казакъ, и такъ же увѣренно рассказывалъ, кто изъ водныхъ обитателей уже изволилъ прибыть изъ моря и кто ожидается на дняхъ, а также гдѣ кто изъ этихъ новоприбывшихъ избираетъ себѣ мѣста для остановокъ („ятовей“). Затѣмъ онъ указалъ мнѣ рукой вдаль, на „степную сторону“ и сказалъ:

— А вонъ тамъ—другой пикетъ.

Вглядѣвшись, я дѣйствительно увидѣлъ вдалекѣ бѣлую фигуру... Еще дальше, въ мрѣющей степной мглѣ мелькала третья, уже чуть замѣтная бѣлая точка.

— И такъ до моря?—спросилъ я.

— Да, до самаго Гурьева...

— Ну, а выкупаться тутъ можно? — спросилъ я наивно, истомленный жарой.

Въ глазахъ пикетчика мелькнуло выраженіе самаго неподдѣльнаго испуга.

— Что вы это, Богъ съ вами! — произнесъ онъ, какъ бы очнувшись. — Какъ можно въ рѣкѣ купаться? Въ озерахъ, — сколько угодно, а въ рѣкѣ... Да тутъ слѣдъ на песокъ увидать, — я обязанъ объяснить, кто и для какой надобности подходилъ къ берегу... А вы—купаться!.. Ахъ, Боже мой!..

Онъ съ искреннимъ изумленіемъ смотрѣлъ на человѣка, который могъ сказать такую несообразность, и для того, чтобы хоть отчасти возстановить мою репутацію, — спутникъ мой по этой поѣздкѣ долженъ былъ разъяснить ему, что я пріѣзжій и мѣстныхъ порядковъ не знаю...

За то эта тихая рѣка становится неузнаваемой въ періоды осеннихъ и весеннихъ плавень, когда войско усѣиваетъ бударами всѣ берега и яры и затѣмъ, по сигналу, кидается на рѣку и идетъ „ударомъ“ на высмотрѣнные раньше ятови. Здѣсь уже исчезаетъ всякое іерархическое различіе, и казачій офицеръ, будь онъ даже полковникъ, — становится въ рядъ съ простымъ казакомъ. Будары соединяются по двѣ, въ каждой сидятъ ловець-казакъ и гребцы (гребцы могутъ быть и наемные)... Говорятъ, если въ это время (что случается нерѣдко) какой-нибудь ловець, стоящій на ногахъ въ узкой и шаткой бударкѣ, упадетъ въ воду (иногда даже ледяную), вся эта масса бударъ пронесется мимо, какъ кавалерійскій отрядъ въ атакѣ надъ упавшимъ съ лошади, и никто не остановится, чтобы подать ему помощь.

Зимой въ періодъ багренья войско движется вдоль берега отъ Уральска внизъ, по направленію къ Гурьеву, останавливаясь въ заранѣе отведенныхъ мѣстахъ и такъ же по сигналу кидаясь въ санихъ на ледъ, къ мѣстамъ лова. Рѣка закипаетъ тогда своеобразной походной жизнью. За войскомъ тянутся торговцы рыбой, тутъ же заготавливающие и отправляющие ее цѣлыми обозами въ Россію, продавцы съѣстныхъ припасовъ, сапоговъ, рукавицъ, шапокъ, принадлежностей лова, наконецъ, виноторговцы, „знямки“, по старой памяти о „царевомъ винѣ“ выставляющие надъ бочками національные флаги...

Эти походы всѣмъ войскомъ противъ безопасно зазимовавшей рыбы представляютъ тоже явленіе, можетъ быть, единственное въ своемъ родѣ, содѣйствующее въ высшей степени сохраненію на Уралѣ казачьяго быта и типа. Войско въ эти періоды чувствуетъ себя въ сборѣ. На привалахъ обсуждаются общественныя дѣла, кипятъ религіозные споры, распространяются политическія новости и въ старину всякая смута зарождалась въ этихъ походахъ. Пугачовъ тоже собирался „объявиться“ на плавнѣ, но старшинская сторона и осторожный Симановъ отмѣнили осенній ловъ... Вообще въ тотъ годъ ловли не было, и рыба свободно спала эту зиму по омутамъ, пока степь курилась пожарами, гремѣла выстрѣлами и обливалась кровью...

На время севернѣйшей ловли и багренья—назначается особый атаманъ рыболовства, обязанный слѣдить за соблюденіемъ правилъ лова. Но еще болѣе властнымъ распорядителемъ является обычай. Надо отдать справедливость войску: загородивъ свою рѣку, оно сдумѣло дѣйствительно завести на ней образцовые рыболовные порядки, и здѣсь общинный духъ, повидимому, сказанъ гораздо полнѣе, чѣмъ въ примитивной земельной общинѣ. Наблюденія войска надъ нра-

вами и образомъ жизни водяныхъ обитателей могли бы дать интересный матеріалъ для науки. Въ собраніи уполномоченныхъ ежегодно обсуждаются вопросы, возникающіе на почвѣ рыболовства, и послѣ тщательнаго обсужденія, новые приемы самаго лова или его общинныхъ распорядковъ осторожно вводятся въ практику.

Первый участокъ рѣки, раздѣленный для багренаго рыболовства, всегда отводится для такъ называемаго „презента“. Это старинный обычай, и уже во времена Михаила Ѳеодоровича зимовья яицкія станицы ѣздили въ столицу, кланялись государямъ войсковымъ рыбнымъ подаркомъ и получали въ свою очередь „ковши и сабли“. Войско дорожить этой патриархальной традиціей, и еще недавно въ письмѣ ко мнѣ знакомый казакъ писалъ: „въ декабрѣ буду въ Уральскѣ (живетъ онъ верстъ за 100 выше)—пріѣду багрить для презента“. Это значить, что онъ не будетъ даже участвовать въ остальномъ ловѣ уже для себя, и пріѣдетъ только на первый день... Къ сожалѣнію, какъ это можно часто наблюдать въ этой архаической сторонѣ, къ старинному обычаю присосались старинныя же злоупотребленія. Старшины, распоряжавшіеся „презентомъ“ безконтрольно, стали употреблять остатки (очень значительные) отъ этого обще-войскового улова на подарки „нужнымъ людямъ“, часто никакого отношенія къ войску не имѣвшимъ. Рыбные презенты разсылались въ Петербургъ, начальникамъ военной коллегіи, оренбургскому и казанскому губернаторамъ, ихъ чиновникамъ, а также важнымъ лицамъ въ городѣ. Нерѣдко эти „войсковые“ подарки посылались лицамъ, явно враждебнымъ войску, и это, конечно, изстари же вызывало глухое недовольство. Между тѣмъ и въ настоящее время общій уловъ, остающійся послѣ презента, распределяется безъ всякаго участія войска. Рыбу и икру послѣ багренья получаютъ всѣ видныя въ городѣ лица, служащія въ разныхъ вѣдомствахъ. Этотъ явный анахронизмъ ставитъ ихъ отчасти въ неловкое положеніе: неудобно отказаться отъ подарка, присылаемаго высшимъ войсковымъ начальствомъ отъ имени войска, а между тѣмъ само войско весьма недвусмысленно косится на этихъ стороннихъ потребителей его улова, который могъ бы идти на обще-войсковыя потребности. Наконецъ, и измѣнявшаяся степень расположенія, выражающаяся въ возрастающихъ или убывающихъ количествахъ осетрины или икры,—тоже подаетъ поводъ къ разнаго рода ироническимъ комментаріямъ.

Изъ среды самаго войска, особенно интеллигентной его части, возникали попытки вернуть старый обычай къ его первоначальному значенію. Къ одному изъ бывшихъ атамановъ являлась даже депутація съ просьбою допустить уполномо-

ченныхъ къ участію въ распредѣленіи презента. Отвѣтъ получился очень оригинальный.

— Государь довѣрилъ мнѣ все войско,—сказалъ атаманъ депутатамъ,—а вы не довѣряете такого пустяка. Значить, вы лучше знаете, чѣмъ Государь?..

Между тѣмъ, былъ случай, когда атаманъ, желая выразить непрекращавшіяся симпатіи къ полку, въ которомъ онъ служилъ раньше,—отсылалъ значительную часть презента офицерамъ этого полка. Выходило, что все войско выражаетъ полку своего рода „солидарность по оружію“. Къ сожалѣнію, однако, эта особливая симпатія немедленно исчезла, какъ только атаманъ получилъ другое назначеніе. Тогда „солидарность по оружію“ прекратилась, и рыбный столъ полка мгновенно оскудѣлъ...

Войско ропщетъ, но, разумѣется, терпитъ, тѣмъ болѣе, что это уже „ведется изстари“. За то нѣтъ, кажется, такой силы, которая могла бы по произволу нарушить установившіеся и освященные обычаемъ приемы самаго лова. Въ своеобразномъ строѣ этой казачьей общины ея военное начальство совмѣщаетъ (въ идеѣ, конечно) съ званіемъ командира также званіе своего рода общиннаго патріарха, распоряжающагося ея хозяйственнымъ и даже иной разъ домашнимъ бытомъ. По его „прочетному приказу“, съ которымъ гонецъ-казакъ скачетъ отъ станицы къ станицѣ,—войско начинаетъ на всемъ протяженіи общій покосъ, и по его сигналу идетъ ударомъ на рыбныя ятови. Совершенно понятно, что тотъ или другой, даже очень добродушный военный генералъ легко можетъ забыть демаркаціонную линію, отдѣляющую „войско“ отъ рабочей общины, и строй рыбаковъ, готовыхъ къ ловлѣ, отъ фрунтоваго строя...

На этой почвѣ возможны порой всякія недоразумѣнія. Такъ, одинъ атаманъ вскорѣ послѣ своего назначенія, незнакомый еще съ порядками и духомъ этого своеобразнаго войска, распорядился, по собственному усмотрѣнію, продолжать ловъ на сосѣднемъ участкѣ, не загороженномъ, по обычаю, въ нижней части аханною сѣтью. По наблюденіямъ уральцевъ, въ такихъ случаяхъ рыба, раненая баграми, кидается внизъ по теченію и тревожитъ спящія въ омурахъ ятови. На команду атамана все „войско“, вмѣсто того, чтобы мгновенно ринуться на ледъ,—осталось неподвижно на мѣстахъ. Совершенно понятно, что на кавалерійскаго генерала, при-
выкшаго командовать въ строю, это произвело такое же впечатлѣніе, какъ если бы эскадронъ остался на мѣстѣ послѣ команды „въ атаку“. Онъ повторилъ приказъ, но „войско“ по прежнему угрюмо стояло на берегу. Никто не вышелъ изъ ряда,—остались на мѣстахъ не только неслужилые ка-

заки, но и офицеры и даже чиновники войскового правленія, вдвойнѣ подчиненные атаману. А черезъ нѣкоторое время по густымъ массамъ пошелъ все повышавшійся ропотъ..

— Ахъ, ахъ,—говорилъ старый казакъ, рассказывавшій мнѣ объ этомъ драматическомъ эпизодѣ.—Мы, старики, даже испугались...

— Чего же?

— А-ахъ! Ты, братъ, не знаешь видно, какое наше войско, особливо, ежели коснется обычаевъ.

— Сурьзаное войско!—энергично пояснилъ другой.

Къ чести атамана, нужно прибавить, что онъ скоро спохватился, сообразивъ, что передъ нимъ рыбаки на ловлѣ, а не смотровая шеренга,—и отмѣнили неловкій приказъ... Та-кимъ образомъ все обошлось благополучно.

III.

Новый и старый городъ.—Старый соборъ и таинственная гробница.—Курени.—Пугачевскій дворецъ и домъ Устиньи Кузнецовой.—Нѣсколько историческихъ воспоминаній.

Уральская желѣзная дорога построена еще совсѣмъ недавно. Когда возникъ вопросъ объ отчужденіи земли подъ полотно дороги,—казачья община оказалась въ нѣкоторомъ затрудненіи; приходилось въ недѣленную степь пустить цѣлую полосу, которая отходила въ полную собственность дороги. Въ концѣ концовъ, отчужденіе все-таки произошло и при томъ на условіяхъ, необыкновенно выгодныхъ для желѣзнодорожнаго общества: право собственности оно приобрѣло почти за чечевичную похлебку.

Когда, однажды, объ этомъ зашелъ при мнѣ разговоръ въ интеллигентномъ мѣстномъ кружкѣ, одинъ изъ собесѣдниковъ высказалъ мнѣніе, что было-бы лучше уступить обществу полосу отчужденія совсѣмъ даромъ, но на условіи—пользоваться ею исключительно для надобностей пути сообщенія, а не въ собственность. Теперь-же, коснувшись желѣзнодорожныхъ сребренниковъ, казачій строй допустилъ къ себѣ опаснаго сосѣда: на отчужденной землѣ стали элеваторы, мельницы, склады, задымились трубы, въ темные осенніе вечера загорѣлось электрическое освѣщеніе. Кажется, первыя попытки желѣзной дороги, въ свою очередь, отдать землю для промышленныхъ предпріятій вызвали процессъ, который община проиграла, и теперь подъ бокомъ у бывшаго Яицкаго городка растетъ цѣлый поселокъ, живущій своею особенною жизнью, и главное—ростутъ интересы, которые, конечно, когда-нибудь потребуютъ и своего представительства. Вокзалъ и

линія желѣзной дороги—это вторженіе „иностраннаго“ элемента въ самое сердце исключительно казачьей общины...

Какъ бы то ни было, неизбѣжный фактъ уже совершился. Сначала казачій городъ выразилъ свое нерасположеніе тѣмъ, что отодвинулъ мѣсто для вокзала подальше. Но въ послѣднее время онъ продолжаетъ „Большую улицу“ и самъ явно тянется къ вокзалу своей сѣверной частью... Здѣсь паровой свистокъ, котораго войско не желаетъ слышать на рѣкѣ, раздается властно и невозбранно, растутъ склады, магазины, каменные дома... За то на югѣ—старый историческій „городокъ“ прижимается къ Яику съ его нетронутыми водами и утrugомъ.

Это два полюса, два разныхъ періода исторіи, Европа и Азія, прошедшее и будущее этой казачьей страны...

На самомъ рубежѣ между ними, какъ бы заступая дорогу надвигающейся Европѣ, на „Большой“ городской улицѣ стоитъ старый соборъ, почтенное сѣрое зданіе съ шатровыми крышами и облупившейся штукатуркой. Это тотъ самый соборъ, колокольня котораго была когда-то взорвана пугачевцами. До сихъ поръ старожилы указываютъ груды камней и щебня, отмѣчающихъ мѣсто этого взрыва. Здѣсь-же около собора находился небольшой „ретраншементъ“, въ которомъ полковникъ Симановъ съ „вѣрными“ старшинской стороны казаками отсиживался отъ овладѣвшихъ городомъ пугачевцевъ.

Здѣсь все и до сихъ поръ носитъ характеръ глубокой, сѣдой старины. Старый соборъ, закрывающій убогіе курени отъ европейскаго конца Большой улицы, замѣчателенъ тѣмъ, что, по общимъ отзывамъ, упорно „не принимаетъ новой штукатурки“ и уже нѣсколько разъ сбрасывалъ ее съ себя, какъ ничтожную шелуху, обнажая опять старый окаменѣвшій кирпичъ, надъ которымъ пронеслись уже вѣка, междуособія и стихіи. Простые казаки говорятъ объ этомъ фактѣ съ глубокимъ убѣжденіемъ и суевѣрной многозначительностью, болѣе интеллигентные обыватели—съ недоумѣніемъ. Какъ бы то ни было,—фактъ (объясняемый, быть можетъ, особыми свойствами „войсковой“ штукатурки) устанавливается многочисленными показаніями: старый соборъ стоитъ на рубежѣ стариннаго Яицкаго городка и, упорно отменяя новую оболочку, подаетъ примѣръ консерватизма своимъ смиреннымъ сосѣдямъ...

Внутри этого собора, на правой сторонѣ, невдалекѣ отъ входа, бросается въ глаза грубая каменная гробница, въ формѣ саркофага, покрытая частью облупившейся темною краской. Надъ этой странною, пожалуй, загадочною гробницей носятъ сбивчивыя преданія. Говорятъ, между прочимъ, будто одинъ изъ священниковъ Петропавловской церкви (находившейся

внѣ ретраншементѣ, во власти пугачовцевъ) отказался вѣнчать Пугачова съ казачкой Устиньей Кузнецовой и за это былъ замученъ. Казаки „вѣрной стороны“ похитили его тѣло и положили въ эту гробницу. Кажется, однако, что преданіе невѣрно: историческіе источники нигдѣ не упоминаютъ объ этой казни. Наоборотъ, послѣ захвата Пугачова Яицкіе священники подверглись суровымъ карамъ за излишнюю уступчивость требованіямъ „набѣглаго царя“. Да и самое преданіе колеблется: по другой версіи (нашедшей отголоски въ мѣстной печати)—подъ видомъ похоронъ попа полковникъ Симановъ и осажденные, „старшинскіе“ казаки—скрыли въ гробницѣ войсковыя регаліи: атаманскіе насѣки и грамоты царей войску, опасаясь, чтобы все это не попало въ руки пугачовцевъ, если-бы они взяли „ретраншементъ“. Какъ бы то ни было, молчаливая и таинственная гробница, невѣдомо кѣмъ поставленная въ углу стараго казачьяго собора—привлекаетъ общее вниманіе. Въ войскѣ издавна существуетъ легенда о какой то грамотѣ царя Михаила Ѳеодоровича, въ силу которой казакамъ отдавалась рѣка Яикъ отъ вершинъ и до моря, со всѣми притоками. Эта заманчивая грамота, сгорѣвшая, будто-бы, въ большой пожаръ еще вначалѣ XVII столѣтія, служила предметомъ настойчивыхъ розысковъ, и уже во времена Петра Великаго зимовья яицкія станицы потратили немало денегъ, роясь въ столичныхъ архивахъ. Но никакихъ слѣдовъ грамоты не нашлось. Такимъ образомъ, очевидно, она не могло попасть и въ эту гробницу. Какъ бы то ни было, въ войскѣ существуетъ упорное убѣжденіе, что какія-то реликвіи казачьяго строя и, можетъ быть, какія-то его „права“ дремлютъ въ темной гробницѣ, въ нѣдрахъ стараго собора, не принимающаго новой штукатурки *).

Вокругъ собора и за нимъ раскинулись „курени“: убогіе деревянные домишки, порой плетневые мазанки съ плоскими крышами. Здѣсь уже и не пахнетъ городомъ. Казачата играютъ въ уличной пыли и на муравѣ, мимо церкви бредетъ старый-престарый казачище съ посошкомъ и бормочетъ что-то про себя. Вдали виднѣются крутые, глинистые обрывы Урала, уже на другой, „бухарской“ сторонѣ. И подъ шумъ степного вѣтра, налетающаго отсюда и крутящаго вихрями летучую пыль, — какъ то даже забываешь, что стоишь на той-же улицѣ, въ другомъ концѣ которой красуется триумфальная арка, европейскіе магазины, вокзалъ, элеваторы..

Здѣсь, въ убогихъ куреняхъ есть, однако, и свои историческія достопримѣчательности. Между прочимъ, на углу

*) Въ интересахъ исторіи подымался даже вопросъ о вскрытіи гробницы, но дѣло это заглохло, кажется, въ духовномъ вѣдомствѣ.

Большой и Стремянной улицы показывают два очень скромных дома. Одинъ изъ нихъ, угловой, — деревянный, сложенъ, очевидно, очень давно, изъ крѣпкаго лѣсу. Бревна отлично еще сохранились, хотя одинъ уголъ сильно вросъ въ землю, отчего стѣны покосились, а тесъ на крышѣ весь обросъ лишаями и истлѣлъ, кое-гдѣ превратившись въ мочало. Другой, — стоящій рядомъ, вглубь Стремянной улицы, тоже очень старый, сложенъ изъ кирпича съ нѣкоторыми претензіями на „архитектурныя украшенія“. Онъ тоже весь облупился. Слѣпя окна отливаютъ радужными побѣжалостями, крыльцо, выходящее во дворъ, весь заставленный кизяками, — погнулось уже подъ бременемъ лѣтъ до такой степени, что могло бы возбудить любопытство архитектора самымъ фактомъ своего равновѣсія.

Мѣстное преданіе гласитъ, что первый домъ (деревянный) принадлежалъ казаку Петру Кузнецову, откуда Пугачовъ взялъ себѣ невѣсту, Устинью Петровну, ставшую на короткое время „казацкой царицей“. Въ каменномъ — жилъ будто-бы самъ Пугачовъ во время наѣздовъ въ Яицкъ изъ Оренбурга...

Есть много основаній считать это преданіе вѣрнымъ. Мѣстный старожилъ, писатель Вяч. Петр. Бородинъ, передавалъ мнѣ, что нѣсколько лѣтъ назадъ, при перекладкѣ печи въ каменномъ домѣ, печники нашли цѣлую связку старинныхъ бумагъ, повидимому, тщательно скрытыхъ подъ печью. Очень можетъ быть, что въ связкѣ этой находились интереснѣйшіе матеріалы для исторіи Пугачова, но, къ сожалѣнію, полицейскій надзиратель, знавшій объ этомъ фактѣ, рассказалъ о немъ слишкомъ поздно, и отыскать бумагъ не удалось...

Какъ бы то ни было, фактъ этотъ тоже отчасти подтверждаетъ, что старое каменное зданіе играло какую-то особенную роль въ историческомъ движеніи. Тотъ-же В. П. Бородинъ говорилъ мнѣ, что каменный домъ принадлежалъ Кузнецову и въ немъ жила Устинья уже царицей, а Пугачовъ останавливался у нея во время своихъ наѣздовъ въ Уральскъ. Мнѣ кажется, однако, что преданіе, связывающее оба сосѣдніе дома и называющее деревянный домикъ Кузнецовскимъ — вѣрно. Извѣстно, во-первыхъ, что Кузнецовъ былъ казакъ небогатый, а каменныхъ домовъ въ то время было немного. Во-вторыхъ, г-нъ Дубровинъ, въ своемъ обстоятельномъ трудѣ говорить, что передъ вторымъ отъѣздомъ въ Оренбургъ Пугачовъ перевелъ свою новую жену въ Бородинскій домъ, лучшее зданіе въ городѣ. Мѣсто этого дома указываютъ теперь различно: это — или нынѣшній атаманскій домъ на Большой улицѣ, или еще одинъ домъ, давно уже перестроенный такъ, что отъ прежняго едва-ли остались и стѣны.

Указаніе мѣстнаго преданія и это точное указаніе исторіи, однако, легко примиряются, если принять во вниманіе, что Пугачовъ пріѣзжалъ въ Уральскъ еще до своей женитьбы. Какъ извѣстно, онъ дважды велъ подкопы подъ ретраншементъ и самъ постоянно руководилъ минными работами. Слѣды одной изъ этихъ минъ и теперь еще видны въ куреняхъ, по направленію отъ собора на югозападъ. Такимъ образомъ весьма вѣроятно, что вначалѣ Пугачевъ самъ жилъ въ этомъ каменномъ домикѣ, распоряжаясь осадой и подкопомъ, а Кузнецовы были въ это время его ближайшими сосѣдями.

Это подтверждается еще однимъ существеннымъ указаніемъ. Выдающийся уральскій изслѣдователь и знатокъ старины, покойный Іоасафъ Игнатьевичъ Желѣзновъ, въ первой половинѣ прошлаго столѣтія собралъ много живыхъ еще преданій того времени, частью записанныхъ со словъ очевидцевъ и во всякомъ случаѣ—по свѣжимъ слѣдамъ. Одна изъ рассказчицъ, столѣтняя монахиня (Анисья Невзорова),—говорила Желѣзнову (въ 1858 г.) о знакомствѣ Пугачова съ будущей „Царицей“:

— Сидить, это, онъ, Петръ Ѳедоровичъ, подъ окномъ и смотритъ на улицу, а Устинья Петровна на ту пору бѣжитъ черезъ улицу, въ одной фуфаячкѣ да въ кисейной рубашечкѣ, рукава засучены по локоть, а руки въ красной краскѣ (она занималась рукодѣльемъ: шерсть красила да кушаки ткала). Тутъ онъ въ нее и влюбился.

Этотъ рассказъ современницы самыхъ событій указываетъ на близкое сосѣдство обоихъ домовъ и подтверждаетъ преданіе, витающее надъ этими полуразвалившимися зданіями на Стремянной: изъ этихъ слѣпыхъ нынѣ оконъ каменнаго дома Пугачовъ могъ видѣть красавицу Устю, пробѣгавшую „по домашнему“ черезъ улицу. И это опредѣлило трагическую судьбу молодой казачки...

Въ старинныхъ „дѣлахъ“, которыя я имѣлъ случай читать въ войсковомъ архивѣ, не разъ упоминается о „называемомъ дворцѣ“ Пугачова. Весьма вѣроятно, что и сватовство, и свадьба происходили еще въ этомъ скромномъ домѣ. Судя по историческимъ даннымъ, Устинья шла за „набѣглаго“ царя“ неохотно. Когда къ ней пріѣхали сваты, она спряталась въ подполье.

— И что они дьяволы, псовы дѣти, ко мнѣ привязались?—говорила она.

Во второй разъ къ ней пріѣхалъ уже самъ Пугачовъ, но и тутъ Устинья и ея отецъ не охотно шли навстрѣчу высокой чести...

Послѣ свадьбы и второго взрыва Пугачовъ опять уѣхалъ

въ Оренбургъ, но прежде онъ образовалъ цѣлый штатъ „придворныхъ“ около новой „царицы“. Въ бумагахъ войскового архива, въ спискахъ арестантовъ, содержавшихся во время усмиренія бунта при войсковой канцеляріи, я встрѣтилъ, между прочимъ, имена: „Устиньи Пугачовой“ (sic), содержавшейся „за выходъ въ замужество за извѣстнаго злодѣя, самозванца Пугачова и за принятіе на себя высокой фамиліи“; сестры ея Марьи Кузнецовой („по обязательству сродствомъ съ беззаконнымъ самозванцемъ“), Петра Кузнецова („за отдачу дочери своей Устиньи Петровой за злодѣя Пугачова“), Семена Шелудякова („за бытіе въ самозванцевой партіи и за ѣзду отъ самозванцевой жены къ злодѣю Пугачову по почтѣ подъ Оренбургъ съ письмами“), Устиньи Толкачевой („за бытіе при самозванцевой женѣ за фрейлину“), старшинской женки Прасковьи Иванаевой („за бытіе у самозванцевой жены стряпухой“) и молодого казака подростка („за бытіе при называемомъ дворцѣ въ пажахъ“)...

Бракъ этотъ не принесъ счастья бѣдной казачкѣ и очень повредилъ Пугачову. Самая свадьба происходила подъ громъ, правда, неважныхъ пушчѣнокъ изъ ретраншементъ. Въ „куреньяхъ“ пугачовцы въ свою очередь построили свою „бунтовскую батарею“, которою командовалъ мрачный атаманъ Карга. Между осажденными съ полковникомъ Симановымъ и осаждающими пугачовцами, кромѣ постоянной перестрѣлки пулями и ядрами, шла еще и перестрѣлка словесная. И съ той, и съ другой стороны посылались на древкахъ стрѣлы и дротиковъ укорительныя письма, въ которыхъ бунтовщики самымъ явительнымъ образомъ отзывались о царицѣ Екаторинѣ, а „старшинскіе“ явили царицу казачку изъ куреней.

Нѣтъ сомнѣнія, что нравственные мотивы играли значительную роль въ этомъ движеніи. Сила Пугачова была въ наивной и глубокой народной вѣрѣ, въ обаяніи измечтаннаго страдальцемъ народомъ страдальца царя, познаващаго на себѣ неправду и гоненіе, несущаго съ собою освобожденіе и правду. Женитьба отъ живой жены была яркой, бьющей въ глаза „неправдой“. Это была нравственная побѣда „ретраншементъ“ надъ куренями, давшими новую жену отъ живой царицы. Даже покорное духовенство отказалось упоминать Устинью на эктеняхъ „до синодскаго указу“, и кто знаетъ,—не будь этой женитьбы, удалось ли бы полковнику Симанову отсидѣться въ своемъ ретраншементѣ до освобожденія Оренбурга. Но крыша Кузнецовскаго дома была видна съ колокольни собора, и ликованіе кощунственной свадьбы доносилось за стѣны укрѣпленія, смущая не одну, уже, быть можетъ, колебавшуюся совѣсть.

Какъ бы то ни было, но этотъ невзрачный покосившійся

домъ видѣлъ въ своихъ стѣнахъ своеобразный „придворный штатъ“ фантастической царицы. Здѣсь толпились фрейлины—недавнія подруги ея по куренямъ,—и пажы-казачата. Пугачовъ, какъ извѣстно, относился къ ней все время съ уваженіемъ и довѣріемъ. По всѣмъ историческимъ свѣдѣніямъ, Устинья была скромная женщина, не вмѣшивавшаяся въ дѣла и никому не сдѣлавшая ни малѣйшаго вреда во время своего короткаго сказочнаго царствованія. Впослѣдствіи, по приказанію Панина, на Яикъ и въ Оренбургъ были присланы особые вопросы о поступкахъ Пугачова и пугачовцевъ. Нѣтъ сомнѣнія, что это разслѣдованіе не оставило бы безъ вниманія какихъ нибудь смѣшныхъ или предосудительныхъ выходовъ выскочки-царицы, если бы онѣ были. Но ихъ не было. Устинья въ своемъ трудномъ положеніи вела себя съ скромнымъ непосредственнымъ тактомъ, и даже въ тѣ времена бездушной формалистики, когда всякая вина была виновата,—она была признана по сентенціи невиновной... По временамъ у нея самой являлись, повидимому, сомнѣнія, и неразъ, ночью, молодая казачка плакала и приставала къ загадочному человѣку, неожиданно ставшему ея мужемъ, съ разспросами: кто онъ такой, дѣйствительно ли царь и по какому праву захватилъ ея молодую, только что расцвѣтшую жизнь въ водоворотъ своей туманной и бурной карьеры? Указаніе на эту интимную драму, начавшуюся въ стѣнахъ этого полуразвалившагося теперь дома, сохранилось въ допросахъ Устиньи (приводимыхъ г-мъ Дубровинымъ), но, разумѣется, подлый деревянный языкъ застѣночныхъ протоколовъ не могъ сохранить психологіи этой захватывающей драмы женскаго сердца... Жалобы и слезы юной казачки и смущенные отвѣты таинственнаго и мрачнаго человѣка, неожиданно вмѣшавшагося въ ея жизнь,—все это теперь стало тайной стараго дома. А такъ какъ и дѣйствительный Пугачовъ далеко не похожъ на того шаблоннаго злодѣя и „исчадіе ада“, какимъ, по старой привычкѣ, изображала его исторія; то очень можетъ быть, что въ эти минуты, наединѣ съ молодой женой, ему бывало труднѣе, чѣмъ на поляхъ битвъ, на приступахъ, или позднѣе, при „разспросахъ“ съ пристрастіемъ—Павла Потемкина. Можетъ быть, отчасти поэтому онъ не жилъ долго въ Яицкомъ городкѣ и, примчавшись изъ Берды съ небольшими отрядами по зауральской сторонѣ,—скоро опять мчался обратно снѣжными степями, рискуя встрѣтиться съ разбѣздами противниковъ или попасть въ руки орды...

Дальнѣйшая судьба бѣдной Устиньи очень печальна. Когда Пугачовъ проигралъ свое дѣло на Яикѣ и умчался изъ подъ Оренбурга, чтобы еще разъ пронестись ураганомъ по заводской и крѣпостной восточной Россіи,—Симановъ со

старшинской партіей вышли изъ ретраншемента, и началась расправа. Устинья со всѣмъ своимъ штатомъ попала изъ „называемаго дворца“ въ тюрьму при войсковой канцеляріи. Потомъ пошли этапы, кордегардіи, тюрьмы, эшафоты. Существуетъ очень правдоподобный разсказъ, будто бы Екатерина пожелала лично видѣть свою фантастическую соперницу и нашла, что она далеко не такъ красива, какъ о ней говорили. Послѣ всего, что пришлось перенести бѣдной казачкѣ, полу-ребенку, на пути отъ этого скромнаго деревяннаго домика въ куреняхъ до дворца Екатерины — отзыву этому легко повѣрить...

Это свиданіе могло бы, по моему мнѣнію, послужить сюжетомъ для интересной исторической картины. Послѣ него Устинья исчезаетъ надолго въ казематахъ Кексгольмской крѣпости. Болѣе четверти вѣка спустя (въ 1803 г.) царственный внукъ Екатерины, мечтательный и гуманный Александръ I, обходя эти казематы, встрѣтилъ тамъ, между прочимъ, и Устинью. На вопросъ государя, ему сообщили, что это вторая жена Пугачова. Александръ тотчасъ же приказалъ освободить ее, но, конечно, это пришло уже слишкомъ поздно...

Этотъ моментъ могъ бы, пожалуй, тоже послужить мотивомъ для картины... Да, торжественная исторія имѣетъ также свои задворки, совсѣмъ не торжественные и некрасивые. Бѣдная Устя, скромная казачка изъ куреней, красивый мотылекъ, захваченный вихремъ историческаго движенія — и великая императрица!.. Кто ихъ разсудитъ, и если кто разсудитъ, то какой тяжестью ляжетъ на чашку великихъ дѣлъ Екатерины несчастная судьба скромной казачки?

Теперь въ обоихъ историческихъ домахъ живутъ какіе-то бѣдняги-татары. Въ то время, какъ я внимательно осматривалъ ихъ и снималъ фотографіи, — хозяевъ не было дома. Тусклые окна загадочно глядѣли на улицу. Дворъ, на которомъ нѣкогда толпились казачьи старшины, полковники и „генералы“, пародировавшіе „графовъ“ и „князей“ екатерининской свиты, — заросъ муравой и былъ покрытъ кучами „кизяка“, запасеннаго на зиму бѣдной татаркой. Деревянное крыльцо, на которомъ, вѣроятно, сиживалъ казачій царь, творившій свою расправу, — уже совсѣмъ покосилось, и веревка для грязнаго бѣлья тянулась между колонками широкой террасы.

Пока я съ моимъ спутникомъ, казачьимъ офицеромъ П. Я. Шелудяковымъ, ходили вокругъ дома, заглядывая во дворъ, къ намъ стали собираться обитатели заинтересованныхъ „куреней“, казаки и татары. Одинъ изъ нихъ сообщилъ съ таинственной многозначительностью, что въ каменномъ

домъ что-то „непросто“: „мотри, непременно есть что-нибудь“. По его словамъ, живущая въ бывшемъ „дворцѣ“ вдова татарка слышитъ по временамъ подъ поломъ возню, шумъ, голоса и стоны. Очевидно, въ смутномъ сознаніи куренныхъ обывателей облѣзлое, полуразвалившееся зданіе—все еще хранить и бурныя страсти, и невыплаканныя слезы его бывшихъ обитателей.

Наше посѣщеніе, повидимому, создало въ куреняхъ новую легенду: обыватели заключили, что цѣль нашего осмотра—покупка „казною“ пугачевского дома, какъ бывшаго царскаго дворца. Наивные люди не понимаютъ, что эти достопримѣчательности куреней хотя и представляютъ памятники замѣчательной старины, но это памятники „опальные“, о которыхъ никто не позаботится, пока они, покорные времени, не сравняются съ землею...

Съ этими мыслями въ головѣ, съ трогательнымъ и грустнымъ образомъ бѣдной Усти въ воображеніи—оставилъ я Стремянный переулокъ. „Дворецъ“ стоялъ все такъ же насупленный и молчаливый, въ окнѣ кузнецовскаго дома мелькнуло за стекломъ дѣтское личико. Степной вѣтеръ взметывалъ бѣлесеыя листья тополей надъ старымъ русломъ рѣки, а невдалекѣ, въ своихъ крутыхъ берегахъ, бурлилъ и метался дикій Яикъ...

IV.

Поѣздка по верховымъ станицамъ.

Первый ночлегъ въ Трекиныхъ.—Разговоры съ казаками.—О Пугачовѣ-Волковскомъ.—«Студенты». — Волненія «изъ-за подписки». — Объ «агличанкѣ».

Я собрался въ поѣздку по „верховымъ“ станицамъ, т. е. кверху отъ Уральска, до Илека, гдѣ уже кончается область Уральскаго войска.

Для того, чтобы эта поѣздка не имѣла характера отпугивающей официальнойности, я принялъ свои мѣры. Во-первыхъ, я купилъ себѣ лошадь. Это былъ заслуженный когда-то строевой конь, постепенно опускавшійся по ступенькамъ житейской карьеры и передъ моей поѣздой исполнявшій скромную работу при молотилкѣ на войсковой учебной фермѣ. Опытный глазъ могъ еще различить сквозь худобу и опущенность—прежнія статьи хорошей казачьей лошади. Добрые люди снабдили меня тоже изрядно послужившей на своемъ вѣку телѣжкой на погнувшихся дрогахъ и, наконецъ, благопріятная судьба послала мнѣ прекраснаго спутника въ лицѣ Макара Егоровича В—на, илецкаго казака, учителя съ той же учебной фермы, вѣхавшаго въ Илекъ къ роднымъ.

Все это было очень для меня удобно, и когда, на склонѣ июльскаго жаркаго дня, снарядившись въ путь, мы двинулись изъ садовъ черезъ Чаганъ луговыми и степными дорогами, то вся совокупность нашей скромной экспедиціи—и костистая лошадь, и скрипучая телѣжка, и наши фигуры въ бѣлыхъ картузахъ, скоро припорошившихся летучей пылью,—ничѣмъ не нарушали привычной картины степной казачьей дороги, то лѣниво взбѣгавшей съ луговъ на увалы, то тянувшейся сѣрою лентою между бахчами...

Солнце сильно склонилось уже къ закату и играло послѣдними лучами на верхушкѣ триумфальной арки и церковныхъ главъ Уральска, когда, минуя „Баскачкину рѣстошь“—старое русло Урала,—и перерѣзавъ пыльный трактъ, мы поднялись на широкой уваль и поѣхали ровною степью... Затѣмъ лента гостеприимныхъ садовъ съ одной стороны, и пестрая полоска городскихъ зданій съ вокзаломъ и элеваторами съ другой—стали погружаться въ синеватую пыльную мглу. Передъ нами была безграничная степь, тоже обволакиваемая легкою передвечернею дымкой, и только вправо зеленая полоска лѣсной поросли отмѣчала вдали берега излучистаго Урала...

Солнце уже сѣло, и теплый тихій вечеръ спускался надъ степями, когда наша телѣжка въѣхала въ улицы Трекиныхъ хуторовъ, небольшого поселка, гдѣ мы намѣтили свой первый ночлегъ.

На улицахъ стояла тишина, свойственная этому, неопредѣленному сумеречному часу. Кое-гдѣ на заваленкахъ и бревнахъ виднѣлись группы казаковъ, занятыхъ мирными разговорами. Къ одной изъ такихъ группъ мы и привернули со своей телѣжкой.

— Добраго здоровья,—сказалъ мой спутникъ.

— Здравствуйте,—отвѣтили казаки.—Кого надо?

— Гдѣ тутъ живетъ вашъ уполномоченный NN?

Въ Уральскомъ войскѣ существуетъ особое учрежденіе, называемое „сѣздомъ уполномоченныхъ“, суррогатъ мѣстнаго самоуправленія, разрѣшающее запутанные вопросы общинно-хозяйственной и войсковой жизни. Рѣшающаго голоса сѣздъ не имѣетъ, но и совѣщательный голосъ выборныхъ представителей населенія все же имѣетъ нѣкоторое значеніе, отчасти, хотя и въ слабой степени восполняя отсутствіе Земства. И нужно сказать, что казачье населеніе относится очень сознательно и чутко къ дѣятельности своего выборнаго органа... Одинъ изъ моихъ уральскихъ знакомыхъ, писатель Н. А. Бородинъ, предвидя возможность недоувѣрія къ иногороднему проѣзжему, снабдилъ меня особымъ письмомъ, чѣмъ-то въ родѣ удостовѣренія личности. Въ этомъ письмѣ

отъ имени трехъ бывшихъ предсѣдателей сѣзда сообщалось о цѣли моей поѣздки и уполномоченные, знакомые имъ по сѣзду, приглашались оказать мнѣ содѣйствіе по собиранію нужныхъ свѣдѣній. Къ сожалѣнію, бумага эта осталась почти безъ дѣйствія, такъ какъ въ это время почти всѣ „уполномоченные“ были на бахчахъ или въ поляхъ. Но все же самая возможность ссылки на это письмо и розыски хоть какого-нибудь опредѣленнаго лица въ незнакомыхъ станицахъ давали мнѣ своего рода опорный пунктъ и служили началомъ разговора... Такъ случилось и теперь... На нашъ вопросъ, одинъ изъ казаковъ отвѣтилъ:

— Да вѣдь онъ живетъ въ городѣ.

— Да, — иронически подхватилъ другой. — Мы вотъ какъ: городского выбрали. Своихъ мало.

— Думали будетъ польза... — меланхолически добавилъ третій... — А что-то не видится... Да вамъ зачѣмъ?

— Письмо у насъ отъ Николая Андреевича Бородина. Переночевать бы.

— Такъ что же! Это и у меня можно, — сказалъ, подымаясь, высокий бородатый казакъ и сталъ отворять плетневые ворота.

Мы, разумѣется, охотно приняли приглашеніе и вѣхали во дворъ. Постройки въ этой безлѣсной мѣстности имѣютъ особый характеръ, отличительная черта котораго — преобладаніе плетней и чрезвычайная экономія матеріала. Въ послѣднее время входитъ въ употребленіе саманъ, но самая форма построекъ нерѣдко всетаки сохраняется старая, и маленькія, чистенькія мазаночки съ плоскими крышами придаютъ своеобразный видъ очень широкимъ станичнымъ улицамъ. Дворы тоже обносятся плетнями.

— Гдѣ хотите ночевать, — спросилъ у насъ хозяинъ: — на дворѣ, а то въ свѣтелкѣ?

Онъ только что вышелъ, наклоняясь въ дверяхъ, изъ своей избы, куда ходилъ распорядиться насчетъ самовара, и я искренно удивлялся, какъ могутъ такіе большіе люди помѣщаться въ такихъ игрушечныхъ жилищахъ. Ночлегъ въ жаркой свѣтелкѣ намъ не улыбался, и мы попросили устроить насъ на дворѣ.

На дворъ вынесли намъ и самоваръ. Вечеръ былъ чрезвычайно тихій и ласковый. Пламя свѣчи, поставленной на землѣ, стояло ровно, не колыхаясь, и освѣщало группу казаковъ, собравшихся изъ любопытства и сидѣвшихъ на землѣ по киргизски на корточкахъ. Одного изъ нихъ, сѣдого старика, съ буйными сѣдыми кудрями, выбивавшимися изъ-подъ слишкомъ узкаго форменнаго картуза, позвалъ хозяинъ, узнавшій о цѣли моей поѣздки, — какъ человѣка,

для меня интереснаго. По его словамъ, — дѣдъ его хорошо зналъ Пугачова.

— Какъ же, какъ же, хорошо зналъ, — говорилъ старикъ, утвердительно мотая головой... — Вмѣстѣ сурковъ выливали въ степи. Польютъ воду — сурокъ и выскочитъ. Онъ его сейчасъ и придавить къ землѣ подождомъ...

— Зачѣмъ же это? — спросилъ я.

— То-то вотъ. Бывало тоже и отецъ спрашиваетъ: зачѣмъ вамъ это, ваше превосходительство? А онъ и говорить: вотъ такъ же вашихъ отцовъ всѣхъ передавлю!.. Потомъ значить ушелъ и привелъ войска...

— Эхъ, что-то не такъ рассказываешь! — усомнился одинъ изъ присутствующихъ.

Старикъ дѣйствительно спуталъ. У Юсафа Игнатьевича Желѣзнова есть очень колоритный рассказъ стараго казака о томъ, какъ князь Волконскій — оренбургскій губернаторъ въ началѣ прошлаго вѣка — сначала искалъ у казаковъ популярности и ходилъ „по-простотѣ“ съ казачатами въ степь выливать сурковъ изъ норъ, а потомъ привелъ изъ Оренбурга войска и башкиръ. Дѣло тогда шло о введеніи въ уральскомъ войскѣ „чередовой“ службы. Казаки противились, — они видѣли въ этомъ первый шагъ къ регулярщинѣ, а регулярщина по тогдашнимъ понятіямъ казаковъ была хуже барщины. „Бери бѣлый Царь хоть всѣхъ на службу, всѣ пойдемъ съ охотой, но очереди не надо. Пусть остается наемка. Хоть два гроша казакъ возьметъ, да все-таки пойдетъ по охотѣ, а не какъ рекрутъ“. Такъ же встрѣчались попытки введенія однообразной формы и вообще всякаго „штата“. Среди казаковъ началось сильное броженіе, и они отказались послать требуемый начальствомъ полкъ въ Грузію. Въ это время, чтобы ознакомиться съ причинами и характеромъ движенія, изъ Оренбурга пріѣхалъ князь Волконскій. Онъ „принялъ на себя суворовскія замашки“, притворился простачкомъ, ходилъ по домамъ и толковалъ съ бабами объ ихъ житьѣ-бытьѣ, а съ ребятами выходилъ потѣшиться въ поле, выливать земляныхъ тушканчиковъ... Эта генеральская „блажь“ не обманула, однако, казаковъ, и войско смотрѣло на него съ прежней чуткой подозрительностью. Дѣйствительно, мѣсяца черезъ два послѣ отъѣзда, Волконскій вернулся съ нѣсколькими баталіонами солдатъ и съ отрядомъ башкирцевъ. Казаки встрѣтили его съ хлѣбомъ-солью, но онъ хлѣба-соли не принималъ, — пока казаки не примутъ отъ него то, что онъ привезъ. — „Отъ добра, батюшка, не откажемся, — отвѣтили казаки, догадываясь, что дѣло идетъ о „штатѣ“ — а что не по насъ, не обезсудь, кормилецъ, — совѣсть претить...“ Послѣ этого Волконскій повелъ свои войска и расквартировалъ ихъ

въ городѣ, а казаки, оскорбленные этимъ, остались въ степи за городскимъ валомъ. Волконскій звалъ ихъ въ городъ, но они не пошли. Тогда случилось то, что такъ часто случается на Руси: въ этомъ упорномъ стояніи въ открытой степи на морозѣ символизировалась своеобразная форма пассивнаго русскаго бунта. Казаки мерзли „за старые порядки“, а Волконскій,—повидимому, далеко не Суворовъ по уму,—вмѣсто того, чтобы предоставить имъ ябнуть, пока не надоѣстъ, все болѣе распалялся гнѣвомъ на это упрямое степное стояніе. Наконецъ, ему стало казаться, что вся его суворовская задача сводится къ тому, чтобы загнать упрямецевъ съ холодной степи въ теплые дома. Онъ захватилъ съ собою отрядъ башкиръ и, выѣхавъ въ поле, крикнулъ казакамъ: „Повиноваетесь ли волѣ начальства“? Казаки отвѣтили, что они рады повиноваться, но еще не знаютъ „въ какую силу“. Тогда генералъ скомандовалъ сотнику Кочкѣ, и башкиры съ нагайками кинулись на толпу. Перваго схватили зачинщика Павлова, но казаки прикрыли его своими тѣлами. Тогда началось общее побоище. Башкиры били кого попало, а казаки сбивались въ кучу и кого оттуда оттаскивали насильно, тотъ опять кидался подъ градъ ударовъ...

Такъ кончилась эта попытка кн. Волконскаго дѣйствовать на Уралѣ „по суворовски“. Увы! Какъ это много разъ случилось на Руси въ разные времена и въ разныхъ мѣстахъ—одной генеральской „блажи“ и натиска оказалось недостаточно, чтобы добиться суворовскихъ успѣховъ... Въ народѣ надолго сохранилась память объ этомъ бессмысленномъ побоищѣ, и казаки, по имени сотника Кочки, называли его Кочкинымъ пиромъ. Нѣкоторые старики приурочиваютъ мѣсто этого событія къ двумъ крестамъ, и теперь еще стоящимъ на срединѣ дороги между городомъ и садами, на гребнѣ возвышенности, надъ спускомъ луга...

Исторію эту, записанную въ очень колоритномъ разсказѣ Желѣзновымъ, я читалъ уже раньше въ одномъ изъ рукописныхъ списковъ и теперь невольно разсмѣялся, услышавъ, что старая затуманившаяся память смѣшиваетъ этого строгаго любителя порядка съ Емелькою Пугачовымъ.

— Ты это, дѣдушка, о Волконскомъ рассказываешь,—сказалъ я старику.

— Ну-ну!—покорно согласился онъ.—Можетъ и о Волконскомъ... А тоже, всеравно, строгій былъ.

— Немудрено и запоминать,—снисходительно поддержалъ кто-то.—Старъ вѣдь дѣдушка...

— Какое старъ,—насмѣшливо отозвался другой казакъ,—когда еще наемку плотить.

Старый обычай „наемки“, изъ-за котораго когда-то войско

готово было принять какое угодно „усмирение“, дожилъ и до настоящаго времени, хотя и въ измѣненномъ видѣ. Прежде казаки, не желавшіе идти на службу въ Россію, нанимали за себя охотниковъ. Теперь всѣ уже обязаны отбыть извѣстный срокъ въ строевой службѣ, но затѣмъ казакъ можетъ избавиться отъ нея, внося „наемку“, изъ которой войско выдаетъ „подмогу“ тѣмъ, кто идетъ на службу. Такимъ образомъ, неслужилые казаки обложены специальной податью. Тотъ, кто не можетъ платить, обязанъ идти на службу, которая для казака тянется очень долго. Время такимъ образомъ разрѣшаетъ старый споръ: всѣ остальные русскіе люди освобождаются отъ воинской повинности по истеченіи шести лѣтъ (и раньше). Казакъ и по истеченіи 15 лѣтъ все еще или откупается, или служить, и прежняя привилегія по службѣ теперь превращается въ тягость, которая еще усиливается иной разъ бюрократическими ошибками или злоупотребленіями казачьяго строя.

Жертва такой ошибки была теперь передъ нами въ лицѣ этого старика въ сѣромъ пиджакѣ, съ сѣдыми кудрями. Видъ у него былъ какой-то хронически обиженный и недовольный. Онъ былъ одинокъ, потому что за службой не успѣлъ жениться, бѣденъ, потому что за службой не могъ пользоваться ни рыбной ловлей, ни покосами. И вдобавокъ теперь, въ концѣ седьмого десятка, вынужденъ все еще откупаться отъ этой обездолившей его службы.

— Вояка—иронически говорили, глядя на него, казаки.

— Какъ же такъ?—спросилъ я, недоумѣвая.—Почему же не просишь, чтобы сняли.

— Поди ты, просилъ! Да видно что-нибудь не такъ написали...

— А тебѣ бы къ студенту какому-нибудь сходить,—серьезно посоветовалъ кто-то.

Это упоминаніе о „студентѣ“ на казачьемъ дворѣ очень меня заинтересовало. Оказалось, что подъ „студентами“ говорившій разумѣлъ группу интеллигентныхъ казаковъ, окончившихъ высшія учебныя заведенія и занявшихъ у себя на родинѣ разныя должности. Одинъ изъ нихъ, мой знакомый Н. А. Бородинъ обратилъ на себя вниманіе въ качествѣ ученаго войскового техника по рыболовству, другой, Ив. Ив. Иванаевъ,—войскового агронома, третій—сталъ мировымъ судьей и т. д. Дѣятельность этой группы интеллигентныхъ людей, образованіе и сознательное отстаиваніе общинныхъ интересовъ на сѣздахъ, скоро выдѣлило „студентовъ“ изъ общаго фона очень отсталой казачьей бюрократіи. Казачья среда, повидимому, инстинктивно почувствовала, что просвѣщеніе ей не враждебно. Въ другихъ мѣстахъ мнѣ тоже приходи-

лось слышать отзывы о „студентахъ“ съ тѣмъ же специфическимъ оттѣнкомъ...

Намъ принесли свѣжаго сѣна и постелили тутъ-же, подъ стѣнкой избы. Огарокъ, освѣщавшій группу казаковъ около самовара, погасъ, да въ немъ и не было надобности. Луна поднялась высоко, заглядывая на нашъ дворикъ, часть собесѣдниковъ разошлась, но человѣка три все еще сидѣли, увлеченные теплою ночью и бесѣдой...

Случайное упоминаніе о Волконскомъ и Кочкиномъ пирѣ направило разговоръ на аналогичныя темы. Последней вспышкой борьбы за старину противъ регуляризма и нововведеній были извѣстные беспорядки 1874 года, вызванные, впрочемъ, въ значительной степени недоразумѣніемъ и нетактичностью начальства. Передъ какой-то частичной реформой генералу Крыжановскому, тогдашнему оренбургскому ген.-губернатору, или кому нибудь изъ мѣстнаго казачьяго начальства пришла несчастная мысль предварительно потребовать у казаковъ общую подписку въ томъ, что „я, такой то, обязуюсь повиноваться распоряженіямъ высшей власти“. Эта нелѣпая, безпредметная и ни къ чему не нужная „подписка“ всколыхнула все казачество. Къ чему это? Что значить? На какой предметъ?.. Казаки уперлись. Вышло „сопротивленіе“ и, конечно, усмиреніе.

— Ты, NN, старый служака,—говорилъ генераль Бизяновъ одному старому заслуженному казаку, который мнѣ рассказывалъ объ этомъ лично.—Ты Богу и великому Государю повинешься?—„Винуемся Богу великому Государю во всяко время. Все войско!“—Ну вотъ, значить подпишешься?..—„Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство! Подписаться намъ никакъ невозможно“...

— Почему же вы не хотѣли подписаться?—спросилъ я.

— Что вы, развѣ возможно. Въ подпискѣ сказано: обязую себя повиноваться высшей власти, что ни прикажетъ. За такія подписки знаете, что бываетъ?..

И затѣмъ, съ загорѣвшимся въ глазахъ огонькомъ, онъ добавилъ: „Мало-ли что бывало! Можетъ что нибудь супротивъ царя“...

Однимъ словомъ, вышло генеральное недоразумѣніе. Съ одной стороны, было полное незнакомство съ духомъ казачества, его подозрительностью и съ особеннымъ, деликатнымъ характеромъ его „вѣрнопопданства“, которое уже не разъ сказывалось бурными потрясеніями, съ другой—полное и глубочайшее недовѣріе къ посредствующему начальству, имѣющее свои корни въ злополучной и залитой кровью исторіи Яика.. Оренбургскій генераль-губернаторъ Крыжановскій безъ всякой надобности раздулъ исторію въ цѣлый бунтъ. Казаковъ

высылали въ Сибирь, къ Аму-Дарьѣ и на Аральское море. Гнали этихъ „уходцевъ“ двумя путями. Однихъ черезъ Уральскій мостъ у города Уральска, киргизскою степью, другихъ черезъ верховыя станицы до Илека; а тамъ опять за Уралъ... Каждый разъ, какъ изгнанниковъ перегоняли на „степную“ сторону,—происходили раздирающія сцены. Казаки сбивались въ кучу и обнявшись, со слезами не хотѣли уходить съ родной земли. Повторялись опять эпизоды Кочкина пира. Избитые нагайками старики и молодые сбивались въ кучу, а оторванные отъ нея,—ползли по землѣ къ своимъ... Теперь по манифестамъ большинство уходцевъ уже вернулись на родину... Отличные казаки!—говорилъ мнѣ одинъ офицеръ.—Но *подписки* и теперь ни за что не дали-бы... Если потребуютъ,—всѣ пойдемъ до 80-лѣтнихъ стариковъ... Присягу—сколько угодно! Ну, а ужъ подписку... Нѣтъ, ваше благородіе, шалишь! Ни за какія коврижки...

— Мимо нашего поселка на Гниловскую гнали этихъ „уходцевъ“,—разсказывалъ теперь нашъ хозяинъ.—Мы съ братомъ въ ту пору въ полевыхъ казакахъ служили, а въ дому дѣдъ жилъ, лѣтъ девяноста. Одѣлся онъ, посошокъ взялъ въ руки и пошелъ себѣ за уходцами. „Куда, ты дѣдушка, бредешь?“—спрашиваютъ у него шабры.—А куда людей гонять, туда и я.—Прибѣжали къ намъ шабры, сказываютъ: вотъ какое дѣло, дѣдъ за уходцами ушелъ... Братъ скочилъ на лошадей, погналъ, догналъ въ Кирсановѣ.—А ужъ дѣдушка подъ карауломъ идетъ!—„Что такое? Какъ можете старика гнать? Ему девяносто лѣтъ“. Насилу уже отняли да и самъ старый еще не идетъ: „куда старое войско, туда и я“. Ну, взялъ братъ, какъ ребенка малаго, посадилъ въ телѣгу, айда назадъ. Дорогой-то старикъ все плакалъ... Я, говорить, за старымъ войскомъ...

— Да дѣла!.. Какъ еще большаго худа не вышло!

— Растревожили войско съ „подпиской“ этой... А вѣдь наше войско какое...

— Извѣстно: сурьѣзное войско...

Разговоръ затянулся за полночь. Лежа на сѣнѣ, я началъ дремать. Въ промежуткахъ, раскрывая глаза, я видѣлъ силуэты боролатыхъ фигуръ, сидѣвшихъ въ кружокъ, и въ центрѣ ихъ—говоруна хозяина, оживленно жестикулировавшего и размахивавшаго руками. Фигура эта при взглядѣ снизу принимала въ моихъ сонныхъ глазахъ чудовищные размѣры, а руки размахивали гдѣ-то подъ самыми звѣздами... Обрывки долетавшихъ до моего сознанія разговоровъ тоже становились все фантастичнѣе. Рѣчь шла о политикѣ, о китайской войнѣ, объ агличанкѣ, о Скобелевѣ. Скобелевъ, оказывалось, вовсе не умеръ. Вообще, на Уралѣ знаменитые

люди приобрѣтають даръ безсмертія. Не умеръ въ свое время Петръ III, не казнили Пугачова и Чику, Елизавета Петровна послѣ своей смерти очутилась невѣдомыми судьбами въ пещерѣ на Уральскомъ сырту, Императоръ Николай I тоже „ходилъ“ и являлся казакамъ...

Что касается Скобелева, то онъ „скрылся“, потому что былъ приговоренъ къ разстрѣлу за обиду, причиненную „агличанкѣ“... Обругалъ ее...

— Онъ, значить, стоитъ на Балканахъ противъ Царяграда, а агличанка загородила дорогу. Нѣмецъ и говоритъ: даромъ что Скобелевъ на Балканахъ, — агличанка юбкой потрясетъ, онъ и уберется... А онъ услышалъ и осердился. — Ахъ она, говоритъ, такая саякая... Давай ее сюда, я ее... Ну и загнулъ...

— По русски!

— Да. Она, конечно, обидѣлась...

— Все таки королева...

— Само собой... Императрица! Ну, нашему Царю изъ-за Скобелева не воевать. И скрыли—будто разстрѣленъ... А подойдетъ война, онъ тутъ

— Агличанка что, она только хитра... Хитростью и беретъ... Шла разъ со своими флотами къ нашей приморской крѣпости. Идетъ моремъ, а самоё не видать, — всѣ флоты подъ водой, взять нечѣмъ. Однако, нашелся солдатикъ одинъ. — Я, говоритъ, возьму. Посмотрите въ подозрную трубку, что увидите? Посмотрѣли — видно: гусекъ по морю плыветъ. Устрѣлите, говоритъ, гуська. Навели пушку, устрѣлили гуська, и вдругъ изъ-подъ воды пошли флоты выходить... Одинъ за однимъ, одинъ за однимъ — такъ и выходятъ. Ну, наши, конечно, изъ пушекъ

— А слышь, наши изъ Манжуріи пишутъ—были въ гостяхъ у её...

— Ну и что?..

— Угощала. Господъ офицеровъ особенно, ну, и караулъ тоже... Вино, закуски, все какъ слѣдуетъ... Хорошо угощала, нечего сказать...

Я заснулъ, нѣсколько озабоченный мыслью, какъ должна отразиться смерть королевы Викторіи на политическихъ взглядахъ нашего народа, когда „агличанка“, раздражительная и коварная баба, берущая при женской слабости женскими же хитростями и лукавствомъ—вдругъ превратится, съ воцареніемъ наслѣдника, въ мужчину...

Пробужденіе мое было не особенно пріятно. Дворовая собака, вернувшаяся съ какихъ-то отдаленныхъ ночныхъ походовъ и заставшая незнакомыхъ людей, пожелала озна-

комиться ближе съ пришельцами. А такъ какъ я лежалъ съ самаго краю, то, подойдя ко мнѣ, она стала обнюхивать мой лобъ и лицо...

Я приподнялся съ похолодѣвшей подушки... Небо сильно освѣтлѣло, блѣдная луна скрывалась на западной сторонѣ за сосѣднія крыши. Рядомъ съ нами, раскинувшись, спалъ нашъ хозяинъ и что-то бормоталъ во снѣ. Можетъ быть, онъ бралъ со Скобелевымъ крѣпости или ему грезились бурныя времена въ сурьезномъ войскѣ...

Переносные пески.—Требухинскій посёлокъ.—Старый казакъ Ананій Ивановичъ Хохлачевъ.—О Пугачовѣ.—О киргизахъ и ихъ усмирении.—Убиенный маръ и старое поле битвы.

Въ дальнѣйшій путь мы двинулись рано. Отдохнувшая лошадь бѣжала рѣзво, но скоро пришлось ѣхать шагомъ.

Подымался легкій вѣтеръ и, оглянувшись на Трекины, я увидѣлъ посёлокъ точно сквозь мятьель. Это по степи несся тонкій сыпучій переносный песокъ... Пескомъ завалило дорогу, колеса уходили въ него чуть не по ступицу и трудно ворочались съ тяжелымъ сухимъ шипѣніемъ... Цѣлыя гряды большихъ песчаныхъ бугровъ, голыхъ или слегка поросшихъ жесткимъ кякомъ, легли по степи, и верхушки ихъ курились подъ легкимъ вѣтромъ, точно огнедышащія горы...

Эти переносные пески представляютъ настоящую угрозу нашимъ юго-восточнымъ степямъ... Въ тотъ годъ была на Уралѣ образована коммиссія для изобрѣтенія мѣръ борьбы съ этимъ грознымъ явленіемъ. Но—пока что—песокъ, какъ столбы снѣга въ зимній день, мчался по степи, засыпая насъ и курясь по обширному степному простору. Дорога прижалась къ длинному узкому озеру, къ самому берегу котораго уже подступили огромные песчаные холмы, и по отлогимъ бокамъ ихъ лежали наметанные бугры, какъ застывшія волны. И все это курилось и свистѣла сухая поросль колючей солянки, и тонкая пелена песку неслась дальше, ложась на зеленые камыши озера...

Мы миновали посадъ Гниловскій. Когда-то, очевидно, онъ стоялъ надъ самой рѣкой, на красивой правильной излучинѣ, образовавшей почти полный кругъ. Но въ послѣдствіи рѣка измѣнила свое русло, прорыла прямой ходъ, и казачій посёлокъ стоитъ надъ обсохшимъ яромъ.

Вправо отъ дороги, красиво расположенный на увалѣ, показался посёлокъ Даринскій, потомъ Вшивка и Дьяковскій посёлокъ. Съ послѣднимъ связано преданіе о „дьякѣ“, который когда-то въ старину отговаривалъ походнаго казачьяго

атамана идти на Хиву. Атаманъ, взбѣшенный карканьемъ дьяка въ самомъ началѣ похода, повѣсилъ его на бугрѣ и пошелъ дальше, но предсказаніе дьяка сбылось: и атаманъ, и весь казачій отрядъ погибли въ знойныхъ хивинскихъ пескахъ. Вообще, рядъ хивинскихъ походовъ былъ чрезвычайно несчастливъ для уральцевъ. Извѣстный зимній походъ ген. Перовскаго завершилъ эти неудачи настоящей катастрофой, и на Уралѣ установилось убѣжденіе, что Хива городъ заклятый и взять ее невозможно... Теперь, конечно, убѣжденіе это уже разрушено...

Въ серединѣ дня мы сдѣлали привалъ въ Рубежной на казачьемъ постояломъ дворѣ, отмѣченномъ, по мѣстному обыкновенію, клокомъ сѣна, мотавшагося на шестѣ надъ воротами. Здѣсь, подъ навѣсами, укрытый въ густой тѣни, стоялъ тарантасъ проѣзжаго торговаго казака, и еще молодой казакъ, тоже проѣзжій, сидѣлъ свѣсивъ грустно голову на своей телѣгѣ, пока его лошадь жевала сѣно. Онъ былъ отпущенъ домой со службы по болѣзни, прожилъ годъ на родинѣ и теперь ѣхалъ въ Уральскъ, въ комиссію, для новаго освидѣтельствованія... Онъ сильно загорѣлъ, но глаза у него были все еще больные и грустные. Мнѣ сразу вспомнился другой больной казакъ, котораго я встрѣтилъ въ поѣздѣ. Такъ же грустно глядѣли его глаза и такъ же онъ говорилъ, что „служба казачья чижолая, нѣтъ чижеле, за то—земля вольна“. Впрочемъ, и онъ этой землей не пользовался, потому что былъ изъ бѣдной семьи и не могъ платить наемку...

Задолго еще до вечера пріѣхали мы въ Требухинскій поселокъ, расположенный близъ устья хорошенькой степной рѣчки Ембулатовки.

Два раза въ смутныя времена, послѣ убійства генерала Траубенберга и во время пугачовщины, генералъ Фрейманъ, шедшій изъ Оренбурга, переправлялся черезъ Ембулатовку съ своимъ регулярнымъ „деташементомъ“ и артиллеріей. Оба раза казаки выбѣгали, съ своей стороны, къ Ембулатовкѣ тоже съ артиллеріей и „учиняли здѣсь сраженія“, стараясь помѣшать переправѣ, но правильная тактика нѣмца оба раза опрокидывала сопротивленіе удалыхъ яицкихъ наѣздниковъ. Разсматривая подробную карту Уральской области, я нашелъ на ней, выше Требухинскаго поселка, близъ рѣчки, урочище, обозначенное названіемъ „Убиеннаго мара“. Мнѣ пришло въ голову, что, быть можетъ, этимъ грустнымъ именемъ народная память окрестила мѣсто битвы, и я хотѣлъ посѣтить его.

Въ Требухахъ-же оказался интересный человѣкъ, старый 89 лѣтній казакъ Ананій Ивановичъ Хохлачевъ. Я слышалъ о немъ, какъ о человѣкѣ любознательномъ, собравшемъ въ

своей старой памяти много преданій. Хозяйка постоялаго двора, на которомъ мы остановились, оказалась крестницей Ананія Ивановича, и охотно вызвалась пригласить его къ намъ для бесѣды.

Черезъ полчаса во дворъ явился рослый старикъ, съ очень длинной сѣдой бородой, въ старинной формы стеганомъ халатѣ и, не смотря на жаркій день—въ валеныхъ сапогахъ. Глаза Ананія Ивановича были старчески тусклы, голосъ нѣсколько глухъ, но память еще ясная, рѣчь очень связанная и толковая. Онъ дѣйствительно принадлежалъ къ числу людей, съ дѣтства нацѣленныхъ той воспріимчивой любознательностью, которая заставляетъ насъ поглощать книги, а юношу изъ народной среды—жадно прислушиваться къ старинной пѣснѣ, къ преданіямъ и рассказамъ бывалыхъ людей и стариковъ...

Онъ отказался выпить съ нами чаю,—скромно и не объясняя причины (на Уралѣ многіе не пьютъ чаю, считая это грѣхомъ), но охотно взялъ яблоко, которое, впрочемъ, такъ и держалъ все время въ рукѣ (дѣло было еще до яблочнаго Спаса). Но на вопросы отвѣчалъ охотно и даже съ нѣкоторой гордостью и удовольствіемъ. Это было удовольствіе человѣка, много узнававшего въ свою, уже закатывавшуюся жизнь, и встрѣтившаго возможность передать другимъ кое-что изъ этого запаса. О Пугачовѣ онъ говорилъ, какъ о настоящемъ царѣ, приводилъ очень точно разныя преданія, называя лицъ, отъ которыхъ все это слышалъ, и перечисляя степени ихъ родства съ самими участниками историческихъ событій. Онъ былъ просто великолѣпенъ, когда, замѣтивъ, что я записываю кое-что въ свою книжку, выпрямился и, положивъ руку на столикъ, сказалъ:

— Пиши: старый казакъ Ананій Ивановъ Хохлачевъ говорилъ тебѣ: мы, старое войско, такъ признаемъ, что настоящий былъ царь, природный... Такъ и запиши!.. Правда.

— А какъ-же, Ананій Ивановичъ, онъ былъ неграмотенъ? Указы самъ не подписывалъ.

— Пустое это,—отвѣтилъ онъ съ увѣренностью—Не только что русскую, нѣмецкую грамоту зналъ. Потому что вѣдь онъ въ нѣмецкой землѣ рожденъ...

Отъ Пугачова мы перешли ко временамъ болѣе близкимъ, заговорили о прежней службѣ, о киргизахъ. О своихъ сосѣдахъ за Ураломъ, съ которыми ему приходилось въ молодости воевать,—Ананій Ивановичъ говорилъ съ глубокой враждой и недовѣріемъ.

— Кыргызы—человѣкъ вредной,—говорилъ онъ.—Бывало, молодой я былъ,—на покосъ и съ покосу съ поселковъ идемъ,—что ты думаешь—все кареемъ, какъ на войнѣ. Чуть отбился

отъ карей, ужъ онъ на тебя насѣлъ. Заарканить, пригнется къ лукѣ—айда въ степь! Человѣка волокомъ тащить... Приволокеть живого въ аулъ,—ладно, въ есыръ угонить, въ Хиву, въ Бухару продать, а померъ на арканѣ,—въ степи бросить. Ему что: убытку мало. Они объ насъ такъ понимаютъ, что мы и не люди...

Ананій Ивановичъ засмѣялся и покачалъ своей сѣдой головой...

— Ох-хо-хо!.. Да, этакъ вотъ... Бывало ѣдетъ кыргызинъ отъ меня. Другой настрѣчу. Кемъ джургемъ? Значить: откуда ѣдешь?—„Капырнемъ джургенъ“ — отъ проклятаго, дескать, ѣду... Вы, спрашиваю, подлые, зачѣмъ такъ говорите? Я не проклятый, я казакъ, русской человѣкъ... Они нашъ родъ и теперь помнятъ, что ихъ мой дѣдушка когда-то пушкой билъ. И то люди говорятъ: не ходи ты, Ананій Ивановичъ, на бухарску сторону, они на тебя старую кровь имѣютъ...

— Да въдь теперь, говорятъ, они смирные.

Мнѣ, дѣйствительно, рассказывали многіе, что „орда“ теперь совсѣмъ смирна, а одинъ купецъ увѣрялъ, что онъ съ деньгами и безоружный проѣзжалъ по всей киргизской степи совершенно безопасно. Нужно только подѣхавъ къ аулу и объявить себя гостемъ, иначе, пожалуй, ночью, могутъ угнать лошадь. Но грабежей и убійствъ изъ-за денегъ не слыхано, и купцы спятъ среди степи, нисколько не остерегаясь.

— Это вѣрно,—подтвердилъ и Ананій Ивановичъ, но тотчасъ же добавилъ упрямо:—А все когда-нибудь змѣя укуситъ... Конечно, теперь подобрѣли...

Онъ опять улынулся.

— Помню я еще Давыдъ Мартемьяныча *)... Вотъ усмирялъ кыргызовъ, ай-ай! Бывало, чуть что—беретъ сотню казаковъ да въ степь на аулы...

Онъ посмотрѣлъ на меня и въ старыхъ тусклыхъ глазахъ мелькнулъ огонекъ.

— Такъ они чего дѣлали, кыргызы-то... Видятъ—бѣда неминуемая, сами кто ужъ какъ можетъ измогаются, а ребята-тишковъ соберутъ въ какую ни есть самую послѣднюю кибитку да кошмами заложать... Значить—къ сторонкѣ... Ну, казаки аулъ разобьютъ, кибитку арканами сволокутъ, ребята-тишки и вывалются, что тараканы...

— И что же?

— Да что: головами объ котель, а то на пики...

Старикъ говорилъ просто, все улыбаясь тою же старче-

*) Давыдъ Мартемьяновичъ Бородинъ, сынъ извѣстнаго старшины пугачовскихъ временъ, Мартемьяна Бородина, былъ войсковымъ атаманомъ въ первой половинѣ прошлаго столѣтія.

ской улыбкой... Вѣтеръ слегка шевелилъ сѣдую бороду и рѣдкіе волосы на обнаженной головѣ казачьяго патріарха. Мнѣ вспомнилась повѣсть І. П. Желѣзнова, чрезвычайно популярная среди уральцевъ, настоящая казачья эпопея. Въ ней герой Урала, Василій Струняшевъ, тоже разбиваетъ головы киргизскихъ ребятъ о котлы. „Змѣю убивать, зубовъ не оставлять“. И уральскій писатель съ умиленіемъ изображаетъ своего добродѣтельнаго героя...

Я перемѣнилъ тему разговора.

— А что, Ананій Ивановичъ, — вамъ извѣстно объ Убіенномъ марѣ?..

— Это который?

— Да вотъ на Ембулатовкѣ, верстахъ въ 7-ми отъ вашего поселка.

— А, это громомъ убило заразы четырехъ человѣкъ... Оттого и назвали. А то есть еще Убіенный маръ поближе, верстахъ, можетъ, въ полуторыхъ. Тутъ, бывало, — я еще ребенкомъ былъ, — оружіе выкапывали...

— Вы что-нибудь по генерала Фреймана слышали?

— Слыхалъ, изъ Ленбурха шелъ. Наши съ нимъ сраженіе дѣлали. Тутъ онъ и переправлялся...

Прощавшись съ Ананіемъ Ивановичемъ, мы запрягли отдохнувшую лошадь и отправились по лѣвому берегу небольшой степной рѣчки къ указанному мѣсту. Большой и широкой курганъ, какихъ много разбѣяно въ степи, вѣроятно очень древняго, еще, можетъ быть, доисторическаго происхожденія, лежалъ на заливному луку, а невдалекѣ тянулся невысокій уваль. Два небольшихъ возвышенія, въ родѣ могилъ, близъ этого кургана, быть можетъ, насыпаны надъ павшими въ битвѣ съ Фрейманомъ... Послѣдніе косые лучи солнца золотили траву на этихъ могильникахъ, и степной вѣтеръ шепталъ что-то невнятное и печальное...

Черезъ часъ мы все еще ѣхали по темной уже дорогѣ. На юго-востокѣ подымалась луна, большая и блѣдная, а книзу отъ нея по небу шла тихая гамма чудесныхъ вечернихъ оттѣнковъ. Степь закутывалась мглою, лѣнивые увалы тянулись по ней, точно ужи, разлегшіеся на отдыхъ; гдѣ-то звенѣлъ, какъ птица, слѣпышъ (маленькій степной звѣрекъ, — по увѣренію моего спутника), кое-гдѣ отсвѣчивали во мглѣ тихія озера, ильмени и ерики... Впереди насъ, скрипявая, ѣхали двѣ телѣги, одна, запряженная верблюдомъ, другая лошадыю. На одной сидѣлъ казакъ, на другой молодая казачка, но теперь они оба усѣлись на передней телѣгѣ, и по временамъ до насъ долеталъ невнятный разговоръ. На подъемахъ силуэтъ верблюда рисовался въ свѣтѣ

той полоскѣ неба и казался тогда чудовищно громаднымъ...

Мы ѣхали молча. Въ моей памяти все стояло важное лицо стараго казака и его эпически-безстрастные рассказы...

... „Старую кровь вспоминають“... .. „Головенками объ котлы, а то—на пики“...

Вл. Короленко.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Боевая пѣснь.

(Изъ Петефи).

Борьба на смерть—не на животь,
 Ни слова о пощадѣ:
 Пускай одинъ изъ насъ падеть—
 Не уступлю ни пяди!

Довольно слезъ, тоски... Я правъ,
 Я цѣну жизни знаю:
 Однажды цѣпи разорвавъ,
 Я вновь ихъ не желаю!

Врагъ силенъ... Да! Но не ему
 Достанется побѣда:
 Я свѣтъ несу, онъ сѣть тьму
 И—не оставитъ слѣда.

С. Травиновъ.

Отрывки о религіи.

III.

Разказы миссіонеровъ, путешественниковъ и вообще обширная литература о религіи первобытныхъ народовъ приучили насъ не удивляться безсмысленнымъ съ нашей точки зрѣнія вѣрованіямъ, ужаснымъ культамъ, безобразнымъ богамъ. Весь этотъ міръ, къ которому мы, какъ будто, успѣли приглядѣться, въ то же время такъ далекъ отъ насъ, такъ чуждъ намъ, что никакая нелѣпость, никакое звѣрство въ немъ не останавливаютъ на себѣ нашего пристального вниманія. Но вотъ въ Римѣ, съ которымъ мы связаны преемственностью культуры, въ Римѣ, оставившемъ намъ доселѣ руководящія произведенія литературы, ораторскаго искусства, философіи, законодательства, мы встрѣчаемъ культъ цезарей; настоящій культъ, съ жертвоприношеніями, молитвами, особыми храмами и жрецами, титуломъ бога. Что это такое? Какъ могла сложиться такая религія? Какъ могъ считаться богомъ человѣкъ при жизни, пестрящей яркими преступленіями, глупостями, слабостями, или послѣ смерти, такъ наглядно исключающей мысль о божественномъ безсмертіи?

Я не буду говорить о подробностяхъ культа цезарей (для этихъ подробностей см. Гастона Буассье „Римская религія отъ Августа до Антониновъ“, Жана Ревилля „Религія въ Римѣ при Северахъ“, монографію аббата Вёрлье „Le culte imperial, son histoire et son organisation depuis Auguste jusqu'à Justinien“). Вспомнимъ лишь для образца два—три проявленія той смѣси наглої дерзости, льстиваго низкопоклонства и какого-то безумнаго шутинства, которыя составляли культъ цезарей.

Калигула требовалъ себѣ и получалъ поклоненіе, молитвы, жертвоприношенія въ качествѣ бога, причемъ являлся то Геркулесомъ, то Аполлономъ, Меркуріемъ, Марсомъ, наконецъ, даже Юноной, Діаной, Венерой. Онъ выписалъ въ Римъ статую Зевса Олимпійскаго, чтобы поставить на мѣсто головы верховнаго бога свою собственную. Корабль, на которомъ везли статую, былъ разбитъ ударомъ грома, и тогда Калигула завелъ себѣ свой собствен-

ный, механический громъ. Онъ былъ женатъ на лунѣ, и когда однажды спросилъ Л. Вителлія, отца будущаго императора, видалъ ли тотъ, какъ луна ходитъ къ нему по ночамъ, Вителлій избѣжалъ большой опасности, давъ ловкій отвѣтъ: „Государь, только богамъ дано видѣться между собой“. Надо, впрочемъ, сказать, что этотъ грозный безумецъ, силою требовавшій себѣ имени бога и соответственныхъ почестей при жизни, послѣ смерти не былъ зачисленъ въ списки боговъ. Но, напримѣръ, Юлій Цезарь былъ провозглашенъ богомъ по инициативѣ сената и народа или народовъ, а Октавій Августъ долго сопротивлялся своему обожествленію. Его соперникъ Антоній былъ менѣе щепетиленъ. Онъ объявилъ себя Вакхомъ-Діонисомъ и въ костюмѣ бога, со всѣмъ его антуражемъ, разбѣжжалъ по Греціи, публично предаваясь всякому распутству. Греки встрѣчали его съ энтузіазмомъ и дошли, наконецъ, до того, что предложили ему жениться на богинѣ Аѳинѣ. Антоній, не смущаясь, потребовалъ тысячу талантовъ въ приданое и не отступился отъ этого требованія даже послѣ замѣчанія одного находчиваго аѳинянина: „Господинъ, Зевесъ безъ приданого женился на твоей матери Семелѣ“. Извѣстна встрѣча Діониса Антонія съ Изидой Клеопатрой, начавшая собою знаменитый романъ римскаго цезаря съ египетской царицей. Сначала цезари довольствовались титуломъ „Divus“, божественный, и представляли собою какъ бы воплощеніе того или другого изъ великихъ боговъ, Марса, Вакха и т. п. Домиціанъ первый объявилъ себя „Dominus et Deus“, то есть буквально „Господь Богъ“, и такимъ образомъ сталъ богомъ самъ по себѣ, независимымъ отъ другихъ боговъ.

При первомъ взглядѣ на всѣ эти то трагическія, то комическія исторіи, въ голову для объясненія ихъ не приходитъ ничего, кромѣ безумія однихъ и раболѣпства другихъ. И, разумѣется, то и другое играло здѣсь свою, очень большую, роль. Нѣкоторые изъ римскихъ императоровъ, какъ извѣстно, прямо страдали психическимъ разстройствомъ,* носившимъ одно время въ наукѣ даже специальное названіе *Cäsarenwahnsinn, manie imperiale*. Но неудивительно, что и не переступая порога формальнаго безумія, головы цезарей кружились отъ странной, фантастической судьбы, выводившей ихъ часто внезапно, часто изъ низшихъ слоевъ общества или изъ инородныхъ сферъ на высоту исключительной власти надъ всѣмъ міромъ, какою считала себя римская имперія. И въ ихъ поступкахъ и словахъ не всегда можно отличить настоящаго безумца, вѣрующаго въ свою божественность, отъ простаго самодура въ родѣ Кита Китыча, получившаго возможность развернуться во всю. Что, напримѣръ, сказать о свирѣпой ироніи Каракаллы, который, обрекая на смерть своего брата Гету, острилъ: *sit divus, dum non sit vivus*—пусть будетъ богомъ, лишь бы пересталъ жить? Лестъ и раболѣпство въ изобиліи под-

кладывали топливо въ эту огненную печь безумія или наглаго самодурства. Когда Августъ умеръ, одинъ сенаторъ собственными глазами видѣлъ, какъ онъ вознесся на небо, за что вдова императора выдала наблюдательному сенатору миллионъ сестерцій. Доносчикъ Коссутіанъ Капитонъ призывалъ казнь на голову Пета Тразеи между прочимъ за то, что онъ не вѣритъ божественности Поппеи и не молится за сохраненіе небснаго голоса Нерона. И проч., и проч., и проч. Въ объясненіе такого поразительнаго развитія этой низости указываютъ обыкновенно на вліяніе восточныхъ народовъ, у которыхъ обожествленіе властителей существовало давно. Богами были египетскіе фараоны, затѣмъ Птолемеи, богомъ былъ Александръ Македонскій и цѣлый рядъ другихъ властителей. Востокъ строилъ алтари и храмы даже второстепеннымъ римскимъ полководцамъ и чиновникамъ. Но, какъ бы ни было сильно это восточное и особенно греческое вліяніе, оно не даетъ отвѣта на нашъ вопросъ, а только отодвигаетъ его рѣшеніе въ даль исторіи или въ даль географическую. Притомъ же какъ разъ съ востока шли и рѣшительные протесты противъ культа цезарей: евреи и христіане одни отказывались отъ почитанія императоровъ богами, и попытка Калигулы поставить въ іерусалимскомъ храмѣ свою статую съ подписью „Зевсъ“—потерпѣла фіаско, не смотря на бурный гнѣвъ сумасброднаго цезаря. Какъ ни велика, въ иные историческіе моменты, способность человѣческой природы стираться и терпѣть, все же одною лестью и низкопоклонствомъ нельзя объяснить обожествленіе цезарей. Отрицательные примѣры инако вѣрующихъ евреевъ и христіанъ сами собою наводятъ на мысль, что въ массѣ римскаго и варварскаго общества существовала дѣйствительно искренняя религіозная вѣра въ божественность главъ имперіи.

До какой степени не только невѣжественнымъ, но и образованнымъ, въ извѣстной мѣрѣ даже скептически настроеннымъ римлянамъ была свойственна вѣра въ возможность для человѣка стать богомъ, видно изъ слѣдующаго, на примѣръ, случая. По поводу апоѳеоза Цезаря Цицеронъ писалъ: „Есть ли что-нибудь безразсуднѣе, какъ помѣщать умершихъ среди боговъ и обоготворять ихъ, между тѣмъ, какъ имъ не подобаетъ никакого другаго поклоненія, кромѣ слезъ“. Однако, всего за годъ передъ тѣмъ онъ не довольствовался слезами надъ трупомъ своей дочери, Тулліи. Онъ писалъ тогда: „Если когда-либо кто-нибудь былъ достоинъ божескихъ почестей, о Туллія! такъ это ты. Ты заслуживаешь этой награды, и я дамъ тебѣ ее. Я хочу, чтобы лучшая и ученѣйшая изъ женщинъ, съ согласія безсмертныхъ боговъ, заняла мѣсто въ ихъ сонмѣ и чтобы всѣ люди признавали ее богиней“. Очевидно, смерть любимой дочери всколыхнула что-то, глубоко таившееся на самомъ днѣ души Цицерона и стоявшее въ противорѣчій съ его просвѣщенными взглядами.

Что же это такое было? И какъ могла хотя бы дѣйствительно лучшая и ученѣйшая женщина быть обожаемою не въ томъ смыслѣ, какъ мы „обожаемъ“ любимую женщину, а въ самомъ точномъ, буквальныймъ смыслѣ этого слова?

Въ составѣ огромнаго и пестраго римскаго пантеона есть группа боговъ, долгое время мало обращавшая на себя вниманія. Это именно духи предковъ, Лары, Маны, Герои или Геніи, маленькіе, хотя, по мнѣнію нѣкоторыхъ, древнѣйшіе и долгое время вліятельнѣйшіе боги. Ихъ почти не видать и не слышать изъ-за величавыхъ образовъ великихъ боговъ, изъ-за Юпитера, Марса, Нептуна, Венеры и т. д. Эти Маны или Лары получили въ исторіи культуры подобающее значеніе лишь сравнительно недавно, въ связи съ культомъ предковъ вообще. Любопытное освѣщеніе изъ судебъ даетъ Фюстель-де-Куланжъ въ книгѣ „La cité antique“. Книга эта, вышедшая въ оригиналѣ въ 1898 г. уже шестнадцатымъ изданіемъ, имѣется и въ русскомъ переводѣ; она не разъ излагалась и критиковалась въ нашей литературѣ. Поэтому мы не будемъ тратить время на ея подробное переизложеніе и остановимся лишь въ общихъ чертахъ на той ея сторонѣ, которая намъ нужна въ интересахъ нашей мысли.

„Надо помнить,—говоритъ Фюстель,—о чрезвычайной трудности для первобытныхъ народовъ образовать правильныя общества. Нелегко установить общественную связь среди этихъ столь свободныхъ, столь непостоянныхъ человѣческихъ существъ. Чтобы дать имъ общія правила, ввести управленіе и заставить ихъ повиноваться, чтобы подчинить въ нихъ страсть разуму и личный разумъ общему, необходимо нѣчто болѣе могучее, чѣмъ матеріальная сила, болѣе почтенное, чѣмъ выгода, болѣе достовѣрное, чѣмъ философская теорія, болѣе прочное, чѣмъ договоръ; нѣчто такое, что одинаково властно царитъ во всѣхъ сердцахъ. Это нѣчто есть вѣрованіе. Нѣтъ ничего болѣе могущественнаго. Вѣрованіе есть созданіе нашего духа, но мы бессильны измѣнить его по произволу. Оно есть наше твореніе, но мы этого не сознаемъ. Оно—дѣло человѣческое, но мы считаемъ его божественнымъ. Оно свидѣтельствуетъ о нашей силѣ и въ то же время сильнѣе насъ. Если оно приказываетъ, мы повинемся; если оно указываетъ намъ наши обязанности, мы ему подчиняемся. Человѣкъ можетъ властвовать надъ природою, но онъ подчиненъ своей мысли“.

Такимъ образомъ религія есть для Фюстеля основной связующій факторъ въ исторіи общественныхъ отношеній. Мѣстами онъ какъ будто колеблется въ этомъ отношеніи. Такъ, прослѣдивъ въ избранномъ имъ для изслѣдованія греко-римскомъ мірѣ историческую роль религіи, онъ приходитъ къ слѣдующему заключенію: „Общество развивалось лишь въ той мѣрѣ, въ какой расширялась религія. Трудно рѣшить, вызванъ ли былъ социальный

прогрессъ религіознымъ, но несомнѣнно, что они шли рука объ руку и въ замѣчательномъ согласіи“. Не смотря, однако, на эту оговорку, въ общемъ Фюстель вездѣ старается установить первенствующее значеніе религіи, по крайней мѣрѣ, до извѣстнаго, сравнительно очень поздняго момента исторіи Греціи и Рима.

Происхожденіе культа предковъ изъ того первобытнаго вѣрованія, что смерть не окончательно уничтожаетъ человѣка, а предоставляетъ ему нѣкоторое невидимое, но матеріальное существованіе; что онъ нуждается въ пищѣ, одеждѣ, оружіи, слугахъ; что онъ можетъ вліять хорошо или дурно на судьбу оставшихся въ живыхъ и слѣдовательно благосклонно внимать ихъ молитвамъ,—происхожденіе это слишкомъ хорошо извѣстно, и намъ нѣтъ надобности приводить относящіеся сюда факты (у Спенсера и Тайлора читатель найдетъ ихъ въ изобиліи). Особенность Фюстеля состоитъ въ тщательномъ изслѣдованіи той связи, которая существовала между этимъ вѣрованіемъ и общественными отношеніями.

Исходною точкою исторіи человѣчества, по крайней мѣрѣ, индо-европейскаго и въ частности греко-римскаго человѣчества Фюстель признаетъ патріархальную семью. Въ связи съ этимъ отправнымъ пунктомъ исторіи находится узость и замкнутость первобытной религіи. Въ каждомъ жилищѣ былъ свой алтарь или священный очагъ, на которомъ постоянно тлѣлъ огонь, въ извѣстные моменты разгоравшійся отъ возліяній масла, вина, жертвеннаго жира. Первоначально покойниковъ хоронили, можетъ быть, въ самомъ жилищѣ (впослѣдствіи во всякомъ случаѣ близъ жилища, на особомъ семейномъ кладбищѣ), и именно подъ священнымъ очагомъ, околу котораго въ опредѣленные часы собиралась вся семья для молитвы, обращенной къ предкамъ. Жрецомъ, то есть пока только лицомъ, произносившимъ молитвы и совершавшимъ жертвоприношенія, былъ глава семьи, ея полновластный господинъ, отецъ, и никто, кромѣ членовъ семьи, кровныхъ или формально, съ извѣстными обрядами принятыхъ, усыновленныхъ, не могъ присутствовать; ни за кого изъ постороннихъ семья не молилась,—у этихъ постороннихъ были свои Маны и Геніи, къ которымъ они и обращались; приближеніе, одинъ взглядъ чужака осквернялъ церемонію. И такъ какъ, съ одной стороны, весь этотъ ритуаль былъ нуженъ и покойнику, и живымъ, а съ другой стороны, въ силу основного принципа патріархальной семьи, жречество переходило отъ отца къ сыну, то наличность сыновей была дѣломъ первостепенной важности. Въ случаѣ отсутствія ихъ, прибѣгали къ разнымъ мѣрамъ,—къ разводу, замѣстителству мужа ближайшимъ родственникомъ, усыновленію. Женщина принимала участіе въ богослуженіи, но, выходя замужъ, дочь отлучалась отъ отцовской религіи и молилась богамъ своей новой семьи. И т. д. и т. д. Фюстель съ величай-

шею тщательностью слѣдить за отраженіемъ этого общаго порядка вещей на первобытной морали, на законахъ о брактѣ, на слѣдствѣ, собственности, положеніи дѣтей, рабовъ и проч.

Можетъ показаться, что все это не говорить въ пользу тезиса о первенствующей роли религіи, такъ какъ сама она опредѣляется общественными отношеніями, формой патріархальной семьи. Нѣтъ, возражаетъ Фюстель, самая эта форма коренилась въ вѣрованіи, что производительная сила, таинственная сила возсозданія новой жизни принадлежитъ только мужчинѣ, отцу. „Конечно,—говоритъ онъ,—намъ трудно теперь понять, какъ могъ человѣкъ обожать своего отца или предка. Обращать человѣка въ бога представляется намъ несомѣстимымъ съ религіей. Намъ почти также трудно понять древнія вѣрованія этихъ людей, какъ имъ было бы трудно вообразить наши. Но припомнимъ, что древніе не знали идеи творенія, и тайна рожденія была для нихъ тѣмъ же, что для насъ тайна творенія. Производитель былъ для нихъ божественнымъ существомъ, и они обожали предка“.

Итакъ, на зарѣ исторіи было столько религій, сколько семей, и всѣ онѣ не только не имѣли между собою ничего общаго, но были чужды другъ другу съ оттънкомъ враждебнаго характера. Семья разросталась, оставаясь нераздѣльною и сохраняя все ту же религію. Складывался родъ, и родовые боги, *dii gentiles*, продолжали покровительствовать лишь своимъ, отмечая всѣхъ чужихъ. Родъ, по мнѣнію Фюстеля, есть та же семья, разросшаяся и развѣтвившаяся путемъ размноженія какъ свободныхъ ея членовъ, такъ и рабовъ, отпущенниковъ, кліентовъ, молившихся тѣмъ же семейнымъ богамъ. Эта семейная или родовая религія воспрещала двумъ семьямъ смѣшиваться или сливаться. Но, говоритъ Фюстель, „нѣсколько семей могли, ничего не уступая изъ своихъ частныхъ религій, соединяться, по крайней мѣрѣ, для отправленія другого культа, который былъ для нихъ общимъ. Такъ и было. Извѣстное число семей образовало группу, которую греческій языкъ назвалъ фратріей, латинскій — куріей. Существовала ли кровная связь между семьями, образовавшими эту группу? Утверждать это—невозможно. Но достовѣрно, что эта новая ассоціація сложилась въ связи съ извѣстнымъ расширеніемъ религіозной идеи. Въ моментъ соединенія семьи признали божество высшее, чѣмъ ихъ домашніе боги, общее имъ всѣмъ и покровительствовавшее всей группѣ. Они воздвигли ему алтарь, зажгли священный огонь и установили культъ“. Во главѣ фратріи или куріи стоялъ куріонъ или фратріархъ, главная функція котораго состояла въ предсѣдательствѣ при богослуженіи. И, какъ въ семьѣ и родѣ, религія куріи и фратріи была строго замкнутою, недоступною другимъ куріямъ и фратріямъ. Вообще эта новая общественная единица была „точнымъ снимкомъ съ семьи“. Тѣмъ же порядкомъ нѣсколько курій и фратрій слялись въ трибу, которая

опять-таки имѣла свой алтарь и свое божество,—обыкновенно это былъ обожествленный человѣкъ, „герой“, а во главѣ трибы стоялъ трибунъ, филобазилевсъ. Триба, какъ и семья, и фратрія, была учрежденіемъ самостоятельнымъ, ни отъ какой высшей, сторонней власти независимымъ, имѣвшимъ свой особый культъ, изъ котораго всякій чужакъ былъ исключенъ. Двѣ трибы, поклонявшіяся разнымъ богамъ, не могли слиться въ одну. Но, подобно семьямъ и фратріямъ, нѣсколько трибъ могли соединиться подъ условіемъ сохраненія каждою своего культа, надъ которымъ высился новый, общій имъ всѣмъ культъ. Такъ сложилась „гражданская община“, городъ - государство, *la cité*. Складывалась эта еще новая общественная индивидуальность то добровольнымъ соглашеніемъ, то превосходствомъ силы одной изъ трибъ, то волею могущественнаго человѣка. Достоверно во всякомъ случаѣ, что и въ ней связующимъ звеномъ была религія и соответственный культъ, не покушавшіеся, однако, на религію и вытекавшія изъ нея внутреннія отношенія семьи, курии, трибы. Это была федерация низшихъ группъ, остававшихся самостоятельными; каждый человѣкъ, будучи членомъ семьи, курии, трибы и гражданской общины, имѣлъ четыре религіи, которыя мирно уживались рядомъ, но изъ которыхъ каждая послѣдующая объединяла болѣе широкій кругъ.

Остановимся на малое время.

Фюстель говоритъ о Греціи и Римѣ, дѣлая по временамъ болѣе или менѣе значительныя экскурсіи въ древнюю Индію, какъ прародину грековъ и римлянъ, откуда они и вынесли поклоненіе предкамъ. Мимоходомъ онъ отмѣчаетъ, что религія эта существовала „почти во всѣхъ человѣческихъ обществахъ“, и указываетъ на китайцевъ, древнихъ гетовъ и скифовъ, первобытныхъ народовъ Африки и Америки. И это обстоятельство подтверждаетъ для Фюстеля его мысль о патріархальной семьѣ, какъ древнѣйшей формѣ общественныхъ отношеній. Таковъ же, какъ извѣстно, взглядъ Мэна и нѣкоторыхъ новѣйшихъ изслѣдователей, въ противоположность группѣ писателей, утверждающихъ, что патріархальная семья есть явленіе, сравнительно, очень позднее, что ей предшествовало, если не „женовластіе“, какъ думаетъ Бахофенъ, то во всякомъ случаѣ положеніе женщины, очень отличное отъ того, какое она получила въ патріархальной семьѣ. Здѣсь не мѣсто поднимать этотъ споръ, и мнѣ хочется лишь отмѣтить одинъ фактъ, говорящій, мнѣ кажется, въ пользу теоріи матриархата, но до сихъ поръ, сколько мнѣ извѣстно, въ этомъ смыслѣ не истолкованный.

Китайскій культъ предковъ изслѣдованъ съ наибольшею полнотою въ книгѣ покойнаго Георгіевскаго „Принципы жизни Китая“. Но авторъ сознательно уклоняется отъ произнесенія своего слова въ упомянутомъ спорѣ. Приведа слова Васильева (въ книгѣ

„Религии востока“): „Китайскій языкъ сохранилъ въ себѣ свидѣтельство, что въ древности дѣти назывались по именамъ или фамиліямъ своихъ матерей; слѣдовательно, въ историческое уже отчасти время еще не было браковъ; названіе „сына“, т. е. рожденнаго отъ брака, и до сихъ поръ есть почетное титуло; оно послѣ стало даваться и философамъ“,—приведя эти слова, Георгіевскій „предоставляетъ самимъ читателямъ рѣшить, насколько справедливы“ они „и вообще тѣ воззрѣнія на исторію брака, которыхъ держатся“ Бахофенъ, Макъ-Леннанъ, Морганъ, Леббокъ. И, совершенно независимо отъ этого вопроса, въ связи съ представленіями китайцевъ о духахъ, Георгіевскій приводитъ въ другомъ мѣстѣ слѣдующія показанія историковъ: „Древніе возводили въ принципъ, что святые, мудрецы, освободители народа рождаются отъ дѣвъ. Авторъ (Лектикона) Шо-вэнь опредѣлительно говоритъ: „святые и мудрецы названы были тянь-цзы, т. е. сынами неба, потому что зачаты они были своими матерями отъ дѣйствія неба“... Почти всѣ основатели династій... „считаютъ родоначальниковъ своихъ фамилій рожденными отъ дѣвъ. Мать императора Фу-си зачала, когда наступила на слѣдъ великана и когда была окружена радугою. Мать императора Шэнь-куне зачала отъ духа (горы?) и родила сына въ пещерѣ горы“. И т. д., и т. д. Слѣдуетъ длинный списокъ дѣвъ, зачавшихъ отъ свѣта молніи, во снѣ, въ которомъ онѣ видѣли, что на нихъ спустилась радужная звѣзда, отъ краснаго дракона, отъ радуги и проч. Не говорятъ ли всѣ эти легенды, свойственныя далеко не одному Китаю, о томъ времени, когда патріархальная семья уже потому не могла существовать, что лишь мать была явною родительницею, а отецъ былъ просто неизвѣстенъ? О томъ времени, когда борьба за индивидуальность еще не выдѣлила патріархальную семью изъ нѣкотораго болѣе обширнаго цѣлаго, о строѣ котораго мы не можемъ составить себѣ достаточно ясное представленіе? Но это мимоходомъ.

Начертавъ свой симметрическій и схематическій планъ объединенія семей въ куріи, курій въ трибы и трибъ въ гражданскія общины, Фюстель дѣлаетъ оговорку: возможенъ былъ и обратный ходъ развитія. Разъ муниципальная организація была достигнута, не было надобности, чтобы каждый новый городъ продолжалъ всю трудную исторію съ начала, съ объединенія семей. „Выходя изъ какого-нибудь уже устроеннаго города, чтобы основать новый, вождь вводилъ съ собою лишь немногихъ своихъ согражданъ, къ которымъ присоединялись люди изъ разныхъ мѣстъ и даже разныхъ расъ. Но этотъ вождь организовалъ новое государство по образцу того, которое онъ покинулъ“, то есть дѣлилъ свой народъ на фратріи и трибы, и каждая изъ этихъ ассоціацій имѣла свой алтарь и свои религіозныя празднества, во имя какого-нибудь выдуманнаго древняго героя, отъ котораго она,

будто бы, происходила. „Часто случалось также, что население известной страны жило безъ законовъ и порядка (sans lois et sans ordre), потому ли, что социальная организація не сложилась, какъ это было въ Аркадіи, или вслѣдствіе слишкомъ рѣзкихъ революцій, какъ это было въ Кириней и Турин. Если законодатель предпринималъ ввести въ такую страну порядокъ, онъ начиналъ съ раздѣленія населенія на трибы и фратріи“.

Подчеркнутыя мною слова представляютъ въ книгѣ Фюстеля единственное, но тѣмъ болѣе интересное мѣсто, гдѣ онъ говоритъ о какомъ-то общежитіи „безъ законовъ и порядка“, существовавшемъ патріархальной семьѣ. Интересно также указаніе на какіе-то „слишкомъ рѣзкіе“ перевороты, очень рано (къ позднѣйшимъ переворотамъ мы еще перейдемъ) нарушавшіе стройность картины, нарисованной Фюстелемъ. Ясно во всякомъ случаѣ, что картина эта не представляетъ собой точнаго изображенія дѣйствительно древнѣйшаго состоянія человѣчества. Прочная осѣдлость, дома, очаги, законы, строго выдержанные, сложные ритуалы и проч. — все это отнюдь не первобытныя черты, но для извѣстнаго, относительно, поздняго момента исторіи человѣчества мы можемъ признать эту картину правильною, оговоривъ лишь ея излишнюю симметричность, схематичность и — неполноту. Последнее знаетъ самъ Фюстель.

Если духи предковъ, Маны, Лары, Геніи, Герои, были долгое время заслоняемы громами Юпитера, трезубцемъ Нептуна, копьемъ Марса, золотыми кудрями и поясомъ Венеры и проч., то въ переданномъ нами по Фюстелю очеркѣ семейной или домашней религіи съ ея осложненіями и развѣтвленіями, великіе Олимпійскіе боги совсѣмъ отсутствуютъ. Но Фюстель ихъ, конечно, не забылъ. Приступая къ моменту образованія гражданской общины, города-государства, онъ пишетъ главу „Новыя религіозныя вѣрованія“. Однако, онъ тутъ же выражаетъ сомнѣніе, — дѣйствительно ли это новыя вѣрованія. Жизнь первобытнаго человѣка, — говоритъ онъ, — вся была въ рукахъ природы. Онъ каждую минуту чувствовалъ свою слабость и силу окружающей природы, внушавшей ему то уваженіе, то страхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ природа не была въ его глазахъ единымъ цѣлымъ, а потому не могла ему придти въ голову и мысль о единомъ высшемъ существѣ, управляющемъ ею. Судя лишь по себѣ, за неимѣніемъ другаго мѣрила вещей, онъ населилъ весь внѣшній міръ подобными ему, мыслящими, чувствующими, волящими существами и, въ виду ихъ могущества, призналъ ихъ богами. Такимъ образомъ, рядомъ съ домашней религіей, состоявшей въ обожаніи предковъ, выросла другая, — обожествившая силы природы. Религіозная идея явилась „въ двухъ, очень различныхъ формахъ“. „Онѣ не враждовали другъ съ другомъ, а жили въ добромъ согласіи, раздѣляя между собою власть надъ человѣкомъ, но никогда не смѣшива-

лись... Культъ Олимпійскихъ боговъ и культъ героевъ и манъ никогда не имѣли между собою ничего общаго. Нельзя сказать, которая изъ этихъ двухъ религій возникла раньше, нельзя даже утверждать, чтобы вообще одна изъ нихъ предшествовала другой“. Достоверно только, что религія великихъ боговъ или физической природы, соотвѣтствующая болѣе общимъ и высокимъ идеямъ, сравнительно поздно сложилась въ опредѣленную доктрину. Долгое время каждый по своему называлъ обожествленные явленія природы, примѣняясь къ тому или другому ихъ, бросавшемуся въ глаза, качеству и олицетворяя въ немъ того или другого бога. Въ одномъ мѣстѣ, напримѣръ, солнце называлось Геракломъ (славный), Фебомъ (блестящій), въ другомъ — Аполлономъ (прогоняющимъ ночь), Гиперіономъ (высшій), и люди не знали, что подъ этими различными прилагательными именами они чтутъ одного и того же бога. Такъ какъ религія эта зародилась въ ту пору, когда люди жили еще семьями, то ея боги заняли въ семейномъ культѣ мѣсто рядомъ съ Ларами и Героями. „Отсюда множество мѣстныхъ культовъ, между которыми никогда не могло установиться единство. Отсюда борьба между богами, которою полонъ политеизмъ и которая отражаетъ борьбу между семьями, окрѣпами и городами. Отсюда, наконецъ, безчисленное множество боговъ и богинь, которыхъ навѣрное мы лишь меньшую часть знаемъ: многіе изъ нихъ погибли, не оставивъ по себѣ памяти даже именемъ, потому что поклонявшіеся имъ семьи вымерли, а города, чествовавшіе ихъ, были разрушены“. „Съ теченіемъ времени случалось, что боги какой-нибудь семьи пріобрѣтали особенно сильное вліяніе на воображеніе людей и казались особенно могущественными, и тогда ихъ признавала вся гражданская община“, чего не могло случиться съ богами-предками, по необходимости обреченными на ограниченное число почитателей. Поэтому религія великихъ боговъ, боговъ природы не страдала исключительностью семейной религій, ничто не мѣшало ея распространенію среди чужаковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ея внутреннему развитію.

Покойный синологъ Васильевъ замѣчаетъ, что „всѣ древніе религіи возникли изъ двухъ несходныхъ вліяній“ („Религіи востока“),—и какъ разъ именно тѣхъ, которыя указаны Фюстель де-Куланжемъ: во-первыхъ, „видимая природа не могла съ перваго умственного развитія не поразить человѣка своимъ вліяніемъ“; во-вторыхъ, „смерть, лишеніе любимаго человѣка производитъ въ насъ невыразимое ощущеніе, намъ все кажется, что любимое или уважаемое нами существо еще съ нами, что оно носится надъ нами, чувствуетъ, смотритъ на насъ“. Такимъ образомъ мы и здѣсь видимъ два независимыхъ одно отъ другого религіозныхъ теченія, имѣющихъ различные источники. Однако, Георгіевскій въ упомянутыхъ „Принципахъ жизни Китая“ рядомъ остроумныхъ

соображений доказываетъ, что у китайцевъ всѣ боги физической природы сводятся въ концѣ-концовъ къ культу предковъ, лишь постепенно, въ теченіе вѣковъ, такъ сказать, линявшему, слабѣвшему передъ своимъ собственнымъ порожденіемъ—культомъ физическихъ силъ. Какъ извѣстно, Спенсеръ держится этого взгляда относительно всѣхъ религій всего міра.

IV.

Прежде, чѣмъ идти дальше, позволю себѣ небольшое полемическое отступленіе.

Тотъ субъективизмъ (не субъективный *методъ*), за который на мою долю досталось столько брани, насмѣшекъ, упрековъ и т. д., нынѣ торжественно признанъ нѣкоторыми изъ „учениковъ“ неизбѣжнымъ и законнымъ. Мало того, г. Струве, сбросивъ съ себя покровы „ортодоксальности“, не разъ и даже съ какимъ-то зазорливымъ подчеркиваніемъ указываетъ, что я раньше „учениковъ“ настаивалъ на „классовомъ сознаніи“, „классовой точкѣ зрѣнія“, примѣненіе которой, дескать, и есть частное выраженіе субъективнаго метода. Прежде г. Струве этого не замѣчалъ, уподобляясь тому Севастьяну, который не узналъ своихъ крестьянъ, ну, а теперь онъ уже воспарилъ въ совѣтъ инныя сферы. Боюсь, что столь же поздно разъяснится еще одно недоразумѣніе.

Семья, родъ, фратрія, триба, государство, — все это ступени общественной индивидуальности. Спрашивается, однако, такъ ли это? Приложимо ли здѣсь самое понятіе индивидуальности? Для меня положительный отвѣтъ на этотъ вопросъ столь несомнѣненъ, что, когда г. Бердяевъ, справедливо указывая, что семья, родъ, сословіе, цехъ, нація, государство не суть организмы, вмѣстѣ съ тѣмъ говорилъ, что это и не индивидуальности, — я предположилъ, что это не больше, какъ *lapsus calami*. Я не увѣренъ, однако, что мое предположеніе соответствуетъ истинѣ, да и у другихъ авторовъ, удостоившихъ меня своею критикою (въ томъ числѣ и у г. Ранскаго, выпустившаго недавно книгу подъ заглавіемъ „Соціологія Н. К. Михайловскаго“) есть намеки на отрицательное отношеніе къ ученію объ общественныхъ индивидуальностяхъ. И любопытно, что авторы эти въ большинствѣ случаевъ возлагаютъ свои надежды на „классовое сознаніе“, „классовую точку зрѣнія“, „классовую борьбу“, слѣдовательно смотрятъ на „классъ“, какъ на индивидуальность; ибо что такое индивидуальность, если не цѣлое, вступающее въ отношенія къ внѣшнему міру, какъ обособленная единица?

Но вѣдь не только классъ представляетъ собою такую единую цѣлокупность. Вотъ, для примѣра, черты, характеризующія, по Фюстель-де-Куланжу, римскую *gens*, родъ. Связанные единствомъ

религіозныхъ вѣрованій, члены рода помогаютъ другъ другу на всѣхъ путяхъ жизни. Родъ, какъ единое цѣлое, отвѣчаетъ за долги своихъ членовъ; онъ выкунаетъ плѣнниковъ, платитъ пеню за осужденнаго. Обвиняемый является въ судъ въ сопровожденіи всѣхъ членовъ своего рода. Считалось не позволительнымъ вести судебное дѣло противъ сочлена рода и даже свидѣтельствовать противъ него. Между сочленами дѣла рѣшались внутри рода, имѣвшаго своего главу, который былъ и судьей, и жрецомъ, и военнымъ вождемъ. „Такова—говоритъ Фюстель—совокупность обычаевъ и законовъ, встрѣчаемая нами даже въ ту пору, когда родъ уже ослабѣлъ и почти извратился. Это только остатки древняго учрежденія“. Мы знаемъ, однако, что это древнее учрежденіе и доселѣ сохранило у многихъ народовъ свои основныя черты. Достаточно вспомнить нераздѣльную родовую собственность и неписанный законъ родовой или кровной мести, въ силу котораго, собственно говоря, нѣтъ личной обиды, она наносится всему роду въ его цѣлости, а потому мститъ за нее каждый членъ обиженнаго рода каждому члену рода-обидчика. Лично Ромео и Джульета могутъ пламенно любить другъ друга, но роды Монтекки и Капулетти, какъ общественныя индивидуальности памятующія длинный рядъ взаимныхъ обидъ, не допустить ихъ счастья. И наоборотъ, какъ въ одномъ изъ приводимыхъ Фюстелемъ примѣровъ, два Клавдія могутъ быть личными врагами, но единство рода заставитъ одного изъ нихъ быть въ судѣ защитникомъ другого. И мы, по малой мѣрѣ, съ такимъ же правомъ можемъ говорить о „родовомъ сознаніи“, „родовой точкѣ зрѣнія“, „родовой борьбѣ“, какъ и сочетать эти существительныя съ прилагательнымъ „классовый“. Въ высшихъ или болѣе обширныхъ общественныхъ индивидуальностяхъ дѣло затемняется ихъ сложнымъ составомъ изъ цѣлага ряда низшихъ группъ, но по существу нисколько не измѣняется.

Что касается картины греко-римской жизни, какъ мы ее до сихъ поръ по Фюстель-де-Куланжу видѣли, то, кромѣ того, что она никоимъ образомъ не можетъ относиться къ древнѣйшему періоду исторіи, мы отмѣтили ея чрезмѣрную симметричность и схематичность. Въ ней слишкомъ мало жизни. Это какой-то механизмъ, съ удивительною аккуратностью вытачивающій кругъ за кругомъ, одинъ другого шире; и каждый, болѣе широкій кругъ, плотно охватывая тотъ, который былъ раньше выточенъ механизмомъ исторіи, не задѣваетъ его, однако, не наноситъ ему никакого ущерба и въ свою очередь не получаетъ отъ него оттолчки. Фюстель отнюдь не представляетъ себѣ эту, по его мнѣнію, древнѣйшую, первобытную жизнь въ видѣ идилліи благоденственнаго и мирнаго житія во всѣхъ уголкахъ нарисованной имъ картины. Такъ, напримѣръ, всемогущій глава семьи—отецъ могъ убить или продать своего сына, никому не давая отчета, и никакая высшая

общественная единица не вмѣшивалась въ эту домашнюю расправу. Съ другой стороны, замкнутость и отчужденность семьи отъ семьи и города отъ города легко переходила во враждебность, — недаромъ слово *hostis* означало инородца, чужака и вмѣстѣ съ тѣмъ врага, — и по отношенію къ чужаку не существовало различія между справедливостью и несправедливостью; войны отличались необыкновенною жестокостью, побѣжденные или истреблялись или продавались въ рабство. Словомъ, въ жестокости, злобѣ, ненависти, запечатлѣнныхъ кровью, недостатка въ тогдашнемъ обиходѣ не было. Но все это было окутано плотною тканью религіи, проникавшей все существо, какъ тѣхъ, кто совершалъ жестокости и насилія, такъ и тѣхъ, кто имъ подвергался. Если не всегда сынъ ложился подъ ножъ отца съ кроткою покорностью Исаака, то онъ во всякомъ случаѣ столь же мало сомнѣвался въ правѣ отца, какъ и тотъ въ своемъ правѣ. Побѣдители безъ всякихъ колебаній рѣзали и продавали въ рабство побѣжденныхъ, но и тѣ принимали выпавшую на ихъ долю участь „не токмо за страхъ, но и за совѣсть“. Интеллектуальный элементъ религіи — вѣрованіе въ загробную жизнь предковъ, въ ихъ могущество и могущество ихъ слуги и представителя, отца, — такъ крѣпко связывался съ элементомъ эмоціональнымъ — чувствомъ почтительнаго страха, что каждый житейскій шагъ людей, исповѣдывавшихъ эту религію, былъ отмѣченъ непоколебимою увѣренностью, — колебаніямъ и сомнѣніямъ тутъ не было мѣста... Это была, какъ сказалъ бы Сень-Симонъ, одна изъ „органическихъ“ эпохъ въ исторіи, когда отдѣльныя личности и образуемые ими союзы дружно способствуютъ жизнѣдѣтельности цѣлаго въ его исторически данной формѣ, въ противоположность эпохамъ „критическимъ“, когда это гармоническое соотношеніе частей нарушается.

Вполнѣ ли, однако, такъ, и если да, то долго ли могла держаться мирная симметрія боговъ семейныхъ и родовыхъ, боговъ курій и фратрій, трибъ, боговъ гражданской общины и государства? Никакая религія не выдыхается вдругъ и цѣликомъ. Враждебные ей элементы медленно просачиваются въ нее съ разныхъ сторонъ и постепенно раскалываютъ ее на части, изъ которыхъ нѣкоторыя надолго переживаютъ сами себя, сохраняясь по формѣ, хотя по существу онѣ уже давно мертвы. Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго, если мы даже въ очень позднее время встрѣчаемъ въ вѣрованіяхъ, обрядахъ, житейской практикѣ ту или другую подробность, носящую на себѣ ясную печать потухшей религіи. Когда, напримѣръ, всего за полтора вѣка до нашей эры, Римъ былъ взволнованъ процессомъ участниковъ въ вакханаліяхъ (къ этому дѣлу мы еще вернемся), то виновные мужчины судились государственнымъ судомъ, женщины же были отданы ихъ родственникамъ для семейной расправы. Это былъ отзвукъ древняго права, освященнаго семейной религіей, давно уже раство-

рившейся въ религіи государственной. „Отецъ семейства—неограниченный господинъ надъ своими дѣтьми, онъ можетъ продать своего сына и даже убить его; но если этотъ сынъ облеченъ въ какую-нибудь общественную должность, его отецъ обязанъ повиноваться ему наравнѣ съ другими и, встрѣтивъ его на дорогѣ, слѣзаетъ передъ нимъ съ лошади... Римская религія, несмотря на свое могущество и на уваженіе, которымъ она пользовалась... покорилась государству или, лучше сказать, слилась съ нимъ“ (Буасье, „Римская религія отъ Августа до Антониновъ“).

Когда же и какъ совершился этотъ переворотъ или, вѣрнѣе, тотъ рядъ переворотовъ, къ концу которыхъ такъ потускнѣла семейная религія передъ блескомъ религіи государственной? Это былъ сложный, долгій и въ началѣ очень медленный, но подъ конецъ все убыстрявшійся процессъ борьбы за индивидуальность, приведшій, наконецъ, къ тому культу цезарей, съ котораго мы начали.

Но возвратимся къ Фюстель де Куланжу. Какъ ни солидна была первобытная организація общества,—говоритъ онъ,—какъ ни глубоко коренилась она во всѣхъ умахъ и сердцахъ, она въ разныхъ пунктахъ Греціи и Италиі въ разное и трудно опредѣлимое время начала колебаться. И съ VII вѣка до Р. Х. она уже повсемѣстно даетъ трещины. Причинъ ея разложенія было двѣ. Во-первыхъ, подъ самый ея корень подкапывался естественный прогрессъ человѣческаго разума, ослабляя вѣрованіе въ участіе предковъ въ жизни современниковъ... Во-вторыхъ, уже въ первоначальной ячейкѣ этого общества, въ семьѣ, очень рано произошли разслоенія, съ трудомъ уживавшіяся въ рамкахъ мирнаго единства. Надо замѣтить, что, видя въ родѣ лишь разросшуюся патріархальную семью, Фюстель склоненъ ихъ отождествлять. Однако, и онъ вынужденъ признать, что съ теченіемъ времени между семьей и родомъ возникаетъ нѣкоторый антагонизмъ и борьба. Младшія линіи, входившія въ составъ рода, должны были во всемъ подчиняться старшей линіи, семейные боги отодвигались въ тѣнь передъ богами родовыми, и это становилось, наконецъ, непереноснымъ. Фюстель не указываетъ причинъ, побуждавшихъ нѣсколько семей (или родовъ) соединяться въ куріи и фратріи. Онъ просто говоритъ: „могли, ничего не уступая изъ своихъ частныхъ религій, соединяться для отправленія другого культа, который былъ для нихъ общимъ; такъ и было“. Здѣсь возможны только предположенія, и въ числѣ причинъ, побуждавшихъ къ такому соединенію, самую вѣроятною представляется необходимость поддержать родовой союзъ, трещавшій по швамъ подъ напоромъ борющихся за свою индивидуальность семей. Какъ бы то ни было, но по мѣрѣ того, какъ роды складывались въ куріи, куріи въ трибы и трибы въ гражданскія общины, складывалась вмѣстѣ съ тѣмъ и совершенно новая общественная индивидуальность, такъ сказать, пересѣкавшая въ поперечномъ направленіи всѣ низшія индивидуальности:

складывался союзъ вождей или „отцовъ“, такъ какъ отецъ, *pater*, и вождь, глава,—это было одно и то же.

Къ тому же результату влекло исторію еще одно теченіе.

Фюстель почти не говоритъ о рабахъ, ихъ происхожденіи и положеніи въ древнемъ обществѣ, но за то много о кліентахъ и вольноотпущенникахъ. Такъ какъ, согласно религіи, никакой посторонній человѣкъ не могъ входить въ составъ семьи, то надъ каждымъ вновь приобрѣтеннымъ рабомъ продѣлывалась извѣстная религіозная церемонія, подобная той, которая производилась при женитьбѣ и усыновленіи. Рабъ приобщался такимъ образомъ къ семейной религіи и съ тѣхъ поръ состоялъ подъ покровительствомъ священнаго очага, присутствовалъ при богослуженіи, участвовалъ въ празднествахъ, хоронился на семейномъ кладбищѣ; словомъ, при жизни и послѣ смерти принадлежалъ семьѣ. Господинъ могъ вывести его изъ состоянія рабства и обращаться съ нимъ, какъ со свободнымъ человѣкомъ, но и въ такомъ случаѣ онъ, подъ именемъ вольноотпущенника или кліента, въ силу единства культа, оставался при извѣстныхъ обязательствахъ по отношенію къ патрону: женился съ согласія патрона, которому повиновалось и его, кліента, потомство; имущество кліента принадлежало, собственно, патрону, который могъ отбирать его для своихъ надобностей, вслѣдствіе чего кліентъ долженъ былъ давать приданое дочери патрона, участвовать въ платежѣ штрафовъ за него и т. д. Хотя кліентъ состоялъ подъ покровительствомъ Ларя своего господина и носилъ его фамильное имя, но его положеніе въ семьѣ было еще ниже положенія младшихъ линій. Тѣ, восходя по своей генеалогической лѣстницѣ, всегда находили на ней „*pater*’а“, то есть обожествленнаго главу семьи, вслѣдствіе чего и назывались патриціями, тогда какъ генеалогія кліента непременно упиралась въ кліента или раба. Въ соотвѣтствіе этому кліентъ присутствовалъ при богослуженіи, но не могъ совершать его самъ, между нимъ и божествомъ были всегда посредники, и если семья вымирала, кліенты не могли продолжать ея культъ. Далѣе, для младшей линіи существовала возможность, въ случаѣ вымирания старшей линіи, замѣнить ее въ религіозномъ и имущественномъ отношеніи,—для кліента такой перспективы ни при какихъ обстоятельствахъ не было.

Таковы были еще въ чисто семейной организаціи (Фюстель настаиваетъ на этомъ) элементы, содержавшіе въ себѣ зародыши ея разложенія. Позже, гораздо позже, но всетаки въ незапамятную пору, началъ складываться еще одинъ слой, — плебеи. По всей вѣроятности это были въ значительной своей части остатки покоренныхъ племенъ. Но,—говоритъ Фюстель,—мы съ удивленіемъ читаемъ у Тита Ливія, что патриціи попрекали плебеевъ не происхожденіемъ отъ покоренныхъ расъ, а отсутствіемъ религіи и даже семьи,—попрекъ, лишенный ко времени Тита Ли-

вія реального смысла и потому, очевидно, намекающій на что-то очень стародавнее. Могло случаться, что та или другая семья не додумалась до почитанія предковъ, оказалась безсильною создать себѣ культъ и потому занимала низшее положеніе среди другихъ, освященныхъ религіей семей. Могло быть и то, что иная семья, по небрежности въ исполненіи обрядовъ или вслѣдствіе какихъ-нибудь тяжкихъ преступленій, оскорбившихъ священный очагъ, теряла свою религію. Случалось, далѣе, что кліенты изгонялись патрономъ или добровольно оставляли его, оставаясь вмѣстѣ съ тѣмъ и безъ религіи. Сынъ, рожденный отъ брака, совершеннаго безъ извѣстныхъ религіозныхъ церемоній, равно какъ и сынъ, родившійся отъ прелюбодѣянія, тоже оставались внѣ семейной религіи. Изъ всѣхъ этихъ элементовъ и образовалось сословіе „безродныхъ“ людей,—*gentem non habent*, презрительно говорили о нихъ патриціи. Они были при каждомъ городѣ Греціи и Италіи, но жили внѣ города и не имѣли ничего общаго съ настоящими горожанами,—патриціями и ихъ кліентами. Съ теченіемъ времени эти безродные люди, стоявшіе внѣ санкціонированной религіей общественной организаціи, внѣ закона и политическихъ правъ, образовали классъ, общественную индивидуальность, въ качествѣ которой и выступили на арену исторіи.

Итакъ, древній міръ представлялъ собою первоначально—или, точнѣе, въ ту пору, которую Фюстель считаетъ первоначальною,—рядъ семейныхъ единицъ, связанныхъ общностью происхожденія, санкціонируемыхъ въ своей индивидуальности религіей, рѣзко отграниченныхъ отъ подобныхъ имъ сосѣднихъ индивидуальностей. Религія постепенно расширяетъ каждую такую группу, такъ сказать, въ вертикальномъ направленіи, присоединяя къ ней души предковъ, вовлекая ихъ, равно какъ и персонифицированныя физическія силы природы, въ ея земную жизнь. Во главѣ этой земной жизни стоитъ отецъ, но его, собственно говоря, нельзя назвать главой, если принять во вниманіе всю длинную восходящую цѣпь умершихъ предковъ, среди которой онъ представляетъ собою лишь живое звено. Постепенно семейная индивидуальность расширяется и въ направленіи—прибѣгая къ аналогичной метафорѣ—горизонтальному, частію путемъ размноженія, частію путемъ присоединенія къ семейному культу рабовъ, кліентовъ, вообще слугъ. Образуется родъ, индивидуальность родовая, съ своимъ родовымъ сознаніемъ, своими родовыми интересами, своей родовой религіей, первоначально не отличающейся, впрочемъ, отъ религіи семейной. Оставляя въ сторонѣ не существующій для Фюстель-де-Куланжа вопросъ о томъ,—не выдѣлилась ли, притомъ послѣ долгой и упорной борьбы, сама семья изъ нѣкотораго болѣе обширнаго цѣлаго, можно съ увѣренностью сказать, что à la longue семья не могла мирно выдерживать давленіе сжимавашаго ее кольца рода. Младшія поколѣнія есте-

ственно не чувствуют той близости къ дѣду, прадѣду, прапрадѣду, какая связываетъ ихъ съ отцомъ, а сѣдобородый, богатый личнымъ опытомъ отецъ не всегда охотно признаетъ авторитетъ хотя бы еще болѣе сѣдобородаго родоначальника. Осіянный лучомъ посмертной божественности, родоначальникъ будетъ окруженъ всѣмъ почетомъ, какой подобаетъ богамъ, но другое дѣло при жизни. Какъ бы долго ни существовалъ крѣпкій, нераздѣльный родъ, хотя бы много вѣковъ,—говоря о временахъ столь отдаленныхъ и, слѣдовательно, „покрытыхъ мракомъ неизвѣстности“, можно не скупиться на цифры,—въ концѣ концовъ сила ближайшаго родства, сила семейнаго эгоизма, сила обособленности семьи, какъ общественной индивидуальности, должна была, если не прорвать облежавшее ее кольцо рода, то начать борьбу съ нимъ. „Семейный эгоизмъ—говоритъ Эспинасъ („Соціальная жизнь животныхъ“) —даетъ себя знать наиболѣе властно потому, что въ основѣ его стоитъ самое понятное изъ всѣхъ я, и что въ немъ есть своего рода самопожертвованіе. Поэтому соціальное сознание сообщества не можетъ имѣть при своемъ возникновеніи болѣе крупнаго врага, чѣмъ противоположное ему коллективное сознание семейства“. Но это противодѣйствіе семейнаго эгоизма имѣетъ мѣсто не только при возникновеніи сообщества. Мы его и нынѣ можемъ ежедневно наблюдать, такъ какъ сочетаніе любви къ „своимъ“ съ общественными обязанностями далеко не легко и не всѣмъ дается. У римлянъ существовала впослѣдствіи поговорка: такой-то „приносить жертвы у очага“. Это значило, что такой-то ничѣмъ, кромѣ своей семьи, не интересуется. Для обособленія семьи изъ оковъ рода могли быть поводы и въ чисто религіозной области. Культъ все тѣхъ же общихъ предковъ могъ оставаться неприкосновеннымъ, все тѣ-же прадѣды и прапрадѣды могли принимать молитвы и жертвоприношенія отъ всѣхъ семействъ, входившихъ въ составъ рода; но существовали еще боги, такъ сказать, добавочные, не обязательные съ точки зрѣнія культа предковъ,—боги физической природы, ставшіе впослѣдствіи великими Олимпійскими богами, затмившими Геніевъ и Ларъ. Они могли разнѣ чествоваться и даже разнѣ называться въ отдѣльныхъ семьяхъ, и эта разница въ культѣ была уже трещиной, въ которую, все расширяя ее, вливались всякія частныя обиды и недоразумѣнія. На выручку явилась новая, болѣе широкая общественная индивидуальность, обнимавшая нѣсколько родовъ, и т. д., до образованія гражданской общины и государства.

Въ составъ гражданской общины вошли общественныя индивидуальности — семьи, роды и ихъ дальнѣйшія комбинаціи; все „безродное“ осталось внѣ общины, внѣ того, что первоначально называлось *populus*. Каждая высшая общественная индивидуальность, налагая на личность свои особенныя, своеобразныя узы, ослабляла или измѣняла узы низшихъ индиви-

дуальностей, конечно, не безъ сопротивленія со стороны послѣднихъ. Уже та постепенность, съ которою упразднилось право отца убивать и продавать своихъ сыновей, показываетъ, что патриархальная семья не легко поступилась своею индивидуальностью, предоставивъ, наконецъ, право наказанія взрослого сына высшей общественной индивидуальности—государству. Не сразу уступили семья и родъ и на другомъ пунктѣ—правѣ исключительнаго наслѣдованія старшаго въ родѣ, съ паденіемъ котораго пала и наслѣдственность положенія жреца. Однако, слѣды древняго быта, конечно, въ сильно искалѣченномъ видѣ, сохранились до самаго конца римской исторіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, по мѣрѣ того, какъ нарастали кольцомъ на кольцо все высшія общественныя индивидуальности, въ нихъ и какъ бы пересѣкая ихъ, откладывались новыя коллективныя индивидуальности—классы. Патриціатъ явился естественнымъ результатомъ союза „отцовъ“; государство въ противовѣсъ имъ ввело „безродныхъ“, плебеевъ, въ составъ народа, образовавъ изъ нихъ трибы, подобныя патриціанскимъ, но основанныя не на рожденіи, а на имущественномъ цензѣ; наиболѣе богатые плебеи вошли въ сословіе всадниковъ, неимущіе образовали пролетаріатъ.

Всѣмъ этимъ, конечно, не исчерпывается пестрота римской соціальной ткани, но мы не будемъ слѣдить за ея дальнѣйшими усложненіями и за подробностями той борьбы, которая велась между разными ступенями и типами общественной индивидуальности. Остановимся лишь на нѣсколькихъ фактахъ въ поясненіе взгляда Фюстель-де-Куланжа на роль и значеніе религіи.

Тотъ алтарь или очагъ, на которомъ горѣлъ священный огонь и около котораго собиралась семья для молитвеннаго поклоненія предкамъ, назывался у римлянъ *vesta*. Огонь на немъ могъ быть поддерживаемъ не первымъ попавшимся деревомъ, а опредѣленными сортами. Разъ въ годъ онъ долженъ былъ быть погашенъ, но тотчасъ же опять возобновленъ съ соблюденіемъ строго опредѣленныхъ правилъ. Между прочимъ, его позволительно было добывать только двумя способами: или концентраціей солнечныхъ лучей, или треніемъ другъ о друга двухъ кусковъ дерева. Ничто нечистое, какъ въ буквальномъ, такъ и въ переносномъ смыслѣ не должно было ни касаться алтаря, ни происходить по близости отъ него. Ставился онъ, повидимому, первоначально непосредственно надъ общей могилой предковъ и постепенно почтеніе къ нему, равно какъ и къ горящему на немъ священному огню слилось съ почитаніемъ предковъ. Домашній алтарь сталъ вмѣстѣ съ священнымъ огнемъ богомъ наравнѣ съ Ларами и Пенатами. Еще шагъ и „веста“ преобразилась въ Весту, прекрасную цѣломудренную дѣву, богиню-хранительницу домашняго очага отъ всякой нечисти и всякаго позора. Это преобразование произошло, вѣроятно, уже къ тому времени, когда мелкія общественныя инди-

видуальности образовали римское государство. И во всякомъ случаѣ, въ это время многочисленные священные огни, продолжая горѣть и на мѣстныхъ алтаряхъ, слились въ одно государственное пламя, охраняемое непорочными весталками въ храмѣ Весты въ Римѣ, гдѣ хранился и палладіумъ. Весталка, допустившая священный огонь погаснуть или нарушившая обѣтъ цѣломудрія, подвергалась жестокой казни, ибо Веста была символомъ и богомъ римской чести, и при основаніи новой колоніи туда переносился огонь, зажженный у алтаря Весты въ метрополіи.

Возьмемъ другой примѣръ изъ области классовыхъ или словныхъ отношеній.

Завершеніемъ той распри между патриціями и плебеями, которая повела къ удаленію послѣднихъ на Священную гору, было, какъ извѣстно, учрежденіе плебейскихъ трибуновъ. Чтобы понять смыслъ и характеръ этого учрежденія, говорить Фюстель, надо отрѣшиться отъ всѣхъ современныхъ идей и привычекъ мысли. При выборѣ первыхъ трибуновъ была совершена какая-то религиозная церемонія, описаніе которой не сохранилось для потомства. Извѣстно только, что трибуны были признаны *sacrosancti*; а слово это прилагалось ко всѣмъ предметамъ, посвященнымъ богамъ и потому неприкосновеннымъ для человѣческихъ рукъ. И это надо понимать въ самомъ точномъ, буквальномъ смыслѣ слова, какъ понимаютъ какіе нибудь дикари Сандвичевыхъ острововъ свое „табу“. Плебеи, собственно, не получили никакихъ новыхъ правъ. Но если плебея оскорблялъ патрицій или кредиторъ хваталъ должника, трибунъ становился между ними, отводилъ руку насильника, и патрицій отступалъ, потому что не смѣлъ коснуться трибуна. Трибунъ былъ какъ бы ходячее священное убѣжище для плебеевъ, и внѣ этого убѣжища, въ отсутствіи трибуновъ, все шло старымъ порядкомъ. Трибуны были лишь покровителями и судьями плебеевъ и не имѣли никакой власти надъ остальнымъ населеніемъ, но они не замедлили широко воспользоваться своею неприкосновенностью. Они не имѣли права созывать народные собранія, права входа въ сенатъ, права суда надъ патриціями, и всетаки созывали народные собранія, являлись въ сенатъ, судили патриціевъ, ибо никто не смѣлъ тронуть ихъ пальцемъ, они были *sacrosancti*. Мы недостаточно знаемъ идеи древнихъ, говорить Фюстель, чтобы судить, была ли въ глазахъ патриціевъ личность трибуна окружена ореоломъ почтенія или, напротивъ того, составляла предметъ ужаса и проклятій. Фюстель склоняется къ послѣднему мнѣнію, по крайней мѣрѣ, относительно начальныхъ фазисовъ развитія трибуната. Еще во времена Плутарха, то есть около полутора тысячъ лѣтъ по учрежденіи трибуната, находились люди, подвергавшіе себя, послѣ случайной встрѣчи съ трибуномъ, обряду очищенія,—обычай, аналогичный тому, въ силу котораго у насъ люди предразсудка, считая встрѣчу со священникомъ

дурной примѣтой, норовятъ изподтишка отплюнуться. И то, и другое—пережитки давно заглохшей борьбы между двумя религіями: патриціанской и плебейской, языческой и христіанской.

Въ русскихъ сказкахъ великолѣпіе царскаго жилища часто изображается такими чертами: на небѣ солнце и въ теремѣ солнце, на небѣ мѣсяцъ и въ теремѣ мѣсяцъ, на небѣ звѣзды и въ теремѣ звѣзды. Въ исторіяхъ богини Весты и первыхъ стадій развитія трибуната мы видимъ нѣчто обратное: въ небѣ религіи съ точностью отражаются измѣненія въ ходѣ земныхъ дѣлъ. Отражаются и съ этой небесной высоты санкціонируютъ сами себя. Во истину правъ Фейербахъ, говоря, что „испаренія слезъ сердца сгущаются въ небѣ фантазіи въ туманные образы божественныхъ существъ“, хотя дѣло не въ однихъ „слезахъ сердца“, а во всей земной жизни со всѣми ея скорбями и радостями. Но у каждой изъ общественныхъ индивидуальностей, какъ тѣхъ, которыя концентрически наслаиваются одна на другую, такъ и у тѣхъ, которыя перерѣзываютъ ихъ сословными или классовыми перегородками, есть свои скорби и радости, а потому своя религія. Отсюда эти тысячи римскихъ боговъ. А когда сложилась римская имперія, объединившая множество племенъ и народовъ и растянувшаяся отъ Ирландіи до Египта и Аравіи, отъ Карфагена до нынѣшней Бельгіи и отъ Испаніи до Сири, явился новый богъ — Цезарь. Это было олицетвореніе той огромной и поразившей міръ своею мощью общественной индивидуальности, которая называлась римской имперіей, и не даромъ рядомъ съ богомъ Цезаремъ стояла, сливаясь съ нимъ, богиня Рома, Римъ. Безъ сомнѣнія, къ этому времени скептицизмъ уже значительно продырявилъ цѣльную ткань культа предковъ, вытекавшего изъ него культа миѣическихъ родоначальниковъ, основателей городовъ и государствъ и примыкавшего къ нему культа боговъ физической природы. Поэтому, какъ уже было сказано, лицемѣрія изъ лести или изъ страха передъ грознымъ владыкой полуміра было болѣе, чѣмъ достаточно, въ культѣ цезарей. Но въ массѣ еще были живы старыя вѣрованія. Да и не только массу, повидимому, не смущала даже популяризированная Эвгемеромъ теорія земного происхожденія боговъ, теорія, по которой всѣ боги были вначалѣ просто люди, такъ или иначе добившіеся обожествленія: Юпитеръ былъ когда-то воинственнымъ царемъ, Сатурнъ — царемъ добродушнымъ, лишеннымъ своими дѣтьми престола, Венера — проституткой и т. д. Буассье справедливо замѣчаетъ, что „вѣроятно, подъ вліяніемъ эвгемеризма, Пика, Фавна, Сатурна, Януса и другихъ малоизвѣстныхъ боговъ Италіи—превратили въ государей, царствовавшихъ въ Лаціумѣ, соединили ихъ узами родства или дружбы и создали имъ цѣлую исторію“. Это низведеніе боговъ на землю послѣ того, какъ ихъ въ теченіе вѣковъ поднимали съ земли на небеса, должно было сослужить службу раціо-

нализму, но въ первое время лишь сближало боговъ и людей, укрѣпляло мысль о возможности для человѣка стать богомъ. Притомъ же для огромнаго большинства, въ особенности для провинціаловъ, личность цезаря сливалась съ Римомъ. „Мы не должны забывать,—говорить Ж. Ревилль, — что почести воздавались населеніемъ не столько государю самому по себѣ, сколько представителю могущества имперіи“. Цезарь „непосредственнѣе всего изображалъ собою Римъ и его могущество, а ничто такъ не поражало міръ, какъ римское могущество. Народы, любящіе видѣть во всякомъ успѣхѣ руку Божію... должны были быть поражены нѣкотораго рода суетвѣрнымъ ужасомъ при видѣ столь длиннаго ряда побѣдъ и завоеванія всего міра“ (Буассье) Какъ нѣкогда отецъ былъ представителемъ и какъ бы символомъ маленькой семейной индивидуальности, такъ цезарь былъ представителемъ и символомъ огромной индивидуальности римской имперіи, поглотившей безчисленное множество низшихъ индивидуальностей разныхъ типовъ и ступеней. Цитируемый Гастономъ Буассье Ваддингтонъ замѣчаетъ, что въ Азіатской провинціи не было примѣра, чтобы она воздвигла храмъ какому-нибудь олимпійскому божеству: „Это было невозможно, потому что Эфесъ потребовалъ бы предпочтенія для Артемиды, Пергамъ для Эскулапа, Сизикъ для Прозерпины“. „Согласиться между собою,—прибавляетъ Буассье,— можно было только относительно культа императора, одинаково признаваемого и почитаемого всѣми городами, что и дало ему новую возможность приобрести важное значеніе. Между тѣмъ, какъ власть всѣхъ другихъ жрецовъ ограничивалась тѣмъ мѣстомъ, гдѣ они отправляли свою должность, власть фламينا Рима или Августа, избраннаго жителями провинціи, распространялась на всю провинцію. Слѣдовательно, на дѣлѣ онъ былъ выше другихъ, но сдѣлался выше другихъ и по праву, когда борьба съ христіанствомъ подала императорамъ мысль учредить жреческую іерархію въ языческомъ духовенствѣ. Тогда провинціальныя верховныя жрецы получили власть надъ всѣми деревенскими и городскими жрецами и право суда надъ ними“.

Культъ цезарей былъ культомъ Рима, какъ общественной индивидуальности, и, въ качествѣ такового, олицетворялъ и поддерживалъ единство этой пестрой смѣси „племень, нарѣчій, состояній“. А она очень нуждалась въ такой поддержкѣ. Старый культъ предковъ, героевъ, основателей родовъ давно уже ослабѣлъ подъ вліяніемъ тѣхъ измѣненій въ общественной жизни, которыя еще со времени Сервія Туллія затемнили значеніе рода, поставивъ рядомъ съ происхожденіемъ и въ противовѣсъ ему имущественный цензъ и военную доблесть. У многочисленныхъ „бездородныхъ“ людей появились свои Маны и Лары, и хотя это были по прежнему души умершихъ, но уже не связанныхъ съ поклоняющимися имъ узами родства. Лары улицъ, Лары перекрестковъ

и т. п. не могли имѣть то значеніе, которымъ пользовались Лары семейнаго очага. Что касается великихъ боговъ физической природы, то у нихъ, по мѣрѣ расширенія границъ римскаго государства, явилось множество соперниковъ въ лицѣ чужеземныхъ боговъ.

Слово „соперники“, впрочемъ, въ данномъ случаѣ не совсѣмъ точно. Одною изъ отличительныхъ чертъ римлянъ издревле было уваженіе къ чужимъ богамъ. Они охотно отождествляли ихъ съ своими собственными божествами. Такъ Юлій Цезарь, ничто же сумняся, рассказываетъ, что галлы поклоняются Меркурію, Аполлону, Марсу, Юпитеру и Венерѣ. Въ путешествіи они отдавали себя подъ покровительство мѣстныхъ боговъ. Въ случаѣ враждебныхъ столкновеній съ какимъ-нибудь народомъ, они всегда старались переманить его боговъ на свою сторону. Вотъ, напр., рассказъ Тита Ливія о взятіи Камилломъ этрусскаго города Вейи. Передъ приступомъ Камиллъ обратился къ богамъ съ такою молитвою: „Подъ твоимъ руководствомъ, Пивійскій Аполлонъ, и подъ вдохновеніемъ твоего прорицалища я иду разрушить городъ Вейи и общаю тебѣ десятую часть добычи отсюда. Также и тебя, царица Юнона, обитающая нынѣ въ Вейяхъ, я молю послѣдовать за нами, побѣдителями, въ нашъ городъ, который скоро будетъ твоимъ, гдѣ тебя приметъ достойный твоего величія храмъ“. А по взятіи города произошла слѣдующая сцена: „Когда человѣческія сокровища были уже вывезены изъ Вейи, начали убирать сдѣланныя богамъ приношенія и самихъ боговъ, но скорѣе съ благоговѣніемъ, чѣмъ въ видѣ святотатства. Именно, юноши, представители всего войска, которымъ поручили перенести въ Римъ царицу Юнону, чисто омылись, одѣлись въ бѣлую одежду и съ трепетомъ вошли въ храмъ; сначала они съ религіознымъ чувствомъ только приближали руки къ той статуѣ, такъ какъ по этрусскому обычаю ея имѣли право касаться только жрецы извѣстной фамилии, но затѣмъ кто-то, либо по божественному вдохновенію, либо въ видѣ юношеской шутки, сказалъ: „Хочешь ли, Юнона, идти въ Римъ?“ Тутъ прочіе закричали, что богиня киваніемъ головы выразила свое согласіе, откуда образовалось въ этой легендѣ наслоеніе, что слышали даже произнесенное ею слово: „Хочу!“ Во всякомъ случаѣ ее сняли съ сѣдалища безъ особенныхъ усилій и, по преданію, ее такъ легко и удобно было переносить, точно она сама шла во слѣдъ; она въ цѣлости доставлена была на Авентинъ, свое вѣчное жилище, куда призвали ее обѣты римскаго диктатора и гдѣ въ послѣдствіи тотъ же Камиллъ, который далъ обѣтъ, освятилъ въ ея честь храмъ“ („Римская исторія отъ основанія Рима“, переводъ М. Б. Гуревича).

Такое особенно почтительное отношеніе къ этрусской богинѣ объясняется долгимъ упорнымъ сопротивленіемъ Вей, свидѣтельствовавшимъ о мощи богини, покровительство которой было

поэтому желательно приобрести. Въ другихъ случаяхъ римляне, по крайней мѣрѣ, предоставляли побѣжденнымъ народамъ свободу поклоняться ихъ богамъ и никому не навязывали своей религіи. Мало того, они лишь въ очень рѣдкихъ случаяхъ оказывали противоѣдствіе вторженію въ Римъ иностранныхъ культовъ. А послѣ страшныхъ несчастій, обрушившихся на Римъ во время пуническихъ и потомъ гражданскихъ войнъ, когда, казалось, національные боги отступились отъ Рима, вѣрнѣе, когда римляне отступились отъ своихъ износившихся боговъ, жажда новой религіи съ необыкновенною страстностью искала утоленія въ чужихъ, въ особенности восточныхъ культахъ (почему именно въ нихъ, мы увидимъ въ свое время). Тутъ-то слава Юлія Цезаря и его трагическая смерть дали первый толчокъ обожествленію императоровъ, какъ представителей величія и могущества римскаго государства. Это не мѣшало распространенію восточныхъ культовъ и сліянію ихъ съ остатками римской религіи подъ верховнымъ главенствомъ императора, какъ бога. Сами императоры то отождествляли себя съ чужеземными, преимущественно греческими богами, то поклонялись имъ, не отрекаясь отъ собственной божественности. Такъ Неронъ усердно поклонялся сирійской богинѣ Астартѣ, но однажды, разгнѣвавшись на нее, самымъ безстыднымъ образомъ осквернилъ ея статую. А, наконецъ, Римъ дошелъ до того, что императоромъ сталъ развратный мальчишка, верховный жрецъ одного изъ сирійскихъ Вааловъ Эль-Габала, принявшій самъ имя этого бога, поставившій его выше Юпитера и Весты и въ теченіе трехъ лѣтъ безпрепятственно совершавшій невѣроятныя безобразія. Онъ кончилъ позорной насильственной смертью, но ею кончилъ не одинъ изъ цезарей, что не мѣшало имъ при жизни, исполненной безумія и мерзости, представлять собою государство?

Ник. Михайловскій.

(Продолженіе будетъ),

„СОГРѢШИХЪ“.

Романъ Эрнеста Уильяма Хорнгуна.

Переводъ съ англійскаго З. Журавской.

VIII.

Владѣлецъ помѣстья.

Уильтонъ Глидъ былъ обязанъ своимъ успѣхомъ въ жизни врожденнымъ политическимъ добродѣтелямъ и особаго рода энергіи, не связанной съ предприимчивостью. Онъ былъ человѣкъ неглупый, провицательный и чрезвычайно упорный въ достиженіи цѣли, но абсолютно лишенный инициативы, а потому онъ умѣлъ использовать каждый представлявшійся ему шансъ и никогда, сколько себя помнилъ, не рисковалъ. Онъ не былъ человѣкомъ, своими руками пробившимъ себѣ дорогу, но былъ сыномъ такого человѣка, выдвинувшагося благодаря именно той предприимчивости, которой былъ лишенъ Уильтонъ Глидъ. Отецъ его замѣтилъ назрѣвшую потребность и взялъ на себя дать ей удовлетвореніе. Дѣло пошло. Время придало фирмѣ нѣкоторую аристократичность въ смыслѣ старинности—не рода производства—ибо даже время не могло смягчить того факта, что *Глидъ и Сынъ* торговали жестянками. Нашелся изобрѣтатель, придумавшій продавать жестянки вмѣстѣ съ прикрѣпленнымъ къ нимъ затѣйливымъ ключемъ; мелкія фирмы обрадовались этому улучшенію. Мелкія фирмы не боялись риска и этимъ уже и раньше нѣсколько вредили *Глиду и Сыну*; но худшее, что онѣ могли сдѣлать всѣ вмѣстѣ, ничто, въ сравненіи съ экстреннымъ расходомъ въ солидную долю фартинга на каждую жестянку, когда ихъ выпускается нѣсколько миллионѣвъ въ годъ. Уильтонъ Глидъ не могъ рѣшиться на такой крупный расходъ. Онъ никогда въ жизни не рисковалъ и не хотѣлъ начинать, тѣмъ болѣе что траты его возрасли, благодаря вступленію въ парламентъ, и онъ былъ не такъ глупъ, чтобы играть своимъ состояніемъ. Ему чудилось, что разореніе уже глядитъ ему въ лицо. Онъ поду-

маль, подумаль—и рѣшилъ преобразовать фирму *Глидъ и Сынъ* въ отвѣтственное акціонерное общество съ ограниченымъ количествомъ пайщиковъ.

Это было самое рискованное предпріятіе въ его жизни. За время обдумыванія онъ потерялъ въ вѣсѣ изрядное количество фунтовъ—но это было и все, что онъ потерялъ. Сдѣлка принесла ему больше денегъ, чѣмъ онъ умѣлъ истратить.

Дюжинный человѣкъ всего лучше у себя дома, и, какъ хозяинъ, Уильтонъ Глидъ былъ очень цѣнимъ своими друзьями. Онъ былъ превосходный спортсменъ—изъ эгоистичной породы, презирающей игры, гдѣ нужно блюсти интересы своей стороны—но за то отличный стрѣлокъ, хорошій рыболовъ и недурной ѣздокъ, хотя и терявшій иногда отъ своего великаго правила: не рисковать. Глидъ былъ невысокъ ростомъ, плѣшивъ, носилъ серебристо-песочнаго цвѣта усы и коротко остриженные бакенбарды; лицо его говорило о полнокровіи, но тѣмъ не менѣе дышало здоровьемъ; глазъ былъ еще зорекъ, походка эластична. Съ ружьемъ въ рукѣ, въ высокихъ сапогахъ, гетрахъ и охотничьей фуражкѣ на головѣ, Уильтонъ Глидъ чувствовалъ себя еще совсѣмъ молодымъ человѣкомъ; годы, растраченные на болотахъ, начинали сказываться только поздно вечеромъ, но и вечеръ былъ по своему такъ же восхитителенъ, какъ и день.

Дома ждалъ прекрасный обѣдъ, которому хозяинъ отдавалъ честь не хуже школьника. Безупречное шампанское лилось рѣкой, особенно во главѣ стола. За портвейномъ Глидъ становился нѣсколько болтливъ, въ двухъ словахъ рѣшалъ восточный вопросъ и стиралъ въ порошокъ Гладстона; кожа блестѣла, словно натянутая, на его лысой головѣ; всегда внимательный взоръ становился нѣсколько пристальнѣе и дольше останавливался на лицѣ слушателя, чѣмъ того требовалъ разговоръ. Но неумѣстное слово рѣдко срывалось у него съ языка, и еще рѣже при отходѣ ко сну. Уильтону Глиду можно было дать столько лѣтъ, сколько ему было на самомъ дѣлѣ.

Жилъ онъ на подгородной дачѣ, доставшейся ему отъ отца—изрѣдка выѣзжалъ за границу и арендовалъ мѣста для охоты. Затѣмъ узналъ, что въ двухъ съ половиной часахъ ѣзды отъ города продается помѣстье, удобное для охоты, и за сорокъ тысячъ фунтовъ сдѣлался сквайромъ Лонгстоу, патрономъ превосходнѣйшаго прихода и крупнымъ землевладѣльцемъ въ мѣстности, гдѣ у него уже были друзья и гдѣ онъ скоро пріобрѣлъ ихъ еще больше. Въ то-же время, въ качествѣ депутата отъ того округа, гдѣ Глиды въ теченіе полусотни лѣтъ давали работу сотнямъ людей, онъ купилъ домъ въ городѣ. Послѣдовали болѣе утонченныя помѣщенія капитала. На старости лѣтъ Уильтонъ Глидъ сдѣлался игро-

комъ, но велъ игру очень ловко, съ большой осторожностью и изъ борьбы на общихъ выборахъ 1880 г., гдѣ его партія проиграла, вышелъ сэръ Уильтономъ Глидомъ. Это было только дворянство, а сэръ Уильтонъ могъ бы мечтать, и не безъ основанія, о баронетствѣ, но все же это былъ шагъ впередъ...

О Лонгстовскомъ скандалѣ и его непосредственныхъ результатахъ сэръ Уильтонъ впервые узналъ въ городѣ. Вѣсть объ этомъ пришла въ видѣ нѣсколькихъ сухихъ строкъ отъ Сиднея, съ первой утренней почтой понедѣльника іюня 26-го 1882 г. Она упала, какъ головня въ бочку съ порохомъ. Сэръ Уильтонъ чуть не задохся отъ гнѣва и негодованія; кромѣ понятныхъ причинъ тому, у него были еще и другія, болѣе уважительныя, въ которыхъ не послѣднюю роль играла личная обида. Онъ готовъ былъ отправиться съ первымъ же поѣздомъ, чтобы „избить до полусмерти эту собаку“, но „собака“ нашла себѣ убѣжище въ Лекенхолльскомъ лазаретѣ, при чемъ поврежденія у нея, по словамъ Сиднея, были „самыя пустяшныя“. А парламентъ какъ нарочно переживалъ такую пору, когда ни одинъ добрый солдатъ не отлучается съ поля брани. Сэръ Уильтонъ рѣшилъ съѣздить на одинъ день въ деревню и грозился выбросить всю мебель изъ пастората на улицу, если самъ ректоръ не явится взять ее и убраться по добру по здорову. Сэръ Уильтонъ имѣлъ своеобразное понятіе о правахъ и власти владѣльца прихода. Одинъ изъ пріятелей во время просвѣтилъ его.

— Вы не можете сдѣлать этого, Глидъ. Приходъ совѣтъ особая штука. Вы можете дать его, но не можете взять обратно.

— Такъ что же мнѣ дѣлать?

— Ждать, пока его отрѣшатъ, или онъ самъ откажется. Въ итогѣ выйдетъ то-же.

О пожарѣ писали во всѣхъ газетахъ, при чемъ не обходилось, конечно, безъ упоминанія—намеками—о скандалѣ. Къ сэру Уильтону Глиду многіе обращались за разъясненіями, даже люди, которые въ другое время забывали о своемъ знакомствѣ съ нимъ, какъ, на примѣръ, одинъ свѣтскій политикъ, дальній родственникъ Карльтона. Сэръ Уильтонъ увѣрялъ, что знаетъ не больше газетъ, и ходилъ мрачный, какъ туча: Робертъ Карльтонъ былъ не только занозой въ его боку весь этотъ годъ; онъ былъ еще виновникомъ единственного ложнаго шага, сдѣланнаго сэромъ Уильтономъ во всю его жизнь. Никогда онъ не былъ такъ увѣренъ, что поступаетъ хорошо, и такъ доволенъ собой, какъ именно въ этомъ случаѣ. Джентльменъ—неглупый человѣкъ—по отзывамъ леди Глидъ и ихъ дочери и по его собственному убѣжденію, лучший проповѣдникъ, какого онъ когда-либо слышалъ—хорошей фамиліи и

при томъ не какая нибудь седьмая вода на киселѣ, а близкій родственникъ главѣ семьи—можно ли было желать лучшаго преемника достойному спортсмену, презиравшему бѣлые галстуки и схватившему смертельную простуду, охотясь среди зимы вмѣстѣ съ докторомъ Мэригольдомъ?

А между тѣмъ этотъ субъектъ оказался сущей заразой съ самаго же начала. Онъ сразу пошелъ своей дорогой со спокойной независимостью, возмущавшей сквайра лишь немногимъ менѣе учтивости и почтительности, проявляемыхъ пасторомъ въ каждой ссорѣ. Т. е. настоящей ссоры, собственно, не было: дѣло ограничивалось тѣмъ, что при встрѣчахъ сквайръ былъ нѣсколько рѣзокъ съ пасторомъ, а за спиной ругалъ его на чемъ свѣтъ стоитъ. И не удивительно! Безъ всякихъ религіозныхъ убѣжденій, но по природѣ врагъ перемѣнъ, сэръ Уильтонъ принялъ неизбѣжныя, но слишкомъ поспѣшныя нововведенія пастора за личную себѣ обиду. Когда же его укорамъ были учтиво противопоставлены доводы изъ области, совершенно ему незнакомой, и сквайръ понялъ, что имѣетъ дѣло съ противникомъ умнѣе и сильнѣе себя, поставившимъ его въ нелѣпное положеніе человѣка, противящагося въ деревнѣ тому, что его семья поддерживаетъ въ городѣ, ему оставалось только отступить отъ неравной борьбы и ждать случая отомстить. Слишкомъ политикъ для того, чтобы открыто разорвать съ человѣкомъ, у котораго все же было больше послѣдователей, чѣмъ враговъ, и который скоро сдѣлался первымъ лицомъ въ приходѣ, сэръ Уильтонъ, естественно, ненавидѣлъ его тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе чувствовалъ необходимость придерживать свой языкъ. Кромѣ того, онъ и въ другихъ отношеніяхъ разочаровался въ пасторѣ. Тотъ предпочиталъ обучать мальчишекъ крикету, чѣмъ охотиться со сквайромъ, да и за обѣдомъ былъ плохой собеседникъ. Его предшественникъ стрѣлялъ почти (но не совсѣмъ) такъ же хорошо, какъ самъ сэръ Уильтонъ, а по части портвейна могъ перепить кого угодно. Карльтонъ даже не поддерживалъ сношеній со своими родными. Словомъ, толку отъ него не было никакого. И вотъ все это кончилось—такъ неожиданно быстро и такъ безславно!

По дорогѣ изъ Лекенхолля, гдѣ его ждалъ двухколесный кабріолетъ, въ Лонгстоу онъ предложилъ только одинъ вопросъ и проѣхалъ мимо усадьбы, прямо къ церкви. Здѣсь онъ соскочилъ на землю и смотрѣлъ на обуглившіяся развалины, заложивъ руки въ карманы, молодецки вздернувъ плечи, пристальнымъ взоромъ, въ которыхъ была смѣсь гнѣва и ликованія. Потомъ обошелъ кругомъ, глядя на разбитыя окна. Кабріолетъ ждалъ его у дверей пастора. Домой онъ до-

ѣхалъ молча. Его единственный вопросъ былъ о томъ, вышелъ ли уже ректоръ изъ лазарета.

Деревенская улица разрѣзала пополамъ помѣщичій садъ, огороженный высокою каменною стѣною, и самая усадьба изъ темнаго кирпича стояла такъ-же близко къ дорогѣ, какъ лондонскій домъ на Гайдъ-паркской площади. Изъ двухъ домовъ этотъ былъ безобразнѣе лондонскаго отъ слуховыхъ оконъ въ крутой черепичной крышѣ до портика съ раскрашенными колоннами. Внутри была удручающая атмосфера огромнаго и пустого зданія. Сэръ Уильтонъ быстро прошелъ черезъ сумрачную гостиную, гдѣ все стояло въ чинномъ и скучномъ порядкѣ, и черезъ окно-дверь вышелъ въ садъ, гдѣ вязы и чинары бросали на гладко выбритый дернъ лужаекъ тѣни такія же острия, какъ они сами. Навстрѣчу ему по травѣ шла дѣвочка переходнаго возраста, съ темной косой и въ траурномъ платѣ, ни длинномъ, ни короткомъ. Сэръ Уильтонъ коснулся ея волосъ своими сѣдѣющими усами.

— А гдѣ-же фрейленъ?

— Должно-быть, въ классной, дядя.

— Мнѣ нужно поговорить съ ней. Я утромъ ѣду назадъ и у меня много дѣла. Скажи ей, — что я буду ждать здѣсь въ саду.

Фрейлейнъ Гентигъ, пожилая особа небольшого роста съ некрасивымъ, но неглупымъ лицомъ, не заставила себя ждать. Фрейлейнъ Гентигъ ужъ много лѣтъ жила въ семействѣ Глидъ, занимая различныя должности; сейчасъ она постоянно жила въ деревнѣ и занималась хозяйствомъ, но въ послѣднее время ей пришлось взять на себя еще и полузабытыя обязанности гувернантки, ибо сэръ Уильтонъ принялъ къ себѣ въ домъ единственную дочь своего единственнаго брата. Фрейлейнъ Гентигъ была особа въ высшей степени благо-разумная; съ ней можно было быть спокойнымъ, что глупостей отъ нея не услышишь. Она рассказала сэръ Уильтону все, что слышала и что, по ея мнѣнью, было правдой, не смягчая и не взвизгивая при восклицаніяхъ, неоднократно прерывавшихъ ея рѣчь. Во время разказа глаза ея слушателя свѣтились злорадствомъ, но подъ конецъ онъ нахмурился.

— Жалко, что меня не было здѣсь! Я не далъ бы имъ бить его стекла; я бы оставилъ за собой привилегію собственноручно избить его. Я бы и сейчасъ это сдѣлалъ, будь онъ здѣсь; но онъ теперь и носа не покажетъ въ Лонгстоу. Я полагаю, никто не сомнѣвается въ томъ, что церковь сгорѣла отъ поджога?

— Какъ слышно, никто, сэръ Уильтонъ.

— Что же, есть на кого-нибудь подозрѣніе?

— Подозрѣвали Джорджа Меллиса. Онъ, говорятъ, былъ влюбленъ въ эту дѣвушку; къ тому же онъ скрылся въ суботу ночью. Но теперь оказывается, что его видѣли въ Ле-кенхаллѣ задолго до пожара, и съ тѣхъ поръ онъ не возвращался. Говорятъ, онъ, узнавъ о скандалѣ, отправился прямо въ пасторатъ и, какъ только м-ръ Карльтонъ сознался, такъ онъ сейчасъ и выѣхалъ изъ Лонгстоу. А теперь онъ, какъ я слышала, уже записался рекрутомъ въ полкъ, въ Лондонѣ.

— Да что вы! Вотъ еще укоръ на совѣсти этого негодяя; нечего сказать, хорошихъ дѣлъ натворилъ!.. Получили вы письмо леди Глидъ?

— Получила, сэръ Уильтонъ, и еще вчера написала, чтобы онъ не беспокоились насчетъ племянницы. Она невинна, какъ младенецъ, и когда я сказала ей, что стекла въ пасторатѣ били за то, что м-ръ Карльтонъ сдѣлалъ что-то безчестное, она удивилась, конечно, но не стала спрашивать. Я приказала слугамъ молчать, а съ Гвиннетъ взяла обѣщаніе, что она не станетъ ходить въ деревню; тамъ теперь какъ разъ объявилась тифозная горячка въ одномъ коттеджѣ—вотъ и предлогъ.

— Превосходно! Я вообще не желаю, чтобы она плясала по коттеджамъ, и скажу ей это самъ. Она слишкомъ молода для всего этого. И читать ей нельзя всего, что вздумается. Сейчасъ у нея въ рукахъ была книга—я не замѣтилъ, какая,—но сдается мнѣ, что она склонна забивать себѣ голову всякимъ вздоромъ. Надо отдать ее въ хорошую школу, а пока воспитывайте ее, какъ вы воспитывали наше родное дитя.

Фрейлейнъ Гентигъ усмѣхнулась.

— У нихъ характеры совсѣмъ разные; это уже и теперь сказывается. Но я сдѣлаю все, что могу, сэръ Уильтонъ.

Когда они выходили изъ сада, пара карихъ глазъ слѣдила за ними изъ окна верхняго этажа, гдѣ въ нишѣ укрывалась дѣвочка со своей книгой. Ей и раньше трудно было сосредоточить вниманіе на книгѣ, а теперь она даже и не пробовала читать. Въ воздухѣ носилась тайна, и эта тайна была гораздо увлекательнѣе всѣхъ тайнъ въ книгахъ. Для дѣвочки эта тайна была абсолютно непроницаема, но тѣмъ не менѣе голова ея была полна вопросовъ и догадокъ. Она ушла наверхъ, чувствуя, что мѣшаетъ дядѣ и доброй, серьезной фрейлейнъ. Но и этого, видно, было недостаточно; они сами пошли разговаривать на другой конецъ сада. Разумѣется, Гвиннетъ знала, о чемъ они говорили, но что же такого безчестнаго можетъ сдѣлать священникъ, чтобы объ этомъ нельзя было даже говорить при ней? Слово „священ-

никъ“ она понимала не въ отвлеченномъ смыслѣ. Она думала о человѣкѣ съ прекраснымъ, печальнымъ лицомъ, о пылкомъ проповѣдникѣ, отъ чьего голоса что-то дрожало въ груди и слова котораго западали въ душу. Она съ одинаковымъ сочувствіемъ слышала, какъ онъ проповѣдывалъ о грѣхѣ и страданіи. Ей вспоминались отдѣльныя фразы. Теперь она понимала. Но что же могъ онъ сдѣлать, чтобы такъ страдать и чтобы такая воплощенная доброта, какъ фрейлейнъ Гентигъ, могла радоваться его страданіямъ?

Гвиннетъ была ужасающе невинна, но именно потому въ высшей степени любознательна. Она не знала жизни; но знала, что жизнь бываетъ трагедіей. Она родилась и выросла въ атмосферѣ трагедіи. Квентинъ Глидъ былъ совершенно лишенъ добродѣтелей, которыя съ такимъ успѣхомъ культивировалъ его братъ. Онъ бросилъ жену, спился и умеръ отъ пьянства на глазахъ у Гвиннетъ. Молодая дѣвушка смутно помнила горькія и тяжелыя сцены въ роскошномъ домѣ—и совершенно ясно—годы мирной бѣдности въ крошечномъ коттеджѣ. А теперь и мать умерла—милая, независимая, упрямая мама, учившая свою дѣвочку всему, кромѣ познанія зла, царящаго въ мірѣ! И ея дѣвочка сидѣла у окна своей спальни, въ своемъ новомъ домѣ, который никогда не станетъ для нея роднымъ домомъ; и солнечный лучъ, падавшій на нее, не находилъ дна въ ея темныхъ и прозрачныхъ глазахъ, ни пятнышка на ея нѣжной кожѣ, и ни кушечка на тополѣ, ни дроздъ на вязѣ, ни воробьи подъ карнизомъ надъ самой ея головой не могли рассказать ей о злѣ и грѣховности даже того маленькаго мірка, гдѣ она жила.

IX.

Поединокъ начинается.

Подъ вечеръ 13 іюля Лекенхолльскій извозничій кабріолетъ прогромыхалъ черезъ весь Лонгстоу и остановился у калитки пастората. Кабріолетъ ждалъ на дождѣ, пока одинъ изъ сидѣвшихъ въ немъ ходилъ въ домъ. Онъ такъ недолго оставался тамъ, и на улицѣ, благодаря сырости, было такъ мало народу, что кабріолетъ катилъ уже обратно въ Легенхалль, прежде чѣмъ лонгстоунцы сообразили, что это ихъ ректоръ, вопреки предсказанію, осмѣлился показать носъ въ Лонгстоу и еще среди бѣлаго дня. Правда, тѣмъ дѣло и ограничилось, и до конца іюля о немъ не было ни слуху, ни духу. Повидимому, онъ пріѣзжалъ только затѣмъ, чтобы взять какія-то свои бумаги. Пасторатъ былъ запертъ по приказанію сквайра, но ректоръ высадилъ дверь своего кабинета, и

грязные слѣды его ногъ виднѣлись только на полу этой комнаты. Въ тотъ же вечеръ онъ уѣхалъ въ городъ— и исчезъ. Но его духовному начальству извѣстенъ былъ его адресъ. И его самого каждый день можно было видѣть въ читальнѣ Британскаго Музея—памятная многимъ фигура, склонившаяся надъ грудой сочиненій по архитектурѣ и рисовавшая или копировавшая планы на небольшомъ, остававшемся свободнымъ уголкѣ стола, съ нервной энергіей въ лицѣ и движеніяхъ рукъ, съ увлеченіемъ, какое не каждый день увидишь въ этихъ унылыхъ стѣнахъ.

Въ началѣ августа его судили въ епархіальной консисторіи. Судъ былъ коротокъ, ибо обвиняемый призналъ себя виновнымъ и его собственное сознание было единственной уликой противъ него. Приговоръ вынесенъ былъ именно такой, какъ предвидѣлъ епископъ: отрѣшеніе *ab officio et beneficio* на пятилѣтній срокъ.

Объ этомъ было писано и въ лондонскихъ газетахъ, но коротко, въ двухъ словахъ. Сэръ Уильтонъ радъ былъ и этому. Для него нѣсколько строкъ въ „Таймсѣ“ съ заключеніемъ: „М-ръ Карльтонъ отрѣшенъ отъ должности на пять лѣтъ“ были счастливымъ предзнаменованіемъ для наступающихъ парламентскихъ ваканцій, начинавшихся какъ разъ въ этотъ день. Семейство его было уже въ деревнѣ. Сэръ Уильтонъ сѣлъ на послѣдній Лекенхолльскій поѣздъ и ѣхалъ домой въ превосходнѣйшемъ расположеніи духа. Изъ пяти миль четыре приходилось ѣхать по его собственной землѣ и на каждомъ шагу передъ его глазами въ розовомъ сумракѣ шмыгали кролики. Позже ему улыбались съ обѣденнаго стола піоніи и кавалерійскія шпоры, цвѣтъ роскошной англійской природы; дрозды черезъ открытое окно привѣтствовали его своей пѣсенкой, соловей убаюкивалъ его своей трелью, но усталому лондонцу снился фазанъ, котораго онъ замѣтилъ, когда ѣхалъ изъ Лекенхолля въ Лонгстоу.

Въ деревнѣ сэръ Уильтонъ вставалъ рано, и на слѣдующее утро онъ былъ уже въ саду, когда тѣни вязовъ еще дотягивались до дома и дрожали на его обнаженныхъ кирпичныхъ стѣнахъ. Широкая лужайка была покрыта, словно пылью, молочнаго цвѣта росой, но сэръ Уильтонъ не боялся росы въ своихъ высокихъ непромокаемыхъ сапогахъ; для него было не послѣднимъ удовольствіемъ облечься въ охотничьи сапоги, гетры и мягкую куртку. Первые минуты, проведенныя въ саду, были такъ прекрасны, что радость жизни переполнила черезъ край грудь Уильтона Глида. Онъ былъ человекъ, и ему захотѣлось раздѣлить съ кѣмъ-нибудь свою радость. Но Сидней никогда не вставалъ раньше, чѣмъ это становилось безусловно необходимо, и садовники, повидимому,

тоже. Возлѣ конюшни онъ повстрѣчалъ грума, но лицо грума надоѣло ему и въ городѣ. Сэръ Уильтонъ пошелъ по деревнѣ и, натурально, повернулъ влѣво. Двери коттеджей были открыты и въ нихъ виднѣлись знакомыя фигуры, приподымавшія шапки, или присѣдавшія, когда онъ проходилъ мимо, умѣя найти для cadaго привѣтливое слово. Сэръ Уильтонъ надвинулъ фуражку низко на глаза, чтобъ защитить ихъ отъ солнца, и любовался роскошной пшеницей на полѣ за почтовой конторой и ячменемъ на сосѣднемъ полѣ. Съ тою же безмятежностью въ душѣ онъ прошелъ мимо Флинтгоуза и миновалъ сосѣдній лугъ, прежде чѣмъ мысли его приняли неизбѣжное направленіе, приводившее къ бормотанью разныхъ ругательныхъ словъ сквозь стиснутые зубы. Но сегодня до этого не дошло; въ это утро, дыша благоуханнымъ воздухомъ Англіи, съ немолчнымъ щебетомъ птицъ въ ушахъ, даже сэръ Уильтонъ Глидъ могъ найти въ своемъ сердцѣ жалость къ падшему грѣшнику, изгнанному изъ этого уголка, который для сквайра былъ раемъ.

— Бѣдняга!—подумалъ онъ, дойдя до калитки пастората и увидавъ, что дворъ заросъ высокой травой. Эта запущенность, впрочемъ, гармонировала съ общимъ видомъ стараго причудливой архитектуры зданія въ лохмотьяхъ изъ плюща и старой шали изъ ободранныхъ черепицъ. Стекла не были вставлены и ставни закрыты. Помимо этого, картина запустѣнія была для сквайра такъ же привлекательна, какъ и предыдущія. Деревья, скрывавшія церковь лѣтомъ, еще долго будутъ прикрывать и ея развалины.

Сэръ Уильтонъ вошелъ, чтобы освѣжить въ памяти списокъ разныхъ мелкихъ поврежденій, и это измѣнило его настроеніе. Кто же заплатитъ за эти двадцать девять—нѣтъ, онъ пропустилъ одно окно—цѣлыхъ тридцать три стекла? Онъ былъ такой человѣкъ, который и копѣйки не истратитъ даромъ; къ тому же онъ не представлялъ себѣ ясно, какія обязанности на него налагаетъ законъ, и весь ошетинился при мысли, что ему придется расплачиваться за безнравственность пастора и безчинства его паствы. Довольно онъ уже платилъ! А церковь? Кто же будетъ отстраивать церковь? Они, можетъ быть, ждутъ этого отъ него, благо онъ взялся разыгрывать роль патрона? И сэръ Уильтонъ заранѣе разсердился: такъ непріятенъ былъ для него конфликтъ между страстью дѣлать все на широкую ногу и отвращеніемъ къ лишнимъ расходамъ. Тѣмъ временемъ онъ отыскалъ нетронутое окно—окно кабинета; дверь рядомъ съ этимъ окномъ была пріотворена. Сэръ Уильтонъ распахнулъ ее ногой, словно домъ принадлежалъ ему (такъ онъ, впрочемъ, и думалъ), и остановился, какъ вкопанный, на порогѣ.

— Однако, чортъ побери!—воскликнуть онъ, наконецъ.

Робертъ Карльтонъ спалъ, сидя въ креслѣ, заложивъ руки въ карманы пальто съ поднятымъ до ушей воротникомъ. Его сапоги побурѣли, а панталоны пожелтѣли отъ пыли. Въ одно мгновеніе онъ вскочилъ на ноги, испуганный, удивленный и сконфуженный.

— Такъ вы таки вернулись?

— Часа два тому назадъ. Я шелъ пѣшкомъ отъ Кембриджа. Не понимаю, какъ вы узнали!

— Узналъ! Вы воображаете, что я такъ спѣшилъ наслаждаться вашимъ обществомъ! Нѣтъ, это удовольствіе неожиданное. Я съ умысломъ говорю: удовольствіе. Все-таки это кое-что — убѣдиться, что вы посмѣли дважды показаться здѣсь среди бѣлаго дня.

— Я пришелъ по дѣлу, какъ и тогда, но на этотъ разъ дѣло займетъ больше времени. Я хотѣлъ устроить его по возможности безъ шума. Поэтому я собирался повидаться съ вами, сэръ Уильтонъ.

Это было сказано спокойно, безъ горечи или вызова, но и безъ униженія, сквозившаго въ первыхъ словахъ бывшаго ректора. Сэръ Уильтонъ сдѣлалъ надъ собой нѣкоторое усиліе; ничто не могло убѣдить его въ его неправотѣ, но онъ сообразилъ, что, пожалуй, лучше будетъ воздержаться отъ грубости. При томъ же то, что говорилъ пасторъ, было довольно успокоительно.

— Я понимаю,—сказалъ Глидъ.—Вы вернулись, чтобы распорядиться своею мебелью и вещами, я радъ это слышать.

— Моей мебелью и вещами?—переспросилъ Карльтонъ.—О какихъ распоряженіяхъ вы говорите?

— Да вѣдь не можете же вы оставить все это здѣсь?

— Почему же нѣтъ, сэръ Уильтонъ?

— Почему нѣтъ!—какъ эхо, повторилъ сквайръ, и щеки его изъ румяныхъ мгновенно стали багровыми.—Потому что вы опозорены и унижены — и по заслугамъ, потому что вы то, что вы есть, — грязная собака и ничего больше, потому что вы отрѣшены отъ должности на пять лѣтъ, и я не желаю, чтобы вы или ваша рухлядь загромаждали мой домъ. Ни одного лишняго дня! Такъ и знайте!—И, изливъ свою злобу, сэръ Уильтонъ продолжалъ уже пониженнымъ тономъ:—Я не считалъ необходимымъ высказывать вамъ мое мнѣніе о васъ, но вы сами меня заставили, пеняйте на себя!

Карльтонъ только склонилъ голову и почтительно указалъ на разницу между временнымъ отрѣшеніемъ и отставкой — тономъ скорѣе извиненія, чѣмъ торжества.

— Не говорю, что я это заслужилъ,—добавилъ онъ,—но

благодарю Бога за Его милосердіе ко мнѣ. Это даетъ мнѣ возможность попытаться искупить свой грѣхъ—въ теченіе пяти лѣтъ. А до тѣхъ поръ я выправѣ не только держать свою мебель въ пасторатѣ, но, я полагаю, и жить здѣсь самъ, если мнѣ будетъ угодно.

Глида всего корчило отъ гнѣва. Это былъ двойной ударъ. Въ городѣ дѣла не дали ему времени справиться насчетъ этого, да и самый этотъ вопросъ не могъ возникнуть, пока онъ не пріѣхалъ въ деревню; а вотъ онъ тутъ и есть. Довольно было одного этого, чтобы привести его въ ярость; но послѣднее утвержденіе само по себѣ было чудовищно.

— Я не вѣрю! Не вѣрю ни одному вашему слову. Человѣкъ, который столько времени лгалъ, не способенъ говорить правду!

Карльтонъ выпрямился; ноздри его раздувались.

— Подите лучше спросите вашего повѣреннаго. Я утратилъ право—какъ вы сами хорошо знаете—на единственный возможный отвѣтъ.

— Дѣло не въ правахъ!—возразилъ Глидъ, багровѣя еще больше.—Неужели вы серьезно хотите остаться здѣсь, гдѣ всѣ видѣли вашъ стыдъ и униженіе?

— Я не сказалъ, что я это сдѣлаю. Я сказалъ, что я могъ-бы, если бъ захотѣлъ.

— Вы здѣсь и безъ того уже натворили достаточно бѣдъ; неужели же вы вернетесь, чтобы натворить еще больше?

— Нѣтъ; если я вернусь, то для того, чтобы загладить хоть отчасти причиненное зло,—искупить его, съ божьей помощью! — дрожащимъ голосомъ сказалъ Карльтонъ. — Но жить здѣсь я не собираюсь. Я говорилъ съ епископомъ, и онъ не совѣтуетъ, хотя предоставляетъ мнѣ свободу поступить по своему усмотрѣнію. Сегодня я рассчитывалъ побесѣдовать съ вами. На мнѣ лежитъ еще другой долгъ, такъ что у меня не можетъ быть сомнѣній относительно того, что мнѣ здѣсь дѣлать. Это не вынуждаетъ меня жить здѣсь или навязывать кому бы то ни было свое общество. Но церковь сгорѣла по моей винѣ, и я намѣреваюсь отстроить ее до наступленія зимы.

— Церковь моя!—сердито сказалъ сэръ Уильтонъ.

— Я не хочу противорѣчить вамъ, сэръ Уильтонъ, но, право, вамъ бы лучше посоветоваться обо всемъ этомъ съ вашимъ адвокатомъ.

— Земля моя!

— Только не церковная, сэръ Уильтонъ, и ректоръ не только имѣетъ право, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ быть даже вынужденъ содѣйствовать ремонту и отстройкѣ, въ извѣстныхъ предѣлахъ. Конечно, вашъ адвокатъ пока-

жать вамъ эту статью въ законъ, и вы убѣдитесь сами. Послѣ этого вы, я думаю, едва ли рѣшитесь препятствовать мнѣ выполнить мой священный долгъ.

— Я не признаю этого вашимъ долгомъ. Вашъ первый долгъ убраться отсюда поскорѣе со всѣми потрохами,—если въ васъ осталась хоть капля стыда, негодяй вы этакій!—но въ васъ нѣтъ его, нѣтъ и не было!

Глидъ стоялъ на дорожкѣ, подбоченясь, сжавъ кулаки, разставивъ ноги и выставивъ впередъ налившееся кровью лицо. Карльтонъ послѣднія минуты стоялъ въ дверяхъ, но тутъ шагнулъ къ своему противнику; у него чесались руки избить нахала.

— Зачѣмъ вы оскорбляете меня?—вскричалъ онъ.—Вы думаете, что этимъ можно принудить меня къ чему бы то ни было? Или вы рѣшились вынудить и меня отвѣтить вамъ тѣмъ-же? Ради самого Господа, вспомните, что вы мужчина, сэръ Уильтонъ, и пощадите во мнѣ мою мужскую гордость. Вы пользуетесь моей готовностью принимать всякую брань и обиды, какъ должное, но не заходите слишкомъ далеко! Имѣйте немного гордости! Я готовъ нести заслуженную кару и больше того. Я буду по возможности держаться въ сторонѣ отъ деревни. Если мнѣ удастся отдать внаймы пасторатъ, это будетъ лишній доходъ церкви. Не ставьте мнѣ преградъ; если вы не можете помочь мнѣ своей поддержкой (я согласенъ, что это было-бы больше, чѣмъ я вправѣ ожидать), будьте, по крайней мѣрѣ нейтральны и дайте мнѣ спасти свою душу по своему. Это не составитъ разницы въ прошломъ, но можетъ составить большую разницу въ будущемъ. Богу извѣстно, что я не рассчитываю постройкой церкви очиститься въ Его глазахъ и передъ людьми! Но я могу оставить послѣ себя видимый знакъ своего горя и своего искренняго раскаянія. Я могу оставить послѣ себя имя и примѣръ, хоть и дурной, но не совсѣмъ же дурной, не до конца! Подумайте, что это будетъ значить для меня,—даже это! Подумайте, что-бы это было, если бы мнѣ удалось проложить путь не къ прощенію, но хотя бы къ примиренію съ тѣми, кого я любилъ и для кого былъ дурнымъ пастыремъ... Можетъ быть, это слишкомъ много... я не смѣю надѣяться... нѣтъ, я не имѣю права мечтать объ этомъ... но, по крайней мѣрѣ, дайте мнѣ возмѣстить матеріальный вредъ—единственное, что въ моей власти; дайте мнѣ исполнить свой долгъ! Когда это будетъ сдѣлано, если вы и они не захотите видѣть меня дольше, я избавлю васъ отъ своего присутствія навсегда!

Глидъ колебался, отчасти потому, что, какъ личность, ректоръ былъ для него слишкомъ неравнымъ противникомъ, отчасти потому, что перспектива получить задаромъ новую

церковь не могла не привлекать человѣка, высчитывавшаго стоимость разбитыхъ стеколъ. Онъ быстро прикинулъ въ умѣ всѣ выгоды этой комбинаціи и замѣтилъ изъяснѣ.

— А что-же будетъ съ приходомъ въ эти пять лѣтъ? Кто будетъ платить тому, кто будетъ работать за васъ?

— Во-первыхъ, есть жалованье, котораго я не могу трогать и не тронуть бы, если бѣ могъ; часть этихъ денегъ, безъ сомнѣнія, можно будетъ употребить на это. Но пока церковь не отстроена, по всей вѣроятности, сюда будетъ пріѣзжать изъ Лекенхолля одинъ изъ викаріевъ и отправлять богослуженіе въ школѣ.

— Откуда вы это знаете?—удивился, не безъ основанія, сэръ Уильтонъ.

Карльтонъ потупился.

— Епископъ присылалъ за мной. Я взялъ на себя смѣлость посовѣтоваться съ нимъ. Вы думаете, мнѣ все равно, что здѣсь будетъ во время моего отсутствія? Я надѣюсь, что службы начнутся съ слѣдующаго воскресенья, а постройка церкви—съ будущей недѣли. У меня уже выработанъ весь планъ. Я могу показать вамъ цифры и чертежи. Новый планъ уже готовъ, если его можно назвать новымъ. Трансепты, какъ и раньше, будутъ строиться по моимъ собственнымъ чертежамъ; остальное все будетъ точно такое же, какъ и было.

— Посмотримъ, — угрюмо молвилъ сэръ Уильтонъ. Онъ зналъ этотъ трогательный взглядъ, этотъ восторженный голосъ, покорявшіе сердца сотенъ людей. Можетъ статься, и впредь будетъ то же. Даже самъ сквайръ во время спора испыталъ на себѣ силу этого взгляда и голоса.

— Это мой единственный шансъ!—продолжалъ голосъ еще болѣе мягкими нотами.—Не требуйте отъ меня, чтобы я совсѣмъ отказался отъ него, но я буду все время держаться на заднемъ планѣ; мнѣ нужно только одно: знать, что работа подвигается. Предположимъ, что я сдалъ бы приходъ и вы пригласили бы другого пастора. Какая ему нужна жертвовать на церковь! Чего ради онъ пойдетъ сюда, когда здѣсь и церкви то нѣтъ? Дайте мнѣ сначала выстроить новую!

— Теперь вы уже торгуетесь? Я такъ понялъ, что я не могу помѣшать вамъ?

— Вы и не можете, хотя...

— Увидимъ. Увидимъ!

— Но, сэръ Уильтонъ...

— Чортъ васъ побери съ вашими „но“, сэръ! — загремѣлъ сквайръ, трясаясь отъ гнѣва.—Вы опозорили приходъ и не желаете убраться отсюда. Вы возвращаетесь сюда, идете противъ меня и воображаете, что можете дѣлать все, что вамъ вздумается, послѣ того, что вы сдѣлали. Ей-Богу, это

чудовищно! Во всей округѣ не найти человѣка, который бы не согласился со мной; вы убѣдитесь въ этомъ за свой счетъ. Вамъ желательно выстроить церковь? Посмотрю я, какъ вы это сдѣлаете! Тамъ законъ или не законъ, а я васъ выставлю отсюда! Я васъ выкурю, будьте спокойны! Я то сдѣлаю, что васъ въ клочки разорвуть, ежели вы останетесь!

— Я уже сказалъ вамъ, что я не собираюсь жить здѣсь,— спокойно возразилъ Карльтонъ. — Я хочу только выстроить церковь.

— Отлично! Попробуйте! попробуйте!

И, сверкая глазами, съ напряженнымъ взглядомъ, съ лицомъ, постарѣвшимъ отъ гнѣва, но полный непоколебимой рѣшимости, сэръ Уильтонъ Глидъ круто повернулся на каблукахъ и зашагалъ къ калиткѣ, ступая такъ, какъ будто хотѣлъ задавить ногами противника.

Х.

Буква закона.

На деревнѣ онъ встрѣтилъ Тома Айви, но прошелъ мимо, свирѣпо кивнувъ головой, и, лишь отойдя на нѣсколько шаговъ, вспомнилъ что-то такое важное, что остановился, какъ вкопанный, и круто повернулъ обратно.

— Это вы, Томъ?—окликнулъ онъ.—Я задумался и прошелъ, а мнѣ васъ-то и нужно. Какъ живете можете? а?

— Недурно, благодарствуйте, сэръ Уильтонъ.

— Работы, должно быть, гибель?

— Нѣтъ, въ послѣднее время не то, чтобы очень, сэръ Уильтонъ.

— У меня можетъ быть будетъ работа. Я повидаюсь съ вами сегодня же вечеромъ, или завтра; а вы пока никому не общайтесь. Кстати, какъ здоровье вашей матушки?

— Плохо, сэръ Уильтонъ, очень плохо. Я ужъ иной разъ думаю, что она не жилица на этомъ свѣтѣ.

— Вздоръ! что съ ней такое?

— Я и самъ хорошенько не знаю. Должно быть, отъ старости. Ну и домикъ маленькій, старый; иной разъ она просто задыхается отъ недостатка воздуха.

— Ага! вотъ что!—Глаза сэра Уильтона блеснули.—Помнится, у насъ былъ разговоръ о ремонтѣ?

— Былъ-то былъ, сэръ Уильтонъ...

— Хорошо, я объ этомъ подумаю. Надо сдѣлать, что можно, чтобы устроить старушку поудобнѣе на зиму. Я зайду навѣстить ее, кстати и съ вами потолкуемъ. А вы пока ни-

кому не давайте слова. Не то какъ разъ васъ подцѣпить кто-нибудь изъ лекенхолльскихъ. Не давайте себя сманить!

Сэръ Уильтонъ, хихикнувъ, отошелъ, но черезъ минуту опять обернулся и подозвалъ Тома.

— Кстати, Томъ, въ чьей мастерской вы работали въ Ле-кенхолль?

— У Тэта и Тэплина, сэръ Уильтонъ.

Сквайръ записалъ.

— Это единственная фирма въ городѣ, занимающаяся строительными работами?

— Нѣтъ, сэръ Уильтонъ, есть и другія. Вотъ, напримѣръ, старый Исаакъ Гуль, каменщикъ.

— Ага! каменщикъ!—И сквайръ опять записалъ.—А еще какіе строители и каменщики есть въ нашемъ округѣ—не-вдалекѣ, такъ чтобы могли взять работу здѣсь? Не ту работу, которую я собираюсь дать вамъ, Томъ—вы не бойтесь.

Айви задумался. Онъ вспомнилъ троихъ въ пятнадцати миляхъ отъ Лонгстоу и еще нѣсколькихъ—подальше, но сомнѣвался, чтобы кто-либо изъ послѣднихъ взялъ подрядъ такъ далеко. Тѣмъ не менѣе сэръ Уильтонъ записалъ ихъ имена.

— Вы мнѣ всетаки понадобятся, и я рассчитываю на васъ. Понимаете? Если кто другой предложитъ вамъ работу, помните, что работа у васъ уже есть. А мать вашу я навѣщу сегодня же.

Томъ шелъ дальше въ большомъ недоумѣніи. Онъ не понималъ, въ чемъ дѣло. Десять минутъ тому назадъ онъ нашелъ просунутую ночью подъ дверь записку и, не дожидаясь завтрака, отправился въ пасторатъ. Можетъ быть, сэръ Уильтонъ былъ тамъ раньше его и самъ хочетъ перестраивать церковь? Но что же скажетъ на это его преподобіе теперь, когда онъ отрѣшенъ на пять лѣтъ? И зачѣмъ могъ понадо-биться ему Томъ Айви?

Они безмолвно пожали другъ другу руку, да и потомъ не поминали о пожарѣ. Мужчина платитъ крупный долгъ благодарности другому мужчине однимъ пожатіемъ руки, и Робертъ Карльтонъ не ослабляетъ своего пожатія словами.

— Есть у васъ работа, Томъ?—былъ его первый вопросъ.

— И есть, сэръ, и нѣту.

— Вы не могли бы взять у меня работу?

— Я бы радъ всей душой!—горячо воскликнулъ Томъ (послѣ нѣсколькихъ минутъ размышленія онъ былъ уже не такъ увѣренъ въ этомъ) и въ простотѣ души объяснилъ, почему онъ не считаетъ себя свободнымъ.—Но можетъ быть, это та самая работа?—прибавилъ онъ съ нѣкоторой надеждой.

Карльтонъ покачалъ головой, печально глядя въ это дру-

жественное лицо. Ему стоило сказать нѣсколько словъ (онъ зналъ свою силу)—и этотъ человѣкъ, въ которомъ онъ нуждался, всталъ бы на его сторону и пошелъ бы одинъ противъ всѣхъ. Но ему ли сѣять раздоръ въ деревнѣ? Онъ не долженъ начинать съ этого; онъ долженъ сражаться съ помощью наемниковъ изъ нейтральныхъ сферъ—или совсѣмъ одинъ.

— Гдѣ вы учились мастерству, Томъ?—спросилъ онъ, наконецъ.

— У Тэта и Тэплина, сэръ, въ Лекенхоллѣ.

— Благодарствуйте. Не стану васъ задерживать, Томъ. Если васъ увидятъ здѣсь, это можетъ повредить вамъ.

Онъ съ грустной улыбкой протянулъ руку. Томъ въ свою очередь крѣпко пожалъ ее.

— Мнѣ на это плевать, сэръ! Мы работали съ вами плечо къ плечу и опять когда-нибудь будемъ работать также. А что было раньше, того я не помню.

Карльтонъ нашелъ въ кладовой чай и муку, а на птичникѣ два свѣжихъ яйца. Когда онъ, въ первый разъ въ жизни, самъ варилъ себѣ завтракъ, солнце ярко свѣтило въ окно кухни—впервые послѣ шести недѣль грязи и пыли. Онъ не былъ любителемъ покушать, но по опыту зналъ, что на тощій желудокъ много ходить не годится. Его пони успѣлъ разжирѣть, откормившись на травкѣ, но его щепетильность въ вопросахъ приличія не позволяла ему ѣздить, и въ половинѣ десятаго онъ направился въ Лекенхолль пѣшкомъ.

Первые полмили были пыткой; солнце, заливавшее свѣтомъ деревню, казалось ему, свѣтило только на него одного. Изъ дѣтей иные присѣдали ему, словно ничего не случилось; старшіе глазѣли на него, ничѣмъ не обнаруживая своего отношенія; одинъ только что-то крикнулъ ему вслѣдъ—онъ не разобралъ, кто и что. Когда онъ вышелъ за околицу, у него стучало въ грудь и въ виски, и онъ думалъ только о томъ, что назадъ онъ вернется въ обходъ, но три мили, пройденныхъ въ одиночествѣ, успокоили его нервы. Въ Лекенхоллѣ прохожіе лишь изрѣдка останавливались или обращивались взглянуть на него. При входѣ въ городъ, на него чуть не наѣхала двуколка съ однимъ сѣдокомъ. Вѣхавшій былъ сэръ Уильтонъ. Карльтонъ успѣлъ уловить зловѣщій блескъ въ глазахъ сквайра, но понялъ его значеніе, только когда увидалъ выѣску: *Тэтъ и Тэплинъ*. Тутъ его осѣнило и онъ вошелъ уже подготовленный.

— Работа? Нѣтъ, сэръ, благодарствуйте—ищите другихъ! Мы слышали о васъ и съ такими господами дѣла имѣть не желаемъ. Поняли вы? или прикажете еще пояснить?

Карльтонъ напрасно искалъ другой строительной мастер-

ской и узналъ, что въ городѣ есть каменщикъ только на кладбищѣ, прочитавъ его фамилію на одной изъ новыхъ надгробныхъ плитъ. Но нѣдо было еще узнать, гдѣ онъ живетъ, а въ магазинахъ спрашивать адресъ было совѣстно. Было уже за полдень, а онъ все еще бродилъ по городу, когда его окликнули. Посрединѣ дороги ѣхалъ легкій фаэтонъ и въ немъ докторъ.

— Такъ вы возвратились? Ну что же, теперь у васъ видъ лучше.

— Да,—благодаря вамъ.

— Кого вы ищите?

— Гуля, каменщика.

— Прыгайте ко мнѣ: я васъ подвезу.

Тонъ былъ слишкомъ ласковый для Карльтона.

— Благодарю васъ, докторъ; я люблю ходить.

— Ну такъ и ищите его сами—чорта вы найдете!

И докторъ Мэригольдъ, разсерженный, поѣхалъ дальше, покраснѣвъ до самыхъ сѣдинъ, но видя, что Карльтонъ стоитъ и съ сожалѣніемъ смотритъ ему вслѣдъ, старикъ обернулся и кнутомъ указалъ улицу, по которой нужно было идти.

Гуль, каменщикъ, не былъ грубъ, но точно также отказалъ наотрѣзъ. Онъ былъ пожилой человѣкъ и не изъ разговорчивыхъ, но все же сознался, что сэръ Уильтонъ Глидъ заѣзжалъ къ нему нынче утромъ. Этого было довольно для Карльтона, и онъ уже повернулся, чтобы уйти, когда что-то въ его усталомъ и убитомъ лицѣ побудило каменщика дать ему добрый совѣтъ.

— Вы не найдете здѣсь въ округѣ никого, кто бы взялся работать на васъ наперекоръ сэръ Уильтону. Это понятно само собой.

— Въ такомъ случаѣ я поищу въ другомъ округѣ,—сказалъ Карльтонъ.

И онъ купилъ себѣ путеводитель по графству въ магазинѣ, гдѣ онъ былъ постояннымъ покупателемъ; но здѣсь его заставили сначала уплатить по прежнему счету, а потомъ ему пришлось самому доставать съ полки книгу и оставить деньги на прилавкѣ, ибо никто не хотѣлъ служить ему. Въ путеводителѣ были фамиліи и адреса весьма немногихъ подрядчиковъ и строителей въ районѣ на разстояніи дня пути отъ Лонгстоу... И это было все, что далъ ему этотъ тяжелый день. Возвращаясь уже вечеромъ домой, Карльтонъ былъ слишкомъ утомленъ и подавленъ, чтобы идти въ обходъ, и дѣти, которые присѣдали утромъ, теперь, уже просвѣтившись, кричали бранныя слова вслѣдъ согбенной фигурѣ, торопливо въ сумеркахъ пробиравшейся къ своему дому.

Слѣдующій день былъ воскресный. Въ одиннадцатъ ча-

совѣ зазвонилъ школьный колоколъ, и Карльтонъ понялъ, что его идея принята къ свѣдѣнію, и въ школѣ идетъ утреннее богослуженіе. Онъ прочелъ всю службу у себя въ кабинетѣ, равно какъ и вечернюю, когда пришелъ вечеръ, и послѣ каждой изъ нихъ прочелъ проповѣдь Чарльза Кингслея; доктрина не могла теперь помочь ему, но честное гуманное слово могло и бодрило.

Въ понедѣльникъ былъ мѣстный праздникъ, но Карльтонъ узналъ объ этомъ только послѣ того, какъ, пройдя десять миль, нашелъ мастерскую строителя, къ которому онъ хотѣлъ обратиться, запертою. Такимъ образомъ еще день былъ потерянъ. Во вторникъ онъ сдѣлалъ новую попытку и опять съ тѣмъ же успѣхомъ. Сэръ Уильтонъ Глидъ побывалъ здѣсь раньше его (еще въ субботу вечеромъ). И вездѣ его ждало тоже. Вся недѣля ушла на безплодные разъѣзды по большимъ деревнямъ и маленькимъ городкамъ и посѣщенія мелкихъ подрядчиковъ. Вездѣ врагъ успѣлъ предупредить его и вездѣ, на сколько могъ выяснитъ Карльтонъ изъ различныхъ полученныхъ имъ отвѣтовъ, прибѣгалъ къ одной и той же остроумной уловкѣ.

— Разумѣется,—говорилъ онъ,—церковь будетъ отстроена, но не имъ. Прежде всего у него нѣтъ денегъ; съ него взятки гладки. Помогите мнѣ сплавить его, и я васъ не забуду. Дайте срокъ, мы выстроимъ приличную церковь, и, ужъ конечно, подрядъ на постройку будетъ сданъ кому-нибудь изъ здѣшнихъ.

Между тѣмъ въ Лонгстоу его усиленно бойкотировали, и ни одна живая душа не приближалась къ пасторату. Ректоръ питался случайно найденнымъ въ кладовой запасомъ ветчины, яйцами, которыя онъ каждый день находилъ на птичникѣ, и страннымъ хлѣбомъ собственнаго издѣлія, ибо въ лавки онъ уже не рисковалъ заходить, чтобы не нарываться на оскорбленія. Но однажды вечеромъ къ нему вернулся забытый другъ—его овчарка. Глень съ громкимъ лаемъ и радостными прыжками бросилась къ нему на грудь. Лай этотъ слышала чуть не вся деревня и ужъ, конечно, говорила о немъ. Собака цѣлыхъ шесть недѣль скиталась невѣдомо гдѣ и вернулась отощавшая, одичалая, вся въ грязи и съ раной на лажкѣ. Какой-то фермеръ угостилъ ее дробью. Карльтонъ промылъ рану теплой водой; двое парій поужинали вмѣстѣ, спали въ эту ночь на одной постели и утромъ вмѣстѣ пустились въ путь сдѣлать послѣднюю попытку.

Слѣдующій день они провели дома, и до сквайра дошло, что ректора видѣли на развалинахъ церкви; дѣйствительно, онъ въ этотъ день впервые осматривалъ развалины—и при томъ систематически. Его видѣли сидящимъ на большомъ

камень у сарайчика и спиной къ развалинамъ. Онъ смотрѣлъ на куски и плиты неотесаннаго камня, лежавшія на тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ они лежали до пожара; нѣкоторые закопѣли отъ огня и всѣ пострадали отъ непогоды, но помимо этого никакихъ перемѣнъ Карльтонъ не замѣтилъ. На одномъ концѣ сарая былъ сложенъ правильнымъ квадратомъ желтый камень, только что привезенный изъ каменоломни—камни были одинъ въ одинъ, почти одной величины и формы, какъ куски сахару; здѣсь было достаточно, чтобъ окончить трансепты, но на всю церковь понадобилось бы, конечно, въ десять разъ больше. Карльтонъ осмотрѣлъ все, что у него было, и, закрывъ глаза, принялся что то высчитывать въ умѣ, но цифры получались слишкомъ большія для умственныхъ вычисленій, и ему пришлось сходить въ кабинетъ за карандашомъ и бумагой, а потомъ вторично, за указнымъ футомъ, планами и циркулями.

Послѣ обѣда онъ вычистилъ сарай. Инструменты всѣ были нетронуты, только слегка заржавѣли, и отъ прикосновенія къ этимъ гладкимъ холоднымъ рукояткамъ, пульсъ Карльтона забился быстрѣе. Онъ не могъ удержаться, чтобы не ударить разъ другой молоткомъ по сѣкачу, и этотъ звонъ напомнилъ ему о его бѣдныхъ колоколахъ, теперь сваленныхъ въ притворѣ; и этотъ звонъ былъ отраденъ слуху; и глазу отрадно было смотрѣть, какъ отъ мягкаго камня, словно хлопья, летѣли осколки, и мускулы руки радостно напрягались, подымая топоръ. Но уже черезъ нѣсколько минутъ онъ устыдился своей радости, и хотя еще долго оставался въ развалинахъ, то пробуя крѣпость уцѣлѣвшей стѣны, то очищая обожженный камень, но энергіи и рѣшимости уже не было въ его взглядѣ, ихъ смѣнили грусть и сомнѣнія. Въ эту ночь одинокій человѣкъ опять отъ зари до зари бродилъ по своему кабинету, а въ промежуткахъ подолгу стоялъ на колѣняхъ, терзаясь сомнѣніями и недовѣріемъ къ себѣ, страстно моля у неба праваго суда и мужества подчиниться ему. Но день занялся, а онъ все еще не выяснилъ себѣ, въ чемъ заключается его долгъ.

Около одиннадцати часовъ зазвонилъ школьный колоколъ. Было опять воскресенье, и опять ректоръ читалъ молитвы на колѣняхъ, а псалмы и ектеніи стоя, но проповѣди онъ въ этотъ день не читалъ. Никто изъ людей не могъ ему помочь въ его борьбѣ съ самимъ собой; онъ долженъ былъ вѣрится только силамъ своей души, своему одинокому сердцу, да руководительству Бога, котораго онъ чувствовалъ въ эти дни все ближе и ближе—съ каждой молитвой, исходящей изъ глубины сердца, съ каждой новой складкой, залегавшей на его лбу. И наконецъ, какъ разъ въ тотъ мо-

ментъ, когда бремя сомнѣній и мрака стало тяжелѣе, чѣмъ можетъ снести человѣкъ, словно небеса разверзлись и лучъ небснаго свѣта проникъ въ узкую комнату съ низкимъ потолкомъ и поперечными балками на немъ — такой миръ душевный неожиданно снизошелъ на одинокаго обитателя этой комнаты. И въ ту ночь онъ спалъ здоровымъ и крѣпкимъ сномъ, и на утро, проснувшись, спрашивалъ себя, почему онъ такъ крѣпко уснулъ, и когда отвѣтилъ, у него захватило духъ отъ волненія, но рѣшимость его не поколебалась.

Въ десять часовъ онъ уже звонилъ у дверей усадьбы. Сэръ Уильтонъ былъ дома, но лакей не рѣшался впустить такого гостя. Одинъ взглядъ Карльтона разсѣялъ его колебанія. Ректора провели въ гостиную, гдѣ очень молоденькая дѣвушка сидѣла за роялемъ, играя, очевидно, упражненія, но играя ихъ такъ, что Карльтонъ пожалѣлъ, зачѣмъ она остановилась. Въ комнатѣ было прохладно, пахло цвѣтами; въ открытое окно виденъ былъ садъ, огороженный дворъ и стулья подъ деревомъ; все это вмѣстѣ съ прекрасной игрой на прекрасномъ роялѣ составляло сущность и цвѣтъ той жизни, изъ которой онъ былъ—по заслугамъ—выключенъ, и все это жгло его мозгъ.

Молодая дѣвушка поднялась и растерялась; солнце играло на ея темныхъ косахъ, въ большихъ глазахъ выразилось наивное огорченіе; но Карльтонъ только поклонился, и дѣвочка сама не помнила, какъ она вышла изъ комнаты.

Сэръ Уильтонъ вошелъ торопливымъ шагомъ. Его губы были плотно сжаты, но въ неподвижныхъ зрачкахъ мелькали искорки сознательнаго торжества. Карльтонъ приготовился къ тому, что его приходъ будетъ сочтенъ чуть не преступленіемъ, но съ перваго же взгляда убѣдился, что сквайръ слишкомъ увѣренъ въ побѣдѣ, чтобы имѣть что-нибудь противъ свиданія съ врагомъ, фактически уже побѣжденнымъ.

— Такъ вы твердо рѣшили, что я не выстрою церкви?

Это значило поставить вопросъ ребромъ.

Сэръ Уильтонъ пожалъ плечами и улыбнулся.

— Я сказалъ вамъ: стройте, если можете.

— Но вы задались цѣлью сдѣлать это невозможнымъ?

— Само собой, я не намѣренъ облегчать вамъ задачу.

— Согласитесь, что вы намѣренно препятствуете мнѣ исполнить мой долгъ, прибѣгая для этого къ гнуснымъ средствамъ—ибо честныхъ я еще не видалъ!

Карльтонъ тотчасъ же раскаялся въ своей горячности, но удержаться не могъ.

— Я вовсе не намѣренъ съ вами соглашаться—и менѣе всего съ тѣмъ, что вы *обязаны* дѣлать то, что вамъ угодно называть вашимъ „долгомъ“. Я уже говорилъ вамъ, въ чемъ

заключается вашъ истинный долгъ. Откажитесь отъ прихода. Избавьте насъ отъ вашего присутствія.

Карльтонъ встрѣтилъ его пристальный взглядъ такимъ же пристальнымъ и болѣе острымъ взглядомъ. Онъ какъ будто хотѣлъ проникнуть въ самые тайники души другого.

— Хорошо!—выговорилъ онъ, наконецъ.—Я избавлю васъ!

— Ага!—вскричалъ сэръ Уильтонъ, оправившись отъ изумленія. Но это былъ не крикъ побѣды; въ тонѣ священника какъ то не было законченности.

— Я избавлю васъ отъ своей особы сегодня же, если вамъ будетъ угодно,—торопливо и нервно продолжалъ ректоръ,—но это будетъ зависѣть отъ васъ. Я поставлю условія. Угодно вамъ выслушать меня?

Глидъ опять пожалъ плечами, но на этотъ разъ уже безъ улыбки. Ректоръ съ внезапной рѣшительностью откинулъ назадъ голову—словно на кафедрѣ, передъ тѣмъ какъ приступить къ проповѣди—и, самъ того не замѣчая, ударилъ правымъ кулакомъ по лѣвой ладони.

— Очень хорошо! теперь я скажу вамъ, на какихъ условіяхъ вы можете осуществить ваше завѣтное желаніе, а я откажусь отъ своего. Не смотря на то, что вы, какъ я слышалъ, распространяете обо мнѣ, у меня есть небольшія деньги—мои собственныя—немного, но достаточно для того, чтобы я могъ прожить на нихъ эти пять лѣтъ. Я не трону изъ этихъ денегъ ни одного пенни — я и такъ проживу. Свои деньги я превратилъ въ капиталъ, который лежитъ теперь въ Лекенхолльскомъ банкѣ. Тамъ немножко меньше двухъ тысячъ фунтовъ, и я готовъ все это отдать на новую церковь. Гдѣ бы я ни былъ, я счѣмъ заработать что-нибудь — руками или перомъ, и добавить недостающее; поэтому можете считать, что я предлагаю на постройку церкви ровно двѣ тысячи фунтовъ. Я жальду самъ руководить постройкой. Этого я не скрываю. Но я заглянулъ въ свое сердце и понялъ эгоистичность такихъ желаній; я пытался заглянуть и въ ваше сердце, сэръ Уильтонъ, и понялъ естественность вашего противодѣйствія. Поэтому я прихожу къ вамъ и говорю: стройте церковь сами, а я уйду. Вы богаты; выстройте лучшую церковь, чѣмъ я могу выстроить, и я откажусь отъ прихода. Дайте мнѣ здѣсь-же, теперь-же, письменное обязательство, что вы это сдѣлаете и вы получите взаменъ мой письменный отказъ отъ мѣста.

Слова застревали у него въ горлѣ; онъ одинъ зналъ, чего ему стоило это предложеніе; онъ одинъ, абсолютно свободный отъ всякаго корыстолюбія, могъ быть увѣренъ въ результатъ. А богача это предложеніе задѣло за живое. Что онъ получить за свои деньги и какую награду? Кто побла-

годарить его за то, что онъ выстроилъ церковь гдѣ-то въ глуши? Церковь можно выстроить по подпискѣ; довольно и того, что ему придется поставить свое имя во главѣ листа. Къ тому же онъ сіялъ торжествомъ; въ нервно вздрагивавшемъ взволнованномъ челоѣкѣ, стоявшемъ передъ нимъ, онъ видѣлъ только побѣжденнаго врага. Была охота его подкупать!—и такъ уйдеть!

— Мнѣ нравится ваша наглость, — сказалъ Уильтонъ Глидъ.—Честное слово! Чтобы я далъ письменное обязательство *вамъ!* .

— Такъ вы отказываетесь дать его?

— Вамъ—конечно.

— Оставляя въ сторонѣ наглость, вы принимаете мое предложеніе, да или нѣтъ?

— Это мое дѣло.

Карльтонъ чувствовалъ, что теряетъ терпѣніе.

— Вы хотите сказать, что вы и теперь не признаете, что это и мое дѣло, какъ ректора здѣшняго прихода? Вы до сихъ поръ не потрудились справиться въ законахъ? Богъ видитъ, сэръ Уильтонъ, не мнѣ говорить о правомъ и неправомъ, но я увѣряю васъ, что вы неправы и добровольно упорствуете въ своей неправотѣ. Вы мѣшаете мнѣ выполнить долгъ, налагаемый на меня закономъ, и отказываетесь взять на себя отвѣтственность! Отрѣшенный, или нѣтъ, я обязанъ поддерживать свой алтарь „въ добромъ порядкѣ, ремонтировать, исправлять и *перестраивать, буде понадобится*“.

У сэръ Уильтона вдругъ загорѣлись глаза.

— О! вы говорите: обязаны?

— Обязанъ по закону.

— Вы увѣрены, что это сказано въ законѣ?

— Буквально этими словами, сэръ Уильтонъ.

— Такъ смотрите-же, держитесь буквы закона! Вы являетесь сюда и кричите о своихъ законныхъ правахъ; но вы забываете, что по закону и у меня есть права. Гдѣ законъ, тамъ и кара и, клянусь Богомъ, если вы нарушите законъ, я позабочусь о томъ, чтобъ это не прошло вамъ даромъ. Вы говорите: буквально такъ сказано? Хорошо же! Я ловлю васъ на словѣ: вы должны держаться буквы закона. Стройте! стройте! чѣмъ скорѣе вы начнете, тѣмъ лучше для васъ!

Это была, по всей вѣроятности, самая смѣлая рѣчь, сказанная сэръ Уильтономъ во всю его жизнь, и ужъ, конечно—самая необдуманная. Но что можетъ быть выше наслажденія побить врага его же оружіемъ? Это квинтэссенція поэтической справедливости, кульминаціонная точка личнаго торжества; внезапно открывшаяся возможность достичь своей цѣли, да еще такими чистыми средствами—искупеніе было

слишкомъ сильно, чтобы Уильтонъ Глидъ могъ противустоять ему. Всѣ строители и каменщики по сосѣдству уже на его сторонѣ; ни одинъ изъ нихъ не станетъ работать на этого разоблаченнаго лицемеръ, наперекоръ силѣ и праву. Въ общемъ, на нихъ можно положиться, а если сыщется недостойный довѣрія, его можно будетъ подкупить. Совѣсть ничуть не упрекала сквайра; онъ былъ увѣренъ, что всѣ здравомыслящіе люди одобрятъ его поведеніе, его усердіе въ защитѣ интересовъ религіи и нравственности. Въ своей самоувѣренности онъ даже не обратилъ вниманія на то, какъ былъ принятъ его вызовъ.

— Вы серьезно говорите? — спросилъ Карльтонъ. — Вы серьезно намѣреваетесь принуждать меня одной рукой и мѣшать мнѣ другой.

— Я ловлю васъ на словѣ. Вы любите распространяться о вашемъ долгѣ. Посмотримъ, какъ то вы его выполните.

— Вы вооружили противъ меня всѣхъ строителей и говорите мнѣ: стройте. Могу я узнать, готовы-ли вы и отвѣтить, гдѣ слѣдуетъ, за такія продѣлки?

— Когда вамъ будетъ угодно! съ большимъ удовольствіемъ! буду радъ случаю! Я только представилъ васъ въ надлежащемъ свѣтѣ тамъ, гдѣ могло быть полезно раскрыть глаза; если люди не хотятъ работать на васъ, пеняйте сами на себя. А теперь достаточно. Довольно я наслушался о васъ и о вашей церкви. Идите и стройте ее. Идите и стройте.

— И построю, — сказалъ Карльтонъ. — Была бы честь предложена. Не хотите — не надо.

Онъ поклонился и вышелъ съ страннымъ спокойствіемъ въ лицѣ и взглядѣ.

Сквайръ пустилъ ему въ догонку послѣдній зарядъ:

— Вамъ придется строить ее собственными руками!

Карльтонъ не отвѣтилъ. Но, идя по деревнѣ, онъ совершилъ новое чудовищное преступленіе.

Его видѣли улыбающимся.

XI.

Подвигъ геркулеса.

Церковь сгорѣла не вся до тла. На западъ отъ портика, тоже не вполне уничтоженнаго, тянулась на тринадцать футовъ южная стѣна, почернѣвшая изнутри, обуглившаяся сверху, но цѣлая и крѣпкая на всемъ протяженіи. Уцѣлѣла и противоположная часть сѣверной стѣны, длиною въ шестнадцать футовъ, къ западу отъ окна, находившагося почти

напротивъ портика. Поддерживаемый такимъ образомъ съ двухъ концовъ, весь западный уголъ церкви въ сущности остался нетронутымъ; ни одинъ камень не выпалъ; окно по прежнему было раздѣлено на двѣ части средникомъ; каменные части всѣ уцѣлѣли, и наблюдателю, который подошелъ бы прямо къ западному окну и оттуда заглянулъ въ церковь, только сплюснутая металлическая рѣшетка съ застрявшими въ ней кусками закопченного стекла говорили бы о пожарѣ.

Но эта единственная уцѣлѣвшая стѣна была исключеніемъ въ картинѣ общаго разрушенія. Остальное или уже рухнуло, или еле держалось. Начатые своды были не совсѣмъ разрушены, но вѣдь они и выведены-то были всего на нѣсколько футовъ отъ земли. Тѣ части стѣнъ, гдѣ не было оконъ, еще держались, но восточная часть паперти совсѣмъ распаталась. Да и вообще восточный уголъ пострадалъ больше всѣхъ. Онъ весь точно балансировалъ, одинъ конецъ его угрожающе торчалъ наружу. Изъ большого окна, одна перекладка вывалилась, другая же вся потрескалась и согнулась, точно держала на себѣ всю тяжесть шпича; казалось, довольно дунуть, чтобы все это рухнуло.

Внутри церковь представляла собой груду черныхъ развалинъ. Верхній слой составляли доски и сланецъ крыши. Стропила, брусья, подпорки, кронштейны, коньки, стойки, обшивка стѣнъ, перекладки, планки, валики, драицы, обгорѣлыя, черныя, какъ уголь, кромѣ тѣхъ мѣстъ, гдѣ поблескивали на солнцѣ сплавленные куски металла, покрывали полъ и въ алтарѣ, и въ притворѣ, и въ придѣлѣ, и въ огороженномъ мѣстѣ для прихожанъ. Это было точно море въ полночь, замерзшее во время бури, и надъ нимъ, словно мачта, высилась покривившаяся каеэдра. Сланецъ лежалъ небольшими ровными кучками, какъ принесенный изъ склада. Въ трещинахъ еще трепетали, при каждомъ дуновеніи, закоптѣлыя, истлѣвшія по краямъ страницы библіи, вырванныя вѣтромъ, прежде чѣмъ Карльтону удалось спасти святую книгу. Въ воздухѣ немолчно гудѣли пчелы, но воробы сильно приуныли, и благодаря этому крикъ ректорскихъ пѣтуховъ и куръ на птичникѣ доносился явственнѣе.

Вернувшись изъ усадьбы, Робертъ Карльтонъ нѣкоторое время стоялъ и смотрѣлъ на эту безотрадную картину разрушенія въ рамкѣ веселой и роскошной природы. Но стоялъ онъ не долго. Онъ сходилъ домой переодѣться и вернулся другимъ человѣкомъ. Въ глазахъ его сверкала угрюмая рѣшимость, озарявшая лицо, не мѣняя его обычнаго печальнаго выраженія. Пылкія надежды охладѣли и застыли въ непоколебимомъ, вызывающемъ упорствѣ; самодопросамъ и колебаніямъ насталъ конецъ. Карльтонъ въ точности зналъ, что

ему нужно дѣлать и со вчерашняго дня знать, съ чего нужно начать. На немъ не было ни сюртука, ни жилета, рукава его были засучены, въ одной рукѣ ломъ, въ другой—тяжелый молотъ. Онъ началъ съ уцѣлѣвшаго участка стѣны влѣво отъ портика.

Эту стѣнку онъ уже изслѣдовалъ въ субботу. Верхніе ряды кирпичей держались слабо и крошились; чѣмъ скорѣе ихъ устранить, тѣмъ лучше. Карльтонъ влѣзъ на стѣну и, усѣвшись верхомъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ это было всего безопаснѣе, принялся ломомъ выбивать камни одинъ за другимъ. Работа была нетрудна, но позиція неудобна, и Карльтонъ скоро пошелъ за лѣстницей; по пути онъ, къ удивленію своему, убѣдился, что онъ весь въ поту и успѣлъ проголодаться.

Слѣдующій часъ утомилъ его больше—или, вѣрнѣе, то время, которое показалось ему часомъ: взглянувъ на часы, оставленные имъ дома, онъ увидѣлъ, что прошло три часа, а не одинъ. Только верхній рядъ кирпичей поддавался легко; кирпичи здѣсь превратились въ шлакъ, а известь, связывавшая ихъ, въ порошокъ; довольно было небольшого усилія, чтобы вынуть каждый отдѣльно. Съ послѣдующими рядами было уже совсѣмъ другое. Половина кирпичей слишкомъ расшаталась для того, чтобы оставить ихъ такъ какъ есть, и въ то же время были еще совсѣмъ крѣпки и жалъ было выламывать ихъ по кускамъ. Карльтонъ орудовалъ сначала молоткомъ, потомъ ломомъ, а затѣмъ своими десятью пальцами; онъ чрезвычайно осторожно вынималъ каждый камень и такъ же осторожно клалъ каждый отдѣльно въ высокую траву. Наконецъ, въ стѣнѣ, отъ зазубреннаго гребня до плинтуса не осталось ни одного камня, который бы не сидѣлъ совершенно крѣпко, и работникъ отвелъ, наконецъ, глаза отъ своей работы—но не для того, чтобы посмотреть, не подглядываютъ ли за нимъ съ улицы; объ этомъ онъ и не думалъ. Онъ просто замѣтилъ, что, пока онъ работалъ, солнце успѣло пройти отъ одного конца зданія до другого, и вдругъ почувствовалъ, что умираетъ отъ голода и не въ состояніи выпрямиться: все тѣло его нестерпимо болѣло и ныло. Тѣмъ не менѣе черезъ полчаса онъ принялся за противоположную стѣну и работалъ до заката.

— А всетаки это былъ не настоящій рабочій день, старуха,—сказалъ Карльтонъ своей собакѣ, когда они въ девятomъ часу забрались въ постель, и онъ поставилъ будильникъ на четыре часа.

На слѣдующій день къ полудню и въ противоположной стѣнѣ не осталось ни одного испорченнаго камня. Если отскоблить копотъ, замѣнить поврежденную известь свѣжей и

положить верхній рядъ новыхъ кирпичей, эти части стѣны будутъ достойны западнаго угла, которому они служили опорой. Здѣсь поврежденія были не глубоки, благодаря западному вѣтру, отгонявшему пламя въ противоположную сторону. Карльтонъ со вздохомъ отвернулся отъ этого единственнаго уцѣлѣвшаго угла зданія.

Повсюду онъ находилъ кирпичи, которые еще можно было употребить въ дѣло. Два дня Карльтонъ провозился съ ними, тщательно откладывая годные камни. На четвертый день онъ, однако, почувствовалъ необходимость перемѣнить работу, чтобы дать отдыхъ наболѣвшимъ членамъ: онъ сталъ возить на тачкѣ годные кирпичи къ сараю и тамъ складывать ихъ въ сажень. На слѣдующее утро онъ пробрался въ алтарь и, стоя по колѣно въ обломкахъ, осмотрѣлъ пошатнувшійся восточный уголъ. Все это время онъ не видалъ возлѣ себя живой души; сквозь деревья доносился иногда шопотъ, не похожій на шопотъ листьевъ, но Карльтонъ даже не смотрѣлъ въ ту сторону, а зеленая листва, по счастью, была еще достаточно густа.

Восточный, уголъ рано или поздно все равно рухнетъ—значить, чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

Карльтонъ не былъ инженеромъ, но отъ природы имѣлъ большую склонность къ механикѣ, мальчикомъ работалъ на токарномъ станкѣ и училъ тому же товарищей, многое заимствовалъ отъ Тома Айви, да и самъ весьма здраво судилъ о направленіи и приложеніи силы. Здѣсь предстояло свалить пошатнувшуюся стѣну, съ возможно меньшимъ ущербомъ для нея и возможно меньшей опасностью для себя. Карльтонъ полагалъ, что одинъ человѣкъ можетъ сдѣлать это, но не безъ риска... Если-бъ быть увѣреннымъ, что она упадетъ наружу! Онъ думалъ, соображалъ и вычислялъ въ умѣ, пока не разсердился самъ на себя за потерю времени и не принялся опять за работу съ отчаяннымъ рѣшеніемъ—рискнуть на авось, довѣрившись счастью. Онъ презиралъ себя за то, что могъ раздумывать, когда рискъ такъ ничтоженъ. Но раздумывалъ онъ не изъ за нелѣпаго страха за свою шкуру, а потому, что, какъ истый художникъ, онъ хотѣлъ или сдѣлать хорошо, или совсѣмъ не дѣлать. Но и теперь, прежде чѣмъ приступить къ работѣ, ему нужно было расчистить мѣсто въ алтарѣ.

Онъ нашелъ шесть—подпорку для лѣсовъ и вздумалъ утилизировать его для расчистки обломковъ, но шесть былъ слишкомъ длиненъ. Онъ подпилить его, и получился изрядный таранъ, футовъ въ восемнадцать длины. Но всѣ эти приготовленія заняли невѣроятное количество времени, и Карльтонъ не успѣлъ еще подумать о томъ, что надо бы

позаботиться о завтракѣ, какъ почувствовалъ, что его тошнить отъ голода, и онъ не въ состояніи продолжать работу, пока не поѣстъ. Ноги его подгибались. Онъ неохотно пошелъ въ комнаты, по дорогѣ вспоминая все происшедшее и коря себя за то, что за работой начиналъ все забывать.

До сихъ поръ отверженный питался главнымъ образомъ яйцами; онъ и теперь разбилъ пару яицъ, взболталъ ихъ, прибавилъ къ нимъ немного вина и воды. Потомъ онъ принялся за сухари, давалъ собакѣ столько-же, сколько съѣдалъ самъ, и при этомъ все время ходилъ, не смотря на усталость. Комната была та самая, гдѣ онъ въ день пожара изучалъ собственную физіономію въ зеркалѣ. Но теперь ему не приходило въ голову взглянуть въ зеркало и вообще онъ не думалъ о себѣ: не смотря на сокрушеніе о своей забывчивости, онъ снова забылъ. Его мысли были въ алтарѣ; за ними скоро послѣдовало и отдохнувшее тѣло.

Собака бросилась впередъ и громко залаяла, почуявъ чужого. Карльтонъ ускорилъ шагъ, хмураясь при мысли о перерывѣ въ работѣ, и, прежде чѣмъ его любопытство успѣло умѣрить неудовольствіе, онъ уже стоялъ передъ сѣромъ Уильтономъ Глидомъ. Тотъ не хмурился, напротивъ, улыбался и держалъ въ зубахъ сигару.

— Долго еще будетъ продолжаться эта комедія?

Карльтонъ посмотрѣлъ на него и поднялъ свой шестъ.

— Вамъ лучше отойти въ сторону... Въ конуру, Гленъ!

— Вы затѣваете что-нибудь опасное?

— Чѣмъ дальше вы отойдете, тѣмъ будетъ лучше для васъ.

Но онъ не оглянулся, говоря это, и сэръ Уильтонъ Глидъ безъ всякой надобности схватился за палку. Въ Карльтонѣ тоже кипѣла кровь. Врагъ засталъ его въ самый невыгодный для него моментъ. Онъ впервые пытался выполнить одинъ дѣло нѣсколькихъ человѣкъ; возможно, что онъ приметъ за работу совсѣмъ неумѣло и будетъ очень смѣшенъ. Такихъ вещей нельзя знать, пока не попробуешь, но одно—пробовать наединѣ съ самимъ собой и другое—рисковать неудачей на глазахъ врага, который будетъ въ восторгѣ отъ этой неудачи. Къ тому же ректоръ былъ изнуренъ тяжкимъ и непривычнымъ трудомъ; плохое питаніе разстроило его желудокъ; то и другое вмѣстѣ сдѣлало его нервнымъ и раздражительнымъ. Сэръ Уильтонъ не могъ выбрать менѣе удобной минуты для возобновленія поединка.

Въ Карльтонѣ потребность какимъ-нибудь необычнымъ образомъ проявить свою силу перевѣсила все остальное. Онъ нацѣлился шестомъ и сосредоточилъ все свое вниманіе на уцѣлѣвшей скрѣпѣ восточнаго окна. Онъ думалъ, что, если

выбить ее, рухнет и вся стѣна, и съ злобнымъ удовольствіемъ представлялъ себѣ, какой эффектъ произведетъ обвалъ на сэра Уильтона. Онъ цѣлился вѣрно и напрегъ всѣ свои мускулы какъ разъ въ нужный моментъ. Ударъ пришелся по надломленному уже мѣсту: вся рама осѣла; лишенная поддержки, самая стѣна дрогнула, но—и только.

— Вы напомнили мнѣ Донъ-Кихота, — сказалъ сэръ Уильтонъ.

Карльтонъ круто повернулся къ нему, крѣпко сжалъ шесть и поднялъ его; ошибиться въ значеніи его жеста было трудно.

— Не мѣшайтесь не въ свое дѣло!—произнесъ онъ гнѣвно.

— Я пришелъ за своимъ,—былъ кроткій отвѣтъ,—а въ ваше не мѣшаюсь; будьте справедливы... Вспомните свой собственный совѣтъ и отвѣчайте вѣжливо на вѣжливый вопросъ. Мой добрый другъ, какъ вы думаете, что это вы собрались дѣлать?

Напускная мягкость, обращенія и скрытое подъ нею коварство, тонъ, какимъ говорятъ съ капризнымъ ребенкомъ,—все это нестерпимо кололо и язвило усталаго человѣка.

— Уходите лучше,—сказалъ онъ.

Но сэръ Уильтонъ не испугался звучащей въ этихъ словахъ угрозы.

— Вы серьезно предполагаете выстроить церковь своими десятью пальцами?

— Вы предложили это. Я исполняю.

Сэръ Уильтонъ ядовито улыбнулся и покачалъ головой.

— О нѣтъ, вы не исполняете. Вы дѣлаете видъ, что хотите исполнить. Вы позируете, и только.

Карльтонъ отшвырнулъ отъ себя шесть и шагнулъ впередъ.

— Я не стану говорить съ вами и ударить васъ не ударю; этого вы не добьетесь; но если вы не уйдете сами, я васъ вытолкаю вонъ.

Глидъ опять улыбнулся. Ректоръ схватилъ его за воротъ. Продолжая улыбаться, Уильтонъ взмахнулъ палкой. Палка, вырванная у него изъ рукъ, со свистомъ отлетѣла далеко. Онъ былъ во власти Роберта Карльтона; тотъ былъ выше его ростомъ и атлетъ, закаленный гимнастикой; онъ же—всего только старый спортсменъ. На томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ ректоръ когда-то проповѣдывалъ благоволеніе среди людей, онъ теперь держалъ за шиворотъ своего врага и могъ-бы побить его, какъ собаченку. Но онъ сдѣлалъ хуже: выпустилъ его, не тронувъ, и молча подалъ ему его палку.

Въ это мгновеніе обрушилась стѣна. Случись это нѣсколькими минутами раньше, столкновенія не было бы. Оба

повернулись, протирая глаза; въ алтарѣ стояло облако желтой пыли. Когда пыль разсѣялась, отъ окна и стѣны осталась только каменная ограда, не выше человѣческаго роста.

— Теперь оставьте меня въ покоѣ,—сказалъ Карльтонъ;— у меня полны руки дѣла. И не трудитесь приходить сюда больше—слушать я васъ не стану. Вамъ было предоставлено ня выборъ: я обѣщалъ не жить здѣсь, доставлять только деньги и людей для постройки; вы не захотѣли. Я предлагалъ вамъ самимъ выстроить церковь; вы не стали и слушать. Хуже, вы рѣшили принудить меня исполнить мой долгъ, связавъ мнѣ при этомъ руки! Вы сказали, что ловите меня на словѣ. Я точно также ловлю васъ. Я бы на вашемъ мѣстѣ измѣнилъ тактику; а пока можете притянуть меня къ суду за нападеніе.

Глидъ такъ и намѣревался сдѣлать, но отъ этого презрительнаго совѣта у него прошло желаніе, и на сей разъ послѣднее слово осталось не за нимъ.

ХІІ.

Новое открытіе.

За воротами его ждалъ сынъ.

— Онъ съума сошелъ!—крикнулъ сэръ Уильтонъ съ хриплымъ смѣхомъ.

— Что онъ дѣлаетъ? Что это тамъ вдругъ загрохотало?

Въ обращеніи Сиднея съ отцомъ былъ отгѣнокъ неочетливости; онъ рѣдко называлъ его отцемъ, любилъ спорить съ нимъ (при чемъ, благодаря болѣе свѣтлой головѣ, всегда оставался побѣдителемъ), и въ спорѣ нерѣдко употреблялъ вульгарныя словечки. Но языкъ у него былъ гладкій и гибкій и обойтись съ нимъ грубо, какъ съ мальчишкой, было трудно.

— Въ его сумасшествіи есть, однако, своего рода метода,—замѣтилъ онъ, когда отецъ разсказалъ о происшедшемъ.

— Но онъ говоритъ, что построить церковь!

— Интересно знать, сдѣлаетъ ли онъ это.

— Какъ? одинъ?

— Да.

— Разумѣется, нѣтъ. Ни одинъ человѣкъ не могъ бы этого сдѣлать. Онъ полудурный.

Они шли домой. Сидней помолчалъ, потомъ предложилъ невинный вопросъ: это была его манера предлагать невинные вопросы.

— Я полагаю, однако, что одинъ человѣкъ въ состояніи обтесать одинъ камень, отецъ?

Сэръ Уильтонъ допускалъ это.

— И поставить его на мѣсто, и укрѣпить также—какъ вы скажете?

Сэръ Уильтонъ угрюмо кивнулъ головой.

— Въ такомъ случаѣ, онъ, пожалуй, можетъ сдѣлать и больше, чѣмъ вы полагаете. Окна могутъ явиться для него камнемъ преткновенія, а крыша—навѣрное; но остальное онъ можетъ сдѣлать.

— Вздорь!—крикнулъ сэръ Уильтонъ.—Ты не знаешь, о чемъ говоришь.

— Разумѣется, не знаю,—охотно согласился Сидней.—Я оттого и спрашивалъ про одного человѣка и одинъ камень.

Сэръ Уильтонъ и вполовину не былъ такъ уменъ, какъ его сынъ. Маленькій негодяй хвасталъ, что онъ всегда сумѣетъ «провести кого угодно такъ, что тотъ не замѣтитъ». За то сэръ Уильтонъ обладалъ другимъ достоинствомъ—большой устойчивостью въ своихъ желаніяхъ и мнѣніяхъ.

— Говорю тебѣ, что это помѣшанный,—повторилъ онъ:—пусть остерегается: какъ бы я его не упряталъ въ сумасшедшій домъ.

— Чудная мысль! Но если такъ, намъ, пожалуй, слѣдовало быть съ нимъ помягче.

— Во всякомъ случаѣ я выпровожу его отсюда,—сквозь зубы проворчалъ сэръ Уильтонъ, но мысленно уже соображалъ, какъ бы упрятать безумца въ больницу. Это была, дѣйствительно, чудная мысль. Другую мысль подаль ему самъ Карльтонъ: надо будетъ, въ самомъ дѣлѣ, «измѣнить тактику».

Первую попытку онъ сдѣлалъ въ тотъ-же вечеръ, хотя это стоило ему нѣкотораго усилія надъ собой.

Джасперъ Мускъ и сэръ Уильтонъ Глидъ не были друзьями; они уже много лѣтъ не разговаривали между собой: Мускъ „надулъ“ его при покупкѣ Флинтъ-гоуза. „Надулъ“ слишкомъ сильное выраженіе, но кой-какіе барыши ему дѣйствительно перепали. Ссора продолжалась до настоящаго времени, но сэръ Уильтонъ нерѣдко чувствовалъ, что Мускъ долженъ ненавидѣть ихъ общаго врага еще сильнѣе, чѣмъ онъ самъ, и что, слѣдовательно, онъ цѣнный союзникъ. Мускъ былъ человѣкъ солидный и самый вліятельный въ околodкѣ. Къ несчастью, съ самаго дня похоронъ дочери онъ былъ прикованъ къ креслу ревматизмомъ. Заговорить со старикомъ гдѣ-нибудь на нейтральной почвѣ, сразу обезоруживъ его выраженіями негодованія и сочувствія, было-бы сравнительно легко. Иное дѣло помѣщику, лорду, постучаться въ дверь врага, который даже не былъ его арендаторомъ, въ дверь выходившую прямо на улицу, въ дверь, которую на гла-

захъ всей деревни могли захлопнуть у него передъ носомъ. Поэтому сэръ Уильтонъ отправился къ Муску послѣ обѣда, когда стемнѣло, былъ принятъ немедленно и оставался до одиннадцати.

На другой день онъ снова пошелъ туда; потомъ его видѣли у деревенскаго констэбля, потомъ констэбля видѣли въ Флинтъ-гоузѣ и во время его пребыванія тамъ къ Муску еще разъ случайно зашелъ сэръ Уильтонъ. Туда же вызвали изъ школы учителя и шорника изъ лавки; этотъ послѣдній, въ свою очередь, захватилъ Тома Айви, работавшаго на постройкѣ для своей матери, производимой по желанію и на деньги сэра Уильтона. Вся деревня, натурально, гудѣла, какъ пчелиный улей; но стрѣлы догадокъ, летавшія во всѣ стороны, не попадали въ цѣль. Ибо, не смотря на опалу, которой подвергся ректоръ, не смотря на то, что вина его въ глазахъ прихожанъ росла, какъ катящійся свѣжнѣйшій комъ, съ момента пожара и до этого дня, восемнадцатаго августа, изъ всѣхъ, кто любилъ или боялся Роберта Карльтона въ полтора года его жизни въ Лонгстоу, никто не могъ заподозрить его въ умышленномъ поджогѣ церкви.

Само собой возбужденіе проникло и въ усадьбу, гдѣ сэръ Уильтонъ заставилъ ждать себя къ обѣду, но, какъ тактичный человѣкъ, конечно, не упоминалъ за столомъ о непріятномъ предметѣ. Онъ былъ особенно веселъ и пилъ много шампанскаго, такъ что его жена встала изъ-за стола, не узнавъ о происшедшемъ. Впрочемъ, лэди Глидъ была довольно странная особа и большая поклонница сдержанности; сама она витала въ эмпирияхъ, о прозѣ жизни не говорила иначе, какъ шопотомъ и, если бы могла, заставила бы всѣхъ молчать о случившемся въ деревнѣ скандалѣ. Съ дочерью она благоразумно предпочитала совсѣмъ не говорить о немъ.

Лидія Глидъ была болѣе современнымъ типомъ. Она открыто интересовалась всей этой исторіей, придававшей нѣкоторую пикантность мѣсяцу въ деревнѣ, который иначе показался бы Лидіи нестерпимо скучнымъ. Въ этой дѣвушкѣ были зачатки сдѣлаться свѣтской женщиной, и тѣмъ не менѣе въ концѣ своего второго сезона она была еще очень далека отъ осуществленія своего идеала. Женихи являлись, но не такіе, на какихъ имѣла право рассчитывать богатая наслѣдница. Она была даже обручена съ однимъ авантюристомъ, но это только создало лишнюю проволочку.

Это объяснялось просто. Вялая и неоживленная въ будничной жизни, органически не выносившая фамиллярныхъ отношеній, миссъ Глидъ берегла свои лучшія качества для чужихъ; она умѣла весело болтать со знакомыми и еще

лучше — съ мало знакомыми; была въ своей стихіи на всякихъ *parties de plaisir*, но не дома. Но и въ своей стихіи Лидія всегда старалась по возможности скрывать свои чувства и нерѣдко танцевала съ видомъ ангельской покорности, съ опущенными внизъ уголками губъ, или пила, какъ лѣкарство, вино, которое на самомъ дѣлѣ веселило ея сердце. Въ этотъ пріѣздъ въ деревню она чувствовала себя особенно разочарованной и неудовлетворенной, и романтическая исторія ректора, умѣвшаго заинтересовать ее своими проповѣдями, была для нея тѣмъ-же французскимъ романомъ, но безъ необходимости читать его, или рисковать конфискаціей. А потому въ этотъ вечеръ Лидія сама предложила Гвиннетъ заняться музыкой и при этомъ даже сказала ей комплиментъ, что бывало рѣдко: молоденькой кузинѣ чаще доставались отъ нея выговоры. Сама же Лидія придвинула свой стулъ къ креслу матери, и между ними началось перешептыванье. Обыкновенно въ такихъ случаяхъ Гвиннетъ предлагали заткнуть себѣ уши всѣми десятью пальцами, но на этотъ разъ леди Глидъ была искренно заинтересована.

— Но что-же онъ сдѣлалъ?—вдругъ раздался вопросъ.

Ни мать, ни дочь не замѣтили, какъ музыка смолкла. Гвиннетъ стояла посерединѣ комнаты. Она была вся въ бѣломъ и лицо ея казалось такимъ же бѣлымъ при свѣтѣ свѣчей, отчего, по контрасту, волосы и глаза казались еще темнѣе и блестяще. И въ этихъ широко раскрытыхъ глазахъ во всякомъ случаѣ свѣтилось не меньше жалости и страданія, чѣмъ естественнаго любопытства дѣвочки-подростка.

— Не мѣшайся не въ свое дѣло!—рѣзко сказала Лидія.

Но въ это мгновеніе дверь отворилась. Вошелъ сэръ Уилтъонъ, добродушно настроенный, сіяющій, и удивился, замѣтивъ слезы въ глазахъ племянницы.

— Что такое? Что случилось? Въ какое не свое дѣло вмѣшалась эта маленькая женщина?

— Я спросила о м-рѣ Карльтонѣ. Я слышу, всѣ говорятъ про него худо... такъ худо, а я думала, что онъ такой хорошій! Я только спросила, что онъ сдѣлалъ. Я больше не буду. Пожалуйста, позвольте мнѣ уйти!

— Сію минуту, — сказалъ сэръ Уилтъонъ, фамиллярно удерживая дѣвочку. — Не надо быть такой гусыней.

— Пусти ее, Уилтъонъ, — прошептала его жена.

— Не пущу, пока не скажу ей, что сдѣлалъ м-ръ Карльтонъ.

И при видѣ недоумѣнія своихъ дамъ, сэръ Уилтъонъ засіялъ еще больше.

— Но, Уилтъонъ...

Леди Глидъ поднялась съ мѣста и даже забыла говорить

шопотомъ. Лидія-же необычайно оживилась и была въ эту минуту красивѣе своей кузины.

— Ты хочешь знать, что сдѣлалъ м-ръ Карльтонъ? Онъ поджегъ церковь!

ХІІІ.

Планы отверженнаго.

Оставшись одинъ, Карльтонъ съ удвоеннымъ рвеніемъ принялся за работу и скоро забылъ о существованіи сэра Уильтона Глида. До сумерекъ оставалось еще часа три. За это время онъ успѣлъ разрушить остальную часть восточной стѣны и прибавить къ своему запасу немало годныхъ кирпичей. Наступившая ночь была знаменательной въ исторіи Роберта Карльтона. Ничего не случилось, но въ домѣ не было пищи, и ректоръ начиналъ чувствовать себя больнымъ. Яица и ветчина у него были, но, разводя огонь, онъ усталъ больше, чѣмъ за весь день, и заснулъ тутъ же въ кухнѣ; ветчина подгорѣла, а поставленный имъ въ духовую печь хлѣбъ превратился въ камень. Нѣсколько капель виски изъ бутылки, которая уже нѣсколько мѣсяцевъ стояла открытой, подкрѣпили его и, прежде чѣмъ лечь, онъ рѣшилъ настоятельно требовавшій разрѣшенія вопросъ о пищѣ. Вопросъ этотъ былъ очень серьезенъ. Здоровье и сила, успѣхъ или неудача, постоянная бодрость или быстрый упадокъ силъ—все зависѣло отъ этого недостойнаго съ виду вопроса, до полуночи занимавшаго умъ одного изъ самыхъ нетребовательныхъ въ мірѣ людей, какъ работа занимала всѣ его мысли съ ранняго утра. Необходимо было считаться съ враждебнымъ отношеніемъ къ нему поселянъ. Онъ не питалъ ни малѣйшей надежды достать съѣстныхъ припасовъ въ деревнѣ. Но на разсвѣтѣ онъ отправился за нѣсколько миль къ фермеру, который въ былое время не лѣнился ходить на его проповѣди. Фермеръ пожалѣлъ его и угостилъ завтракомъ, хотя и съ угрюмымъ выраженіемъ лица, и Карльтонъ не отказался—въ интересахъ работы.

Онъ сказалъ, что пришелъ по дѣлу, и послѣ завтрака фермеръ спросилъ его, что это за дѣло: въ его тонѣ не звучало особаго довѣрія.

— Вы рѣжете барановъ?

— Только для себя.

— Когда вы рѣжете ихъ?

— Дайте сообразить. Сегодня пятница? Такъ вотъ нынче утромъ будемъ рѣзать.

— Можно мнѣ посмотреть, какъ вы это дѣлаете?

Фермеръ усталъ на него.

— Мнѣ бы нужно баранины,—пояснилъ Карльтонъ.

— У меня не мясная лавка. Ну, да посмотримъ; можетъ, и можно будетъ удѣлить вамъ кусокъ отъ передней части.

— Я былъ бы вамъ очень признателенъ. Но боюсь, что этого будетъ мало.

— Сколько же вамъ нужно?

Карльтонъ потребовалъ нѣсколькихъ барановъ.

За цѣной онъ не стоялъ, и торгъ былъ заключенъ. Въ тотъ же вечеръ фермеръ пригналъ барановъ къ нему на дворъ.

Въ пятницу до двухъ часовъ всѣ кирпичи были сложены въ сажень, и остатокъ дня Карльтонъ рѣшилъ посвятить болѣе легкой работѣ. Онъ вытащилъ наложу изъ подъ развалины и на двухъ тачкахъ перевезъ его въ пасторатъ; онъ попробовалъ было перевезти на одной, но она сломалась подъ тяжестью. Кромѣ того, эта работа поглотила все послѣ-обѣда, что болѣе опытный человекъ могъ бы предвидѣть заранее, и Карльтонъ вышелъ изъ церкви черный, какъ трубочистъ. Онъ подумалъ, что, разъ уже онъ такъ вымазался, жалъ было бы не воспользоваться этимъ, чтобы еще немного прибраться въ церкви пока свѣтло: когда-нибудь все равно придется же прибирать. Но и это было дѣломъ болѣе трудное, чѣмъ казалось съ перваго взгляда. Пожарные не жалѣли воды, и остоу крыши сгорѣлъ не совсѣмъ. Перекладины и стропила, цѣлыя и массивныя, лежали на полу большими массами, которыя невозможно было сдвинуть не столько вслѣдствіе ихъ тяжести, сколько вслѣдствіе безпорядочнаго расположения ихъ. Тутъ можно было орудовать только пилой; Карльтонъ такъ и сдѣлалъ и высвободилъ каедрю. Въ этотъ вечеръ онъ научился пилить лѣвой рукой, но наглядные результаты его стараній были невелики: кучка дровъ возлѣ сажени кирпича, да закоптѣлый покривившійся мѣдный наложу въ столовой. Но онъ былъ доволенъ и этимъ и пошелъ готовить себѣ воду для ванны.

Въ этотъ день онъ два раза ѣлъ мясо. Онъ начиналъ чувствовать себя мужчиной. Онъ, какъ прежде, скорымъ шагомъ ходилъ по своему кабинету, думая о томъ, что работу нужно распредѣлить на каждый день такъ, чтобы всѣ мышцы по очереди отдыхали. Смѣна занятій—вотъ принципъ всякаго продолжительнаго труда. Когда работы много, отдыхать нельзя, но можно дѣлать то одно, то другое. Карльтонъ не отдыхалъ вплоть до того момента, какъ легъ въ постель. Но этотъ вечеръ онъ провелъ за письменнымъ столомъ.

Онъ разграфилъ листъ бумаги на шесть столбцовъ, оставивъ поля; помѣтилъ каждый столбецъ днемъ недѣли, а

поле раздѣлилъ на три части—одну покороче и двѣ подлиннѣе; листъ походилъ на расписаніе уроковъ въ школѣ. Вставать онъ рѣшилъ на будущее время въ пять часовъ; въ четыре было слишкомъ рано. Коротенькій промежутокъ времени до завтрака надо ежедневно посвящать работѣ внутри дома, частью оставляя ее на ненастные дни. Комнаты надо содержать въ чистотѣ и порядкѣ; да и въ кухнѣ много дѣла: придется ежедневно готовить пищу, два раза въ недѣлю печь хлѣбъ, иногда зарѣзать барана. Только какъ беречь мясо? Солить?.. Развѣ бываетъ соленая баранина?.. Какъ бы тамъ ни было, всѣмъ этимъ заботамъ о пищѣ и хлопотамъ по хозяйству должно быть отдано только раннее утро. Затѣмъ надо подкрѣпить силы, а ужъ въ восемь—по возможности, даже раньше,—приниматься за работу. Начинать надо съ легкой работы, чтобы не переутомлять себя въ самомъ началѣ дня, напримѣръ—съ очистки уцѣлѣвшихъ стѣнъ. Затѣмъ пойдетъ подготовка кирпичей, отскабливаніе уцѣлѣвшихъ, классификація по величинѣ, обтесываніе новыхъ камней, наконецъ, самая постройка съ помощью лопатки и отвѣса. Все вмѣстѣ это займетъ большую часть дня. Затѣмъ сытный обѣдъ и опредѣленный срокъ отдыха, а подвечеръ—новая атака на хаосъ, царящій внутри церкви,—послѣдняго хватить на много дней. Рука, слишкомъ усталая для болѣе тонкой работы, для этой еще будетъ годна.

Дойдя до этого пункта въ своихъ планахъ на будущее, Робертъ Карльтонъ откинулся на спинку кресла и, увидавъ свое смутное отраженіе въ ромбоидальномъ окошечкѣ надъ письменнымъ столомъ, вдругъ почувствовалъ отвращеніе къ себѣ и ко всѣмъ своимъ начинаніямъ. Минуту назадъ онъ былъ счастливъ—онъ! Реакція по существу была та же, какъ утромъ въ сараѣ, когда онъ обрадовался, взявъ въ руки молотъ и рѣзецъ, и потомъ ощутилъ приливъ раскаянья, погнавшего его на другое утро въ усадьбу. Но по качеству эта реакція была сильнѣе: тогда онъ только понялъ, какъ онъ можетъ быть счастливъ; теперь онъ зналъ, какъ онъ счастливъ.

— Но вѣдь только въ работѣ! только за работой!—воскликнулъ онъ и упалъ на колѣни, прося прощенія у Всемогущаго за то, что смѣлъ радоваться посланному имъ утѣшенію.

Въ эту ночь Карльтонъ не чувствовалъ себя художникомъ. Онъ поднялся съ колѣнъ жалкимъ грѣшникомъ, каждой мыслью бичующимъ свой бѣдный духъ, осмѣлившійся вернуться къ жизни. Онъ совершилъ смертный грѣхъ съ смертельнымъ исходомъ, чего онъ не долженъ забывать. Онъ, Божій слуга!... Щадя читателя, мы не станемъ повторять самообличеній Карльтона. Но онъ самъ не щадилъ себя. Онъ припоминалъ всѣ обстоятельства, отягчающія вину, и ни одного смягчающаго; онъ намѣренно медленно систематически

переживалъ вновь все выстраданное—чтобы никогда больше не забывать! То онъ признавался Муску, то исповѣдывался Джорджу Меллису—бѣдный Джорджъ! гдѣ онъ теперь? То крестьяне били стекла въ его домъ. то Айви отказывался взять его руку. Въ концѣ концовъ онъ увидалъ себя передъ епископомъ и услыхалъ странный звучный голосъ, говорившій золотыя слова:

— Мужайся, братъ! Молись непрестанно. Смотри впередъ, а не назадъ, не отчаявайся. Отчаяніе лучший союзникъ діавола; лучше впасть въ смертный грѣхъ, чѣмъ въ смертельное отчаяніе.

И онъ снова сталъ на молитву, но не въ домъ.

— Я буду смотрѣть впередъ,—говорилъ онъ себѣ:—но я не долженъ забывать!

Ни вѣтра, ни луны не было. Воробьи смолкли, но не смолкали крикливые маленькіе стрижи. Откуда-то доносилась пѣсенка дрозда, чистая, нѣжная, звонкая, какъ колокольчикъ; летучая мышь коснулась крыломъ склоненной головы того, кто молился не о забвеніи, а о мирѣ душевномъ. Онъ снова молился, преклонивъ колѣно, но не передъ налоемъ и не въ развалинахъ.

XIV.

Послѣдняя надежда.

Карльтонъ выбралъ изъ кучи новый камень и рѣшилъ начать сначала. Обхвативъ камень обѣими руками, онъ кой-какъ дотащилъ его до дверей сарая. Камень былъ, по крайней мѣрѣ, двухъ футовъ длины и соответствующихъ размѣровъ по другимъ направленіямъ,—чуть ли не самый большой въ цѣлой кучѣ, красиваго красно-желтаго цвѣта, почти прямоугольный, но весь шишковатый, въ какихъ-то комкахъ. Карльтонъ примѣрилъ его къ другому камню, довольно гладкому, но съ явно неправильными плоскостями и невѣрными углами. Надъ этимъ другимъ камнемъ онъ трудился весь день и совершенно его испортилъ. Карльтонъ хотѣлъ сдѣлать изъ него одиннадцати-дюймовый кирпичъ и не сумѣлъ сдѣлать даже шести-дюмоваго. Камень былъ такъ хрупокъ. Онъ крошился, какъ сыръ. Но другого онъ ужъ не испортитъ.

Прежде чѣмъ начать снова, онъ присѣлъ отдохнуть и разложилъ свои инструменты на тачкѣ, чтобъ они были всѣ подъ рукой. Это было подъ вечеръ, въ субботу. Въ это утро, не чувствуя охоты заняться какимъ-нибудь тяжелымъ трудомъ, онъ впервые вздумалъ попробовать себя на обтесываніи камней, что должно было сдѣлаться его главнымъ занятіемъ, но рука измѣнила ему. У него былъ навыкъ, да не тотъ, какой нужно. Какъ всѣ любители, Карльтонъ на-

чалъ не съ того конца: онъ трудился надъ ребрами, а ровными поверхностями пренебрегалъ.

— Но я могу выучиться,—твердилъ онъ себѣ весь этотъ день, и собака, словно въ отвѣтъ, махала хвостомъ.

Десять минутъ тому назадъ онъ сталъ твердить другое.

— Я начну сначала. Я не сдамся. Я кончу сегодня хоть одинъ камень!

На этотъ разъ Гленъ подпрыгнула и ударила своего господина хвостомъ по ногамъ, какъ бы говоря: „Еще бы ты сдался! Не таковский!“ Она проводила его до сарая и теперь, повидимому, собиралась отдыхать вмѣстѣ съ нимъ. Но Карльтонъ органически не способенъ былъ долго оставаться безъ дѣла; а въ этотъ вечеръ знакомые звуки, заглушавшіе голоса его постоянныхъ товарищей—пчелъ и птицъ, дали ему знать, что школьники не гнушаются пользоваться для игры въ мячъ площадкой въ концѣ участка земли, прилегающаго къ пасторату, собственноручно расчищенной для нихъ ректоромъ въ прошломъ году. Это его обрадовало, но вмѣстѣ съ тѣмъ и подняло на ноги раньше назначеннаго срока для отдыха. И молотокъ снова застучалъ по камню.

Когда самыя крупныя шероховатости были сглажены, (это ректоръ умѣлъ дѣлать и раньше), онъ отложилъ въ сторону молотокъ и взялся за другой молотокъ для обдѣлки мрамора, какимъ обыкновенно пользовался Томъ Айви для превращенія шероховатыхъ поверхностей въ гладкія.

Чикъ-чикъ-чикъ—полетѣли въ сторону мягіе желтые кусочки, разлетавшіеся пылью при паденіи.

Чикъ, чикъ чикъ—острый конецъ каждый разъ оставляетъ свой слѣдъ и пройденный рядъ напоминаетъ клавиатуру игрушечнаго фортепьяно.

Чикъ, чикъ, чикъ—снова направо, рядъ за рядомъ. Теперь уже получается не фортепьяно, а органъ съ нѣсколькими клавиатурами, и цвѣтъ клавишъ не красный, какъ камень снаружи, а скорѣе пепельный.

По временамъ Робертъ Карльтонъ останавливается и прикладываетъ къ поверхности камня прямую планку. Ничего, дѣло налаживается: теперь поверхность почти ровная и довольно правильная. Правда, ряды клавишей не всѣ равной длины и не вездѣ параллельны, расходятся внизъ, какъ строчки на страницѣ подъ неумѣлой рукой; и обдѣлана только одна сторона изъ четырехъ, но за то она достаточно гладка, чтобы камень годился для кладки; теперь, главное, надо, чтобы углы вышли правильные, а тамъ уже работа пойдетъ легче. Карльтонъ взялъ угольникъ, брусокъ, кусокъ чернаго шифера, оставленный Томомъ, и нарисовалъ на камнѣ прямоугольный параллелограмъ съ одиннадцати-дюймовыми сторонами. А затѣмъ снова взялся за молотокъ и кирку.

Онъ поминутно прикладывалъ наугольникъ, но уже не трогалъ молотка для обдѣлки мрамора. Тутъ не до забавы; не къ чему особенно выравнивать стороны, когда онѣ все равно будутъ залиты известкой; тутъ лучше всего орудовать топоромъ каменщика, ручною мотыкой съ острымъ, какъ стилетъ, наконечникомъ, предательски вонзающимся въ камень отъ самого лекаго удара. И Карльтонъ неохотно взялся за этотъ топоръ какъ разъ въ ту минуту, когда онъ болѣе или менѣе научился владѣть молоткомъ. Чѣмъ ближе къ сумеркамъ, тѣмъ ниже ректоръ склонялся надъ своей работой.

Наконецъ то, дѣло идетъ на ладъ! Если бъ онъ не потерялъ даромъ такъ много времени, теперь бы онъ приготовилъ известъ и заложилъ первый, имъ самимъ обтесанный камень—первый камень новой церкви! Вотъ это было бы дѣло! Но и теперь онъ былъ доволенъ собой. Могло быть и хуже. Вsectаки непрочныя стѣны свалены, камни прибраны къ мѣсту, годные отложены... Онъ поднималъ голову; на его бѣломъ лбу стояли крупныя капли пота; въ глазахъ свѣтилась энергія и рѣшимость. Онъ выпрямился во весь ростъ, чтобы дать себѣ маленькій отдыхъ. Въ мягкомъ свѣтѣ заката лицо его сіяло счастьемъ. Да, онъ снова былъ счастливъ,—счастливъ, потому что не имѣлъ времени думать о самомъ себѣ, но лишь о томъ, что онъ дѣлалъ и что, какъ онъ твердо вѣрилъ, могъ сдѣлать, счастливъ, не смотря на затекшіе члены и мокрую отъ пота рубашку. Но счастья своего на этотъ разъ онъ не успѣлъ ни сознать, ни отогнать. Какъ только онъ выпрямился, Гленъ залаяла, и ректоръ, обернувшись, увидалъ деревенскаго констебля, съ тростью подъ мышкой, шарившаго у себя въ карманахъ. Констебль былъ въ полной парадной формѣ—что уже само по себѣ было странно.

— Добрый вечеръ, Фростъ,—сказалъ ректоръ.

— До... гм... вечеръ, сэръ.

Констебль былъ мужчина внушительнаго роста съ красивымъ глупымъ лицомъ и тупой осторожностью въ словахъ и поступкахъ, производившей впечатлѣніе простодушной, но неутомимой бдительности. На дѣлѣ въ приходѣ нашлось бы немного людей ниже его по развитію:

— Ко мнѣ?—спросилъ Карльтонъ, протягивая руку, когда тотъ вынулъ изъ кармана сложенную бумагу.

— И къ вамъ, и ко мнѣ,—подмигнувъ констебль, придерживая бумагу. И онъ внушительнымъ голосомъ прочелъ приказъ объ арестѣ Роберта Карльтона, священно-служителя, по обвиненію въ незаконномъ и злоумышленномъ поджогѣ приходской церкви въ Лонгстоу, въ Суффолькскомъ графствѣ, въ ночь съ 24-го на 25-е іюня сего милостію Божіей 1882 года. Приказъ былъ подписанъ двумя судьями: сэръ Уильтономъ

Глидомъ изъ Лонгстоу-Холля и каноникомъ Уайльдерсомъ изъ Лекенхолля.

— Желаете сами взглянуть?—освѣдомился констэбль.

— Нѣтъ, благодарю васъ; этого съ меня достаточно. Ну, знаете...

Карльтонъ смотрѣлъ въ одну точку; глаза его блестѣли, а на устахъ играла улыбка; къ его негодованію невольно примѣшивалось удивленіе: сэръ Уильтонъ былъ положительно болѣе сильный противникъ, чѣмъ онъ предполагалъ.

— Вамъ придется отправиться со мной въ Лекенхолль.

— Сегодня же вечеромъ?

— Сію же минуту, сэръ. За нами прислана повозка изъ Лекенхолля. Она за воротами.

Карльтонъ еще держалъ въ рукѣ топоръ, а у ногъ его лежалъ неоконченный камень. Онъ печально перевелъ глаза съ одного на другой и съ мольбой остановилъ ихъ на представителѣ закона.

— Послушайте, Фростъ, неужели нельзя подождать четверть часа? Я-бы... я-бы далъ совершенъ за то, чтобы окончить этотъ камень!

Лицо констэбля выразило оскорбленную добродѣтель.

— Ну нѣтъ, *меня* вамъ не подкупить! Мнѣ стыдно за васъ, сэръ, что вы пытаетесь это сдѣлать! Нѣтъ, м-ръ Карльтонъ, ужъ вы пожалуйте за мной.

— Но вѣдь можно же мнѣ сначала переодѣться.

— Да, только поторопитесь, и я пойду вмѣстѣ съ вами.

— Развѣ это необходимо?

— Это ужъ мое дѣло, сэръ. Я не могу оставить васъ одного въ спальнѣ. Мнѣ велѣно доставить васъ живымъ.

Карльтонъ въ два прыжка очутился возлѣ него.

— Хорошо! Вы пойдете со мной и будете смотрѣть, какъ я переодѣваюсь, но не смѣйте разговаривать со мной больше, иначе я за себя не ручаюсь!

У воротъ собралась кучка любопытныхъ; въ повозкѣ ждалъ Лекенхолльскій полисмэнъ. Карльтонъ вышелъ въ длинномъ сюртукѣ и съ гордо поднятой головой. При отбѣдѣ его зрители почему-то безмолствовали.

Самъ онъ всю дорогу молчалъ, и полицейскіе не рѣшались заговаривать съ нимъ. Лошадь шла тихо, и только черезъ часъ Карльтонъ очутился гдѣ участкѣ. Осанистый надзиратель, съ которымъ онъ былъ немного знакомъ, прочиталъ ему протоколъ обвиненія, закончивъ обычнымъ предупрежденіемъ, что все, сказанное имъ на допросѣ, можетъ быть обращено противъ него.

— Понимаю,—сказалъ Карльтонъ.—А затѣмъ?

Надзиратель пожалъ плечами и выразилъ свое личное сожалѣніе.

- Боюсь, что иначе невозможно, сэръ.
- Значить, въ тюрьму?
- Точно такъ, м-ръ Карльтонъ.
- И надолго?
- До утра понедѣльника, сэръ, до суда.
- Ну что-жъ, ведите. Мнѣ все равно, гдѣ провести воскресенье—въ тюрьмѣ или въ своемъ пасторатѣ.

Взглядъ его былъ суровъ, но твердъ, и душа полна презрѣнія, но не страха. Онъ зналъ, кѣмъ было подстроено все это обвиненіе, и въ первый моментъ подивился изобрѣтательности своего врага, но, подумавъ, сталъ дивиться его глупости. Правду говоритъ пословица, что нѣтъ хуже дурака, какъ старый дуракъ, и нѣтъ безразсуднѣй и неосторожнѣй благоразумныхъ людей, когда они теряютъ голову,—думалъ Робертъ Карльтонъ, сидя въ своей камерѣ. О самомъ обвиненіи онъ почти не думалъ: оно казалось ему совершенно нелѣпымъ. Ему сжечь церковь? Зачѣмъ? Съ какой стати? И чего-же ради онъ потомъ рисковалъ жизнью на пожарѣ? Изъ за раскаянія, или на показъ? Онъ чуть не расхохотался; онъ не могъ придумать ни одной улики противъ себя.

На столѣ лежало Евангеліе, но ректоръ захватилъ съ собою свою Библію и, при свѣтѣ газоваго рожка за проводочной рѣшеткой, тѣнь отъ которой полосами ложилась на стѣны, словно тѣнь отъ прутьевъ клѣтки какого-нибудь дикаго звѣря, Робертъ Карльтонъ скоро забылъ свои собственные грѣхи, преслѣдованіе и плѣненіе, читая о плѣненіи своего любимаго героя, св. Павла, и былъ въ иномъ мірѣ, пока звонъ ключа въ замкѣ не вернулъ его къ дѣйствительности. Въ дверяхъ стоялъ самъ тучный надзиратель; на лицѣ его были написаны хорошія вѣсти, а въ рукѣ была карточка каноника Уайльдерса, Лекенхолльскаго ректора и предсѣдателя мѣстнаго суда.

Карльтонъ искренно перепугался.

- Неужто онъ желаетъ меня видѣть?
- Если вы ничего не имѣете противъ этого, сэръ.
- Но вѣдь онъ же подписалъ приказъ объ арестѣ! Скажите ему, что я никого не могу видѣть. Поблагодарите его хорошенько, скажите, что я очень цѣню его доброту, но предпочитаю оставаться одинъ.

Черезъ нѣсколько минутъ надзиратель вернулся.

- Жалко, что вы не захотѣли повидаться съ каноникомъ, сэръ; ему это, видимо, не понравилось. Его положеніе такое, что онъ не могъ не подписать приказа объ арестѣ, но, мнѣ кажется, онъ потому именно и пришелъ сію же минуту, какъ только узналъ, что вы здѣсь; и я такъ полагаю, что ему желательно освободить васъ изъ подъ стражи.

- То есть взять меня на поруки?

— Да, сэръ.

— Потому что я священникъ, и это порочить мой санъ! Такое объясненіе только сейчасъ пришло ему въ голову, но лицо надзирателя выразило нѣмое подтвержденіе.

— Онъ еще здѣсь?—спросилъ узникъ.

— Точно такъ, сэръ, здѣсь.

— Скажите ему, что я арестованъ по гнусному и ложному обвиненію и не желаю свободы, пока ложь не будетъ доказана! Но я тѣмъ не менѣе весьма обязанъ канонику Уайльдерсу; передайте ему это вмѣстѣ съ моимъ привѣтомъ.

Весь вечеръ онъ ходилъ изъ угла въ уголъ по своей камерѣ, въ возбужденіи, довольно странномъ для того, кто вошелъ сюда, не моргнувъ глазомъ. За все время духовенство откликнулось въ первый разъ; до сихъ поръ его знакомые священники сторонились отъ собрата, покрывшаго себя позоромъ. Отчасти онъ самъ былъ тому причиной—онъ скрылся изъ виду. Онъ не ждалъ и не искалъ ихъ сочувствія, но теперь, когда одинъ изъ нихъ откликнулся, Карльтонъ ощутилъ боль въ ранѣ, которой не замѣчалъ раньше. У него были друзья, напимѣръ, Престонъ изъ Линкворта (впрочемъ, того жена не пуститъ), Босенквитъ изъ Бединфильда и другіе. Кто нибудь изъ нихъ могъ бы навѣстить его. Престонъ приходилъ, но онъ объ этомъ не зналъ. Что касается Уайльдерса, это былъ человѣкъ почтенный, всѣми уважаемый, во всемъ успѣвавшій; такой человѣкъ ужъ никоимъ образомъ не рѣшился бы добровольно навлечь на себя безславіе; если онъ пришелъ теперь къ нему, то лишь въ силу своего оффиціознаго положенія. Карльтонъ не хотѣлъ быть неблагодарнымъ или поддаваться личному непріязненному чувству къ Уайльдерсу за то, что тотъ подписалъ приказъ объ арестѣ, но онъ не могъ встрѣтиться со своими братьями теперь, когда это новое обвиненіе тяготѣло надъ его головой, и не хотѣлъ быть обязаннымъ свободой ничьимъ милостямъ. Съ другой стороны, за этотъ вечеръ въ тюрьмѣ онъ больше размышлялъ о своихъ братьяхъ—священникахъ, чѣмъ за предыдущіе два мѣсяца. И сознаніе, что онъ уронилъ себя въ глазахъ общества, до сихъ поръ почти не дававшее себя знать, вдругъ сказалось острой болью, и уже ради этого одного онъ пожалѣлъ, что его посадили въ тюрьму. Но остальное по прежнему мало тревожило его, и предстоящій судъ его почти не интересовалъ.

Его равнодушіе волновало надзирателя, который относился къ узнику очень почтительно и на другой день рано утромъ явился къ нему въ камеру.

— Это, конечно, не мое дѣло, сэръ, но вамъ надо бы сегодня повидаться съ адвокатомъ.

— Зачѣмъ?

— Вѣдь завтра же разбирается ваше дѣло въ судѣ.

— Но адвокатъ то зачѣмъ?

— Какъ-же, сэръ, всякій арес... т. е. обвиняемый...

Надзиратель споткнулся на этомъ словѣ и смѣшался.

— О, я понимаю! Вы думаете, что мнѣ нуженъ защитникъ? Очень вамъ благодаренъ, но я не нуждаюсь въ адвокатѣ для того, чтобы защитить себя. Это моимъ обвинителямъ нужны адвокаты; это имъ надлежитъ доказывать мою виновность, а не мнѣ свою невинность.

— И вы серьезно думаете, что у насъ нѣтъ никакихъ уликъ противъ васъ?—спросилъ надзиратель измѣнившимся тономъ, ибо онъ самъ составлялъ обвинительный актъ.

— Я объ этомъ вовсе не думаю, — возразилъ Карльтонъ съ непритворнымъ равнодушіемъ. — Обвиненіе такъ нелѣпо, что о немъ не стоитъ и думать.

— Я радъ, что вы такъ полагаете, — сказалъ тотъ, уязвленный: — будемъ надѣяться, что вы не измѣните вашего мнѣнія. Я говорилъ, желая вамъ же добра; многіе осудили бы меня за то, что я веду съ вами такие разговоры. Больше я вамъ не стану докучать, сэръ. Послѣ того, какъ вы давеча отдѣляли каноника Уайльдерса, я могъ бы предвидѣть, что и мнѣ нечего ждать благодарности. Защищайтесь сами; посмотримъ, какъ вамъ это удастся!

Дверь съ шумомъ захлопнулась. Не безъ боли въ сердцѣ прислушивался Карльтонъ къ удалявшимся шагамъ надзирателя. Онъ жалѣлъ, что оскорбилъ чувства людей, навязывавшихся къ нему въ друзья, но въ эту критическую минуту онъ не искалъ людской дружбы. У него одинъ другъ и защитникъ—Богъ, и его вѣра въ него была такъ же глубока, какъ его презрѣніе къ ложному обвиненію, свалившемуся на его голову. Послѣднее—онъ былъ увѣренъ—будетъ разбито и разсыплется прахомъ; если же нѣтъ, это, очевидно, будетъ значить, что онъ еще недостаточно наказанъ за то, что онъ сдѣлалъ, и, слѣдовательно, долженъ быть готовъ пострадать за то, чего онъ не сдѣлалъ, но что, несомнѣнно, было результатомъ его грѣха. И Робертъ Карльтонъ въ глубинѣ души готовился къ этому. Но онъ былъ не въ состояніи дойти въ своемъ религіозномъ фатализмѣ до логическаго вывода и смягчить свое озлобленіе противъ человѣческихъ орудій мести, которую онъ приписывалъ Богу.

Напротивъ, минутами онъ снисходилъ до того, что думалъ о предстоящемъ судѣ и, между прочимъ, припомнилъ дватри обстоятельства, которыя предубѣжденіе и злоба могли обратить въ улики противъ него. Вспомнить объ этомъ значило моментально придумать и убѣдительныя возраженія, но Карльтонъ не былъ увѣренъ, позволяетъ ли ему законъ

возражать. Поэтому онъ спросилъ газеты и, хотя просьба его была уважена, къ вечеру о ней уже зналъ весь Лекенхолль. Отрѣшенный отъ должности священникъ такъ мало думаетъ о своихъ вѣдомыхъ всѣмъ грѣхахъ, что способенъ читать газеты вечеромъ въ воскресенье! Какія заключенія выводились отсюда обывателями маленькаго городка, сильно взволнованнаго предстоящимъ судомъ и инстинктивно готового повѣрить самому худшему о томъ, кто и безъ того уже былъ достаточно дурень—представить себѣ нетрудно. Цѣлый городъ качалъ головой.

Тѣмъ временемъ предметъ общаго негодованія былъ сравнительно счастливъ въ своемъ узилищѣ. Ему посчастливилось найти въ принесенной ему пачкѣ газетъ то, что только и можно найти въ провинціальныхъ газетахъ—дословный отчетъ о судебномъ разбирательствѣ одного дѣла, совершенно неинтересный для читателей вообще, но полный всепоглощающаго интереса для Карльтона. Обвиняемаго представлялъ на судѣ адвокатъ, защищавшій своего кліента, что называется, и ногтями, и зубами. Всѣ „столкновенія на судѣ“ были приведены въ газетѣ, и ни одно указаніе, заключавшееся въ нихъ, не пропало даромъ для живого и воспріимчиваго ума заключеннаго. Онъ съ трудомъ оторвался отъ чтенія, когда по тихимъ улицамъ городка, вторично въ этотъ день, разнесся колокольный звонъ. Приходская церковь была рукой подать отъ участка, и утромъ Карльтонъ прослѣдилъ всю службу, которую зналъ на память, по обрывкамъ гимновъ и псалмовъ, доносившимся до него сквозь рѣшетчатое окно. То же дѣлалъ онъ и теперь; губы его шевелились, повторяя на память псалмы; руки были сложены на груди; молитвы онъ читалъ на колѣняхъ. И взглядъ его былъ такъ же серьезенъ, поза такъ же полна благоговѣнія, и даже нѣкоторыя жесты точно таковы, какъ если бы онъ снова былъ въ своей церкви, сожженной имъ, вмѣсто того чтобы сидѣть въ тюрьмѣ за поджогъ.

Августовскія сумерки спустились рано; въ камеру заключеннаго скользнулъ лучъ новаго мѣсяца; звуки органа напутствовали выходящихъ изъ церкви; нѣсколько человѣкъ прошли мимо окна; голоса ихъ прозвучали за рѣшеткой, и древній городокъ снова погрузился въ безмолвіе. Въ эту ночь Робертъ Карльтонъ не думалъ больше о своихъ врагахъ и не готовилъ защиты на завтра.

XV.

Самъ себѣ защитникъ.

Вмѣстѣ съ каноникомъ Уайльдерсомъ, засѣдалъ м-ръ Престонъ изъ Линкворта и еще одинъ молодой судья, незнако-

мый Роберту Карльтону и сидѣвшій, какъ высѣченное изъ камня изображеніе Радаманта, вставленное въ жесткіе панталоны и мучительные воротнички.

Принимая во вниманіе романической интересъ дѣла, составъ суда никакъ нельзя было назвать „полнымъ“; бросалось въ глаза умышленное отсутствіе нѣсколькихъ человѣкъ, въ томъ числѣ сэръ Уильтона Глида и д-ра Мэригольда. Карльтонъ не столько былъ удивленъ воздержаніемъ своего врага отъ участія въ судебномъ разбирательствѣ, сколько добровольнымъ присутствіемъ Джемса Престона, довольно нерадиваго, какъ церковнослужитель, но довольно милаго человѣка и джентльмена, его бывшего друга. Его изумленіе еще усилилось, когда Престонъ кивнулъ ему головой, правда, торопливо и съ краской въ лицѣ, но все же такъ дружески, что у Карльтона зародилось сомнѣніе—дѣйствительно ли онъ потерялъ этого друга. Такихъ сомнѣній у него не могло возникнуть относительно величаваго предсѣдателя, который смотрѣлъ на него такъ, какъ будто никогда не видалъ его, и, обращаясь къ нему, каждый разъ придавалъ своему голосу оттѣнокъ сдержаннаго неодобренія. Тутъ ужъ вопросъ былъ не въ потерѣ друга, но въ приобрѣтеніи себѣ врага въ лицѣ самаго вліятельнаго изъ судей.

Зала суда была уже биткомъ набита, когда толстый надзиратель отворилъ двери и впустилъ свидѣтелей. Ихъ было немало, все знакомыя лица—шорникъ, пономарь и Томъ Айви; всѣ трое были одѣты по праздничному и чувствовали себя болѣе или менѣе неловко, но одинъ только Томъ Айви покраснѣлъ и отвернулся, встрѣтивъ взглядъ обвиняемаго. Карльтонъ такъ углубился въ неожиданно нахлынувшія на него новыя мысли, что прошло нѣсколько минутъ, прежде чѣмъ онъ сообразилъ, что чтеніе сухого и коротенькаго обвинительнаго акта уже кончилось, а на свидѣтельской скамьѣ ужъ поднялся свидѣтель и даетъ показанія. Впрочемъ, это былъ только лонгстоунскій констэбль, и показаніе его относилось только къ аресту Карльтона. Тѣмъ не менѣе обвиняемый поспѣшно вытащилъ свою записную книжку.

— Могу я предложить ему два-три вопроса?—учтиво обратился обвиняемый къ судьямъ.

— Сколько угодно, разумѣется, только относящихся къ дѣлу,—отвѣчала предсѣдатель.

Карльтонъ поклонился и повернулся къ свидѣтелю.

— Въ какой мѣрѣ вы отвѣтственны за приказъ, на основаніи котораго вы арестовали меня?

— От-вѣт-ственъ?—воскликнулъ предсѣдатель, расчленивъ слово на слоги.—Что вы хотите сказать?

— Я хочу удостовѣриться, въ какой мѣрѣ свидѣтель принималъ участіе въ изобрѣтеніи этого обвиненія противъ меня.

— Вы употребляете неподходящія выраженія.

— Прежде чѣмъ засѣданіе окончится, господа судьи, можетъ быть, убѣдятся, что эти выраженія слишкомъ даже мягки.

— Я не позволю вамъ учинять перекрестный допросъ свидѣтелей, если вы не будете при этомъ соблюдать должнаго уваженія къ суду.

Секретарь суда, допрашивавшій свидѣтеля, поспѣшилъ предупредить столкновеніе.

— Я полагаю, господинъ предсѣдатель, что обвиняемому желательно знать, дѣлалъ-ли свидѣтель заявленіе относительно его кому надлежить.

— Благодарю васъ,—сказалъ Карльтонъ, съ страннымъ лукавымъ блескомъ въ глазахъ, снова обращаясь къ свидѣтелю.—Я хочу спросить васъ, съ должнымъ уваженіемъ къ суду, дѣлали-ли вы заявленіе „относительно меня“ или нѣтъ?

— Дѣлалъ!

— Кому?

— Судьѣ.

— Которому судьѣ?

— Сэръ Уильтону Глиду.

— Когда это было?

— Въ прошлую пятницу.

— Пожалуйста, число?

— 18-го августа.

— 18-го августа! А церковь сгорѣла утромъ 25-го іюня! Почему же это вамъ понадобилось безъ двухъ дней восемь недѣль для того, чтобы сдѣлать это заявленіе?

Свидѣтель видимо сконфузился, но предсѣдатель поспѣшилъ вмѣшаться: онъ ждалъ только случая.

— Отвѣтомъ на это можетъ служить показаніе; а если и нѣтъ, во всякомъ случаѣ, это вопросъ безусловно недопустимый, и я настоятельно совѣтую вамъ взять адвоката. Если желаете, я могу прервать засѣданіе на полчаса, чтобы дать вамъ время побесѣдовать со своимъ повѣреннымъ; но судъ не можетъ терять время на разсмотрѣніе не идущихъ къ дѣлу и недопустимыхъ вопросовъ, которые вы, повидимому, склонны предлагать. Если у васъ нѣтъ ничего болѣе важнаго, о чемъ спросить свидѣтеля, я прикажу ему сѣсть.

— Пусть садится,—равнодушно сказалъ обвиняемый.—Мнѣ онъ больше не нуженъ.

Робертъ Карльтонъ дивился самому себѣ. Онъ вошелъ въ залу суда съ самыми добродѣтельными намѣреніями: держаться спокойно, но скромно, подавить въ себѣ презрѣніе къ судебной процедурѣ, ведомой (если не начатой) вполне добросовѣстно, и нина минуту не забывать, что онъ повиненъ въ грѣхѣхъ, если и неповиненъ въ преступленіи. Въ такихъ мысляхъ онъ поднялся съ колѣнъ нынче утромъ, съ такой рѣшимо-

стью вышелъ изъ своей камеры и вступилъ въ залу суда, но самая атмосфера этой залы заставляла кровь его быстрѣе переливаться по жиламъ, и довольно было ему услышать голосъ предсѣдателя, чтобы она закипѣла. Онъ согрѣшилъ и самъ захотѣлъ пострадать за свой грѣхъ—такъ значить на него можно валить и самыя низкія преступленія! Онъ униженъ, и по заслугамъ—такъ развѣ это значить, что друзья и знакомые должны вступать между собой въ заговоръ, чтобы окончательно затоптать его? Мысли Карльтона мѣняли направление, какъ флюгера, вертящіяся по вѣтру; плоть и кровь брали верхъ надъ духомъ; все, что въ немъ было человѣческаго, возставало противъ людской несправедливости.

А потому, когда привели къ присягѣ слѣдующаго свидѣтеля (его собственнаго пономаря) и Джемсъ Престонъ сталъ о чемъ-то шептаться съ каноникомъ Уайльдерсомъ, человѣкъ, нерѣдко правившій богослуженіе и говорившій проповѣди за нихъ обоихъ, взглянулъ на нихъ злобно.

— Такъ какъ вы, повидимому, намѣрены сами вести свое дѣло,—сказалъ Уайльдерсъ, откинувшись на спинку стула,—вы, можетъ быть, предпочли-бы занять мѣсто возлѣ стола; если такъ, вы можете перейти вонъ туда.

Карльтонъ поблагодарилъ его тономъ, въ которомъ, не смотря на всѣ усилія его воли, звучало презрѣніе, и отказался, говоря, что ему и здѣсь прекрасно. Потомъ онъ посмотрѣлъ въ упоръ на Престона, и лицо, и голосъ его сразу смягчились. — Но я не забуду этого вниманія,—прибавилъ онъ, и другъ его опять покраснѣлъ.

Престарѣлый герой нелѣпой галлюцинаціи тѣмъ временемъ поднялся со свидѣтельской скамьи и подковылялъ къ столу. Карльтонъ въ послѣдній разъ видѣлся съ нимъ утромъ наканунѣ пожара, и никакъ ужъ не думалъ, что его послѣдній разговоръ съ пономаремъ можетъ быть обращенъ въ свидѣтельство противъ него. А между тѣмъ такъ оно вышло.

На Бѣсби лежали заботы объ освѣщеніи церкви. Онъ покупалъ парафинъ и наливалъ лампы. Но въ іюнѣ мѣсяцѣ лампы зажигаются рѣдко. Въ воскресенье, предшествовавшее пожару, ихъ не зажигали вовсе, и можно было предполагать, что и въ слѣдующее воскресенье онѣ не понадобятся. А между тѣмъ, въ субботу утромъ обвиняемый приказалъ свидѣтелю позаботиться о томъ, чтобы лампы были полны!

Таково было показаніе Бѣсби, полное страшнаго значенія. Оно захватило врасплохъ обвиняемаго; самый фактъ ускользнулъ изъ его памяти. Но черезъ минуту онъ уже припомнилъ его во всѣхъ подробностяхъ, и перекрестный допросъ свидѣтеля, хотя и вызвавшій смѣхъ и потому сокращенный предсѣдателемъ, тѣмъ не менѣе оказалъ свое дѣйствіе.

— Вы помните, какъ лампы однажды погасли посерединѣ вечерней службы, благодаря вашей небрежности?

— Еще бы не помнить! Это было въ тотъ вечеръ, когда я проглотилъ лягушку.

Судьи засмѣялись, но обвиняемый даже не улыбнулся: для него дѣло было слишкомъ серьезное.

— Послѣ того я вамъ часто напоминалъ о лампахъ?

— Охъ, ужъ и не говорите! Вы постоянно приставали ко мнѣ съ этимъ.

— Въ то утро, о которомъ вы говорите, *гдѣ* я сказалъ вамъ, чтобы вы пошли и налили лампы?

Сторожъ подумалъ.

— Это было въ вашемъ кабинетѣ, сэръ.

— Что вы тамъ дѣлали? Вы помните?

— Конечно! я рассказывалъ вамъ про лягушку.

На этотъ разъ обвиняемый улыбнулся.

— А я слушалъ васъ?—спросилъ онъ, внезапно измѣнившись въ лицѣ, какъ будто отъ этой улыбки ему стало больно.

— Нѣтъ не слушали,—проворчалъ старикъ:— вы даже дѣлали видъ, что не слышите.

— И, чтобы отдѣлаться отъ васъ, велѣлъ вамъ пойти и налить лампы, хотя день былъ лѣтній. Я кончилъ, господа судьи.

Голосъ Карльтона звучалъ печально. Онъ былъ похожъ на человѣка, который блестяще парировалъ смертельный ударъ, но все же при этомъ получилъ тайную рану. Онъ оперся головой на руку, чтобы скрыть страдальческое выраженіе лица, и поднялъ ее, только когда услышалъ голосъ Престона, въ первый разъ предложившаго вопросъ свидѣтелю.

— Въ качествѣ церковнаго сторожа вы у себя держали ключи отъ церкви?

— Въ прежнія времена—да, сэръ; но съ тѣхъ поръ, какъ къ намъ поступилъ м-ръ Карльтонъ, церковь не запиралась.

— Вы хотите сказать, что церковь была отперта днемъ и ночью?

— Понятное дѣло.

— Благодаря васъ,—поспѣшно сказалъ Престонъ, словно довольный тѣмъ, что можетъ опять замолчать. Карльтонъ не смотрѣлъ на него, чтобы не увеличивать его смущенія, но сердце въ немъ всколыхнулось признательностью къ чело-вѣку, въ доброжелательствѣ котораго онъ уже не могъ сомнѣваться.

— И вы *налили* лампы?—спросилъ предсѣдатель, когда свидѣтель уже заковылялъ было прочь отъ стола.

— Точно такъ, сэръ, налилъ.

Вглядѣвшись въ лицо предсѣдателя, Карльтонъ еще больше порадовался тому, что у него есть другъ среди судей, ибо

ему казалось, что изъ нихъ только молодой человѣкъ въ высокихъ воротничкахъ и узкихъ панталонахъ, какъ настоящій Радамантъ, вполне безпристрастенъ.

Не меньше дивился онъ серьезности и качеству показаній, направленныхъ противъ него. Сознывая полную свою невинность, онъ не могъ припомнить ни одного говорящаго противъ него обстоятельства, которое не объяснялось бы совершенно легко и просто. И, однако же, такихъ обстоятельствъ приведено было не мало, сначала шорникомъ, затѣмъ Томомъ Айви, и не разъ объясненіе, для него простое и ясное, не могло быть кѣмъ-либо подтверждено или принято за доказательство противнаго. Особенно показанія Фуллера, весьма убѣдительныя, не смотря на то, что онъ давалъ ихъ съ видимой неохотой, искренней или притворной, поразили обвиняемого полной неожиданностью. Оказалось, что шорникъ вторично приходилъ въ пасторатъ, болѣе часа спустя послѣ перваго визита и быстрого изгнанія, чтобы „выговориться“ до конца и „не дать его преподобію взять верхъ надъ нимъ“.

Ночной посѣтитель видѣлъ свѣтъ въ кабинетѣ, но нашелъ дверь запертой; въ комнатѣ была только собака. Онъ не входилъ, а ждалъ на дорожкѣ, потомъ замѣтилъ, что церковь освѣщена, рѣшилъ, что „его преподобіе тамъ и не захотѣлъ мѣшать ему, а отправился домой и спалъ крѣпкимъ сномъ, пока его не разбудилъ набатъ“.

— Почему же вы были такъ увѣрены, что въ церкви былъ именно м-ръ Карльтонъ?—спросилъ Престонъ.

— Потому что я не нашелъ его въ пасторатѣ.

— Но вѣдь вы же не входили?

— Я стучался и звалъ, но въ отвѣтъ слышалъ только лай собаки.

Предсѣдатель въ свою очередь наклонился впередъ.

— Что же этотъ лай былъ громкій? Настолько громкій, что его можно было слышать по всему дому?

Карльтонъ вскочилъ на ноги. До тѣхъ поръ онъ спокойно сидѣлъ на стулѣ, и внезапность этого движенія обратила на него общее вниманіе. Лицо его дышало нетерпѣніемъ и сарказмомъ.

— Если вы желаете доказать, что я былъ не дома, а въ церкви, — воскликнулъ онъ, — ваше высокопреподобіе можете избавить себя отъ труда и напрасной потери времени. Я дѣйствительно былъ въ церкви. И я же зажегъ одну изъ лампъ.

Самъ обвиняемый не видѣлъ въ этомъ заявленіи ничего сенсационнаго и потому былъ удивленъ тѣмъ, какое впечатлѣніе оно произвело на судей. Даже Радамантъ ожилъ; Джемсъ Престонъ широко раскрылъ глаза отъ ужаса, а каноникъ началъ что-то шептать секретарю.

— Это заявленіе чрезвычайно серьезное,—сказалъ председатель,—и вы, сдѣлавъ его, несомнѣнно, поступили весьма неблагоуразумно. Это не показаніе, но оно будетъ записано и можетъ быть обращено противъ васъ. Я бы посовѣтовалъ вамъ напередъ воздерживаться отъ подобныхъ заявленій.

— Я думалъ, что вы желаете добраться до правды.

— Безъ сомнѣнія. Но я считалъ нужнымъ предупредить васъ. Имѣете вы предложить еще нѣсколько вопросовъ свидѣтелю?

— Ни одного; и его показанія, и его предположенія вполне соотвѣтствуютъ дѣйствительности.

Затѣмъ былъ приведенъ къ присягѣ Томъ Айви и далъ свое показаніе съ искренностью и прямою, придававшими вѣсъ всему, что онъ говорилъ, хорошему и дурному; а въ его показаніи было и то, и другое. Онъ описалъ, какую картину представляла собой церковь въ моментъ его появленія, описалъ характеръ пожара и отношеніе къ нему ректора, прибавивъ (въ отвѣтъ на вопросъ председателя), что и то, и другое съ перваго взгляда показалось ему подозрительнымъ.

— Но замѣтили-ли вы, чтобъ онъ сдѣлалъ на вашихъ глазахъ что-либо подозрительное?—спросилъ доброжелательный м-ръ Престонъ.

— Замѣтилъ, сэръ.

— Что же это было?—спросилъ председатель.

— Онъ что-то бросилъ въ огонь, но что именно—я не разглядѣлъ.

— А потомъ вы узнали, что это было?

— Нѣтъ, сэръ, такъ и не узналъ.

Снова общее вниманіе сосредоточилось на обвиняемомъ. Чувствовалось, что съ устъ его опять готово сорваться неосторожное слово; но на этотъ разъ онъ промолчалъ, и, хотя дальнѣйшія показанія Тома Айви были въ его пользу, это молчаніе оставило свой слѣдъ.

Всѣ знали, какъ ректоръ потомъ, когда было уже поздно, рисковалъ жизнью ради спасенія церкви. Но никто еще не рассказывалъ объ этомъ такъ, какъ м-ръ Престонъ заставилъ рассказать Тома Айви. Линквортскій ректоръ былъ въ отпуску во время пожара. Не было ничего неестественнаго въ его желаніи узнать подробности, и ни одного не идущаго къ дѣлу вопроса онъ не предложилъ. Тѣмъ не менѣе председатель неоднократно выказывалъ нетерпѣніе; младшій судья, наоборотъ, слушалъ съ большимъ интересомъ и, наконецъ, вставилъ свое слово:

— Вы хотите сказать, что вы позволили ему одному заливать огонь, а сами всѣ оставались снаружы?

— Ничего съ нимъ нельзя было подѣлать, сэръ. Онъ непремѣнно хотѣлъ весь рискъ взять на себя.

— Въ такомъ случаѣ, вы, значить, не могли и видѣть, какое употребленіе онъ дѣлалъ изъ приносимой ему воды?— сухо вставилъ предсѣдатель. Это былъ наводящій вопросъ.

— Нѣтъ, сэръ,—сказалъ Томъ:—я видѣлъ только дымъ.— И его тонъ былъ еще суше.

Уайльдерсъ посмотрѣлъ на часы, было около пяти. Онъ кивкомъ головы подозвалъ къ себѣ надзирателя, поговорилъ съ нимъ и ледянымъ тономъ обратился къ обвиняемому.

— Это послѣдній свидѣтель со стороны обвиненія. Намѣрены вы допросить его въ свою очередь?

— Намѣренъ.

— Можно узнать, не намѣреваетесь ли вы съ своей стороны вызвать свидѣтелей защиты?

— Можетъ быть, вызову одного.

— Въ такомъ случаѣ я считаю долгомъ отложить дѣло.

Онъ снова пошептался съ надзирателемъ, потомъ долго разговаривалъ со своими коллегами, при чемъ Джемсъ Престонъ, видимо, на чемъ-то настаивалъ, и предсѣдатель въ концѣ концовъ уступилъ.

— Въ виду того, что полиціей собраны всѣ необходимыя свѣдѣнія, отсрочка на одинъ день оказывается достаточной, и мы просто отложимъ продолженіе судебного разбирательства до завтрашняго утра. Но вы можете, если вамъ угодно, представить поручителей, хотя вопросъ объ отпущеніи васъ на поруки, принимая во вниманіе выслушанныя нами показанія, потребуетъ весьма и весьма серьезнаго обсужденія.

— Можете избавить себя отъ труда. Я не желаю быть отпущеннымъ на поруки.

И онъ вернулся въ тюрьму, сокрушаясь о своей необузданности, но уже не молясь о ниспосланіи ему терпѣнія и смиренія, ибо чувствовалъ, что съ такими предубѣжденными судьями эти добродѣтели неумѣстны.

— Я вамъ говорилъ, что онъ скажетъ—такъ и вышло,—проворчалъ Уайльдерсъ, входя въ совѣщательную комнату.

— Я не осуждаю его,—сказалъ Престонъ.—Мой добрый сэръ, онъ невиненъ.

— Я выскажу *свое* мнѣніе завтра,—съ достоинствомъ возразилъ каноникъ.—А пока, признаюсь, меня нѣсколько интересуютъ вопросъ, кого онъ предполагаетъ вызвать въ свидѣтели.

— Виноватъ онъ, или не виноватъ,—вставилъ слово Радамантъ,—спортъ выходитъ интересный, и я пока не рѣшаюсь держать ни за кого...

(Продолженіе слѣдуетъ).

— Однимъ словомъ, Фредъ: я не дамъ, не одолжу и не достану тебѣ никакихъ денегъ. Прими это къ свѣдѣнію.

— О!—Фредъ налилъ себѣ еще водки съ водою.—Не хочешь, да? Такъ что-жъ ты скажешь, если я пушу въ трубу все твое цвѣтущее предпріятіе.

Христофоръ измѣнился въ лицѣ.

— Какъ ты думаешь, Христофоръ, не пойти-ли мнѣ сейчасъ съ визитомъ въ Пембриджъ-Кресцентъ и не упомянуть ли какъ бы случайно и самымъ натуральнымъ тономъ, что я только что былъ у тебя въ конторѣ, въ Канцелярскомъ переулкѣ, гдѣ ты ведешь свое дѣло?

— Фредъ... ты... ты... подлецъ и негодай!..

— „Какое дѣло?“—спросить невѣстка. „Какое дѣло?“ — спросить племянница. „Какое дѣло?“—спросить племянникъ. „Какъ?“—скажу я. „Развѣ вы не знаете—развѣ онъ вамъ не говорилъ? Такой прѣкрасный доходъ,—почти не уступающій барышамъ „братьевъ Барловъ“. Это—контора снабженія фальшивыми рѣчами“. Недурно отлить такую пулю въ семейномъ кругу?

— Фредъ, ты всегда былъ величайшимъ на свѣтѣ мерзавцемъ.

— Такъ я и сдѣлаю, милый братецъ. Болѣе того: схожу и къ Леонарду. Этотъ аристократическій молодчикъ, такъ много мнящій о своей семьѣ, будетъ въ восторгѣ, не правда-ли?

Не станемъ передавать дальнѣйшей бесѣды, которая стала чрезвычайно оживленной. Выплыли наружу воспоминанія прошлаго, давно забытаго и погребеннаго, и излагались съ комментаріями, полными ироніи, негодованія или презрѣнія. Слова употреблялись самыя крѣпкія. Мальчикъ въ прихожей бросилъ свой романъ и сталъ себя спрашивать, какъ поступилъ бы его герой, Джонъ Харкавей, при сходныхъ обстоятельствахъ. Дѣйствительно, прошедшее обоихъ братьевъ до странности напоминало романы приключеній съ поразительными эпизодами. Но вскорѣ (въ наше время уже нѣтъ Каиновъ и Авелей) разговоръ сталъ болѣе мирнымъ. Возникло какое-то соглашеніе.

— Ну, мнѣ все равно,—сказать, наконецъ, Фредъ,—лишь бы были деньги. Мнѣ нужно денегъ, и поскорѣе.

— Можешь обратиться къ Леонарду. Много онъ не дастъ, потому что у самого нѣтъ. Кажется, у него есть нѣсколько сотенъ въ годъ отъ матери. Онъ могъ бы занять подъ свою долю наслѣдства, да не таковъ мальчикъ.

— Попробую. Но, смотри, Христофоръ, если онъ откажетъ, я изъ тебя выжму. Понравится-ли тебѣ, если весь свѣтъ узнаетъ, чѣмъ ты живешь? А я готовъ рассказать и всему свѣту, если понадобится, клянусь!

— Я былъ большой дуракъ, что посвятилъ тебя въ тайну, Фредъ. Мнѣ бы слѣдовало знать по долголѣтнему опыту, на что ты способенъ ради собственной выгоды. Ты все тотъ же самоотверженный, милый, безкорыстный братъ,—все тотъ же.

Фредъ еще выпилъ и выкурилъ сигару. Затѣмъ онъ призвалъ на брата благословеніе со всею искренностью, подобающе такому благословенію, и удалился.

XIV.

С о в ѣ щ а н і е.

Въ исторіи отдѣльныхъ лицъ совпаденіе играетъ гораздо болѣе важную роль, чѣмъ осмѣливаются изображать беллетристы,—не то стеченіе обстоятельствъ, столь любезное стариннымъ драматургамъ, когда давно пропавшій графъ является какъ разъ кстати и во время: нѣтъ; въ жизни дѣйствительной такихъ совпаденій не бываетъ. Но когда умъ человѣка занятъ и даже поглощенъ однимъ предметомъ, когда онъ думаетъ лишь объ одномъ и почти ни о чемъ другомъ, то съ нимъ происходятъ всевозможныя случайности, являющіяся для него иллюстраціями его темы; вотъ что мы называемъ совпаденіемъ.

Напримѣръ: разъ я былъ занятъ воспроизведеніемъ нѣкоей сцены для романа въ давно забытомъ и мало разработанномъ историческомъ періодѣ. Сначала у меня вовсе не оказалось пособій; я не могъ добыть ровно ничего даже въ Британскомъ Музеѣ. Глубочайшее изученіе всѣхъ книгъ и памфлетовъ бібліотеки не могло бы помочь мнѣ. Я съ сожалѣніемъ собирался уже отказаться отъ своего предпріятія (чтобы не испортить всего романа), когда мнѣ попала въ связку неважныхъ каталоговъ. Она была получена съ вечерней почтой. Я просмотрѣлъ ихъ два или три, какъ вдругъ одна изъ строкъ приковала мое вниманіе. Это было только заглавіе одной брошюры; но оно обѣщало дать мнѣ тѣ самыя свѣдѣнія, въ которыхъ я нуждался. Обѣщаніе это исполнилось. Брошюра оказалась уже распроданной, но, по извѣстному мнѣ ея заглавію, я отыскалъ ее въ Британскомъ Музеѣ, и она сослужила мнѣ службу. Вотъ это я называю совпаденіемъ. И подобныя совпаденія постоянно случаются со всякимъ, кто о чемъ-либо пристально думаетъ.

Объ одномъ извѣстномъ нумизматѣ говорятъ, что онъ не можетъ пройти по вспаханному полю, чтобы не поднять нобля „à la rose“. Это происходитъ оттого, что его мысли постоянно заняты ноблями *à la rose* и другими восхитительными монетами. Кто изучаетъ восемнадцатое столѣтіе, тому каждый му-

зей, каждая картинная галлерей, каждый каталогъ даетъ новый матеріалъ. Человѣкъ, поглощенный какимъ-либо предметомъ, становится какъ-бы магнитомъ, притягивающимъ къ себѣ всевозможныя доказательства, иллюстраціи и свѣдѣнія.

Обо всемъ этомъ упомянуто лишь для поясненія, что то, повидимому, чудесное стеченіе обстоятельствъ, которое имѣло мѣсто въ данномъ случаѣ, не заключаетъ въ себѣ ничего исключительнаго или замѣчательнаго. Истиннымъ чудомъ тутъ является интересъ, которымъ прониклись къ исторіи газетныхъ вырѣзокъ оба ея читателя. Въ каждой группѣ положеній есть какое-нибудь центральное событіе. Въ данномъ случаѣ, центральнымъ событіемъ оказалась трагедія въ роцѣ.

— Это событіе касается меня, Леонардъ,—повторяла Констанція,—не менѣе, нежели васъ. Убить былъ мой прадѣдъ, хотя и вашего прадѣда погубило то же преступленіе. Позвольте мнѣ принять участіе въ вашихъ разслѣдованіяхъ.

— И вы тоже, Констанція?—Леонардъ замѣтилъ въ глазахъ ея нѣчто, напомнившее ему о его собственномъ поглощающемъ интересѣ къ дѣлу.

— И вы тоже?

— Возьмите назадъ книгу, Леонардъ.

— Вы прочли ее?

— Я прочла ее нѣсколько разъ. Я читала ее всю ночь.

— И вы... вы тоже... испытываете, какъ и я?...—Онъ не кончилъ фразы.

— Я испытываю, подобно вамъ, потребность идти до конца, а почему—сама не знаю. Не изъ состраданія, ибо возможно-ли сострадать человѣку, о которомъ только и знаешь, что онъ былъ молодъ, красивъ и несчастливъ, и что онъ былъ нашъ предокъ? Не изъ жажды мести: ибо можно-ли мстить за преступленіе, когда всѣ, кого оно касалось, давно умерли?

— Кромѣ того, кто пострадалъ наиболѣе.

— Кромѣ этого стараго-старога человѣка. Признаюсь, я этого не понимаю, но нельзя спорить противъ факта. Подобно вамъ, я чувствую, что меня точно веревками тянетъ къ этой темѣ.

— Что касается меня, то я ни о чемъ иномъ не въ состояніи думать. Я вполне во власти этого событія и облакающей его тайны. Разоблачимъ ее вмѣстѣ, если только возможно разоблачить ее.

Они сѣли рядомъ и начали вслухъ читать книгу, при чемъ каждый дѣлалъ примѣчанія. Потомъ они перечитали ее по частямъ и сравнили свои примѣчанія. Они вмѣстѣ сходили въ клубъ и тамъ пообѣдали, затѣмъ вернулись домой и не разставались весь вечеръ; наконецъ, они разошлись съ убѣж-

деніемъ, что сдѣлали все возможное и, хотя неохотно, должны отказаться отъ дальнѣйшихъ развѣдокъ.

На утро они свидѣлись вновь.

— Всю ночь я думала о слѣдствіи,—сказала Констанція.— Есть два или три пункта...

— Я думалъ о судѣ,—сказалъ Леонардъ.—У меня возникли кое-какія сомнѣнія...

— Давайте опять эту книгу.

Опять они ее вынули, опять положили на столъ, опять усѣлись другъ противъ друга, стали читать, разсуждать и совѣщаться,—и опять безо всякаго результата. Опять они спрятали книгу и рѣшили, что больше толковать не о чемъ.

— Завтра,—сказалъ Леонардъ,—я буду продолжать свою работу. А это—все равно, что бѣгать за блуждающимъ огонькомъ.

— Завтра,—сказала Констанція со вздохомъ.—Странно, что мы и вообще-то занялись этимъ дѣломъ. Предоставимъ мертвымъ погребать своихъ мертвецовъ. Это—старая исторія, и копать въ ней нечего. Отчего мы были такъ, глупы?

Не смотря на такія намѣренія, они продолжали свое безнадѣжное дѣло. День за днемъ они проводили вмѣстѣ, не говоря и не думая ни о чемъ иномъ. Снова и снова они соглашались, что тутъ дѣлать больше нечего; не разъ прятали книгу и запирали ее на ключъ, не разъ вынимали ее снова и читали, пока не выучили наизусть. Еще разъ они съѣздили въ Кампейнъ-Паркъ, посѣтили роковую рощу, обошли опустѣвшія комнаты дома, гдѣ жили ужасныя воспоминанія. Какъ можно было надѣяться на какое-либо открытіе послѣ столькихъ лѣтъ?

— Въ нашемъ распоряженіи,—говорилъ Леонардъ въ сотый разъ,—весь матеріалъ, какой можно собрать теперь: мы видѣли рощу и усадьбу, выслушали единственнаго живого современника, прочли судебный отчетъ. Если правду открыть невозможно, то зачѣмъ намъ къ этому стремиться? Кромѣ того, послѣ столькихъ лѣтъ ничего нельзя и открыть.

— Ничего, кромѣ руки, совершившей это.

Зачѣмъ-же они продолжали? Потому что не могли поступать иначе. Что-то ихъ къ этому принуждало. Какъ бы ни заговаривали они о другихъ предметахъ, ихъ мысли и рѣчи все возвращались къ тому же. Какъ всегда бываетъ, когда два человѣка заняты и поглощены однимъ и тѣмъ же дѣломъ, ихъ лица приняли одинаковое выраженіе: выраженіе людей ищущихъ и не находящихъ. Съ такими лицами алхимики ежедневно входили въ свои лабораторіи, надѣясь, вопреки очевидности, унывая каждый вечеръ, возвращаясь каждое утро. Но разница заключалась въ томъ, что алхимики знали чего искали, а эти двое отыскивали, сами не зная что

Въ тщетной надеждѣ развѣдать или услышать новое, они отправились вмѣстѣ къ двоюродной бабкѣ на Коммерческую. Она была очень польщена тѣмъ, что такая молодая особа признала ее своей родственницей, она ничего лучшаго и не желала, какъ толковать о своей семьѣ и ея бѣдствіяхъ. Но ея слова не бросили никакого новаго свѣта на таинственную исторію, такъ какъ она сама знала еще менѣе, чѣмъ ея посѣтители. Покинувъ ее, они вновь согласились, что глупо продолжать столь безнадежное предпріятіе, и опять рѣшили запереть книгу на замокъ. Однако, на другой же день они вынули ее опять и вновь склонили надъ нею свои головы.

— Сколько же времени это протянется?—спросила Констанція.

— Не знаю,—отвѣтилъ Леонардъ усталымъ голосомъ.— Что мы,—испорчены? околдованы?

— Неужели мы являемъ собою двухъ лицъ, не вѣрящихъ ни въ порчу, ни въ колдовство и, однако, испорченныхъ, не знаю кѣмъ или почему, или какъ? Но, если ужъ это не порча, тогда о чемъ же толкуется въ старыхъ басняхъ?

— Мы можемъ сдѣлать восковую куколку, назвать ее именемъ околдовавшаго злодѣя и пронзить ее булавками...

— Если бы мы знали имя злодѣя! Право, мы, кажется, ни о чемъ иномъ не можемъ ни говорить, ни думать. Если бы мы были суевѣрны...

— Если бы,—повторилъ онъ колеблясь,—мы были суевѣрны...

— То могли бы счесть это частью наслѣдственныхъ бѣдствій; но зачѣмъ же я должна дѣлить ваши печали?

Тутъ она покраснѣла, такъ какъ въ эту минуту вспомнила, что прежде, чѣмъ она слышала о печаляхъ, ей было предложено раздѣлить съ нимъ его благополучіе. Но Леонардъ ничего не замѣтилъ: занимавшая ихъ тема не оставляла мѣста для любовныхъ мыслей.

— Нѣтъ,—отвѣтилъ онъ серьезно,—вы не должны дѣлить нашихъ печалей, Констанція, я тоже спрашиваю себя ежедневно, доколѣ-же это протянется. Почему не могу я избавиться отъ сознанія, что меня противъ воли тянетъ къ разслѣдованіямъ, которыя должны быть безплодны?

— Да; и меня тоже тянетъ, но только вамъ во слѣдъ. Что это значить? Не болѣзненная ли это игра воображенія? Она примолкла. Леонардъ не отвѣчалъ.

— Какъ бы то ни было,—продолжала она,—надо примириться съ нашимъ положеніемъ: продолжать и посмотрѣть, что выйдетъ.

Леонардъ вздохнулъ.

— Представьте себѣ,—сказалъ онъ съ принужденной

улыбкой,—что намъ суждено такъ провести остатокъ нашихъ дней, совершенно подобно тому, какъ тотъ старикъ шагаетъ по своей террасѣ день за днемъ уже семьдесятъ лѣтъ. Что за ужасъ! Что за однообразіе! Какая жизнь!

— Печальная перспектива. Да, день за днемъ читать все ту же исторію, почти все равно, что ходить по террасѣ. Не правда ли?

— Оставимъ это, Констанція. Бросьте все и вернитесь къ вашимъ дѣламъ.

Онъ взялъ роковую тетрадь и бросилъ ее въ противоположный уголъ комнаты.

— Право, я бы сдѣлала это, если бы могла. Но эта штука гнететъ меня. Я понимаю, что значитъ быть одержимымъ. Я одержима. Я должна слѣдовать за вами.

— Констанція, мы становимся смѣшными. Мы—люди образованные и толкуемъ о порчѣ и о невидимой силѣ, которая влечетъ насъ...

— Но разъ ужъ насъ влечетъ...

— Да, разъ насъ влечетъ,—онъ прошелъ въ уголъ, поднялъ книгу и принесъ ее назадъ,—а это именно такъ, то приходится подчиниться.

Прошло уже три недѣли со времени начала ихъ трудовъ. Жизнь ихъ теперь имѣла лишь одну цѣль. Они раскапывали старыя бумаги въ Британскомъ Музеѣ, ходили по архивамъ, гдѣ въ конторкахъ, ящикахъ, шкафахъ перерывали документы, письма, бумаги и счета. Матеріала оказалось достаточно, чтобы возстановить ежедневную жизнь старика до трагедіи и исторію его предковъ: Получилась несложная лѣтопись мирной деревенской жизни безо всякихъ событій, кромѣ ожидаемыхъ: рожденія дѣтей, покупки земель, празднествъ.

Вы знаете, что когда Сизифъ скатывалъ свой шаръ—или это было колесо?—на вершину холма, то эта штука немедленно скатывалась обратно. Тогда несчастный со вздохомъ сходилъ вслѣдъ за нею, на столько медленно, на сколько было совмѣстимо съ видомъ повинновенія, и начиналъ сызнова. Такъ и Леонардъ со вздохомъ начиналъ сызнова, когда гипотеза рушилась за гипотезой.

Въ это время начались совпаденія. Леонардъ и Констанція сидѣли разъ утромъ и бесѣдовали.

— Если бы только,—говорилъ Леонардъ,—мы могли допросить Дуннинга объ этомъ дѣлѣ. Онъ для насъ оказался бы даже интереснѣе бывшаго мальчика, пугавшаго птицъ.

— Онъ, вѣроятно, давно уже умеръ. Конечно, если бы его отыскать...

Въ эту минуту (я уже объяснилъ, что ни въ какомъ сов-

падeніи нѣтъ ничего замѣчательнаго) слуга Леонарда отворилъ дверь и подалъ объемистое письмо. Марка на немъ была австралійская. Леонардъ беззаботно взглянулъ на адресъ, бросилъ письмо на столъ, чтобы прочесть на досугѣ. Оно лежало адресомъ внизъ, а на сторонѣ заклейки Констанція разобрала слова: „Джона Дуннинга Сыновья“.

— „Джона Дуннинга Сыновья“,— сказала она.—Странно!— Она взяла письмо и указала на надпись.—Распечатайте, Леонардъ, и прочтите. Вѣдь это — нѣчто чудесное! Распечатайте сейчасъ!

Леонардъ разорвалъ конвертъ. Въ немъ оказалось письмо съ какимъ-то вложеніемъ. Онъ быстро пробѣжалъ то и другое.

— Господи Боже!—воскликнулъ онъ.—Это, воистину, то, чего я желалъ: это—свидѣтельство, котораго намъ не хватало. Человѣкъ говоритъ съ нами изъ могилы.

Онъ прочелъ вслухъ и письмо, и вложеніе. Письмо было таково:

„Милостивый Государь,

„Я только вчера нашелъ прилагаемую бумагу, хотя она была написана десять лѣтъ назадъ, и мой дѣдъ, написавши ее, вскорѣ умеръ. Не буду распространяться о причинахъ, по которымъ она такъ долго могла оставаться намъ неизвѣстною, а спѣшу отправить ее къ вамъ, сообразно желанію писавшаго.

„Обстоятельства, которыхъ она касается, миновали тому уже семьдесятъ лѣтъ. Несомнѣнно, всѣ, кто помнитъ эти событія, давно уже скончались. Я даже не предполагаю, чтобы вамъ былъ извѣстенъ тотъ существенно важный для моего дѣда фактъ, что его оправданіе было дѣломъ вашего прадѣда, тогдашняго владѣльца Кампейнъ-Парка, а также, чтобы до васъ дошли слухи о той добротѣ, сострадательности и стремленіи къ справедливости, которыя его къ тому побудили, равно какъ о великодушіи, сдѣлавшемъ возможнымъ для дѣда переселеніе въ Австралію. Послѣдній началъ жизнь свою земледѣльцемъ-батракомъ въ Англіи; въ этой скромной долѣ онъ провелъ бы и остатокъ дней своихъ, если бы не великое его несчастье, обвиненіе въ убійствѣ, которое повело къ его счастью: онъ пріѣхалъ сюда и умеръ богачемъ, такъ какъ все, чего онъ касался, превращалось въ золото.

„Бумага, которую я посылаю, докажетъ вамъ, что на свѣтѣ еще есть благодарность. Изъ опубликованныхъ свѣдѣній о членахъ парламента и ихъ происхожденіи, я заключаю, что главою семьи теперь являетесь вы. Принимая въ соображеніе ваши отличія въ Оксфордскомъ университетѣ, вашу принадлежность къ нѣсколькимъ клубамъ и ваше положеніе въ парламентѣ, я не думаю, чтобы мы имѣли возможность

исполнить желаніе дѣда примѣнительно къ вамъ лично. Тѣмъ не менѣе, можетъ случиться, что въ нашей сторонѣ оцутятся менѣе счастливые члены вѣшаго дома. Въ этомъ случаѣ, будьте добры увѣдомить таковыхъ вашихъ родственниковъ, что наша семья богата земными благами, что она всѣмъ обязана великодушію вашего предка, что завѣты дѣда для насъ священны, и что все могущее потребоваться для любого члена вашей семьи, мы всегда исполнимъ съ радостью.

Имѣю честь быть, милостивый государь, съ почтеніемъ
Чарльзъ Дуннингъ“.

— Очень была бы рада познакомиться съ г-номъ Чарльзомъ Дуннингомъ,—сказала Констанція.—Ну, что-то писать его дѣдушка!

Леонардъ развернулъ другой листъ и прочелъ:

„Доживая восемьдесятъ шестой годъ моей жизни и полагая, что скоро буду отозванъ, я желаю оставить письменное изложеніе (которое по смерти моей должно быть отослано главѣ семьи Кампейнъевъ) моей благодарности и сердечной признательности за то, что сдѣлалъ для меня покойный баринъ во время и послѣ суда надо мною за убійство. Я обязываю моихъ дѣтей и внуковъ отдать, если придется, послѣднюю копейку ради блага потомковъ этого добраго человѣка. Я думаю, что онъ умеръ и въ моихъ молитвахъ не нуждается. Могу только надѣяться, что онъ скоро оправился отъ горя по смерти жены и потомъ жилъ долго и счастливо.

„Ужасное дѣло — быть обвиняемымъ въ убійствѣ. Всю жизнь мнѣ были памятны обвиненіе и судъ. По окончаніи дѣла, наши сельчане стали суровы до жестокости. Каждый день меня попрекали обвиненіемъ; никто не хотѣлъ ни работать со мною, ни даже сидѣть рядомъ. Поэтому пришлось выселиться. Если остался еще въ живыхъ кто-либо изъ помнящихъ это дѣло и меня, то прошу его прочесть и обдумать два соображенія, которыя пришли въ голову уже послѣ суда“.

— По истинѣ, это голосъ изъ могилы,—сказала Констанція потихоньку.

„Во-первыхъ: у меня были свидѣтели, которые могли бы доказать, что все то утро, вплоть до полудня, я работалъ въ другомъ мѣстѣ; но обвиненіе такъ меня ошеломило, что я о нихъ забылъ.

„Второе соображеніе важнѣе. Лѣсная тропинка кончается у перекрестка, откуда илеть дорога въ село Хайбичъ. По дорогѣ есть избушка, прямо противъ перекрестка. Въ утро убійства, передъ этою избушкою женщина мыла бѣлье. Послѣ суда она сказала мнѣ, что съ ея стороны ни одна душа не

входила въ рощу; другой стороны она не видѣла, но замѣтила, какъ я сошелъ съ холма въ рощу и какъ высочилъ оттуда и бросился къ фермѣ не болѣе чѣмъ черезъ полминуты. Надѣюсь, что, если въ чемъ-либо умѣ осталось хоть малѣйшее сомнѣніе касательно моей невинности, то этого новаго свидѣтельства будетъ достаточно, чтобы подтвердить ее“.

На бумагѣ была надпись: „Джонъ Дуннингъ“.

— Нѣтъ никакого сомнѣнія,—сказала Констанція.—Но какое значеніе можетъ для насъ имѣть свидѣтельство этой женщины изъ избушки? Какъ вы думаете, сказалъ ли намъ загробный голосъ что-либо новое?

— Это мы сейчасъ обсудимъ. Вѣдь ему только и нужно было, что обфлить себя. На мой взглядъ, судъ сдѣлалъ это въ достаточной степени; но онъ, конечно, хватался за всякое подтвержденіе. Онъ доказываетъ, что никто не входилъ въ рощу съ того конца. Въ связи со свидѣтельствомъ мальчика, это, очевидно, означаетъ, что въ то утро вовсе никто не входилъ въ лѣсъ, кромѣ только тѣхъ двухъ господъ.

— Такъ намъ приходится вернуться къ гипотезѣ притаившагося въ рощѣ браконьера, помѣшаннаго или личнаго врага?

— Мы хотѣли слышать голосъ изъ могилы и услышали: его,—сказалъ Леонардъ;—но, повидимому, онъ ничего не выяснилъ намъ.

Онъ вложилъ бумагу въ книгу, а письмо оставилъ на столѣ.

Они печально взглянули другъ на друга. Потомъ Леонардъ всталъ и началъ ходить по комнатѣ. Наконецъ, онъ остановился у камина и заговорилъ медленно, точно нащупывая путь:

— Считаю, со своей стороны, естественнымъ видѣть связь между этимъ преступленіемъ и важнымъ вопросомъ о наслѣдственности наказанія или послѣдствій.

— Это вполне естественно,—сказала Констанція,—а между тѣмъ...

— Мои мать и бабушка, на сколько я теперь понимаю, вѣрили, что бѣдствія, такъ тщательно скрытыя ими отъ меня, были грѣховнымъ наслѣдіемъ предковъ. А такъ какъ эти бѣдствія начались съ того преступленія, то имъ было естественно приписать причину предку, умершему передъ тѣмъ. Но все, что я могъ узнать объ этомъ предкѣ, заключается лишь въ томъ, что онъ былъ помѣщикомъ, мировымъ судьей, членомъ парламента, и не оставилъ по себѣ памяти о какихъ-либо необычныхъ дѣяніяхъ. Между тѣмъ, чтобы навлечь на своихъ потомковъ подобный рядъ несчастій, нужно быть по меньшей мѣрѣ Жилемъ де-Рецъ.

— Я не знакома съ этимъ господиномъ.

— Онъ былъ великимъ мастеромъ во всякихъ работяхъ. Но вернемся къ нашимъ несчастіямъ. Мой прадѣдъ, вы знаете... Дѣдъ мой умеръ отъ собственной руки; братъ его утонулъ въ морѣ; сестра была несчастлива всю жизнь; его сынъ, мой отецъ умеръ молодымъ; мой дядя Фредерикъ покинулъ родину подъ страхомъ безчестья, что мы теперь предаемъ забвенію ради его возвращенія. Перечень бѣдствій достаточно длиненъ. Но мы не видимъ никакой причины, которою бы они объяснялись даже для людей суевѣрныхъ, за исключеніемъ лишь наслѣдственности.

— Зачѣмъ намъ стараться выяснять причину? Она вѣдь заключается не въ васъ.

— Я стараюсь потому, что она является частью всего остального. Я не могу ни порвать цѣпь бѣдствій, ни забыть о нихъ.

— Ахъ! Если бы вы могли, Леонардъ! Вѣдь это такъ давно прошло, и васъ еще не постигало никакое бѣдствіе. Вспомните, что я когда-то говорила въ этой самой комнатѣ!

— Постигшее меня бѣдствіе состоитъ въ томъ, что я узналъ о всѣхъ тѣхъ бѣдствіяхъ, о гибели всѣхъ тѣхъ жизней. Прежнее эгоистическое самодовольство пропало. Я жилъ для себя. Отнынѣ это невозможно. Ну,—онъ отряхнулъ точно собака, переплывшая рѣчку,—теперь я таковъ, какъ вы желали: я подобенъ прочимъ людямъ.

Онъ опять погрузился въ молчаніе.

— Противъ воли я связываю всѣ несчастія съ этимъ первымъ и величайшимъ,—сказалъ онъ вскорѣ.—Не могу только рѣшить, надо ли ихъ считать слѣдствіемъ, или наказаніемъ.

— Развѣ непременно однимъ изъ двухъ?

— Дѣти должны страдать за грѣхи отцовъ. Это несомнѣнно. Если отецъ расточаетъ свое имущество, то сынъ дѣлается нищимъ. Если отецъ теряетъ свое общественное положеніе, то его лишается и сынъ. Если отецъ заболѣваетъ, то можетъ передать свою болѣзнь и сыну. Все это очевидно и безспорно.

— Но это же—не наказаніе цѣлыхъ невинныхъ поколѣній?

— Это—не наказаніе, а послѣдствіе. Не слѣдуетъ смѣшивать одно съ другимъ. Возьмемъ любое преступленіе. Тѣло и духъ такъ тѣсно связаны вмѣстѣ, что жизнь души отражается на лицѣ. Преступникъ есть человѣкъ больной. Тѣло и духъ его въ такой же тѣсной связи. Его мысли, дѣйствія, побужденія,—все ненормально. Онъ окутанъ мiasмами, какъ болотистый лугъ осеннимъ утромъ. Дѣти могутъ унаслѣдовать болѣзнь преступности точно такъ, какъ чахотку или подагру. Я хочу сказать, что они рождаются съ пред-

расположеніемъ къ преступленію, какъ могутъ родиться съ предрасположеніемъ къ чахоткѣ или подагрѣ. Повторяю: это—не наказаніе. Это—послѣдствіе. Къ такимъ дѣтямъ всегда открытъ доступъ всякому злу.

— Такъ какъ всѣмъ людямъ свойственны слабости и ошибки, то, значить, ко всѣмъ дѣтямъ имѣеть доступъ зло.

— По моему, такъ. Но сынъ человѣка съ безупречной репутаціей, со слабостями и ошибками легкими и простибельными, менѣе доступенъ злу, нежели сынъ закоренѣлаго преступника. Сынъ преступника естественно стремится ко злу, такъ какъ этотъ путь кажется ему легчайшимъ. Это—не болѣе какъ послѣдствіе. Что же касается нашихъ горестей, то, можетъ быть, и онѣ составляютъ послѣдствіе, а не наказаніе... Но мы не знаемъ... Не можемъ узнать ни преступленія, ни преступника.

XV.

„Братья Барловъ“.

„Теорія послѣдствій“,—Леонардъ для большей ясности излагалъ свои мысли на бумагѣ,—„разрѣшая большинство вопросовъ о наслѣдственныхъ болѣзняхъ, имѣеть, надо сознаться, свои изъяны. Возьмемъ, напримѣръ, случай тщательнаго воспитанія мальчика, не видящаго дурныхъ примѣровъ, не выдающаго порочныхъ наклонностей и ничего не знающаго о семейныхъ несчастіяхъ. Если изъ этого мальчика выйдетъ расточитель и кутила или нѣчто еще худшее, между тѣмъ какъ въ семьѣ ничего подобнаго не бывало, то какъ можемъ мы объяснять его поведеніе проступками или пороками дѣдовъ, совершенно на него непохожихъ и ему неизвѣстныхъ? Я скорѣе согласенъ видѣть здѣсь недоступныя изслѣдованію вліянія прошлаго со стороны материнской семьи. Человѣкъ можетъ быть такъ похожъ ни на одного члена своего рода, что приходится искать для него прототиповъ въ генеалогіи его матери или бабки“.

Онъ какъ разъ думалъ о своемъ дядѣ, возвратившемся изъ колоній, который, кромѣ виднаго роста и красиваго лица, ничѣмъ не напоминалъ своихъ родныхъ съ отцовской стороны. Каждый разъ, какъ онъ думалъ объ этомъ веселомъ субъектѣ, смотрѣвшемъ на жизнь, какъ на забавную пьесу, въ его умѣ возникали сомнѣнія, и по спинѣ пробѣгали морозы. Тотъ вернулся богатымъ: это уже не мало. Онъ могъ бы вернуться такимъ-же бѣднякомъ, какимъ и уѣхалъ. Но и въ богатствѣ, и въ бѣдности онъ остался-бы все тѣмъ-же:

такимъ-же легкомысленнымъ, шумнымъ и невозможнымъ для порядочнаго общества.

Между тѣмъ, въ ту самую минуту, какъ излагались эти мысли, составлявшія часть большой Леонардовой статьи о послѣдствіяхъ зла—статьи, надѣлавшей въ прошломъ мѣсяцѣ столько шуму, что цѣлый вечеръ никто ни о чемъ иномъ и не толковалъ,—богатый австраліецъ принужденъ былъ сознаться, что дѣла обстояли не совсѣмъ такъ, какъ ему угодно было ихъ представить.

Онъ сознался въ правдѣ или, по крайней мѣрѣ, въ той ея долѣ, акую счелъ возможнымъ высказать, но такъ легкомысленно и простодушно, какъ будто это и не имѣло большого значенія. Онъ придерживался философіи, ничему не придававшей большого значенія. Онъ явился, поздоровался, шумно засмѣялся, взялъ изъ Леонардова ящика сигару, позвонилъ, чтобы подали виски съ содовой водою, а когда явились виски и вода и были помѣщены въ его сосѣдствѣ, то сѣлъ и снова засмѣялся.

— Душа моя,—сказалъ онъ,—я опять въ тискахъ.

— Какимъ образомъ?

— Какъ? Да отъ безденежья. Это единственные тиски, возможные въ моемъ возрастѣ. Въ твои лѣта они многочисленнѣе. Конечно, это только временное затрудненіе.

Онъ откупорилъ содовую воду и залпомъ выпилъ полный стаканъ.

— Временное. Пока не придутъ подкрѣпленія.

— Подкрѣпленія? — Леонардъ задалъ этотъ вопросъ коварнымъ, холоднымъ, подозрительнымъ тономъ, который смѣнилъ-бы улыбки на печаль на всякомъ болѣе чувствительномъ лицѣ. Но дядя Фредъ никакъ не могъ назваться чувствительнымъ или тонкокожимъ; сверхъ того, онъ имѣлъ столь сильную привычку ко временному безденежью, что совершенно не понималъ его несовмѣстимости съ претензіями на богатство.

— Подкрѣпленія?

— Ну да, подкрѣпленія изъ Австраліи.

— Я считалъ васъ пайщикомъ въ обширномъ и выгодномъ дѣлѣ.

— Вѣрно, совершенно вѣрно. Фирма „братьевъ Барловъ“ дѣлаетъ большіе и выгодные обороты.

— Въ такомъ случаѣ, вамъ легко достать денегъ въ вашемъ банкѣ или у его агентовъ, или у знакомыхъ купцовъ въ Сити. Вы, кажется, бываете въ Сити каждый день? Ваше положеніе должно быть тамъ извѣстно. Другими словами, я не вѣрю въ это временное безденежье.

— Не вѣришь? Ты? Ну, право, Леонардъ...

— Я сопоставляю то, что вижу. Я не замѣчаю въ васъ ни одной черты, свойственной солидному торговцу. Я знаю, что вездѣ существеннымъ условіемъ для коммерческихъ успѣховъ является репутація...

— Репутація? Да чѣмъ-же бы я былъ безъ хорошей репутаціи?

— Вы возвращаетесь на родину въ роли преуспѣвшаго купца, а между тѣмъ пьете, болтаете, какъ распутный молодецъ, кутиащій въ городѣ, рассказываете скандальные анекдоты, выказываете низкіе вкусы. Таково впечатлѣніе наблюдателя.

— Теперь я на каникулахъ. Здѣсь—совсѣмъ другое дѣло. Что касается напитковъ, то, разумѣется, такой климатъ, какъ въ Новомъ Южномъ Уэльсѣ и здѣсь, развиваетъ жажду, и приходится пить. Что касается меня, то я еще удивляюсь собственной умѣренности.

— Очень хорошо. Не стану въ это вникать, но повторяю, что если вы въ затрудненіи, то тѣ, кому извѣстна ваша состоятельность, охотно помогутъ вамъ. Надѣюсь, что ко мнѣ вы пришли не ради займа, потому что...

Тотъ засмѣялся.—Нѣтъ, нѣтъ. Къ тебѣ никто не поидетъ занимать, Леонардъ. Это ужъ вѣрно. Изъ тебя ни одинъ выжига ничего не выжметъ. Что-же касается знакомыхъ купцовъ въ Сити, то я ужъ знаю, почему къ нимъ не обращаюсь. Нѣтъ; я здѣсь затѣмъ, что хочу обратиться къ моей семьѣ.

— Семья состоитъ изъ вашего брата, который, пожалуй, въ состояніи помочь вамъ...

— Я у него былъ. Онъ не хочетъ. Христофоръ всегда былъ эгоистичною скотиною. Онъ хорошъ, какъ товарищъ для кутежей и всего подобнаго, но эгоистиченъ, чертовски эгоистиченъ.

— Вашей тетки Люси...

— Я ея не знаю. Кто она такая?

— Она не можетъ помочь вамъ.

— Ты забываешь о главѣ семьи, о моемъ старомъ дѣдѣ. Я ѣду къ нему.

— И ничего отъ него не добьетесь, даже ни одного слова.

— Знаю. Я уже ѣздилъ и видѣлъ его. Я побывалъ также у его повѣренныхъ.

— И отъ нихъ ничего не добьетесь безъ разрѣшенія ихъ довѣрителя.

— Да. Но тебѣ семейныя дѣла, разумѣется, извѣстны. Думаю, что одного слова разрѣшенія или совѣта съ твоей стороны достаточно, чтобы они выдали мнѣ впередъ нѣсколько тысячъ или сотенъ изъ той громадной кучи...

— Я не имѣю права ни разрѣшать, ни совѣтовать. Мнѣ ничего неизвѣстно о дѣлахъ моего прадѣда.

— Скажи мнѣ, милый мальчикъ, сколько тамъ накопилось? Мы говорили объ этомъ на дняхъ.

— Я ничего не знаю.

— Разумѣется, разумѣется. Я не намѣренъ выпрашивать. Все существенное достанется тебѣ, безъ сомнѣнія. Я не возражаю противъ этого. Я не хочу мѣшать тебѣ. Только не считаешь ли ты возможнымъ сѣздить къ этимъ... повѣреннымъ тамъ, или нотаріусамъ, и объяснить имъ, что мнѣ, какъ члену семьи, слѣдовало-бы дать въ счетъ будущаго, скажемъ, тысячу фунтовъ?

— Я заранѣе увѣренъ, что они ничего подобнаго не сдѣлаютъ.

— Ты много дѣловитѣе, чѣмъ я думалъ, душа моя. За это я тебя уважаю. Никому не хочешь уступить ни кусочка изъ своего пирожка и хранишь такой чертовски торжественный видъ!

— Говорю вамъ, что ничего не знаю.

— Ну да, ну да! Ты ничего не знаешь. Я сдѣлать приблизительный подсчетъ—ну, да все равно. Оставимъ капиталъ въ покоѣ. Превосходно, я не буду его касаться. Но пока что, мнѣ нужны деньги. Достань мнѣ у этихъ повѣренныхъ хоть тыщенку.

— Ничего не могу для васъ достать. Что же касается моихъ личныхъ средствъ, то у меня и всего-то не наберется на тысячу фунтовъ. Вы забываете, что въ моемъ распоряженіи только небольшое имущество матери, дающее нѣсколько сотенъ въ годъ. Я ничего не могу ссудить вамъ.

Тотъ засмѣялся, наслаждаясь этою сценою.

— Восхитительно!—сказалъ онъ.—Вѣдь я же сказалъ, что не занимать пришелъ. Вотъ что значить быть англійскимъ свѣтскимъ кавалеромъ. Ну, все равно; я учту твоихъ векселей на шесть мѣсяцевъ. Идетъ? Задолго ранѣе срока я опять ужъ буду при деньгахъ.

— Нѣтъ, и векселей моихъ вы не учтете,—возразилъ Леонардъ, смутно представляя себѣ сущность предлагаемой операціи.—Вы сказали мнѣ, будто вы богаты.

— Тотъ всегда богатъ, кто состоитъ компаньономъ въ хорошо идущемъ дѣлѣ...

— Такъ какъ же вы попали въ такое затрудненіе?

— Видишь-ли: мой товарищъ тамъ подурачился. Фирма „братевъ Барловъ“ вылетитъ въ трубу, если я не добуду нѣсколькихъ сотенъ.

— Ваше хорошо идущее дѣло проваливается. А вы что будете дѣлать?

— Ты пойми, чего мнѣ нужно. Магазинъ „Барловъ“ торгуетъ въ быстро растущемъ городѣ. Перспективы у насъ блестящія. Я пріѣхалъ сюда, чтобы преобразовать эту фирму въ акціонерную компанію съ капиталомъ въ 150000. Отдѣленія повсюду. Собственные сахарные заводы, чайныя и кофейныя плантаціи. Вотъ какова была моя идея.

— Смѣлая идея, во всякомъ случаѣ.

— Конечно. Что же касается нашего магазина, то скажу тебѣ между нами, такъ какъ ты не принадлежишь къ торговому міру, что это—не болѣе, какъ лачужка, гдѣ я продавалъ сардинки, чай и свиное сало. Но перспективы, милый мой,—перспективы!...

— И съ этимъ проектомъ вы явились въ Лондонъ! Ну, здѣсь бывали и худшія мошенничества.

Дядя Фредъ выпилъ еще стаканъ виски съ содовой водой; но уже больше не смѣялся, а даже вздохнулъ.

— Я считалъ Лондонъ городомъ предприимчивымъ, а выходитъ-то не то. Ни одинъ предприниматель даже не смотритъ на мою компанію. Я самъ хотѣлъ участвовать въ ней на 40000 фунтовъ. Повѣришь ли, Леонардъ: они даже и не слушаютъ. Нѣсколько сотенъ спасли бы насъ, нѣсколько тысячъ обезпечили бы грандіозный успѣхъ. За отсутствіемъ же ихъ приходится погибать.

— Вы рассчитывали продать разоренное дѣло за цвѣтущее.

— Именно такъ; но не выгорѣло.

— Что-жъ теперь будете дѣлать?

— Придется начинать сначала. Вотъ и все.

— О!—Леонардъ посмотрѣлъ на него недовѣрчиво, такъ какъ онъ вовсе не казался подавленнымъ.—Значить, вы вернетесь въ Австралію.

Эта мысль показалась ему утѣшительной.

— Я вернусь. Я въ Лондонѣ чужой. Я вернусь и начну сначала, какъ и прежде, съ самаго дна. Придется жить случайной работой. Могу стать пастухомъ, ночнымъ сторожемъ, или человѣкомъ рекламы. Не все ли равно? Я только буду среди людей, которымъ уже некуда спуститься ниже. Въ этой средѣ господствуетъ прекрасное чувство братства, котораго вы, франты, даже не въ состояніи понять.

— У васъ уже совсѣмъ не осталось денегъ?

— Совсѣмъ. Только то, что у меня съ собою: нѣсколько фунтовъ.

— Значить, все показное богатство было только декорацией?

— Только декорацией и ни къ чему не привело. Въ городѣ никто и слышать не хотѣлъ о моей компаніи.

— Не лучше ли бы вамъ заняться какой-нибудь определенной работой? Вы, вѣроятно, умѣете что-нибудь дѣлать. При вашей опытности вы могли бы писать въ газетахъ?

— Писать въ газетахъ? Ужъ лучше пойду бродяжить, что гораздо занимательнѣе. Дѣлать чтонибудь? Что же мнѣ дѣлать? На всемъ земномъ шарѣ нѣтъ человѣка безпомощнѣе купца, обанкротившагося въ 45 лѣтъ. Онъ слишкомъ уменъ, чтобы годиться для службы себѣ подобнымъ. Ему суждено спуститься въ самый низъ и тамъ остаться. Ничего. Я мастеръ на всѣ руки. Если бы я остался здѣсь, то сталъ бы человѣкомъ рекламы. Какъ бы тебѣ это понравилась? Даже мой старый дѣдушка вернулся бы къ жизни дѣйствительной, хотя бы для того только, чтобы лопнуть съ досады, если бы встрѣтилъ своего внука, разгуливающего по Регентовой улицѣ между двумя досками. Тебѣ и самому не понравилось бы. Не такъ ли? Пріѣзжай на будущій годъ въ Сидней и полюбуешься этимъ зрѣлищемъ или чѣмъ-нибудь въ томъ же родѣ.

— Такъ вы ѣдете на вѣрную нищету?

— На нищету? На вѣрную нищету?—Колонистъ весело разсмѣялся.—Племянничекъ, у тебя очень узкіе взгляды, хоть ты и ученый, и членъ парламента. Ты считаешь за нищету отсутствіе фрака съ цилиндромъ и ношеніе рабочей блузы съ фуражкой. Богъ съ тобою, мой милый! Это—еще не нищета. Настоящая нищета, это—холодъ и голодъ. Въ Австраліи никому не холодно и очень немногимъ—голодно. Даже въ худшіе моменты моей жизни ѣды у меня бывало вволю, и хотя часто въ карманѣ не оставалось ни шиллинга, но во всю свою жизнь я не чувствовалъ себя несчастнымъ или пристыженнымъ.

— А какова среда?

— Среда? Да тамъ лучшіе въ мірѣ товарищи. Нищета? Да ее и не почувствуешь съ тамошними парнями, особенно съ молодыми. И пойми: возбуждающій трудъ, жизнь день за днемъ. Теперь, прежде чѣмъ я вернусь, наша лавка будетъ уже продана, а компаньонъ начнетъ промышлять чѣмъ-нибудь инымъ; стариковъ вѣдь всегда вытѣсняють при первой возможности. Что жъ я буду дѣлать? Стану газетчикомъ, мелочнымъ разносчикомъ.

— А потомъ?

— Никакихъ „потомъ“ не бываетъ, пока не попадешь въ больницу,—дѣйствительно, пріятное мѣсто, а оттуда—въ черныя ящики. Такъ жилъ я прежде, буду жить и впредь.

Онъ еще налилъ виски съ содовой и выпилъ.—Жаждя быстро одолѣваетъ, какъ идешь по дорогѣ на солнцѣ—раскаленномъ, палящемъ солнцѣ,—не чета вашей красной

сковородкѣ, что вѣчно прячется за облаками. Гдѣ остано-
вишься, тамъ и дадутъ выпить. Потомъ разложишь товаръ.
Языкъ у меня вертится, какъ только что смазанное ко-
лесо. А гдѣ ночуешь, тамъ по дорогамъ парни и пѣсни,
и рассказы... Къ чорту респектабельность!

Онъ разсмѣялся опять, надѣлъ шляпу и выскочилъ изъ
комнаты, хохоча, какъ надъ самою забавною шуткою, надъ
тѣмъ, что пріѣхалъ на родину бариномъ, а уѣзжаетъ бродягою.

XVI.

Еще гость.

Почти тотчасъ послѣ ухода колоніальнаго негоціанта,
оптоваго торговца сардинками и чаемъ, явился еще гость.
Они чуть не столкнулись на лѣстницѣ.

Это былъ ни кто другой, какъ ученый юристъ, гордость и
опора семьи, извѣстный адвокатъ, г. Христофоръ Кампейнъ.

— Великій Боже! — воскликнулъ Леонардъ. — Что это съ
нимъ?

Его дядя, истомленный, разбитый, безмолвно опустился
на стулъ, гдѣ и остался. Руки его свѣсались, на лицѣ чита-
лись ужасъ и забота.

— Милый дядя Христофоръ, что же случилось?

— Самое худшее! — простоналъ тотъ. — Самое худшее.
Случилось нѣчто невозможное, единственное, чего я остере-
гался, то самое, чего я боялся. Охъ, Леонардъ, какъ мнѣ
сказать тебѣ?

Слѣдуйте за мною въ то помѣщеніе, гдѣ ораторскихъ
дѣлъ мастеръ стряпалъ, точно въ лабораторіи, свои эффект-
ныя, то смѣхъ, то слезы вызывающія фразы. Было утро, са-
мый полдень. Онъ былъ занятъ однимъ изъ самыхъ увлека-
тельныхъ дѣлъ своей пріятной профессіи: составленіемъ рѣчи
при подношеніи. Передъ нимъ, въ его воображеніи, стоялъ
кубокъ, рядомъ съ нимъ — чествуемый, а далѣе — полный
залъ симпатизирующихъ подносителей. Подобная рѣчь со-
стоитъ изъ перечня и восхваленія заслугъ. Она должна быть
украшена стихотворными цитатами; чѣмъ послѣднія обще-
извѣстнѣе, тѣмъ сильнѣе получится эффектъ. Ораторъ дол-
женъ привести хоть одинъ смѣшной анекдотъ; онъ долженъ
также сумѣть намекнуть, безъ нахальства, а со скромностью,
на свое личное значеніе, превосходящее, пожалуй, значеніе
чествуемаго: онъ не долженъ пресмыкаться передъ его ве-
личіемъ.

Профессиональный составитель рѣчей все это понимаетъ

и зналъ до тонкости. Онъ былъ совершенно поглощенъ работою, такъ что не обратилъ вниманія ни на шаги въ передней, ни на сердитый голосъ въ первой комнатѣ, гдѣ сидѣлъ всего лишь мальчикъ, который ничего не дѣлалъ, если не считать за исполненіе обязанности чтеніе приключеній Джака Харковea.

— Пропустите-ка!—кричалъ съ бѣшенствомъ тотъ же голосъ.—Ужъ я доберусь до него!

Писавшій поднималъ голову съ удивленіемъ. Слышна была какая-то возня; наконецъ, дверь его комнаты распахнулась и влетѣлъ совсѣмъ маленькій молодой человѣкъ, весь красный, сверкая глазами и махая палкою. Ораторъ вскочилъ на ноги и схватилъ линейку. Съ этимъ грознымъ оружіемъ въ рукѣ онъ выпрямился надъ столомъ во весь свой шести-футовый ростъ и съ холоднымъ спокойствіемъ посмотрѣлъ на ворвавшагося.

Не слѣдуетъ осуждать нападавшаго; несомнѣнно, мужество его было велико и испытанно, но ростъ не превышалъ пяти футовъ и пяти дюймовъ. Увидавъ это спокойное, просительное лицо, не выражавшее ни страха, ни раскаянія, онъ опустилъ взоръ. Горячность и бѣшенство сразу исчезли. Можетъ быть, еще онъ не успѣлъ развить своихъ силъ суровыми упражненіями. Онъ опустилъ палку и остановился въ нерѣшимости.

— Ахъ! — спокойно сказалъ его противникъ, — такъ вы раздумали пользоваться палкою? Какъ бы не пришлось получить сдачи хлыстомъ? Не такъ ли? Ну, сударь,—онъ такъ страшно застучалъ по столу линейкою, что маленькій человѣчекъ весь задрожалъ, — что же вамъ угодно? Зачѣмъ вы сюда являетесь съ такимъ адскимъ скандаломъ? Чего...

Тутъ онъ оскѣся, потому что къ своей невыразимой досадѣ замѣтилъ на порогѣ своего родного сына, Олджернона, лицо котораго далеко не представляло пріятнаго зрѣлища, будучи искажено стыдомъ, изумленіемъ и смущеніемъ: стыдомъ, потому что онъ сразу понялъ, что вся жизнь его отца была одною сплошною ложью и что именно этимъ, а не инымъ путемъ добывалось семейное благосостояніе. Развѣ его пріятель, идя сюда, не говорилъ ему, что этотъ Кредитонъ извѣстенъ въ нѣкоторыхъ кружкахъ, какъ поставщикъ хорошихъ застольныхъ рѣчей за хорошую плату; что шопотомъ толкуютъ, будто на тѣхъ рѣдкихъ вечерахъ, гдѣ лились живыя, горячія и остроумныя рѣчи — онѣ всѣ были доставлены Кредитономъ; и что за собственную рѣчь, которая навлекла на него столько позора, онъ заплатилъ двадцать гиней? Итакъ, онъ понялъ все безъ словъ, почему и стоялъ, разинувъ ротъ, не имѣя силъ произнести ни слова.

Отецъ пришелъ въ себя первый. Онъ продолжалъ, какъ будто сына и не было:

— Кто вы такой, сударь, спрашиваю васъ, чтобы являться въ мою спокойную контору съ такимъ скандальнымъ шумомъ? Если вы мнѣ не отвѣтите сію же минуту, то я возьму васъ за шиворотъ и спущу черезъ перила.

— Я..... я заказалъ вамъ рѣчь....

— Какую рѣчь? На чье имя? Какого содержанія?

Клиентъ, сначала ослѣпленный чрезмѣрностью своего гнѣва, теперь съ изумленіемъ убѣдился, что г. Кредитонъ—ни кто иной, какъ пріятель его отца, въ роскошной частной квартирѣ котораго, въ Пембриджъ-Кресцентъ, онъ столько разъ бывалъ.

— Господи Боже!—воскликнулъ онъ.—Это.... это—г. Кампейнъ!

Онъ взглянулъ на отца, потомъ на сына и опять на отца:—г. Кампейнъ!

— А почему-же нѣтъ, сударь? почему нѣтъ? отвѣтите мнѣ на это.

Вновь линейка съ неприятною звонкостью ударилась объ столъ.

— Ахъ, я ничего не знаю. Почему мнѣ знать?—пролепесталъ ворвавшійся.—Это, разумѣется, не мое дѣло.

— Такъ говорите о вашемъ дѣлѣ. Какая рѣчь? На чье имя? Какого содержанія?

— Для общества каретниковъ. Рѣчь, которую вы мнѣ послали... получилась по почтѣ.

— Очень хорошая рѣчь. Я послалъ ее. Она слишкомъ хороша для васъ и за вашу плату. Помню. Ну, что же съ ней случилось? Какъ смѣете вы быть недовольнымъ ею?

— Что случилось, сударь? что случилось?—пробормоталъ тотъ, чувствуя большое желаніе присѣсть и заплакать.—Сталось то, что вы послали ту-же рѣчь предлагавшему тостъ. А мнѣ приходилось отвѣчать. Ту-же рѣчь, слышите? ту-же самую рѣчь предлагавшему, каки и мнѣ, которому приходилось отвѣчать. Теперь, сударь, понимаете ли вы... Ахъ! я не боюсь вашей линейки, будьте увѣрены,—но лицо его выражало совсѣмъ иное.—Понимаете ли всю несообразность вашего поступка?

— Невозможно! Какъ могъ я сдѣлать подобную вещь, я, который ни разу не ошибался за всю мою профессиональную дѣятельность?—Онъ пристально посмотрѣлъ на сына и повторилъ слова: „профессиональная дѣятельность“.—Вы увѣрены ли въ томъ, что говорите?—Онъ положилъ линейку съ самымъ серьезнымъ видомъ.—Вы совершенно увѣрены?

— Совершенно. Та же рѣчь слово въ слово. Все, каждое

выраженіе было вынуто у меня изо рта. Мнѣ ничего не оставалось сказать.

— Удивляюсь, какъ это случилось. Постойте: у меня есть машинныя копии обѣихъ рѣчей, здравицы и отвѣта. Да, да, я всегда оставляю копии. Кажется, я теперь понимаю, какъ я могъ ошибиться.—Онъ выдвинулъ ящикъ и порылся въ бумагахъ.—Да, да. Боже мой! Я послалъ тому господину копию съ вашей рѣчи вмѣсто его собственной. Вотъ и его рѣчь въ двухъ экземплярахъ, чѣмъ вполне объясняется все. Каково, каково! Ахъ, какъ жаль, какъ жаль! Боюсь, что вы не оказались на высотѣ положенія и не сумѣли сказать что-либо отъ себя?

— Я не могъ, я былъ слишкомъ изумленъ и, могу сказать, разстроенъ для полного... хмъ... самообладанія.

— Конечно, конечно. Моимъ кліентамъ никогда не хватаетъ самообладанія, чтобы выказать свою геніальность безъ моей помощи. Теперь присядьте, сударь, и потолкуемъ объ этомъ дѣлѣ.

Онъ самъ усѣлся. Сынъ же его продолжалъ стоять въ дверяхъ, точно каменный.

— Согласенъ, сударь, что вы имѣете основаніе быть недовольнымъ. Это очень несчастная случайность. Предлагавшій здравицу долженъ былъ замѣтить кое-что неладное въ приступѣ. Во всякомъ случаѣ, очень неприятно.—Онъ отперъ денежный шкафъ, стоявшій рядомъ и вынулъ маленькую связку чековъ.—Вашъ чекъ полученъ вчера утромъ. Къ счастью, я еще не мѣнялъ его. Возвращаю его вамъ, сударь,—двадцать гиней. Вотъ все, что я могу сдѣлать, кромѣ выраженія моего сожалѣнія по поводу случившагося. Сочувствую вамъ, молодой человѣкъ. Прощаю ваши убійственныя намѣренія и увѣряю васъ, что, если обратитесь ко мнѣ снова, то станете однимъ изъ лучшихъ застольныхъ ораторовъ въ городѣ. А теперь, сударь, меня ждутъ другіе.

Онъ всталъ. Молодой человѣкъ положилъ чекъ въ карманъ.

— Я считаю своею обязанностью,—величественно произнесъ онъ,—обличать васъ повсюду.—Онъ обратился къ своему спутнику.—Обличать васъ обоихъ.

— Этимъ скомпрометируете и себя, почтеннѣйшій, и себя въ то же время!

Агентъ погрѣмѣлъ ключами въ карманъ и повторилъ еще разъ: „Скомпрометируете и себя.“

— Не бѣда, только бы осрамить васъ.

— Вы сочтете это бѣдою по зрѣломъ размышленіи. Вамъ придется признать передъ всѣми, что вы хотѣли купить у меня рѣчь, чтобы выдать ее за собственную. Сдѣлки подоб-

наго рода не считаются благовидными. Не забудьте-же, молодой человѣкъ, что вамъ придется изобличить двухъ лицъ: меня, которому ваше изобличеніе послужитъ лишь рекламою, и себя, чью ораторскую, да и всяческую репутацію вы тѣмъ погубите.

Но молодой человѣкъ былъ неумолимъ. Чекъ его къ нему вернулся,—это дѣлало его еще жестче и суровѣе.

— Мнѣ все равно. Послѣ того провала, я уже не могу претендовать на репутацію оратора. Я былъ такъ пораженъ, что онѣмѣлъ. Я ничего не могъ сказать и надо мною стали смѣяться. Цѣлая зала, полная народа, триста человѣкъ, всѣ смѣялись надо мною,—по вашей милости,—да, по вашей! Я заставлю васъ въ этомъ раскаяться,—да, вамъ еще тошно придется! А вы...

Онъ обратился къ Олджернону.

— Молчите и ступайте вонъ!—возразилъ ему пріятель.— Убирайтесь, говорю, или...

Олджернонъ далъ ему пройти, и обиженный кліентъ продолжалъ вонъ съ такою достойною осанкою, какую только сумѣлъ сохранить.

Оставшись наединѣ, отецъ и сынъ устремили другъ на друга ледяные взоры. Оба были одного роста, высоки и тонки, чрезвычайно похожи другъ на друга типичными чертами рода Кампейнъевъ, и оба носили *ripse-nez*. Единственную разницу составляли порѣдѣвшіе волосы на вискахъ у старшаго.

Сознаніе своей неправоты уничтожило естественную авторитетность отца. Онъ сказалъ со слабымъ подобіемъ смѣха:

— Очевидно, положеніе выясняется само собою.

Онъ сказалъ это тихо, приступая такимъ образомъ къ объясненіямъ?

— Неужели я долженъ заключить, что ты за деньги пишешь рѣчи, которыя заказчиками выдаются, ложно выдаются, за ихъ собственныя?

— Безъ сомнѣнія. Развѣ твой пріятель не признался тебѣ, зачѣмъ попалъ сюда?

— Ну, признался, разумѣется.

— И ты укорялъ его за это въ безчестности?

Отъ отвѣта на этотъ вопросъ Олджернонъ Кампейнъ уклонился, а предложилъ вопросъ въ свою очередь:—А ты считаешь этотъ способъ добыванія денегъ—я не могу назвать его профессіей—почетнымъ, могущимъ быть предметомъ гордости?

— Почему же нѣтъ? Есть люди, не одаренные ораторскимъ талантомъ, но принужденные произносить рѣчи на обѣдахъ или въ другихъ случаяхъ. Они пишутъ ко мнѣ, прося помощи. Я посылаю имъ рѣчи. Я руковожу ими. Въ

самомъ дѣлѣ, я являюсь ораторскимъ руководителемъ. Они выучиваютъ то, что нужно сказать, а затѣмъ произносятъ. Такой заработокъ вполне почетенъ, похваленъ и достоинъ уваженія. Кромѣ того, сынокъ, онъ и небезвыгоденъ.

— Такъ почему же не заниматься этимъ... ремесломъ... открыто и подъ собственнымъ именемъ?

— Потому что по самой своей природѣ это—дѣло секретное. Имена моихъ кліентовъ должны храниться въ тайнѣ. Такова самая сущность моихъ съ ними сношеній.

— Но здѣсь вѣдь не судебный кварталъ. Какъ же у тебя хватаетъ времени для твоихъ юридическихъ занятій?

— Мой милый мальчикъ, тутъ былъ допущенъ маленькій обманъ, простительный при данныхъ обстоятельствахъ. На самомъ дѣлѣ я вовсе и не бываю въ судебномъ кварталѣ. Тамъ у меня нѣтъ практики. Я снимаю тамъ чуланчикъ, въ который никогда не заглядываю. Тамъ у меня никогда и не было практики.

— Не было практики?—Молодой человѣкъ безсильно опустился въ кресло.—Не было практики! А мы все время такъ гордились твоей блистательной карьерой!

— Юридической практики я не имѣлъ никогда. Я занялся моей теперешней профессіей въ надеждѣ добыть хоть сколько-нибудь денегъ, когда семьѣ приходилось туго, и успѣхъ превзошелъ мои ожиданія.

Олджернонъ сѣлъ и громко застоналъ.

— Мы пропали. Эта... эта скотина—самая ядовитая и завистливая тварь въ мірѣ. Онъ помѣшанъ на томъ, чтобы прослыть умникомъ. Онъ что-то такое написалъ и, кажется, самъ же скупилъ всѣ экземпляры своего сочиненія. Онъ ходитъ повсюду и позируетъ. Во всемъ Лондонѣ нѣтъ человѣка болѣе опаснаго. Онъ расскажетъ всѣмъ. Какъ перенести намъ это?..

— Сынонь мой, людямъ всегда будутъ нужны застольныя рѣчи.

— Я думаю о сестрѣ, о себѣ самомъ и о нашемъ положеніи въ обществѣ. Что скажетъ мать? А знакомые? Боже мой! Мы всѣ разорены и опозорены. Намъ глазъ нельзя будетъ поднять! Какое объясненіе въ состояніи мы будемъ придумать? Какъ ухитримся мы выпутаться? Кто захочетъ съ нами знаться?

Родитель былъ тронуть.

— Мой милый мальчикъ,—сказалъ онъ кротко,—я обдумую это дѣло. Конечно, предстоятъ непріятности. Оставь меня пока, и пока же попридержи языкъ.

Сынонь повиновался. Тогда г. Кредитонъ вновь принялся за работу; но перерывъ оказался роковымъ. Онъ бро-

силъ начатую рѣчь и задумался объ опасности изобличенія. Ничто не грозило его профессіи, которая стала необходимою для жизни общественной (вообразите, какъ бы мы всѣ страдали, если бы приходилось выслушивать самодѣльные рѣчи!); но приходилось подумать объ общественномъ положеніи жены и семьи, о ихъ упрекахъ, о томъ униженіи въ глазахъ всѣхъ ихъ знавшихъ, которое имъ предстояло. Для нихъ должна была казаться роковою вѣсть о томъ, что онъ служить тайнымъ поставщикомъ краснорѣчія: тайныя профессіи никогда не считаются почетными или благородными. Объясняй какъ хочешь, а обманъ всегда останется обманомъ.

Онъ вышелъ на улицу, такъ какъ отъ волненія не могъ ни сидѣть смирно, ни работать и безцѣльно пошелъ впередъ, чувствуя себя въ достаточной мѣрѣ униженнымъ. Какъ произойдетъ это обличеніе? Тотъ молодой человѣкъ былъ вхожъ въ ихъ домъ, бывалъ съ визитами, являлся и на вечера, на которыхъ фигурировалъ въ качествѣ оратора, поэта, рассказчика, эпиграмматиста; онъ былъ знакомъ со множествомъ людей ихъ круга и, конечно, могъ надѣлать много непріятностей. А онъ такъ былъ возбужденъ своимъ разочарованіемъ и униженіемъ, такъ какъ осрамился основательно, что, несомнѣнно, намѣренъ былъ вредить.

Послѣ юности бурно проведенной вмѣстѣ съ братомъ, Христофоръ Кампейнъ сдѣлался самымъ мирнымъ семьяниномъ на свѣтѣ. Двадцать лѣтъ онъ наслаждался семейнымъ счастьемъ, и возможность этого счастья ему давала его тайная профессія. Его жена обожала его и вѣрила ему,—дѣти презирали его понятія объ эстетикѣ, но почитали его, какъ главу. Словомъ, онъ занималъ завидное положеніе преуспѣващаго адвоката, человѣка изъ хорошей семьи, владѣльца изряднаго дохода. Такимъ положеніемъ онъ, разумѣется, болѣе, чѣмъ дорожилъ: оно составляло самую жизнь его. Дома онъ былъ, въ собственныхъ глазахъ, знаменитымъ юристомъ, въ конторѣ—г-номъ Кредитонъ, универсальнымъ ораторомъ. Это были два отдѣльных существа, и теперь имъ предстояло слиться. Всему міру станетъ извѣстно, что Кредитонъ, это—Кампейнъ, а Кампейнъ—Кредитонъ. Онъ чувствовалъ себя поистинѣ жалкимъ и погибшимъ.

Проходя по улицѣ, онъ вдругъ замѣтилъ, что находится близъ одного изъ подъѣздовъ домовъ Бендора. Внезапная мысль осянула его.

— Мнѣ нуженъ чей-нибудь совѣтъ,—пролепеталъ онъ.—Я не могу нести столько горя одинъ. Расскажу-ка все Леонарду.

Леонардъ вскочилъ на ноги, изумленный столь необычнымъ изъявленіемъ отчаянія.

— Милый дядя Христофоръ!—воскликнулъ онъ.—Что это значитъ? Что случилось?

Несчастный, жаждавшій поддержки, но не рѣшавшійся на исповѣдь, издалъ стонъ вмѣсто отвѣта.

— Что нибудь случилось съ вашими? Съ тетей? Съ кузенами?

— Хуже! Хуже! Бѣда случилась со мною!

— Ну... Да, что же случилось? Господи, будетъ же стечать! Поднимите голову и скажите, въ чемъ дѣло?

— Разореніе,—отвѣтилъ тотъ,—разореніе и позоръ. Вотъ и все. Вотъ и все.

— Въ такомъ случаѣ, вы—второй членъ нашей счастливой семьи, котораго сегодня постигаетъ разореніе. Можетъ быть,—прибавилъ Леонардъ холодно,—вамъ лучше будетъ сообщить мнѣ, въ какой именно формѣ оно обрушилось на васъ.

— Гибель репутаціи и позоръ. Вотъ и все. Я никому не въ состояніи буду глядѣть въ глаза.

— Да что же вы сдѣлали?

— Все тоже, что дѣлалъ въ теченіе двадцати пяти лѣтъ, ни отъ кого не слыша порицанія, ибо никто этого и не подозревалъ. А теперь все открылось.

— Вы дѣлали нѣчто постыдное въ теченіе двадцати пяти лѣтъ и теперь попались. Зачѣмъ же вы пришли ко мнѣ? Не за сочувствіемъ-ли въ томъ, что вы опозорили наше имя?

— Ты не понимаешь, Леонардъ.

Тотъ вышелъ изъ терпѣнья.

— Да какой же чортъ пойметъ, коль вы не объясняете? Вы говорите, что опозорены...

— Дай рассказать тебѣ все, съ самаго начала. Началось съ тасканья по Лондону вмѣстѣ съ братомъ Фредомъ. Это былъ сущій дьяволъ: онъ и не думалъ о томъ, что дѣлалъ. Такъ мы просвистали всѣ денежки—ихъ и не много было—и Фредъ уѣхалъ.

— Я знаю, почему. Весьма постыдная исторія.

— Правда, да! Я всегда говорилъ ему это. Впрочемъ, съ тѣхъ поръ, какъ онъ вернулся, мы условились не поминать прошлаго.

— Продолжайте. Вы остались безъ денегъ.

— Я только что былъ принять въ корпорацію. Я былъ просватанъ и хотѣлъ жениться.

— Вы быстро приобрѣли обширную практику...

— Нѣтъ, нѣтъ. Вотъ тутъ-то и начался обманъ, милый племянникъ, у меня никогда и не бывало практики. Если бы мнѣ и стали поручать дѣла, я не могъ бы за нихъ братья, такъ какъ, пойми, я въ жизни не заглядывалъ ни въ одну юридическую книгу.

— Вы... никогда... не заглядывали въ юридическую книгу?.. Такъ какимъ же образомъ...

— Я не выносилъ даже вида юридическихъ книгъ. Но я былъ просватанъ... хотѣлъ жениться... хотѣлъ жить, не обаяваясь твоей матери...

— Продолжайте, пожалуйста.

— У меня былъ знакомый, желавшій прославиться, какъ застольный ораторъ. Онъ слышалъ двѣ или три моихъ комическихкихъ рѣчи и обратился ко мнѣ. Потолковавши съ нимъ, мы сдѣлали дѣло. Я написалъ для него рѣчь. Она имѣла успѣхъ. Я написалъ другую. Опять успѣхъ. Онъ такъ и скакнулъ въ храмъ славы, скакнулъ, такъ скавать, черезъ мою спину—ораторская чехарда,—при посредствѣ этихъ двухъ рѣчей. Тогда я повысилъ цѣну и возымѣлъ мысль создать новую профессію. Въ теченіе двадцати пяти лѣтъ я дѣлалъ видъ будто хожу въ судъ, а самъ бывалъ у себя въ конторѣ, въ Канцелярскомъ переулкѣ, гдѣ, подъ вымышленнымъ именемъ, писалъ рѣчи, которыми снабжалъ всѣхъ, кто нуждался.

— Благія Небеса!—воскликнулъ Леонардъ.—И этимъ человекомъ мы гордились!—Съ самаго начала рассказа лицо его все омрачалось и, наконецъ, стало совсѣмъ суровымъ и мрачнымъ.—Я, кажется, понялъ. Начало этой исторіи я уже слышалъ прежде. Вы вмѣстѣ съ братомъ прокутили ваши средства.

— Совершенно, совершенно вѣрно.

— Что-то тамъ еще было съ чекомъ?

— Это Фредова продѣлка, а не моя.

— Вашъ братъ говоритъ, что ваша. Но не думайте, что я желаю раскапывать эту ужасную исторію. Я нашелъ достаточно позора и униженія въ моей семьѣ, чтобы стремиться узнать болѣе.

— Если Фредъ говоритъ такія вещи, то это просто возмутительно. Увѣряю тебя, всякій зналъ въ то время, когда это случилось..... Но, какъ ты говоришь, зачѣмъ воскрешать старые скандалы? Зачѣмъ, какъ ты говоришь....

— Зачѣмъ, въ самомъ дѣлѣ? Развѣ зачѣмъ, чтобы вполнѣ убѣдиться, на сколько невозможна для насъ даже тѣнь семейной гордости. Сейчасъ я узнаю изъ вашихъ собственныхъ признаній, что вы вступили на путь лжи и обмана, при помощи которыхъ ухитрились прожить и дать семьѣ все нужное, даже и роскошь, лишь благодаря тому, что до сихъ поръ избѣгали обличенія.

— Извини меня. Я не считаю этого обманомъ. Тутъ никто не обманутъ, кромѣ какъ для собственнаго удовольствія. Развѣ дурно создать своему ближнему пріятную и совершенно неожиданную репутацію въ свѣтѣ. Можешь ли ты

порицать меня за то, что я повысилъ уровень застольнаго краснорѣчія? Можешь ли ты порицать меня за то, что я создавалъ репутаціи цѣлыми дюжинами?

— Не сомнѣваюсь, что вы убѣдили себя въ похвальности и почетности вашего занятія. Тѣмъ не менѣе...

— Прими въ соображеніе, какъ это вышло. Я сказалъ тебѣ, что самъ умѣлъ говорить недурно. Мнѣ пришлось туго. Тогда этотъ человѣкъ — старый знакомый, теперь служить судьей въ колоніяхъ—пришелъ ко мнѣ за помощью. Я написалъ ему рѣчь, и онъ купилъ ее, т. е. далъ мнѣ взаймы десять фунтовъ: въ сущности, онъ купилъ мое молчаніе. Съ этого и началось. Деньги были нужны. Открылся неожиданный способъ добывать ихъ. Я имъ и воспользовался.

— Не сомнѣваюсь, что за обманъ платили недурно.

— Ну, право, тебѣ бы слѣдовало вникнуть. Ничто не возбуждаетъ такой зависти, какъ репутація хорошаго застольнаго оратора. Я создаю эти репутаціи. Люди ходятъ туда, гдѣ надѣются услышать хорошія рѣчи. Я сочиняю эти рѣчи.

— Я не отрицаю всего этого. Но, тѣмъ не менѣе, вы за деньги помогаете любому человѣку обманывать весь свѣтъ.

— Обманывать весь свѣтъ? Ничуть не бывало. Восхищать весь свѣтъ. Пойми, я благотворю обществу. Я раскрываю кошельки на благотворительныхъ обѣдахъ; я распускаю людей по домамъ въ хорошемъ расположеніи духа. Не воображаешь ли ты, что людямъ очень нужно, чьи слова произносятся, если имъ забавно слушать?

— Тогда зачѣмъ эта таинственность?

— Что же въ ней такого?—Онъ ходилъ по комнатамъ, махая руками и время отъ времени оборачивался къ Леонарду, произнося свое оправданіе.—Что же тутъ такого, спрашиваю я? Ты говоришь объ этомъ, какъ о какой-то плутнѣ. Но я никого не обманываю, а добываю деньги не меньшимъ трудомъ, чѣмъ адвокатъ. Послушай, Леонардъ: мое положеніе въ своемъ родѣ единственное и... и... оно почетно, если правильно глядѣть на вещи.

— Почетно! Ну!

— Да. Я—универсальный застольный ораторъ. Я составляю рѣчи по всякимъ поводамъ. Я сохраняю за Сити репутацію краснорѣчія. Репутація эта падала. Было уже установлено, что мы много уступаемъ американцамъ. Тогда явился я. Я поднялъ уровень. Наши застольныя рѣчи—мои рѣчи—составляютъ часть нашей національной славы. А почему? Потому что я, я, Христофоръ Кампейнъ, взялъ эту отрасль въ свои руки!

— Да, по секрету.

— Я веду это дѣло одинъ,—я одинъ,—и до сихъ поръ

заслуги мои не признаны. Но можетъ наступить день, когда сама нація пожелаетъ вознаградить... да... застольнаго Демосеена.

— Вы такъ далеко заглядываете въ будущее?

— Признаю, что трудъ мой легокъ, не обременителенъ,— для меня, по крайней мѣрѣ, — и пріятенъ. При томъ онъ хорошо оплачивается. Люди рады дать не мало за такую репутацію, какую я могу создать имъ. Никто никогда не желаетъ меня видѣть. Никто не знаетъ, кто я таковъ, да никто и не любопытствуетъ. Подумай самъ: это вполне естественно. Все дѣло ведется посредствомъ переписки. Я работаю лишь для богатыхъ и хорошо поставленныхъ лицъ. Скромность соблюдается съ обѣихъ сторонъ. Иногда цѣлый обѣдъ бываетъ, такъ сказать, плодомъ трудовъ моихъ. Бывали случаи, когда я, никому невѣдомый, сидѣлъ за обѣденнымъ столомъ и слушалъ, какъ цѣлый вечеръ, хорошо или худо, произносились мои рѣчи. Вообрази себѣ, если можешь, блескъ и славу такого вечера.

— Могу себѣ представить только краску стыда. Впрочемъ, послѣ двадцатипятилѣтняго обманыванія врядъ ли остается способность краснѣть. Что же произошло теперь? Васъ разоблачили, я думаю?

— Да, меня разоблачили. Произошла ошибка. Я послалъ одному лицу не ту рѣчь: отвѣтъ вмѣсто здравицы. Отвѣчавшему я послалъ дубликатъ той же рѣчи. Я не могу себѣ представить, какъ я могъ такъ ошибиться, но это случилось. Можешь себѣ вообразить чувства бѣднаго молодого человека, услышавшаго съ небольшими измѣненіями свою собственную блестящую рѣчь, которая была у него въ карманѣ, изъ устъ человека, которому онъ долженъ былъ отвѣтить! Когда наступила его очередь, онъ всталъ, но былъ уничтоженъ. Онъ пролепеталъ два-три слова и снова сѣлъ.

— О! А потомъ?

— На утро онъ явился казнить меня въ моемъ собственномъ кабинетѣ. Онъ никогда не видѣлъ меня, но зналъ мой адресъ. Будучи человекомъ малорослымъ, онъ пришелъ съ толстою палкою,—ого!—и торжественно вступилъ въ комнату, размахивая своею палкою. Посмотрѣлъ бы ты, какъ я ополчился на него съ конторскою линейкою!—Разсказчикъ снова разсмѣялся, но мрачный видъ Леонарда положилъ предѣлъ его веселости. — Ну, вся бѣда въ томъ, что этотъ парень принадлежитъ къ числу моихъ знакомыхъ, бываетъ у меня дома и не только знаетъ меня, но, хуже того, мой родной сынъ, Олджернонъ, явился съ нимъ въ качествѣ благороднаго свидѣтеля...

— Какъ? Олджернонъ былъ съ нимъ? Значить Олджернонъ знаетъ?

— Да, знаетъ. Я спровадилъ молодца и объяснился съ Олджернономъ. Дѣло было не легкое. Мнѣ очень жаль Олджернона. Впрочемъ, пожалуй, онъ и не приметъ этого такъ близко къ сердцу. Да,—повторилъ онъ задумчиво,—я объяснился съ моимъ юношей. Теперь онъ знаетъ, какова моя настоящая профессія.

— Ну, и что же дальше?

— Что дальше—не знаю.

— Будете ли вы продолжать ваше ремесло, основанное на лжи и обманѣ?

— Чтожъ, мнѣ идти въ рабочій домъ?

— Честное слово, это было бы лучше.

Дядя всталъ и поднялъ свою шляпу.

— Ну, Леонардъ, если ты не находишь ничего, кромѣ упрековъ, то мнѣ лучше уйти. Я думалъ, что ты примешь во мнѣ участіе, вникнувъ въ мое затруднительное положеніе. По крайней мѣрѣ, я сумѣлъ прокормить семью и во всемъ открылся тебѣ. Если тебѣ нечего сказать, какъ только долбитъ объ обманѣ—точно въ этомъ все дѣло—то лучше ужъ я иду.

— Пойдите! Давайте обсудимъ, какъ быть. Развѣ нѣтъ другого способа прокормиться?

— Нѣтъ. Весь вопросъ въ томъ, вести ли мнѣ это дѣло отнынѣ подъ собственнымъ именемъ, или нѣтъ.

— Право не знаю, какую помощь или совѣтъ я могъ бы дать вамъ. Зачѣмъ вы пришли ко мнѣ?

— За совѣтомъ, если ты сумѣешь его дать. Я пришелъ потому, что былъ подавленъ этимъ несчастіемъ, а ты слышешь умнымъ не по лѣтамъ.

— Самый родъ вашей дѣятельности есть уже достаточное несчастіе.

— Ну? И ничего больше не скажешь? Такъ я иду.

Онъ былъ такъ жалокъ, что Леонардъ забылъ свое негодованіе и склонился къ состраданію.

— Вы боитесь изобличенія,—сказалъ онъ,—ради жены и дѣтей?

— Единственно ради нихъ. Самъ же я зла не дѣлалъ и для себя никакихъ разоблаченій не боюсь.

Слова звучали мужественно, но говорившій напоминалъ осла во львиной шкурѣ. Онъ говорилъ храбро, а колѣни у него дрожали.

— Полагаю,—возразилъ Леонардъ,—что ради самого себя молодой человѣкъ постарается не распространять слуховъ о своемъ приключеніи, потому что иначе осрамить себя не

менѣ, чѣмъ васъ. Онъ вѣдь, сознательно намѣревался обмануть своихъ слушателей, выдавши за свою рѣчь, написанную другимъ и купленную имъ за деньги. Такая вещь, ставши извѣстною, осрамила бы его еще болѣе, нежели васъ. Думаю, что Олджернонъ долженъ бы поставить это ему на видъ.

— Онъ можетъ, не упоминая о себѣ, распространять обо мнѣ неблаговидные слухи.

— Олджернонъ долженъ бы предостеречь его противъ этого. Впрочемъ, если этотъ человѣкъ не откажется отъ своего непохвальнаго стремленія пріобрѣсти незаслуженную славу, то, вѣроятно, обратится къ вамъ опять, за отсутствіемъ другого подобнаго спеціалиста.

Г. Кредитонъ привскочилъ на стулѣ.

— Въ этомъ все и дѣло! Ты совершенно правъ. Я радъ, что пришелъ къ тебѣ. Ему необходимо не только удовлетворить свое честолюбіе, но и заставить забыть свою неудачу. Онъ долженъ вновь придти ко мнѣ. Другого спеціалиста нѣтъ! Онъ непремѣнно придетъ. Это мнѣ не приходило въ голову.

Онъ радостно потиралъ руки.

— У него, пожалуй, не хватитъ ума, чтобы сообразить это. Поэтому пусть Олджернонъ поможетъ ему придти къ этому заключенію. Если же это не удастся, то вамъ надо признаться во всемъ женѣ и дѣтямъ и разослать по знакомымъ извѣщеніе, что вы конфиденціально беретесь постав-
лять рѣчи. Мнѣ этотъ исходъ представляется единственнымъ.

— Единственнымъ, Леонардъ, единственнымъ! Только признаваться вовсе не придется, и эта ядовитая тварь непремѣнно явится ко мнѣ. Я такъ радъ, что пришелъ сюда! У тебя больше ума, чѣмъ у всѣхъ насъ вмѣстѣ взятыхъ.

XVII.

И е щ е!

Когда онъ ушелъ, Леонардъ бросился въ ближайшее кресло и оглянулся вокругъ. Онъ смотрѣлъ съ растеряннымъ видомъ не на кабинетъ, полный книгъ и бумагъ, свидѣтельствующихъ объ учености хозяина, не на отчеты, говорившіе о его дѣловитости, не на гравюры на стѣнахъ, показывавшія его культурность. Все это случайно и можетъ оказаться у всякаго. Художники, вышедшіе изъ подонковъ общества, ученые—самоучки, даже просто выскочки могутъ имѣть подобную обстановку. Но онъ видѣлъ вокругъ себя развалины всего, что до сихъ поръ считалъ самымъ главнымъ, а именно семейной чести.

Наиболѣе полны семейной гордостью именно тѣ, кто наименѣе ее выказываетъ. Леонардъ всегда считалъ величайшимъ счастьемъ одно сознаніе, что свѣдѣнія о его родѣ восходятъ до временъ незапамятныхъ. Это не составляло предмета его разговоровъ, но было для него опорой, основой, щитомъ, чѣмъ-то такимъ, что помогаетъ человѣку быть въ мирѣ съ самимъ собою. Никто не зналъ, когда Кампейнъ впервые получили свой ленъ; въ каждомъ столѣтіи онъ встрѣчалъ своихъ предковъ, не отличавшихся, правда (между ними не бывало никого выдающагося), но игравшихъ роль, и роль почтенную. Это была хроника честнаго рода. Въ ихъ числѣ не бывало ни предателей, ни перебѣжчиковъ: мужины были всѣ безупречны, а женщины не запятнаны.

Полагаю, что никто ни въ средней школѣ, ни въ университетѣ не зналъ и не подозрѣвалъ, какою глубокою гордостью было полно сердце этого спокойнаго и самоувѣреннаго труженика. Это былъ тотъ родъ гордости, который совершенно чуждъ самохвальства. Онъ былъ джентльмэнъ; всѣ его близкіе были джентльмены. Подъ этимъ словомъ онъ разумѣлъ людей хорошаго происхожденія и воспитанія и безупречныхъ въ жизни. Мы хорошо знаемъ, что оно теперь примѣняется къ большинству мужчинъ, и въ умѣ большинства не имѣетъ ни важности, ни значенія. Даже люди разборчивые готовы назвать такъ всѣхъ, кто живетъ по барски и имѣетъ возможность заниматься какой либо специальностью, составляющей принадлежность барской жизни.

Онъ и всѣ его близкіе были джентльмены. Это не давало ему ни малѣйшаго чувства превосходства надъ прочими—не болѣе, чѣмъ высокій ростъ. Онъ ничуть не презиралъ людей, не имѣвшихъ подобныхъ преимуществъ. Выражать презрѣніе къ человѣку, не имѣющему свѣдѣній о своемъ дѣдѣ, можетъ только тотъ кто помнитъ своего, но не тотъ, чей длинный рядъ предковъ восходить, подобно генеалогіи саксонскихъ королей, до туманныхъ образовъ, могущихъ, пожалуй, оказаться Воданомъ, Торомъ или Фрейей.

Главными основами фамильной гордости является древность рода и честь. Первой лишиться невозможно; но она не многого стоитъ безъ послѣдней. Иначе можно было бы гордиться происхожденіемъ отъ длиннаго ряда разбойниковъ, бродягъ, воровъ, отличавшихся на висѣлицѣхъ и у позорнаго столба.

Вотъ почему Леонардъ сидѣлъ среди развалинъ своихъ основъ, совсѣмъ не думая о менѣе существенномъ. Человѣкъ, только что его покинувшій, унесъ съ собою все, что оставалось отъ его прежней гордости; мысль о предкахъ не

могла уже быть ему ни утѣшеніемъ, ни поддержкой. Чего только онъ не узналъ и не пережилъ менѣе нежели въ мѣсяцъ! Одно слѣдовало за другимъ. Онъ былъ подобенъ патриарху, къ которому, во время доклада одного вѣстника бѣды, подходилъ уже другой, говоря: „Вотъ такъ-то и такъ-то оно было. Гдѣ же теперь твоя гордость?“

Сначала онъ узналъ, что имѣетъ родственниковъ, живущихъ въ наименѣе желательной части Лондона; родственника ни съ какими натяжками нельзя было назвать джентльменомъ; родственница имѣла положеніе и занятія, хотя почетныя, но принадлежащія къ числу тѣхъ, которыя, обыкновенно, составляютъ удѣлъ бѣдной родни. Такимъ образомъ, у него нашлась бѣдная родня. Констанція сказала, что ему не хватаетъ бѣдной родни для уподобленія прочимъ людямъ. И вотъ эта родня явилась, какъ бы въ отвѣтъ на ея слова.

Затѣмъ онъ узналъ, что почти въ самомъ началѣ многообѣщавшей карьеры его дѣдъ совершилъ самоубійство по неизвѣстной причинѣ; что отецъ его умеръ молодымъ тоже при началѣ блистательной карьеры—это являлось несчастьемъ, а не пятномъ.

Изъ поколѣнія его отца оставалось двое. Одного онъ увидѣлъ въ качествѣ блуднаго сына, изгнаннаго изъ дома родительскаго и вернушагося съ жатвою золота. По крайней мѣрѣ, тутъ былъ внѣшній видъ золотой жатвы. Другого онъ уважалъ всю жизнь, какъ удачливаго представителя почетнѣйшей изъ профессій. Во что превратились они? Одинъ оказался разорившимся бакалейщикомъ или лавочникомъ, владѣльцемъ жалкой хибарки въ австралійскомъ городишкѣ, несчастной лавчонки, торговавшей сардинками, чаемъ, масломъ и ваксой, изъ которой онъ желалъ сдѣлать большое торговое предпріятіе; этотъ даже не притворялся ни порядочнымъ, ни честнымъ; онъ былъ товарищемъ бродягъ, лишеннымъ чести и даже заботы о чести. Онъ былъ изгнанъ изъ семьи за расточительность, распутство и подлогъ и вернулся неисправленнымъ и нераскаяннымъ, все такъ же готовымъ на вымогательство и плутовство, лишь бы избѣжать законнаго возмездія.

Что касается другого человѣка, мнимаго юриста, то этотъ оказался живущимъ подъ покровомъ лжи. Онъ не менѣе заслуживалъ позора, нежели братъ его. Нѣкогда кутила и расточитель, какъ и тотъ, — въ настоящее время онъ существовалъ обманомъ, который длился уже двадцать пять лѣтъ. Милосердное Небо! Христофоръ Кампейнъ, адвокатъ при судѣ, извѣстный юристъ, которому его семья такъ безгранично довѣряла, и которымъ она такъ безмѣрно гордилась (кто бы не сталъ гордиться извѣстнымъ адвокатомъ?) оказывался

обыкновеннѣйшимъ притворщикомъ и обманщикомъ. Онъ писалъ рѣчи и продавалъ ихъ хвастунамъ, хотѣвшимъ прослыть искусными говорунами. Почетное занятіе! Приятный трудъ! Достойная и блистательная карьера!

Такимъ образомъ, единственной поддержкой семейной чести оставался онъ самъ.

Ему припомнились слова, которыя намъ уже извѣстны. Ему представилось, будто Констанція повторяетъ ихъ опять: „Вы независимы въ матеріальномъ отношеніи, хорошаго происхожденія, не имѣете ни скандаловъ въ вашей семейной хроникѣ, ни бѣдной или опозоренной родни... Вы внѣ чловѣчества... Будь у васъ въ семьѣ что-нибудь скандальное, окажись бѣдные родственники, которыхъ приходилось бы стыдиться, что нибудъ, благодаря чему вы стали бы уязвимы подобно прочимъ людямъ...“ Теперь у него было все.

Дверь отворилась. Лакей подалъ ему карточку: „Г. Самуиль Галлей-Кампейнъ“.

— Еще!—простоналъ Леонардъ и вскочилъ на ноги.—Еще!

Видъ этого чловѣка или даже одна мысль объ этой карикатурѣ на его семью, высокой и тонкой, какъ онъ самъ, но съ каждою чертой въ опошленномъ видѣ и съ отпечаткомъ мелочныхъ заработковъ, мелочныхъ заботъ, мелочныхъ замысловъ и эгоизма на лицѣ,—невыразимо раздражали Леонарда. И это былъ его кузень! Противъ воли, онъ какъ бы застылъ, Выраженіемъ и осанкою онъ сталъ оправдывать то мнѣніе о немъ, какъ о надменной скотинѣ, которое составилъ себѣ г Галлей послѣ перваго свиданія.

Родственникъ вошелъ и слегка поклонился, но не протянулъ руки. Въ лицѣ его было нѣчто, говорившее о рѣшимости, боровшейся со страхомъ, о желаніи попытаться и о сомнѣніяхъ, увѣнчается ли попытка успѣхомъ. Такое выраженіе можно видѣть на биржѣ и въ каждомъ городѣ въ базарные дни.

Часто весьма мудро бывало замѣчено, что въ горѣ яснѣе выражается истинный характеръ чловѣка, нежели въ счастіи, которое можетъ побуждать его украшаться показными добродѣтелями. Но изреченія о пользѣ несчастья скорѣе слѣдуетъ относить къ наблюдателямъ, нежели къ тому, кто постигнуть бѣдствіями; такъ какъ тѣ тогда впервые получаютъ возможность видѣть послѣдняго, какъ онъ есть. Г. Галлей, напримѣръ, весьма приличный въ благополучіи, былъ явно и абсолютно вульгаренъ въ моменты бѣды. Въ настоящее время, напримѣръ, онъ боролся съ судьбою; это сдѣлало лицо его краснымъ, голосъ хриплымъ, заставило его неприлично потѣть, и вся его осанка стала весьма не изящной.

Онъ поднялся по лѣстницѣ и постучался съ выраженіемъ непреклонной рѣшимости. Можно было ожидать, что онъ ударить кулакомъ объ столъ и крикнетъ: „Вотъ! Вотъ что мнѣ нужно, и чего я непременно добьюсь“. Онъ сдѣлалъ несовсѣмъ то, но былъ намѣренъ поступить именно такъ, когда пришелъ, и безъ сомнѣнія такъ бы и сдѣлалъ, не прими его родственникъ съ такимъ холоднымъ спокойствіемъ.

— Г. Кампейнь, — началъ онъ, — или кузень, если желаете...

— Г. Кампейнь, пожалуй, — сказалъ надменный Леонардъ

— Ну, такъ, г. Кампейнь, я пришелъ за нѣкоторыми объясненіями, — объясненіями, сударь! — повторилъ онъ не безъ суровости.

— Сколько угодно. Пожалуйста, возьмите стулъ.

Онъ взялъ стулъ, и тутъ же имъ овладѣли колебанія, о которыхъ мы говорили. Можетъ быть, поводомъ для возникновенія была поза кузена, возвышавшагося надъ нимъ во весь свой шестифутовый ростъ, и лицо послѣдняго, подобное лицу судьи, ничуть не заинтересованнаго въ данномъ дѣлѣ.

— Штука вотъ въ чемъ: у меня есть претензія къ вашей семьѣ, и мнѣ нужно знать, слѣдуетъ ли заявить ее вамъ или моему прадѣду.

— Претензія? Какого рода?

— Объ уплатѣ за содержаніе. Мы содержали бабушку въ теченіе пятидесяти лѣтъ. Отчасти это дѣлалъ дѣдъ, отчасти семья моя, отчасти я самъ, и пора же вашимъ родственникамъ исполнить свой долгъ.

— Это весьма замѣчательная претензія.

— Считаю по 50 ф. въ годъ, что очень мало, принимая во вниманіе щедрость, съ которою ей все дается, получимъ 2,500 ф. Со сложными процентами сумма возрастаетъ до 18,000 съ чѣмъ-то; но я готовъ помириться на круглой цифрѣ въ 18,000.

— Вы намѣрены требовать уплаты за содержаніе родной бабки?

— Вотъ именно...

— Вы, разумѣется, понимаете, что подобная претензія никѣмъ не будетъ признана. Никакой судъ на нее и не взглянетъ.

— Я понимаю. Но такая претензія не изъ обыкновенныхъ. Она основана на справедливости, а не на законности.

— Въ чемъ же заключается ея справедливость?

— Вотъ въ чемъ: мой дѣдъ, который обанкротился на громадную сумму — что свидѣтельствуетъ о томъ, какое по-

ложеиіе онъ занималь въ Сити,—женился на моей бабкѣ въ основательной надеждѣ взять за нею состояиіе. Правда, старику было тогда не болѣе пятидесяти, но дѣдъ и разсчитываль не столько на наслѣдство, сколько на приданое.

— Я полагаль, что бракъ этотъ совершился помимо вѣдома моего прадѣда и даже его повѣренныхъ.

— Безъ сомнѣнія, такъ оно и было. Но когда берешь невѣсту изъ такой богатой семьи, у главы которой при томъ даже невозможно испросить согласія, то можно же разсчитывать хоть на какое-нибудь обезпеченіе. Дѣдъ говорилъ, что ожидаль не менѣе двадцати тысячъ. Онъ связываль свои дальнѣйшія несчастья съ разочарованіемъ въ этой надеждѣ, такъ какъ не получилъ ничего. Такъ какъ вы еще не были рождены въ то время, г. Кампейнъ, то вы, пожалуй, не вѣрите, что онъ не получилъ ничего.

— Я ничего этого не знаю.

— Вотъ именно, именно! Поэтому я думаю, что съ моей стороны вполне справедливо взыскивать съ вашей семьи какъ разъ ту самую сумму, которую мы наличностью потратили на бабушку.

— О!

Тонъ былъ не изъ поощрительныхъ, но собесѣдникъ не отличался наблюдательностью и, не конфузясь, продолжалъ:

— Вы, кажется, сами видѣли на-дняхъ на какую ногу мы живемъ, г. Кампейнъ; согласитесь, что это былъ шикарный чай.

Леонардъ торжественно поклонился.

— Если бы мнѣ прислали счетъ за содержаніе бабки, матери и жены, я, во всякомъ случаѣ, разорваль бы его и бросилъ бы въ печку. Но меня это не касается. Можете обратиться къ моему прадѣду...

— Который и мнѣ доводится прадѣдомъ, не менѣе, чѣмъ вамъ.

— И къ его повѣреннымъ, фамилію и адресъ которыхъ вы, вѣрно, знаете; если же нѣтъ—я вамъ сообщу. Если вы сказали все, что требовалось...

Онъ двинулся по направленію къ двери.

— Нѣтъ, нѣтъ. Я вотъ что хотѣль сказать: мы имѣли право разсчитывать на состояиіе, а не получили ничего.

— Вы уже это говорили. Повторяю, г. Галлей, я не могу входить съ вами въ обсужденіе этого вопроса. Обратитесь съ вашею претензіею къ кому слѣдуетъ.

— Я не обязанъ содержать старуху, — возразилъ тотъ ворчливо.

— Я отказываюсь опровергать ваши взгляды на обязанности.

— Я хочу пробудить въ старикѣ сознаніе справедливости. Я это и сдѣлаю. Если онъ помѣшанъ — мы это докажемъ. Если же нѣтъ, — я заставлю его уплатить, хотя бы пришлось осрамить его.

Леонардъ подошелъ къ двери и распахнулъ ее. Г. Галлей всталъ. На лицѣ его отражались разнородныя волненія. Дѣйствительно, разговоръ велся не совсѣмъ такъ, какъ онъ надѣялся.

— Не торопитесь, — сказалъ онъ. — Дайте немного подумать.

Леонардъ затворилъ дверь и вернулся къ столу.

— Думайте, г. Галлей.

— Мнѣ не хотѣлось бы, — началъ тотъ, — поступать не по джентльмэнски, но я въ отчаянномъ положеніи. Если вы думаете, что претензіи заявлять не стоитъ, то я откажусь отъ этого намѣренія. Все дѣло въ томъ, г. Кампейнъ, что я нуждаюсь въ деньгахъ, — страшно нуждаюсь въ деньгахъ.

Леонардъ молчалъ, что не могло служить ободреніемъ.

— Я спекулировалъ... на домахъ... въ компаніи съ однимъ строителемъ; а тотъ прогорѣлъ. Вотъ какой случай. Если черезъ день или два не добуду тысячи фунтовъ, то прогорю и самъ.

— Вы ничего не добьетесь, взыскивая за содержаніе вашей бабки. Выкиньте это изъ головы, г. Галлей.

Тотъ тяжело вздохнулъ.

— Такъ не одолжите ли вы мнѣ тысячу фунтовъ, г. Кампейнъ? Вы были очень любезны въ тотъ день, какъ навѣщали насъ. Обезпеченіе первосортное: три остова неоконченныхъ домовъ; а я, за услугу, заплачу вамъ по восьми процентовъ. Хорошее обезпеченіе и хорошій процентъ. Вотъ что. Послушайте, г. Кампейнъ: вы дѣлами не занимаетесь и не думаю, чтобы вашъ капиталъ приносилъ вамъ больше трехъ процентовъ.

— У меня нѣтъ денегъ для раздачи взаймы.

— Я заходилъ въ банкъ; но тамъ и слушать не хотятъ. Такой жалкій, дурацкій, несчастный банкъ. Все бы это пора на смарку.

— Мнѣ жаль, г. Галлей, что вы въ затрудненіи, но я не могу помочь вамъ.

— Если я разорюсь, — сказалъ тотъ злобно, — то старуха попадетъ въ рабочій домъ. Это — одно мое утѣшеніе. А вамъ она — двоюродная бабка.

— Вы забываете о вашей сестрѣ, г. Галлей. Насколько мнѣ извѣстно, она вполне можетъ прокормить свою бабку. Если же нѣтъ, можетъ найтись другая помощь.

— Есть еще одинъ пунктъ, — продолжалъ тотъ. — Когда я впервые васъ увидѣлъ, то упомянулъ о накопленіяхъ.

— Всѣ только о нихъ и упоминають,—сказаль Леонардъ съ легкимъ раздраженіемъ.

— Они должны быть громадны. Я вычислялъ. Громадны! А старику жить уже не долго. Недолго. Ему девяносто пять лѣтъ.

— Г. Галлей, спрашиваю васъ, какъ юриста, или хоть какъ дѣльца: думаете-ли вы, чтобы за всѣ эти годы прадѣдъ не составилъ завѣщанія?

— Онъ не могъ составить завѣщанія: онъ помѣшанъ.

— Спросите его повѣренныхъ, считаютъ-ли они его такимъ. Старикъ не говоритъ, но принимаетъ извѣстія и дѣлаеть распоряженія.

— Я буду оспаривать завѣщаніе, если я въ немъ не упомянуть. Я рассчитываю на свою законную долю. Я докажу, что онъ былъ не въ умѣ.

— Какъ вамъ угодно. Только врядъ-ли завѣщатель слышалъ когда-либо хоть ваше имя.

— Онъ знаетъ имя своей дочери. А что ея, то мое.

— Мнѣ опять придется отворить дверь, г. Галлей, если вы будете говорить пустяки. Кстати, я слышалъ, будто вы заставили вашу бабушку подписать кое-какія бумаги. Какъ юристъ, вы должны знать, что на подобные документы судъ взглянетъ весьма подозрительно.

— Если я разорюсь, то разблаговѣщу по всему міру, что вы не захотѣли двинуть пальцемъ для спасенія собственнаго родственника.

— Какъ вамъ угодно.

— А если буду обдѣленъ по завѣщанію, то подамъ въ судъ. Я осрамлю васъ, ей...

Леонардъ вновь отворилъ дверь.

— На этотъ разъ, г. Галлей, вы уйдете.

Тотъ повиновался. Нахлобучивъ шляпу, онъ вышелъ вонъ и, сходя внизъ, заораль на лѣстницѣ:

— Я осрамлю васъ, осрамлю, осрамлю!

Эти ужасныя слова прогремѣли по этажамъ respectable-наго дома точно труба архангела въ день судный, такъ что всякій, кто слышалъ, привскочилъ и, поблѣднѣвши, про-бормоталь:

— О Господи! Что тамъ еще такое!

XVIII.

Показывается свѣтъ.

Было воскресное утро. Леонардъ сидѣлъ у камина и ничего не дѣлалъ. Онъ не дѣлалъ ничего уже три недѣли и не имѣлъ никакого стремленія къ дѣятельности. Работа его въ пренебреженіи лежала на столѣ, книги и бумаги въ одной кучѣ. Его мысли были сосредоточены на крушеніи всего, что дотолѣ ему было дорого: на семейной исторіи, на семейныхъ изъяснахъ и бѣдствіяхъ и на тайнѣ, разъяснить которую не было надежды, а забыть невозможно.

Вокругъ звонили въ колокола: воздухъ былъ полонъ мелодіей или гудѣніемъ колоколовъ многихъ церквей.

Тутъ Констанція постучалась къ нему въ дверь.

— Можно войти?—спросила она и вошла, не дождавшись отвѣта.—Я собиралась въ Аббатство, но у меня разстроились нервы: я почувствовала, что не просижу смирно всей службы, а должна придти потолковать съ вами.

— Полагаю, что теперь намъ извѣстно все наихудшее,—сказалъ Леонардъ.—Что же вамъ горевать моими горестями, Констанція?

— Потому что мы—родня, потому что—друзья. Развѣ этого не довольно?

Она могла бы привести еще причину: событія послѣднихъ трехъ недѣль сблизили ихъ такъ тѣсно, что для вѣчнаго сближенія требовалось только избавленіе отъ гнета тайны.

Леонардъ возразилъ съ пасмурной улыбкой:

— Если бы не вы, мнѣ не съ кѣмъ было бы говорить объ этомъ, и я думаю, что сошелъ бы съума.

— А я чувствую себя такой виноватою, такой виноватою, когда вспоминаю мои легкомысленныя слова о скандалахъ и бѣдныхъ родныхъ, въ связи со всѣмъ, что обрушилось на вашу голову.

— Теперь уже я думаю,—онъ оглядѣлся вокругъ, какъ бы для удостовѣренія, что никакія письма и телеграммы не витаютъ въ воздухъ,—ничего болѣе не можетъ случиться, кромѣ какъ со мною лично. Всѣ остальные повержены во прахъ. Одинъ родственникъ предъявилъ мнѣ счетъ за содержаніе своей бабушки въ теченіе пятидесяти лѣтъ,—говорить, что согласенъ взять круглымъ счетомъ восемнадцать тысячъ. Право можно гордиться такою роднею!

— Повѣренный съ Коммерческой, должно быть? Ну, что же тутъ особеннаго?

— Ничего. Только при подведеніи итоговъ каждый пустякъ

имѣть значеніе. Онъ говоритъ, что ему грозитъ разореніе. Мой дядюшка Фредерикъ, эта широкая натура, добродушный, вѣчно жаждущій, богатый, цвѣтущій представитель колониальныхъ предпринимателей, теперь оказывается плутомъ и обманщикомъ...

— Охъ, Леонардъ!

— Плутонъ и обманщикомъ,—повторилъ онъ.—У него небольшая лавчонка въ австралійскомъ городишкѣ, а онъ явился сюда съ цѣлью выдать ее за обширное предпріятіе и основать компанію. Другой дядюшка, ученый и догадливый адвокатъ...

— Не говорите мнѣ, Леонардъ.

— Въ такомъ случаѣ, до другого раза; но я увѣренъ, что все худшее уже открыто. Поѣдемте въ усадьбу и похоронимъ семейную честь передъ алтаремъ церкви, положивши тамъ мѣдную плиту въ память дѣяній нашихъ предковъ.

— Нѣтъ. Вы всегда будете ея хранителемъ, Леонардъ. Она не можетъ быть въ лучшихъ рукахъ. Вы не должны, не можете хоронить собственную душу.

Леонардъ опять умолкъ. Констанція стояла надъ нимъ въ уныніи и печали. Потомъ она заговорила:

— До которыхъ поръ?—спросила она.

— До которыхъ поръ?—повторилъ онъ.—Кто же можетъ сказать? Оно пришло само, непрошенное. Можетъ быть, такъ же и пройдетъ.

— Вамъ лучше быть одному?—спросила она.—Нѣтъ, дайте мнѣ посидѣть и поболтать. Другъ мой, съ этимъ надо покончить. Ну что намъ за дѣло, какъ было совершенно преступленіе семьдесятъ лѣтъ тому назадъ?

— Его жертвой былъ вашъ предокъ, Констанція.

— Да. Онъ, бѣдняга, былъ убитъ. Леонардъ, когда я говорю „бѣдняга“, я съ точностью выражаю ту степень состраданія, которую чувствую къ нему. Предокъ въ четвертомъ колѣнѣ для насъ не болѣе, какъ тѣнь. Его судьба возбуждаетъ нѣкоторый интересъ, но не внушаетъ печали.

— Я могъ сказать тоже самое; но мой предокъ не убитъ, а осужденъ быть мертвымъ живо. Констанція, сопротивленіе бесполезно: хочу я или нѣтъ, память объ этомъ преслѣдуетъ меня день и ночь.—Онъ вскочилъ на ноги и вскинулъ руки, какъ бы пытаясь сбросить цѣпи.—Когда слышалъ я объ этомъ въ первый разъ отъ несчастной старухи на Коммерческой? Три недѣли назадъ? А кажется, будто прошло уже пятьдесятъ лѣтъ. Всякое желаніе, какое у меня было доголѣ, всякое честолюбивое стремленіе исчезло, пропало совершенно.

— И я одержима точно такъ же.

— Я подобенъ челоѡѡку подѡ гипнозомъ: у меня уже нѣтъ свободной воли. Мнѣ повелѣвается сдѣлать то или другое, и я дѣлаю. А эту проклятую книгу вырѣзокъ я принужденъ перечитывать непрерывно. Каждый разъ, какъ я за нее принимаюсь, меня побуждаетъ какая-то увѣренность, что я открою что-нибудь. Бросаю же я ее каждый разъ съ досадою, что это не осуществилось.

— Неужели мы всю жизнь будемъ искать, чего нельзя найти?

— Мы всю ее знаемъ наизусть и, однако, каждый день какъ бы предчувствуемъ, что нѣчто выйдетъ наружу. Это—безуміе, Констанція. Я схожу съ ума, какъ мой прадедъ, который убилъ себя. Этимъ закончится перечень семейныхъ бѣдствій, а затѣмъ мнѣ все равно.

— Отошлите книгу назадъ по принадлежности.

Онъ покачалъ головою.

— Я вѣдь всю ее знаю, такъ что это не поможетъ.

— Сожгите эту ужасную книгу.

— Безполезно. Я буду принужденъ написать ее вновь.

— Вчера вечеромъ я опустила къ вамъ въ ящикъ письмо. Вы прочли его?

— Я, кажется, не читалъ ни одного письма вотъ уже три недѣли.

— Такъ оно лежитъ въ числѣ прочихъ. Какая куча писемъ! Ахъ, Леонардъ, вы, дѣйствительно, поглощены этимъ дѣломъ. Вчера вечеромъ я нашла три письма отъ Ланглея Хольма къ его женѣ. Они были писаны изъ Кампейнъ-Парка къ его женѣ, только не знаю по какому поводу. Я сначала подумала, что моя находка бросить сколько-нибудь свѣта на наше дѣло, но, разумѣется, если подумать, какой же свѣтъ писавшій могъ бросить на собственную трагическую кончину?

Онъ небрежно взялъ пакетъ.

— Есть что-нибудь въ этихъ письмахъ?

— Ничего важнаго, я думаю. Они доказываютъ, что онъ гостилъ въ Паркѣ.

— Это мы уже знаемъ. Странно, какъ насъ постоянно обманываетъ всякая новинка. То же самое было съ письмомъ изъ Австраліи.

— То письмо было интересно такъ же, какъ и эти, хотя въ немъ нѣтъ ничего, что было бы намъ неизвѣстно.

Онъ разорвалъ конвертъ и вынулъ письма. Ихъ было три. Они были написаны на четырехугольной почтовой бумагѣ и на сгибахъ протерлись, такъ что теперь распадались на куски. Чернила выцѣвли, какъ приличествуетъ черниламъ

девятнадцатаго вѣка. Чтобы прочесть, Леонардъ разложилъ куски на столѣ: настолько они были изорваны.

— Число,—сказалъ онъ,—трудно разобрать, но послѣдняя цифра похожа на 6, такъ что могло бы выйти 1826. Вы говорите, что въ нихъ нѣтъ ничего важнаго?

— Ничего, насколько я могла понять. Да прочтите сами. Можетъ быть, что-нибудь отыщете.

Первое письмо было совсѣмъ не важное и заключало въ себѣ лишь нѣсколько наставленій и словъ привѣта; за то въ остальныхъ двухъ письмахъ упоминалось о зятѣ писавшаго.

„Мое несогласіе съ Олджернономъ еще не улажено. Онъ переводить дѣло на личную почву, что очень непріятно. Право, онъ самый упорный и настойчивый изъ смертныхъ. Я не хочу ни вслухъ, ни мысленно, отзываться о немъ дурно. Вообще, онъ превосходный парень, только ужасно упрямъ. Но я не уступлю ни на пядь. Вчера вечеромъ, въ библіотекѣ, онъ совершенно потерялъ самообладаніе и на нѣсколько минутъ сталъ какъ помѣшанный. Я слыхалъ отъ другихъ о его бѣшеныхъ вспышкахъ, но никогда ихъ не видывалъ. Въ такія минуты онъ, право, становится опаснымъ. Онъ бѣсновался, точно быкъ передъ красной тряпкой. Но такъ какъ Филиппа счастлива, то она, конечно, никогда не видала этого“.

Въ третьемъ письмѣ говорилось о томъ же спорѣ:

„Вчера вечеромъ мы опять сдѣлились. Но, какъ бы то ни было, я не уступлю. Мы опять обсудимъ это дѣло,—болѣе спокойно, какъ онъ обѣщаетъ. Я напишу тебѣ тогда, что все уладилось. Моя милая дѣтка, мнѣ просто стыдно видѣть, до какой степени этотъ громадный человѣкъ утрачиваетъ самообладаніе. Тѣмъ не менѣе, надѣюсь, онъ покорится, когда увидить, что это неизбежно“.

— Кажется, были какіе-то нелады,—сказалъ Леонардъ.—Его зять выходилъ изъ себя и скандалилъ. Но потомъ все устроилось. Ну, Констанція, вѣдь это и все: какая-то ссора, несомнѣнно завершившаяся миромъ.

Онъ спряталъ письма обратно въ конвертъ и венрулъ ихъ Констанціи.

— Спрячьте ихъ,—сказалъ онъ.—Они имѣютъ для васъ цѣну, какъ писанныя вашимъ предкомъ. Подобно письму Джона Дуннинга, которое мы приняли съ удивленіемъ, точно голосъ изъ могилы, они помогаютъ намъ живѣе представить себѣ событіе,—что для насъ, впрочемъ, излишне. Мы, вѣдь, и раньше представляли его себѣ достаточно живо. И это все!—Онъ вздохнулъ.—Мы ни на волосъ не подвинулись. Больше не нашлось бумагъ?

— Я перерыла всю конторку, но больше не нашла ничего. А теперь, Леонардъ,—она взяла стулъ и поставила рядомъ съ его стуломъ у стола,—отойдите отъ камина, сядьте сюда, и мы это кончимъ. Этотъ разъ будетъ послѣднимъ... Давно пора положить этому конецъ. Что касается меня, то я и сюда-то пришла сегодня съ намѣреніемъ оказать, что, будь что будетъ, а я рѣшила это кончить. Эта исторія начинается угрожать вашему душевному равновѣсію.

— Это отъ насъ не зависитъ.

— Ну, да,—мы теперь точно околдованы. Давайте поклянемся, что съ сегодняшняго дня спрячемъ книгу и письма и не станемъ думать о нихъ.

— Если сможемъ,—мрачно возразилъ онъ.

— Леонардъ, въ первый разъ въ жизни вы оказываетесь суевѣрнымъ.

— Можно поклясться въ чемъ угодно, но на другой же день мы вернемся къ этой исторіи.

— Не вернемся. Рѣшимся твердо. Нѣтъ, Леонардъ, вамъ нельзя такъ продолжать. Для васъ это становится опаснымъ. Леонардъ вздохнулъ.

— Это очень утомительно. Ну, такъ въ послѣдній же разъ! Онъ положилъ весь матеріалъ на столъ, и открылъ ужасную книгу—роковую книгу.

— Каждый разъ одно и то же. Какъ ни раскрою ее, каждый разъ—то же чувство тошноты и отвращенія. Отравлены, что-ли, эти страницы?

— Онѣ отравлены, мой другъ.

Они продѣлали все, по обыкновенію, т. е.: онъ прочелъ составленное ими же изложеніе дѣла, а Констанція сличала его со свидѣтельскими показаніями.

„Факты, установленные слѣдствіемъ, судомъ, послѣдовавшими за злодѣйствомъ событіями, осмотромъ мѣстности и опредѣленіемъ времени, таковы:

„Два человѣка вышли изъ дому и вмѣстѣ прошли черезъ паркъ, пересѣкли дорогу, перелѣзли черезъ изгородь, вошли въ рощу. Затѣмъ хозяинъ вернулся...”

— Черезъ нѣкоторое время,—поправила Констанція.—По воспоминаніямъ старика, въ то время пугавшаго птицъ, онъ побывалъ въ рощѣ.

„Затѣмъ хозяинъ быстро пошелъ домой. Если ключница правильно опредѣлила время, и онъ столько же минутъ шелъ обратно домой, какъ и въ рощу (я вычислилъ время по часамъ), то могъ пробыть въ рощѣ минутъ десять или четверть часа.

„Около двухъ часовъ спустя, мальчикъ увидалъ, какъ вошелъ въ рощу одинъ рабочій, котораго онъ зналъ въ лицо

и по имени. Онъ былъ въ блузѣ, а на плечѣ несъ какіе-то инструменты. Онъ пробылъ въ лѣсу нѣсколько минутъ, а потомъ выбѣжалъ съ красными пятнами на бѣлой блузѣ, что ясно было видно мальчику со склона холма. Онъ побѣжалъ на ферму, что за полемъ, и вернулся съ другими людьми и со ставнемъ. Они вошли въ рощу и тотчасъ вынесли оттуда „что-то“ прикрытое. Мальчика допрашивали и на слѣдствіи, и на судѣ, не входилъ ли въ рощу или не выходилъ ли оттуда кто-либо еще. Тотъ съ увѣренностью отвѣтилъ, что никто тамъ не былъ и не могъ быть, не будучи имъ замѣченъ.

„Люди отнесли трупъ въ усадьбу. На террасѣ ихъ встрѣтила ключница; она, кажется, вскрикнула и вбѣжала въ домъ, гдѣ предупредила служанокъ, которыя подняли вопль на весь домъ. Напугавши, такимъ образомъ, хозяйку, они выдали ей страшную правду. Черезъ часъ помѣщикъ лишился жены; такъ же, какъ и зятя.

„На слѣдствіи, главныя показанія давалъ помѣщикъ. Онъ сказалъ, что вмѣстѣ съ зятемъ дошелъ до рощи, откуда и вернулся“.

— Не „до рощи“. Онъ сказалъ, что, войдя въ рощу, вспомнилъ про какое-то дѣло и вернулся. Имѣя въ виду свидѣтельство мальчика и ваше вычисленіе времени, надо думать, что онъ сколько-нибудь времени пробылъ въ рощѣ.

— Превосходно. Чѣмъ дольше, тѣмъ лучше, такъ какъ это доказало бы, что тамъ никого не было въ засадѣ.

„Затѣмъ, Джонъ Дуннингъ объяснилъ, какъ нашелъ тѣло. Оно лежало на спинѣ; передняя часть головы была проломлена; несчастный былъ мертвъ. Около трупа лежалъ тяжелый сломленный сукъ. Его, повидимому, сломили и употребили, какъ дубину. На болѣе толстомъ концѣ его виднѣлась кровь.

„Смерть констатировалъ врачъ. Онъ прибылъ въ усадьбу около часа и, осмотрѣвши несчастную барыню, которая умерла или была уже мертва, обратилъ вниманіе на трупъ убитого, который пролежалъ мертвымъ уже нѣкоторое время, вѣроятно, около двухъ часовъ. Затѣмъ лакей убитого заявилъ, что осмотрѣлъ его карманы, и что въ нихъ все оказалось цѣлымъ.

„Слѣдователь вывелъ такое заключеніе: послѣ убитого въ лѣсъ входилъ одинъ Джонъ Дуннингъ; кто же, кромѣ Дуннинга, могъ совершить это злодѣйство? Присяжные тотчасъ вынесли приговоръ: Джонъ Дуннингъ виновенъ въ преднамышленномъ убійствѣ.

„Затѣмъ идетъ судъ надъ Джономъ Дуннингомъ. Г. Кампейнъ имѣлъ такую внутреннюю увѣренность въ невинности этого человѣка, что снабдилъ его на свой счетъ защитникомъ. Защитникъ былъ хорошъ. Онъ выслушалъ свидѣтелей, тѣхъ же, что допрашивались и на слѣдствіи, но вмѣсто того, что-

бы убѣдиться ихъ показаніями, разбилъ ихъ на перекрестномъ допросѣ.

„Такъ, допрашивая г-на Кампейня, онъ установилъ тотъ важный фактъ, что г. Хольмъ былъ шести футовъ ростомъ и соотвѣтственной силы, тогда какъ обвиненный ростомъ не превышалъ пяти съ половиной футовъ и не отличался силой, поэтому нельзя было предположить, чтобы убитый далъ ударить себя въ лобъ такому малорослому человѣку. Это былъ очень сильный доводъ.

„Затѣмъ онъ допросилъ доктора касательно мѣста, куда нанесенъ былъ ударъ. Оказалось, что—въ макушку, выше лба, но спереди. Онъ заставилъ доктора объяснить, что для полученія такого удара отъ малорослаго человѣка, какимъ былъ обвиняемый, убитому слѣдовало сидѣть или стоять на колѣняхъ. Въ лѣсу же было сыро отъ недавняго дождя и сидѣть было не на чемъ. Поэтому для нанесенія такого удара, по словамъ врача, убійцѣ слѣдовало быть выше г-на Хольма“.

Леонардъ прервалъ чтеніе ради краткаго замѣчанія.

— Вотъ какъ можно пропускать многое! Я оставлялъ безъ вниманія это обстоятельство вплоть до послѣдняго чтенія, можетъ быть, потому, что газетная вырѣзка загнулась на этомъ мѣстѣ. Итакъ, убійца былъ выше Ланглея Хольма, который самъ былъ шести футовъ роста. Это могло служить примѣтой убійцы и, во всякомъ случаѣ, вполне оправдывало обвиненнаго.

„Повидимому, преступленіе очень заинтересовало всю окрестность. Долго послѣ оправданія Джона Дуннинга, о немъ велись бесѣды и споры касательно невинности или виновности оправданнаго. Больше никого не арестовали и не судили, и полиція оставила дѣло безъ послѣдствій. Больше ничего и не открылось, кромѣ изложеннаго мною здѣсь.

„Между тѣмъ, знакомые г-на Кампейня вскорѣ замѣтили что онъ совершенно измѣнился подъ вліяніемъ двойного потрясенія: смерти брата съ сестрою, зятя и жены, въ одинъ день. Онъ пересталъ обнаруживать интересъ къ чему либо, отказывался видаться съ пріятелями; не смотрѣлъ даже на родныхъ дѣтей; постепенно замкнулся совершенно; дѣла поручилъ довѣреннымъ лицамъ; распустилъ слугъ. Дѣтей онъ отдалъ подъ присмотръ дальняго родственника, чтобъ удалить ихъ съ глазъ; совершенно пересталъ выходить изъ дома, если не считать прогулокъ по террасѣ; не сталъ держать ни собакъ, ни лошадей; пересталъ говорить съ кѣмъ либо, и во всѣ эти годы не говорилъ ни съ кѣмъ, за исключеніемъ одного раза, когда онъ сказалъ мнѣ два—три слова“

— Слѣдующее,—продолжалъ читавшій,—тоже относится къ дѣлу:

„Наша семья чрезвычайно несчастлива. Изъ троихъ дѣтей г-на Кампейня, старшій совершилъ самоубійство безъ видимой причины, второй утонулъ въ морѣ, а дочь вышла за обанкротившагося купца и утратила свое положеніе въ обществѣ.

„Въ слѣдующемъ поколѣніи, старшій, мой отецъ, умеръ молодымъ и въ такую пору, когда его будущность была столь же блестящей, какъ у любого юнаго члена Палаты; его средній братъ только что сознался въ цѣлой жизни притворства и обмана; а его младшій братъ, удаленный съ родины за распутство, лишь вчера сказалъ мнѣ, что близокъ къ несостоятельности, между тѣмъ, какъ еще члену нашего рода грозитъ разореніе и даже, если судить по его ужасу, нѣчто худшее, чѣмъ разореніе“.

— Вы всетаки опустили нѣкоторые факты,—сказала Констанція.—Слѣдовало бы перечислить ихъ всѣ.

— Какіе же именно?

— Вы не упомянули о томъ, что мальчикъ былъ въ рошѣ рано поутру и никого тамъ не видалъ; и что женщина изъ придорожной избушки (это намъ сообщилъ голосъ изъ могилы, который мы желали слышать и услышали) сказала, что никто не проходилъ по рошѣ въ тотъ день, до прихода господъ.

— Все это мы обсудимъ. Но помните, Констанція: мы поклялись не повторять этой церемоніи, какая бы сила ни влекла насъ.

— Мы забыли еще одно: недописанное письмо, которое нашли на столѣ. Перечитайте его, Леонардъ.

Оно лежало въ конвертѣ между бумагами. Леонардъ вынулъ его.

— Въ немъ нѣтъ ничего, намъ неизвѣстнаго, Ланглей гостилъ въ усадьбѣ.

— Ничего. Всетаки прочтите.

Онъ прочелъ:

„Олджернонъ и Ланглей ушли въ кабинетъ говорить о дѣлѣ. Это все тянется исторія съ мельницею. Меня беспокоитъ Олджернонъ: онъ до странности разсѣянъ въ послѣдніе два—три дня. Можетъ быть, онъ тревожится за меня, но это совсѣмъ напрасно: я чувствую себя совершенно здоровой и бодрой. Нынче утромъ онъ всталъ очень рано, и я слышала, какъ онъ расхаживалъ внизу, въ кабинетѣ. Это вовсе на него не похоже. Впрочемъ, должна ли жена роптать, когда ея властелинъ находится въ тревогѣ за нее? Его рѣшеніе относительно мельницы твердо; но боюсь, что Ланглей не уступитъ. Ты знаешь, какъ онъ можетъ быть настойчивъ, не смотря на свои пріятныя улыбки.“

— Нѣтъ ничего особеннаго въ этомъ письмѣ; не правда ли, Констанція?

— Не знаю. Это—голосъ изъ могилы, какъ и Ланглеевы письма къ женѣ... Они говорятъ о какой-то ссорѣ, въ которой никто не хотѣлъ уступить. Г. Кампейнъ бывалъ подверженъ припадкамъ неудержимаго гнѣва. Леонардъ, удивительно, какъ многое мы узнали, съ тѣхъ поръ, какъ начали вникать въ это дѣло. Я имѣю въ виду эти новыя свѣдѣнія о необузданности права г-на Кампейнъ и о его вспышкѣ въ тотъ вечеръ. Да! это—новыя свѣдѣнія.—Она измѣнилась въ лицѣ, какъ человѣкъ, внезапно увидѣвшій среди мрака свѣтъ неожиданный и яркій.—Это—новыя свѣдѣнія,—повторила она съ изумленнымъ видомъ.—Ими все объяснится...—Она остановилась и поблѣднѣла.—Охъ!..

Она сгорбилась, какъ бы отъ внезапнаго укола въ сердце, вытянула руки, какъ бы отталкивая нѣчто ужасное, вскочила на ноги, задрожала, подняла руки ко лбу— и этотъ жестъ былъ въ полной гармоніи съ изумленіемъ и ужасомъ внезапнаго раскрытія тайны, выразавшимся на ея лицѣ.

Леонардъ принялъ ее въ объятія, но она не упала, а положила руку ему на плечо и нагнула голову.

— О, Господи, помилуй насъ!—прошептала она.

— Что такое? Констанція, что такое?

— Леонардъ, вѣдь, никого, никого не было въ лѣсу, кромѣ тѣхъ двоихъ,—и они ссорились,—и помѣщикъ былъ выше своего зятя—и теперь ясна истина. Леонардъ, мой бѣдный другъ, родной мой: мы добрались до истины.

Она отклонилась отъ него и упала въ кресло, закрывъ лицо руками.

Леонардъ разрывалъ бумаги.

— Констанція!—крикнулъ онъ. Въ одинъ моментъ истина огнемъ пронизала мозгъ, истина, объяснявшая все: отчаяніе несчастнаго, его настойчивость въ спасеніи невиннаго, муки совѣсти, терзавшія его день и ночь, такъ что онъ не могъ ничего дѣлать, ни о чемъ думать долгіе, долгіе годы; муки, не дававшія ему сноситься съ ближними, лишившія его всякого утѣшенія, даже того, какое могли бы дать ему родныя дѣти.

— Констанція!—крикнулъ онъ опять, протягивая руки, какъ бы за помощью.

Она подняла голову, но не глаза, и взяла его руки въ свои.

— Другъ мой,—прошептала она,—мужайтесь!

Такъ пробыли они нѣсколько времени: онъ стоялъ передъ нею, она сидѣла и плакала, держа его руки въ своихъ.

— Я сказалъ,—пробормоталъ онъ,—что больше ничего

не может случиться. Но оставался еще этот послѣдній ударъ.

— Мы были принуждены не останавливаться, пока не добьемся правды, и правда выяснилась намъ. Послѣ столькихъ лѣтъ намъ помогли въ этомъ и воспоминанія старика, въ дѣтствѣ пугавшаго птицъ, и невинно-обвиненный, писавшій намъ изъ гроба, и письма самого убитаго. Леонардъ, мы должны почитать это чудомъ, какъ дѣло рукъ не чело-вѣческихъ.

Онъ отнялъ свои руки.

— Да. Это—мщеніе за пролитіе крови.

Она ничего не отвѣтила, только встала, смахнула слезы съ рѣсницъ, вложила бумаги въ книгу, закрыла ее, аккуратно перевязала веревочкой и положила въ нижній ящикъ стола.

— Пусть лежитъ тутъ,—сказала она.—Завтра, если исчезнетъ наша манія, чего я ожидаю, то мы все это сожжемъ.

Онъ поднялъ взоръ въ молчаніи. Что могъ онъ сказать?

— Что же намъ дѣлать съ нашимъ открытіемъ?—спросилъ онъ, наконецъ.

— Ничего. Пусть остается между нами. Не будемъ никогда говорить о немъ. Эта тайна принадлежитъ только намъ съ вами.

Непривычныя слезы слѣпили ей глаза. Въ нихъ выразилась чисто женская жалость. Ученая преподавательница уступила мѣсто просто женщинѣ, и, какъ свойственно женщинамъ, она плакала надъ позоромъ и ужасомъ мужчины.

— Оставьте меня, Констанція,—сказалъ онъ.—Между нами пролита кровь. Руки мои и моихъ близкихъ обagrены кровью вашихъ.

Она повиновалась и пошла прочь, потомъ вернулась.

— Леонардъ,—сказала она,—прошедшее прошло. Не унывайте! Мы узнали правду, прежде чѣмъ умеръ этотъ несчастный. Это—предзнаменованіе. День прощенія близокъ.

Затѣмъ она потихоньку удалилась.

XIX.

Признаки перемѣны.

Леонардъ остался одинъ. Онъ бросился въ кресло и постарался собраться съ мыслями, но не могъ. Способность сосредоточиваться покинула его. Напряженность послѣднихъ трехъ недѣль, закончившаяся столь неожиданнымъ открытіемъ, истощила даже его молодой и сильный мозгъ. Онъ даже не чувствовалъ ужаса по поводу открытія: онъ старался испытать

его, зная, что долженъ его испытывать, но его все-таки не было; надъ всѣми его чувствами преобладало чувство облегченія. Онъ уснулъ въ креслѣ передъ каминомъ. Это произошло въ воскресенье около полудня. Время отъ времени его лакей заглядывалъ въ комнату, подкладывая огня, такъ какъ весенній день былъ довольно свѣжъ, но не будилъ своего барина. Проснулся онъ въ восьмомъ часу вечера. Въ комнатѣ сгустились сумерки. Онъ вспомнилъ, что Констанція уложила бумаги въ ящикъ. Онъ выдвинулъ ящикъ, вынулъ бумаги и книгу. Онъ поддержалъ ихъ рукъ. Въ первый разъ, съ тѣхъ поръ какъ онъ у него были, онъ не почувствовалъ отвращенія къ проклятымъ страницамъ этой книги, но и ни малѣйшаго желанія открыть ее и прочесть еще что-нибудь объ этомъ гнусномъ дѣлѣ. Онъ положилъ связку обратно въ ящикъ и тутъ замѣтилъ, что его снова одолеваетъ сонъ. Онъ пошелъ къ себѣ въ спальню и, какъ былъ одѣтый, бросился на кровать, гдѣ немедленно крѣпко уснулъ.

Онъ не чувствовалъ ни голода, ни жажды. У него не было потребности въ пищѣ, была только потребность сна. Онъ проспалъ болѣе полусутокъ, а въ десять часовъ утра въ понедѣльникъ проснулся вполне отдохнувши и съ нормальнымъ ощущеніемъ голода.

Болѣе того: хотя трагическое открытіе было совсѣмъ свѣжо въ его памяти, онъ опять почувствовалъ себя свободнымъ думать, о чемъ хочетъ.

Онъ одѣлся, ожидая обычнаго наводненія отъ книги и процесса; но ничего подобнаго не было. Онъ позавтракалъ и развернулъ газету. Три недѣли онъ совершенно не былъ въ состояніи читать газеты. Теперь, къ собственному изумленію, онъ принялся за газету съ обычнымъ интересомъ. Книга вырѣзокъ даже не шла ему на умъ. Онъ пошелъ въ кабинетъ, опять выдвинулъ ящикъ и безъ всякаго страха, хотя и безъ неодолимаго влеченія, вынулъ книгу; но, такъ какъ ничто его не принуждало, какъ прежде, открывать ее, то снова положилъ ее назадъ. Онъ замѣтилъ, что отвращеніе, съ которымъ онъ еще наканунѣ относился къ ней, прошло совершенно. Дѣйствительно, онъ уже не обращалъ на нее вниманія. Для него она была подобна мертвому тѣлу демона, не могущаго больше вредить.

Онъ вернулся къ бумагамъ, лежавшимъ на письменномъ столѣ: тамъ небрежно были сложены въ кучу листы неоконченной статьи въ перемежку съ замѣтками и другими бумагами. Онъ взялся за нихъ съ новымъ наслажденіемъ и ранѣе радуясь, что окончить свой трудъ; онъ удивлялся, какъ онъ могъ такъ надолго отъ него оторваться. Тутъ же была и куча писемъ, не распечатанныхъ, остававшихся безъ

отвѣта за послѣднія три недѣли. Онъ торопливо распечаталъ ихъ: нѣкоторыя, по крайней мѣрѣ, требовали немедленнаго отвѣта.

Все это время онъ ничуть не забывалъ о сдѣланномъ открытіи. Исслѣдованіе было кончено. Странно! Узнанное не казалось уже столь ужаснымъ по простествіи двадцати четырехъ часовъ. Оно представлялось давно жданнымъ и все объяснявшимъ отвѣтомъ на таинственный вопросъ.

Онъ сѣлъ, чувствуя полную ясность въ мысляхъ, и постарался прослѣдить тотъ путь, какимъ была достигнута истина. Мысли его выразились слѣдующими словами: „Мы исходили изъ двухъ предположеній, которыя оба оказались ложными и оба преграждали намъ путь къ истинѣ. Во-первыхъ, было предположено, что тѣ двое находились въ тѣсной и неразрывной дружбѣ, тогда какъ въ то время между ними господствовало несогласіе по какому-то серьезному поводу—столь сильное несогласіе, что до развязки былъ, по крайней мѣрѣ, одинъ случай, когда одинъ изъ нихъ отъ бѣшенства сталъ точно помѣшанный. Во-вторыхъ, было предположено, что помѣшникъ повернулся и ушелъ домой у опушки рощи. На судѣ и слѣдствіи то и другое было сочтено доказаннымъ, между тѣмъ, мальчикъ просто сказалъ, что они вошли въ рощу вмѣстѣ, а вышелъ оттуда лишь одинъ.

„Вслѣдствіе этихъ двухъ предположеній приходилось разыскивать кого-нибудь спрятаннаго въ лѣсу, кто могъ бы совершить злодѣйство. Мальчикъ заявилъ, что въ рощѣ никого не оказалось въ половинѣ шестого утра и что на его глазахъ никто не входилъ въ нее, кромѣ этихъ двоихъ, пока не пришелъ Джонъ Дуннингъ около полудня. Женщина у избушки сказала, что совсѣмъ никто не проходилъ въ тотъ день этой дорогой. Рощица была такъ рѣдка, что двое вошедшихъ могли бы примѣтить всякаго, тамъ притаившагося. Если отвергнуть тѣ два предположенія и принять, что они шли въ рощу ссорясь, если вспомнить, что наканунѣ вечеромъ одинъ изъ нихъ взбѣсился до безумія, если рассчитать, что они пробыли вмѣстѣ минутъ десять или четверть часа, если принять въ соображеніе преимущество роста одного изъ нихъ, которое одно вполне объясняетъ, почему ударъ пришелся по маковкѣ другого, если сопоставить со всѣмъ этимъ дальнѣйшее поведеніе пережившаго,— то не останется мѣста никакимъ сомнѣніямъ. Убійцею былъ Олджернонъ Кампейнъ, мировой судья, владѣлецъ Кампейнъ-Парка“.

Все это онъ изложилъ на бумагѣ ясно и холодно. Сознаніе, что къ нему возвратилась способность разсуждать о чемъ-либо, доставило ему такое облегченіе, которымъ значительно

Новые матеріалы для исторіи „Молодой Германіи“.

(Das Junge Deutschland und die preussische Zensur. Nach ungedruckten archivalischen Quellen, von L. Geiger. Berlin. 1900).

(Окончаніе).

Сообщенные Гейгеромъ матеріалы освѣщаютъ передъ нами исторію тѣхъ операцій, которыя прусское правительство, въ лицѣ полиціи и цензуры, совершило надъ тремя изъ вышеупомянутыхъ дѣятелей Молодой Германіи и которыя характеристичны какъ для преслѣдователей, такъ и для самихъ преслѣдуемыхъ, поставленныхъ въ тиски и въ необходимость такъ или иначе высвободиться изъ нихъ. Мы уже упоминали выше объ этихъ попыткахъ къ высвобожденію; мы указывали на неблаговидность нѣкоторыхъ изъ нихъ. Гейгеръ сурово клеймитъ ихъ, находя въ нихъ или хитрую, но бесполезную изворотливость, или трусливое малодушіе, или даже рабское смиреніе предъ подавляющими своею силою обстоятельствами. Теоретически онъ совершенно правъ; но очень можетъ быть, что если бы ему самому пришлось быть на мѣстѣ этихъ людей, то и онъ не явился бы героемъ; очень можетъ быть, что будь эти писатели поставлены предъ судомъ присяжныхъ, эти послѣдніе сказали бы: „виновны, но заслуживаютъ снисхожденія“, хотя, какъ увидимъ, бывали здѣсь случаи, въ которыхъ и самый снисходительный жюри, на вопросъ: „виновенъ ли?“ далъ бы строго осуждающій отвѣтъ—безъ всякаго снисхожденія.

Наибольшія преслѣдованія выпали на долю Лаубе, о которомъ Гейне писалъ въ 1833 г., т. е. въ самый разгаръ дѣятельности молодого кружка: „Возможно ли мнѣ говорить о Молодой Германіи безъ того, чтобы не вспомнить о великомъ, пламенномъ сердцѣ, ярче всѣхъ прочихъ сверкающемъ изъ нея? Генрихъ Лаубе, одинъ изъ писателей, выступившихъ послѣ іюльской революціи, имѣетъ для Германіи соціальное значеніе, вся величина котораго теперь еще не можетъ быть достаточно измѣрена. Онъ обладаетъ всѣми хорошими свойствами, находимыми нами у писа-

телей прошедшаго періода, и присоединяетъ къ этому еще апостольское рвеніе Молодой Германіи. При этомъ его могучая страстность умѣряется и просвѣтляется высокимъ художественнымъ чутьемъ"... Въ ту пору, однако, когда писались эти строки (отчасти, надо сказать, панегирическія и объясняемыя тѣсною дружбой между Лаубе и Гейне), „могучая страстность“, о которой говоритъ Гейне, далеко еще не „умѣрялась“ и не „просвѣтлялась“ чѣмъ бы то ни было; напротивъ того, Лаубе былъ въ эти годы олицетвореніемъ молодого, не знающаго никакихъ границъ, часто даже безсознательнаго задора, и его, въ *этомъ* отношеніи, болѣе справедливо опредѣляетъ другой историкъ нѣмецкой литературы, какъ „смѣлаго реалиста, не имѣющаго дѣла съ *доктринами*, не трудящагося надъ разгадкой гіероглифовъ его столѣтія, но весело и дико объявившаго войну всѣмъ устарѣвшимъ обычаямъ и порядкамъ“. А у близкаго его пріятеля, Веля, читаемъ вотъ что, тоже относящееся къ первымъ годамъ выступленія Лаубе на литературное поприще: „Трудно повѣрить, съ какою смѣлостью и шумливою воинственностью появился онъ на писательской аренѣ. Гдѣ бы ни показался онъ—вездѣ раздавались боевые клики, хлопанье бича, бряцанье шпоръ и звонъ разбиваемыхъ оконныхъ стеколъ. Онъ шумѣлъ какъ бѣшеный, не всегда ясно зная, чего собственно онъ хотѣлъ. Въ немъ кипѣлъ избытокъ молодости, силы и отваги, соединенныхъ съ смутнымъ сознаніемъ, что человѣчеству приходится жутко и что надо вырвать его изъ когтей филистеровъ и людей насилія. Въ эту именно пору онъ писалъ въ одномъ изъ своихъ сочиненій: То, что не хочетъ умереть добровольно, должно быть убито“.

Этотъ шумный задоръ и былъ причиною, что на Лаубе надлежащія власти обратили свое особенное вниманіе. Въ эту пору онъ былъ уже авторомъ нѣсколькихъ сочиненій, преимущественно въ беллетристической формѣ, на которыхъ, какъ и на послѣдующихъ, мы, къ сожалѣнію, не имѣемъ возможности здѣсь даже бѣгло остановиться, замѣтивъ только, что въ нихъ рѣзко и порывисто, безъ всякой сдержанности, высказывалось сочувствіе къ политическимъ агитаціямъ, къ полной „эманципаціи плоти“, ко всему, что, какъ мы уже знаемъ, входило въ программу Молодой Германіи. Но писательская дѣятельность Лаубе была для прусской полиціи больше поводомъ къ преслѣдованію его, чѣмъ главною причиною этого послѣдняго; главная же причина заключалась въ политической, съ точки зрѣнія полицейской власти, „неблагонадежности“ молодого литератора, только что сошедшаго со студенческой скамьи, бывшаго въ университетѣ однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ членовъ тамошняго „буршеншафта“ и продолжавшаго работать на этомъ поприщѣ и за стѣнами аудиторій. Происхожденіе этихъ корпорацій относится еще къ первымъ десятилѣтіямъ девятнадцатаго вѣка. Въ 1815 г., іенскіе студенты, подъ впечатлѣніемъ только что окончившихся войнъ за освобожденіе

Германіи, основали „общій буршеншафтскій союзъ“, стремившійся къ возстановленію стараго нѣмечничества въ христіанскомъ духѣ; къ іенскому университету мало-по-малу примкнули и многіе другіе. Въ единеніе съ буршеншафтами вступили и размножавшіяся въ это время въ Германіи „гимнастическія общества“, которыя преслѣдовали тѣ же патріотическо-нравственныя цѣли. Но стремленія этихъ патріотовъ (принимавшія, впрочемъ, часто комическій характеръ своею утрировкой) къ объединенію и свободѣ Германіи пришлись очень не по вкусу Меттерниху, а подъ его давленіемъ—и многимъ нѣмецкимъ правительствамъ. Начавшіяся съ 1817 г., полицейскія преслѣдованія этихъ корпорацій все болѣе и болѣе усиливались, благодаря разнымъ политическимъ событіямъ, и въ 1830 г. приняли особенно рѣзкій характеръ, такъ какъ въ это время дѣятельность буршеншафтовъ, проявлявшаяся, какъ явно, такъ и въ формѣ тайныхъ обществъ, сходокъ и т. п., получила чисто политическую, и при томъ международную окраску, на которую нѣмецкія правительства смотрѣли какъ на нѣчто весьма для себя опасное. Въ категорію этихъ политическихъ „преступниковъ“ попалъ и Лаубе, и подробную исторію всего, что продѣлывалось съ нимъ, сообщаютъ—въ дополненіе къ уже извѣстнымъ фактамъ—обнародованные Гейгеромъ документы.

Преслѣдованіе началось въ декабрѣ 1832 г., по инициативѣ „правительственнаго президента“ (Regierungspräsident) Рохова, который два года спустя получилъ постъ министра внутреннихъ дѣлъ и прославился особенною свирѣпостью въ гоненіяхъ на тѣхъ, въ которыхъ правительство подозрѣвало „демагоговъ“ (а демагогомъ признавало оно въ это время всякаго, слишкомъ гласно обнаруживавшаго мало-мальски либеральныя тенденціи). Роховъ указалъ тогдашнему министру внутреннихъ дѣлъ на проживавшаго въ то время въ Лейпцигѣ Лаубе, какъ на изобрѣтателя и распространителя неблагопріятныхъ для Пруссіи свѣдѣній и извѣстій, и высказалъ мнѣніе, что слѣдовало бы привлечь Лаубе къ отбыванію воинской повинности и этимъ путемъ удалить его изъ Лейпцига. Оказалось, однако, что его свидѣтельствовали уже въ 1826 г. и, благодаря его близорукости, признали негоднымъ къ военной службѣ. Приходилось Рохову и его сподвижникамъ выжидать, чтобы этотъ опасный человѣкъ самъ доставилъ матеріалъ для преслѣдованія его особы. На помощь полиціи пришло цензурное вѣдомство. Появившееся какъ разъ въ это время сочиненіе Лаубе „О Польшѣ“ вызвало со стороны верховнаго цензурнаго комитета (Oberzensurkollegium) докладъ министру внутреннихъ дѣлъ, въ которомъ, между прочимъ, говорилось: „Это сочиненіе, содержащее исторію Польши отъ древнѣйшихъ временъ, но подробно излагающее только событія новѣйшія, написано съ рѣдкою дерзостью. Въ немъ не только встрѣчаются вообще мысли, клонящіяся къ потрясенію существующаго государственнаго

устройства, но оно заключаетъ въ себѣ и самыя грубыя оскорбленія прусскаго и русскаго правительствъ. Что касается Пруссіи, то ей, а равно и Австріи, дѣлается упрекъ въ томъ, что оба эти государства никогда не дѣлали ничего въ пользу высшихъ интересовъ, и что своимъ существованіемъ они обязаны только счастьемъ и насилію. О Фридрихѣ Вильгельмѣ III сказано, будто исторія можетъ прославить его только за то, что онъ царствовалъ недолго; затѣмъ онъ обвиняется въ томъ, что отрекся отъ трижды данныхъ имъ торжественнѣйшихъ клятвъ. На дворянство Силезіи дѣлаются рѣзкія нападки, его называютъ „желудочнымъ ракомъ бѣдной страны“, вся провинція обвиняется авторомъ въ „глухомъ тупоуміи“.—Въ силу этихъ и еще многихъ преступленій, найденныхъ въ книгѣ Лаубе, цензурный комитетъ предложилъ,—а министръ внутреннихъ дѣлъ утвердилъ предложенное—1) запретить это сочиненіе, 2) касательно *имѣющихъ появиться впредь* томовъ начатаго сочиненія „Новое Столѣтіе“ (сочиненіе „О Польшѣ“ составляло первую часть „Новаго Столѣтія“) принять надлежащія мѣры, 3) выразить Баваріи сожалѣніе, что она допустила печатаніе книги „О Польшѣ“, и 4) сообщить о вышеизложенномъ комиссіи по дѣламъ печати при бундестагѣ.

Благо дѣло было начато—продолженіе не заставило себя долго ждать. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя подверглись запрещенію два новыхъ сочиненія Лаубе: „Письма Гофрата или Признаки молодой бюргерской души“ (впослѣдствіи печатавшееся подъ заглавіемъ „Политическія Письма“) и первые два тома романа „Молодая Европа“. Мотивомъ запрещенія перваго сочиненія приводилось то, что оно имѣетъ антипрусски-революціонный характеръ, въ религіозномъ отношеніи богохульно, содержитъ въ себѣ восхваленіе іюльскихъ дней, съ большими похвалами отзывается о Бѣрне, Роттекѣ и ихъ единомышленникахъ, наконецъ, проповѣдуетъ мысль, что конституція образуетъ только переходъ къ республикѣ. Что касается до „Молодой Европы“, то это сочиненіе цензурный комитетъ призналъ еще болѣе преступнымъ. „Эта книга—говорилось въ докладѣ министру—за исключеніемъ нѣсколькихъ, впрочемъ, тоже крайне неприличныхъ мѣстъ не прямо политическаго содержанія, является однимъ изъ безнравственнѣйшихъ сочиненій, соблазнъ котораго для многихъ умовъ, еще не укрѣпившихся въ своихъ ощущеніяхъ, усиливается остроумною, свидѣтельствующею о большомъ дарованіи формою; книга эта—одна изъ тѣхъ, которыя позорятъ нѣмецкую литературу и могутъ быть поставлены наравнѣ съ скандальнѣйшими и грязнѣйшими произведеніями французской литературы въ этомъ родѣ писательства. Еще болѣе усиливается опасность отъ нея тѣснымъ соединеніемъ грубѣйшей чувственности съ болѣе тонкими и духовными мотивами и тенденціями. Кромѣ того, есть здѣсь много богохульнѣйшихъ нападокъ на религію, собенно христиан-

скую“. — Прошло еще нѣсколько времени, и цензурное вѣдомство набросилось на „Новыя Письма“ Лаубе, печатавшіеся въ выходившемъ подъ его редакцію журналѣ „Zeitung für die elegante Welt“. Преступность ихъ, по мнѣнію верховнаго цензурнаго комитета, заключалась въ томъ, что они свидѣтельствовали о величайшей фривольности (Frivolität) автора, высказывались въ своихъ политическихъ замѣчаніяхъ въ пользу оппозиціи штутгардскому собранію государственныхъ чиновъ, прославляли іюльскую революцію, восхваляли Бёрне и Гейне, утверждали, что демократизмъ составляетъ основную идею христіанства, осуждали берлинскіе порядки, осмѣливаясь даже утверждать, что „въ Берлинѣ существуетъ плачевная школа лицемѣрія“ и что „это извращенное направленіе исходитъ сверху и тамъ же находитъ себѣ покровительство и содѣйствіе“; осуждали порядокъ управленія берлинскимъ театромъ и обличали мошенничество и злоупотребленія въ музеѣ... Полиція видѣла въ этихъ обвиненіяхъ тотъ желанный поводъ для расправы съ Лаубе, котораго, какъ выше сказано, она усердно искала. Узнавъ о цензурныхъ приговорахъ и полицейскомъ вниманіи, Лаубе изъ Бреславля поѣхалъ въ Берлинъ; пріѣхалъ онъ туда „въ почти неспостижимой строптивости—замѣчаетъ Гейгеръ—или съ безграничнымъ чувствомъ своей независимости“. Здѣсь его ожидалъ тайный полицейскій надзоръ, о бдительности котораго можно судить по тому, что въ найденныхъ Гейгеромъ документахъ обозначено, куда онъ ходилъ изъ своей квартиры, съ кѣмъ именно видѣлся и т. п.; а скоро послѣ того президенту полиціи было предложено министромъ внутреннихъ дѣлъ допросить Лаубе объ авторахъ статей и корреспонденцій въ „Elegante Zeitung“ и о его знакомствѣ съ нѣсколькими „подозрительными“ людьми, въ случаѣ же заpiresательства на вопросы—подвергнуть его тюремному заключенію. Отвѣты показались полицейской любознательности неудовлетворительными и Лаубе засадили въ тюрьму. Одновременно съ этимъ арестовали его бумаги и книги и въ списокъ этихъ послѣднихъ, какъ особенно опасныя, подчеркнуты производившими обыскъ и арестъ: сочиненіе Морица Фейта о сенъсимонизмѣ, Мундта—„Lebenswirren“ и—Бальзака „Psychologie du mariage“!.. Само собою разумѣется, что въ полицейскихъ преслѣдованіяхъ Лаубе и его арестованіи не малую роль играли шпіоны-доносчики. Такъ одинъ изъ нихъ—бывшій „другъ“ Лаубе, прикидывавшійся отчаяннымъ либераломъ и потомъ сдѣлавшійся образцовымъ сыщикомъ—обвинилъ его въ тайномъ и незаконномъ участіи въ одномъ изъ буршеншафтовъ; другой, смѣнившій Лаубе въ качествѣ домашняго учителя въ одномъ аристократическомъ семействѣ, донесъ, что его предшественникъ внушалъ своему ученику опасныя идеи о равенствѣ всѣхъ сословія, такъ что мальчикъ выразился однажды, что если бы онъ

былъ взрослый человекъ, то кинулъ бы къ ногамъ короля свою дворянскую грамоту.

Въ тюрьмѣ настроеніе Лаубе мгновенно измѣнилось; еще недавно проявляемая пылкая, доходившая до кичливости, самоуверенность и вызывающая смѣлость смѣнились видимымъ смиреніемъ и отрицаніемъ не только того, что взводилось на него ложно, но и такихъ фактовъ, которые были несомнѣнны. Почти въ первый же день его заточенія, ему было предложено дать письменное показаніе обо всей своей частной и литературной жизни до этого времени; эта своего рода автобіографія напечатана теперь впервые Гейгеромъ, и для насъ она особенно интересна именно тѣми мѣстами, въ которыхъ Лаубе отрицается отъ своего прошлого или старается такъ или иначе извернуться. Такъ, напримеръ, по поводу вышеупомянутой своей книги „Briefe eines Hofrathes“, напечатанной въ 1833 г., онъ въ этомъ показаніи, данномъ только черезъ годъ послѣ того, говоритъ: „Обращаю вниманіе кого слѣдуетъ на то обстоятельство, что послѣ появленія „Писемъ Гофрата“ я, можетъ быть, ни разу больше не заглянулъ въ эту книгу и въ настоящее время не помню въ точности ея содержанія. Не могу скрыть, что мнѣ непріятны допросы на счетъ этого содержанія потому, что отъ высказанныхъ тамъ политическихъ мнѣній я давно отказался и уже въ 1833 г. пришелъ къ совершенно инымъ взглядамъ“... Упомянувъ о своихъ „Путевыхъ Новеллахъ“, вышедшихъ въ 1833 г., Лаубе прибавляетъ: „Уже эта книга высказываетъ эпизодически, въ шутливой формѣ, тогдашній мой взглядъ на либерализмъ, приверженцемъ котораго я былъ прежде. Дѣло въ томъ, что довольно долговременный опытъ научилъ меня, что всѣ происходившія до сихъ поръ политическія возбужденія (Aufregungen) подвергали опасности спокойствіе существованія гражданскаго общества; поэтому я не только совсѣмъ пересталъ писать въ такъ называемомъ либеральномъ духѣ, но и старался въ своихъ „Путевыхъ Новеллахъ“ изображать этотъ духъ, какъ не могущій приводить къ удовлетворительнымъ результатамъ“... Статью „Historische Zustände“ онъ, по его словамъ, написалъ „въ началѣ того періода, когда отрѣшился отъ всѣхъ своихъ прежнихъ симпатій и старался приобрести совершенно новый взглядъ на вещи“. Тутъ же онъ упоминаетъ о своей написанной, но еще не напечатанной статьѣ, въ которой высказывается его несочувствіе столько же къ реакціонному направленію, сколько и къ „неспокойному либеральному движенію“...

На устныхъ допросахъ Лаубе держался большею частью той же системы; однажды онъ дошелъ даже до совершенно постыднаго показанія: отрицая „безнравственность“ своихъ сочиненій, въ которой его обвиняли, онъ заявилъ, что въ сочиненіяхъ Гейне или письмахъ Рахили Варнгагенъ найдутся вещи гораздо похуже! Принадлежность свою къ буршеншафту въ Галле и Бреслау онъ

отрицалъ также упорно, хотя это было несомнѣнно и извѣстно всѣмъ, и хотя собственно по закону принадлежность къ этимъ обществамъ не влекла за собою такихъ наказаній, какъ тюремное заключеніе; преслѣдованіе ихъ было, такъ называемое, административное. На допросѣ по поводу „Писемъ Гофрата“ онъ отрицалъ, что это сочиненіе написано съ цѣлью возбудить неудовольствіе подданныхъ противъ правительства; впрочемъ, по его словамъ, онъ въ позднѣйшихъ своихъ сочиненіяхъ отрекся отъ мыслей и чувствъ, высказанныхъ въ этой книгѣ, сильно нападалъ въ нихъ на Бёрне и „защищалъ монарховъ“ и никогда не желалъ обвинять въ чемъ бы то ни было Пруссію. Скоро послѣ этого допроса, по предложенію верховнаго цензурнаго комитета была запрещена новая серія „Путевыхъ Новелль“ Лаубе, какъ книга, въ которой „преобладала въ высшей степени безнравственная, примыкавшая къ пагубнымъ идеямъ такихъ писателей, какъ Гейне и Винбаргъ, тенденція“, и также „часто высказывалась открыто самая ядовитая вражда къ христіанству и христіанской церкви“... Лаубе обратился съ просьбой о защитѣ къ наслѣдному принцу. Чтò стало съ этой просьбой—неизвѣстно, но въ тотъ самый день, когда она была отправлена, вступило въ силу постановленіе камеръ-герихта привлечь Лаубе къ отвѣтственности за нѣкоторыя мѣста въ его „Письмахъ Гофрата“, за дерзкое порицаніе государственныхъ установленій, за возбужденіе неудовольствія противъ германскаго союза и порицаніе короля,—присоединить къ этому дѣлу обвиненіе въ принадлежности къ буршенштамъ и перевезти Лаубе изъ одного тюремнаго заключенія въ другое, болѣе строгое—изъ Stadtvogtei въ Hausvogtei. Слѣдствіе было возложено на свирѣпаго Дамбаха. На допросѣ по поводу все тѣхъ же злосчастныхъ „Писемъ Гофрата“ Лаубе далъ слѣдующее, очень странное и—надо сказать правду—очень ужъ наивное письменное показаніе: „Книга эта, и особенно предисловіе къ ней, написана въ легкомъ тонѣ и частью юмористически. Поэтому я покорнѣйше прошу не порицать отдѣльныя, можетъ быть неумѣстныя, выраженія, а имѣть въ виду цѣлое, которое не заключаетъ въ себѣ ничего, положительно направленного противъ существующаго порядка. Вся книга написана въ то время, когда не особенно стѣснялись въ тонѣ и выраженіяхъ. Это побудило и меня, молодого писателя, дать свободу своему перу, безъ всякаго при этомъ преступнаго намѣренія. Я не могу убѣдить себя въ томъ, что порицаніе, въ этой формѣ, существующихъ цензурныхъ установленій есть дѣло достойное наказанія. До тѣхъ поръ, пока сама цензура позволяетъ такое порицаніе, я не могу признать его подлежащимъ карѣ. Я полагалъ, что цензура служить мнѣ гарантіею противъ всякой отвѣтственности, и именно поэтому писалъ, нисколько не стѣняясь, предоставляя ея усмотрѣнію рѣшать, чтò она находитъ позволительнымъ въ этомъ

писаніи. Если бы у насъ не было цензурныхъ учреждений, я во всякомъ случаѣ тщательнѣе взвѣшивалъ бы выраженія, ибо у меня не было бы судьи, который высказалъ бы свое мнѣніе о нихъ. Я лично во всякомъ случаѣ предпочитаю писать подцензурно, чѣмъ безцензурно, до тѣхъ поръ, пока не установлены спеціальныя законы о печати“. На этомъ же допросѣ Лаубе утверждалъ, что его политическія убѣжденія сводятся собственно къ защитѣ народнаго представительства, свободы печати и строгаго исполненія закона. Онъ настаивалъ на томъ, что его нельзя дѣлать отвѣтственнымъ за мнѣнія крайней партіи, и нѣсколько разъ заявлялъ, что ему и въ голову не приходило порицать установленія и порядки Пруссіи. Когда ему поставили на видъ, что онъ въ этомъ сочиненіи возвеличивалъ Бёрне, онъ указалъ на нѣсколько мѣстъ въ той же книгѣ, гдѣ Бёрне подвергался рѣзкому порицанію (хотя на самомъ дѣлѣ порицаніе высказывалось однимъ изъ дѣйствующихъ лицъ, державшимся воззрѣній, противоположныхъ убѣжденіямъ автора); а по поводу одного мѣста, гдѣ Бёрне прославлялся ужъ особенно горячо, Лаубе далъ совсѣмъ любопытный отвѣтъ: „Въ оправданіе этихъ строкъ я могу сослаться только на мою тогдашнюю болѣзнь“. Не менѣе любопытны и заключительныя слова его показанія на допросѣ: „Вообще я не имѣю намѣренія защищать эту книгу (т. е. „Письма Гофрата“). Изъ высказанныхъ тамъ крайнихъ мнѣній я въ настоящее время уже не раздѣляю ни одного и въ особенности порицаю кажущійся вызовъ къ ниспроверженію существующаго порядка—вызовъ, которымъ я, въ моемъ тогдашнемъ возбужденномъ состояніи, обязанъ чтенію „Парижскихъ Писемъ“ Бёрне. Провокація никогда не входила въ мои цѣли, и это доказывается тѣмъ, что въ моей книгѣ постоянно выражаются сомнѣніе и колебаніе при созерцаніи существующихъ порядковъ. Поэтому я прошу моихъ судей, при критикѣ моего сочиненія, отнестись ко мнѣ съ тою историческою снисходительностью, въ которой нельзя отказать молодому писателю, въ первый разъ пускающемуся въ область политики“.

Выше мы упомянули о взведенномъ на Лаубе—по доносу—обвиненіи въ совращеніи съ пути вѣрннаго ему, какъ воспитателю, мальчика. Знаменитый слѣдователь обратилъ свое вниманіе и на этотъ пунктъ, и этотъ эпизодъ Гейгеръ справедливо называетъ „необычайно характеристическимъ продуктомъ тогдашняго вынохиванія демагоговъ (Demagogenriecherei) прусскою полиціею“. Къ допросу привели родителей ученика и самого мальчика, которому въ это время было всего десять лѣтъ отъ роду. Паленька заявилъ, что онъ прервалъ съ Лаубе всякія сношенія, ибо этотъ учитель „считался революціонной головой, и въ городѣ говорили, что онъ и моего сына воспитаетъ революціонеромъ... И я твердо убѣжденъ, что будь въ ту пору моему сыну не восемь лѣтъ, а пятнадцать-семнадцать, Лаубе привилъ бы ему свои

революціонныя идеи. Я самъ, въ то время, какъ онъ жилъ въ моемъ домѣ, нашелъ въ немъ, не смотря на его сердечность и сдержанность, человѣка съ весьма либеральными принципами, который, полагаю, сталъ бы сражаться съ существующимъ порядкомъ, еслибы это было въ его власти. Изъ опредѣлительно высказывавшихся имъ мнѣній мнѣ извѣстно только то, что онъ оправдывалъ польскую революцію и находилъ ее совершенно въ порядкѣ вещей“. Показаніе матери было иного свойства. Она заявила, что въ урокахъ Лаубе ея сыну не замѣчала ничего предосудительнаго—развѣ только то, что онъ оказывался рѣшительнымъ врагомъ дворянства. Нашли нужнымъ допросить и учителя. Изъ отвѣтовъ мальчика можно было вывести только одно заключеніе—что учитель его былъ очень добросовѣстенъ и строгъ въ исполненіи своихъ обязанностей и что имъ никогда не высказывались антимонархическія и революціонныя мысли; напротивъ того, мальчикъ буквально привелъ сказанныя однажды его учителемъ слова: „когда король хорошъ, тогда монархическое правленіе лучше другого“. Слѣдователь пожелалъ узнать, какъ относится десятилѣтній ребенокъ самъ къ дворянству; тотъ послѣ нѣкотораго колебанія отвѣчалъ: „Я думаю, что нужно уничтожить существующее теперь дворянство и затѣмъ создать новое, по личнымъ заслугамъ. Ибо такъ какъ всѣ другія сословія могутъ пріобрѣтать себѣ такія же заслуги, то я не вижу основанія, почему дворянамъ должно быть оказываемо преимущество“.

Какъ ни хотѣлось слѣдователю „упечь“ Лаубе по этому педагогическому преступленію—но доказательства во вредъ обвиняемому были слишкомъ шатки и смутны. Точно также трудно было фактически доказать его преступность, какъ участника въ буршенштахъ, и послѣ шестимѣсячнаго заключенія въ тюрьмѣ его выпустили,—но съ условіемъ, чтобы онъ немедленно выѣхалъ изъ Берлина и возвратился къ себѣ на родину. Лаубе представилъ медицинское свидѣтельство о необходимости ему полѣчиться гомеопатіей, и ему милостиво дозволили остаться на нѣкоторое время въ Берлинѣ; само собой разумѣется, что здѣсь былъ тотчасъ же установленъ строгій полицейскій надзоръ, при чемъ, однако, ему оказана была большая любезность—дозволеніе ходить по улицамъ не въ сопровожденіи жандармовъ. Два мѣсяца спустя онъ попросилъ позволенія поселиться въ Наумбургѣ; это ему разрѣшили, въ надеждѣ—какъ было сказано въ официальной бумагѣ—„что вы отреклись отъ вашихъ столько же пагубныхъ, сколько и предосудительныхъ идей и, серьезно раскаяваясь въ прошедшемъ, докажете не только своимъ поведеніемъ и знакомствами, но и своими писательскими работами серьезное желаніе вести себя отнынѣ такъ, какъ подобаетъ честному вѣрноподданному его величества“. Въ Наумбургѣ жилось ему довольно спокойно, литературныя работы его проходили довольно безпре-

пятственно,—но тутъ подоспѣлъ доносъ Менцеля, и въ обрушившихся на всю Молодую Германію преслѣдованіяхъ Лаубе, какъ человѣку всетаки самому „подозрительному“, пришлось страдать больше другихъ—и больше другихъ прибѣгать къ прежней изворотливости и видимому отреченію отъ своего прошлаго. Говоримъ „видимому“, потому что если измѣнился тонъ его писаній, если онъ началъ не только выражаться мягче, но и давалъ своимъ произведеніямъ болѣе серьезное, болѣе обдуманное, болѣе трезвое содержаніе, — то фундаментъ въ немъ остался прежній. „Менцель — писалъ онъ, послѣ первыхъ печатныхъ доносовъ этого господина, Варнгагену,—такъ грязенъ, такъ фанатически пошлъ, что я чувствую потребность написать брошюру противъ этого терроризма и въ пользу нѣкоторыхъ областей дѣятельности нашей, такъ называемой, новой школы. Только въ моемъ положеніи это будетъ тяжелымъ дипломатическимъ актомъ... Мое положеніе научаетъ меня лучше писать, но не лучше поступать; приходится слишкомъ много лгать или, по крайней мѣрѣ, прибѣгать къ полу-лжи“. Въ другомъ письмѣ, тоже къ Варнгагену, читаемъ такіа слова: „Мнѣ очень явственно даютъ понять, что спасти свое существованіе я могу только въ томъ случаѣ, если открыто выскажусь противъ разрушительныхъ тенденцій теперешней молодой литературы“. И увы! или велика была до позорности—скажемъ прямо—слабость его характера, или ужъ въ самомъ дѣлѣ очень жутко приходилось ему—только то отреченіе, котораго, какъ онъ говоритъ, отъ него требовали, онъ совершилъ въ постыдно неблаговидной формѣ. Издатель газеты „Mitternachts Zeitung“ въ Брауншвейгѣ, хотѣлъ поручить редактированіе ея Лаубе и просилъ прусское правительство допустить обращеніе ея въ Пруссіи. И вотъ Лаубе, чтобы склонить въ свою пользу подлежащія власти, не постыдился напечатать въ „Allgemeine Zeitung“ слѣдующее заявленіе: „Когда я общалъ д-ру Гуцкову (т. е. еще недавно его другу и единомышленнику) сотрудничать въ задуманномъ имъ журналѣ „Deutsche Revue“, то это отнюдь не значило, что тенденции такъ называемой Молодой Германіи, нападающія на существующую цивилизацію или даже грозящія ей опасностью, найдутъ поддержку и содѣйствіе въ моихъ статьяхъ. Напротивъ того, я тогда же открыто заявилъ, что не имѣю ничего общаго съ какимъ бы то ни было ультраизмомъ этого рода... Настоящее заявленіе считаю необходимымъ сдѣлать потому, что меня считаютъ солидарнымъ съ этою Молодой Германіей, къ которой я нисколько не принадлежу“.—Этимъ, однако, Лаубе не ограничился: онъ выпустилъ еще два манифеста о своемъ отреченіи. Въ одномъ изъ нихъ—составлявшемъ какъ бы объявленіе отъ редактора вышеупомянутой газеты—онъ самымъ благонамѣреннымъ образомъ отстаивалъ созданный исторіею порядокъ вещей, называлъ его „авторитетомъ, которому надо салютовать

шпагой“, строго осуждалъ то стремленіе къ разрушенію его, которое онъ самъ такъ ревностно практиковалъ еще недавно, и высказывалъ убѣжденіе, что „на націю всегда дѣйствуютъ пагубно, когда осмѣиваютъ учрежденія и интересы, которые ей дороги. Настоящее заявленіе—продолжалъ онъ—я счелъ необходимымъ сдѣлать публикѣ, потому что благодаря необдуманнѣйшимъ классификаціямъ, которыя безъ толку дѣлаютъ наша журналистика, публика привыкла часто видѣть мое имя связаннымъ съ названіемъ Молодой Германіи. Совсѣмъ другое дѣло, когда я говорю о нашей молодой литературѣ, о новомъ писательствѣ и т. п. Эта литература, это писательство держать себя совершенно въ сторонѣ отъ жизненныхъ вопросовъ социальной культуры. Ихъ стремленія направлены только къ эстетическимъ формамъ, и центръ этихъ послѣднихъ—мѣра и красота—они будутъ неустанно защищать отъ всякихъ непріязненныхъ покушеній“ *).—Третій „манифестъ“—цѣлая статья, озаглавленная „Молодая литература“. Это документъ, посланный редакторомъ и издателемъ министру внутреннихъ дѣлъ и найденный—въ напечатанномъ видѣ—Гейгеромъ въ архивныхъ документахъ. Тутъ опять новыя варіаціи на ту же тему. Тутъ увѣреніе Лаубе, что онъ „боится республиканской нивелировки, какъ арены всѣхъ тривиальныхъ мелкихъ страстей“ и „находитъ въ монархизмѣ желательную гордую поэзію“; тутъ осужденіе Молодой Германіи, за ея якобы отрицательное отношеніе къ любви, вѣрности, религіи и т. п., однимъ словомъ, за ея „непочтительное отношеніе къ существующему порядку“; тутъ въ заключеніе и такая тирада: „Я не считаю нужнымъ просить извиненія въ томъ, что говорю здѣсь такъ много о моемъ собственномъ, личномъ дѣлѣ. Оно находится здѣсь въ связи съ такимъ дѣломъ, которое именно важно въ историческій моментъ,—и я долженъ также открыто сказать, что за писателемъ, котораго обвиняютъ въ безнравственномъ образѣ мыслей, я признаю право выступать передъ публикой собственной персоной, съ открытой грудью. Совсѣмъ не пустякъ—постоянно обращать на себя недоброжелательные и подозрительные взгляды за тѣ порочныя мнѣнія и мысли, которыя выдумываетъ другой, случайно бывшій моимъ товарищемъ. Молчать и сносить удары за горланье глотки, которая раскрылась подлѣ меня—въ высшей степени смѣшное дѣло... Но и болѣе глубокія соображенія побуждаютъ меня къ этому заявленію. Нравственная репутація писателя то же, что нравственная репутація дѣвушки... Каждая школа страдаетъ грубою односторонностью... Было необходимо представить доказательства, что я, другъ Гуцкова, считаю его

*) Неизвѣстно, почему Гейгеръ приводитъ это заявленіе, какъ существующее въ рукописи и до сихъ поръ неизвѣстное; оно напечатано уже въ Штротдмановской біографіи Гейне, вышедшей въ 1874 г.

„Валли“ какимъ-то демоническимъ порожденіемъ и отрекаюсь отъ демоническихъ выводовъ этой школы, что я отнюдь не раздѣляю ея разрушительныхъ воззрѣній на любовь, религію и бракъ, что меня, напримѣръ, въ ужасъ привела блѣдно прозаическая мысль—вмѣсто брака, вмѣсто этого совмѣстнаго сожительства, освященнаго всѣмъ, что есть задушевноѣйшаго и благороднѣйшаго въ человѣкѣ, предложить нѣсколько юридическихъ формулъ касательно дѣтей и воспитательныхъ домовъ, имущественной собственности и разныхъ другихъ внѣшнихъ вещей, которыя рас­торгаютъ всякую семью и всякую внутреннюю связь общества“.

Но прусскую полицію и прусскую цензуру было не легко поддѣть на удочку. Покаянныя заявленія Лаубе приносили ему мало пользы. Во первыхъ, хотя, какъ уже выше сказано, въ Наумбургѣ жилось ему довольно спокойно, но полицейскій надзоръ сохранялся неприкосновенно—въ ожиданіи, какъ рѣшится его процессъ; такъ, напримѣръ, этимъ послѣднимъ обстоятельствомъ былъ мотивированъ отказъ выдать ему паспортъ для поѣздки въ Копенгагенъ. Во вторыхъ, газету „Mitternachtszeitung“ не допускали къ обращенію въ Пруссіи, при чемъ, однако, сообщили издателю, чтобы онъ, по истеченіи четырехъ мѣсяцевъ, представилъ вышедшіе за это время номера въ прусское цензурное управленіе. Посмотримъ, молъ, какъ вы себя вели, а потомъ разсудимъ. Но въ іюнѣ 1836 г., когда Лаубе подписывавшійся до тѣхъ поръ въ газетѣ, какъ редакторъ, докторомъ Бринкмейеромъ, подписался своимъ настоящимъ именемъ—газету совсѣмъ запретили. А нѣсколько мѣсяцевъ спустя наступила и развязка его процесса. Состоялось рѣшеніе камеръ-герихта, по которому подсудимый „за участіе, принимавшееся имъ въ буршеншафтъ въ Галле, за дерзкое, клонящееся къ возбужденію неудовольствія порицаніе какъ королевско-прусскаго правительства, такъ и правительствъ союзныхъ и дружественныхъ державъ, за непочтительное отношеніе къ одному иноземному правителю (Николаю I)—лишался права носить прусскую національную кокарду и занимать какія бы то ни было общественныя должности, а сверхъ того приговаривался къ семилѣтнему заключенію въ крѣпости и къ уплатѣ судебныхъ издержекъ“. Получивъ извѣщеніе объ этомъ приговорѣ, Лаубе заявилъ, что онъ отказывается отъ дальнѣйшей самозащиты, но обратился съ просьбою о помилованіи къ королю. Эта просьба была передана на разсмотрѣніе комитета министровъ. Комитетъ выразилъ мнѣніе, что изъ назначенныхъ на тюремное заключеніе семи лѣтъ, одинъ годъ, присужденный за „дерзкія сочиненія“, не можетъ быть сокращенъ; тѣ же шесть лѣтъ, которыя приходилось высидѣть въ тюрьмѣ за участіе въ буршеншафтѣ, можно бы замѣнить заключеніемъ шестимѣсячнымъ. Король согласился съ этимъ мнѣніемъ—и Лаубе посадили въ крѣпость въ Мюскау. Нѣсколько просьбъ его о сокращеніи тюремнаго срока остались

неудовлетворенными; въ это же время, продолжались и запрещенія въ Пруссіи нѣкоторыхъ новыхъ его сочиненій, издававшихся въ другихъ государствахъ: такъ запрещено было продолженіе романа „Молодая Европа“ на томъ основаніи, что—какъ замѣтилъ цензоръ—эти новые томы, хотя и были написаны прекрасно, но содержаніе ихъ было таково, что могло весьма легко вызывать во многихъ умахъ мрачное настроеніе.

Высидѣвъ въ крѣпости полтора года, Лаубе получилъ милостивое разрѣшеніе отправиться куда ему угодно—и поѣхалъ въ Парижъ. Пріемъ, который оказалъ ему Гейне (не перестававшій, скажемъ кстати, до самой смерти быть съ нимъ въ самыхъ тѣсныхъ душевскихъ отношеніяхъ) служить довольно убѣдительнымъ доказательствомъ, что люди, близко знавшіе и понимавшіе Лаубе, не считали его отреченій дѣйствительнымъ отступничествомъ и принимали его только за вынужденный компромисъ съ неумолимыми обстоятельствами... Но если измѣнилась къ лучшему его личная судьба, то на литературной дѣятельности его—какъ и другихъ „молодыхъ германцевъ“—продолжала лежать тяжелымъ бременемъ опала, наложенная на нее извѣстнымъ намъ постановленіемъ бундестага. Съ воцареніемъ Фридриха Вильгельма IV, какъ мы уже говорили, явилась въ Молодой Германіи надежда на освобожденіе; но мы упоминали также и о томъ, что эти надежды скоро смѣнились печальнымъ разочарованіемъ: амнистія, данная политическимъ преступникамъ, на Молодую Германію не распространилась. Лаубе возобновилъ свои ходатайства. Въ іюлѣ 1840 г. онъ обратился къ министру внутреннихъ дѣлъ съ просьбою, въ которой, по поводу назначенія для сочиненій „молодыхъ германцевъ“, уже пропущенныхъ цензурою въ другихъ германскихъ государствахъ, еще особаго цензора собственно для Пруссіи, указывалъ на крайнее неудобство этой двойной цензуры: причиняемая этимъ обстоятельствомъ потеря времени—доказывалъ Лаубе—дѣлаетъ невозможнымъ выпускъ періодическихъ изданій, а сочиненіямъ другого рода приходится очень плохо потому, что часто ихъ запрещаютъ къ обращенію въ Пруссіи изъ-за какой нибудь одной строки. Какъ на результаты такого образа дѣйствій, Лаубе указывалъ, на примѣръ, на то обстоятельство, что его „Исторія нѣмецкой литературы“, сочиненіе и по тону, и по сдержанію совершенно невинное (каковымъ оно было на самомъ дѣлѣ) до сихъ поръ не поступило въ продажу въ Пруссіи, хотя вышло уже довольно давно—потому что вторичная, собственно прусская цензура, еще не окончена. Вообще, по словамъ Лаубе, нигдѣ запретительныя мѣры противъ Молодой Германіи не примѣнялись такъ строго, какъ въ Пруссіи, а въ нѣсколькихъ нѣмецкихъ государствахъ онѣ и совсѣмъ не примѣнялись. Что касается лично себя, то и тутъ Лаубе счелъ нужнымъ указать на свою благонамѣренность, напомнить, что въ послѣдніе годы онъ нѣсколько разъ доказалъ,

что онъ истинно-прусскій патриотъ; что въ сочиненіи „Görzes und Athanasius“ онъ выступилъ защитникомъ Пруссіи; что въ своей исторіи литературы онъ явился провозгласителемъ могущества этого государства. На основаніи всего вышеизложеннаго онъ просилъ объ изыятіи его литературной дѣятельности изъ опалы, лежавшей на Молодой Германіи. Ему отвѣчали стереотипною фразою, что просьбу его „будутъ имѣть въ виду...“ Но пересмотръ „дѣла о Молодой Германіи“ всетаки начался въ Пруссіи. Высшая власть, т. е. министерство внутреннихъ дѣлъ, предложила верховному цензурному комитету высказать свое мнѣніе по этому предмету. Комитетъ заявилъ, что за послѣднее время онъ въ сочиненіяхъ Лаубе (и Мундта) не находилъ ничего предосудительнаго,—что изъ сочиненій другихъ „молодыхъ германцевъ“ ему, тоже за послѣднее время, пришлось запретить всего три,—и что поэтому онъ полагаетъ возможнымъ снять опалу, наложенную бундестагомъ. Мнѣніе цензурнаго вѣдомства пошло ходить по тремъ министерствамъ. Министръ внутреннихъ дѣлъ не согласился съ нимъ — изъ опасенія, что если устранить существующія ограничительныя мѣры, то освобожденные писатели, пожалуй, снова пустятся въ „свои прежнія безчинства“. Министръ иностранныхъ дѣлъ, напротивъ, стоялъ за полное освобожденіе опальныхъ писателей отъ связывавшихъ ихъ литературную дѣятельность ограниченій. Министръ исповѣданій присоединился къ этому мнѣнію, но съ условіемъ, чтобы отмѣненное постановленіе бундестага вошло снова въ силу, какъ только писатели Молодой Германіи опять вступятъ на новую дорогу. Представили всѣ эти соображенія королю. У него дѣло пролежало семь мѣсяцевъ, и, наконецъ, въ концѣ февраля 1842 г., т. е. черезъ годъ послѣ того, какъ высказался по этому дѣлу верховный цензурный комитетъ, послѣдовалъ слѣдующій высочайшій указъ начальнику кабинета: „По разсмотрѣннн вашего доклада уполномочиваю васъ направленные противъ сочиненій Молодой Германіи ограничительныя мѣры отмѣнить относительно тѣхъ, къ этой категоріи принадлежащихъ писателей, которые, живя въ Германіи (стало быть, Гейне, жившій въ Парижѣ, не удостоился этой милости), лично дадутъ обѣщаніе отнынѣ добросовѣстно избѣгать въ своихъ сочиненіяхъ всего, чтò оскорбляетъ религію, государственное устройство и нравственный законъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдуетъ объявить этимъ писателямъ, что въ случаѣ возврата ихъ къ прежнему пагубному направленію, отмѣняемыя нынѣ мѣры будутъ снова восстановлены, и уже навсегда“. Другими словами—потребовалось публичное раскаяніе, и при томъ такого рода, что если, молъ, господа, вы нарушите данное вами слово, то на васъ, какъ на нарушителей слова, мы будемъ смотрѣть какъ на безчестныхъ людей. Лаубе не заставилъ себя долго ждать—и далъ требуемую подписку въ томъ, что будетъ „впередъ добросовѣ-

стно избѣгать въ своихъ сочиненіяхъ всего, что оскорбляетъ религію, государственное устройство и нравственный законъ“; онъ обѣщалъ даже, что будетъ стремиться къ „направленію своихъ сочиненій въ нравственномъ и религіозномъ духѣ“, при чемъ, однако, поспѣшилъ чуть не въ сотый разъ заявить, что у него и никогда не было въ мысляхъ писать что либо безнравственное или антирелигіозное... Слова своего Лаубе съ этихъ поръ не нарушилъ. Онъ не написалъ ничего такого, что дало бы возможность полиціи и цензурѣ прямо придаться къ нему, какъ къ „клятвопреступнику“; но—и этимъ значительно ступаются тѣ пятна, съ которыми мы встрѣтились—но не написалъ онъ также (какъ было и до тѣхъ поръ) ни одной такой строки, которая бросила бы неблаговидную тѣнь собственно на его литературную дѣятельность. Только теперь онъ почти совсѣмъ ушелъ изъ области политики и общественныхъ вопросовъ—сдѣлался исключительно драматургомъ и романистомъ, прежняя кипучесть и молодой задоръ смѣнились въ этой области свѣжимъ, здоровымъ реализмомъ, подпочвеннымъ слоемъ котораго оставалось по прежнему то, что было внесено въ нѣмецкую жизнь Молодою Германіею... И, должно быть, прусское правительство не переставало чутъ въ немъ—если не врага, то во всякомъ случаѣ не „своего человѣка“. Подтвержденіемъ тому служить слѣдующій, приводимый Гейгеромъ, фактъ. Въ декабрѣ 1844 г., т. е. черезъ два года послѣ того, какъ Лаубе далъ вышеупомянутую подписку, президентъ полиціи доложилъ министру внутреннихъ дѣлъ, что Лаубе отказался отъ редактированія журнала „Elegante Zeitung“ (въ Мюнхенѣ) и намѣревается переѣхать на жительство въ Берлинъ. Министръ отвѣчалъ: „Если это извѣстіе подтвердится, то прошу президента полиціи поставить меня въ извѣстность, ибо долгоевременное пребываніе упомянутаго писателя въ Берлинѣ представляется нежелательнымъ“...

Не мало пришлось выстрадать и Гупцову.

Гупцовъ—самая сильная умственная личность, между представителями новой литературной школы. Изъ „молодыхъ германцевъ“ онъ полнѣе, чѣмъ всѣ его товарищи, воспринялъ въ себя идеи времени и далъ имъ самое разнообразное, сравнительно съ другими, выраженіе. Если у Лаубе мы встрѣчаемъ очень много чертъ, роднящихъ его—какъ писателя и какъ человѣка—съ Гейне, то Гупцовъ—натура, очень родственная съ Бёрне; въ установленіи и примѣненіи принципа о связи поэзіи съ дѣйствительною жизнью (безъ односторонности Бёрне) онъ сыгралъ очень важную роль, и если его произведенія беллетристическія—а онъ беллетристъ по преимуществу—не совсѣмъ удовлетворительны въ отношеніи чисто художественномъ, то культурная цѣнность ихъ,

какъ вѣрное изображеніе того знаменательнаго времени, очень велика. Основная черта его творчества была съ самаго начала и осталась до конца—„раціоналистическій сарказмъ, разлагающій критицизмъ“; эти свойства лежали уже въ самой натурѣ Гущкова. Уже въ 1831 г. онъ, двадцатилѣтній юноша, писалъ своему другу: „Ахъ, повѣрьте, словно тебя раздавливаютъ, толкутъ въ этой ступкѣ полунеудавшагосѣ житейскаго положенія, въ этой вѣчной борьбѣ между духомъ и матеріею, идеею и практическимъ существованіемъ, въ этихъ тысячахъ обязанностей относительно самаго крупнаго и самаго малаго... Я жажду освобожденія, какъ смерти... Кто выкупитъ меня? Смерть... И еще сильнѣе земного мученія мука духовная. Гдѣ цѣль? Чего хотимъ мы съ нашими маленькими дарованіями? Куда мы придемъ и что останется отъ всѣхъ нашихъ трудовъ? Наше время пусто, сухо, интересы людей безцвѣтны“... и т. д. Эти задатки мало-по-малу развивались въ немъ, и было время—уже въ 1865 г.—когда внутреннее настроеніе довело его до попытки самоубійства... Этому способствовали и многія обстоятельства его жизни, а между ними, въ очень значительной степени, и все то, что выпало на его долю, какъ члена Молодой Германіи.

Гейгеръ касается этихъ литературныхъ злослюченій Гущкова только въ тѣхъ случаяхъ, когда виновниками ихъ были прусская полиція и прусская цензура. Сообразно назначенію настоящей статьи, и мы остановимся только на нихъ, дополняя эти свѣдѣнія нѣсколькими другими, находящимися съ ними въ связи.

Гущковъ выступилъ на литературное поприще еще будучи студентомъ, выступилъ въ Берлинѣ, и въ такое время, когда всякому мало-мальски свободному писательству приходилось въ Пруссіи—и вообще въ Германіи—очень жутко, именно черезъ годъ послѣ іюльской революціи, въ пору „тюремныхъ заключеній“ (говоритъ Гущковъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“), ссылки, отрѣшеній отъ должностей; самые строгіе цензоры держали надзоръ надъ каждой печатной буквой; всякое объявленіе въ газетѣ подвергалось изслѣдованію—не скрывается ли въ немъ какойнибудь политическій намекъ“. Въ это-то время началъ онъ издавать журналъ „Forum der Journallitteratur“, и полученное имъ на то разрѣшеніе называетъ (въ тѣхъ же „Воспоминаніяхъ“) „непостижимою милостію“. Еще большею „милостію“ было данное ему дозволеніе—правда, покамѣстъ, до испытанія его благонамѣренности, только на полгода—трактовать *также* и вопросы политики, „на сколько они находились въ связи съ журнальной литературой“. Правда, въ прошеніяхъ объ оказаніи ему такихъ милостей онъ давалъ подлежащимъ властямъ успокоительное завѣреніе: „Моя писательская дѣятельность,—говорилъ онъ,—направлена только къ борьбѣ за вѣчныя истины разума и нравственности; оказываемое мнѣ довѣріе я оправдаю, какъ тщательнымъ уstra-

неніемъ изъ моего изданія всякихъ страстныхъ партійныхъ интересовъ, такъ и должнымъ почтеніемъ къ учрежденіямъ, среди которыхъ я имѣю счастье жить“. Если послѣдняя половина этого заявленія, т. е. то, что касается „почтенія къ учрежденіямъ“, была вѣроятно пущена въ ходъ для полученія надлежащаго разрѣшенія, то первая не заключала въ себѣ ничего неискренняго, притворнаго. Въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ Гуцковъ не упоминаетъ объ этомъ заявленіи, вызванномъ на свѣтъ только теперь Гейгеромъ; но въ „Воспоминаніяхъ“ мы находимъ мѣсто, отнимающее у вышеприведенныхъ строкъ неблаговидность укрывательства своихъ убѣжденій и намѣреній. „Цензоръ,—говоритъ онъ,—не вычеркивалъ у меня ничего. Ибо я не желалъ пользоваться свободой писать о петербургскомъ и вѣнскомъ кабинетахъ... Въ сущности, моею задачею было—защищать любимца моего сердца, Вольфганга Менцеля (т. е. того самаго, который нѣсколько лѣтъ спустя такъ услужилъ ему и всей Молодой Германіи) отъ нападокъ его противниковъ. То были изліянія чистѣйшей преданности тому возрѣнію на задачу литературы, которая казалась мнѣ призванною къ занятію единоподержавнаго положенія въ области критики. По натурѣ я былъ только романтикъ... Вмѣстѣ съ тѣмъ, Сафира (извѣстный въ то время, но мелкій юмористъ) съ его противниками казалось мнѣ совершенно недостойнымъ писателя который былъ вскормленъ „молокомъ классической древности“. Правда, понятіе „литература“ заключалось для меня не въ писаніи балладъ и романсовъ (которыми въ ту пору, когда выступилъ Гуцковъ, особенно усердно занималась такъ называемая швабская школа поэтовъ), не въ сочиненіи новеллъ и театральныхъ пьесъ...“ Для него, какъ для представителя романтизма не въ его извращенности, а въ его коренной сущности, понятіе „литература“ заключалось именно въ той „борьбѣ за вѣчныя истины разума и нравственности“, о которой онъ говорилъ въ своемъ вышеупомянутомъ прошеніи. И эти истины онъ понималъ такъ, какъ понимала ихъ Молодая Германія; и эту борьбу онъ повелъ тоже такъ, какъ вели ее его единомышленники. Только въ немъ не было того задора, того непосредственнаго отношенія къ дѣйствительности, которыми отличалась дѣятельность Лаубе: тотъ, если можно такъ выразиться, былъ больше практикъ, этотъ—больше философъ... Въ Берлинѣ его литературная работа продолжалась недолго. Журналъ, кое-какъ пріобрѣвши семьдесятъ подписчиковъ, скоро прекратился, и Гуцковъ поѣхалъ въ южную Германію. Здѣсь онъ работалъ много и разнообразно, не возбуждая противъ себя преслѣдованій, но вмѣстѣ съ тѣмъ подавая своими сочиненіями правительству поводъ косо смотрѣть на него. Роковой для всѣхъ молодыхъ германцевъ 1835 годъ былъ роковымъ и для Гуцкова; Гуцковъ даже сдѣлался виновникомъ тѣхъ

преслѣдованій, которыя въ этомъ году всею тяжестью обрушились на Молодую Германію.

Въ 1835 г. появились почти одновременно три сочиненія Гуцкова: романъ „Валли“, новелла „Амстердамскій Саддукей“ и предисловіе къ письмамъ Шлейермахера о романѣ Фр. Шлегеля „Люцинда“. Въ этомъ же году онъ выпустилъ объявленіе объ изданіи журнала „Deutsche Revue“. О романѣ „Валли“ мы уже говорили. Новелла „Амстердамскій Саддукей“, герой которой — Спиноза, написанъ на ту же тему, которая внослѣдствіи разработана Гуцковымъ въ его знаменитой драмѣ „Уріель Акоста“ и которая состоитъ въ защитѣ свободы мышленія относительно религіозныхъ вопросовъ. Предисловіе къ письмамъ Шлейермахера (которыя появились гораздо раньше, а теперь только перепечатывались Гуцковымъ) явилось восторженнымъ прославленіемъ „эманципации плоти“, т. е. того, что, какъ мы уже знаемъ, играло немаловажную роль и въ романѣ „Валли“. На счетъ этого вопроса мы находимъ въ „Воспоминаніяхъ“ Гуцкова очень любопытныя строки, которыя здѣсь уместно привести, такъ какъ этотъ вопросъ находился въ числѣ самыхъ тяжкихъ обвиненій, вводимыхъ на Молодую Германію. „По какому праву — спрашиваетъ Гуцковъ — подвели подъ это понятіе только разнузданность страстей, разрушеніе нравственности? Въ области теологіи „плоть“ есть обиходное понятіе; католическій міръ слышитъ его ежедневно, посѣщая обѣдню. „Рожденный изъ плоти.“ „Слово содѣлалось плотью!“ Плоть есть человѣкъ природы (Naturmensch), еще не окрещенный снова Христомъ. О борьбѣ между плотью и духомъ говорили апостолы; подъ духомъ они понимали состояніе благодати. Такъ можно ли подъ „эманципациею плоти“, на счетъ которой безсмысленнѣйшимъ образомъ разсуждали тогдашніе обвинители и до сихъ поръ продолжаютъ разсуждать учебники исторіи литературы, долженствующіе быть написанными по предписаніямъ прусскаго школьнаго устава—можно ли, говорю, подъ „эманципациею плоти“ понимать что либо иное, кромѣ возстановленія *натуры* въ ея правахъ? Но вѣдь дѣлать законы природы масштабомъ нашихъ житейскихъ условій и отношеній—было и остается лозунгомъ нашего времени. Для меня это выраженіе распространялось на всѣ области, въ томъ числѣ и на область государственнаго устройства, въ которой именно установленное природой вступаетъ въ бой съ притязаніями традиціи. Развѣ возвращенію къ природѣ не учили уже философы осьмнадцатаго вѣка? Развѣ въ искусствѣ не обнаружилось увлеченіе красотою человѣческаго тѣла, и развѣ приверженцами эманципации плоти не сдѣлались въ Дюссельдорфѣ даже тѣ живописцы, которые, когда представлялся къ тому случай, являлись самыми корректными христіанами? Точно также и въ литературѣ эманципацию плоти слѣдовало признавать ничѣмъ инымъ, какъ освобожденіемъ законовъ природы отъ гнета и пре-

слѣдованій... На меня возставали, какъ на „противника брака“, а между тѣмъ во мнѣ какъ разъ въ это время созрѣвало намѣреніе—брачнымъ союзомъ съ добропорядочною дѣвушкой удовлетворить стремленію къ устройству себѣ домашняго очага и окруженію себя тѣми добродѣтелями, которыя живутъ подѣ кровомъ семьи...“ Такъ говорилъ Гуцковъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ (написанныхъ уже въ 1875 г.), а въ предисловіи къ письмамъ Шлейермахера восклицалъ совершенно въ Ж. Зандовскомъ стилѣ и духѣ: „Не стыдитесь страсти и не смотрите на нравственный законъ, какъ на государственное учрежденіе! Но прежде всего, преимущественно предѣ всѣмъ размышляйте о методикѣ любви, и чтобы освящать ваше желаніе, дѣлайте его свободнымъ для свободнаго выбора! Пусть единственнымъ священникомъ, соединяющимъ сердца въ брачный союзъ, будетъ восхитительное мгновеніе, пережитое ими, а не наша церковь съ ея выѣшными обрядами и служителями!“ Въ своемъ жоржъ-зандизмѣ Гуцковъ дошелъ даже до того, что однимъ изъ атрибутовъ собственно женской эманципациі рекомендовалъ ношеніе женщиной мужского платья. „Неправда ли, Розалія,—спрашивалъ онъ въ томъ же предисловіи какую-то женщину,—только съ тѣхъ поръ, какъ ты носишь шпоры на своихъ шелковыхъ сапожкахъ и съ тѣхъ поръ, какъ я научилъ тебя живописно раскидывать на себѣ плащъ-карбонаро и долженъ былъ придумать для тебя новый родъ „невыразимыхъ“—только съ тѣхъ поръ ты понимаешь, что я говорилъ, когда сказалъ: Я люблю тебя...“

„Амстердамскій Саддукеецъ“ прошелъ незамѣтно, по крайней мѣрѣ, не вызвалъ никакихъ рѣзкихъ обсужденій въ критикѣ и не обратилъ на себя фактическаго неблагосклоннаго вниманія со стороны полицейскаго и цензурнаго начальства. За то „Валли“ и предисловіе къ письмамъ Шлейермахера,—особенно первый романъ—породили цѣлую бурю во всѣхъ областяхъ. Добродѣтельная часть публики, критика, правительственныя власти—все накинuloсь съ озлобленнымъ негодованіемъ на эти произведенія, между тѣмъ какъ въ тоже время—какъ всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ—они раскупались и читались на расхватъ. Гуцковъ былъ провозглашенъ атеистомъ и безнравственнымъ человекомъ; съ ужасомъ цитировались такія слова изъ его „Валли“, какъ: „Религія есть продуктъ отчаянія, какимъ же образомъ она можетъ исцѣлить отчаяніе?“—или: „Неслыханное переполненіе католическаго христіанства (разными догматами и обрядами) по причинамъ традиціональнымъ, историческимъ и библейскимъ привело къ тому, что это христіанство остается безсильнымъ для исцѣленія скорби души; одинъ догматъ мѣшаетъ другому.“ Или еще: „Откровеніе есть фальсификація природы и исторіи“. И т. п. Само собой разумѣется, что обѣ книги были немедленно запрещены, а когда подоспѣлъ извѣстный уже намъ критическій гнус-

ный донос Менцеля—дѣло еще ухудшилось. Романъ „Валли“ былъ напечатанъ въ Мангеймѣ; по баденскимъ законамъ окончательное изыятіе книги изъ обращенія могло совершиться только по судебному приговору. Начался процессъ—а до окончанія его Гуцкова засадили въ тюрьму. Адвокатомъ за себя выступилъ онъ самъ, но, къ сожалѣнію, у насъ подъ рукой нѣтъ его защитительныхъ рѣчей; за то находимъ мы въ его „Воспоминаніяхъ“ нѣсколько извлеченій изъ тѣхъ брошюръ, которыми онъ отвѣчалъ Менцелю на его обвиненія (послѣ того, какъ Менцель отказался отъ предложенной ему Гуцковымъ дуэли, заявивъ, что онъ „ожидаетъ своего противника не за заборами и оградами, а на открытомъ полѣ литературы“). Такъ, напримѣръ, на обвиненіе во враждебномъ отношеніи къ христіанству онъ возражалъ: „Я ни о чемъ другомъ не думаю, какъ объ улучшеніи ложнопонимаемаго христіанства. Всякое улучшеніе имѣетъ въ своей первой инстанціи критическій характеръ. Всѣ мои возраженія противъ христіанства—критическаго свойства. Они касаются прежде всего вопроса о происхожденіи христіанства, о его первомъ историческомъ проявленіи, которое, по моему мнѣнію, принадлежитъ больше исторіи свѣтской, чѣмъ исторіи религіи. Если меня упрекаютъ, что такіа изслѣдованія не новость, что они уже производились не разъ, то я отвѣчаю, что они были прерваны и потому должны быть возобновлены... Я вѣрю въ Бога, — говоритъ онъ, — но на меня взводятъ обвиненіе, будто я сказалъ, что было бы хорошо, если бы никто въ Него не вѣрилъ! Этого я никогда не говорилъ. Только одно позволилъ я себѣ — представить себѣ на одну минуту, возможно ли было бы міру существовать и безъ религіи. Міръ, — говорилъ я, — былъ бы счастливѣе, не знай онъ никогда Бога; счастливѣе, если бы не появились всякаго рода обманщики и не приковали его къ суевѣрію; счастливѣе, если бы фанатизмъ не зажигалъ повсюду костровъ; счастливѣе, если бы никогда не велись кровавыя религіозныя войны. Но человѣчеству не было суждено наслаждаться этимъ мирнымъ счастьемъ...“ Вся эта самозащита, однако, не только не улучшала, а, напротивъ, ухудшала положеніе дѣла.

Въ тюремномъ заключеніи Гуцковъ чувствовалъ себя благодушно. „Одиночество, — пишетъ онъ, — пролилось на мою душу, какъ проливается освѣжающій бальзамъ на раны. Какъ счастливъ я былъ тѣмъ, что видѣлъ себя оторваннымъ отъ свѣта! Такъ могло бы быть на душѣ у Лютера въ его вартбургскомъ и потомъ кобургскомъ заточеніи, не будь у него вѣры въ чорта—вѣры, которая заставляла его даже завываніе вѣтра въ трубѣ принимать за проявленія присутствія этого адскаго чудовища. Для меня такими показателями существованія чорта служили только мыши, которыя по временамъ пробѣгали по моей постели. Я готовъ былъ держать пари, что справедливо существующее мнѣніе,

будто мыши поютъ. Удивительныя мелодіи пѣли онѣ мнѣ по ночамъ... Какой-то таинственный блаженный міръ, казалось, открывали онѣ мнѣ—или, быть можетъ, это было пѣнье въ моемъ собственномъ ухѣ? Чего только не передумаешь въ такія ночи? Въ первый разъ за пять лѣтъ я испыталъ теперь дѣйствіе писаннаго и печатнаго слова. Наконецъ-то былъ передо мною „успѣхъ“! Жаль, что вызвавшій обвиненіе романъ вышелъ только однимъ изданіемъ—въ количествѣ 800 экземпляровъ! Двойную, даже тройную цѣну предлагали, чтобы получить одинъ экземпляръ. Выпустить новое изданіе тайкомъ издатель, тоже привлеченный къ суду, не рѣшался. Грубость, которую обнаружили въ началѣ мои слѣдователи, перешла мало по малу въ болѣе вѣжливый тонъ. Я не шумѣлъ и не придумывалъ попытокъ къ бѣгству, а доканчивалъ мою „Серафину“ и принялся за другую работу, въ которой хотѣлъ выступить противъ конструктивной философіи исторіи Гегеля, и которая появилась нѣсколько времени спустя подъ заглавіемъ сперва „Zur Philosophie der Geschichte“, а потомъ—„Philosophie der That und des Ereignisses“... Процессъ Гуцкова продолжился три мѣсяца и окончился оправданіемъ подсудимаго въ богохульствѣ и безнравственности и виновнымъ только въ „нападеніи на признанныя правительствомъ баденскія религіозныя общины“. Гуцковъ былъ выпущенъ изъ тюрьмы, но тутъ и начались его злоключенія во всей ихъ силѣ, особенно когда появилось извѣстное уже намъ знаменитое постановленіе бундестага, подвергнувшее опалѣ литературную дѣятельность всей Молодой Германіи. Постоянныя запрещенія то той, то другой книги, запрещеніе даже его имени появляться въ печати (въ одной книгѣ, посвященной защитѣ Гуцкова, онъ вездѣ назывался „Ungenannte“—безымянный), уничтоженіе его журнала „Deutsche Revue“ въ самомъ его зародышѣ, скверное отношеніе къ нему тѣхъ, кого онъ считалъ „друзьями“, и которые поспѣшили отвернуться отъ него, какъ только онъ сдѣлался „опаснымъ человѣкомъ“—все это ложилось болѣе и болѣе тяжелымъ гнетомъ на душу писателя, который былъ и безъ того склоненъ къ мрачному настроенію..

Отношенія его собственно къ прусскому правительству, съ которыми познакомилъ насъ теперь Гейгеръ, представляются въ слѣдующемъ видѣ.

Изданіе писемъ Шлейермахера съ предисловіемъ Гуцкова было сперва допущено; но скоро послѣ того, вслѣдствіе письма министра Альтенштейна къ его коллегамъ, это разрѣшеніе было признано въ высшей степени неумѣстнымъ, и строгое запрещеніе не замедлило послѣдовать. Романъ „Валли“ былъ запрещенъ немедленно, въ силу слѣдующаго грубо клеветническаго заявленія верховнаго цензурнаго комитета: „Эта книга, впрочемъ, совершенно ничтожная во всѣхъ отношеніяхъ, старается обратить на себя общее вниманіе самымъ дерзкимъ порицаніемъ христіанства,

отвратительнѣйшими поношеніями божественнаго Основателя христіанства, и вообще—разнузданнѣйшими осмѣяніями всякаго религіознаго вѣрованія. Мы считаемъ необходимымъ тѣмъ настоятельнѣе предлагать запрещеніе этого, въ высшей степени предосудительнаго сочиненія и изыятіе его, какъ изъ книжной торговли, такъ и изъ кабинетовъ для чтенія, что общедоступность изложенія и многіе, приходящіеся по вкусу читающей массы остроумные обороты, какіе умѣетъ пускать въ ходъ этотъ, давно уже пользующійся дурною репутаціею писатель—заставляютъ опасаться пагубнѣйшихъ результатовъ отъ дальнѣйшаго распространенія этой нечестивой книги“. Если, такимъ образомъ, Гуцковъ уже „давно пользовался дурною репутаціею“, то теперь, послѣ „Валли“, она совсѣмъ рушилась; на него начали смотрѣть крайне непріязненно и надлежащія власти, и самъ король. „Король—такъ писалъ Мундтъ Кюне—самъ читалъ „Валли“ и собственноручнымъ письмомъ просилъ великаго герцога баденскаго принять мѣры противъ распространенія этой книги“. Скоро послѣ появленія ея Гуцковъ просилъ выдать ему паспортъ для поѣздки въ Италію съ цѣлью поправленія здоровья. Въ этомъ ему было отказано, а въ это же время прусскій посланникъ во Франкфуртѣ донесъ своему правительству, что тамошній сенатъ лишилъ Гуцкова званія франкфуртскаго гражданина и выслалъ его изъ Франкфурта. Враждебность прусскаго правительства не только падала на самого Гуцкова, но распространялась и на тѣхъ его друзей, которые выступали на его защиту. Въ началѣ 1836 г. (т. е. послѣ постановленія бундстага) появилось анонимное „Посланіе къ Гуцкову“; его тотчасъ же запретили, на томъ основаніи, что „хотя это и незначительная брошюра, но въ ней представлены несправедливыми, неразумными и клеветническими какъ тѣ мнѣнія, которыя были высказаны литературными противниками безнравственныхъ и антирелигіозныхъ тенденцій автора „Валли“, такъ и приговоръ этой книгѣ со стороны нѣмецкихъ правительствъ; мало того—тутъ приняты подъ защиту безнравственнѣйшія и нечестивѣйшія подробности этого романа“. Такой же запретъ постигъ и вышеупомянутое сочиненіе Гуцкова „Zur Philosophie der Geschichte“; въ докладѣ объ этомъ запрещеніи цензурный комитетъ замѣтилъ, что „публика не потерпитъ никакого ущерба отъ того, что ей не дадутъ въ руки этого сочиненія“, а министръ Роховъ собственноручно написалъ на поляхъ противъ этихъ строкъ: „Совершенно справедливо“. Въ томъ же докладѣ Гуцковъ обвинялся въ томъ, что осмѣлился не признавать справедливыми и полезными мѣры, принятія противъ Молодой Германіи, и позволилъ себѣ дѣлать на этотъ счетъ совершенно неумѣстныя замѣчанія!.. Тѣмъ не менѣе, прусское правительство, сознавая, что ему не мѣшало бы привлечь на свою сторону такое дарованіе, какъ Гуцкова, который при томъ пользовался значительнымъ авто-

ритетомъ между молодежью, дѣлало попытки—конечно тайныя—въ этомъ направленіи. На этотъ счетъ находимъ очень характеристичную исторію въ тѣхъ же „Воспоминаніяхъ“ Гуцкова; (исторію эта, впрочемъ, происходила не послѣ появленія „Валли“, а незадолго до этого). Въ газетѣ „Allgemeine Zeitung“ стали появляться корреспонденціи, въ которыхъ болѣе или менѣе тонко намекалось, что Гуцкову слѣдовало бы измѣнить въ болѣе благонамѣренномъ духѣ тѣ мнѣнія, которыя онъ высказывалъ въ газетѣ „Literaturblatt“, выходящей подъ его редакцію; въ корреспонденціяхъ этихъ сообщались факты, которые могли быть почерпнуты только изъ оффиціальныхъ источниковъ; намекалось въ нихъ тоже довольно тонко, что аресты „подозрительныхъ“ людей идутъ безостановочно и полицейская тюрьма ни на одинъ часъ не остается свободною отъ квартирантовъ... „Однажды,—рассказываетъ Гуцковъ,—ко мнѣ явился Іозель Якоби, мой старый пріятель по Берлину; онъ объявилъ, что это онъ—авторъ вышеупомянутыхъ корреспонденцій, настоятельнѣйшимъ образомъ совѣтовалъ мнѣ измѣнить мое направленіе и открывалъ перспективу покровительства высокопоставленныхъ лицъ, стоявшихъ за его спиною. Я подивился изяществу его внѣшняго вида. Въ прежнемъ своемъ костюмѣ, въ ту пору, когда мы вмѣстѣ штудировали Энциклопедію Гегеля, онъ былъ похожъ на Діогена въ бочкѣ. Смотрѣть изподлобья, дичиться людей онъ продолжалъ по прежнему. Мнѣ было трудно доставить ему привѣтливый пріемъ въ кружкѣ гостей, которыхъ я пригласилъ къ себѣ въ честь его пріѣзда. Каковъ былъ мой образъ мыслей и какимъ онъ долженъ былъ остаться впрямь—это показало нѣчто въ родѣ лекціи, которую я тутъ же попросилъ выслушать моихъ гостей... Якоби ни съ чѣмъ уѣхалъ въ Швейцарію. По всей вѣроятности, онъ былъ подосланъ ко мнѣ кабинетомъ министра Рохова. Дѣлаю такое заключеніе потому, что когда скоро послѣ того студентъ Лессингъ, пруссакъ, былъ найденъ убитымъ въ рошѣ подлѣ Цюриха, и общая молва признавала это убійство карою измѣннику и доносчику—то Якоби немедленно измѣнилъ свой путевой планъ, оставилъ Швейцарію и затѣмъ въ продолженіе многихъ лѣтъ велъ совершенно уединенную жизнь“.

Но какъ ни крѣпился Гуцковъ, какъ ни твердо держался онъ своихъ убѣжденій, а матеріальная нужда, вслѣдствіе драконовскаго постановленія бундестага, давала себя чувствовать слишкомъ сильно для того, чтобы и онъ не ставился въ необходимость дѣлать нѣкоторыя уступки, прибѣгать къ нѣкоторымъ самоограниченіямъ въ своей литературной дѣятельности. Въ исторіи этихъ самоограниченій не было ничего, сколько нибудь похожаго на неблаговидные поступки Лаубе въ этомъ отношеніи, и тѣмъ менѣе—на совсѣмъ уже постыдную роль, которую—какъ мы увидимъ ниже—игралъ Мундтъ. Но въ матеріалахъ, обноро-

дованных Гейгеромъ, встрѣтили мы свѣдѣніе, которое, хотя и будучи довольно неопредѣленнаго свойства, тѣмъ не менѣе наводитъ на сомнительныя размышленія. Въ февралѣ 1836 г. прусскій посланникъ во Франкфуртѣ доносилъ своему правительству, что Гуцкову разрѣшено жить во Франкфуртѣ, и при этомъ прибавлялъ: „Онъ, повидимому, чувствуетъ раскаяніе въ своихъ прежнихъ заблужденіяхъ“.—Къ чему относится это указаніе, я не знаю, замѣчаетъ Гейгеръ, но тутъ же приводитъ отвѣтъ всесильнаго въ это время прусскаго сановника Тцшоппе Гуцкову на письмо этого послѣдняго—письмо, котораго, однако, Гейгеръ въ архивѣ не нашелъ. Въ письмѣ Тцшоппе между прочимъ говорится: „Меня очень радуешь, что человѣкъ съ вашимъ дарованіемъ, повидимому, оставилъ постыдное для нѣмецкаго отечества и нѣмецкой литературы направленіе, и что вы сами характеризуете его словами, *повторять которыя здѣсь я затрудняюсь*“... Такъ какъ письмо Гуцкова, въ которомъ онъ якобы тоже вступилъ въ ряды отрекающихся отъ своихъ единомышленниковъ, не существуетъ, и такъ какъ во всемъ, что намъ извѣстно о личныхъ дѣйствіяхъ этого писателя, нѣтъ ничего, кидающаго на него неблагоприятную тѣнь въ этомъ отношеніи, то намъ остается только предполагать, что въ письмѣ къ Тцшоппе Гуцковъ, можетъ быть, употребилъ нѣсколько выраженій, которыя сами по себѣ не заключали въ себѣ ничего особеннаго, но которыя сановникъ, въ своемъ желаніи увидѣть въ талантливомъ и вліятельномъ писателѣ раскаявагося грѣшника, принялъ за раскаяніе. Въ такомъ предположеніи утверждаетъ и письмо, которое вслѣдъ затѣмъ Гуцковъ писалъ уже самому министру и въ которомъ онъ, прося о разрѣшеніи допустить къ обращенію въ Пруссіи его книгу „*Zur Philosophie der Geschichte*“, высказывался и о характерѣ своей дѣятельности. Въ письмѣ этомъ есть, правда, мѣста, написанныя, очевидно, съ цѣлью смягчить прусское правительство,—напримѣръ: „Это сочиненіе (т. е. *Zur Philosophie der Geschichte*) есть плодъ тяжелаго опыта; я написалъ его въ тѣ самыя минуты, когда, сидя въ тюрьмѣ, созналъ тѣ границы, которыя государство должно ставить всякому, лишенному опредѣленнаго плана развитію характера (*planlosen Charakterentwicklung*), могущему, если не подвергать опасности общее (*das Allgemeins*), то во всякомъ случаѣ сбивать его съ прямой дороги“... Или: „Всюду, гдѣ я въ этомъ сочиненіи касаюсь положительныхъ вопросовъ, мое изложеніе является свидѣтельствомъ, что я съ почтеніемъ отношусь къ человѣчеству на всѣхъ ступеняхъ его развитія и настоящее устройство европейскаго общества признаю за полнѣйшее удовлетвореніе того, въ чемъ оно, повидимому, нуждается“... Есть и нѣсколько „комплиментовъ“ прусскому правительству; но при этомъ самая суть письма устраняетъ всякое подозрѣніе въ отступничествѣ, въ трусости; отступникъ и трусъ не говорилъ бы,

заискивая у правительства, какимъ прусское было въ то время: „Я сознаю, что у моего сочиненія такая фizioномія, какую встрѣчаешь на человѣческихъ лицахъ только при сознаніи полнѣйшей независимости. Но мое искреннее желаніе—чтобы эта свѣжесть была истолкована (правительствомъ) въ мою пользу. Я только тогда могу приобрести въ литературѣ прочное положеніе, когда мнѣ будетъ предоставлена возможность сохранять мою индивидуальность... Чѣмъ больше независимости будетъ предоставлено мнѣ, тѣмъ рѣшительнѣе могу я дѣйствовать на публику въ тѣхъ примирительныхъ цѣляхъ, которыми я проникнуть“... И т. п.—Что вышеупомянутый сановникъ Тцшоппе принялъ за раскаяніе то, чтò въ сущности было ничѣмъ инымъ, какъ вынужденная *manière de parler*,—или, по крайней мѣрѣ, что прусскому правительству Гуцковъ продолжалъ приходиться совсѣмъ не по вкусу — доказывается и дальнѣйшими мѣрами его противъ этого писателя.

Только что приведенное письмо къ министру было положено подъ сукно, и „Къ философіи исторіи“ осталось подъ запретомъ. Такая же участь постигла и послѣдующее сочиненіе „Soiréen“; цензурный комитетъ предложилъ даже подвергнуть наказанію тѣхъ книгопродавцевъ, которые, не дожидаясь цензурнаго разрѣшенія, пустили въ продажу эту (напечатанную не въ Пруссіи) книгу. Въ томъ же году было запрещено въ Пруссіи напечатанное въ Штуттгартѣ сочиненіе „Beiträge zur Geschichte der neuesten Literatur“—запрещено на основаніи доклада цензора Иона, представляющаго собою вообще очень курьезную цензорскую личность. Въ докладѣ этомъ говорилось: „Совершенно независимо отъ заключающейся въ предисловіи къ этому сочиненію необузданно страстной, грубой и оскорбительной диатрибы противъ Менцеля, тогдашняго противника Гуцкова и писателей такъ называемой Молодой Германіи — не только это предисловіе, но и вся книга заключаетъ въ себѣ столько предосудительнаго, что я безъ малѣйшаго колебанія предлагаю запретить допускъ ея въ продажу. Для болѣе подробной мотивировки этого мнѣнія укажу прежде всего на общее впечатлѣніе, производимое этимъ сочиненіемъ: при несомнѣнномъ талантѣ автора, при многихъ отдѣльных, очень мѣткихъ взглядахъ и остроумныхъ сужденіяхъ—въ общемъ повсюду кидаются въ глаза незрѣлость, неясность, страстная спутанность, духъ фривольности, отсутствіе твердой путеводной нити въ мышленіи и жизни, нравственнаго устоя, религіознаго образа мыслей — и при этомъ постоянная заносчивая надменность, безпредѣльное высокомеріе при аффектированной скромности.—Что касается до отдѣльных частностей, то замѣчу, что кромѣ предисловія, три главы этой книги: „Гансъ и доктринеры, Генрихъ Гейне, Бёрне и Винбаргъ достаточны для меня, чтобы признать ее недопусти-

мою въ публику. Если авторъ на 77 стр. дерзко говорить: „Но государство, какъ результатъ, есть всегда тиранія, будь оно управляемо трехбунчужнымъ пашею или народными трибунами, государство, какъ результатъ, дѣлаетъ абсолютную ту форму существованія, насчетъ которой мы, напротивъ, надѣмся, что она только преходящая“ — то это безъ сомнѣнія столько же неприлично и достойно порицанія, сколько несправедливо и неясно. Что вообще такой человекъ, какъ Гуцковъ, высказывая нѣкоторыя отдѣльныя осужденія своимъ единомышленникамъ Гейне, Бёрне, Винбаргу, Лаубе, Мундту и другимъ, выставляетъ ихъ, однако, въ блестящемъ свѣтѣ и называетъ „лживыми“ взводимыя на новое направленіе литературы обвиненія; что онъ при каждомъ удобномъ случаѣ возстаетъ противъ полицейскихъ мѣропріятій и особенно противъ цензуры — это совершенно естественно; но этимъ доказывается также, что желательное измѣненіе его тенденцій до сихъ поръ еще не произошло. Изъ его предисловія видно также, что онъ смотритъ на строй Германіи, какъ на „состояніе политическаго разложенія“ (а подъ этимъ „политическимъ разложеніемъ“ Гуцковъ понималъ раздробленіе Германіи на отдѣльныя мелкія владѣнія). Какъ фривольно его воззрѣніе на жизнь, до какой степени онъ склоняется къ фатализму, какую низкую цѣну придаетъ христіанству, видя въ немъ только историческое явленіе — это показываютъ страницы (такія-то) предисловія и (такія-то) самой книги“...

Черезъ годъ послѣ вышеупомянутаго письма къ министру, Гуцковъ, имѣя въ виду, что для сочиненій его собственныхъ и его товарищей по Молодой Германіи, кромѣ мѣстной цензуры, существовала въ Пруссіи еще собственная, въ лицѣ специально для этой цѣли назначеннаго цензора, — снова писалъ ему: „Надѣясь, что тяжелое положеніе, въ которомъ я нахожусь, есть только временное, я не могу себя представить, чтобы у государственныхъ людей не образовалось убѣжденіе, что литература есть нѣчто, чему, для чести нѣмецкаго языка, должно желать самаго широкаго процвѣтанія; что литература можетъ производить нѣчто вполне хорошее въ предѣлахъ только тѣхъ законовъ, которые даетъ себѣ она сама; наконецъ, что ни на одного изъ писателей, подводимыхъ подъ категорію Молодой Германіи, нельзя смотрѣть какъ на такого, участіе котораго въ движеніи нѣмецкой литературы нисколько не необходимо для того, чтобы она постоянно шла впередъ.—При такихъ соображеніяхъ нынѣшняя литература представляется своего рода конкурсною массою банкротъ, надъ которою, къ величайшему вреду для ея развитія, учреждена администрація. Никто не возстаетъ противъ того, что надъ типографщикомъ, издателемъ и авторомъ тяготѣетъ препона въ видѣ мѣстной цензуры; всякій считаетъ это естественнымъ. Но когда напечатанное сочиненіе должно быть сперва передано на

усмотрѣніе отдаленнаго правительственнаго учрежденія, когда его надо посылать для 'этого за сотни миль, и приговоръ надъ нимъ произносится съ точки зрѣнія не общелитературной, а спеціально административной — тогда, конечно, ставится большое препятствіе свободному движенію въ литературѣ, по крайней мѣрѣ, для того писателя, къ которому примѣнена такая отяготительная мѣра. Я не хочу сказать, что не заслужилъ этой мѣры; только насчетъ позднѣйшаго смягченія перваго постановленія долженъ замѣтить, что это смягченіе далеко не таково, чтобы я вообще имѣлъ возможность продолжать свою литературную дѣятельность. Виѣнскій издатель охотно бы принялъ отъ меня мое сочиненіе въ рукописи. Я увѣренъ, что будь она послана въ Берлинъ, къ напечатанію ея не встрѣтилось бы препятствій. Но посылать рукопись мнѣ не позволяютъ; издатель можетъ послать въ Берлинъ книгу только въ напечатанномъ видѣ. Ему надо быть увѣреннымъ, что книга будетъ допущена, — а такого ручательства я вѣдь не могу ему дать письменно. Къ этому присоединяется еще то обстоятельство, что въ тѣхъ даже случаяхъ, когда мое сочиненіе допущено для многихъ книгопродавцевъ въ маленькихъ городахъ, это разрѣшеніе, печатаемое въ официальныхъ или книгопродавческихъ бюллетеняхъ, проходитъ незамѣченнымъ; однимъ словомъ, для издателя барышъ, который я ему могу гарантировать отъ продажи моего сочиненія, гораздо незначительнѣе тѣхъ затрудненій, съ которыми сопряженъ выпускъ этого сочиненія въ свѣтъ. Я не считаю себя вправѣ вовлекать кого бы то ни было въ сомнительность моего литературнаго существованія; я не считаю себя вправѣ продавать книгопродавцамъ то, что при теперешнихъ обстоятельствахъ должно представляться имъ такимъ сомнительнымъ и затруднительнымъ. Человѣку, который не хочетъ низводить свою умственную производительность на степень ремесла, невозможно стучаться поочередно въ двери книгопродавцевъ, которыхъ совсѣмъ не знаешь, а изъ состоятельныхъ прусскихъ издателей мнѣ неизвѣстенъ ни одинъ, фирма котораго получила бы разрѣшеніе свободно продавать то или другое изъ моихъ сочиненій“. Въ заключеніе этого письма Гукковъ спрашивалъ, имѣетъ-ли каждый цензоръ въ Пруссіи (а не только спеціальны для Молодой Германіи) право читать его сочиненія, и сверхъ того просилъ позволить печатать въ Кобленцѣ, съ его именемъ и съ разрѣшенія тамошней цензуры, редактируемую имъ газету „Телеграфъ“ и допустить свободное обращеніе ея въ Пруссіи. На эту просьбу ему отвѣчали лаконическимъ отказомъ, а насчетъ того, чтобы въ просмотрѣ его сочиненій ограничиваться мѣстною общеою цензурою, было сообщено, что просмотръ всѣхъ произведеній Молодой Германіи порученъ исключительно вышеупомянутому знаменитому цензору Іону. Такой же отказъ встрѣтила и новая просьба Гуккова —

дозволить ему принять на себя редактированіе одного періодическаго изданія въ Берлинѣ.

Очень незавидно было положеніе Гуцкова и по восшествіи на престолъ Фридриха-Вильгельма IV. Мы уже говорили о той подпискѣ въ благонадежности, которую правительство этого, столь много общавшаго короля потребовало отъ писателей Молодой Германіи для освобожденія ихъ отъ наложенной бундестагомъ опалы; говорили и о подчиненіи Лаубе этой мѣрѣ; увидимъ ниже, что съ особенною готовностію покорился и Мундтъ. Гуцковъ остался чистъ отъ этого унижительнаго покаянія. Впрочемъ, собственно ему и не предъявляли для подписи вышеупомянутаго обязательства, вѣроятно потому, что, зная его характеръ, были почти убѣждены въ отказѣ, а можетъ быть, и вслѣдствіе того, что эта мѣра вызвала довольно сильное неудовольствіе въ обществѣ и порицаніе газетъ,—конечно, вѣнскихъ. Такъ или иначе, Гуцковъ не послѣдовалъ примѣру своихъ товарищей, и въ его журналѣ „Телеграфъ“ (печатавшемся за предѣлами Пруссіи) было напечатано слѣдующее заявленіе: „Лейпцигской Allgemeine Zeitung пишутъ изъ Берлина, что запрещеніе съ сочиненій Молодой Германіи (Гейне, Гуцковъ, Винбаргъ, Мундтъ и Лаубе) снято, послѣ того, какъ эти писатели обязались никогда больше не писать ничего противъ церкви, государственнаго устройства и нравственности. Что касается, по крайней мѣрѣ, редактора этого журнала (т. е. Гуцкова), то мы можемъ увѣрить, что ему и не дѣлали такого предложенія, и что онъ не согласился бы дать подобное формальное обязательство“. А положеніе его въ это время (1843 г.), даже не смотря на то, что онъ посвятилъ себя почти исключительно дѣятельности сценической, какъ драматургъ, продолжало оставаться очень тяжелымъ, какъ можно видѣть изъ относящагося къ этой порѣ его письма къ министру. „Восемь лѣтъ тому назадъ,—писалъ онъ,—мои сочиненія, подведенныя подъ категорію такъ называемой Молодой Германіи, были, наравнѣ съ сочиненіями остальныхъ писателей этой категоріи, запрещены въ прусскихъ владѣніяхъ. Въ продолженіе пяти лѣтъ эта мѣра примѣнялась съ большою цензурною строгостію. Мои сочиненія допускались въ продажу только послѣ вторичнаго ихъ цензурованія въ Берлинѣ. Черезъ пять лѣтъ послѣ этого постановленія обнаружилось смягченіе строгости. Было позволено, по крайней мѣрѣ, неодобрительно отзываться въ печати о моихъ сочиненіяхъ, по крайней мѣрѣ, возражать на нихъ. Мало-по-малу допущенъ также къ обращенію редактируемый мною журналъ. Въ это время восшествія на престолъ царствующаго нынѣ владѣнія въ послѣдніе годы до того ограниченія стали, de facto, приходить къ концу. Способъ управленія измѣнились. Изъ Берлина пришло извѣстіе, что нѣ находящихся въ одинаковомъ со мною положеніи

писателей получили подъ извѣстными условіями полное освобожденіе отъ всѣхъ прежнихъ стѣсненій. Мнѣ эти условія никогда не предъявлялись... Я позволялъ себѣ надѣяться, что принятія противъ меня восемь лѣтъ тому назадъ мѣры теперь забыты. Но я вижу, что это совсѣмъ не такъ. Кельнскій цензоръ вычеркнулъ мое имя на одной изъ моихъ театральныхъ пьесъ и возстановилъ его только тогда, когда увидѣлъ, что эта пьеса была поставлена на королевской сценѣ мной самимъ. Мое сочиненіе „Письма изъ Парижа“, которое я прошедшею осенью напечаталъ въ Лейпцигѣ, въ Пруссіи допущено въ продажу, но объявлять о немъ не позволено. Газета „Rheinische Zeitung“ хотѣла помѣстить разборъ этихъ „Писемъ“. Цензоръ не пропустилъ его. Авторъ статьи послалъ ее въ „Deutsche Jahrbücher“. По счастливой случайности, рецензія оказалась ругательная—и ее дозволили напечатать. Но не всегда прусская цензура приносила мнѣ пользу такимъ образомъ дѣйствія. Когда въ берлинскихъ газетахъ появляется объявленіе о какомъ-нибудь альманахѣ при сотрудничествѣ цѣлой сотни авторовъ, въ числѣ которыхъ нахожусь случайно и я, то мое имя постоянно вычеркивается цензурой. Когда какой-нибудь журналъ называетъ меня въ списокъ своихъ сотрудниковъ, то мое имя ужъ, конечно, не повторяется въ газетахъ берлинскихъ. Господа цензоры, повидимому, имѣютъ такое смутное представленіе насчетъ меня, что въ подобныхъ объявленіяхъ очень часто кенигсбергскій цензоръ пропускаетъ мое имя, а кельнскій вычеркиваетъ. Изъ этого, ваше превосходительство, изволите усмотрѣть, что мое литературное существованіе въ прусскихъ владѣніяхъ вполнѣ предоставлено случаю“...

Вслѣдствіе этого прошенія, три министра по цензурной части (Censurminister), Эйхгорнъ, Бюловъ и Арнимъ были склонны освободить Гуккова отъ лежавшей на немъ опалы, не требуя съ него вышеупомянутой подписки въ благонадежности; но „либеральный“ король не согласился съ ними. „Я не могу согласиться съ вашимъ предложеніемъ,—было сказано въ высочайшемъ рѣшеніи;—тутъ дѣло не въ томъ, какъ отнесется общество къ подобному требованію гарантіи за будущее поведеніе этого класса писателей; суть дѣла тутъ въ томъ, что эти писатели, если они снова пойдутъ по старой дорогѣ, окажутся нарушителями даннаго ими честнаго слова и въ глазахъ своихъ единомышленниковъ-товарищей. Разумная и благонамѣренная часть общества отнесется съ сочувствіемъ къ послѣдовательности, съ которою проводится эта точка зрѣнія, и будетъ за нее благодарна“. И вотъ посланнику нѣмецкаго „бунда“ въ Берлинѣ, Сидову, было поручено вступить съ Гукковымъ въ переговоры, постараться склонить его дать требуемое обязательство. Старанія Сидова не увѣнчались успѣхомъ. Гукковъ заявилъ, что онъ и въ мысляхъ не имѣетъ высказывать въ своихъ писаніяхъ что либо противъ религіи, государствен-

наго устройства и нравственного закона (хотя смысл этих словъ понимается теперь весьма различно), — что для избѣжанія „очень возможныхъ и легкихъ конфликтовъ“ онъ посвятилъ свою дѣятельность почти исключительно сценѣ, поставивъ себя задачею эстетическое улучшение ея, — что его „Письма изъ Парижа“ служатъ доказательствомъ его національнаго образа мыслей и неприязни къ радикальной партіи, — что измѣненіе въ этомъ отношеніи его воззрѣній создало ему даже много враговъ въ радикальномъ лагерѣ... Тѣмъ не менѣе дать обязательство онъ рѣшительно отказался, и въ письменномъ заявленіи, которое далъ Сидову черезъ два дня послѣ этого устнаго объясненія, говорилъ: „Еще разъ зрѣло обсудивъ предложенія, сдѣланныя мнѣ третьяго дня вашимъ превосходительствомъ, я съ глубокимъ сожалѣніемъ долженъ сказать, что мнѣ невозможно отступить отъ того отвѣта, который я далъ вамъ устно въ первомъ порывѣ моего естественнаго чувства. Когда я обратился къ министру съ просьбою объ устраненіи послѣднихъ препятствій, стѣснявшихъ еще въ Пруссіи мои литературныя стремленія, то предполагалъ, что при теперешнемъ строгомъ надзорѣ за печатью, руководители нашего цензурнаго дѣла не могли не усмотрѣть, что я уже больше чѣмъ пять лѣтъ назадъ принялъ направленіе, которое, избѣгая политически-церковныхъ конфликтовъ настоящаго времени, нашло себя удовлетвореніе въ невинныхъ произведеніяхъ, большинство которыхъ принадлежитъ театру... Въмѣсто пересмотра моихъ отношеній къ цензурѣ, о которомъ я просилъ, я получилъ предложеніе дать обязательство—ничего впредь не писать противъ трехъ поименованныхъ вашимъ превосходительствомъ понятій. Въ сознаніи моего искреннѣйшаго желанія служить только истиннымъ интересамъ человѣчества, въ сознаніи возвышающей и счастливяющей мою душу вѣры въ мирное рѣшеніе столь многихъ спорныхъ вопросовъ нашего времени, я исполнѣ раздѣляю объективную мысль, лежащую въ основаніи требуемаго отъ меня обязательства; я дѣлаю даже задачею всѣхъ моихъ стремленій не писать ничего антирелигіознаго, противнаго понятію о государствѣ, безнравственнаго. Но дать этой, основанной чисто на нравственномъ чувствѣ задачѣ внѣшнюю гарантію въ видѣ честнаго слова, сковать сокровеннѣйшее въ моей душѣ такою въ высшей степени общою формою—я не въ состояніи. При томъ значеніи, которое имѣютъ теперь церковь, государство и нравственность—слова, въ которыхъ выражается вся неспокойная и борющаяся жизнь нашего времени, я подписаніемъ требуемаго обязательства не только вовлечу бы себя въ печальную душевную тревогу, которой и конца не предвидѣлось бы, но даже при самой искренней сдержанности сдѣлался бы жертвой несказанныхъ подозрѣній. Какую цѣну можетъ имѣть писатель для своей націи, когда онъ отнимаетъ у нея возможность судить о немъ безпристрастно, сво-

бодно, какъ о человѣкѣ вполнѣ самостоятельномъ? Глубокая грусть охватываетъ меня при мысли, какое положеніе занимаетъ относительно своей націи писатель въ Англіи и Франціи, и въ какое положеніе ставятъ его въ Германіи. Говорю открыто, что если государство имѣетъ право и обязанность не допускать никакой писательской оппозиціи тѣмъ фактамъ, которыхъ оно является представителемъ, то нельзя признать за нимъ права уже а priori приводить писателя въ разладъ съ самимъ собою и тяжелыми дилеммами и подлежащими разнообразнымъ толкованіямъ альтернативами смущать и отягчать его совѣсть... Его величество, нашъ король и повелитель, слишкомъ непріязненно относится ко всякой формалистикѣ, ставя выше всего духовную сторону вещей, чтобы не видѣть, что подобныя подписки — принадлежность мрачной эпохи средневѣковыхъ церковныхъ соборовъ, и менѣе всего могутъ быть требуемы отъ писателя, который вѣдь долженъ творить только изъ самого себя, изъ свободы своего духа. Требовать отъ меня, сочинителя, который еще недавно поставилъ на королевской сценѣ такую невинную пьесу, какъ драма „Бѣлая страница“, чтобы я далъ ручательство за мою будущую литературную дѣятельность — значить не только игнорировать строго проводившееся съ 1835 г. лояльное направленіе, но и вполнѣ губить его въ глазахъ судящей слѣпо и по внѣшнему виду массы, въ глазахъ коварныхъ и злобствующихъ противниковъ. Съ мрачнымъ уныніемъ ожидаю я рѣшенія, которое, послѣ настоящаго отказа моего дать требуемую подписку, конечно, не заставитъ себя ждать“...

Но, какъ видно, духъ времени повернулъ въ либеральную сторону такъ круто, что упорно противодействовать ему представлялось неудобнымъ. Три вышеупомянутыхъ „министра цензуры“, понявъ, что съ Гудковымъ въ этомъ вопросѣ ничего не подѣлаешь и не желая возбуждать новыхъ неблагоприятныхъ толковъ въ обществѣ и либеральной печати, представили королю новый докладъ объ освобожденіи Гудкова отъ всѣхъ, лежавшихъ на его дѣятельности цензурныхъ стѣсненій, не требуя отъ него подписки въ будущей благонадежности. На этотъ разъ и король изъявилъ свое согласіе — и въ іюлѣ 1843 г. послѣдовалъ высочайшій указъ по этому предмету. Но онъ не былъ обнародованъ, потому что въ это самое время случился слѣдующій любопытный эпизодъ.

1-го августа, т. е. чрезъ двѣ недѣли послѣ подписанія указа, министръ Арнимъ сообщилъ своему коллегѣ Бюлову, что правительство цюрихскаго кантона заподозрѣло участіе Гудкова въ коммунистическихъ проискахъ. Вслѣдствіе этого Арнимъ счелъ нужнымъ попридержать обнародованіе указа. Но такъ какъ въ печати уже прошло извѣстіе о дарованной Гудкову милости, то оберъ-президенту было сообщено, что указъ, правда, подписанъ,

но по встрѣтившимся обстоятельствамъ еще не приведенъ въ исполненіе. Что касается до этого обвиненія въ коммунизмѣ, то (говорить Гейгеръ) оно было не совсѣмъ такъ безосновательно, какъ это утверждалъ Гуцковъ въ представленныхъ имъ объясненіяхъ. Онъ находился въ довольно близкихъ сношеніяхъ съ извѣстнымъ тогда коммунистомъ, портнымъ Вейтлингомъ, который съ 1838 г. обращалъ на себя вниманіе разными сочиненіями, напр. статью „Человѣчество, какимъ оно есть и какимъ должно было бы быть“; съ 1841 г. онъ жилъ въ Швейцаріи. Въ февралѣ 1843 г. въ Гуцковскомъ журналѣ „Телеграфъ“ появилась статья Вейтлинга „Такъ дѣло не можетъ оставаться. Коммунистическая надежда“. Редакція къ статьѣ сдѣлала примѣчаніе, что это перепечатка изъ издававшейся въ Веве газеты „Молодое поколѣніе“, сдѣланная съ цѣлью познакомить читателей „Телеграфа“ съ коммунизмомъ; главные мѣста ея „Телеграфъ“ напечаталъ жирнымъ шрифтомъ, а въ слѣдующемъ номерѣ, по поводу той же статьи, было сказано: „Мы отсылаемъ читателя къ „Парижскимъ Письмамъ“ нашего редактора, въ которыхъ онъ вполнѣ высказалъ свой взглядъ на то, что есть правдиваго и ошибочнаго въ коммунизмѣ. Это мы считаемъ необходимымъ сдѣлать потому, что обвиненія въ коммунистическихъ тенденціяхъ въ наши дни опасны“. Въ маѣ того же года появилось сочиненіе нѣкоего Бекера „Die Volksphilosophie unserer Tage“, въ которомъ авторъ, говоря о сочиненіи Вейтлинга „Garantien der Harmonie und Freiheit“, рекомендуетъ взять эпиграфомъ къ нему слова Гуцкова о пресловутомъ германскомъ дубѣ, во славу котораго такъ усердствовали квасные патріоты: „Долой старые вредные наросты! Спиливайте засохшія вѣтви! Зеленой, молодой листвѣ, красующейся на вѣтвяхъ—пощада и старательный уходъ!“.. Гуцковъ въ это время находился въ отлучкѣ и, узнавъ о посыпавшихся на него обвиненіяхъ, выступилъ на свою защиту, вызванную тѣмъ, что въ официальной прусской газетѣ было сообщено, съ надлежащею мотивировкой, о приостановкѣ приведенія въ исполненіе вышеупомянутаго королевскаго указа. Въ письмѣ изъ Турина, напечатанномъ во „Франкфуртской газетѣ“, онъ заявилъ, что дѣйствительно находился одно время въ перепискѣ съ бывшимъ портнымъ, а теперь писателемъ Вейтлингомъ, какъ журналистъ, который долженъ слѣдить за всѣми современными явленіями, но въ своихъ „Парижскихъ Письмахъ“ полемизировалъ съ Вейтлингомъ. „Впослѣдствіи — прибавлялъ онъ—я обозначу предѣлы, въ которыхъ коммунизмъ, какъ симптомъ общественнаго порядка вещей, можетъ возбуждать наше участіе, но какъ теоретическій воздушный замокъ или даже какъ химерическая форма общественнаго устройства, рѣшительно отталкиваетъ насъ отъ себя“. Вслѣдъ затѣмъ, въ той же газетѣ появилось второе объясненіе его, въ которомъ онъ рассказывалъ о своихъ сношеніяхъ съ Вейтлингомъ и заканчивалъ словами: „Слу-

жить благо ближняго — принципъ того коммунизма, приверженцемъ котораго долженъ быть всякій, у кого въ груди бьется чувствующее сердце. Но съ лжекоммунизмомъ, съ тѣмъ ученіемъ, которое свободнаго индивидуума хочетъ сдѣлать рабомъ химерически придуманной общей массы, съ коммунизмомъ мщенія образованнымъ людямъ и съ коммунизмомъ зависти къ богачамъ, я не имѣю ничего общаго“. Прусскіе министры этими объясненіями не удовлетворились. Уже до того прусскому посланнику въ Швейцаріи, Вертеру, было поручено представить докладъ по этому дѣлу. Вертеръ писалъ, что Гуцковъ развѣ только въ прежнее время симпатизировалъ коммунизму; но къ его докладу было приложено мнѣніе тогдашняго нравительственнаго совѣтника въ Цюрихѣ, впослѣдствіи знаменитаго юриста, Блунчли, въ которомъ онъ, не высказывая противъ Гуцкова прямого обвиненія, выразился о немъ уклончиво: „Всего противнѣе показалось мнѣ, что Гуцковъ, съ истинно литературскимъ высокомеріемъ, вдругъ теперь сталъ стыдиться близости съ маленькимъ портнымъ Вейтлингомъ, который, однако, превосходитъ его дарованіемъ“ (?). На основаніи всѣхъ полученныхъ свѣдѣній министръ Арнимъ (тотъ самый, который, повидимому, прежде стоялъ за Гуцкова) представилъ королю докладъ, сущность котораго заключалась въ слѣдующемъ. Роль, которую Гуцковъ игралъ въ коммунистическомъ дѣлѣ — двусмысленная. Правда, онъ нигдѣ не высказывалъ открыто своей приверженности къ этому ученію, но способъ его объясненій свидѣтельству о существующей возможности, что онъ предоставляетъ себѣ впослѣдствіи примкнуть къ коммунизму. Особо опасными представляются его слова въ одномъ письмѣ къ Вейтлингу: „Я стою за коммунистическій принципъ“. Вслѣдствіе этого было бы необходимо отменить королевскій указъ объ освобожденіи этого писателя отъ лежавшихъ на его литературной дѣятельности ограничений.

Но Арнимъ запоздалъ со своимъ предложеніемъ: за это время Гуцковъ уже получилъ, неизвѣстно какимъ путемъ, указъ и прислалъ письменную благодарность королю. Поэтому король, получивъ докладъ Арнима, отвѣчалъ, что такъ какъ однажды поставленное и объявленное заинтересованному лицу рѣшеніе государя не можетъ быть взято обратно, то указъ 17 іюля объ освобожденіи Гуцкова долженъ остаться въ силѣ. На основаніи такого категорическаго отвѣта Гуцкову было официально объявлено, что цензурныя ограниченія, наложенныя бундестагомъ на Молодую Германію, съ него сняты, но при этомъ сочи нужнымъ всетаки прибавить, что „прежнія запретительныя мѣры снова вступать въ силу—и на этотъ разъ уже навсегда—если онъ вернется къ тому направленію, которое подало поводъ къ этимъ мѣрамъ“. Это произошло въ декабрѣ 1843 г. „Восемь лѣтъ—за-

мѣчаетъ Гейгеръ—лежала на немъ опала, на полтора года дольше, чѣмъ на его товарищахъ Мундтъ и Лаубе. И собственно говоря, это печальное положеніе прекратилось только благодаря случайности—полученію Гуцковомъ указа, который желали положить подъ сукно, и вѣрности короля своему однажды данному слову. Будь дѣло предоставлено усмотрѣнію министровъ, Гуцковъ, по обвиненіямъ во мнимыхъ новыхъ грѣхахъ, продолжалъ бы страдать подъ гнетомъ старыхъ стѣсненій“. Но если прекратились его литературныя страданія, то все, вынесенное имъ до тѣхъ поръ, пагубно отразилось на всей его послѣдующей жизни, его характерѣ, его настроеніи. Только образъ мыслей его, его свободное и благородное мировоззрѣніе остались навсегда непоколебимыми, какъ это доказали его позднѣйшія произведенія, такіа, какъ романъ „Рыцари Духа“ и трагедія „Уріель Акоста“.

Въ книгѣ Гейгера находятся также матеріалы, касающіеся преслѣдованій прусскимъ правительствомъ третьяго изъ „молдыхъ германцевъ“ — Теодора Мундта. Но на его исторіи мы остановимся очень кратко, отчасти и потому, что его собственное поведеніе было настолько унижительно, что мы готовы даже сказать, знакомясь съ воздвигнутымъ на него гоненіемъ: по дѣломъ ему!

Мундту пришлось испытать на себѣ опалу не только какъ литератору, но и какъ состоящему на государственной службѣ, или собственно пытавшемуся поступить на службу въ качествѣ университетскаго профессора. Какъ литераторъ, онъ воздвигъ на себя гоненіе своимъ романомъ „Мадонна“, гдѣ на первомъ планѣ стояла „эманципация плоти“ въ самыхъ широкихъ, даже граничившихъ иногда съ порнографіею, размѣрахъ. Немедленно послѣ своего появленія (это было въ годъ постановленія бундестага) она была запрещена, причемъ цензура и полиція признали ее пагубной не только въ нравственномъ, но и политическомъ отношеніи. Затѣмъ на него, какъ на члена Молодой Германіи, была распространена опала, постигнувшая остальныхъ членовъ ея. Дурная репутація его, какъ писателя, отразилась и на его преподавательской карьерѣ: долго и безуспѣшно ему, приватъ-доценту, пришлось добиваться профессорской кафедры, и получилъ онъ ее уже только въ 1844 г., да и то министръ писалъ своимъ подчиненнымъ, что за лекціями Мундта надо внимательно слѣдить, что на нихъ долженъ постоянно присутствовать „разумный чиновникъ—но не въ служебномъ костюмѣ“, и обо всемъ неблагонамѣренномъ, что онъ услышитъ, немедленно доносить начальству. Свое освобожденіе отъ постановленныхъ бундестагомъ мѣръ онъ получилъ послѣ раскаянія, которое принесть немедленно по воцареніи Фридриха Вильгельма IV, и послѣ подписанія извѣ-

стнаго уже намъ обязательства, которое онъ успѣшилъ совершить, какъ только его потребовали, безъ всякихъ колебаній и оговорокъ. Но это самоуниженіе его—ничто въ сравненіи съ тѣмъ по истинѣ гнуснымъ малодушіемъ, которое онъ проявилъ въ отреченіи отъ своихъ прежнихъ единомышленниковъ, въ тѣхъ отзывахъ, которые онъ—все съ тѣми же служебными цѣлями—давалъ о нихъ и о своихъ къ нимъ отношеніяхъ начальству и высказывалъ даже въ своихъ сочиненіяхъ. Такъ, напримѣръ, въ книгѣ „Spaziergänge und Wettfahrten“ онъ писалъ между прочимъ: „Молодая Германія была слишкомъ смѣшное и ничтожное (miserables) явленіе, и я буду очень радъ, когда съ меня снимутъ обвиненіе въ глупости, которую нужно было имѣть для того, чтобы подъ такимъ названіемъ и съ такими средствами основать такую мерзкую компанію.“ Одно изъ своихъ сочиненій онъ послалъ своему заклятому врагу, свирѣпому министру Рохову, при письмѣ, въ которомъ говорилъ, что дѣлаетъ это „въ знакъ благодарности (Роховъ написалъ на поляхъ, „за что этому господину благодарить меня?“), ибо та категорія литераторовъ, въ числѣ которыхъ значится къ моему прискорбію и мое имя, обязана исключительно высокоразумнымъ распоряженіямъ вашего превосходительства тѣмъ, что она можетъ продолжать пользоваться отечественною печатью, чтобы (покрайней мѣрѣ, въ моемъ характерѣ всегда глубоко лежали эти цѣли) идти по пути, болѣе благотворному, чѣмъ тотъ, которымъ она слѣдовала до сихъ поръ...“ Усердіе его въ этомъ родѣ проявлялось такъ блистательно, что президентъ полиціи отзывался о немъ, какъ о „ведущемъ себя весьма лояльно“ и въ донесеніи министру говорилъ: „Онъ продолжаетъ устойчиво держаться умѣренныхъ принциповъ и, повидимому, теперь уже не только не принадлежитъ къ оппозиціонной партіи, но напротивъ того—больше склоняется на сторону правительства, что особенно обнаружилось замѣтнымъ протестомъ студентовъ при началѣ его чтеній въ университетѣ“. Будь это обращеніе искренно, съ нимъ, пожалуй, можно было бы примириться какъ со всякимъ искреннимъ убѣжденіемъ; но гнусность тутъ заключается особенно въ томъ, что какъ только опасность миновала, этотъ человѣкъ опять обратился въ архилиберала. Именно въ 1849 г. (т. е. послѣ переворота, произведеннаго предшествовавшимъ годомъ), получивъ мѣсто профессора въ Бреславлѣ, Мундтъ—какъ о томъ доносилъ президентъ полиціи министру—немедленно вступилъ въ демократическій союзъ, съ ликованіями былъ принятъ тамъ и въ одномъ изъ народныхъ собраній произнесъ рѣзкую рѣчь противъ правительства...

Гейгеръ сообщаетъ нѣсколько новыхъ матеріаловъ и касательно преслѣдованій прусскимъ правительствомъ жившаго во Франціи Гейне; но литературнымъ злоключеніямъ великаго писателя мы намѣреваемся посвятить особую статью.

Книга Гейгера оканчивается слѣдующими словами, подѣ которыми трудно не подписаться.

„Эпизодъ Молодой Германіи былъ печальный эпизодъ нѣмецкой литературы. Ни на той, ни на другой сторонѣ, ни между нападающими, ни между нападаемыми не было героевъ. И, однакоже, всякій безпристрастный судья чувствуетъ глубокую симпатію къ жертвамъ преслѣдованія, несмотря на ихъ часто незначительную дѣятельность, не смотря на ихъ часто слабый характеръ. Источникъ этой симпатіи—сознаніе связи, соединяющей всѣхъ умственныхъ работниковъ убѣжденіемъ, что умственную работу нельзя остановить насильственными мѣрами. Эта симпатія побудила Кюне, который не былъ ни героемъ, ни полнымъ приверженцемъ теорій Молодой Германіи, открыто выступить въ защиту опальныхъ товарищей, и она же вызвала прекрасное письмо къ нему Бёрне—письмо, въ которомъ говорилось: „Мы всѣ раздѣляемъ участь гонимыхъ; вся Германія, вся нѣмецкая молодежь оскорбляется, отдается на муки и распятіе въ лицѣ этихъ пятерыхъ; поэтому всѣ мы, въ комъ осталась еще хоть одна капля молодой крови, должны примѣнуть къ нимъ—примѣнуть для того, чтобы союзъ Молодой Германіи распространялся все шире и шире...“

Петръ Вейнбергъ.

НОВЫЯ КНИГИ.

М. Г. Васильева. Пѣсни сибирячки. Спб. 1901.

Грандіозная, подлая мрачной, таинственной красоты природа Сибири, равно какъ и грустная судьба населяющихъ ее народностей уже не разъ давали богатую пищу русской художественной литературѣ; однако, изъ среды самихъ сибиряковъ не выдѣлилось до сихъ поръ ни одного сколько-нибудь крупнаго и оригинальнаго художника слова. Г. Потанинъ, предпославшій нѣсколько страницъ предисловія сборнику стиховъ г-жи Васильевой, находитъ это обстоятельство страннымъ, почти загадочнымъ.

„Въ условіяхъ сибирской жизни или въ сибирскомъ темпераментѣ,—говоритъ почтенный писатель-ученый,—должно быть, есть что-то такое, что мѣшаетъ расцвѣту истиннаго поэтическаго творчества. Во всемъ томъ, что написано сибирскими стихотворцами, очень мало искреннихъ нотъ; желаніе польстить патріотическому чувству сибирскаго читателя или приподнять его настроеніе изображеніемъ грандіознаго въ сибирской природѣ, наводнило си-

бирскія газеты ходульными рифмованными восхваленіями ея великихъ рѣкъ, безконечныхъ лѣсовъ и высокихъ горъ. Среди этой трескучей прозы задушевно написанная страница изъ жизни частнаго лица или описаніе простенькаго сибирскаго пейзажа представляется рѣдкимъ исключеніемъ.“

Намъ однако думается, что обвинять въ этомъ *темпераментъ* сибиряка, въ сущности того же великоросса, по меньшей мѣрѣ преждевременно, и что скорѣе слѣдуетъ принять въ расчетъ два другихъ обстоятельства: численную ничтожность сибирской интеллигенціи и то, что Сибирь ни въ государственномъ, ни въ интеллектуальномъ отношеніи не представляетъ отдѣльнаго цѣлаго. Вѣдь это—не болѣе, какъ одна изъ многихъ русскихъ провинцій, хотя и съ нѣкоторыми характерными особенностями,—и, какъ странно требовать, напр., отъ Сѣвернаго Края или Поволжья особыхъ поэтовъ, такъ же странно требовать ихъ и отъ Сибири. На какой бы окраинѣ великаго государства ни появлялось болѣе или менѣе выдающееся поэтическое дарованіе, въ силу общихъ условій, объединяющихъ (въ данный историческій моментъ) различныя области, оно станетъ тотчасъ же достояніемъ всей Россіи, какъ былъ имъ и Кольцовъ, уроженецъ г. Воронежа, какъ былъ имъ и Омелевскій, уроженецъ г. Иркутска. Что касается массы рифмованной прозы, наводняющей сибирскую журналистику, то и въ этомъ отношеніи Сибирь нисколько не находится въ какомъ-либо исключительномъ положеніи. Сколько водянистыхъ и бездарныхъ виршей печатается ежедневно на страницахъ издаваемыхъ по сю сторону Урала газетъ и журналовъ, и много ли среди нихъ истинно-талантливыхъ вещей? Богаты ли мы въ настоящее время поэтами?..

Лежащая передъ нами книжка стихотвореній совершенно неосновательно, на нашъ взглядъ, названа „Пѣснями сибирячки“. Ничего нѣтъ въ нихъ спеціально-сибирскаго, кромѣ развѣ названій газетъ, въ которыхъ они предварительно печатались: ни сибирскаго пейзажа, ни сибирской исторіи, ни исключительно-сибирскихъ настроеній... „Главная нота въ стихахъ г-жи Васильевой, читаемъ мы въ предисловіи,—жалоба женщины, обойденной личнымъ счастьемъ; обманутому въ надеждахъ поэту окужающій міръ кажется тѣснымъ, мрачнымъ и душнымъ“; „онъ думаетъ, что есть другія мѣста, гдѣ больше свободы и больше солнца, онъ рвется въ какую-то даль съ другой болѣе ласковой природой, съ другой болѣе свободной жизнью людей.“

Но вѣдь эта нота—общерусская, и для поэтического изображенія Сибири недостаточно сказать, „что никто не чувствуетъ сильнѣе этихъ невидимыхъ оковъ, чѣмъ земляки г-жи Васильевой.“

Къ сожалѣнію, если у предлагаемыхъ стихотвореній отнять претензію на мѣстный колоритъ, то литературная цѣнность ихъ окажется совсѣмъ незначительной... Передъ нами не что иное,

какъ вдохновенія провинціальной барышни,—правда, съ добрымъ сердцемъ и мечтательнымъ умомъ, съ идеальными порывами, (съ маленькимъ, если хотите, поэтическимъ дарованіемъ, но совершенно неразвитымъ и некультивированнымъ. Мотивы—болѣе, чѣмъ скромные, форма—блѣдная, почти дѣтская...

Ты чего-то желаешь, томпишься,
Безотчетно о чемъ-то грустишь...
Отчего?.. Нѣтъ, не надо отвѣта!
Трудно будетъ тебѣ его дать.
Мнѣ понятна тоска въ эти лѣта,
Такъ позволь же его угадать!

Или еще:

Бываютъ минуты—я тайно мечтаю...
Сказать ли о чемъ?.. Да о смерти, другъ мой!—

Вотъ довольно характерные образцы поэзіи г-жи Васильевой. Обращаясь къ „поэту“ съ строгимъ требованіемъ:

Нѣтъ, другъ мой, работай усердно надъ ними (?)
И пѣсень небрежныхъ толпѣ не кажи,—

къ своимъ „пѣснямъ“ наша поэтесса относится почему-то снисходительно, и у нея на каждомъ шагѣ встрѣчаются такія рифмы, какъ пѣсни—тѣсныхъ, лаской—сказку, садъ—гладъ, формы—волны, грустью—чувства, событій—зритель и т. д. до безконечности. Въ чужомъ глазу сучки очевидно виднѣе, и г-жа Васильева поддается такому самообольщенію, что, напр., пишетъ:

Новый годъ наступилъ... Пѣсень новыхъ
Отъ меня жадно просятъ и ждутъ (?)!...

Стихами своими она бросаетъ на жизненный путь „душистыя розы“ и надоедливо-часто именуетъ себя „поэтомъ“... При такой преувеличенной оцѣнкѣ своихъ силъ немудрено, что законныя колебанія относительно появленія въ печати были побѣждены:

Дарю я свѣту—рѣшено—
Любви минувшей вдохновенья!

Мы не задаемся, однако, дешевой цѣлью высмѣять сибирскую поэтессу, хотя за матеріаломъ и не стало бы дѣло; кое-какихъ достоинствъ въ ней нельзя отрицать. Если бы не недостатокъ эстетическаго вкуса и широкаго кругозора, то изъ г-жи Васильевой, быть можетъ, и выработалось бы что-нибудь достойное примѣчанія. Ей принадлежитъ, напр., такое четверостишіе:

О если за то, чтобы пѣснѣ родиться,
Должна я страданьемъ платить,
Готова я небу о мукахъ молиться
И жгучія слезы любить!

Сколько въ этихъ стихахъ искренности, трогательной въ своей юношеской наивности любви къ поэзіи! Къ сожалѣнію, г-жа Васильева очень рѣдко умѣетъ быть столь краткой... Сдѣлаемъ еще нѣсколько выписокъ.

Мнѣ душно здѣсь... На родинѣ моей
Трава полей и ярче, и пышнѣе,
Прозрачный воздухъ чище и свѣжѣй,

уносится поэтъ мечтою на свой далекій востокъ, и ему хочется снова:

... Въ темный боръ забраться въ лѣтній зной,
Гдѣ сосны стройныя стоятъ, какъ великаны,
Коверъ изъ мха ложится подъ ногой,
И гордый лѣсъ спокойной тишиной
Души больной залѣчиваетъ раны...
Живую мысль не давить ширь степей,
Ихъ грустный видъ души не надрываетъ.
Мнѣ душно здѣсь,—и къ родинѣ моей
Моя мечта, какъ птичка, улетаетъ!

Наравнѣ съ родиной, поэтическимъ ореоломъ окружается также и первая, увы! неудавшаяся любовь:

Прошли года, и... гдѣ же ты,
Прекрасный богъ моей мечты,
Рожденный шумомъ вѣшнихъ грозъ,
Дыханьемъ ландышей и розъ,
Повитый радугой лучей
Блестящей юности моей!..

Вѣрнѣе было бы сказать—наивной юности... Среди невзыскатель-
ной провинціальной публики сборникъ г-жи Васильевой, во вся-
комъ случаѣ, по праву встрѣтитъ сочувственный откликъ.

С. С. Будченко. Маленькій букетъ. Стихотворенія. М. 1900.

С. С. Антоновъ. Сны. Кіевъ. 1900.

С. Аполлоновъ. Стихотворенія. М. 1900.

Когда придется сердцу туго
(Пускай корсетъ и не въ чести!)
Къ твоимъ услугамъ пѣсни друга,
Чтобъ сердце пѣсней отвести.

Такое посвященіе красуется на „Маленькомъ букетѣ“ г. Буд-
ченко. Не имѣя чести принадлежать къ прекрасному полу, нося-
щему корсетъ, и быть друзьями поэта, мы тѣмъ не менѣе попы-
тались „отвести сердце“ на его пѣсняхъ, снабженныхъ столь утѣ-
шительнымъ общаніемъ. Любопытство было, къ сожалѣнію, же-
стоко наказано, и съ первыхъ же стиховъ намъ пришлось очень,
очень туго! На сцену появился откуда-то удивительный „лавро-

вый тронъ“; передъ балкономъ собрался, далѣе, „цѣлый домъ“ (вотъ такъ фокусъ!)... И когда въ слѣдующемъ затѣмъ стихотвореніи г. Будченко обратился къ небу съ скромною, якобы, просьбою дать ему кровь, хлѣбъ, здоровье и спутницу жизни и закончилъ пьесу высокопоэтическимъ и вмѣстѣ величественнымъ стихомъ:

Эту просьбу, о Небо, замѣть!—

Мы, признаемся откровенно, струсили и поспѣшили перейти къ сборнику г. Антонова. Дастъ Богъ, думали мы, читателямъ кievскаго поэта приходится не столь туго... Но не тутъ-то было! Изъ огня попадаешь прямо въ полымя! Оказывается, весь міръ г. Антонова—сплошь—окутанъ тайною. „Тайна-волшебница“ плыветъ у него по ночному небу, и при этомъ еще поетъ (!) и заставляетъ скалы проливать „холодныя слезы“... Колоколъ надъ храмомъ „гудитъ тайною“... Самъ г. Антоновъ любитъ ночь,

Какъ любить смерть—могилъ покой,
Какъ зорька—отблескъ предразсвѣтныя,
Какъ тайна—сумракъ мировой.

Вотъ онъ какой страшный! У его души имѣется какой-то „мистическій покровъ“, въ „нѣмые сны“ котораго вплелись опять-таки „гирлянды тайнъ“...

Вѣдь умудрится же человѣкъ сплести о себѣ такую небывлицу!—усмѣхнется, быть можетъ, читатель, но это потому только, что онъ не знаетъ еще, кто такой г. Антоновъ.

Я—волна океана вселенной,
Я—зарница мечты сокровенной,
Я—предвѣстникъ грядущихъ временъ,
Я—эфира мечтательный сонъ.
Я—миражъ средь безплодной пустыни,
Я—нѣмая загадка святыни,
Я—таинственный тѣней чертогъ,
Я—въ оковахъ невѣдомый богъ.

Но разъ—„предвѣстникъ грядущихъ временъ“ и „невѣдомый богъ“, то гдѣ же намъ, простымъ смертнымъ, и понять „Сны“ г. Антонова? И зачѣмъ только они напечатаны!

Третій изъ разбираемыхъ поэтовъ будетъ много попроще.

Пусть я таланта не имѣю,
Пусть я не истинный поэтъ,—

скромно допускаетъ г. Аполлоновъ:

Пусть такъ... Но все же я дерзаю
Въ созвучьяхъ скромныхъ передать
О чемъ въ тиши порой мечтаю.

Это „но все же“ довольно, конечно, странно: зачѣмъ бы, ка-

...ишь, что не имѣешь таланта? Среди поэзии г. Аполлонова есть, напр., такой:

Что за губки, что за глазки,
Сколько дивнаго огня
И любви, и нѣжной ласки,—
Но, увы, не для меня...
Голубкомъ она воркуя,
Расцвѣтаетъ въ тишинѣ,
Шлетъ привѣты, поцѣлуи,
Но, увы, опять не мнѣ...

Нужно, впрочемъ, отдать г. Аполлонову справедливость: онъ больше интересуется гражданскими мотивами, онъ настоящій поэтъ-войска:

Я ненавижу отъ души
Избравшихъ деньги идеаломъ.
Упавшихъ ницъ предъ капиталомъ.
Продавшихъ совѣсть за гроши...
О, какъ я этихъ не терплю!
Съ какимъ бы радостнымъ презрѣньемъ
Я имъ сказалъ бы съ озлобленьемъ:
Вотъ ось-то я и не люблю!

Какъ поблѣднѣли бы, какъ затрепетали бы господа „эти“, если бы въ одинъ прекрасный день г. Аполлоновъ привелъ въ исполненіе свою страшную угрозу... Милый, наивный поэтъ!

Альфредъ Дрейфусъ. Пять лѣтъ моей жизни. 1894—1899.
Переводъ съ франц. подъ ред. и съ предисл. Е. Смирнова. Спб. 1901.

Давно ли вокругъ имени Дрейфуса кипѣли и волновались страсти всего образованнаго міра? Сколько души вложили и мы, русскіе, въ это, казалось бы, постороннее для насъ дѣло... Кто изъ насъ не помнитъ еще тѣхъ лихорадочныхъ дней, когда словно электрическій токъ передавался сердцамъ отъ каждаго свѣжаго газетнаго листа? Что-то принесъ онъ съ собою новаго? Яркій ли свѣтъ восторжествовавшей истины засіялъ надъ Франціей и надъ всѣмъ человѣчествомъ, или, напротивъ, еще большая тьма ступила надъ ними? Почти личными врагами считали мы всѣхъ этихъ Мерсье, Пати-де-Клямовъ, Гонзовъ, Дрюмоновъ и иныхъ представителей и защитниковъ французскаго милитаризма и антисемитизма, и какъ-будто сами сидѣли мы на далекомъ, пустынномъ островѣ, затерянномъ среди океана, съ сердцемъ, разрывавшимся отъ муки и скорби! Когда пришла телеграмма о вторичномъ безчеловѣчномъ осужденіи Дрейфуса, на минуту въ насъ пошатнулась, казалось, самая вѣра въ правду, въ истину, цивилизацію... А затѣмъ — какой взрывъ негодованія вызвала гнусная лживая передовица „Новаго Времени“! Какъ хотѣлось опять вѣрить, что борьба за правое дѣло возобновится

съ удвоенной, съ удесятеренной силы—хотя бы и далеко отъ насъ и послѣднихъ своихъ убѣжищахъ!

И что же? Борьба совсѣмъ не возобновилась. Правительство „помпловало“ завѣдомо невиннаго человѣка, онъ, измученный, раздавленный, оскорбленный въ самыхъ святыхъ своихъ чувствахъ, съ послѣднимъ стономъ протеста на устахъ, сошелъ съ шумной сцены, на которую воля судьбы случайно его поставила, и удалился въ мракъ и неизвѣстность частной жизни. И вотъ, не прошло еще и двухъ лѣтъ, а уже самое имя Дрейфуса окружилось если не забвеніемъ, то молчаніемъ... Вышедшія теперь въ свѣтъ записки злополучнаго узника Чортова острова были встрѣчены, говорятъ, безъ особеннаго любопытства даже во Франціи, а русскій переводъ, уже нѣсколько мѣсяцевъ находящійся въ продажѣ, не удостоился, кажется, ни одного еще печатнаго отзыва. *Sic transit gloria mundi!* Таковы нравы и прихоти шумной, властной и всегда неблагодарной улицы!

А между тѣмъ, это во многихъ отношеніяхъ замѣчательная книга. Она не только даетъ важные дополнительные штрихи къ мрачной общественно-политической фантазмогоріи, которую развернуло дрейфусовское „Дѣло“ во Франціи; но она въ высшей степени цѣнна и какъ чисто-литературное явленіе, какъ любопытный документъ личной психологіи. Записки эти, не обличая, быть можетъ, въ авторѣ особеннаго художественнаго таланта, представляютъ воплощенную простоту и искренность. Ни одного невѣрнаго, фальшиваго звука, ни одной намѣренно-красивой позы; поразительная краткость изложенія, столь рѣдкая у французовъ; доходящая до скупости умѣренность въ описаніи внѣшнихъ ужасовъ и страданій, въ такомъ изобиліи выпавшихъ на долю автора. Съ благороднымъ презрѣніемъ относится онъ къ физическимъ мукамъ, едва достаивая ихъ упоминанія; ежеминутно оскорбляемый, голодный, больной, умирающій, онъ говоритъ и помнитъ только объ одномъ—объ ужасномъ, позорномъ пятнѣ, которымъ такъ несправедливо заклеили его честное имя... Эта мысль однимъ сплошнымъ крикомъ боли и отчаянія, ни на минуту не прерывающимся, проходитъ по всей книгѣ, по каждой ея страницѣ, по каждой самой короткой запискѣ, адресованной женѣ или начальству, — и, конечно, это самое вѣское свидѣтельство невинности Дрейфуса. Виновный не такъ бы держалъ себя, не такъ бы писалъ... Передъ нами натура, очевидно, въ высшей степени замкнутая, скромная, стыдливая, вынесшая много страданій и умѣвшая принять ихъ съ рѣдкимъ мужествомъ и достоинствомъ. Гордость страданія—вотъ главная, бросающаяся въ глаза, черта этихъ записокъ.

О личности Альфреда Дрейфуса было принято почему-то от-

зываются, какъ о полномъ ничтожествѣ. Даже многіе изъ такъ называемыхъ „дрейфусаровъ“ охотно допускали все время, что самъ по себѣ Дрейфусъ, хотя и невинный въ томъ, въ чемъ обвинялъ его главный штабъ, былъ не болѣе, какъ честолюбивымъ выскочкой, отталкивавшимъ отъ себя всѣхъ, кто приходилъ съ нимъ въ соприкосновеніе, и что, въ сущности, какъ человѣкъ, онъ недостоинъ того шума, той великой борьбы принциповъ, какими судьбѣ заблагоразсудилось окружить его имя. Возможно, конечно, что до разразившагося надъ его головой несчастья Дрейфусъ и, дѣйствительно, ничѣмъ не выдѣлялся изъ породившей его буржуазно-милитаристской среды, дѣйствительно обладалъ всѣми ея недостатками; но если такъ, то необходимо признать, что страданіе его преобразило... По крайней мѣрѣ, герой книги „Пять лѣтъ моей жизни“ представляется намъ въ другомъ, болѣе идеальномъ свѣтѣ, и это отнюдь не результатъ пристрастнаго авторскаго освѣщенія, потому что всѣ рассказываемые имъ факты могутъ быть провѣрены и доказаны официальными документами.

Пора, однако, обратиться къ самой книгѣ. Необходимая краткость журнальной рецензіи, къ сожалѣнію, заставляетъ насъ ограничиться лишь выписками изъ нея кое-какихъ лирическихъ мѣстъ, опуская детальныя описанія сценъ и событій, — напр., потрясающій рассказъ о диктовкѣ „бордеро“ и арестѣ. „Ночь, послѣдовавшая за моимъ осужденіемъ, была одной изъ наиболѣе трагическихъ въ моемъ трагическомъ существованіи, — писалъ Дрейфусъ своей героинѣ-женѣ: — въ моей больной головѣ мучительно бились самые сумасбродные планы; я усталъ отъ людской жестокости, я возмущался такой безграничной несправедливостью. Горе такъ глубоко, сердце мое такъ изранено, что я уже избавилъ бы себя отъ этой печальной жизни, если бы меня не удерживало воспоминаніе о тебѣ и дѣтяхъ, если бы боязнъ еще усилить твою боль не удерживало мою руку. Слышать все то, что мнѣ бросили въ лицо, когда знаешь, что не въ чемъ себя упрекнуть, что никогда не совершилъ даже самой легкой неосторожности, — это ужасная, неслыханная нравственная пытка“!

Но за страшной ночью послѣдовалъ еще болѣе страшный день, когда произошла возмутительная сцена разжалованья. „Ахъ! почему нельзя со скальпелемъ въ рукахъ открывать сердца людей и читать въ нихъ! Всѣ честные люди могли бы тогда прочесть въ моемъ сердцѣ: „Это — честный человѣкъ“... О, я прекрасно ихъ понимаю! На ихъ мѣстѣ, я бы также не могъ сдержать чувства презрѣнія при видѣ офицера, о которомъ твердятъ, что онъ измѣнникъ. Но, увы! въ томъ-то и трагедія, что измѣнникъ — не я!.. Сейчасъ я пережилъ ужасный кризисъ: я плакалъ и рыдалъ, и все тѣло мое дрожало въ лихорадкѣ. Это реакція противъ мучительныхъ пытокъ цѣлаго дня, — она фатально

должна была наступить. Но вмѣсто того, чтобы прижаться къ тебѣ и плакать въ твоихъ объятіяхъ, я своими рыданіями оглашалъ лишь тюремную пустыню“.

Но у него не было злобы противъ парижской толпы, гнѣвное рычаніе которой онъ слышалъ вдали: онъ понималъ ея чувства и оправдывалъ, негодуя лишь противъ тѣхъ, кто обманулъ эту легковѣрную толпу. И когда, недѣли двѣ спустя, при отправкѣ на островъ Рэ, онъ очутился на нѣсколько мгновеній, благодаря непредусмотрительности полиціи, во власти этой толпы и чуть не былъ ею разорванъ, онъ не пытался даже спастись,—напротивъ, онъ отталкивалъ защищавшихъ его конвойныхъ, отдавая народу во власть свое тѣло и лишь стараясь „выкрикнуть“ ему его заблужденіе...

Въ апрѣлѣ 1895 года Дрейфусъ былъ уже на Чортовомъ островѣ, безплодной скалѣ, которая прежде служила мѣстомъ заключенія для прокаженныхъ. „Нѣтъ никакой возможности спать,—пишетъ онъ въ своемъ дневникѣ, который проситъ передать женѣ въ случаѣ своей смерти:—эта клѣтка, предъ которою, какъ призракъ, какъ сонное видѣніе, прогуливается надзиратель, укусы бѣгающихъ по тѣлу паразитовъ, гнѣвъ, каждый разъ просыпающійся при мысли, что я попалъ сюда, хотя всегда и вездѣ исполнялъ свой долгъ, — все это возбуждаетъ мои и безъ того уже натянутые нервы и гонитъ отъ меня сонъ. Когда, наконецъ, я проведу спокойную и тихую ночь? Быть можетъ, только въ могилѣ, гдѣ я буду покоиться вѣчнымъ сномъ. Какъ было бы хорошо не думать больше о человѣческой низости и подлости!—Гдѣ ключъ къ этой тайнѣ? Я и теперь ровно ничего не понимаю во всемъ, что произошло. Быть осужденнымъ безъ всякихъ уликъ, на основаніи какого-то документа! Развѣ этого не довольно, чтобы деморализировать человѣка, какова бы ни была его душа и совѣсть?“—„И такіе факты возможны въ нашъ вѣкъ въ такой странѣ, какъ Франція, въ странѣ, проникнутой идеями справедливости и истины“!

Или, вотъ, еще одна характерная тирада: „Серьезно я спрашиваю себя, чего стоитъ совѣсть современнаго человѣка? Вѣдь есть же такъ называемые честные люди, вродѣ Бертільона, которые осмѣливаются утверждать подъ присягой, основываясь лишь на сходствѣ почерковъ, что никто другой, кромѣ меня, не могъ написать этого гнуснаго письма. Надѣюсь, что въ тотъ день, какъ истинный виновникъ будетъ разоблаченъ, если въ этихъ людяхъ есть еще немного совѣсти, они найдутъ еще пистолетную пулю, чтобы пустить ее себѣ въ лобъ, чтобы самимъ произнести надъ собой приговоръ за то, что они причинили подобную пытку человѣку, цѣлой семьѣ“.

Минуты идутъ для узника, „какъ вѣка“, и страшно—переводить ихъ даже мысленно, читая его записки и зная, что все

давно уже кончилось, что правда, наконецъ, возсіяла. Одно время года смѣняется другимъ; въ невыразимыхъ, нечеловѣческихъ мученіяхъ, среди всякаго рода лишеній, придирокъ начальства, обидъ и несправедливостей проходитъ годъ, два, три и четыре... Надежды гаснутъ, отчаяніе растетъ... „Я получилъ письма, но виновные все еще не розысканы“, кратко отмѣчаетъ Дрейфусъ въ своемъ дневникѣ, а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ опять то же: „Измѣнникъ все еще не открытъ“, или: „Все по-старому; истина еще не обнаружена“.

Мученикъ дождался, наконецъ, страстно желаннаго дня: 16 ноября 98 года онъ получилъ телеграмму о томъ, что уголовная палата кассационнаго суда признала заслуживающимъ обсужденія прошеніе о пересмотрѣ его процесса, а 5 іюня 99 г. старшій надзиратель „стремительно вскочилъ“ въ его хижину и вручилъ ему бумагу о возвращеніи чиновъ и назначеніи новаго суда въ Реннѣ.

„Счастье слѣдовало за ужасомъ невыразимыхъ пытокъ, заря правосудія, наконецъ, поднималась. Я думалъ, что всему теперь наступить конецъ, и все дѣло сводится къ исполненію простой формальности“. Дрейфусу казалось, что вся Франція единодушно ждетъ правосудія, что онъ встрѣтитъ на родномъ берегу не только жену и родныхъ, но и товарищей съ протянутыми къ нему руками, со слезами радости на глазахъ... Но здѣсь-то, увы, и началась новая, еще болѣе ужасная пытка, въ видѣ цѣлаго ряда печальныхъ разочарованій. Тамъ, гдѣ онъ „разсчитывалъ найти людей, объединенныхъ въ общемъ стремленіи къ истинѣ и справедливости, полныхъ сожалѣнія объ ужасной судебной ошибкѣ, онъ увидѣлъ лишь растерянные лица, тысячи предосторожностей, безумную высадку среди глубокой ночи на разыгравшемся морѣ“... И затѣмъ отъ своихъ адвокатовъ (Деманжа и Лябори) онъ узналъ, наконецъ, всѣ тягостныя подробности „Дѣла“, всю исторію великой борьбы съ людскою неправдой и злобой... „Какой переворотъ произвело все это во мнѣ, который никогда не сомнѣвался въ правосудіи! Мои иллюзіи относительно бывшихъ начальниковъ рушились одна за другою; я видѣлъ, какъ страсти ослѣпляли людей, я знакомился со всѣми преступленіями, совершенными противъ родины и противъ невиннаго, и душа моя наполнялась смятеніемъ и болью“. Правда, одновременно съ этимъ въ немъ „росло и укрѣплялось глубокое чувство благодарности и удивленія ко всѣмъ тѣмъ мужественнымъ людямъ, ученымъ и рабочимъ, малымъ и великимъ, которые безъ оглядки ринулись въ бой за торжество истины и справедливости, въ защиту принциповъ, составляющихъ неотъемлемое достояніе челоуѣчества“. Правда также, что Дрейфусъ получилъ въ это время тысячи писемъ отъ друзей, извѣстныхъ и неизвѣстныхъ, со всѣхъ концовъ Франціи, со всѣхъ концовъ Европы и міра, и „сердце его тре-

петало отъ этихъ трогательныхъ проявленій симпатіи, и много силы почерпнулъ онъ въ нихъ“, но... если вспомнить, тѣмъ не менѣе, всѣ мучительныя условія и подробности реннского процесса, то станетъ вполне понятно подавленное ужасное состояніе духа подсудимаго, который казался всѣмъ такимъ безчувственнымъ и застывшимъ, такимъ „деревяннымъ“!..

И вотъ, онъ вторично осужденъ, съ признаніемъ смягчающихъ вину обстоятельствъ... „Съ какихъ это поръ,—съ горечью спрашиваетъ Дрейфусъ,—существуютъ смягчающія обстоятельства для измѣнника“?

Ему хотѣлось бы продолжать борьбу: вѣдь въ тысячу разъ легче умереть въ тюрьмѣ, чѣмъ получить свободу, но съ запятаннымъ именемъ! И будь Дрейфусъ одинокъ, какъ нѣкогда въ своей каменной клѣткѣ посреди бушующихъ волнъ океана, онъ такъ бы, конечно, и поступилъ: умеръ бы, а „помилованія“ не принялъ. Къ несчастію, онъ былъ окруженъ теперь родственниками и друзьями, которые всѣ наперерывъ умоляли его и убѣждали, прибѣгая ко всевозможнымъ софизмамъ, не упрямиться: правда и истина, конечно, прекрасныя вещи, но необходимо считаться съ суровой дѣйствительностью... Франція, родная, любимая Франція такъ нуждается въ успокоеніи... Свобода, кромѣ того, облегчить (!) борьбу за полную реабилитацію... А главное—это самое главное!—онъ долженъ подумать объ изстрадавшейся женѣ, о родныхъ, вспомнить о дѣтяхъ, которыхъ не видалъ съ самаго дня ареста...

Доводы казались сильными, убѣдительными, и человѣкъ съ расшатаннымъ въ конецъ здоровьемъ и развинченными нервами не выдержалъ: уступилъ и получилъ свободу... цѣной забвенія!

Если это былъ ложный шагъ, то вина его должна пасть не на одного Дрейфуса, а на всѣхъ лучшихъ людей современной Франціи, начиная съ краснорѣчиваго адвоката Лябори и кончая радикалами и социалистами министерства Вальдека Руссо.

И. Е. Рѣпинъ. Воспомянія, статьи и письма изъ-за границы. СПб. 1901.

Статьи г. Рѣпина, собранныя въ этой книжкѣ, проредактированной г-жей Сѣверовой, при первомъ появленіи своемъ въ временной печати, иногда производили извѣстный шумъ, въ причинахъ котораго теперь—когда перечитываешь ихъ сразу и отодвинувшись отъ злобы дня—выясняются въ достаточной степени. Очевидно, не новизна воззрѣній, нашедшихъ выраженіе въ этихъ статьяхъ, не послѣдовательность и не оригинальность или убѣдительность доводовъ, ихъ поддерживающихъ, объясняютъ этотъ шумъ. Впечатленіе, произведенное литературно-критическими и даже полемическими опытами г. Рѣпина зависѣло болѣе всего

отъ громкаго имени нашего заслуженнаго и популярнаго художника, быть можетъ, безъ всякаго противорѣчія для себя, но въ высшей степени неожиданно для большинства его почитателей присоединившагося здѣсь къ взглядамъ на искусство, которыхъ противникомъ онъ считался. Публика всегда варваръ, и быть можетъ нигдѣ ея невѣжество не достигаетъ такихъ размѣровъ, какъ въ теоріи изобразительныхъ искусствъ. По крайней скудости категорій сужденія, она полагала, что имѣетъ основаніе отнести одного изъ виднѣйшихъ передвижниковъ, создателя „Бурлаковъ“, „Іоанна Грознаго“, „Не ждали“, „Крестнаго хода“ къ художникамъ-мыслителямъ. Она ошиблась. Г. Рѣпинъ творитъ безсознательно, „wie der Vogel singt“, и возмущается поучающимъ искусствомъ. Съ жаромъ неофита, страхнувшего съ себя скверну заблужденій, онъ восклицаетъ: „Искусство у насъ на послѣднемъ планѣ, даже у большинства нашихъ художниковъ. Въ ихъ спеціальному дѣлѣ искусство, какъ искусство, играетъ второстепенную роль. Очень высокое искусство считается даже ненужной, излишней роскошью. Это все еще у насъ презрѣнное „искусство для искусства“.

Итакъ, однимъ паладиномъ чистаго искусства больше.

Мы ничего не скажемъ о самомъ тезисѣ г. Рѣпина. Принципъ искусства для искусства достаточно старъ и достаточно обстрѣлянъ, чтобы перестать ломать о немъ копыя въ столь общей и неопредѣленной формѣ, какъ это обыкновенно дѣлается. Защищать что бы то ни было такими доводами, какъ это дѣлаетъ г. Рѣпинъ, значить оказывать своему дѣлу медвѣжьёу услугу. „Воллонъ считается въ Парижѣ царемъ живописцевъ, хотя всю жизнь пишетъ только *nature morte*. „Но это праздная забава, онъ забавлялся“, сказалъ, увидѣвъ работы Фортуни, одинъ нашъ русскій художникъ. Онъ правъ. Но развѣ не праздная забава вся опера „Русланъ“ Глинки? Одинъ очень знаменитый писатель сказалъ про Пушкина—„свистунъ“. Можетъ быть, съ точки зрѣнія морали, такія искусства не только бесполезны, а даже вредны. Но равнодѣйствующая всей жизни идетъ своимъ путемъ и цѣнитъ дороже всего эти бесполезныя совершенства“. Такова коллекція доводовъ, долженствующихъ посрамить зазнавшуюся мораль и посадить на ея мѣсто *nature morte*. Великолѣпнымъ брилліантомъ сіяетъ среди этихъ убійственныхъ аргументовъ указаніе на одного „очень знаменитаго писателя“, сказавшаго про Пушкина „свистунъ“. А почему бы ему не сказать? Развѣ такое глубокомысліе составляетъ монополію очень знаменитыхъ живописцевъ? И лучше всего послѣдній аргументъ; „Венера Милосская (статуя побѣды) что представляетъ намъ, кромѣ чисто пластической высоты?“—Намъ? Кому—намъ? Глѣбу Успенскому, напримѣръ, она являла, какъ извѣстно, несравненный образецъ высоты нравственной. И даже слова

И всепобѣдной вѣя властью,
Ты смотришь въ вѣчность предъ собой

въ стихотвореніи Фета, къ взглядамъ котораго вплотную передвинулся г. Рѣпинъ, тоже обличаютъ взглядъ на мраморную богиню, далеко не исчерпывающійся одной „пластической высотой“. Этихъ иныхъ высотъ можно не видѣть—всякій видитъ то, что приносить съ собой, но зачѣмъ же изъ своей слѣпоты дѣлать догмать.

Г. Рѣпинъ не всегда ставилъ такъ низко общественно-поучающую роль искусства. Въ статьѣ о Крамскомъ, перепечатанной въ томъ же сборникѣ, онъ съ удовольствіемъ вспоминаетъ о шестидесятихъ годахъ: „Много появлялось картинъ въ ту возбужденную пору; онѣ волновали общество и направляли его къ человѣчности“. А вѣдь картины-то являли собой не одну „чисто пластическую красоту“. И если бы онѣ въ самомъ дѣлѣ направляли общество къ человѣчности, то ради этого безцѣннаго результата, пожалуй, стоило бы отказаться отъ блаженства созерцанія „чисто пластической красоты“. Не навсегда, не надолго—только до тѣхъ поръ пока общество очеловѣчится благодаря искусству. Но такъ ли ужъ велика сила искусства? Блаженъ, кто, какъ г. Рѣпинъ, увѣровалъ въ нее, но трижды несчастенъ тотъ, кто—какъ онъ же—въ ней развѣрился. Самое печальное то, что это отрицаніе общественнаго значенія искусства совсѣмъ не такъ ужъ безразлично для той „чисто пластической красоты“, которая такъ дорога г. Рѣпину. Вѣдь это сильнѣйшій аргументъ противниковъ „искусства для искусства“: не съ нравственной только, но и съ чисто художественной стороны выше при прочихъ равныхъ условіяхъ—произведенія того художника, который одушевленъ этой самой идеей „очеловѣченія“, а не только познанія пластическихъ формъ. И, быть можетъ, великолѣпныя солнечныя пятна „Бурлаковъ“ зависѣли больше всего отъ того идейнаго одушевленія, которымъ былъ зараженъ въ ту счастливую пору ихъ авторъ. Г. Рѣпину кажется чрезвычайнымъ противорѣчіемъ, то, что *пейзажисту* А. А. Киселеву могутъ принадлежать такіа слова: „Пусть новѣйшая художественная критика упрекаетъ нашихъ художниковъ въ идеяхъ сороковыхъ и шестидесятихъ годовъ, называя эти идеи тенденціями. Мы не имѣемъ причины стыдиться этихъ тенденцій, завѣщанныхъ намъ такими писателями, которымъ, какъ гениальнымъ художникамъ, поклоняется вся Европа. Тенденціи эти не идутъ въ разрѣзъ съ идеалами нашего искусства. Напротивъ, онѣ одухотворяютъ и возвышаютъ его. Чистыя отъ всякихъ корыстныхъ и эгонстическихъ побужденій, онѣ и есть идеалы нашего искусства, безъ которыхъ оно не могло бы и существовать“.—„И это,—восклицаетъ г. Рѣпинъ,—пишетъ нашъ прекрасный пейзажистъ, который *навсегда*, самымъ родомъ

своего искусства удаленъ всякихъ тенденцій“. Но вѣдь это и цѣнно въ словахъ г. Киселева, и г. Рѣпинъ могъ бы не удивляться, но задуматься надъ тѣмъ, какую роль играли „тенденціи“ въ прекрасномъ дарованіи нашего пейзажиста. Значить, вѣдь преклоненіе предъ „тенденціями“ не такъ ужъ неразрывно связано съ „утилитаризмомъ и литературой въ живописи“. Очень мало общаго съ „утилитаризмомъ“ имѣютъ и тѣ слова Мусоргскаго, которыя также цитируетъ г. Рѣпинъ въ подтвержденіе пагубнаго господства утилитаризма въ нашемъ искусствѣ: „художественное изображеніе одной красоты, въ матеріальномъ ея значеніи—грубое ребячество, дѣтскій возрастъ искусства“. Если бы г. Рѣпинъ не оборвалъ эту цитату, а продолжилъ ее, то и читателямъ стало бы ясно, что имѣлъ въ виду Мусоргскій. Мы не имѣемъ подъ рукой его подлинной фразы, но, помнится, тамъ нѣтъ рѣчи о какихъ либо моральныхъ требованіяхъ: изображенію одной внѣшней красоты противопоставляется художественное изображеніе человѣческой психики, особенно массовой. Причемъ же тутъ утилитаризмъ?

Мы думаемъ, что г. Рѣпинъ не впалъ бы въ эти прискорбныя ошибки, если бы манифестировалъ свои воззрѣнія какимъ либо инымъ, болѣе свойственнымъ и сподручнымъ ему способомъ. Правда, его слава въ прошломъ, въ періодъ его заблужденій, когда и его картины „волновали общество, и вели его къ челоувѣчности“, выигрывая при этомъ не только съ моральной, но и съ художественной стороны. Но онъ всетаки большой художникъ—и слабый теоретикъ. Если бы онъ ясно смотрѣлъ на вещи, то онъ видѣлъ бы, что эксцессы, въ которыхъ онъ такъ горячо упрекаетъ „Міръ Искусства“, среди иныхъ прочихъ причинъ, зависѣли и отъ его поворота, отъ его гимновъ безыдейной красотѣ. Если-бы онъ въ 1888 году не назвалъ „Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности“ „трескучей статьей“, то, быть можетъ, десять лѣтъ спустя Дягилевы не писали бы о Чернышевскомъ—„эта нездоровая фигура еще не переварена“. Есть вещи, которыя простительны „Міру Искусства“, но которыя не дѣлаютъ чести короткой памяти г. Рѣпина. Можно не соглашаться съ „эстетическими отношеніями“, можно даже не читать ихъ; но во всякомъ случаѣ это не „трескачая статья“; это магистерская диссертация; одного изъ образованнѣйшихъ у насъ людей своего времени и этого не знать стыдно.

Ф. Брюнетьеръ. Европейская литература XIX вѣка. Переводъ А. Веселовской. Москва. 1901 г.

Виднѣйшій представитель догматической и морализующей критики остается въ этомъ краткомъ и широкомъ очеркѣ вѣрнымъ самому себѣ. Съ полнымъ правомъ можно сказать о немъ то, № 10. Отдѣлъ II.

что онъ говоритъ о Маколеѣ: „прежде всего онъ спрашиваетъ себя, какую выгоду извлекутъ изъ того, что онъ скажетъ, виги или тори“. При всемъ внѣшнемъ желаніи быть историкомъ по преимуществу, онъ производитъ впечатлѣніе публициста и человѣка партіи. Онъ французъ, освѣдомленъ, главнымъ образомъ, во французской литературѣ, хотя говоритъ о европейской, старается приписать французской литературѣ тѣ заслуги, которыхъ она не имѣетъ, а къ нѣкоторымъ явленіямъ иностранныхъ литературъ относится съ пренебреженіемъ, иногда комичнымъ. Точно также онъ относится къ тѣмъ французскимъ произведеніямъ, которыя ему не угодили направленіемъ. Національные похороны Беранже его возмущаютъ. Онъ сомнѣвается, удѣлѣютъ-ли на театрѣ „какія-нибудь пьесы Шиллера, его *Марія Стюартъ*, *Вильгельм Телль*, Гетевскій *Фаустъ*, *Два Фоскари* Байрона, *Эрнани* и *Рюи Блазъ* Гюго“. Онъ „почти что больше“ вѣрить въ прочность драматическихъ произведеній Мюссе. Русский натурализмъ Гоголя, Толстого, Достоевскаго, по его мнѣнію, „слишкомъ часто увлекается приемами мелодрамы и романа-фельетона“. Весь русскій романъ вообще занесенъ Брюнетьеромъ въ область романа натуралистическаго. А такъ какъ „подражаніе природѣ, несомнѣнно, составляющее начало искусства, не должно быть ни его предѣломъ, ни главной цѣлью“, то торжество натуралистическаго романа было недолговѣчно и онъ, какъ и слѣдовало ожидать, уступилъ мѣсто роману психологическому, среди представителей котораго авторъ называетъ д'Аннунціо, Шербюлье и Поля Бурже. Итакъ, натуралистъ - Достоевскій, посрамленный психологомъ Бурже! Это даетъ представленіе о томъ оригинальномъ свѣтѣ, въ которомъ рисуются автору нѣкоторыя явленія иностранныхъ литературъ.

Брюнетьера охотно упрекаютъ въ томъ, что онъ догматикъ. По истинѣ, это было бы не такъ страшно, если бы его литературная догма не была такъ невыносимо стара и не стояла бы въ такомъ вопіющемъ противорѣчій съ современнымъ научнымъ движеніемъ. Этотъ окаменѣлый профессоръ риторики, отважно называющій свою книгу „Эволюціей жанровъ“, потому что онъ не знаетъ, къ чему обязываетъ такое заглавіе, до сихъ поръ смотритъ на литературныя явленія глазами Лагарпова „Лицея“. Достаточно указать на то, что, остановившись со вниманіемъ на церковномъ краснорѣчій—только французскомъ, ибо другого онъ не знаетъ—онъ отбросилъ отъ себя публицистику нѣсколькими презрительными словами. „Ораторомъ въ наши дни является журналистъ, и то, что краснорѣчіе утратило отъ этого превращенія, видно ясно; но что приобрѣла при этомъ литература, это другой вопросъ. Мы рады, что намъ не приходится изучать его здѣсь“. Мы также рады, ибо то, что Брюнетьеръ важно называетъ „изученіемъ“, пришлось бы, пожалуй, назвать иначе. Это академически-

высокомѣрное отношеніе къ литературной цѣнности публицистики—какъ показаль одинъ случай у насъ—не составляетъ особенности французскаго безсмертнаго. Между тѣмъ, лишь поверхностное отношеніе къ этому интересному вопросу вызываетъ такіа заключенія. Пресса портить языкъ—это заурядное и первое впечатлѣніе всякого, кто, просматривая газету, натывается въ спѣшно набросанной статьѣ или замѣткѣ хроникера на стилистическую погрѣшность или стилистическую неловкость. „Городская больница празднуетъ юбилей своего заслуженнаго *сослуживца*“ или въ некрологѣ (изъ „Новаго Времени“) — „Трудно измѣрить *удѣльный вѣсъ* той *пустоты*, какую оставляетъ по себѣ его смерть“: достаточно пары такихъ курьезовъ для общаго впечатлѣнія; а за впечатлѣніями слѣдуютъ приговоры. Между тѣмъ такіа погрѣшности бываютъ—и чаще, чѣмъ это принято замѣчать—также у первоклассныхъ писателей. Достоевскій и Толстой даютъ тому слишкомъ много примѣровъ. Но что гораздо важнѣе и печальнѣе—за этими курьезами, терзающими академическое ухо, не замѣчаютъ положительной литературной заслуги повременной печати. Здѣсь не мѣсто разбираться въ этомъ интересномъ предметѣ; напомнимъ только одно: если прогрессъ языка, а вмѣстѣ съ нимъ и литературной формы заключается въ созданіи новыхъ болѣе емкихъ и индивидуализирующихъ категорій, если всякое сгущеніе мысли въ языкѣ есть новое ея завоеваніе, то надо еще рѣшить за кѣмъ въ этой области большія заслуги: за отшлифованными и увѣнчанными риторическими шедеврами или за растрепанными боевыми статьями, столько же блестящими силой мысли, сколько энергіей и красотой выраженія. Въ обзорѣ Брюнетьера нашли мѣсто проповѣди отца Лакордѣра, а о такой литературной величинѣ, какъ П. Л. Курье, даже не упомянуто. Впрочемъ, о пропускахъ въ этомъ обзорѣ съ птичьего полета и съ птичьей точки зрѣнія лучше не говорить.

Есть, однако, и здѣсь справедливыя замѣчанія и интересныя страницы. Намъ показалось любопытнымъ указаніе на роль женщинъ въ той „морализаціи“ изящной словесности, которую Брюнетьеръ ставитъ въ заслугу литературному движенію прошлаго вѣка. „Начало было положено госпожею Сталь... За нею послѣдовала Жоржъ Зандъ, въ которой русская критика единодушно признаетъ вдохновительницу „религіи человѣческаго страданія“; я говорю здѣсь объ ученицѣ Ламенэ, Пьера Леру, Мишеля де-Буржъ. Въ свою очередь появились Шарлотта Бронте, Джорджъ Эліотъ, Елизавета Гаскелль... Я ужъ не говорю о миссисъ Бичеръ Стоу или миссъ Кэмминсъ. Теперь миссисъ Гэмфри Уордъ въ своемъ *Робертъ Эльмиръ*, *Давидъ Гривъ* и *Марселль* безстрашно касается серьезнѣйшихъ проблемъ нашихъ дней. Назовемъ рядомъ съ ней миссъ Оливію Шрейнеръ, а въ Италіи Матильду Серао, наконецъ, въ Испаніи Эмилию Пардо Базанъ“. Это доказательство посредствомъ именъ нѣсколько поверхностно; но

за нимъ есть правда. Быть можетъ, учетъ того косвеннаго вліянія, которое оказали въ этомъ направленіи женщины, не выступавшія въ литературѣ, оказался бы, хотя гораздо болѣе труднымъ, но и неизмѣримо болѣе убѣдительнымъ.

Е. Волкова. Аравія и Магометъ. Ученіе Магомета и распространеніе Ислама. Историческій очеркъ. М. 1901.

Очеркъ г-жи Волковой производилъ бы весьма недурное впечатлѣніе, если бы не преувеличенно напыщенный и сантиментальный слогъ, который, впрочемъ, еще до сихъ поръ такъ часто портитъ статьи и книги даже патентованныхъ специалистовъ.

Этотъ недостатокъ тѣмъ досаднѣе, что наличность его всегда уменьшаетъ общее впечатлѣніе, которое могло бы получиться отъ исполненнаго съ болѣе вѣрнымъ вкусомъ описанія, дѣйствительно, важныхъ и драматическихъ событій исторіи. Что касается содержанія работы г-жи Волковой, то оно охватываетъ первыя столѣтія ислама и вполнѣ точно и правильно передаетъ сущность ученія Магомета и общія причины изумительнаго успѣха этой религіи. Чрезвычайно жаль, что авторъ счелъ возможнымъ отвести всего... 3 страницы (изъ 122) описанію вліянія арабовъ на европейскую культуру и образованность, т. е. со всемірно-исторической точки зрѣнія наиболѣе важной сторонѣ арабской исторіи. На послѣдней страницѣ читаемъ: „передавъ Европѣ умственные сокровища грековъ и римлянъ... арабы сошли со сцены“. Для неподготовленнаго читателя (на котораго и рассчитана книга г-жи Волковой) эта фраза является совершенно немотивированной и необоснованной, ибо почти ничего объ этой роли арабовъ раньше не говорится.

Изъ болѣе мелкихъ и несущественныхъ недочетовъ, отмѣтимъ, что г-жа Волкова называетъ Карла Мартела „храбрымъ франкскимъ герцогомъ“, тогда какъ онъ былъ майордомомъ и прославился вовсе не храбростью, а другими качествами; говоря о битвѣ арабовъ съ вестготами, авторъ до курьеза неправильно и произвольно конструируетъ пораженія вестготовъ. „Имъ нечего было защищать—они были страшно бѣдны. За кого они могли сражаться?“ съ горечью спрашиваетъ отъ ихъ имени авторъ: „За своихъ господъ? Они ненавидѣли ихъ за безчеловѣчное обращеніе съ ними. За свою вѣру? Они не знали ея; ихъ пастыри... не заботились о просвѣщеніи народа“ и т. д. Все это—выдумка. Во-первыхъ, вестготы сражались съ отчаянною храбростью подрядъ восемь дней и восемь ночей, но ничего не могли подѣлать съ напавшею на нихъ силою. Во-вторыхъ, армія Мусы убивала на мѣстѣ и въ преслѣдованіи всѣхъ непріятелей, такъ что слишкомъ ужъ мстительнымъ представляетъ себѣ г-жа Волкова вестготское сердце, полагая, что воины Родерика давали

себя убивать, главнымъ образомъ, въ пику своимъ „ненавидимымъ“ господамъ и недостаточно заботившимся о народномъ просвѣщеніи пастырямъ.—Наконецъ, укажемъ еще на странную (и упорную) тенденцію автора смѣло излагать, что подумалъ Магометъ, глядя на звѣзды, что прошепталъ тотъ или иной дѣятель, что почувствовали жители Мекки и т. д. Эти беллетристическія экскурсіи ничего не объясняютъ и могутъ у неопытнаго читателя вызвать полную путаницу понятій о предѣлахъ сказки и историческаго бытописанія. Во времена старичка Геродота и его слушателей и читателей такіе приемы были вполнѣ ко двору и умѣстны, а „въ насмѣшливомъ и дерзкомъ нашемъ вѣкѣ“ живость и интересъ изложенія покупаются менѣе дорогой и болѣе ведущей къ цѣли цѣною.

Указанные недостатки, повторяемъ, вовсе не лишаютъ очеркъ г-жи Волковой достоинства весьма удовлетворительной исторической популяризаціи.

Болтонъ Кингъ. Исторія объединенія Италіи. Т. I. Переводъ съ англійскаго Н. Кончевской съ предисловіемъ автора къ русскому изданію. Москва 1901.

Книга Болтона Кинга появилась на англійскомъ языкѣ еще въ 1899 году и сразу снискала себѣ въ Англіи весьма почетную извѣстность. Авторъ въ предисловіи къ книгѣ говоритъ, что одною изъ задачъ его было распространеніе болѣе полного представленія о возрожденіи благородной и дружественной націи „въ странѣ, такъ мало знающей объ Италіи“. Всѣ свѣдѣнія англичанина объ итальянской революціи, продолжаетъ Кингъ, резюмируются увѣренностью въ томъ, что она имѣла какое-то отношеніе къ Гарибальди и красной рубашкѣ. Увы! соответствующему слою русской читающей публики, вѣроятно, неизвѣстенъ даже и тотъ фактъ, что Гарибальди носилъ красную рубашку, ибо неподражаемо-преlestная статья въ „Быломъ и думѣхъ“ подъ названіемъ „*Samicia rossa*“ все еще находится въ читательскаго кругозора.—Пока переведенъ первый томъ сочиненія Кинга, обнимающій время отъ паденія Наполеона до крушенія революціонныхъ попытокъ 1848—49 г.г. Совершенно непростительно со стороны русскихъ издателей, что они, неизвѣстно по какимъ соображеніямъ, выпустили имѣющуюся въ подлинникѣ 1-ю главу о Наполеонѣ (chapter I. Napoleon, pp: 1—12, vol. I). Вѣдь, безъ этой главы далеко не все понятно въ исторіи карбонаріевъ, начавшихъ свою дѣятельность именно борьбою противъ наполеоновскаго владычества. Этотъ пропускъ тѣмъ болѣе ничѣмъ не мотивируется, что Кингъ вовсе не болтливъ, и каждая страница его содержательна и нужна для общихъ выводовъ. Впрочемъ, самые выводы новизною не блещутъ: Кингъ повторяетъ мысли Кинэ,

Гори, Бальдо и др. Онъ на нихъ не ссылается, но имѣть право на то, ибо пишетъ свою исторію совершенно самостоятельно. Изъ оригинальныхъ его мнѣній мы замѣтили лишь одно: Кингъ утверждаетъ, и не совсѣмъ безъ фактовъ, что ломбардо-венеціанской области жилось вовсе не хуже, чѣмъ другимъ итальянскимъ землямъ, а если оттуда неслись болѣе горькія и озлобленныя жалобы, то это объясняется фактомъ именно чужеземнаго, австрийскаго владычества. „Свои“ тираны въ родѣ Фердинанда неаполитанскаго вызывали нѣсколько менѣе острую ненависть, чѣмъ Меттернихъ и его приспѣшники.

Что дѣйствительно слабо у Кинга—это классификація матеріала; любопытно, что лучшіе, научнѣйшіе англійскіе историки грѣшатъ этимъ почти безъ исключеній: фактъ—отмѣченный уже много разъ. Кингъ, напримѣръ, ни съ того, ни съ сего раздробляетъ отдѣлы о карбонаріяхъ на двѣ главы и вставляетъ между ними три другія главы, гдѣ уже о нихъ ничего не говорится; въ XVIII главѣ пишетъ о крушеніи римской республики и вторженіи французовъ въ Римъ, восстановленіи Піа IX и т. д. а въ слѣдующей—возвращается къ „революціонной веснѣ“, къ Венеціи подъ управленіемъ Манина. Жаль, что переводчица или издатели именно тутъ не проявили своей самостоятельности, немного измѣнивъ расположеніе и распорядокъ этихъ механически разставленныхъ главъ: неподготовленный читатель легче усвоилъ бы себѣ хронологію событій, мчавшихся такимъ бѣшенымъ темпомъ въ 1848—49 гг. Вторымъ недостаткомъ этой популярной книги можно почесть слишкомъ подробное описаніе всѣхъ деталей военныхъ дѣйствій тамъ, гдѣ о таковыхъ идетъ рѣчь; это безъ нужды загромождаетъ память. Тонъ изложенія всюду ровный, спокойный; идеалу національнаго и политическаго освобожденія Кингъ сочувствуетъ всею душою. Не всегда благосклонно онъ относится къ Маццини (котораго переводчица почему-то называетъ „Мадзини“); кое гдѣ онъ не воздержался отъ полемическаго укора. Напротивъ, когда пришлось говорить о лордѣ Абердинѣ, нерехватывавшемъ, копировавшемъ и вновь заклеивавшемъ систематически письма братьевъ Бандьера къ Маццини,—пересылавшемъ цѣлые мѣсяцы эти копии неаполитанскому правительству и достигшему того, что Бандьера и ихъ сообщники были разстрѣляны,—когда пришлось упомянуть объ этомъ поступкѣ англійскаго министра, Кингу посчастливилось сохранить вполне эпическій тонъ. Жаль, что это показалось ему труднѣе, когда онъ говорилъ о Маццини...

Рекомендуя переводъ книги Кинга вниманію читателей, замѣтимъ, что сдѣланъ онъ удовлетворительно. Есть и недочеты. Англійскую фразу: „he wished to see justice speedy (vol. I, p. 18) г-жа Кончевская перевела: „онъ желалъ, чтобы правосудіе *воздавалось* безъ проволочекъ“; дословный переводъ былъ бы и точнѣе и лите-

ратурнѣе. На стр. 150 русскаго перевода читаемъ: „онъ всегда недооцѣнивалъ значеніе препятствій, стоявшихъ предъ нимъ“. Англійское слово „underrated“ (vol. I, p. 131) незначѣмъ переводить такъ неуклюже, если можно сказать „оцѣнивалъ слишкомъ низко“. На стр. 152 о Маццини говорится: „какъ моралистъ... онъ стоитъ на вершинѣ“ etc. Въ англійскомъ текстѣ находимъ: „as moralist“,—но переводить такъ, какъ перевела г-жа Кончевская—нельзя. Англійское „moralist“ обозначаетъ не столько создателя этической системы (какъ у насъ и на всѣхъ другихъ иностранныхъ языкахъ),—но, въ еще большей мѣрѣ, практическаго дѣятеля, проявляющаго тѣ или иные принципы въ своихъ дѣйствіяхъ. Напр., Говарда также называютъ въ Англіи „моралистомъ“. Въ данномъ случаѣ: as moralist лучше было бы перевести: „по моральному своему воздѣйствію на людей“ etc.—На стр. 418 читаемъ: „Манинъ представлялъ собою въ новѣйшей политикѣ Счастливаго воина Вордворта.“ Въ англійскомъ текстѣ сказано (p. 345): in modern politics,—что обозначаетъ „въ новѣйшей исторіи“, а не „политикѣ“, ибо политика обозначается словомъ „policy“.

Есть и еще четыре-пять незначительныхъ промаховъ, но это, повторяемъ, не мѣшаетъ переводу быть вполне удовлетворительнымъ.

Больтонъ Кингъ прислалъ переводчицѣ прочувствованное письмо, которое и приложено къ I-му тому. Оно кончается словами: „Работая надъ своей книгою, я надѣялся вызвать ею симпатіи англичанъ къ Италіи; я надѣюсь также, что и переводъ моей книги вызоветъ симпатіи русскихъ къ странѣ, которой такъ многимъ обязана вся цивилизація, къ странѣ съ великимъ прошлымъ и, какъ я думаю, съ великимъ будущимъ. Италіи приходится теперь бороться съ ужасными бѣдствіями: бѣдностью, существованіемъ внутри ея клерикальной силы, проводящей вредную политику, съ ошибками и слабостью своихъ государственныхъ людей. Но итальянскій народъ, по крайней мѣрѣ, вся лучшая часть его, совершаетъ усилія въ сторону прогресса, достойныя его великаго прошлаго: и симпатіи всѣхъ друзей человѣчества должны сопутствовать ему въ его благородной борьбѣ“. Такъ кончается письмо англійскаго ученаго, вызванное извѣстіемъ о переводѣ его работы на русскій языкъ.

С. Васюковъ. Цѣлебный край. Кавказскія минеральныя воды. Изданіе 2-е, дополненное СПб. 1901.

Авторъ называетъ свою книжку „литературно-художественнымъ путеводителемъ“ и, пожалуй, это дѣйствительно путеводитель, но не въ смыслѣ простой справочной книги, а въ томъ смыслѣ, въ какомъ Виргилій былъ путеводителемъ для Данта въ ихъ путеше-

ствѣ по аду. Г. Васюковъ—Виргилій, читатель—Дантъ, „цѣлебный край“—адъ, преданные мукамъ грѣшники—это курортные больные, а бѣсы-мучители—это мѣстные домовладѣльцы, квартирохозяева, рестораторы, торговцы и, наконецъ, врачи.

Не нужно думать, что г. Васюковъ какой-нибудь неугомонный абличитель, какъ говаривалъ нѣкогда Апполонъ Григорьевъ—совсѣмъ нѣтъ: это, повидимому, человѣкъ добрѣйшей души, котораго радуютъ даже всякіе пустяки. Попробовалъ онъ кавказскій картофель—ахъ, какой чудесный картофель! Увидалъ въ огородѣ макъ—„*вдесятеро* больше нашего!“ съ восторгомъ восклицаетъ онъ. Если же г. Васюкову представится какой-нибудь дѣйствительно замѣчательный предметъ—его восторгъ превращается въ патетическій лиризмъ, въ жару котораго онъ начинаетъ *впечатлѣнія* свои измѣрять *верстами*, говорить предложеніями безъ сказуемыхъ и одновременно видитъ Бога и Демона. Буквально такъ—вотъ послушайте разсказъ г. Васюкова о его поѣздкѣ по Военно-грузинской дорогѣ: „*Двѣсти верстъ впечатлѣній*,—то грозныхъ, какъ нависшія надъ моремъ, мрачныя тучи, то нѣжныхъ, какъ погасающій лѣтній вечеръ! Находитесь во власти такой природы, трепетать ея угрюмымъ демоническимъ видомъ (*трепетать видомъ*—ну, намъ теперь не до грамматики!) или *потрясеннымъ сердцемъ стремиться* туда, къ граціознымъ, зеленымъ горамъ, глядѣть на уходящія къ небу острыя верхушки гигантскихъ утесовъ, или любоваться до слезъ, до *теплоты сердца* (хорошо сказано!) тихими, живописными берегами Арагвы. (Точка! Гдѣ же въ этомъ длинномъ предложеніи сказуемое?). Пережить страхъ и радость, удивленіе и восторгъ, понять и почувствовать въ душѣ Бога и Демона,—вотъ что значитъ проѣхать по Военно-грузинской дорогѣ!“ (158). Вотъ что значитъ проѣхать по Военно-грузинской дорогѣ! Не мало значить! И такую то дорогу, на которой пассажиры почти теряютъ отъ восторга способность членораздѣльной рѣчи, казна сдаетъ въ аренду! „Право, странно, что такая дорога находится въ арендѣ. Повторяю, странно, очень даже!“ (189) Даже очень, очень, очень странно, г. Васюковъ! Эхъ, казна-матушка! Ей бы только деньги брать, а не знаетъ она того, что если бы самъ Гоголь проѣхалъ по этой дорогѣ, то—по увѣренію г. Васюкова—поставилъ бы рядъ такихъ вопросовъ: „сжималось ли трепетно ваше сердце въ Дарьяльскомъ ущельи?.. и сладко ли билось въ долинахъ Грузіи? Смотрѣли ли вы съ религіознымъ страхомъ на замки Тамары? Молились ли вы или проклинали? Считали ли себя ничтожной песчинкой?“ (161). Если вообще всѣ эти вопросы нѣсколько странны, то послѣдній вопросъ даже просто обиденъ: нѣтъ, Николай Васильевичъ, отвѣтилъ бы Гоголю всякій пассажиръ, я песчинкой себя не считалъ—я узаконенные прогоны заплатилъ! Только врядъ ли, думается намъ, Гоголь сталъ бы задавать такіе

несообразные вопросы, это г. Васюковъ ихъ задаетъ, а Гоголь тутъ приплетенъ ни къ селу, ни къ городу.

Наивность и добродушная нетребовательность автора готовы проявиться при малѣйшемъ поводѣ. Вотъ памятникъ Лермонтову въ Пятигорскѣ. Высказавъ глубокое замѣчаніе, что „жестокая судьба и ссылка сдѣлали Лермонтова великимъ“ (50), г. Васюковъ находитъ затѣмъ, что вмѣсто книги, лежащей у ногъ Лермонтова, лучше было бы положить фуражку. Замѣчаніе здравое: на улицѣ и вообще на открытомъ воздухѣ (Лермонтовъ изображенъ сидящимъ въ шинели) фуражка болѣе нужна, чѣмъ какая бы то ни была книга. Но тутъ и конецъ критикѣ г. Васюкова: „обращая вниманіе на подробности, видно, что все въ порядкѣ, художникъ не забылъ даже штрипокъ“ (53). Зашелъ г. Васюковъ въ пятигорскую почтовую контору и умилился душою: „организовано почтовое дѣло въ Пятигорскѣ превосходно: аккуратность, предупредительность и любезность... Ни задержки, ни недоразумѣній. Одно только не хорошо: слишкомъ мала комната, гдѣ постоянно толпятся десятки курсовыхъ... но виновато здѣсь, конечно, не почтовое вѣдомство“. (46) Вы видите, сколь благодушенъ авторъ: вкусный картофель, крупный макъ, вѣжливые, не огрызающіеся чиновники и даже штрипки Лермонтова—все это и многое другое въ томъ же родѣ приводить г. Васюкова въ самое розовое настроеніе. Ужъ какой же это зоилъ и обличитель! Тѣмъ не менѣе, въ *общемъ* книжка г. Васюкова пренеполнена горечи и даже негодованія. „Эхъ, курсовые! Голуби мои сизые! Когда то васъ отъ разныхъ ястребовъ избавятъ!“ Такъ восклицаетъ г. Васюковъ на 115 стр. своей книжки, и пусть читатель не думаетъ, что это какой-нибудь тамъ юморъ или остроумничанье—какое! Это вопль изболѣвшаго сердца. Больному нуженъ прежде всего покой а „гдѣ тутъ покой, когда квартиры дороги и въ большинствѣ случаевъ крайне неудобны, сыры, низки, и проч., когда на васъ десятки глазъ смотрятъ, чтобы стянуть съ васъ рубль, три рубля или хотя нѣсколько копѣекъ.“ (111) „Хозяева и жильцы—это смертельные другъ съ другомъ враги. Дѣйствительно, погоня за наживой въ самой грубой формѣ—это больное мѣсто минеральныхъ водъ“. (113) „Владельцы домовъ и домиковъ—люди жадные, жесткіе, *чистые волки*, какъ ихъ называлъ при мнѣ одинъ изъ кисловодскихъ администраторовъ на водахъ. *Чистые волки, жадные волки*—названія, къ нимъ вполнѣ подходящія. Дѣйствительно, какая то ненависть существуетъ между квартирохозяевами и курсовыми. Подлинно, что волки и овцы“. (129) Какъ видите, *погибельный Кавказъ* по прежнему остается *погибельнымъ*. Неужели нельзя устроиться иначе? Этотъ же вопросъ ставить и г. Васюковъ: „неужели это такъ трудно? Неужели у источника, который прославился во всей Европѣ, нельзя, наконецъ, устроить помѣщеніе, курзалъ, съ ком-

натами, библиотекой, концертным заломъ и пр.? Въ самомъ дѣлѣ, ежегодно строятся желѣзныя дороги сомнительной полезности, театры, консерваторіи и пр. Все это строится при помощи правительства и на его деньги. А цѣлебныя богатѣйшія группы влачатъ свое жалкое существованіе. Ни помѣщеній, ни организаціи, ни сколько нибудь сносныхъ условій жизни нѣтъ и нѣтъ!“ (82) А чрезъ нѣсколько страницъ, говоря о необходимости для больныхъ „пріятныхъ развлеченій или, по-крайней мѣрѣ, такихъ, къ которымъ привыкли образованные люди“, г. Васюковъ съ негодованіемъ восклицаетъ: „процвѣтають малиновыя воды (?) велосипеды, а человѣку, кромѣ парка, дѣваться некуда! Даже нѣтъ сносной библиотеки и уютнаго мѣста, гдѣ бы прочесть газеты! Нравы же, однако!“ (94) Сердечно сочувствуемъ негодованію г. Васюкова, но, однако, причемъ тутъ „нравы“, на которые обрушивается авторъ? Не въ нравахъ дѣло, а, очевидно, въ нашей малокультурности, въ томъ старомъ—престаромъ грѣхѣ нашемъ, который вполнѣ отчетливо былъ характеризованъ болѣе тысячи лѣтъ назадъ: „земля наша велика и обильна, а порядка въ ней нѣтъ“. Вѣдь самъ же г. Васюковъ восклицаетъ: „можно себя представить, что сдѣлали бы въ этомъ мѣстѣ французы, если бы къ нимъ перешли *Воды!*“ Да, французы сѣумѣли бы устроить жизнь на водахъ и удобно, и недорого, но благодаря чему сѣумѣли бы? Конечно, благодаря своей высокой культурности, а не нравамъ своимъ. Культура создаетъ извѣстныя *порядки*, къ которымъ и приспособливаются *нравы*. Люди, которыхъ г. Васюковъ называетъ *хищными волками*, вѣроятно, самые обыкновенные люди, но почему же имъ не сорвать съ чужого, пріѣзжаго человека лишняго рубля, если ничто этому не препятствуетъ а, напротивъ, даже способствуетъ? Надо судить по человѣчеству, какъ говорить у Островскаго одна купчиха. „Бумага“ замѣняетъ и заслоняетъ у насъ живое дѣло,—вотъ въ чемъ бѣда, бумага, въ которой—хоть не смотри—стоятъ сакраментальныя слова: „все обстоитъ благополучно“. Какъ тутъ не вспомнить купца, героя прелестнаго разсказа Глѣба Успенскаго „Маленькіе недостатки механизма“: „одинъ говорить—у меня бумага, и другой говорить—у меня бумага и у третьяго тоже... Да вѣдь, братцы вы мои, у васъ бумага, а у меня собственная шкура! Бумаги то я въ лавочкѣ на три копейки сколько хошь куплю, а вѣдь шкуры то другой я себя нигдѣ не куплю!“ Но будемъ надѣяться. Надѣйтесь и вы, многопострадавшій г. Васюковъ. Какъ разъ сегодня, когда мы пишемъ эти строки (5-е сентября) въ „Новомъ Времени“ напечатана статья подъ многообѣщающимъ заглавіемъ: „Новая эра въ развитіи нашихъ курортовъ“. (№ 9161) Поживемъ—увидимъ, какую такую эру намъ посылаетъ судьба.

Восемь лѣтъ на Сахалинѣ. И. П. Миролюбова. Спб. 1901.

Сахалину повезло. Его описывали одинъ за другимъ гг. Красновъ, Чеховъ, Дриль, Дорошевичъ... Усиленно занималась и занимается имъ и печать владивостокская, вѣдательно слѣдя за всѣми неприглядностями его текущей жизни. Еще недавно въ „Пріамурскихъ Вѣдомостяхъ“ печатались записки о Сахалинѣ, раскрывшіе ужасы, передъ которыми блѣднѣютъ ужасы очерковъ г. Дорошевича... Нельзя сказать, что работа печати прошла совершенно безслѣдно. По крайней мѣрѣ, въ петербургскихъ канцеляріяхъ, которыя такъ охотно рисовали себѣ и другимъ Сахалинъ образцовой пенитенціарной колоніей, въ которой подъ просвѣщеннымъ руководствомъ людей съ окладами подонки общества обращаются въ мирныхъ и добродѣтельныхъ пейзановъ, благоденствующихъ среди своихъ нивъ и чажителей, наступило болѣе или менѣе искреннее разочарованіе. Въ 1898 г. начальникъ главнаго тюремнаго управленія г. Саломонъ съ официальной сдержанностью заявилъ, что „во всѣхъ отношеніяхъ островъ не выдерживаетъ даже снисходительнаго сравненія съ наименѣе благоустроенными изъ мѣстъ заключеній въ Европейской Россіи“ („Тюр. Вѣст., 1899 г., № 6). О Сахалинѣ, какъ о колоніи, даже и упомянуто не было! Но еще до сихъ поръ многіе воображаютъ, что стоитъ только сдѣлать нѣсколько внѣшнихъ измѣненій, и все пойдетъ превосходно.

Теперь передъ нами свидѣтельство челоѣка, который самъ прошелъ черезъ горнило Сахалина, пробывъ въ званіи каторжанина восемь лѣтъ. Обыкновенно къ такимъ свидѣтельствамъ относятся скептически, ихъ считаютъ голосомъ лицъ озлобленныхъ и потому несправедливыхъ. Г. Миролюбовъ менѣе чѣмъ кто-либо заслуживаетъ упрековъ въ этомъ отношеніи. Лично онъ можетъ питать къ сахалинской администраціи одну только признательность. Каторги онъ совсѣмъ не зналъ. Въ первый же день прибытія на Сахалинъ, гроза каторги, пресловутый г. Л., выдѣляетъ его изъ партіи интеллигентныхъ ссыльныхъ и приглашаетъ къ себѣ на обѣдъ. Въ Рыковскѣ начальникъ округа, Бутаковъ, принимаетъ его сразу подъ свое покровительство, становится къ нему, по выраженію самого г. Миролюбова, „могучимъ дубомъ, подъ тѣнью котораго онъ укрывался отъ бурь“. Ему поручаютъ метеорологическую станцію, выбираютъ церковнымъ старостой, отводятъ домъ съ цвѣтущимъ садомъ, назначаютъ командиромъ парохода, его принимаютъ и удостаиваютъ бесѣды всякіе начальники, включая и губернатора. И авторъ не скрываетъ своей признательности. Тонъ всей его книги кроткій, благоволящій до наивности, да по самому содержанію своему это скорѣе отрывки изъ мемуаровъ, чѣмъ систематическое описаніе острова, и тѣмъ не менѣе, книга г. Миролюбова сплошной обвинительный актъ противъ системы, которая стоитъ государству ежегодно свыше мил-

ліона рублей и много тысячъ убитыхъ, разбитыхъ, забытыхъ и заплеванныхъ человѣческихъ жизней. Мы не будемъ останавливаться на отдѣльныхъ эпизодахъ этой ужасной системы, герои которой и авторы онорскаго дѣла, безнаказанно убивавшіе и истязавшіе людей на глазахъ всего свѣта, уже болѣе или менѣе знакомы читателю изъ прежнихъ описаній. Мы остановимся только на морали этой исторіи, морали тѣмъ болѣе своевременной, что теперь засѣдаетъ спеціальная коммиссія, рѣшающая судьбы Сахалина. Передъ нами проходить вереница лицъ самыхъ различныхъ, начиная съ психопата Л., для котораго глумиться надъ людьми и истязать ихъ составляло наслажденіе, надзирателя Ханова, хладнокровно замучившаго сотни людей, доводя ихъ до самыхъ безумныхъ поступковъ въ родѣ самообвиненія въ мнимомъ людоедствѣ, лишь бы избавиться отъ своего мучителя, врача, покрывавшаго убійства Ханова снисходительными свидѣтельствами объ естественной смерти, и кончая сравнительно мягкими тинами, какъ смотрители Ф. и К., начальникъ округа Бутаковъ, этотъ „дубъ, подъ тѣнью котораго укрывался“ авторъ и, наконецъ, смотритель Я., поэтъ, безумно любившій ухаживать за цвѣтами и декламировать Некрасова и мечтавшій заслужить званіе отца родного въ глазахъ каторги.

И что же? Всѣ эти мягкіе люди по существу мало чѣмъ лучше ведутъ себя, чѣмъ звѣроподобные Л. и Хановъ. Поэтъ Я., при всей своей любви къ цвѣтамъ и Некрасову, при всемъ своемъ желаніи быть отцомъ роднымъ, съ такимъ же сладострастіемъ поретъ мужчинъ и женщинъ, какъ и пресловутый Л., хотя и не столь систематически и утонченно, какъ послѣдній. Г. Ф., такъ мягко описываемый авторомъ, переведенный въ Александровскій округъ, своей суровостью, доводитъ арестантовъ до оскорбленій дѣйствіемъ и, наконецъ, изгоняется съ острова.

Добродушный Бутаковъ, прямой начальникъ Л., вполне покровительственно относится къ звѣрскимъ развлечениямъ послѣдняго и всѣми правдами и неправдами укрываетъ авторовъ ужасной онорской исторіи, Ханова и его сподвижниковъ. А тѣмъ добродушные заправицы, которые такъ мило принимали автора „запросто на верандахъ“, что они дѣлали при видѣ совершавшихся вокругъ нихъ жестокостей? Что они сдѣлали съ онорскимъ дѣломъ, случайно раскрытымъ ко всеобщему ужасу однимъ мужественнымъ человѣкомъ? Они поспѣшили просто укрыть его, какъ и г. Бутаковъ. Что дѣлали, наконецъ, тѣ, которыхъ авторъ описываетъ какъ настоящихъ хорошихъ людей, о. Ираклій, д-ръ Сосопарейль, г. Фрикенъ, г-жа Кржижевская? Поднимали-ли они свой голосъ, когда слышали стоны избиваемыхъ, когда видѣли ужасы, отъ которыхъ стынетъ кровь въ жилахъ? Ничего. Если бы авторъ слышалъ что-нибудь про ихъ заступничества, онъ навѣрное не приминулъ бы сообщить объ этомъ. Итакъ, люди са-

мые разнородные по своему душевному складу, умственному развитію и служебному положенію, вели себя въ сущности совершенно тождественно. Гдѣ причина этого? Должна же была существовать общая причина, нивелировавшая столькихъ различныхъ людей до полной почти потери нравственной индивидуальности.

Эта причина,—поскольку она общественнаго характера—прежде всего лежитъ въ самой уродливости организаціи Сахалина, въ свою очередь являющейся только отраженіемъ и болѣе общихъ условій виѣсахалинской жизни. По идеѣ своей, идеѣ весьма симпатичной, Сахалинъ, дѣтище отчасти идей 60-хъ годовъ, предназначался быть пенитенціарной колоніей, которая должна была перевоспитывать людей путемъ труда и самоопредѣленія, среди новой среды, устранявшей самыя условія, порождавшія преступность. Но въ руководство устроителямъ этого грандіознаго дѣла былъ данъ XIV т. св. зак., знаменитый уставъ о ссыльныхъ, по которому всѣ эти десятки тысячъ людей, которыхъ взялись благотѣтельно перевоспитывать, должны управляться розгой, плетью и произволомъ. Оно было совершенно логично, потому-что нельзя-же было ставить преступныхъ людей, убійцъ и разбойниковъ въ лучшее положеніе, чѣмъ милліоны ничѣмъ неповинныхъ обывателей крестьянскаго сословія, живущихъ подъ той же законной фѣрулой розги. А если можно выпоротъ или посадить въ холодную мужика за несниманіе шапки передъ начальствомъ, то каторжника и запоротъ не грѣхъ!

Теперь, является на Сахалинъ бывшій Николаевскій солдатъ г. Л., выдавшій шпицрутены, и ему самъ законъ даетъ въ руки розгу, какъ ею не воспользоваться? Или пріѣзжаетъ бывшій земскій начальникъ (на Сахалинѣ есть и такіе), утверждавшій приговоры о розгахъ надъ мирными крестьянами въ центрѣ Россіи; здѣсь, понятно, розга представляется ему единственной воспитательной панацеей. И, наконецъ, даже люди безъ всякихъ розогъ въ своемъ прошломъ, видя себя въ положеніи полу-бога, вооруженнаго правомъ карать и миловать, слыша со всѣхъ сторонъ свидѣтельства коллегъ о благотѣтельности розги, быстро входятъ въ общую колею и начинаютъ чувствовать прелесть мучительства, называемаго управленіемъ.

Поэтому мы видимъ идеалиста Я. и юриста Т., охотно поровнившихъ даже женщинъ. Конечно, въ отдѣльныхъ случаяхъ многое зависитъ отъ личности, умственнаго развитія и прошлаго чловѣка, но въ общемъ личности, средніе люди, не при чемъ. Вотъ же, съ тѣхъ поръ какъ отмѣнили тѣлесныя наказанія для женщинъ, мы ничего не слышали о случаяхъ нарушенія новаго закона, и даже легендарный Л. едва-ли позволилъ себѣ выпоротъ женщину. И пусть завтра отмѣняютъ тѣлесныя наказанія для каторжныхъ вообще, и не нужно будетъ искать ангеловъ, чтобы прекратить на

Сахалинъ безпрестанныя человѣческія истязанія. То же съ другими сторонами произвола и угнетенія личности, коренящимися въ самомъ законѣ, въ нравахъ нашей официальной жизни. Вотъ одинъ краснорѣчивый примѣръ, являющійся яркимъ отраженіемъ нашего исконнаго обычая прикрывать всяческія злоупотребленія ради общественной тишины и спокойствія. Когда случайно раскрытые онорскіе ужасы обратили на себя всеобщее вниманіе, когда о нихъ заговорила русская и иностранная печать, былъ командированъ на Сахалинъ ген. Гродековъ, который, послѣ самаго тщательнаго разслѣдованія дѣла на мѣстѣ, представилъ докладъ о необходимости предать суду виновниковъ онорскаго дѣла. Но дѣло осталось подъ спудомъ... Подобная безнаказанность, да еще въ такомъ безпримѣрномъ случаѣ, конечно, не единственная, а результаты такой системы очевидны.. Мораль ясна. Прежде чѣмъ думать о реформахъ для Сахалина, необходимо отмѣнить его коренное зло, XIV т. съ его законными насиліями и произволомъ и уничтожить систему безнаказанности...

Книга г. Миролюбова имѣетъ интересъ еще и спеціальный. Авторъ ея — интеллигентный человѣкъ, образованный морякъ, бывший офицеръ флота. Что его привело на Сахалинъ, мы можемъ догадаться только по отзыву его о своихъ товарищахъ, о которыхъ онъ говоритъ: „Это были хорошіе, сердечные люди, но, увлекшись идеями о счастьи человѣчества, они дали слишкомъ большой просторъ движенію своего сердца и... попали на Сахалинъ“ (стр. 274). Что пришлось испытывать „этимъ сердечнымъ интеллигентнымъ людямъ, мечтавшимъ о счастьи человѣчества“ и попавшимъ подъ ферулу розги и глумленія надъ личностью, мы опять таки можемъ только догадаться по мимоходомъ приведеннымъ эпизодамъ.

Одинъ изъ нихъ кончилъ самоубійствомъ, другіе погибли естественной преждевременной смертію. А пережившіе... Вотъ какіе отрывочные факты сообщаетъ авторъ. Одинъ изъ нихъ, бывший офицеръ, г. П., позволившій себѣ объяснить начальнику, что ни онъ, ни товарищи его нисколько не причастны къ корреспонденціи, появившейся въ мѣстной газетѣ, и за которую имъ пригрозили суровою карою, подвергся мѣсячному одиночному заключенію въ кандалахъ. Другой интеллигентъ Г., послѣ крушенія парохода „Кострома“, везшаго каторжанъ на Сахалинъ, позволилъ себѣ отойти на нѣсколько шаговъ отъ общей группы арестантовъ и собирать раковины, и за это былъ подвергнутъ просвѣщенными моряками жестокому тѣлесному наказанію, которое такъ подѣйствовало на психику несчастнаго, что вскорѣ послѣ прибытія на островъ онъ исчезъ безслѣдно, погибши, вѣроятно, въ волнахъ угрюмаго Татарскаго пролива. Надъ другими ежедневно и ежечасно висѣлъ дамокловъ мечъ розогъ за несвоевременное снятіе шапокъ передъ грознымъ начальствомъ (дѣло нелегкое не въ од-

номъ только психическомъ отношеніи, потому что даже въ жгучій морозъ, въ пургу, необходимо за двадцать шаговъ снять шапку и стоять руки по швамъ, пока грозное начальство не скроется съ глазъ), и бывали случаи, когда, этотъ дамокловъ мечъ безжалостно падалъ на „этихъ сердечныхъ людей, мечтавшихъ о счастіи человѣчества“. Сахалинъ еще ждетъ своего Сильвіо Пеллико! И не въ одномъ только отношеніи психологіи интеллигентовъ— а во многихъ другихъ отношеніяхъ.

Книга г. Миролюбова имѣетъ свои достоинства. Она написана легкимъ, безыскусственнымъ стилемъ и охотно будетъ читаться въ большой публикѣ, слѣдовательно, многія неприглядныя стороны сахалинской жизни будутъ популяризованы. Но въ то же время она имѣетъ всѣ недостатки мемуаровъ. Истинные размѣры и всесторонность картины совершенно теряются, благодаря центральности фигуры автора. Поэтому многіе крупные факты и личности совершенно обойдены молчаніемъ, и, наоборотъ, на сцену выведены часто факты и фигуры ничтожныя, никакого общественнаго значенія не имѣющіе, но почему-либо лично автору пріятныя и потому освѣщенные имъ съ чрезвычайъ индивидуальной благосклонностью. Такъ авторъ увѣковѣчилъ портретами и хвалебными отзывами такихъ лицъ, какъ, напр., докторъ Сосопарейль, челоѣкъ очень много заботившійся о своемъ спокойствіи и регулярномъ образѣ жизни, но никогда не выходившій изъ роли пассивнаго зрителя окружавшихъ его безобразій; между тѣмъ ни единымъ словомъ не упомянулъ про тѣхъ трехъ мужественныхъ врачей, гг. Лобаса, Стадницкаго и Поддубскаго, которые годами вели неустанную тяжелую борьбу за законныя права населенія безправнаго острова. Авторъ далъ намъ портретъ какого-то монаха Ираклія, который ничего, кромѣ анекдотовъ, по себѣ не оставилъ, но ничего не упоминаетъ про самоотверженнаго Климова, который, имѣя противъ себя всю сахалинскую администрацію, рискуя каждую минуту погибнуть отъ руки наемнаго убійцы, безстрашно продолжалъ раскрывать ужасы онорскаго дѣла. Ни слова также о тов. прокурора Баумгартенѣ, который за поддержку, оказанную имъ Климову, былъ представленъ, какъ страдающій *delirium tremens*, и выпровожденъ съ острова. Въ то же время для Бутакова, который для спасенія своихъ любимцевъ отъ кары за онорскія преступленія, сознательно жертвовалъ сотнями жизней, авторъ нашелъ много теплыхъ словъ, наивно оправдывая его жалостливостью послѣдняго къ своимъ подчиненнымъ! (стр. 243). Тутъ ужъ авторъ переступилъ всякіе предѣлы своего субъективнаго отношенія къ дѣятелямъ Сахалина. Напрасно также авторъ преподнесъ намъ портретъ г. Фрикена, „въ хорошихъ рукахъ котораго находится сельское хозяйство“ (стр. 114, 115); авторъ не только ничѣмъ не подкрѣпилъ своей аттестаціи, но самъ же неоднократно указываетъ, что сельское хозяйство на Сахалинѣ на-

ходится въ самомъ плачевномъ состояніи, что никто не заботится даже о выборѣ мѣстъ для поселенія, а о рациональныхъ систематическихъ заботахъ къ поднятію культуры и рѣчи никогда не было. Автору слѣдовало имѣть въ виду древнее мудрое правило: *amicus Plato, sed magis amica veritas*.

Люди и нравы Дальняго Востока. Отъ Владивостока до Хабаровска. (Путевой дневникъ). Г. Т. Мурова. Томскъ. 1901.

Издаваемые ежегодно въ большомъ количествѣ официальныя изслѣдованія и отчеты о состояніи отдѣльныхъ районовъ нашего обширнаго отечества, безспорно имѣютъ громадное значеніе и интересъ. Но такъ же ни для кого не тайна, что съ официальной высоты не замѣтны многія детали общей картины и въ такихъ случаяхъ записки, подобныя дневнику г. Мурова, являются драгоценнымъ добавленіемъ. Значеніе дневника Мурова еще увеличивается, когда мы узнаемъ, что онъ поѣхалъ на Дальній Востокъ не въ качествѣ чиновника или коммерсанта, а просто лишь потому, что его „болѣе всего интересуетъ Сибирь, въ особенности ея восточная половина. Чтеніе Пржевальскаго, Реклю и др., не удовлетворивъ вполне его любознательности, еще болѣе возбудило интересъ“ (1), и онъ поѣхалъ. Поѣхалъ безъ средствъ, безъ командировочныхъ листовъ, влекомый лишь жаждой самому узнать, самому посмотреть. Стало-быть онъ человекъ безпристрастный и писалъ въ своемъ дневникѣ лишь то, что видѣлъ, не стѣсняемый никакими посторонними давленіями. И тяжелое чувство охватываетъ читателя, когда онъ, перевернувъ послѣднюю страницу, говоритъ себѣ: „конецъ“.

Вотъ рядъ уличныхъ сценъ г. Владивостока: пьяные матросы волокутъ по улицѣ среди бѣла дня молодую, вполне приличную даму. Дама кричитъ о помощи (19). Идетъ чистенькій китаенокъ по тротуару и несетъ въ рукахъ горшокъ; встрѣчный солдатъ бьетъ его по затылку, китаенокъ падаетъ—солдатъ хохочетъ (19). Идетъ по тротуару чуйка—на встрѣчу степенно шагаетъ китаецъ. Чуйка нарочно толкаетъ китайца, тотъ падаетъ—публика хохочетъ (19). Русскіе торговцы бьютъ голоднаго корейца, стащившаго булку (34). Вотъ рядъ картинъ изъ жизни мелкаго чиновнаго люда: невѣжество, пьянство, бѣдность—прямо голодъ. Вотъ рядъ картинъ взаимныхъ отношеній китайцевъ, корейцевъ и русскихъ—ездѣ право сильного, право рубля, вездѣ взятки, вымогательство, кабала, и спрашиваетъ скромный авторъ самъ себя: „Да гдѣ-жъ я? Въ цивилизованной странѣ или...“ (19).

Еще больше сгущаются краски, когда г. Муровъ, покинувъ Владивостокъ, начинаетъ знакомиться съ жизнью собственно Уссурийскаго края. Здѣсь ужъ, кажется, слово „справедливость“ всѣми и навсегда забыто. Опять—цѣлый рядъ картинъ. Живутъ,

напримѣръ, китайцы по долинь хорошенькой рѣчки. Припили два брата—русскихъ переселенца—понравилась имъ долина. Пошли къ начальству, получили соотвѣтственную бумагу и... дѣло сдѣлано. Они—хозяева долины, они хозяева распаханной и культивированной со всею китайскою тщательностью земли. Китайцы протестуютъ, но видъ бумаги заставляетъ ихъ смириться и изъ хозяевъ они превращаются въ арендаторовъ собственныхъ полей...

А между тѣмъ хоть и хорошо живутъ покуда шкотовцы (Шкотово названіе поселка), а и у нихъ уже скоро земли не хватитъ. Было пять лѣтъ назадъ еще много свободной хорошей земли и просили шкотовцы о надѣленіи ихъ стодесятиннымъ надѣломъ, но получили отказъ, а въ томъ же году земля эта была весьма дешево продана частнымъ лицамъ, тѣ перепродали и теперь ею владѣть владивостокскій купецъ и сдаетъ въ аренду китайцамъ, шкотовцамъ выселяться приходится (92).

Но шкотовцы все-же примѣръ „удачнаго опыта колонизаціи“, а вотъ жертвы „неудачнаго опыта“—поселокъ Григорьевка на берегу р. Чахезы. Поселили ихъ тутъ, дали пособіе казенное и успокоились. А Чахеза вдругъ въ первый-же годъ разлилась да все и потопила. Каторжнымъ трудомъ пришлось расчищать лѣсистые склоны горъ, но и такой земли мало, да и сѣмянъ не хватило. Вызвали начальство. Начальство руками развело: вамъ, дескать, дали казенное пособіе, теперь ужъ ваше дѣло. И бьются въ борьбѣ съ Чахезой, тайгой и болотами вотъ ужъ 10 лѣтъ эти жертвы „неудачнаго опыта“, не ими придуманнаго... Такихъ случаевъ множество. Г. Муровъ говоритъ: „если бы поименовать каждую деревню и село Уссурийскаго края, населеніе которыхъ имѣетъ недостаточный земельный надѣлъ, то потребовалось бы нѣсколько печатныхъ листовъ“ (99). А между тѣмъ всѣ удобныя земли проданы частнымъ лицамъ, затѣмъ ими перепроданы и сдаются теперь въ аренду или даже просто пустуютъ. И много еще другихъ язвъ, накладывающихъ неизгладимое пятно на цѣлыя поколѣнія, раскрываетъ намъ г. Муровъ, этотъ доброволецъ-исследователь, своей скромной книжкой.

А. І. Дукмасовъ. Вопросы права и закона. Спб. 1900.

Названная книга г. Дукмасова представляетъ собою собраніе статей его, печатавшихся ранѣе въ специальныхъ юридическихъ журналахъ и въ журналѣ „Наблюдатель“. Темы этихъ статей по большей части современны и интересны. Что касается содержанія ихъ, то самую слабую часть книги составляютъ статьи теоретическаго характера. Теоретическія разсужденія г. Дукмасова стоятъ вообще гораздо ниже его практическихъ выводовъ и страдаютъ недостатками, обычными, къ сожалѣнію, въ теоретическихъ сужденіяхъ большинства нашихъ криминалистовъ. Г. Дукмасовъ

не рѣдко апеллируетъ въ своихъ заключеніяхъ къ наукѣ, но, повидимому, довольно странно понимаетъ ея требованія. Въ статьѣ „Работа, какъ наказаніе“, полемизируя съ проф. Сергѣевскимъ, г. Дукмасовъ вполнѣ основательно замѣчаетъ, что противникъ его стоитъ „на почвѣ не науки, а политики—искусства „приспособленія“ къ разнымъ потребностямъ жизни. Поэтому и высказанныя авторомъ положенія имѣютъ характеръ не законовъ науки—безстрастныхъ, дѣйствующихъ всегда и вездѣ одинаково, а правилъ политики—измѣнчивыхъ, условныхъ, составляющихъ результатъ разныхъ практическихъ соображеній, личнаго умѣнія, а иногда даже только и личныхъ видовъ“ (41 стр.). Но это не мѣшаетъ самому г. Дукмасову на слѣдующей же страницѣ утверждать, „стоя на твердой почвѣ науки“, какъ абсолютную истину, что „наказаніе есть общечеловѣческій институтъ, который зародился вмѣстѣ съ началомъ общественной жизни людей и будетъ существовать, пока продолжается эта жизнь“ (42). Это положеніе лежитъ въ основѣ всѣхъ дальнѣйшихъ разсужденій автора, суть которыхъ сводится къ вопросу: „какой видъ должно получить то зло, то страданіе, которое составляетъ сущность наказанія?“ (50).

При чемъ же тутъ наука? Не касаясь уже общаго вопроса о самой возможности такой науки, какъ „наука о наказаніи“,—мы спросимъ у автора: когда же и кѣмъ именно было научно доказано его основное положеніе о вѣчности наказанія? Несомнѣнно такое мнѣніе существуетъ и даже очень распространено, но распространено преимущественно среди людей, далекихъ отъ научнаго мышленія, которымъ формы жизни, непосредственно ими наблюдаемыя и ощущаемыя, кажутся единственно возможными и вѣчными.

Вообще съ теоретической стороны, повторяемъ, книга г. Дукмасова мало интересна и иногда прямо поражаетъ сбивчивостью понятій, въ родѣ, на примѣръ, страннаго сближенія бюрократизма и „инородческихъ элементовъ“, „иностранщины“ (78 и 115 стр.). Гораздо интереснѣе становится авторъ на почвѣ конкретной: здѣсь онъ на своемъ мѣстѣ.

Г. Дукмасовъ убѣжденный сторонникъ суда присяжныхъ, общественности, независимости и гласности суда; развитіе этихъ принциповъ и защита ихъ отъ враждебныхъ нападокъ, которыя въ послѣднее время раздаются все чаще и чаще—вотъ главное содержаніе его книги. Въ то же время авторъ не замалчиваетъ дѣйствительно слабыхъ сторонъ въ практикѣ нашихъ судовъ присяжныхъ. Этотъ вопросъ въ нашей печати занимаетъ иногда нѣсколько странное положеніе. Въ виду систематической и неразборчивой травли, которую реакціонная печать подняла противъ суда присяжныхъ, въ виду проливного дождя всяческихъ проектовъ, которые подъ видомъ преобразованія стремятся такъ урѣзать, искалѣчить, извратить этотъ институтъ, чтобы лишить его

всякаго жизненнаго значенія,—въ виду всего этого печать, сочувствующая суду присяжныхъ, считаетъ себя какъ будто не въ правѣ говорить о недостаткахъ этого суда и закрываетъ глаза на слабыя стороны его практики. Пора, однако, признать, что нашъ судъ присяжныхъ—далеко не идеальный судъ. Онъ имѣетъ свои недостатки и недостатки крупные—замалчиваніемъ факта этому не поможешь. Но бѣда въ томъ, что не всякое измѣненіе ведетъ къ улучшенію. Улучшеніе же суда присяжныхъ возможно только на почвѣ расширенія неукоснительнаго примѣненія тѣхъ юридическихъ принциповъ, которые лежатъ въ основѣ этого института — общественности, публичности, полной объективности процесса. Именно обиліе изъятій, отступленій отъ этихъ принциповъ въ пользу бюрократизма и является одною изъ самыхъ слабыхъ сторонъ нашего современнаго суда присяжныхъ. Дальнѣйшіе шаги въ этомъ направленіи, въ родѣ введенія председательствующаго судьи въ совѣщаніе присяжныхъ, было бы, какъ справедливо замѣчаетъ г. Дукмасовъ, не улучшеніемъ, а прямо гибелью суда присяжныхъ. Бюрократическій духъ и такъ уже сдѣлалъ крупныя завоеванія... Изъ судебной практики г. Дукмасовъ приводитъ въ своей книгѣ много характерныхъ чертъ того новаго духа, которымъ начинаютъ окрашиваться наши судебныя установленія. Въ частности это сказывается въ проявленіи „личнаго усмотрѣнія“ со стороны председательствующихъ въ судѣ присяжныхъ.

„Такъ нѣкоторые изъ нихъ—говоритъ г. Дукмасовъ—полагаютъ, что предъ присяжными нѣтъ надобности выяснять дѣло такъ, чтобы они сами могли разобраться въ немъ, а что ихъ нужно водить на помочахъ. И вотъ судебное слѣдствіе ведется быстро и односторонне—извлекаются изъ дѣла данныя въ извѣстномъ „направленіи“, обыкновенно обвинительномъ. Получается, вмѣсто правильной разработки дѣла, общее впечатлѣніе, подкрѣпляемое затѣмъ председательскимъ наставленіемъ... Но наиболѣе замѣтное для всѣхъ проявленіе личнаго усмотрѣнія—это рѣзкость обращенія председательствующаго относительно подсудимаго и его защитника, обрываніе ихъ безъ всякихъ, достойныхъ уваженія, поводовъ. Происходитъ это главнымъ образомъ отъ непониманія, что домогаться обвиненія или оправданія—это дѣло сторонъ, задача же суда состоитъ въ томъ, чтобы правильно судить, согласно закону, чтобы способы дѣйствія суда были свободны отъ пристрастія и односторонности.

„Рѣзкое обращеніе председательствующаго сопровождается обыкновенно обвинительнымъ направленіемъ всего судебного слѣдствія, которое поэтому нерѣдко производитъ тяжелое впечатлѣніе какой-то травли на подсудимаго. Получается беззаконное, тайное соединеніе обвинительной и судейской функцій въ лицѣ председательствующаго—величайшее предательство, какое только

можно себя представить, потому что совершается оно, прикрываясь именем самого правосудія! Подсудимый, являясь на судъ— иногда послѣднее для него убѣжище, гдѣ онъ надѣется найти правду и милость, а во всякомъ случаѣ законное, неоскорбительное отношеніе къ себѣ,—вмѣсто того встрѣчаетъ со стороны самого суда, въ лицѣ председательствующаго, отношеніе презрительно-враждебное и получаетъ съ этой стороны удары, которыхъ, вслѣдствіе дискреціонной власти председательствующаго, даже отражать не можетъ,—удары непоправимые. Не правильнѣе ли было бы на дверяхъ такого суда, вмѣсто словъ: „правда и милость да царствуютъ въ судахъ“, написать: „Laschiate ogni speranza“?

„Особая опасность нарушеній, обусловливаемыхъ личнымъ усмотрѣніемъ председательствующаго, проявляется и въ томъ, что они почти всегда неуловимы настолько, чтобы ихъ можно было занести въ протоколъ и обжаловать. Въ нихъ обыкновенно „тонъ составляетъ музыку“. Словами ихъ не выразишь, а нотъ такихъ еще не изобрѣтено“ (86—88 стр.).

Надѣмся, что читатель не посѣтуетъ на эту длинную выписку. За недостаткомъ мѣста мы не можемъ останавливаться на отдѣльныхъ статьяхъ книги, хотя нѣкоторыя положенія автора и вызываютъ возраженія. Въ общемъ же книга г. Дукмасова представляетъ собою рядъ живыхъ и интересныхъ этюдовъ по современнымъ вопросамъ правосудія. Поэтому, со сдѣланными оговорками, мы можемъ смѣло рекомендовать ее всѣмъ, кого интересуютъ современные вопросы права и закона.

Новыя книги, поступившія въ редакцію.

(Значащіяся въ этомъ списокѣ книги присылаются авторами и издателями въ редакцію въ одномъ экземплярѣ и въ конторѣ журнала *не продаются*. Равнымъ образомъ контора не принимаетъ на себя комиссію по приобретенію этихъ книгъ въ книжныхъ магазинахъ).

Сочиненія **А. Лугового**. Т. V. Спб. 1901. Ц. 1 р. 50 к.

Мысли и думы **А. Казиной**. (А—ва). Спб. 1901.

Иванъ Бунинъ. Листопадъ. Стихотворенія. Изданіе «Скорпіона». М. 1901. Ц. 1 р.

Леонидъ Андреевъ. Разказы. Изданіе т-ва «Знаніе». Спб. 1901. Ц. 80 к.

На память обо мнѣ моей племянницѣ. Разказы. **А. К.** Изданіе книгоизда-

тельства «Улей». Харьковъ. 1901. Ц. 50 к.

С. Разинъ. Бракъ по «господствующему способу производства» или Кандидъ и Панглоссъ женатые. М. 1901.

Артуръ Шнитцлеръ. Жена мудреца. Новеллы. Переводъ М. Э. Гукковского. Одесса. 1901. Ц. 75 к.

Артуръ Шнитцлеръ. Трилогія. Парацельсъ: Подруга жизни. Зеленый попугай. Переводъ Э. Э. Маттер-

на. Изданіе кн. склада Д. П. Ефимова. М. 1901. Ц. 50 к.

Д. Н. Вергунъ. Червонно-русскіе отзывки. Изданіе «Литературнаго кружка» при галицко-русскомъ студенческомъ о-вѣ «Другъ». Львовъ. 1901.

Новоселковское кладбище. Романъ **Марна Басанина.** Изданіе А. С. Суворина. Спб. 1901. Ц. 60 к.

Изъ записной книжки моряка. Рассказы и очерки. **А. Бѣломора.** Изданіе А. С. Суворина. Спб. 1901. Ц. 1 р. 25 к.

Мальтійская цѣль. Историческій романъ кн. **М. Н. Волконскаго.** Изданіе А. С. Суворина. Спб. 1901. Ц. 1 р.

Л. Абезгаузъ. Разудалая головушка. Комедія въ 3-хъ дѣйств. Варшава. 1901. Ц. 50 к.

Совѣсть проснулась. Рассказъ. **А. В. Бруглова.** Изданіе маг. «Книжное дѣло». М. 1901. Ц. 15 к.

Война и миръ. Комедія въ 5 дѣйствійхъ. Сочиненіе **В. П. Городни.** Спб. 1901. Ц. 1 р.

Ив. Франко. Въ потѣ лица. Очерки изъ жизни рабочаго люда. Переводъ О. Рувимовой и Р. Ольгина съ предисловіемъ п. подъ редакціей М. Славинскаго. Изданіе М. Д. Орѣхова. Спб. Ц. 1 р. 50 к.

З. Крассинскій. Небожественная комедія. Переводъ и вступительная статья А. Курепнискаго. Изданіе «Скорпіона». М. 1902. Ц. 60 к.

Психологія религій. **Р. де-ла Грассри.** Переводъ съ франц. В. И. Писаревой. Изданіе Ф. Павленкова. Спб. 1901. Ц. 1 р. 25 к.

Большая энциклопедія. Словарь общедоступныхъ свѣдѣній по всѣмъ отраслямъ знанія. Подъ редакціей С. Н. Южакова. Т. VI. Т. VII, вып. 1—3. Спб. 1901.

Благотворительное о-во изданія общепользныхъ и дешевыхъ книгъ. Спб. 1901 г. Оповидання про Т. Шевченка. Написавъ **О. Я. Конисскій.** Ц. 2 к.—Розмова про сельское хозяйство. 4-та книжка. **Е. Чикаленко.** Ц. 5 к.—**Ш. О. Кулишъ.** Выговщина. Ц. 2 к.—Розмова про сухоты на рогатій худобѣ. Зложивъ **Сергій Вагановъ.** Ц. 3 к.—**М. Комаръ.** Оповидання про Б. Хмельницкаго. Ц. 8 к.

С. Н. Сыромѣтниковъ (Сигма). Опыты русской мысли. Книга первая. Спб. 1901. Ц. 1 р.

Больше свѣта! По поводу статьи «Евреи въ войскахъ». **О. С. Вильна.** 1901. Ц. 35 к.

Г. Н. Врейтманъ. Преступный

міръ. Очерки изъ быта профессиональныхъ преступниковъ. Кіевъ. 1901. Ц. 85 к.

Вл. Муратовъ. Душевная слабость и ея значеніе въ общественной жизни и художественномъ творчествѣ. М. 1901.

Жоржъ Пемисье. Критическіе этюды современной литературы. Вторая серія. Переводъ съ франц. А. А. Заблочной. Изданіе кн. склада Д. П. Ефимова. Спб. 1901. Ц. 1 р.

Воскресеніе у гр. Толстого и Г. Ибсена. **А. Андреевой.** М. 1901. Ц. 1 р.

Н. В. Рейнгардтъ. Ф. В. Вешняковъ и Новая наука. Казань. 1901.

Д. Зеленинъ. Международный языкъ науки и культурныхъ сношеній. М. 1901. Ц. 25 к.

Какъ написать повѣсть. Практическое руководство къ искусству беллетристики. Переводъ съ англ. Е. И. Бошнякъ. Изданіе В. Кудрянцева. М. 1901. Ц. 2 р.

С. Васюковъ. «Скорпіоны» (Современные дѣятели московской прессы). М. 1901. Ц. 50 к.

Гр. Павелъ Шереметевъ. Отзывы рассказовъ И. О. Горбунова. Спб. 1901. Ц. 1 р.

Жизнь П. И. Чайковскаго. Т. II. Вып. X. Изданіе П. Юргенсона. М. Ц. 40 к.

Г. Римапъ. Музыкальный словарь. Переводъ съ нѣм. Б. Юргенсона, дополненный русскими отдѣломъ, подъ редакціей Ю. Энгеля. Вып. 1. Изданіе П. Юргенсона. М. 1901. Ц. 40 к., за все изданіе по подпискѣ 6 р.

У. Ризинъ. Университетскія и социальныя поселенія. Переводъ съ англ. Е. С. Петрушевской, подъ ред. Д. М. Петрушевскаго. Изданіе редакціи «Образованія». Спб. 1901. Ц. 80 к.

Матеріалы для исторіи женскаго образованія въ Россіи 1856—1880. **Е. Лизачевой.** Спб. 1901. Ц. 4 р.

Н. Карневъ. Идеалы общаго образованія. Спб. 1901. Ц. 50 к.

Фр. Паульсенъ. Общеобразовательная школа будущаго. Переводъ съ нѣм. подъ редакціей К. А. Поссе. Изданіе т-ва «Знаніе». Спб. 1901. Ц. 40 к.

Николай Харузинъ. Этнографія. Лекціи, читанныя въ московскомъ университетѣ. Изданіе посмертное подъ редакціей Вѣры и Алексѣя Харузиныхъ. Вып. 1. Спб. 1901. Ц. 2 р. Ц. всего изданія по подпискѣ 5 р., въ продажѣ 7 р.

Россія. Полное географическое описаніе нашего отечества. Подъ общимъ руководствомъ П. П. Семенова и В. И.

Ламаанскаго и подъ редакціей В. П. Семенова. Т. VI. Среднее и нижнее Поволжье и Заволжье. Съ 98 политипажми, 35 диаграммами, картограммами, схематическими профилями и картами. Составили **И. А. Ососковъ, Н. А. Коростелевъ, Н. Г. Гавриловъ, И. Н. Сырневъ**. Изданіе А. Ф. Девриена. Спб. 1901. Ц. 2 р. 50 к.

С. И. Браиловскій. По захламленнымъ Приморской области. (Оттиски газеты «Владивостокъ»).

Ө. В. Полярновъ. Последний Эпизодъ дунганскаго возстанія. Гор. Вѣрный. 1901.

Ф. Гаррисонъ. Оливеръ Кромвель. Переводъ съ англ. подъ ред. В. А. Гольцева. Изданіе маг. «Книжное дѣло». М. 1901. Ц. 80 к.

Арабы и Магометъ. Составилъ **С. Мельгуновъ**. Изданіе Н. М. К. Москва. 1901. Ц. 10 к.

Карлъ Великій. Составилъ **С. Мельгуновъ**. Изданіе Н. М. К. Москва. 1901. Ц. 8 к.

Н. Карневъ. Учебная книга новой исторіи. Съ историческими картами. Изданіе 2-е. Спб. 1901. Ц. 1 р. 30 к.

Записки **С. Г. Волонскаго** (Декабриста). Изд. кн. М. С. Волконскаго. Спб. 1901. Ц. 4 р. 50 к.

Маръ-Ивонна. Изъ моихъ странствій и приключеній. **Е. Балобановой**. Съ иллюстраціями. Спб. 1901. Ц. 90 к.

Популярно-научная бібліотека А. Ю. Маноцковой. М. 1901. Д-ръ **С. Штерлингъ**. Наука о здоровьи. Переводъ А. Ю. Бровоницкой. Съ 13 рис. въ текстѣ. Ц. 80 к. — **Л. Жерарденъ**. Общая ботаника. Ц. 1 р. — Наука о погодѣ или основы метеорологіи. **Ф. Пютровскаго**. Переводъ съ польск. Р—аго. Съ 47 рис. и чертеж. въ текстѣ. Ц. 70 к.

Эри. Махъ. Научно-популярные очерки. Вып. II. Этюды по естествознанію. Перев. съ нѣм. А. А. Мейеръ, подъ ред. П. К. Энгельмейера. Изданіе А. Ю. Маноцковой. М. 1901. Ц. 1 р. 20 к.

П. Вольногорскій. Растенія — друзья человѣка. Очерки и картины изъ жизни разводимыхъ растений. Съ 50 рис. Изданіе К. И. Тихомирова. М. 1901. Вып. 1. Ц. 60 к. Вып. 2. Ц. 50 к. Вып. 3. Ц. 30 к. Вып. 4. Ц. 55 к. Вып. 5. Ц. 40 к.

Опредѣлитель европейскихъ птицъ.

Составилъ **А. А. Силантьевъ**. Съ 75 политипажми. Изданіе А. Ф. Девриена. Спб. 1901. Ц. 1 р. 20 к.

Д. Кайгородовъ. На разныя темы, преимущественно педагогическія. Съ приложеніемъ программы природовѣдѣнія по общежитіямъ природы для средней полосы Россіи. Изданіе А. С. Суворина. Спб. 1901. Ц. 1 р.

Личинка майскаго хруща и нѣкоторые изъ ея паразитовъ. **И. К. Тарнани**. Съ 17 рис. Изданіе Департамента Земледѣлія. Спб. 1901. Ц. 10 к.

Григорьевъ. Краткій курсъ химіи. Съ 3 портретами и 62 иллюстраціями въ текстѣ. Изданіе т-ва «Знаніе». Спб. 1901. Ц. 80 к.

Ив. А. Каблуновъ. Очерки изъ исторіи электрохиміи за XIX вѣкъ. М. 1901. Ц. 40 к.

О болѣзни глазъ, называемой трахомою. Совѣты здоровымъ и больнымъ. Составилъ врачъ **В. В. Хижняковъ**. Изданіе маг. «Книжное дѣло». М. 1901. Ц. 5 к.

Слссарный промыселъ въ Лихвинскомъ уѣздѣ и мѣры къ его развитію. Составилъ **С. А. Саловъ**. Издано подъ редакціей Н. А. Крюкова. Калуга. 1901.

Бакинская нефтяная промышленность. Историко-статистическій очеркъ. Составилъ **Г. Е. Старцевъ**. Баку. 1901.

Е. В. Сиверсъ. Общее счетоводство. Спб. 1901. Ц. 3 р.

З. Евзминъ. Общепонятный отчетъ акціонерныхъ предпріятій и его значеніе въ торгово-промышленной жизни. Спб. 1901. Ц. 75 к.

Сборникъ справочныхъ свѣдѣній о благотворительности въ Москвѣ. Изданіе Московскаго городского общественнаго управленія. М. 1901. Ц. 75 к.

Учебникъ географіи, примѣненный къ программамъ фельдшерскихъ школъ. Составилъ **Евг. Тишановъ**. Изданіе д-ра Б. А. Окса. Спб. 1902. Ц. 1 р.

Рѣшенія съ подробными объясненіями алгебраическихъ задачъ изъ сборника Шапошникова и Вальцова. Составили **Р. В. Л—въ** и **О. Я. М—чъ**. Изданіе кн. маг. Вс. Попова. Кіевъ. 1901. Ц. 50 к.

X-me congrès universel de la paix à Glasgow. La question arménienne au point de vue de la paix universelle. Par **H. Arakélian**. Genève. 1901.

П о л и т и к а .

Китайскія дѣла. — «Либеральные» вице-короли долины Янтсе. — Юбилей Рудольфа Вирхова. — Текущія событія.

I.

Отчетный мѣсяцъ бѣденъ событіями. Они зрѣютъ въ тайникахъ исторической эволюціи, которая не торопится развертывать передъ нами свитокъ своихъ окончательныхъ рѣшеній по многозначительнымъ вопросамъ и задачамъ, составляющимъ содержание всемірной исторіи молодого вѣка. Громадное умственное движеніе второй половины вѣка истекшаго продолжаетъ свое развитіе и распространеніе, подготавливая крупныя преобразованія, но покуда руководство дѣлами человѣчества принадлежитъ идеямъ первой половины минувшаго вѣка. Новый фазисъ экономическаго развитія, заключающійся въ замѣнѣ національнаго капитализма капитализмомъ странствующимъ, международнымъ, тоже пробилъ уже широкую брешь въ современномъ экономическомъ строѣ, но все же не замѣнилъ его, и событія въ значительной степени диктуются именно національнымъ капитализмомъ. Также должно сказать и о колебаніяхъ политической эволюціи. Объединеніе Европы въ умахъ и въ чувствахъ подготовлено. Оно все болѣе и болѣе обнаруживается и въ экономическихъ интересахъ. Однако, господствуетъ традиція отживающей національной политики, преслѣдующей эгоистическія цѣли и полной вражды и раздора. И, какъ бы въ предвидѣніи близкаго конца, эти могучіе еще, но уже осужденные на исчезновеніе дѣятели (идеи первой половины XIX в., національный капитализмъ и націоналистическая политика) проявляютъ тѣмъ болѣе энергію и доводятъ свое выраженіе до послѣдняго слова, порою даже до абсурда, до чемберленовскаго „империализма“ въ Англіи, до деруледовскаго „націонализма“ во Франціи, до таможенной войны противъ вся и всѣхъ въ Германіи... Передъ разсвѣтомъ воегда ступается мракъ и тѣни вчерашняго вечера какъ бы заступаютъ путь приближающемуся дню. Онѣ его не остановятъ, конечно. Событія зрѣютъ, и можно видѣть въ общихъ чертахъ и направленіе, въ которомъ они назрѣваютъ: идеи второй половины XIX в.; международный капитализмъ, какъ переходная ступень въ новыя, еще недостаточно обрисовавшіяся формы; европейское политическое единеніе, — таково это въ общихъ чертахъ обнаружившееся направленіе современной европейской исторіи. И если бы,

по прежнему, Европа зависла только от себя самой, то мыслящее человечество могло бы без недоверия взирать на будущее, зная, что лишь от его преданности своим идеалам зависит ускорение или замедление этого исторического процесса. Однако, Европа теперь не одна и ее история уже не есть то же, что история всемирная. С одной стороны, Новый Свет с силою и энергией почувствовавшего свои силы исполина вводит во всемирную историю свое могущественное вмешательство (новый „империализм“ в Соединенных Штатах, пан-американский конгресс в Мехико, возникновение австралийской федерации), а с другой—недавно бессильные перед Европою азиаты поднимают мятеж и угрожают ей всемирному преобладанию. Это вмешательство в судьбы Европы со стороны наций Америки, Австралии и Азии может отразиться самым неожиданным образом на ходе и исходе европейской исторической эволюции, прервав и извратив ее закономерное развитие. Откуда тот глубокий, хотя почти инстинктивный интерес, который европейское общество обнаруживает по отношению к событиям вне европейских человеческих миров, явление совершенно новое в Европе, привлекшей больше всего интересоваться собою, игнорируя события и даже потрясения вне своих предельов. „Желтый вопрос“ продолжает особенно привлекать к себе европейское общество. Америка и Австралия—родные дочки Европы, и она не рассчитывает на серьезную угрозу с этой стороны (хотя, вероятно, очень ошибается). Такую серьезную угрозу, даже сильно преувеличенную, видят в „желтом вопросе“. Преувеличенная-ли, нить-ли, но эта угроза несомненно существует и европейское общество право в своем интересе к состоянию и событиям Дальнего Востока. И там понемногу назревают события под покровом наступившего затишья.

В чем может европейское общество видеть опасность со стороны желтой расы? Предполагается, что народы этой расы, сохраняя самобытную варварскую культуру, враждебную европейской цивилизации, сумейют, однако, усвоить военную технику, созданную европейской цивилизацией, и ею вооруженные, немалые своей численностью, свободные от традиций права, обрушатся на европейское человечество и похоронят цивилизацию в этом новом нашествии варваров, как некогда была погребена античная цивилизация. Читатели знают, что мы не разделяем такого безотрадного взгляда на предвиденное столкновение белой и желтой расы. Мы не признаем ни неизбежности этого столкновения, ни возможности полного торжества желтокожих. Довольно, однако, и того, если такое столкновение возможно (и даже, при современных условиях, вероятно) и что частные, и довольно значительные, успехи варваров не представляются в некотором будущем невероятными, чтобы, и не

преувеличивая грозящей съ Востока опасности, слѣдить со вниманіемъ за развитіемъ событій на Дальнемъ Востокѣ. Если эти событія и не могутъ разрушить европейскую цивилизацію и поработить европейское человѣчество, во всякомъ случаѣ, они могутъ настолько потрясти европейскій міръ, что надолго задержать его прогрессъ и внесутъ много страданій и неправильностей въ его жизнь. Для вниманія вполнѣ достаточно оснований.

Мы уже бесѣдовали (въ послѣдней хроникѣ) о мирномъ пекинскомъ протоколѣ 7 сентября. Китайцы продолжаютъ его неукоснительное исполненіе, казнятъ мандариновъ, воздвигаютъ памятники на могилахъ замученныхъ 1900 года, отмѣняютъ экзамены и энергически преслѣдуютъ остатки боксерскихъ шаекъ. Дворъ выѣхалъ изъ Си-ган-фу и уже находится на пути въ Пекинъ. Были слухи даже о врученіи европейскимъ посламъ облигацій на установленную сумму контрибуціи. Словомъ, нельзя сомнѣваться въ томъ, что китайцы прилагаютъ и приложатъ всѣ усилія, чтобы *въ настоящее время* выполнить всѣ условія пекинскаго трактата, добиться удаленія европейскихъ войскъ и возстановленія власти и авторитета правительства. Какія бы они ни имѣли намѣренія въ будущемъ, для всѣхъ партій, раздѣляющихъ мандаринское царство, это выполненіе трактата является первѣйшею заботою. Они его выполняютъ, и только затѣмъ можно ждать фактовъ, которые вскроютъ новое направленіе китайской исторіи. За отчетный мѣсяцъ, сверхъ выполненія требованій мирнаго трактата, произошло нѣсколько фактовъ, обнаружившихъ, что китайцы отнюдь не потерялись и умѣютъ пользоваться всѣмъ для обезпеченія своихъ цѣлей и намѣреній.

Инцидентъ съ европейскимъ банками и торговыми факторіями въ Пекинѣ представляется первымъ по времени въ этомъ родѣ. Какъ только пекинскій протоколъ 7 сентября былъ ратификованъ и вошелъ въ силу, такъ что ни одна изъ сторонъ не имѣетъ права его измѣнить или дополнить, принцъ Чинъ, фактический представитель правительства въ Пекинѣ и глава вновь учрежденнаго министерства иностранныхъ дѣлъ, обратился къ представителямъ, аккредитованнымъ около китайскаго правительства, съ нотой, въ которой приглашалъ ихъ озаботиться удаленіемъ изъ Пекина иностранныхъ торговцевъ, банкировъ, всевозможныхъ агентовъ и вообще всѣхъ иностранцевъ, за исключеніемъ персонала посольствъ и ихъ воинской охраны. Требованіе свое принцъ Чинъ основалъ на буквѣ прежнихъ трактатовъ, сила которыхъ возстановлена мирнымъ трактатомъ 7 сентября. Всѣ прежніе трактаты предоставляли иностранцамъ право жительства исключительно въ договорныхъ портахъ, а право временнаго пребыванія лишь въ районѣ ста китайскихъ ли отъ договорныхъ портовъ. Для посѣщенія, даже временнаго, иныхъ мѣстностей полагается для каждаго отдѣльнаго случая особое разрѣшеніе. Пекинъ не есть

договорный портъ, а отстоять отъ договорныхъ портовъ гораздо дальше условленнаго разстоянія. Несомнѣнно, что, по буквѣ трактатовъ, иностранцы, безъ особаго разрѣшенія китайскаго правительства въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, не только постоянно жить въ Пекинѣ, но и временно его посѣщать права не имѣютъ. Отвѣтъ посланниковъ еще неизвѣстенъ, но что они могутъ сказать? Если они сошлутся, что сами китайцы разрѣшили учрежденіе, напр., банковъ иностранныхъ, то вѣдь банки могутъ вербовать свой персоналъ изъ китайцевъ, а съ другой стороны, даже признавъ концессіи на эти банки за особое выговоренное трактатами разрѣшеніе, нельзя это разрѣшеніе распространять ни на кого, кромѣ наличнаго персонала. Всѣ новыя назначенія могутъ не получать санкціи правительства, и банки фактически принуждены будутъ закрыться. Объ остальныхъ иностранцахъ, поселившихся въ Пекинѣ, и говорить нечего... Конечно, посланники могли внести въ мирный договоръ 7 сент. статью, устраняющую эту мѣру китайскаго правительства, и китайцы согласились бы на нее, но посланники этого не замѣтили, болѣе занятые взаимнымъ соперничествомъ. Можно думать, что это не единственное упущеніе трактата.

Только что цитированная нота принца Чина говоритъ покуда лишь объ иностранцахъ, устроившихся въ Пекинѣ, но ссылается она на статьи прежнихъ договоровъ, не къ одному Пекину относящаяся, но ко всей территоріи Китая, кромѣ договорныхъ портовъ и района въ 100 ли вокругъ нихъ. Вопросъ объ иностранцахъ въ Пекинѣ является, повидимому, лишь стороною гораздо болѣе обширнаго вопроса объ иностранцахъ на всей территоріи Небесной имперіи за вышеупомянутыми незначительными исключеніями. Нота принца Чина объ удаленіи иностранцевъ изъ Пекина, по всей вѣроятности, пробный шагъ. Если китайцы добьются исполненія ноты, имъ уже не трудно будетъ добиться распространенія ея дѣйствія и на остальной Китай. Во что тогда обратятся безчисленныя концессіи на желѣзныя дороги, пароходныя линіи, горныя разработки, заводы и т. д., столь щедро раздававшаяся въ „эпоху реформъ“ во время самостоятельнаго управленія императора Гуань-Сю? Концессіи не потеряли силы, конечно. Мирный трактатъ 7 сент. это тщательно оговорилъ. Однако, если европейцы не могутъ проживать въ мѣстахъ приобретенныхъ ими концессій? Или даже, если (въ лучшемъ случаѣ) проживать могутъ въ мѣстѣ полученныхъ концессій лишь лица, ихъ получившія, безъ агентовъ, инженеровъ и техниковъ?

„Эпоха реформъ“ была вмѣстѣ съ тѣмъ эпохою перваго раздѣла Китая. Нѣмцы, англичане, русскіе, французы, японцы приобрѣли „арендованные“ порты съ окружающею территоріей и „сферы интересовъ“ съ разными привилегіями. Это наслѣдіе дѣятельности императора Гуань-Сю сохранилось въ неприкосно-

венности и подтверждено самым категорическим образом и пекинским трактатом 7 сент. 1901 года. Однако, среди этого разбора территории и державных прав Китая, было добыто англичанами и включено въ ихъ трактатъ съ Китаемъ одно высокой важности постановленіе общаго значенія. Китайцы предоставили англичанамъ право безпрепятственного судоходства по всѣмъ сухоходнымъ путямъ всей имперіи, по рѣкамъ, озерамъ и каналамъ. Всѣ державы имѣютъ съ Китаемъ договоры о правахъ наиболѣе благопріятствуемой державы, т. е. всѣ общаго значенія постановленія въ пользу одной націи дѣлаются общимъ достояніемъ всѣхъ европейцевъ,—слѣдовательно, и чудовищное право внутреннего судоходства по всей странѣ, столь легкомысленно дарованное англичанамъ китайскими реформаторами. Это несомнѣнно и никто объ этомъ не споритъ. Но во что обратится это право, если на этихъ судахъ не будутъ имѣть права плавать европейцы дальше ста ли отъ договорныхъ портовъ?

Еще важнѣе вопросъ о миссіонерахъ: Можно-ли и ихъ подвести подъ дѣйствіе ограниченій, выдвинутыхъ нотою принца Чина? О миссіяхъ и свободѣ исповѣданія христіанской религіи имѣются во всѣхъ трактатахъ особыя постановленія. Однако, съ миссіями проникаютъ не только духовныя лица, но и масса другихъ иностранцевъ (медики, техники, сестры и братья милосердія, свѣтскіе члены миссіи и пр.), да и сами духовныя лица вѣдь могутъ быть китайцами... Словомъ, нота принца Чина можетъ повести къ самымъ серьезнымъ послѣдствіямъ, и Китай можетъ оказаться снова закрытъ для иностранцевъ, а слѣдовательно, и для иностранныхъ капиталовъ. Вѣроятно, Англія, Германія и Франція постараются не допустить такого оборота событій, но какую они найдутъ для того дипломатическую лазейку? Буква трактатовъ на сторонѣ китайскаго толкованія, а трактаты эти торжественно подтверждены не далѣе 7 сентября этого года.

Изъ другихъ шаговъ китайскаго правительства въ послѣднее время надо отмѣтить указъ о военныхъ школахъ и о преобразованіи арміи по европейскому образцу. Дѣло это поручается четыремъ вице-королямъ, уже ранѣе, по собственной инициативѣ, учредившимъ у себя отряды европейски обученныхъ солдатъ, именно вице-королю печилійскому Ли-Хунъ-Чану, шантунгскому Юань-Шикаю, нанкинскому Лю-Куну-И и ханькоускому Чанъ-Чи-Тонгу. Эту сторону „реформъ“ одобряетъ, стало-быть, и императрица регентша Це-Ши съ ея „реакціонными“ совѣтниками. Имѣетъ значеніе также соглашеніе съ Россіей о возвращеніи желѣзной дороги Шанхай-Гуанъ-Нью-Чванъ въ управленіе ея построившей компаніи (англійской) подъ условіемъ, что на ней не будетъ иностранной (не китайской) охраны. Сообщаютъ такъ же и о возобновленіи китайцами переговоровъ объ очищеніи Маньчжуріи. Нельзя не отмѣтить еще и отправленіе китайскимъ

правительствомъ особыхъ делегатовъ въ мѣста жительства китайцевъ въ предѣловъ китайской имперіи для сбора суммъ на уплату контрибуціи. Сначала принцъ Чинъ обратился къ посланникамъ державъ съ просьбою снабдить этихъ делегатовъ особыми паспортами, но когда нѣкоторые посланники отказали, китайцы обошлись безъ этой формальности. Сообщалось, что изъ одиннадцати державъ отказали пять. Изъ пяти первая была Голландія (у которой на Борнео, Явѣ, Моллукскихъ островахъ проживаетъ много китайцевъ). По нѣкоторымъ соображеніямъ, можно думать, что Англія (на островахъ Тихаго Океана и въ Австраліи) и Франція (Тонкинъ и Кохинхина) были тоже въ числѣ отказавшихъ. Не имѣли надобности отказывать, за неимѣніемъ владѣній съ китайскимъ населеніемъ Италія, Испанія, Австрія. Остаются Германія, Америка, Россія, Японія и Португалія, изъ нихъ двое отказали, а три оказали любезность китайскому правительству. Европа, конечно, и въ этомъ мелкомъ дѣлѣ не сумѣла быть солидарна.

Если мы теперь сообразимъ, что всѣ эти факты произошли на протяженіи какого-нибудь мѣсяца, протекшаго со дня подписанія мирнаго трактата, то не откажемъ китайскому правительству ни въ энергіи, ни въ искусствѣ, ни въ настойчивости и твердости избранной политики. Правительство Небесной имперіи знаетъ, что дѣлаетъ и куда направляетъ свой путь, и, среди самыхъ ужасныхъ обстоятельствъ и неслыханныхъ бѣдствій, сохранило присутствіе духа и ясность ума. Если „эпоха реформъ“ заставила всѣхъ думать, что Китай разваливается и что только соперничество западныхъ покровителей препятствуетъ его полному раздѣлу, то теперь, разбитый и униженный, Китай обнаруживаетъ столько живучести и стойкости, что западнымъ покровителямъ очень и очень не мѣшаетъ подумать о будущемъ. Въ этихъ обстоятельствахъ всякій свѣтъ, брошенный на современное состояніе этого громаднаго возбужденнаго тѣла, пріобрѣтаетъ большой интересъ. Поэтому мы воспользуемся нѣкоторыми свѣдѣніями, появившимися въ иностранныхъ журналахъ, чтобы обрисовать двѣ интересныя фигуры современнаго Китая, либеральныхъ вице-королей долины Янтсе, какъ ихъ неизмѣнно именуетъ англійская пресса: мандариновъ Лю-Кунъ-И и Чанъ-Чи-Тонга. Характеристики императрицы Це-Ши и мандарина Ли-хунъ-Чана благоволятъ читатели прибавить изъ нашихъ хроникъ лѣта 1900 года, когда разразился кризисъ и европейскіе посланники отсиживались въ своихъ домахъ, осажденные не то боксерами, не то китайскими солдатами, не то мятежниками. „Реакція“ торжествовала въ Пекинѣ; „либерализмъ“ процвѣталъ въ долинѣ Янтсе, гдѣ мудро правили вице-короли Лю-Кунъ-И и Чанъ-Чи-Тонгъ.

II.

Лю-Кунъ-И занимаетъ постъ вице-короля или намѣстника въ Нанкинѣ, южной столицѣ имперіи. Подъ его властью находятся три провинціи, занимающія побережье Сѣвернаго Китайскаго моря и нижнюю часть бассейна Янтсе-Кіанга. Договорный портъ Шанхай, самый важный изъ договорныхъ портовъ, находится въ его намѣстничествѣ. Здѣсь же лежитъ первоклассная, европейски построенная и европейски вооруженная крѣпость Вусунгъ, запирающая входъ въ Янтсе-Кіангъ и заключающая самый обширный и лучше всего снабженный арсеналъ. Такимъ образомъ, значеніе Лю-Кунъ-И въ событіяхъ 1900—1901 гг. было огромное. Онъ его направилъ на путь мира и прямо отказывался исполнять императорскіе эдикты, предписывавшіе изгнаніе иностранцевъ и истребленіе христіанъ. Равнымъ образомъ, онъ не исполнилъ императорскаго приказа отправить находящуюся подъ его начальствомъ армію на сѣверъ для защиты столицы. Войдя въ соглашеніе съ консулами державъ въ Шанхаѣ, Лю-Кунъ-И сохранилъ свой европейски обученный корпусъ въ цѣлости, употребляя его для подавленія малѣйшаго проявленія боксерскаго движенія. Теперь, вмѣстѣ съ корпусами Юанъ-Шикая и Чанъ-Чи-Тонга, это единственныя благоустроенныя войска въ Китаѣ. Что при этомъ руководило вице-королемъ южной столицы, трудно разгадать. Скрытый, совершенно незнакомый съ западною наукою, болѣе военный по своему прошлому, чѣмъ гражданскій чиновникъ, мандаринъ до мозга костей, престарѣлый (даже очень престарѣлый), Лю является однимъ изъ тѣхъ націоналистовъ китайцевъ, которые относятся съ ненавистью къ маньчжурамъ и ихъ привилегированному положенію. Близость Шанхая и постоянныя сношенія, если не его лично, то массы его окружающихъ, сдѣлали его болѣе освѣдомленнымъ о могуществѣ западныхъ варваровъ, чѣмъ были освѣдомлены о томъ вдохновители пекинскихъ, печилійскихъ и маньчжурскихъ событій. Наконецъ, старый Лю не отличается безкорыстіемъ, и только будущая исторія разскажетъ, не было-ли ему упрочено богатыми коммерсантами Шанхая за свою безопасность. Поведеніе, усвоенное Лю-Кунъ-И, спасло многихъ европейцевъ и христіанъ, и было одною изъ причинъ локализациі войны въ сѣверномъ Китаѣ. Это его крупная роль въ недавнемъ прошломъ. Его преклонный возрастъ и его необразованность не дозволяютъ многого отъ него надѣяться въ будущемъ. Къ тому же объ немъ никто не скажетъ, что онъ имѣетъ собственную программу. Именно человекомъ собственной программы является другой „либеральный вице-король долины Янтсе“, знаменитый ученый и писатель, намѣстникъ Хунана, мандаринъ Чанъ-Чи-Тонгъ.

Хунань—одна изъ древнѣйшихъ провинцій Китая—тоже раздѣлена на нѣсколько губернаторствъ, объединенныхъ подъ властью вице-короля, живущаго въ У-Чангъ на берегу Янтсе-Кiangа, vis-à-vis договорнаго порта Хань-Коу. Нынѣ, какъ сказано, постъ вице-короля этой области занимаетъ Чанъ-Чи-Тонгъ. Онъ управляетъ, такимъ образомъ, обширную страну, занимающую все среднее теченіе Янтсе-Кiangа и широкую полосу по обѣ его стороны. Это одна изъ самыхъ населенныхъ, самыхъ богатыхъ и самыхъ китайскихъ областей имперіи.

Еще въ 1898 году, когда процвѣтала „эпоха реформъ“ и реформаторы, императоръ Гуань-Сю и его главный совѣтникъ Канъ-Ю-Вей, отчуждали и области, и державныя права Китая въ пользу разныхъ державъ, Чанъ-Чи-Тонгъ, тогда только что назначенный вице-королемъ Хунана, издалъ книжку, специально содержащую инструкціи подчиненнымъ ему чиновникамъ. Въ предисловіи къ этой книжкѣ высокопоставленный авторъ говоритъ слѣдующее:

„Ни въ какой иной періодъ китайской исторіи страна не переживала болѣе серьезнаго кризиса, нежели тотъ, который угнетаетъ насъ въ настоящее время. Именно въ виду многочисленныхъ фактовъ, свидѣтельствующихъ объ этомъ печальномъ состояніи страны, и въ надеждѣ помочь моему отечеству выйти изъ постигшихъ его затрудненій, я, вице-король обѣихъ Ху (его генераль-губернаторство дѣлится на двѣ главныя части, собственно Хунань на сѣверѣ и Хупэ на югѣ), изготовилъ настоящій трудъ специально для китайцевъ, мнѣ подчиненныхъ, а такъ же и для другихъ моихъ соотечественниковъ, обитающихъ въ другихъ областяхъ.

„Среди странъ міра, въ теченіе послѣдняго полустолѣтія, одинъ только Китай безпробудно дремалъ. Большинство управляющихъ и управляемыхъ невѣжественны и недѣятельны. Есть между нами люди образованные, но совсѣмъ нѣтъ ученыхъ и technicians. Мы плохо представлены внѣ страны и наши школы неудовлетворительны. Ничего не предпринимается для исправленія нашихъ недостатковъ, ничто не возбуждаетъ мысли, ничто не укрѣпляетъ и душу. При этихъ условіяхъ, Китай кажется обреченнымъ погибнуть въ ничтожествѣ и въ отчаяніи“.

Нимало не восхищаясь тогдашними реформами, инспирированными Канъ-Ю-Веемъ, хунанскій вице-король настаиваетъ на полномъ и неприкосновенномъ сохраненіи традиціоннаго китайскаго строя, мандарината, конфуціанства, всего стараго, испытаннаго вѣками законодательства, системы управленія. Онъ горячо рекомендуетъ преданность и вѣрность царствующей династіи, „величіе которой обезпечиваетъ сохраненіе національныхъ учреждений“. Правда, онъ не доволенъ привилегіями, которыми пользуются маньчжуры, получающіе назначенія безъ экзаменовъ, но это недовольство,

естественное въ кровномъ китайцѣ, вдобавокъ и направлено противъ нарушенія системы, полное и всестороннее возрожденіе которой сановный авторъ считаетъ краеугольнымъ камнемъ возрожденія Китая. Консерваторъ и націоналистъ до мозга костей, Чангъ-Чи-Тонгъ видитъ недостатки и отсталость отечества и указываетъ путь для исправленія и преуспѣянія. Для возрожденія Китая, кромѣ оставленія въ полной неприкосновенности національной политической и соціальной системы, необходимо еще усвоеніе западной науки. „Учитесь!“—стоитъ въ заголовкѣ его книги. Китай долженъ учить свое молодое поколѣніе и для этого посылать молодыхъ людей въ школы иностранныхъ государствъ. Обучивъ, такимъ образомъ, достаточное количество молодыхъ людей, надо организовать соотвѣтственное обученіе дома и, вмѣстѣ съ тѣмъ, воспользоваться знаніемъ возвратившихся изъ ученія для постройки желѣзныхъ дорогъ и разработки естественныхъ богатствъ страны. Чанъ-Чи-Тонгъ рекомендуетъ такъ же религіозную терпимость, какъ то, впрочемъ, предписывается традиціоннымъ конфуціанствомъ. По мѣрѣ усвоенія китайцами западной науки, она должна быть вводимая и въ программу экзаменовъ мандариновъ, нисколько не ослабляя и не умаляя традиціоннаго литературно-историческаго и философскаго образованія въ національно-китайскомъ духѣ. Западные идеи, заключенныя въ западномъ литературно-историческомъ и философскомъ знаніи, не подлежатъ усвоенію, но только точныя науки, необходимыя для техники и для военнаго дѣла. Последнее то же, конечно, очень озабочиваетъ автора, рѣшительнаго сторонника постоянной арміи по европейскому образцу. Мы уже упомянули выше, что Чангъ-Чи-Тонгъ дѣйствительно организовалъ прекрасно обученный и вооруженный корпусъ. Особенно много онъ заботился объ артиллеріи, организацію, вооруженіе и обученіе которой вполне цѣняютъ западные военные специалисты, по скольку они съ нею успѣли познакомиться на смотру 1900 года около Хань-Коу. Такова программа этого „либеральнаго“ вице-короля „обѣихъ Ху“, какъ она имъ самимъ была изложена около трехъ лѣтъ тому назадъ. Около года тому назадъ Чанъ-Чи-Тонгъ посѣтилъ корреспондентъ „Temps“ Гастонъ Доннэ. Вице-король его принялъ любезно и бесѣдовалъ о событіяхъ дня. „Онъ честный человѣкъ, пишетъ Гастонъ Доннэ, и это первое, что въ немъ необычно и изумительно. Далѣе это въ своемъ родѣ новаторъ. Онъ насъ не считаетъ совершенными варварами... Онъ способенъ говорить два часа и при этомъ что-нибудь высказать, что его рѣзко отличаетъ отъ другихъ великихъ мандариновъ, которые могутъ говорить и шесть часовъ, но для того только, чтобы ничего не высказать. Чанъ-Чи-Тонгъ, какъ всѣ значительные люди, имѣетъ много поклонниковъ и много враговъ. Первые его считаютъ гениемъ, вторые называютъ фантазеромъ. Быть можетъ, обѣ стороны недалеко отъ истины, и гений и утопія ужь-

ваются въ этомъ пожиломъ человѣкѣ небольшого роста съ живою южною жестикуляціей. Ему чудится, что его отечество воспринять съ новою силою и блескомъ, лишь бы бросить въ него нѣсколько сѣмянъ европейской науки. Самъ онъ хочетъ быть этимъ сѣятелемъ и не считается съ медленностью эволюціи. Далѣе, Гастонъ Доннэ сообщаетъ, что Чанъ-Чи-Тонгъ не знаетъ ни одного иностраннаго языка и не скрываетъ своей непріязни къ европейцамъ. Онъ хочетъ заимствовать науку и технику отъ европейцевъ и затѣмъ по возможности отъ нихъ избавиться. Патриотъ и крайній націоналистъ, онъ вѣритъ въ конечное торжество Китая и мечтаетъ о полномъ реваншѣ, строя для того планъ за планомъ, одинъ другого фантастичнѣе. Надо помнить, что interview происходило въ разгаръ борьбы въ сѣверномъ Китаѣ.

Убѣжденный въ превосходствѣ военныхъ силъ Запада, Чанъ-Чи-Тонгъ не принялъ участія въ этой борьбѣ, хотя, какъ патриотъ, скорбѣлъ и болѣлъ душою при видѣ бѣдствій и униженій, постигшихъ страну. Онъ сохранилъ спокойствіе въ обширномъ краѣ, ему подчиненномъ, не допустилъ нападеній на европейцевъ и христіанъ и сберегъ отъ разгрома свой армейскій корпусъ. Сберегъ его, конечно, не ради прекрасныхъ глазъ далекой Европы. Никакъ не для нея, а противъ нея. Надо къ этому прибавить, что Чанъ-Чи-Тонгъ, сначала глубоко возбужденный противъ Японіи, затѣмъ постепенно оставилъ мысль о реваншѣ въ эту сторону и вступилъ въ тѣсныя сношенія съ государственными людьми Японіи. Его посѣтилъ маркизъ Ито и, послѣ этого посѣщенія, Чанъ-Чи-Тонгъ сталъ направлять молодыхъ людей своего вицекоролевства въ Токио, въ университетъ, гдѣ они теперь стали считаться сотнями. Маркизъ Ито, недавно премьеръ японскаго министерства, является самымъ виднымъ представителемъ японскаго панмонголизма. Все это указываетъ на возможную значительную роль Чанъ-Чи-Тонга въ будущихъ судьбахъ Небесной имперіи.

Въ „Revue Bleue“ находимъ интересную, но слишкомъ подробную характеристику этого китайскаго Бисмарка in spe. Читатели не посѣтуютъ, если къ краткой характеристикѣ Гастона Доннэ, мы прибавимъ нѣсколько чертъ изъ характеристики въ „Revue Bleue“, данной Огюстомъ Муаро; тоже знатокомъ дѣлъ Дальняго Востока. „Чанъ-Чи-Тонгъ не высокаго роста, съ мягкимъ голосомъ и любезными манерами, небольшою головою и чисто китайскими косо поставленными глазами. Широкій лобъ, прямой носъ и рѣдкая сѣдая борода дополняютъ этотъ портретъ. По наружности, по голосу, по жестикуляціи, онъ является прямою противоположностью своего стариннаго соперника, стараго Ли-Хунъ-Чана, этого гиганта съ громовымъ голосомъ, представляющаго въ своемъ родѣ также оригинальную и интересную фигуру со-

временнаго Китая“. Поэтъ и стилистъ, высоко цѣнимый всѣми *lettrés* Китая, Чанъ-Чи-Тонгъ на этомъ поприщѣ приобрѣлъ много поклонниковъ, но и много враговъ, благодаря его сатирическимъ произведеніямъ. На политическомъ поприщѣ онъ выдвинулся впервые въ 1879 году. Въ предыдущемъ году китайцы возстановили свою власть въ Кашгаріи и, на основаніи даннаго раньше обѣщанія, обратились къ русскому правительству съ приглашеніемъ возвратить Кульджу. Для переговоровъ объ этомъ былъ посланъ въ Петербургъ Чанъ-Ху, который и заключилъ договоръ, по которому Россія возвращала городъ Кульджу и сѣверо-восточную часть провинціи, но удерживала юго-западную. Чанъ-Чи-Тонгъ былъ тогда цензоромъ (т. е. контролеромъ администраторовъ) и въ этомъ званіи представилъ правительству записку, рѣшительно протестовавшую противъ уступокъ и обвинявшую Чанъ-Ху въ измѣнѣ. Записка имѣла успѣхъ, трактатъ не былъ ратификованъ, а Чанъ-Ху приговоренъ къ смертной казни, отъ которой его избавило лишь энергическое заступничество Россіи. Маркизь Ценгъ заключилъ съ Россіей другой трактатъ, по которому территоріальныя уступки сведены къ совершенно незначительнымъ размѣрамъ, можно сказать формальнаго характера. Этотъ смѣлый патріотическій протестъ сразу прославилъ молодого мандарина, который въ 1882 году былъ назначенъ губернаторомъ провинціи Шанси, а въ 1884 году уже вице-королемъ „обѣихъ Гуанъ“ (по европейски Кантонскаго намѣстничества), откуда черезъ пять лѣтъ переведенъ вице-королемъ „обѣихъ Ху“, которыми и управляетъ уже тринадцать лѣтъ. Еще изъ Кантона передъ переводомъ его въ Хунань, Чанъ-Чи-Тонгъ подалъ правительству докладную записку о необходимости сооруженія желѣзныхъ дорогъ, но при этомъ настаивалъ, что строить надо безъ участія европейцевъ. Переведенный въ Хунань, онъ получилъ разрѣшеніе на сооруженіе линіи Ханькоу-Пекинъ и убилъ все свое огромное состояніе на этотъ опытъ постройки дороги безъ европейцевъ. Убѣдившись въ невозможности обойтись безъ европейскихъ техниковъ, онъ содѣйствовалъ концессіи бельгійцевъ на сооруженіе той же линіи и въ 1900 году сумѣлъ охранить отъ разрушенія произведенныя работы въ предѣлахъ своего намѣстничества. Однимъ изъ послѣднихъ значительныхъ шаговъ, сдѣланныхъ Чанъ-Чи-Тонгомъ, былъ протестъ, къ которому присоединился и Лю-Кунъ-И нанкинскій, противъ русско-китайской конвенціи о Маньчжуріи, заключенной Ли-Хунъ-Чангомъ; протестъ былъ уваженъ и конвенція не ратификована.

Ближайшія событія покажутъ, оцѣнитъ ли китайское правительство этотъ патріотизмъ вице-короля „обѣихъ Ху“ или, возстановивъ свой авторитетъ, припомнить ему его непослушаніе во время кризиса 1900 года.

III.

Въ отчетномъ мѣсяцѣ Германія, а за нею и весь цивилизованный міръ торжественно отпраздновали восьмидесятилѣтнюю годовщину жизни знаменитаго ученаго и дѣятеля Рудольфа Вирхова. Родившійся въ 1821 году въ Помераніи, Вирховъ окончилъ медицинскій факультетъ въ берлинскомъ университетѣ въ 1843 году. Четыре года онъ состоялъ преподавателемъ гимназій, не оставляя занятій медициной, такъ что уже въ 1846 г. могъ открыть въ берлинскомъ университетѣ курсъ патологической анатоміи, скоро привлекая вниманіе ученаго міра къ молодому лектору. Тогда же Вирховъ основалъ и теперь издающійся медицинскій журналъ „*Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie*“, внесшій новую свѣжую струю въ науку и помѣстившій не мало замѣчательныхъ специальныхъ работъ своего редактора. Творческій научный умъ, Вирховъ, однако, не былъ и не могъ быть, по своей отъзывчивой натурѣ, цеховымъ ученымъ. Германія въ то время переживала тяжелые годы, послѣдніе годы системы, наложенной Вѣнскимъ конгрессомъ, Меттерниховскимъ вліяніемъ, Священнымъ Союзомъ и прусскою казармою. Теперь мы знаемъ, что это были послѣдніе годы, но тогда мракъ казался безразсвѣтнымъ, гнетъ—безнадежно непоколебимымъ. Всѣ живыя, мыслящія и благородно чувствующія силы Германіи употребляли всѣ усилія, чтобы положить конецъ этому режиму, пагубно отражавшемуся на всѣхъ сторонахъ національной жизни, экономической, умственной, моральной. Зло было велико и не надо было щадить усилій и жертвъ для его устраненія. Вирховъ это признавалъ и смѣло примкнулъ къ оппозиціи. Это его дѣятельное участіе въ политическомъ движеніи стоило ему даже каѳѣдры въ берлинскомъ университетѣ. Онъ нашелъ пріютъ въ вюрцбургскомъ университетѣ и только въ 1855 году, черезъ семь лѣтъ, возвратился въ берлинскій уже прославленнымъ ученымъ. Но и теперь онъ остался вѣренъ своимъ идеаламъ и политическимъ убѣжденіямъ. Выбранный скоро отъ Берлина членомъ прусскаго парламента, Вирховъ съ его широкимъ образованіемъ, нравственнымъ авторитетомъ и логическою рѣчью занялъ мѣсто признаннаго вождя прогрессистской партіи, добивавшейся демократизаціи учреждений и полнаго осуществленія парламентарнаго режима. Клерикализмъ, въ то время царившій въ правящихъ сферахъ Берлина, милитаризмъ, никогда не покидающій этихъ сферъ, юнкерство, пробующее взять привилегію на патріотизмъ и за это требующее привилегій и субсидій, всѣ эти темныя силы тогдашней Пруссіи нашли въ Вирховѣ энергическаго и талантливаго противника. Ему же пришлось встрѣтить стойкою оппози-

цией и вступленіе во власть Бисмарка, котораго онъ долго держалъ въ меньшинствѣ въ парламентѣ. Событія 1866 г. лишили Вирхова многихъ сторонниковъ, увлеченныхъ триумфами Бисмарка. Событія 1870—1871 гг. только усилили это передвиженіе слѣва направо, но не увлекли стойкаго и вѣрнаго въ своихъ убѣжденіяхъ и идеалахъ знаменитаго ученаго и славнаго политическаго дѣятеля. До конца своей политической карьеры онъ оставался вѣренъ принципамъ свободы, народнаго управленія, свободной торговли, солидарности народовъ и международнаго мира и врагомъ клерикализма, милитаризма, націонализма и всякой между-человѣческой и международной нетерпимости и исключительности. Преклонные годы заставили его оставить дѣятельное участіе въ политической жизни страны, но его огромный нравственный авторитетъ продолжаетъ служить дѣлу прогресса, братства и правды. Вирховъ могъ ошибаться. Исторія его опередила, и онъ не все понималъ въ этомъ ея ускоренномъ ходѣ. Тѣмъ не менѣе, и въ ошибкахъ своихъ, и въ невольной отсталости, онъ оставался вѣренъ принципамъ широкой терпимости и среди современныхъ политическихъ дѣятелей Европы представляетъ одну изъ самыхъ благородныхъ и симпатичныхъ фигуръ. Здѣсь не мѣсто оцѣнивать его громадныя научныя заслуги, сдѣлавшія имя его славнымъ и знаменитымъ всюду, куда проникло европейское образованіе, но не мѣшаетъ здѣсь вспомнить о его заслугахъ, какъ вѣрнаго и отзывчиваго слуги своей родины, много содѣйствовавшаго просвѣтлѣнію ея сознанія и проясненію ея атмосферы отъ тумановъ и тучъ, оставленныхъ тяжелымъ прошлымъ. Эта его плодотворная дѣятельность, конечно, до извѣстной степени отрывала его отъ научныхъ занятій, но честь и слава великому ученому, который не побоялся принести эту великую жертву на пользу страждущаго и обремененнаго человѣчества!..

Въ теченіе отчетнаго мѣсяца въ Любекѣ засѣдалъ конгрессъ делегатовъ германской социалистической партіи. Гвоздемъ конгресса былъ вопросъ о „диссидентѣ“ Эдуардѣ Бернштейнѣ. Одинъ изъ столповъ научнаго социализма школы Маркса и Энгельса, Эдуардъ Бернштейнъ мало-по-малу сталъ отдаляться отъ доктрины. Еще въ началѣ прошлаго десятилѣтія онъ выступилъ съ рядомъ статей, въ которыхъ сначала очень осторожно, потомъ все смѣлѣе критиковалъ отдѣльныя составныя части доктрины марксизма. Статьи эти вызвали горячій отпоръ, особенно со стороны Кауцкаго, который первый взялъ на себя роль борца за чистоту доктрины противъ новаго теченія, ополчившагося и на научную, и на философскую сторону ученія. Сомнѣнія въ трудовой теоріи цѣнности были атакою противъ научной стороны, впрочемъ, робкою, нерѣшительною и слабою, не поколебавшею серьезно теоремы Рикардо, развитой и обработанной Марксомъ. Гораздо серьезнѣе были его нападки на философскую

сторону доктрины. Отрицая неизбежность третьяго фазиса марксовской формулы экономической эволюции, Эдуардъ Бернштейнъ совѣтуетъ рабочимъ не ожидать социализаціи путемъ предвидимой Марксомъ экспропріаціи экспропріаторовъ, когда ростъ постоянного капитала на счетъ переменнаго доведетъ размѣръ прибавочной цѣнности (а, слѣдовательно, и прибыли) до *minimum'a*, непривлекательнаго хозяевамъ. Рабочіе лучше сдѣлаютъ, по мнѣнію Бернштейна, если, не полагаясь на эту теоретическую формулу и ея предсказанія, будутъ разсчитывать только на собственные силы и на такія преобразованія, которыхъ добьются собственной дѣятельностью на основѣ практической демократической программы. Рѣзкія нападки со стороны социалистическихъ писателей, вызванныя его книгой, заставили Бернштейна обратиться съ протестомъ къ прошлому социалистическому конгрессу, заседавшему въ 1899 году въ Ганноверѣ. Самъ Бернштейнъ, въ то время эмигрантъ, не могъ быть на конгрессѣ, который не постановилъ опредѣленнаго рѣшенія. Теперь Бернштейнъ амнистированъ и лично явился на конгрессъ въ Любекъ, предварительно значительно обостривъ положеніе рѣчами и заявлениями, особенно лекціей берлинскимъ студентамъ о значеніи и содержаніи научнаго социализма. Эта лекція произвела большое впечатлѣніе, и главарі партіи сочли нужнымъ выступить противъ „диссидента“. Выступилъ, между прочимъ, и весьма рѣзко самъ Бебель. Бернштейнъ отвѣтилъ и тоже въ выраженіяхъ довольно рѣшительныхъ. Онъ отстаиваетъ право свободной критики доктрины научнаго социализма. Онъ признаетъ, что отвергаетъ теорію предвидимаго конечнаго исхода, но тѣмъ сильнѣе одобряетъ практическую дѣятельность и не считаетъ себя отдѣлившимся отъ партіи. Этимъ закончилась литературная полемика и въ такомъ видѣ обостряло дѣло, когда оно предстало на судъ любекскаго конгресса въ присутствіи самого обвиняемаго, избраннаго делегатомъ отъ социалистическихъ группъ въ Карлсруэ.

Дебаты открылись рѣчью Гейне, сторонника Бернштейна, делегата отъ Берлина (и члена рейхстага). Онъ заявляетъ, что не раздѣляетъ всѣхъ взглядовъ Бернштейна, но признаетъ за нимъ право имѣть и выражать свое собственное мнѣніе. Никто не имѣетъ права требовать отъ него молчанія. Научный социализмъ, это наслѣдіе Маркса, имѣетъ свою большую цѣнность, но опытъ жизни имѣетъ еще большую цѣнность. Для людей практическаго дѣла представляется весьма прискорбнымъ, что такіе люди, какъ Кауцкій и Бернштейнъ, вполнѣ солидарные на почвѣ практической программы, ведутъ между собою ожесточенную теоретическую борьбу. Ораторъ присутствовалъ на инкриминируемой лекціи Бернштейна и не вынесъ впечатлѣнія, чтобы лекторъ подкапывался подъ основы социализма. Виноваты во всемъ христіанскіе социалисты, которые хвалятъ идеи Бернштейна и тѣмъ все

ляютъ къ нимъ недовѣріе. Онъ указываетъ при этомъ на Зингера и протестуетъ противъ рѣзкостей Бебеля. Эти теоретическія разногласія не имѣютъ большого значенія; надо обратиться къ практикѣ, которая всѣхъ объединяетъ, тогда какъ теорія разъединяетъ.

Вторымъ говоритъ Граднауэръ, редакторъ „Vorwärts'a“. Онъ сначала возражалъ Бебелю, обвинявшему „Vorwärts“ въ пристрастіи къ Бернштейну. „Vorwärts“,—сказалъ Граднауэръ,—есть органъ всей партіи, а не какой-либо ея фракціи. Онъ, впрочемъ, находитъ обсуждаемую рѣчь Бернштейна неосторожною и неудачною, но обвиненія, противъ него выставленныя, находитъ неумѣренными и преувеличенными.

Этимъ закончилось первое засѣданіе конгресса по дѣлу Эдуарда Бернштейна. Второе открылось рѣчью Бебеля. Онъ упрекаетъ Бернштейна, прежде всего, въ томъ, что отвлекается къ мелочамъ отъ существеннаго. Его идеи крайне сбивчивы, представляя совершенный контрастъ логической ясности его воззрѣній въ прежнее время. Очень прискорбно, что долгое пребываніе въ Англіи такъ радикально преобразовало Бернштейна. Прежде только одинъ Фольмаръ собиралъ аплодисменты своихъ противниковъ. Нынѣ уже около полудюжины товарищей вступили на этотъ скользкій путь. Они не имѣютъ мужества отринуть эти компрометирующія похвалы. Недаромъ говорятъ, что канцлеръ Бюловъ сдѣлалъ искусный ходъ, амнистировавъ Бернштейна. „И въ самомъ дѣлѣ,—воскликнулъ Бебель,—не проходитъ дня, чтобы онъ не наносилъ вѣроломнаго удара социалистической программѣ. Я самъ признаю полезнымъ пересмотръ Эрфуртской программы, но пересмотръ лояльный, при помощи комиссіи, для того спеціально избранной. Если же разлагающая тактика Бернштейна одержала бы верхъ, это былъ бы конецъ социализму. Въ виду этого я предлагаю резолюцію и надѣюсь, что самъ Бернштейнъ ее подпишетъ, сознавъ свои прегрѣшенія. Тогда мы охотно протянемъ ему руку“. Резолюція, внесенная Бебелемъ, составлена въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

„Конгрессъ вполне признаетъ свободу критики въ интересахъ роста и развитія социалистическихъ идей, но критика, по преимуществу частная, Эдуарда Бернштейна въ теченіе нѣсколькихъ послѣднихъ лѣтъ, при его воздержаніи отъ критики буржуазнаго общества и его представителей, ставитъ его въ двусмысленное положеніе, въ виду чего конгрессъ, надѣясь, что Бернштейнъ сознаетъ свою ошибку и будетъ впредь поступать соотвѣтственно этому, переходитъ къ очередному вопросу“.

Бебелю отвѣчалъ самъ Бернштейнъ. Онъ не считаетъ предложенной Бебелемъ резолюціи за порицаніе себѣ. Тѣмъ не менѣе онъ проситъ конгрессъ ее отвергнуть, потому что онъ не знаетъ за собою никакой ошибки и считаетъ свою тактику правильною и согласною съ принципами партіи социалистической

которая может вполне доверять ему. Делегатъ Штадгагенъ находитъ формулу Бебеля слишкомъ умѣренной. Напротивъ, делегатъ Браунъ желаетъ ее смягчить. Поставленная на голоса резолюція Бебеля одобрена 203 голосами противъ 31. Бернштейнъ протестуетъ противъ этой несправедливости, но прибавляетъ, что „такъ какъ резолюція не заключаетъ въ себѣ порицанія, то онъ подчиняется рѣшенію большинства“. Чему, однако? Этотъ краткій отчетъ составленъ нами по корреспонденціямъ Temps, на которой и оставлялъ отвѣтственность за точность.

Не только въ центрахъ нашей цивилизаціи чувствуется указанный въ началѣ этой хроники расцвѣтъ націонализма и империализма. Порождаемые ими интриги отражаются въ настоящее время на самыхъ отдаленныхъ, казалось бы, забытыхъ уголкахъ земного шара. Соперничества, порождаемые эгоистическою политикою державъ, захватываютъ и вовлекаютъ во всемірную эволюцію порою такіа захолустья, которыя еще не видали европейца, но которыя уже проливаютъ кровь, европейскихъ видовъ ради. Такъ этимъ лѣтомъ шла кровопролитная война въ Неджедѣ, въ центральной Аравіи, куда еще не проникала нога европейца. Война, однако, велась, какъ плодъ англо-германскаго соперничества. Разскажемъ все по порядку.

„Ковейтъ, Кувейтъ или Куитъ“, точно не знаю, какъ его произносить, положимъ Ковейтъ—мѣстность въ сѣверо-западномъ углу Персидскаго залива. Здѣсь, въ нѣсколькихъ всего верстахъ къ югу отъ устья Шатъ-Эль-Араба (соединенныхъ Евфрата и Тигра) въ материкъ врѣзывается прекрасно защищенная, глубокая и обширная бухта (около 30 верстъ длиною и до 15 вв. въ наиболѣе широкой части). На этой бухтѣ лежитъ арабскій городъ съ населеніемъ 20,000 жителей, съ пустынною областью вокругъ, по которой кочуетъ еще около 10 тыс. бедуиновъ. Городъ, область и бухта носятъ названіе Ковейта. Управляетъ областью шейхъ Мубарекъ-Эль-Сагибъ, котораго турки называютъ каймакомомъ (губернаторомъ); англичане же величаютъ султаномъ, давая этимъ понять, что считаютъ его независимымъ, а область, городъ и бухту Ковейта не входящими въ составъ турецкой территоріи, неприкосновенность которой гарантирована парижскимъ трактатомъ 1856 года и подтверждена берлинскимъ трактатомъ 1878 года. Самъ Мубарекъ-Эль-Сагибъ былъ назначенъ султаномъ турецкимъ, какъ и его предшественникъ Могамедъ, такъ что доказывать независимость Ковейта вещь довольно трудная. Не для Чемберлена и его товарищей, конечно.

На возможное немаловажное значеніе бухты Ковейта англичане, со свойственною имъ дальновидностью, обратили вниманіе давно. Уже въ 1820 году, болѣе восьмидесяти лѣтъ тому назадъ, Англія учредила здѣсь консульство, но скоро вынуждена была упразднить вслѣдствіе враждебнаго настроенія населенія и от-

существованія англійской торговли. Въ девяностыхъ годахъ истекшаго вѣка Англія опять вспоминаетъ о бухтѣ Ковейтъ, приобрѣтшей громадное значеніе, благодаря проведенію нѣмцами желѣзной дороги Бейрутъ-Багдадъ (концессія султаномъ уже дана) съ продолженіемъ ея до береговъ Персидскаго залива. Лучшимъ конечнымъ пунктомъ этой дороги могли бы быть берега именно этой бухты. Къ тому же именно въ послѣднее десятилѣтіе XIX вѣка англійская торговля получила значительное развитіе въ Персидскомъ заливѣ. То обстоятельство, что въ Константинополѣ возоблагодало вліяніе германское, а въ Тегеранѣ русское, заставило Англію искать другихъ точекъ опоры въ Персидскомъ заливѣ. Укрѣпивъ свое вліяніе и почти протекторатъ у имама Маскатскаго на южномъ берегу Персидскаго залива и „арендуя“ у турокъ Бахрейнскіе острова, запирающіе входъ и выходъ залива, Англія рѣшилась распространить сферу своей мощи и на сѣверо-западъ залива, на Ковейтъ. Личность Мубарека-эль-Сагиба, жаднаго и честолюбиваго, но достаточно невѣжественнаго, чтобы не понимать международнаго значенія своего поведенія, оказалась очень пригодною для англійскихъ плановъ. Снабжая его средствами и оружіемъ и ограждая отъ вмѣшательства султана, англичане толкали его на путь отложенія отъ Турціи и созданія могущественнаго арабскаго государства, которое можно было бы противопоставить и туркамъ, и персамъ. Собравъ значительную армію и привлеки на свою сторону приверженцевъ претендента на престолъ Неджеда, Мубарекъ этой весной выступилъ въ походъ съ цѣлью завоеванія Неджеда, что сдѣлало бы его самымъ могущественнымъ владѣтельнымъ княземъ Аравіи. Принимая во вниманіе, что въ это самое время, не безъ содѣйствія Англіи, вспыхнуло возстаніе въ Іеменѣ, которое до сихъ поръ турками не подавлено, и что сосѣдній къ Неджеду и Іемену Гадрамаутъ находится подъ вліяніемъ Англіи, можно было ожидать, что утвержденіе Мубарека-эль-Сагиба въ Неджедѣ сдѣлаетъ его скорѣе единымъ властителемъ Аравіи и дозволитъ ему отнять у султана Меккѣ, вмѣстѣ съ достоинствомъ калифа. Такой аравійскій калифатъ подъ протекторатомъ Англіи былъ бы весьма вѣроятнымъ исходомъ удачнаго нашествія Мубарека-эль-Сагиба на Неджедъ и значительно развилъ бы могущество Англіи въ этихъ краяхъ и моряхъ. Индо-британское правительство почти не скрывало своего плана. Мубарекъ-эль-Сагибъ принялъ англійскаго агента, дозволилъ поднять англійскій флагъ и допустилъ присутствіе въ бухтѣ двухъ стаціонеровъ. Огражденный этими стаціонерами и еще болѣе того этимъ флагомъ (и, конечно, не подозревая значенія этого акта), Мубарекъ съ наилучшими надеждами выступилъ въ походъ. Многочисленное войско, отлично вооруженное и снабженное, выступающее противъ ничего не ожидающаго, разсѣяннаго и плохо вооруженнаго противника, кто же могъ ожидать неудачи? Ни Мубарекъ, ни Чемберленъ, ни Керзонъ (вице-король Индіи), ни другіе ихъ сотоварищи, не считающіеся

съ моральнымъ элементомъ борьбы. Не считались съ нимъ англичане въ Южной Африкѣ. Забыли о немъ и въ Аравіи. Убогіе дикари Неджеда имъ скоро напомнили объ этомъ. Начало похода было удачно. Взяты врасплохъ, обитатели Неджеда или покорялись или бѣжали въ пустыню. Самый крупный городъ страны, Эль-Ріадъ (35.000 жителей), открылъ ворота безъ сопротивленія. Давъ отдыхъ арміи въ этомъ городѣ, Мубарекъ двинулся къ столицѣ королевства Эль-Гандъ, но король Абдуль-ибнъ-Рашидъ успѣлъ собрать войско и вооружить жителей. Битва была кровопролитная и кончилась совершеннымъ истребленіемъ арміи Мубарека-эль-Сагиба, который едва самъ спасся и возвратился въ Ковейтъ всего съ нѣсколькими воинами.

Этотъ походъ Мубарека на Неджедъ, съ владѣтелемъ котораго Турція находилась въ мирѣ и дружбѣ (чѣмъ очень дорожила въ виду возмущенія въ Іеменѣ), вызвалъ сильное неудовольствіе въ Константинополѣ, откуда вали (генераль-губернаторъ) Бассараха, въ вѣдѣніи котораго находится все турецкое побережье Персидскаго залива, получилъ приказъ наказать своевольнаго и непокорнаго вассала. Съ этой цѣлью изъ Багдада было прислано въ Бассарахъ подкрѣпленіе подъ командою мушира (корпуснаго генерала) Ахмеда-Феци-паши съ приказаніемъ занять Ковейтъ, но когда авангардъ подъ начальствомъ Мохсана-паши приблизился къ бухтѣ, онъ увидѣлъ два англійскихъ военныхъ корабля на рейдѣ (крейсеръ *Маравонъ* и канонерка *Лавренсеи*), и получилъ предостереженіе отъ англійскаго командира не продолжать наступленія. Мохсанъ отошелъ къ Евфрату. 24-го августа попытка была возобновлена. Турецкій корветъ *Зогарфъ* съ десантомъ приблизился къ Ковейту съ тою же цѣлью его оккупировать, но и теперь англійскій командиръ объявилъ, что въ случаѣ попытки осуществитъ это намѣреніе, онъ откроетъ огонь и объявитъ Ковейтъ подъ англійскимъ протекторатомъ. *Зогарфъ* отошелъ въ устье Шатъ-эль-Араба и увѣдомилъ Порту о невозможности исполнить ея распоряженіе. Усиленіе войска въ Бассарахъ со стороны турокъ, а со стороны англичанъ появленіе третьяго военнаго судна въ Ковейтъ, именно *Сфинкса*, были ближайшими шагами спорящихъ сторонъ. вмѣстѣ съ тѣмъ, начались переговоры въ Константинополѣ. Скоро обнаружилось, что Турція не даромъ была такъ смѣла. За нею стояла Германія. Это заставило призадуматься и англичанъ, не пожелавшихъ еще болѣе обострять конфликтъ. Достигнуто временное соглашеніе, по которому Порты не будетъ покуда оккупировать Ковейтъ; англичане же заявляютъ, что не имѣли и не имѣютъ намѣренія подчинять Ковейтъ своему протекторату. Вопросъ о верховныхъ правахъ султана остается открытымъ. Турки желаютъ передать его на разрѣшеніе международнаго суда въ Гаагѣ: англичане уклоняются. Переговоры не кончены еще, но конфликта покамѣстъ избѣжать удалось.

С. Южиковъ.

Литература и жизнь.

Предисловіе А. Θ. Кони къ сочиненіямъ Горбунова.—«Отзвуки рассказовъ Горбунова» гр. Шереметева.—Нѣсколько словъ о «молодомъ Москвитянинѣ» и «Русскомъ Собраніи».

Г. Марксъ издалъ двухтомное собраніе сочиненій покойнаго Горбунова подъ редакціей и съ предисловіемъ А. Θ. Кони. Графъ П. Шереметевъ издалъ „Отзвуки рассказовъ Горбунова“. На оберткѣ этой книги напечатано объявленіе отъ комиссіи, образованной при Императорскомъ Обществѣ Любителей Древней Письменности специально для изданія сочиненій Горбунова, первый томъ которыхъ выйдетъ въ будущемъ 1902 году. Не слишкомъ ли много Горбунова?

Я имѣлъ неосторожность добросовѣстно прочитать все обширное предисловіе г-на Кони къ изданію г. Маркса (116 стр. мелкаго шрифта), и когда потомъ приступилъ къ произведеніямъ самого Горбунова, то постоянно наталкивался на досадную мысль: да вѣдь это я сейчасъ читалъ! Дѣло въ томъ, что, смакуя каждую сценку, каждое „словечко“ талантливаго рассказчика, г. Кони, если позволительно такъ выразиться, всего его высосалъ. А нѣкоторые рассказы онъ пересказываетъ даже по нѣскольку разъ (см., напримѣръ, и безъ того, кажется, очень извѣстный рассказъ о томъ, какъ портной собирался на воздушномъ шарѣ летѣть, на стр. 27—28, 50, 62). Но вотъ вы прочли предисловіе г. Кони, прочли затѣмъ, конечно, уже не съ такимъ свѣжимъ впечатлѣніемъ самого Горбунова въ изданіи г. Маркса и обращаетесь къ „Отзвукамъ“ гр. Шереметева. Здѣсь вы опять встрѣчаетесь все съ тѣми же рассказами, натыкаясь, однако, на излишество новаго рода: къ каждому рассказу, сценкѣ, отдѣльному словечку, имѣется примѣчаніе: „Слышалъ лично“; „см. „Собраніе сочиненій И. Θ. Горбунова, Спб. 1883“; „Отъ гр. Д. С. Шереметева“; „Отъ С. Т. Филиппова“; „Варьянтъ къ записанному А. Θ. Кони“; „Слышалъ лично, нѣкоторыя мѣста дополнены М. А. Стаховичемъ“; „Отъ Н. П. Барсукова, слышавшаго это восклицаніе на юбилейномъ обѣдѣ А. Н. Майкова“, и т. д., и т. д. Такихъ примѣчаній ровно 100. Комиссія, образованная при Обществѣ любителей древней письменности для изданія сочиненій Горбунова (предсѣдателемъ ея состоитъ тотъ же гр. П. Шереметевъ) приглашаетъ лицъ, „чтущихъ память И. Θ. Горбунова“ присылать ей письма Горбунова, записи его рассказовъ „или хотя бы отдѣльных мѣткихъ выраженій“, воспоминанія о немъ. Очень можетъ быть поэтому, что въ это

изданіе войдутъ кое-какіе новые штришки въ родѣ „варьянтовъ къ записанному А. Θ. Кони“, но все-таки мы и тутъ прочтемъ и о томъ, какъ портной предполагалъ летѣть на воздушномъ шарѣ, и о томъ, какъ ямщикъ валилъ экипажъ „кажинный разъ на этомъ мѣстѣ“, и о томъ, какъ проводилъ свое утро квартальный, и проч. Все это будетъ, какъ обѣщаетъ коммиссія, снабжено многочисленными портретами и иллюстраціями работы гг. Рѣпина, В. Маковского, В. Васнецова, Богданова-Бѣльскаго и др. И опять невольно возникаетъ вопросъ: не слишкомъ ли много Горбунова?

Что касается до тщательныхъ комментаріевъ и внѣшней роскоши изданій, къ которымъ приложили руку почитатели Горбунова, то, конечно, дай Богъ, всякому, хотя немножко обидно за нашихъ истинно великихъ писателей, изъ которыхъ ни одинъ до сихъ поръ такъ не изданъ. Но, признаюсь, въ этомъ пьедесталѣ, воздвигаемомъ для Горбунова г-мъ Кони и гр. Шереметевымъ, мнѣ чуетъ что-то слишкомъ искусственное, раздутое. Я не знаю, въ которомъ году вышло послѣднее передъ этими посмертными почестями изданіе рассказовъ Горбунова, а почитатели талантливаго рассказчика на этотъ счетъ разногласятъ. Гр. Шереметевъ ссылается въ своихъ примѣчаніяхъ на изданіе 1883 г., а г. Марксъ въ своемъ предисловіи „отъ издателя“ категорически говоритъ: „Послѣднее изданіе „сценъ и рассказовъ“ И. Θ. Горбунова, вышедшее въ 1881 г., далеко не обнимаетъ собою всего, что было написано высокоталантливымъ художникомъ, и онъ самъ передъ смертію началъ готовить матеріалы для новаго, болѣе полнаго изданія“. Какъ бы то ни было, мы около двадцати лѣтъ жили безъ новаго изданія, не ощущая, повидимому, чрезвычайнаго неудобства, и вдругъ—такъ много Горбунова сразу! При томъ не тотчасъ же послѣ его смерти, когда преувеличеніе значенія покойника такъ естественно, а черезъ шесть лѣтъ (Горбуновъ умеръ въ 1895 г.)...

Скажутъ, можетъ быть: предисловіе г-на Кони и комментаріи гр. Шереметева, конечно, объясняютъ эту, хотя бы запоздалую постановку пьедестала, „дабы всѣмъ видѣнъ былъ“ высокоталантливый художникъ. Я этого не думаю. Скорѣе даже наоборотъ. Г. Кони не только, какъ я позволилъ себѣ выразиться, высосалъ Горбунова въ своемъ предисловіи, но и разбавилъ его собственными разсужденіями, можетъ быть и очень хорошими, даже навѣрное прекрасными, но слишкомъ ужъ не подходящими, и тѣмъ самымъ обнаруживающими скудость идейнаго багажа рассказчика, хотя задачей г-на Кони было, напротивъ, показать обиліе и богатство этого багажа. Главный критическій приемъ г-на Кони состоитъ въ слѣдующемъ. Онъ ставитъ какое-нибудь совершенно безспорное положеніе и затѣмъ иллюстрируетъ его клочками изъ рассказовъ Горбунова, чѣмъ и доказываетъ, что означенное совершенно безспорное положеніе было покойному извѣстно. На-

примѣръ, г. Кони степенно излагаетъ: „Начатый великимъ Петромъ „смѣлый посѣвъ просвѣщеня“, воспѣтый Пушкинымъ, шелъ медленно, съ остановками, захватывая лишь высшіе классы общества, при чемъ имѣлись въ виду преимущественно служебныя цѣли. Настоящая систематическая забота о народномъ образованіи появляется у насъ лишь послѣ крымской войны, но и до сихъ поръ мы, по достигнутымъ въ этомъ отношеніи результатамъ, находимся почти наверху извѣстной выставочной пирамиды, изображавшей грамотность въ европейскихъ странахъ... (и т. д.)... Скупости въ просвѣщеніи массъ соотвѣтствовали, особливо подальше отъ столицъ, за немногими свѣтлыми исключеніями, самыя приемы преподаванія и слабое развитіе педагогической литературы, чрезвычайно затруднявшее попытки къ самообразованію“. Слѣдуетъ разсказъ Горбунова о диктовкѣ изъ исторіи мидянъ и объ учебникѣ математики Войтяховскаго. „Не любятъ—продолжаетъ затѣмъ г. Кони—чтенія книжекъ и въ томъ Замоскворѣчьи, нравы котораго записывалъ Горбуновъ“,—и опять клочки изъ разсказовъ Горбунова. „Если въ той средѣ, откуда беретъ свой матеріалъ Горбуновъ, неграмотность не составляетъ бѣды или не грозитъ особенными стѣсненіями въ жизни, то съ другой стороны безграмотность, какъ всякое полуобразование, съ увѣренностью въ себѣ и самодовольствіемъ выставляетъ себя на показъ“. И еще иллюстраціи изъ разсказовъ Горбунова. „Медленнымъ распространеніемъ образованія и даже грамотности объясняется взглядъ горбуновскихъ дѣйствующихъ лицъ на науку и на природу. Съ презрѣніемъ относятся они къ первой, съ ужасомъ—къ естественнымъ явленіямъ послѣдней“,—и опять клочки изъ Горбунова, и т. д., и т. д. Выходить, несмотря на серьезность тона, а отчасти, пожалуй, вслѣдствіе этой серьезности, немножко азбучно...

Попробуемъ взглянуть на одну какую-нибудь группу Горбуновскихъ иллюстрацій къ несомнѣннымъ истинамъ г-на Кони. Возьмемъ ту, которая призвана подтвердить не совсѣмъ удачно выраженную, но по существу вѣрную мысль о томъ, что „безграмотность, какъ всякое полуобразование, съ увѣренностью въ себѣ и самодовольствіемъ выставляетъ себя на показъ“. Къ удивленію, мысль эта подтверждается... вывѣсками въ такомъ родѣ: „Кофейная справомъ входа для купцовъ и дворянъ“; „Въ новъ открытая белая харчевня Русскій пиръ“; трагирь „Константинъ Нополь“; „Съ дозволенія правительства медицинской конторы засѣданія господъ врачей въ семъ залѣ отворяютъ кровь загра ничнымъ инструментомъ пъявочную, баночную и жильную, прическа невѣсть, бандо, стрижка волосъ, завивка и бритье и прочія принадлежности мужского туалета, по желанію на домъ по соглашенію экзаменованный фельдшерный мастеръ Ефимъ Филинжовъ и дергаетъ зубы“; „С.Петербургской колоніально-бакалей-

ный магазинъ съ продажью всѣхъ предметовъ химической лабораторіи и прочего“; „Постоялый дворъ и приемъ лавка съ продажей хомутовъ, веревокъ, кнутовъ и прочихъ съѣстныхъ припасовъ“; „Magazin mod e rob Moscou“. Къ этой коллекціи г. Кони прибавляетъ еще слѣдующее объявленіе: „Съ разрѣшенія начальства, въ непродолжительномъ времени пѣвцы братья Мельгуновы, изъ коихъ одна сестра, будутъ имѣть честь“ и т. д.

Что и говорить, — все это очень безграмотно. Но дѣйствительно ли видѣлъ Горбуновъ такіа вывѣски и объявленія или для краснаго словца присочинилъ къ нимъ что-нибудь отъ себя, а вся коллекція, предъявленная для иллюстраціи „полуобразованія, съ увѣренностью въ себѣ и самодовольствомъ выставляющаго себя на показъ“, — производитъ впечатлѣніе крайней скудости. По неволѣ думается: если на эту тему у Горбунова нѣтъ ничего, кромѣ безграмотныхъ вывѣсокъ, то не лучше ли для памяти покойнаго рассказчика было бы совсѣмъ ея не касаться? Въ самомъ дѣлѣ, такіе ли мы знаемъ результаты самоувѣреннаго и самодовольнаго полуобразованія! А эти бѣдныя экзаменованные фельдшерные мастера Ефимы Филипповы, владѣльцы трактировъ „Константинъ Нополь“ и т. п., — что, кромѣ мимолетной улыбки, могутъ они вызвать? И, конечно, самъ Горбуновъ никогда не придавалъ записаннымъ имъ курьезамъ или собственнаго издѣлія шуткамъ того значенія, которое имъ придаетъ авторъ предисловія къ его сочиненіямъ. Серьезно комментируя, напримѣръ, „пѣвцовъ братьевъ Мельгуновыхъ, изъ коихъ одна сестра“, г. Кони напоминаетъ мнѣ автора не такъ давно изданнаго учебника или руководства стилистики, который столь же серьезно утверждалъ ту несомнѣнную истину, что нельзя писать: „посылаю вамъ пять куръ, изъ коихъ одинъ пѣтухъ“...

Вообще въ предисловіи г-на Кони непріятно поражаетъ диспропорція между настоящимъ багажомъ Горбунова и комментаріями къ нему автора предисловія. Напримѣръ, по поводу трехъ-четыреухъ рассказовъ Горбунова, изъ которыхъ онъ особенно останавливается на „Воздушномъ шарѣ“ (какъ портной летѣлъ), г. Кони тревожитъ сочиненія Тарда, Сигеле, Густава Лебона, Альфреда Фуллѣ, Гауптмана, Л. Н. Толстого... Изъ веселаго рассказчика г. Кони непремѣнно хочетъ сдѣлать серьезнаго и глубокомысленнаго общественнаго дѣятеля, который будто бы *ridendo castigat mores*. Въ этомъ, кромѣ неудачнаго критическаго приѣма, главная ошибка г. Кони, находящаяся въ тѣсной связи съ другой, не менѣе явной ошибкой.

„Дѣлясь съ публикой своимъ творчествомъ, — говоритъ г. Кони, — Горбуновъ никогда, какъ и подобаетъ истинному художнику, не поддавался подъ ея подчасъ низменные вкусы. Онъ былъ правоописатель, но не льстецъ своихъ слушателей, не слуга ихъ

измѣнчивыхъ и преходящихъ вкусовъ, не соискатель дешеваго успѣха дешевыми и не всегда опрятными средствами“.

Говоря о недавнемъ покойникѣ, я, по очень естественнымъ соображеніямъ, устраняю всякую мысль о „поддѣлкѣ подъ низменные вкусы“ и „не всегда опрятныхъ средствахъ“. Но, спрашивается, въ виду крайняго разнообразія своихъ аудиторій, могъ ли Горбуновъ не принимать въ соображеніе этого разнообразія? Изъ его воспоминаній видно, что онъ читалъ свои рассказы въ салонѣ графини Нессельроде, въ присутствіи грознаго московскаго генераль-губернатора гр. Закревскаго, у великаго князя Константина Николаевича, у именитыхъ московскихъ купцовъ, въ петербургскомъ „вышемъ свѣтѣ“, въ кругу своего брата—артистовъ и нашего брата—писателей. Гр. Шереметевъ говоритъ, что егò „очень любилъ слушать покойный Государь Александръ II“. Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ сообщаетъ тотъ же гр. Шереметевъ, „въ неописанный восторгъ“ приходилъ и Герценъ въ Лондонѣ. Я знаю одну частную гимназію, въ день годичнаго акта которой, послѣ оффиціального торжества, Горбуновъ всегда что-нибудь рассказывалъ воспитанникамъ старшихъ классовъ. Однажды въ Москвѣ въ великомъ посту (который Горбуновъ обыкновенно проводилъ въ Москвѣ) мнѣ случилось завтракать съ Г. И. Успенскимъ въ „Славянскомъ Базарѣ“. Горбуновъ подѣлалъ къ намъ и смѣшилъ насъ въ теченіе минутъ двадцати, потомъ перешелъ къ другому столику, потомъ къ третьему и смѣхъ переходилъ вслѣдъ за нимъ, а публика въ огромномъ залѣ „Славянскаго Базара“ была самая разнообразная. Кстати, я лично долженъ признаться въ своей невоспримчивости и толстокожести: ничего, кромѣ веселаго смѣха, слышанные мною рассказы Горбунова во мнѣ не возбуждали. Утѣшаю себя тѣмъ, что я, повидимому, не составляю исключенія, ну, а на людяхъ и смерть красна. Гр. П. Шереметевъ, не менѣе г-на Кони преклоняющійся передъ талантомъ Горбунова, но смотрящій на дѣятельность покойнаго гораздо проще, эпиграфомъ къ своимъ „Отзвукамъ“ взялъ слова кн. Вяземскаго: „Пушкинъ неизмѣнно въ теченіе всей своей жизни утверждалъ, что все, что возбуждаетъ смѣхъ,—позволительно и здорово“. И, въ согласіи съ этимъ эпиграфомъ, гр. Шереметевъ сообщаетъ только такіе факты: „Взрывъ хохота былъ отвѣтомъ на это (намъ теперь все равно какое именно. Н. М.). напоминаніе“. Или: „Не могу не вспомнить здѣсь, какъ сочувственно отзывался Соловьевъ (Владиміръ) о талантѣ Горбунова и какъ смѣялся своимъ высокимъ звонкимъ смѣхомъ, который и посейчасъ стоитъ въ ушахъ, даже при моихъ слабыхъ попыткахъ читать вслухъ рассказы Горбунова“. Или еще: „Государь (Александръ II) въ тотъ вечеръ былъ въ дурномъ расположеніи духа, но когда вышелъ Горбуновъ, онъ внезапно оживился, наслаждался рассказами и отъ души смѣялся“.

Интересно слѣдующее сообщеніе гр. Шереметева, очевидно, много и при разныхъ обстоятельствахъ слышавшаго Горбунова: „Можно сказать съ увѣренностью, что онъ много зависѣлъ отъ аудиторіи и не разъ замѣчалось, что если онъ видѣлъ, что аудиторія не та, или есть кто-нибудь, вносящій холодъ, или вообще настроеніе не то, онъ совсѣмъ иначе рассказывалъ или даже умодкалъ... Онъ замѣчательно былъ чутокъ въ пониманіи той среды, которая его слушала, а потому для болѣе широкаго круга и болѣе тѣснаго у него была огромная разница“. Это вполне естественно. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, то же и такъ же рассказывать въ великосвѣтскомъ салонѣ и на пріятельской пирушкѣ въ кругу писателей или артистовъ, Герцену и гимназистамъ, великому князю и московскому купцу. Напримѣръ, у Горбунова было много, такъ называемыхъ, „нецензурныхъ“ въ специальномъ смыслѣ слова рассказовъ, рассказовъ „не для дамъ“. Не во всякомъ же обществѣ онъ ихъ изображалъ. Но и кромѣ этого specialнаго случая, несомнѣнно у Горбунова были рассказы, приуроченные къ такой-то аудиторіи и совершенно неудобные для другой. Гр. Шереметевъ сообщаетъ, между прочимъ, слѣдующій „любопытный *обрывокъ* изъ разговора министра:—Я вамъ *дѣло* говорю, а вы мнѣ все *законы тычете*“. Одно изъ двухъ: или это злое слово не могло быть сказано въ присутствіи людей высокопоставленныхъ, или же (такъ какъ оно составляетъ „обрывокъ“) оно было подано подъ благодушно-смѣхотворнымъ соусомъ и потому никакого министра не задѣвало.

Къ сочиненіямъ Горбунова, кромѣ предисловія издателя и г-на Кони, приложена некрологическая замѣтка тоже нынѣ уже покойнаго Т. И. Филиппова. Смерть Горбунова всколыхнула въ памяти Филиппова дни давно прошедшей молодости, когда они впервые сблизились; онъ не сомнѣвался, что вѣсть объ этой смерти „пронесется по всей Россіи до отдаленнѣйшихъ ея концовъ и вызоветъ всюду искреннюю печаль объ утратѣ высокаго художника родного слова и неподражаемаго живописца быта и нравовъ всѣхъ слоевъ русскаго народа“. „Но,—продолжаетъ онъ,—мои особенныя отношенія къ почившему не дозволяютъ мнѣ молча проводить его въ могилу и повелительно требуютъ слова. Какъ свидѣтель всего пройденнаго имъ пути, какъ послѣдній за его смертью членъ того литературнаго кружка „молодого Москвитянина“, въ которомъ онъ получилъ свое художественное воспитаніе, я погрѣшилъ бы и противъ его братской ко мнѣ дружбы, и противъ его близкихъ и почитателей, если бы въ минуту земной съ нимъ разлуки остался безмолвнымъ и не послалъ бы ему прощальнаго привѣта“. Такимъ образомъ, некрологическая замѣтка Филиппова есть вѣнокъ на свѣжую могилу талантливаго друга, вмѣстѣ съ которымъ былъ пережитъ *âge des fleurs et du soleil*. Преувеличенія въ такого рода произведеніяхъ такъ же естественны, какъ и ихъ

трогательность. И, подъ впечатлѣніемъ этого прочувствованнаго слова, въ ту минуту, и именно на эту минуту, могло показаться, что мы въ самомъ дѣлѣ потеряли не только талантливаго веселаго рассказчика, а и общественнаго дѣятеля въ гораздо болѣе широкомъ смыслѣ этого слова.

„Между произведеніями зрѣлой поры Горбунова,—писалъ Филипповъ,—внимательный взоръ можетъ отмѣтить не мало такихъ, которымъ, сверхъ ихъ художественнаго совершенства, нельзя отказать и въ важномъ общественномъ значеніи. Напримѣръ, когда бѣднягу портного изъ Гусева переулка взяли въ участокъ за его невинное намѣреніе летѣть съ нѣмцемъ въ воздушномъ шарѣ и когда изъ народа раздается голосъ: „и какъ это возможно безъ начальства летѣть?“—мысль не останавливается на забавномъ смыслѣ этого частнаго случая, но простирается далѣе его, къ болѣе важнымъ общественнымъ явленіямъ. Разсказъ о засѣданіи „Общества прикосновенія къ чужой собственности“, вмѣстѣ съ взрывомъ неудержимаго хохота вызываетъ (увы! вызывалъ), и взрывъ негодованія и унынія своимъ сходствомъ съ дѣйствительными нравами нашихъ общественныхъ дѣятелей, которые ни мало не стѣсняются тѣмъ, что „грабить не приказано“. Разсказъ о „кражѣ брюкъ“ есть правдивое и живое изображеніе изнанки быта судебныхъ учреждений, взывающее объ исправленіи зла“.

Эту то общую мысль Филиппова г. Кони и положилъ въ основаніе своего обширнаго предисловія, не миновавъ даже и тѣхъ трехъ разсказовъ, на которые указалъ Филипповъ. Но Филиппову могли, въ его особенномъ положеніи, слышаться „взрывы негодованія и унынія“ по поводу тѣхъ или другихъ нашихъ порядковъ или не порядковъ, освѣщенныхъ разсказами Горбунова, а въ дѣйствительности то слышалъ ли ихъ кто-нибудь? „Взрывы неудержимаго хохота“—другое дѣло. Но смѣхъ смѣху рознь. Смѣхъ Го-голя или Салтыкова далеко не всѣмъ нравился, а вызывалъ, напротивъ, временами неистовую ненависть. Горбуновъ же былъ желаннымъ гостемъ вездѣ, онъ былъ всероссійскимъ и всесловнымъ любимцемъ, именно потому, что вызывалъ смѣхъ „позволительный“ (см. эпиграфъ къ „Отзвукамъ“ гр. Шереметева). Читаетъ онъ, напримѣръ, въ присутствіи московскаго генераль-губернатора, грознаго гр. Закревскаго, разсказъ „Утро квартальнаго надзирателя“, въ которомъ квартальный оказывается грубымъ, самовластнымъ взяточникомъ. Казалось бы, въ высшемъ начальникѣ этого квартальнаго разсказъ долженъ бы былъ, если не вызвать „взрыва негодованія и унынія“, то хотя „вызвать объ исправленіи зла“. Ничуть не бывало,—грозный графъ только смѣется, какъ смѣется и всякій маленькій обыватель, быть можетъ, терпящій обиду отъ этого самаго квартальнаго. Такъ „позволительно“ умѣлъ смѣшить Горбуновъ. Въ томъ то и дѣло, что

даже самую возмутительную картину онъ умѣлъ предъявить такъ, что она возбуждала только веселый смѣхъ.

И г. Кони, и гр. Шереметевъ отчасти справедливо говорятъ, что только слышавшіе Горбунова могутъ дать настоящую цѣну его таланту и что смерть навсегда стерла эту страницу исторіи русскаго искусства. Только напрасно г. Кони тревожить по этому поводу память Кина, Гаррика, Тальмы и другихъ великихъ актеровъ, которые, дескать, въ свое время потрясали сердца современниковъ, а послѣдующимъ поколѣніямъ отъ нихъ ничего не осталось. Въ этомъ дѣйствительно заключается печальная для актера разница между его судьбою и судьбою поэта или писателя вообще, живописца, архитектора, скульптора, а съ изобрѣтеніемъ фонографа до извѣстной степени и пѣвца, и оратора. Но дѣло въ томъ, что, во-первыхъ, актеромъ Горбуновъ былъ весьма посредственнымъ (что признаетъ, кажется, и г. Кони), а во-вторыхъ, мы имѣемъ его печатныя произведенія, имъ самимъ или при его жизни изданныя и, слѣдовательно, нѣкоторое понятіе о его художественныхъ силахъ составить себѣ можемъ.

Вышеупомянутый рассказъ о квартальномъ надзирателѣ Филипповѣ называетъ „превосходнымъ, но немного грубоватымъ“. Въ дѣйствительности, на взглядъ безпристрастнаго читателя, онъ не „немного грубоватъ“, а прямо грубъ, и не „превосходенъ“, а просто плохъ. Къ сожалѣнію, онъ слишкомъ великъ, чтобы приводить его здѣсь, но вотъ одинъ изъ однородныхъ съ нимъ, но маленькихъ рассказовъ—„У пушки“:

- Ребята, вотъ такъ пушка!
- Да!..
- Ужъ очень, сейчасъ умереть, большая!..
- Большая!
- А что, ежели теперича эту самую пушку, къ примѣру, зарядить да пальнуть...
- Да!
- Особливо, ядромъ зарядить.
- Ядромъ ловко, а ежели бонбой, ребята,—лучше.
- Нѣтъ, ядромъ лучше!
- Да бонбой дальше.
- Все одно, что ядро, что бонба!
- О, дуракъ—чортъ! Чай ядро особъ статья, а бонба особъ статья!
- Ну, что врешь-то!
- Вѣстимо! ядро теперича зарядятъ, прижгутъ: оно и летить.
- А бонба?
- Чаво бонба?
- Ну, ты говоришь—ядро летить... а бонба?
- А бонба другое.
- Да чаво другое-то?
- Бонбу, ежели какъ ее вставить, такъ-то... туда...
- Такъ что же?
- Бонбу...
- Ну?
- Вставлять... и ежели оттеда...

— Чаво оттеда...

— Ничаго, а какъ собственно... пошлель къ чорту!

Смѣю думать, всякій, прочитавъ этотъ разсказъ, согласится со мной, что въ немъ нѣтъ ни содержанія, ни красоты формы, ни наблюдательности, ни знанія народа. Перечитывая сочиненія Горбунова, я по совершенно случайному поводу заглянулъ въ сочиненія Николая Успенскаго, писателя, выступившаго примѣрно въ одно время съ Горбуновымъ, но нынѣ совершенно забытаго—и напрасно. Есть у Николая Успенскаго разсказы и сцены очень грубые, но есть и такіе, которые и сравнивать нельзя даже съ лучшими разсказами Горбунова, а не только съ этой аляповатой „Пушкой“. А затѣмъ мнѣ припомнились и нѣкоторые другіе писатели конца пятидесятихъ и начала шестидесятихъ годовъ, у которыхъ—да простятъ мнѣ пламенные почитатели Горбунова—онъ недостойнъ развязать ремень у сапога, какъ художникъ, не говоря о другихъ сторонахъ дѣла. Но—*habent sua fata libelli*... Впрочемъ, въ данномъ случаѣ дѣло не въ книгахъ и не въ фатумѣ, олицетворяемомъ художественнымъ капризомъ гг. Маркса, Кони и Шереметева. Въ наслѣдіи Горбунова есть вещи гораздо болѣе тонкія, чѣмъ „Пушка“, но они всетаки, *какъ печатныя произведенія*, не выходятъ изъ предѣловъ посредственности, тогда какъ совсѣмъ плохіе разсказы въ родѣ „Утро квартальнаго надзирателя“, „Мастерового“, „У пушки“ и т. п. по крайней мѣрѣ заставляютъ *читателя* задуматься: что же тутъ хорошаго или даже просто смѣшнаго? Отвѣтъ на этотъ вопросъ и опредѣляетъ цѣну таланта Горбунова. Я не берусь судить о писаніяхъ Горбунова на старомъ русскомъ языкѣ XVII и XVIII столѣтія, которыя, говорятъ, соблазняли даже ученыхъ спеціалистовъ, все равно какъ его рѣчи на незнакомомъ ему англійскомъ языкѣ, въ которыхъ не было англійскихъ словъ, а были только англійскіе звуки, вводили, говорятъ, въ заблужденіе англичанъ. Дѣло тутъ было, во всякомъ случаѣ, въ его необыкновенной подражательной способности. А если прибавить столь же необыкновенную мимику лица и гибкость оттѣнковъ голоса, то станетъ понятно, почему такіе, въ чтеніи ни мало не остроумные и не смѣшные разсказы, какъ „У пушки“ и т. п., вызывали въ передачѣ самого автора „взрывы неудержимаго смѣха“.

Повторяю, у Горбунова есть сцены и разсказы, гораздо болѣе серьезные, болѣе остроумные и вообще несравненно лучшіе, чѣмъ „Пушка“ или „Квартальный надзиратель“. Я только хочу, по старинному выраженію, перегнуть лукъ въ другую сторону, потому что слишкомъ ужъ круто стянулъ его г. Кони тетивой своихъ собственныхъ, возвышенныхъ, хотя и довольно банальныхъ размышлений. Есть, однако, въ числѣ ихъ одно очень вѣрное замѣчаніе: въ разсказахъ Горбунова „нѣтъ дѣйствующихъ лицъ чужой національности, съ ихъ неправильнымъ и комиче-

скимъ выговоромъ русскихъ словъ, съ особенностями ихъ произношенія, съ ихъ жаргономъ“. Дѣйствительно, Горбуновъ никогда не унижался до такъ называемыхъ еврейскихъ, чухонскихъ, армянскихъ разсказовъ, хотя его необыкновенная подражательная способность и сулила ему именно въ этой области, правда, очень дешевые, но за то и обильные лавры. За то оговорки требуютъ другое по существу справедливое замѣчаніе г-на Кони. „Едва ли—говорить онъ—нужно напоминать разсказы Горбунова изъ купеческаго быта, изображающіе гульбу на ярмаркѣ въ Нижнемѣ, различныя семейныя сцены и т. п. Все это чрезвычайно характерно, выпукло, но, представляя разработку тѣхъ же типическихъ особенностей этого быта, которые такъ ярко очерчены въ комедіяхъ А. Н. Островскаго, не превосходятъ послѣднія ни по мастерству, ни по богатству оттѣнковъ и языку“... „Не превосходить“!.. Г. Кони очень снисходителенъ къ Островскому! Въ дѣйствительности всѣ этого рода произведенія Горбунова представляютъ собою блѣдныя варьяціи на темы Островскаго. И, конечно, покойный разсказчикъ, преисполненный искренняго и глубокаго уваженія къ покойному драматургу, самъ первый горячо протестовалъ бы противъ этого „не превосходить“...

Во второмъ томѣ сочиненій Горбунова есть не безынтересные „Отрывки изъ воспоминаній“. Къ сожалѣнію, въ этихъ воспоминаніяхъ не достаётъ момента, вѣроятно интереснѣйшаго изъ всей жизни Горбунова.—пребыванія въ кружкѣ такъ называемаго „молодого Москвитянина“. Ему посвящена всего одна страничка, на которой упоминаются Островскій, Писемскій, Эдельсонъ, Алмазовъ, Аполлонъ Григорьевъ. На собраніяхъ этого кружка, кромѣ того, „за душу хватала русская пѣсня въ неподражаемомъ исполненіи Т. И. Филиппова; ходенемъ ходила гитара въ рукахъ М. А. Стаховича; сплошной смѣхъ раздавался отъ разсказовъ Садовскаго; Римомъ вѣяло отъ итальянскихъ пѣсенокъ Рамазанова... Не пренебрегалъ этотъ кружокъ и дикимъ сыномъ степей, кровавымъ цыганомъ Антономъ Сергѣевичемъ, необыкновеннымъ гитаристомъ и купцомъ „изъ русскихъ“ Михайломъ Ефремовичемъ Соболевымъ, голосъ котораго не уступалъ пѣвцу Маріо“. Еще нѣсколько именъ,—и этимъ исчерпываются воспоминанія Горбунова о кружкѣ „молодого Москвитянина“, въ которомъ онъ получилъ свое художественное воспитаніе...

Не удивительно, что въ этихъ воспоминаніяхъ занимаютъ такое, на первый взглядъ, непропорціональное мѣсто пѣніе Филиппова, гитара Стаховича, пѣсни Рамазанова, цыгана Антона Сергѣевича и купца Соболева. Г. Барсуковъ въ своемъ безконечномъ сочиненіи „Жизнь и труды М. П. Погодина“ говоритъ,

между прочимъ: „Съ пѣсеннымъ богатствомъ русскаго народа членовъ кружка „молодого Москвитянина“ познакомилъ Т. И. Филипповъ. Собственно говоря, она, эта пѣсня, и была главною силою, постепенно слагавшею, вырабатывавшею и выяснявшею основное міровоззрѣніе кружка“ (XI, 61). До какой въ самомъ дѣлѣ степени пѣсня лежала, если не въ центрѣ, то въ исходной точкѣ міровоззрѣнія „молодой редакціи Москвитянина“, видно изъ слѣдующаго случая. Однажды Аполлонъ Григорьевъ, введенный въ кружокъ Филипповымъ, былъ на вечерѣ у Островскаго. Въ концѣ вечера попросили Филиппова спѣть, и „послѣ одушевленно пропѣтой имъ пѣсни, которая на всѣхъ произвела впечатлѣніе, Григорьевъ упалъ на колѣни и просилъ кружокъ усвоить его себѣ, такъ какъ въ его направленіи онъ видитъ правду, которой искалъ въ другихъ мѣстахъ и не находилъ, а потому былъ бы счастливъ, если бы ему позволили здѣсь бросить якорь“ (тамъ-же, 88). Разумѣется, при этомъ „было выпито“, но дѣло въ томъ, что, какъ писалъ потомъ самъ Григорьевъ, весь кружокъ былъ „молодой, смѣлый, пьяный, но честный и блестящій дарованіями“. Эта молодая, веселая и дѣйствительно талантливая банда, представлявшая собою отрогъ славянофильства, стояла, однако, особо и отъ старшихъ славянофиловъ съ одной стороны, и отъ Шевырева и Погодина, „подъ предводительствомъ“ котораго они выступали въ „Москвитянинѣ“—съ другой. Для первыхъ они были слишкомъ богема, слишкомъ „веселы“, для вторыхъ—слишкомъ искренни.

Началось дѣло съ пѣсней, но—говорить г. Барсуковъ—„открывая и бытовые особенности, и историческій складъ, и вѣковѣчные идеалы русскаго народа, та же пѣсня побудила членовъ кружка основательно взглянуть въ значеніе Петровской реформы, какъ бы разрѣзавшей всю историческую Русь пополамъ“. Положимъ, „основательности“ тутъ было не много, но за то молодого и „веселаго“ задора—больше чѣмъ нужно. Такъ введенный въ кружокъ Алмазовымъ его товарищъ по пансіону Зедергольмъ, впоследствии о. Климентъ Оптинскій, „тогда еще протестантъ, сынъ протестанскаго пастора, подъ вліяніемъ одной изъ бесѣдъ, вдругъ объявилъ, что для того, чтобы стать русскимъ, онъ непременно приметъ православіе, если только Филипповъ согласится быть его воспріемникомъ... Тотъ же Зедергольмъ, подъ вліяніемъ случайной рюмки вина, котораго онъ вообще никогда не пилъ, такъ увлекся въ одномъ разговорѣ негодованіемъ на Петра, что объявилъ, что убьетъ его, и при томъ разорвалъ свою студенческую фуражку“. (Барсуковъ, XI, 63). Цвѣтъ и краса кружка, художественная звѣзда первой величины, Островскій, до сближенія съ Филипповымъ, былъ ярый „западникъ“. Онъ говорилъ, что ему противенъ самый видъ Кремля съ его соборами и однажды огорчилъ Филиппова вопросомъ: „для чего здѣсь на-

строены эти пагоды?“ Но затѣмъ—повѣствуетъ Филипповъ—однажды „за пріятельской пирушкой“ Островскій провозгласилъ: „Съ Тертіемъ (Филипповымъ) да съ Провомъ (Садовскимъ) мы все Петрово дѣло назадъ повернемъ“. Эти молодыя благоглупости „за пріятельской пирушкой“, конечно, не замедлили соскочить съ Островскаго, да и огромный талантъ его, вопліи оцѣненный и „западниками“, не могъ засидѣться въ рамкахъ „молодого Москвитянина“. То же было и съ другими крупными талантами—Писемскимъ, Потѣхинымъ, для которыхъ журналъ Погодина былъ лишь временнымъ пристанищемъ, и Погодинъ, который въдобавокъ и не умѣлъ цѣнить своихъ безпутныхъ, но талантливыхъ сотрудниковъ, остался, наконецъ, въ положеніи рака на мели. Такъ навсегда и закрылась эта маленькая, но любопытная страничка изъ исторіи русской литературы.

Навсегда ли, впрочемъ, она закрылась?

Въ кружкѣ „молодой редакціи Москвитянина“ было много художниковъ—поэтовъ, пѣвцовъ, музыкантовъ, актеровъ и очень мало политиковъ въ широкомъ смыслѣ этого слова. Трудно поэтому съ достаточною ясностью формулировать его политическую программу, какъ нѣчто самостоятельное, отдѣльное отъ славянофильства. Если Островскій и общалъ „съ Тертіемъ да съ Провомъ все Петрово дѣло назадъ повернуть“, а Зедергольмъ даже убить Петра собирался, въ задатокъ чего разорвалъ свою студенческую фуражку, то вѣдь это, не смотря на всю энергію словъ и дѣйствій, еще не политическая программа. Едва ли не самое ясное и достовѣрное изложеніе пунктовъ сходства и различія между „молодымъ Москвитяниномъ“ и славянофилами находимъ въ письмѣ Ап. Григорьева къ Кошелеву, который приглашалъ его въ 1856 г. сотрудничать въ „Русской Бесѣдѣ“. Григорьевъ писалъ: „Главнымъ образомъ мы расходимся съ вами во взглядѣ на Искусство, которое для васъ имѣетъ значеніе только служебное, для насъ совершенно самостоятельное, если хотите, даже высшее, чѣмъ Наука... Въ ученіи о самостоятельности развитія, о непреложности Православія, мы (по крайней мѣрѣ, я лично) охотно признаемъ васъ старшими, а себя учениками.. Глубоко сочувствуя, какъ вы же, всему разноплеменному Славянскому, мы убѣждены только въ особенномъ превосходствѣ начала Велико-русскаго передъ прочими и, слѣдовательно, здѣсь болѣе исключительны, чѣмъ вы,—исключительны даже до нѣкоторой подозрительности, особенно въ отношеніи къ началамъ Ляхитскому и Хохлатскому. Убѣжденные, какъ вы же, что залогъ будущаго Россіи хранится только въ классахъ народа, сохранившаго вѣру, нравы, языкъ отцовъ, въ классахъ нетронутыхъ фальшею цивилизаціи,—мы не беремъ таковымъ исключительно *одно* крестьянство: въ классѣ среднемъ, промышленномъ, купеческомъ по преимуществу, видимъ старую, извѣчную Русь, съ ея дурнымъ и хо-

рошимъ, съ ея самобытностью и, пожалуй, съ ея подражательностью... Значить, здѣсь мы менѣе, чѣмъ вы, исключительны, коли хотите, менѣе, чѣмъ вы, цѣломудренны“. (Барсуковъ, XIV, 367). Какъ истый членъ редакціи „молодого Москвитянина“, Григорьевъ оканчиваетъ это изложеніе пунктовъ сходства и различія конкретнымъ примѣромъ изъ области искусства. Онъ отмѣчаетъ „*большее* сравнительно съ вами поклоненіе Пушкину и *меньшее* сравнительно съ вами же поклоненіе Гоголю“...

Я не имѣю въ виду подвергать эту программу разбору, но хочу отмѣтить въ ней одинъ пробѣлъ, повидимому, чрезвычайной важности. Прежде, чѣмъ приглашать Григорьева въ „Русскую Бесѣду“, Кошелевъ думалъ соединиться въ „Москвитянинѣ“ съ самимъ Погодинымъ, которому писалъ, между прочимъ, о „движеніи въ пользу возвращенія Русскому языку полнаго господства въ общественномъ и семейномъ быту. Также—продолжалъ онъ—толки въ пользу Русскаго платья, многихъ Русскихъ обычаевъ и пр. теперь, кажется, весьма своевременны и умѣстны. Объ этомъ предметѣ намъ необходимо потолковать и условиться. Можно дѣйствовать и чрезъ печать, и чрезъ рукописи“. Какое волненіе вызывалъ въ это время вопросъ о бородѣ и русскомъ платьѣ, видно изъ слѣдующаго букета, собраннаго г. Барсуковымъ:

„Склонность государя допустить Русское платье и бороду весьма обрадовала славянофиловъ. „Здѣсь всѣ радуются—писалъ Хомяковъ къ Гильфердингу—проявленію стремленія къ *народному* и *Русскому*. Не знаю, какъ въ Питерѣ. Освобожденіе отъ наружнаго подражанія важно, какъ знамя, вызывающее освобожденіе мысли отъ чужого авторитета, какъ вызовъ къ самомышленію. Въ добрый часъ молвить“. О томъ же писалъ Хомяковъ и А. Н. Попову: „Здѣсь всѣ радуются Русской одеждѣ или стремленію къ ней. Такъ ли у васъ въ Питерѣ? Даже прежніе враги Русскаго платья повеселѣли, какъ будто они сами его желали, да желать не смѣли“. И. С. Аксаковъ извѣщалъ своихъ родителей, что „камергерамъ и придворнымъ чинамъ даются какія-то богатая Русскія платья“. Въ другихъ своихъ письмахъ И. С. Аксаковъ писалъ: „Камергеровъ переименовываютъ въ стольниковъ, камеръ-юнкеровъ—въ ключниковъ“. „Придворныя новости—писалъ Погодину П. С. Савельевъ—состоятъ покуда только въ проектахъ новыхъ мундировъ. Придворнымъ чинамъ хотятъ дать боярскіе кафтаны и бобровыя шапки“... А. И. Кошелевъ съ торжествомъ извѣщаетъ Погодина о слѣдующемъ; „Скажу вамъ радость. Въ Сапожковскомъ уѣздѣ начинаютъ носить Русское платье. На дняхъ, на обѣдѣ, было семь, а въ будущую субботу должно быть за столомъ у насъ девять человекъ въ Русскихъ платьяхъ. Теперь въ Сапожковскомъ уѣздѣ надѣли Русское платье пять Кошелевыхъ, три Ивановскихъ, трое Протасовыхъ,

одинъ Колюбакинъ, всего двѣнадцать человѣкъ. Есть надежда, что эта мода перейдетъ и за границы Сапожковского уѣзда“. Супруга же А. И. Кошелева, Ольга Ѳедоровна, представила Погодину изъ Песочни цѣлое разсужденіе о необходимости облечься въ Русское платье... И. С. Аксаковъ спрашивалъ своихъ родителей: „Серьезно надѣваетъ Самаринъ Русское платье или такъ, чтобы иногда тѣшить себя дома? Видно приспѣваетъ время“.

Дѣло было въ 1855 и 1856 гг., когда еще гремѣли въ Севастополѣ пушки, а вступленіе на престолъ императора Александра II разстилало передъ русскими людьми далекія и свѣтлыя перспективы. И въ эти-то годы „приспѣло время“... для мурмолокъ и поддевокъ! Я отнюдь не хочу внушить читателямъ впечатлѣніе, будто славянофилы ни о чемъ, кромѣ боярскихъ кафтановъ и бобровыхъ шапокъ или переименованія камергеровъ въ стольниковъ, въ это тревожное время не думали. Приглашаю припомнить и то смягчающее обстоятельство, что въ царствованіе императора Николая I такъ называемое русское платье и борода подвергались гоненію. Но все-таки—*tant de bruit pour une omelette*, сказалъ бы французъ... И тѣмъ болѣе удивительны всѣ эти тревоженія, что, какъ сообщаетъ въ одномъ изъ своихъ писемъ Иванъ Аксаковъ, „въ отвѣтъ о бородѣ и Русскомъ платьѣ вообще“ новый государь отвѣтилъ словами, представляющими свою простоту рѣзкій контрастъ всѣмъ этимъ тревогамъ и восторгамъ: „А мнѣ какое дѣло? Пусть одѣваются, какъ хотятъ“. А когда ему предлагали дать дѣлу о бородѣ и русскомъ платьѣ оффиціальныя толчокъ и съ этою цѣлью представляли рисунки боярскихъ костюмовъ, онъ сказалъ, что теперь покуда онъ это дѣло отложить, но—прибавляетъ Аксаковъ уже собственную догадку—изъ всѣхъ словъ видно, что ему очень хочется ввести Русское платье“. Эта догадка, какъ извѣстно, не оправдалась—хотя П. С. Савельевъ и имѣлъ удовольствіе сообщить Погодину: „Л. А. Перовскій надѣлъ уже стрѣлковый кафтанъ, Русскіе сапоги и генеральскіе эполеты; впервые является при дворѣ русскій кафтанъ со звѣздами“. Во всякомъ случаѣ императоръ Александръ былъ глубоко правъ, когда говорилъ, что „покуда“ можно бы и отложить заботы о покрое платья. Въ самомъ дѣлѣ, до того ли, казалось бы, въ это горестное и вмѣстѣ радостное время было, чтобы принимать такъ близко къ сердцу вопросы о кафтанѣ или сюртукѣ, мурмолкѣ или шляпѣ. А между тѣмъ серьезныя люди волновались, скорбѣли, радовались, негодовали... И замѣчательно, что для практическаго рѣшенія этихъ столь волновавшихъ ихъ вопросовъ они ждали оффиціального толчка, хотя ничто не мѣшало имъ наряжаться по собственному вкусу. Оффиціального толчка не послѣдовало, и помѣщики Сапожковского уѣзда поснимали свои кафтаны и косоворотки, равно какъ и Хомяковъ, который *a bien mérité de la patrie* тѣмъ, что отва-

живался являться въ такомъ видѣ въ великосвѣтскихъ петербургскихъ салонахъ.

Такъ вотъ по этому-то важному вопросу мы и не находимъ никакихъ указаній въ письмѣ Аполлона Григорьева къ Кошелеву. Надо, однако, думать, что въ этомъ отношеніи существовала полная солидарность между „молодымъ Москвитяниномъ“ и „старшими славянофилами“. Принимая въ соображеніе преобладаніе художественнаго элемента въ кружкѣ молодой редакціи „Москвитянина“, слѣдуетъ предполагать, что онъ, этотъ кружокъ, съ еще большею пылкостью отстаивалъ права охабня и косоворотки.

„Молодой Москвитянинъ“ умеръ, распустившись по частямъ въ томъ самомъ „западничествѣ“, съ которымъ такъ пламенно сражался. Умерло и славянофильство, и клочья его когда-то гордаго знамени, истрепанные, загрязненные, переходя изъ рукъ въ руки, вѣютъ, наконецъ, надъ головами даже такихъ людей, какъ г. Шарамовъ или г. Комаровъ... Ихъ, пожалуй, и не мало, этихъ исправляющихъ должность старшихъ славянофиловъ и молодыхъ Москвитянъ. Но какъ все это мелко, не смотря на ходули, и блѣдно, не смотря на румяна!

Московское отдѣленіе славянскаго благотворительнаго общества послало на пражскій „слетъ соколовъ“ хоругвь и получило отъ пражскаго славянскаго общества благодарственное письмо, на которое отвѣчало слѣдующей телеграммой отъ 16 сентября:

«Славянство растетъ; оно становится все грознѣе своей громадностью, какъ надвигающаяся на горизонтъ туча. И со страхомъ глядятъ народы на эту тучу; съ трепетомъ ждутъ: чѣмъ-то разразится она: яркой молніей, сокрушающимъ громомъ или всеоживляющимъ дождемъ? Гроза вѣдь Божья благодать! Гроза гнилую сосну изломаетъ—и цѣлый боръ дремучій оживить. Пришла гроза,—все гнется. Но когда она прошла,—яснѣе небо, ярче солнце свѣтитъ и призываетъ къ обновленной жизни. Ярче заблещетъ зелень. Звонче побѣгутъ ручьи. Міръ оживляется. Много грозъ проносилось и пронеслось надъ славянствомъ, но каждая гроза оживляла его, — скрѣпляла прочнѣе узы братства, плотнѣй заставляла сдвигаться ряды. И все необоримѣй становилось славянство и выше! Вы, братья соколы, сумѣли соединиться на слетѣ въ силу грозную, братскую. И вотъ, когда, по примѣру вашего слета, мыслями и силами сольются всѣ славяне въ единой идеѣ—какъ оно было въ златой Прагѣ,—настанетъ золотое время славянства. Будемъ же съ сердцемъ трепетнымъ ждать оной минуты и будемъ постоянно стремиться и готовить ее. Такъ и будетъ. Хвала вамъ! На здарь!».

„На здарь!“ Но какою фальшью дышетъ эта заимствованная у старыхъ славянофиловъ риторика, и у нихъ то бывшая однимъ изъ слабыхъ мѣстъ. Бываетъ, конечно, гроза, послѣ которой и небо яснѣе, и зелень зеленѣе, и дышать легче, но историческія грозы бываютъ и иного характера. И хотъ „съ трепетомъ ждутъ народы“ грозы изъ славянской тучи, но вѣдь не Чингисханову же или Батыеву грозу, отъ косвеннаго, а частію и прямого наслѣдства которой мы до сихъ поръ не отдѣлались, пророчить сла-

вянское благотворительное общество. „Слетъ соколовъ“, не смотря на свое пышное названіе, есть, пока что, только сѣздъ гимнастическихъ обществъ. Допуская, что въ будущемъ чешскимъ „соколамъ“ предстоитъ сыграть важную политическую роль, думали-ли когда-нибудь члены московскаго отдѣленія славянскаго благотворительнаго общества о томъ, какъ можно и должно „подготовлять оную минуту“, и если думали, то что дѣлали для этого подготовленія? Хорошо ли, дурно ли то, что они въ этомъ направленіи дѣлали, но безъ этихъ дѣлъ всѣ ихъ „грозы“, „трепеты“, „сокрушающіе громы“ и проч.—только слова, слова, слова. Слова эти могутъ быть приняты въ серьезъ чехами, частью изъ политическихъ видовъ, частью по ихъ невѣжеству относительно нашихъ русскихъ дѣлъ, но у насъ они только смѣшны. И прежде, чѣмъ приводить въ трепетъ другіе народы или обѣщать имъ ниспроверженіе гнилыхъ сосенъ, не мѣшало бы о собственныхъ дѣлахъ позаботиться. А то, чего добраго, и въ „оную минуту“, если она когда-нибудь наступитъ, мы только „на здарь!“ прокричимъ. Ну-ка, господа славянскаго благотворительнаго общества, попробуйте „соединиться на слетѣ въ силу“, хотя бы и не очень грозную...

Не обходится у насъ нынѣ дѣло и безъ волненій по поводу охабней и косоворотокъ. Въ прошломъ году появились въ газетахъ сообщенія о какомъ-то обществѣ, имѣющемъ образоваться съ цѣлью именно пропаганды русскаго платья: вѣстовъ, сюртуковъ, фраковъ, пиджаковъ и проч. А въ нынѣшнемъ году объявилось и самое общество подъ названіемъ „Русское Собраніе“, имѣющее, впрочемъ, повидимому, болѣе широкія цѣли. Какія именно,—для меня не совсѣмъ ясно. Одинъ изъ учредителей общества, С. Н. Сыромѣтниковъ (Сигма), самимъ кн. Мещерскимъ одобренный, да и въ другихъ сферахъ, кажется, заслужившій одобреніе, издалъ книгу подъ заглавіемъ „Опыты, русской мысли“, снабдивъ ее такимъ посвященіемъ: „Русскому Собранію опыты эти съ надеждою приносить авторъ“. Что именно надѣется г. Сигма получить отъ „Русскаго Собранія“ или при его посредствѣ,—неизвѣстно, но я ожидалъ найти въ книгѣ что-нибудь разъясняющее цѣли „Русскаго Собранія“. Къ сожалѣнію, книга оказалась нѣкоторою умственной чехардою, которая, можетъ быть, и оправдываетъ надежды автора, но ровно ничего не объясняетъ. Знаю я, далѣе, статью А. В. Васильева въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“, съ великими, но тщетными усиліями разъясняющую первый параграфъ устава общества. Знаю и этотъ уставъ. Знаю изъ газетъ, что на обѣдненныхъ меню „Русскаго Собранія“ значится „зелено вино“, вина „ренскія и фряжскія“, „таймень ладожская“ съ „варяжской“ подливкой и т. п. Знаю кое-что изъ рѣчей, сказанныхъ въ „Русскомъ Собраніи“ недавно.

И только. Это очень немного, но постараюсь извлечь изъ этого немного, что съумѣю.

Уставъ общества гласить:

Ст. 1.

«Русское Собраніе» имѣетъ цѣлью содѣйствовать выясненію, укрѣпленію въ общественномъ сознаніи и проведенію въ жизнь исконныхъ творческихъ началъ и бытовыхъ особенностей русскаго народа.

Ст. 2.

«Русское Собраніе» ставитъ ближайшими задачами своей дѣятельности:

а) изученіе явленій русской и славянской народной жизни въ ея настоящемъ и прошломъ;

б) разработку вопросовъ русской и вообще славянской словесности, художествъ, народовѣдѣнія, права и народного хозяйства, а также изслѣдованіе всѣхъ другихъ проявленій русской и славянской духовной и обиходной самобытности;

в) охраненіе чистоты и правильности русской рѣчи.

Для достиженія этихъ цѣлей „Русскому Собранію“ предоставляется, между прочимъ, „основывать и содержать на средства Собранія книгохранилища и читальни, а также учрежденія, имѣющія цѣлью распространеніе русскаго зодчества, русской одежды, русской утвари и т. п.“.

Я полагаю, что господа учредители „Русскаго Собранія“, прежде чѣмъ основывать спеціальныя учрежденія для распространенія русскаго зодчества, русской одежды и проч., начнутъ съ себя самихъ. А. С. Суворинъ сломаетъ свой домъ въ Эртелевомъ переулкѣ и построитъ новый, поменьше, потому что русскаго зодчества къ этой махинѣ не приспособишь, и облачится въ парчевой боярский кафтанъ. И какъ къ нему будетъ идти этотъ живописный нарядъ! В. В. Комарову я предложилъ бы нарядиться Ильей Муромцемъ, какъ онъ изображенъ на картинѣ Васнецова: желѣзный шипакъ, кольчуга, мечъ-кладенецъ. Бѣлоснѣжную чистоту души В. Л. Величка символически прекрасно выразить бѣлоснѣжный костюмъ рынды. А С. Н. Сыромятникову я предложилъ бы цвѣтной кафтанъ земскаго ярыжки,—такой былъ въ древней Руси, до преобразованія полиціи на европейскій манеръ, слѣдовательно, соотвѣтствовавшій „исконнымъ творческимъ началамъ и бытовымъ особенностямъ русскаго народа“ полицейскій чинъ. „При процессіяхъ или поѣздахъ двора ярыжки шли впередъ съ лопатою и метлою, чтобы очищать путь, и могли брать подъ стражу нарушителей спокойствія“ („Русскій Энциклопедическій словарь“ Березина). Если меня спросятъ, почему я предлагаю г. Сигмъ именно этотъ костюмъ, то я укажу на стр. 14 его „Опытовъ русской мысли“, гдѣ доказывается, что мы должны поставлять въ Китай „урядниковъ, становыхъ и исправниковъ“, какъ насадителей порядка. Это то и навело меня на мысль о земскихъ ярыжкахъ.

Боюсь, однако, что мой проектъ не будетъ принятъ, что г. Суворинъ, пожалуй, еще одинъ этажъ воздвигнетъ на своемъ домѣ

и будетъ являться на обѣды „Русскаго Собранія“ въ обыкновеннѣйшемъ фракѣ; г. Сигма отвергнетъ кафтанъ земскаго ярыжки или, по крайней мѣрѣ, потребуетъ, чтобы буквы З. Я., которыя нашивались на груди ярыжки, были спороты,—онъ скромнѣе и предпочтетъ, пожалуй, инкогнито; на нарядъ Ильи Муромца, предоставленный мною г. Комарову, изъяснить претензію г. Н. Энгельгардтъ и т. п. Выйдутъ непріятности...

Да, непріятности возможны, въ особенности въ виду неясности и неопредѣленности выраженія „исконныя творческія начала“. Г. Васильевъ бился, бился надъ этими исконными творческими началами, подходилъ къ нимъ и такъ, и этакъ, и отъ писанія, и отъ преданія, и всетаки ничего опредѣленнаго не добился, кромѣ развѣ „народнаго строя одежды“. Передъ выше-упомянутымъ обѣдомъ съ „зеленымъ виномъ“, „ренскими и фряжскими винами“ и „варяжской“ подливкой, о. Г. Петровъ обратился къ собранію съ рѣчью, въ которой доказывалъ, что, „борясь на восточныхъ окраинахъ съ варварствомъ, Русь боролась и внутри себя съ варварствомъ, и ей не стыдно стать лицомъ къ лицу съ Европой“. „Англичанинъ Гоббсъ—продолжалъ о. Петровъ—закономъ жизни считаетъ войну всѣхъ противъ всѣхъ; у насъ въ селѣ Муромѣ родители Ильи Муромца, напутствуя его въ жизнь, говорятъ: „Не помысли злова на татарина, не убей въ чистомъ полѣ христіанина“. Выяснить вотъ эту глубину и красоту народнаго русскаго генія—великая задача“, способствовать рѣшенію которой ораторъ и рекомендуетъ „Русскому Собранію“.

О, если бы благодушный г. Петровъ оказался правъ!—правъ не относительно прошедшаго: тутъ онъ завѣдомо не правъ, ибо много и много грязи и крови уродуетъ „красоту и глубину народнаго русскаго генія“ въ исторіи. Но это прошлое, а кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ, и былъ молодцу не укоръ, но именно былъ, то есть то, что было, былое поросло и никогда не возродится. А можетъ ли г. Петровъ, положи руку на сердце, по совѣсти сказать, что даже члены-учредители „Русскаго Собранія“, напримѣръ, хоть газетовый бояринъ Суворинъ или желѣзный витязь Комаровъ, или бѣлоснѣжный рында Величко держатся въ настоящемъ и будутъ держаться въ будущемъ золотого правила родителей Ильи Муромца: „не помысли злова на татарина, не убей въ чистомъ полѣ христіанина“? Родители Ильи Муромца только и знали, что татаръ и христіанъ. Мы же научились различать—и даже слишкомъ различать—евреевъ, армянъ, поляковъ, финновъ. Все это были бы татары для родителей Ильи Муромца. И пусть же скажетъ о. Петровъ, что газетовый бояринъ „не помыслить злова на татарина“, да и на христіанина, то есть русскаго, не замахнется клеветой или подвохомъ. А бѣлоснѣжный рында? Я только что прочиталъ въ газетахъ слѣдующее сообщеніе изъ Москвы:

Вчера у мирового судьи тверского участка разбиралось театральное дѣло. Обвинялся студентъ Вартаньянцъ. Изъ обстоятельствъ дѣла выяснилось, что 2-го октября, въ Маломъ театрѣ, на второмъ представленіи пьесы г. Величко «Нефтяной фонтанъ», послѣ второго дѣйствія, поднялся шумъ, раздались крики, брань и сильный свистъ по адресу автора, такъ что потребовалось вмѣшательство полиціи. Нѣсколько человѣкъ, въ томъ числѣ и Вартаньянцъ, были удалены изъ театра. Обвиняемый объяснилъ, что онъ былъ возмущенъ анти-національными тенденціями пьесы, вслѣдствіе чего и выражалъ свое неодобреніе. Мировой судья, признавъ, что это объясненіе можетъ служить лишь смягченіемъ вины, но не оправданіемъ, приговорилъ Вартаньянца, на основаніи 39 ст. уст. о нак., къ штрафу въ 5 руб.

Пятирублевый штрафъ, можетъ быть, слишкомъ тяжелое наказаніе для бѣднаго студента, но нельзя все-таки не привѣтствовать мирового судью, который призналъ смягчающее вину подсудимаго обстоятельство въ содержаніи пьесы члена-учредителя „Русскаго Собранія“ бѣлоснѣжнаго рынды Величко. Позволительно думать, что самая затѣя „Русскаго Собранія“ идетъ какъ разъ въ разрѣзъ съ тѣмъ принципомъ, который желалъ бы вложить въ него о. Петровъ, и что учрежденіе это грозитъ намъ совсѣмъ не невинными охабнями, мурмолками и косоворотками, а новой тяжелой смутой. По поводу мерзостей, появившихся недавно въ „Гражданинѣ“, далеко, впрочемъ, не въ первый разъ, кн. Мещерскій былъ названъ въ печати провокаторомъ. И это вѣрно. И пора же, наконецъ, указать истинныхъ виновниковъ той смуты, въ которой гибнуть наши сыновья и дочери, наши младшіе братья и сестры,—виновниковъ, такъ беззастѣнчиво валящихся бѣду съ больной головы на здоровую...

Ник. Михайловскій.

Хроника внутренней жизни.

I. Изъ обывательской жизни.—Владивостокскій полицеймейстеръ и г. Ремезовъ.—Дѣло дворянъ Безмѣновыхъ.—Дѣло редактора «Дальняго Востока».—II. Порядки Астраханскаго реальнаго училища.—III. Правила объ общественныхъ работахъ въ пострадавшихъ отъ неурожая мѣстностяхъ.—Послѣднія распоряженія относительно печати.

I.

Не такъ давно въ различныхъ органахъ столичной прессы была перепечатана слѣдующая замѣтка изъ газеты „Владивостокъ“:

„Вслѣдствіе распространившихся по городу ложныхъ слуховъ считаемъ необходимымъ напечатать эту замѣтку, по заявленіямъ, поданнымъ властямъ.

„Въ воскресенье, 8 іюля, между 4 и 5 часами пополудни, къ дому Ремезова, по Манчжурской улицѣ, пріѣхалъ на извозчикѣ владивостокскій полицеймейстеръ Шавринъ съ полицейскимъ надзирателемъ Осмоловскимъ, въ сопровожденіи верхового городского. Полицеймейстеръ приказалъ городовому слѣзть съ коня, привязать его и съ плетью слѣдовать за нимъ. Затѣмъ они стали ломиться въ квартиру, занимаемую въ домѣ Ремезова квартирантомъ N, котораго въ этотъ моментъ не было дома. Прислуга-китаецъ отворилъ имъ двери и полицеймейстеръ, вбѣжавъ по лѣстницѣ во второй этажъ, былъ встрѣченъ больною женою квартиранта.—„Здѣсь живетъ мерзавецъ Ремезовъ?“—крикнулъ на нее полицеймейстеръ.—„Нѣтъ“,—послѣдовалъ отвѣтъ растерявшейся и перепугавшейся больной женщины.—„Я требую указать, гдѣ онъ живетъ!“—еще сильнѣе закричалъ Шавринъ. Тогда квартирантка стала звать мужа, находившагося на дворѣ, а Шавринъ, сообразивъ, что попалъ не туда, куда надо, сталъ спускаться внизъ и прислуга квартирантовъ повела его къ квартирѣ Ремезова. Здѣсь Шавринъ началъ стучать въ запертую дверь, но никто ему не отворялъ, ибо никого въ это время въ квартирѣ не было; тогда онъ послалъ городского съ задняго крыльца, который и доложилъ ему, что квартира заперта на замокъ снаружи. Садясь на извозчика, полицеймейстеръ громко, на всю улицу, закричалъ квартиранту, стоявшему на крыльцѣ и наблюдавшему за визитерами, слѣдующую фразу: „Передайте этому канальѣ (площадная ругань), что я его прикажу схватить и запоротъ на пожарномъ дворѣ“. Какъ оказалось потомъ, полицеймейстеръ Шавринъ былъ въ гостиницѣ „Тихій Океанъ“ и оттуда направился къ Ремезову съ очевиднымъ желаніемъ привести въ исполненіе высказанную имъ угрозу чрезъ своего подчиненнаго городского съ плетью. Совершивъ столь доблестный набѣгъ, полицеймейстеръ возвратился въ тотъ же вертепъ, именуемый гостиницею „Тихій Океанъ“ *).

Владивостокскій полицеймейстеръ, очевидно, можетъ занять не послѣднее мѣсто въ ряду тѣхъ рьяныхъ гонителей печатнаго слова, которыми такъ изобилуетъ наше время. Но, какъ ни интересна сама по себѣ эта сторона приведеннаго эпизода, мы не будемъ сейчасъ останавливаться на ней. Въ рассказанной „Владивостокомъ“ исторіи есть и другія черты, не менѣе характерныя и не менѣе заслуживающія вниманія. Какъ видитъ читатель, эта исторія закончилась сравнительно благополучно. Полицеймейстеръ Шавринъ не засталъ дома столь горячо ненавидимаго имъ редактора. Благодаря этому, г. Ремезовъ избавился отъ личныхъ объясненій съ своимъ незваннымъ гостемъ и могъ ограничиться подачей заявленія объ его неожиданномъ визитѣ под-

*) Цитируемъ по «Россіи», 18 сент. 1901 г.

лежащимъ властямъ. Послѣднія, надо думать, разъяснятъ полицеймейстеру истинный смыслъ его поступка и примутъ мѣры къ тому, чтобы обезопасить, по крайней мѣрѣ, г. Ремезова отъ повторенія подобныхъ визитовъ. Но что было бы, или, точнѣе говоря, что должно было быть въ томъ случаѣ, если бы во время своего „доблестнаго набѣга“ гнѣвный г. Шавринъ засталъ дома г. Ремезова? Владивостокскій полицеймейстеръ тоже вѣдь въ нѣкоторомъ родѣ власть. Памятуя объ этомъ, могъ ли г. Ремезовъ не принять его или же обязанъ былъ широко раскрыть передъ нимъ двери своей квартиры? Могъ ли онъ, далѣе, пренебречь угрозами полицеймейстера или обязывался трепетать передъ ними? Наконецъ, въ случаѣ попытокъ осуществленія этихъ угрозъ, имѣлъ ли право г. Ремезовъ сопротивляться имъ или же долженъ былъ безропотно претерпѣть, подъ страхомъ кары отказавшись отъ всякаго протеста противъ дѣйствій полицеймейстера, хотя бы даже такой протестъ выражался лишь словами и призывомъ на помощь? На первый взглядъ всѣ эти вопросы могутъ показаться просто неудачной риторической фигурой. Но, къ сожалѣнію, только на первый взглядъ. Если же отвлечься отъ конкретного случая, вызвавшего ихъ, и нѣсколько расширить рамки поставленнаго вопроса, то нетрудно будетъ убѣдиться, что переживаемая нами дѣйствительность знаетъ случаи различнаго рѣшенія его. Въ этой дѣйствительности существуетъ и примѣняется на практикѣ, между прочимъ, и такой взглядъ, согласно которому ни одно почти дѣйствіе представителя власти, въ какой бы обстановкѣ оно ни было совершено, не можетъ вызывать не только сопротивленія, но даже и пассивнаго протеста со стороны обывателя. Для того, чтобы найти случаи энергичнаго проведенія въ жизнь подобнаго взгляда, нѣтъ надобности уходить въ далекую Сибирь. Такіе случаи можно въ изобиліи найти и поближе. На одномъ изъ нихъ, особенно яркомъ и характерномъ, мы позволимъ себѣ остановить вниманіе читателя.

Въ августѣ 1894 г. братья Иванъ и Николай Безмѣновы, дворяне и крупные землевладѣльцы Ставропольской губерніи, взяли въ ссуду во Владикавказскомъ отдѣленіи государственнаго банка 48,228 р. подъ залогъ 148,000 пудовъ озимой пшеницы и 9,270 п. льна. Въ то время Безмѣновы едва-ли имѣли какое-либо основаніе предполагать, что эта коммерческая сдѣлка съ отдѣленіемъ государственнаго банка послужитъ для нихъ началомъ цѣлаго ряда злоключеній и въ концѣ концовъ приведетъ ихъ на скамью подсудимыхъ, по обвиненію въ сопротивленіи властямъ. Въ дѣйствительности же случилось именно такъ *).

*) Подробности дѣла Безмѣновыхъ мы заимствуемъ изъ вышедшей въ на-

Проценты по ссудѣ Безмѣновыхъ были взяты Владикавказскимъ отдѣленіемъ государственнаго банка впередъ. Вслѣдъ за тѣмъ 9,270 п. льна, вслѣдствіе полной уплаты Безмѣновыми полученныхъ подъ нихъ ссудъ, были освобождены отдѣленіемъ отъ залога, а 160,000 озимой пшеницы и 3,800 п. льна, согласно разрѣшительнымъ свидѣтельствамъ отдѣленія, были вывезены въ Новороссійскій элеваторъ. Здѣсь весь этотъ хлѣбъ, по предписанію отдѣленія государственнаго банка, былъ проданъ администраціей элеватора, безъ вѣдома Безмѣновыхъ, при чемъ продажа состоялась по баснословно дешевымъ цѣнамъ; такъ, пшеница была продана по 25 к. за пудъ. Вырученные отъ продажи хлѣба Безмѣновыхъ деньги администрація элеватора передала отдѣленію государственнаго банка. Всего послѣднее получило въ погашеніе выданной имъ Безмѣновымъ ссуды отъ самихъ Безмѣновыхъ и отъ администраціи элеватора 49.864 р. 55 к., что и было удостовѣрено выданными Безмѣновымъ квитанціями. Казалось бы, на этомъ исторія должна была и закончиться. Отдѣленію оставалось лишь возвратить Безмѣновымъ неправильно перераспределенные съ нихъ сверхъ суммы долга 1,636 р. 55 к., Безмѣновымъ—закаяться впредь вести дѣла съ учрежденіемъ, которое такъ ретиво и неумѣло взыскиваетъ свои долги. Вышло, однако, иначе.

Изъ денегъ, полученныхъ отъ Безмѣновыхъ агентами отдѣленія банка, часть—какая именно, трудно опредѣлить, такъ какъ отдѣленіе въ различныхъ случаяхъ разное опредѣляло эту сумму,—не поступила въ кассу отдѣленія, будучи, очевидно, кѣмъ-то перехвачена по пути и растратена. Казалось бы, опять-таки, къ Безмѣновымъ это обстоятельство не имѣло никакого отношенія. Свой долгъ они уплатили полностью, и даже съ излишкомъ, а отвѣчать передъ банкомъ за добросовѣстность его же агентовъ они не имѣли ни малѣйшаго основанія. Но не такъ рассуждало отдѣленіе банка, и администрація его, вмѣсто того, чтобы привлечь къ отвѣтственности виновное въ растратѣ полученныхъ отъ Безмѣновыхъ денегъ лицо, задумала взыскать недостающія въ кассѣ деньги вторично съ Безмѣновыхъ же. Съ этою цѣлью отдѣленіе возбудило противъ нихъ уголовное дѣло по обвиненію въ растратѣ ими заложеннаго отдѣленію хлѣба. Впрочемъ, этому дѣлу не суждено было пойти далѣе первоначальной стадіи. 19 июня 1898 г. и д. судебного слѣдователя 4-го участка Ставропольскаго уѣзда М. Любомудровъ, рассмотрѣвъ представленные Без-

стоящемъ году въ Петербургѣ брошюры, озаглавленной: «Изъ залы суда. Дѣло дворянъ Безмѣновыхъ» и заключающей въ себѣ судебные отчеты по этому дѣлу газетъ «Пріазовскій Край» и «Тифлисскій Листокъ». Изъ названной брошюры взяты нами и всѣ дальнѣйшія цитаты, относящіяся къ этому дѣлу.

имѣнными документами, призналъ, что „Безмѣновы ничего не должны банку“, и постановилъ: „дворянъ Ив. и Ник. Безмѣновыхъ въ качествѣ обвиняемыхъ не привлекать и дѣло представить въ Ставропольскій окружный судъ на прекращеніе за недоказанностью факта преступленія“. 10-юля 1898 г. и Ставропольскій окружный судъ, по уголовному отдѣленію, „усматривая изъ дѣла, что постановленіе судебного слѣдователя вполнѣ согласно съ обстоятельствами дѣла“, на основаніи ст. 277 уст. угол. суд., постановилъ „дѣло это дальнѣйшимъ производствомъ прекратить“. Одновременно съ уголовнымъ обвиненіемъ Владикавказское отдѣленіе государственнаго банка предъявило къ Безмѣновымъ за растраченный якобы ими хлѣбъ и гражданскій искъ въ суммѣ 9,641 р. 68 к. Этотъ послѣдній искъ постигла судьба, одинаковая съ первымъ. Гражданское отдѣленіе ставропольскаго окружнаго суда въ засѣданіи 21 сентября 1899 г. отказало отдѣленію банка въ его искъ къ Безмѣновымъ и возложило на него судебныя издержки по этому дѣлу, въ размѣрѣ 440 р.

Такимъ образомъ, помимо имѣвшихся уже ранѣе у Безмѣновыхъ документовъ въ видѣ квитанцій и счетовъ, два судебныя рѣшенія подтвердили тотъ фактъ, что Безмѣновы ничего не должны банку и что въ ихъ имѣніи не находится никакого, заложеннаго банку, хлѣба. Все это не помѣшало однако отдѣленію банка добиться путемъ административнаго воздѣйствія того, въ чемъ ему настойчиво отказывалъ судъ. Не дожидаясь рѣшенія суда по своему гражданскому иску, отдѣленіе обратилось къ мѣстной администраціи съ просьбою оказать ему содѣйствіе въ продажѣ съ публичныхъ торговъ находящагося въ имѣніи Безмѣновыхъ хлѣба, заложеннаго ими банку и оставшагося невыкупленнымъ. Ранѣе отдѣленіе обвиняло Безмѣновыхъ въ растратѣ этого хлѣба. Теперь оно собиралось продавать съ аукціона этотъ самый растраченный и, слѣдовательно, уже несуществующій хлѣбъ. Какъ бы то ни было, въ испрашиваемомъ отдѣленіемъ банка содѣйствіи не послѣдовало отказа и съ агентомъ государственнаго банка явился въ имѣніе Безмѣновыхъ для провѣрки находившагося въ немъ хлѣба становой приставъ Фіалковскій. Впрочемъ, когда Безмѣновы предъявили ему засвидѣтельствованныя копіи упомянутыхъ выше постановленій судебного слѣдователя и уголовного отдѣленія ставропольскаго окружнаго суда, Фіалковскій отказалъ въ своемъ содѣйствіи агенту банка и въ оправданіе своихъ дѣйствій представилъ копію названныхъ документовъ въ ставропольское полицейское управленіе, гдѣ она была получена помощникомъ исправника Прицкеромъ. Но черезъ нѣкоторое время, именно 9 юля 1899 г. въ имѣніе Безмѣновыхъ явился для той же цѣли— „провѣрки хлѣба“ съ чиновникомъ государственнаго банка ставропольскій уѣздный исправникъ Макаровскій, и такъ какъ Безмѣновы не давали ключей отъ своихъ амбаровъ съ хлѣбомъ, то

Макаровский, ссылаясь на распоряженіе губернатора, сломалъ замки на пяти амбарахъ и провѣрилъ хлѣбъ. Послѣ того Ник. Безмѣновъ, въ огражденіе себя отъ повторенія подобныхъ насильственныхъ дѣйствій полиціи, подалъ 13 іюля 1899 г. ставропольскому губернатору особую докладную записку съ приложеніемъ справки ставропольскаго окружнаго суда. Указывая на то, что, по признанію суда, долгъ отдѣленію банка уплаченъ Безмѣновыми сполна и хранящійся въ ихъ имѣніи хлѣбъ не состоитъ въ залогѣ у банка, г. Безмѣновъ обращалъ вмѣстѣ съ тѣмъ въ своей запискѣ вниманіе губернатора на то, что его дѣло съ банкомъ рѣшается въ судѣ и „вмѣшательство административной власти въ дѣло спорное, находящееся въ производствѣ суда, не можетъ быть оправдано существующими законами“. Въ виду этого онъ просилъ губернатора „предписать чинамъ полиціи воздержаться отъ вмѣшательства въ названное дѣло, а отдѣленію банка рекомендовать судѣ, какъ единственное закономъ уполномоченное мѣсто для разрѣшенія вопросовъ права“. Въ тотъ же день 13-го іюля, когда была подана эта записка, она была получена губернаторомъ и приобщена „къ дѣлу“. Можно было ожидать, что послѣ этого Безмѣновымъ уже не грозятъ никакіе дальнѣйшіе сюрпризы и имъ остается спокойно ожидать рѣшенія суда. Но этого не случилось. Мало того,—дальнѣйшія событія приняли столь невѣроятный характеръ, что рассказъ объ нихъ могъ бы показаться баснословною сказкой, если бы онъ не подтверждался во всѣхъ своихъ деталяхъ неоспоримыми документами.

На 15-е августа 1899 г. Владикавказское отдѣленіе государственнаго банка назначило въ имѣніи Безмѣновыхъ торги на заложенный банку хлѣбъ за неплатежъ долга въ размѣрѣ 11.343 р. Напомнимъ, что за годъ съ небольшимъ до этого состоялось постановленіе уголовного отдѣленія ставропольскаго окружнаго суда о прекращеніи уголовного дѣла противъ Безмѣновыхъ, какъ погасившихъ своевременно свой долгъ банку, и что гражданскій искъ банка въ описываемое время находился еще на разсмотрѣніи окружнаго суда. Статья 238-я устава гражданскаго судопроизводства гласитъ: „никакое правительственное мѣсто или лицо не въ правѣ принять къ своему разсмотрѣнію дѣло, производящееся уже въ судебномъ установленіи, прежде уничтоженія сего производства высшею судебною инстанціею“. Надо думать, что въ Ставрополѣ временно забыли эту статью закона. По крайней мѣрѣ, и. д. ставропольскаго губернатора предписалъ помощнику исправника Прицкеру оказать содѣйствіе чиновнику банка Яхонтову при продажѣ хлѣба въ имѣніи Безмѣновыхъ, а и. д. предсѣдателя ставропольскаго окружнаго суда командировалъ судебного пристава Васильева для производства торговъ.

Впрочемъ, въ назначенный для торговъ день никто къ Безмѣновымъ не явился. За то черезъ недѣлю, 22-го августа, безъ

всякаго предварительнаго извѣщенія, въ ихъ имѣніе нахлынули Яхонтовъ, Прицкеръ и Васильевъ, сопровождаемые нѣсколькими становыми приставами, въ томъ числѣ и знакомымъ уже намъ Фіалковскимъ, и нѣсколькими десятками полицейскихъ урядниковъ и согнанныхъ изъ деревень сотскихъ и десятскихъ. Когда Безмѣновы справились о полномочіяхъ прибывшихъ, Яхонтовъ и Васильевъ показали имъ свои полномочія, но Прицкеръ отказался предъявить данное ему предписаніе. Попытки владѣльцевъ имѣнія убѣдить незваныхъ гостей, что на хуторѣ нѣтъ заложеннаго банку хлѣба и что поэтому ихъ дѣйствія по продажѣ хлѣба будутъ незаконными, не имѣли успѣха. Тогда Безмѣновы попытались не впустить прибывшихъ въ усадьбу, не открывая воротъ и не допуская ломать висѣвшій на нихъ замокъ. Но, по приказанію помощника исправника, сотскіе и десятскіе оттащили ихъ отъ воротъ и сломали замокъ. Та же сцена повторилась и у перваго хлѣбнаго амбара. При этомъ полицейскіе такъ усердствовали, что сломали Ник. Безмѣнову палецъ на рукѣ. Ив. Безмѣнова такъ мяли и давили, что крики его, какъ показывали потомъ свидѣтели на судѣ, были слышны чуть не за 5 верстъ. Безмѣновы кричали: „караулъ! грабятъ!“, указывали полицейскимъ, что они дѣйствуютъ, какъ грабители и разбойники, говорили, что помощникъ исправника играетъ роль атамана шайки разбойниковъ. Ив. Безмѣновъ, когда его отпустили, сталъ было даже читать вслухъ статьи Уложенія о наказаніяхъ, трактующія о грабежѣ и разбоѣ, надѣясь хоть этимъ остановить дѣйствія властей. Но все это не имѣло никакого результата. Замокъ у перваго хлѣбнаго амбара былъ сломанъ и власти приступили къ измѣренію хлѣба. Послѣ того Безмѣновы оставили дальнѣйшія попытки воздѣйствія на властей, но отказались выдать ключи отъ остальныхъ амбаровъ, на которыхъ поэтому также были сломаны замки. Весь хранившійся въ амбарахъ хлѣбъ былъ перемѣренъ и назначенъ въ продажу съ публичныхъ торговъ. Этому не помѣшало ни заявленіе братьевъ Безмѣновыхъ, что хранящійся въ амбарахъ хлѣбъ принадлежитъ не только имъ, но и ихъ матери, которая никогда ни въ какія сдѣлки съ банкомъ не вступала, ни то обстоятельство, что въ амбарахъ нашелся ленъ, ячмень, разные виды яровой пшеницы, но не нашлось озимой пшеницы, т. е. какъ разъ того хлѣба, который, по увѣренію отдѣленія банка, состоялъ у него въ залогъ и подлежалъ продажѣ. Иначе говоря, чиновникъ банка и сопровождавшія его власти, даже въ томъ случаѣ, еслибы они не имѣли никакого понятія о всѣхъ предыдущихъ перипетіяхъ дѣла, не могли не видѣть, что они назначаютъ въ продажу такое имущество, которое не состояло въ залогъ у банка и на которое, слѣдовательно, банкъ не имѣлъ залоговаго права.

Впрочемъ, 22-го августа торги всетаки не состоялись за невякою покупателей. Они произошли еще черезъ недѣлю, 29-го августа 10. Отдѣлъ II.

густа, причемъ весь хлѣбъ, найденный въ амбарахъ Безмѣновыхъ и представлявшій собою отборныя сѣмена, приготовленныя для посѣва, былъ проданъ за безцѣнокъ, по цѣнамъ, въ нѣсколько разъ меньшимъ даже той оцѣнки, какая произведена была отдѣленіемъ банка. Этому не мало содѣйствовало то обстоятельство, что на торги явилось только два покупателя, а присутствовавшій на торгахъ „для содѣйствія“ имъ помощникъ исправника Прицкеръ устраивалъ, какъ это засвидѣтельствовано въ журналѣ судебного пристава, стачку между этими покупателями, рекомендуя одному изъ нихъ купить цѣлую партію хлѣба и потомъ раздѣлить ее съ другимъ. Менѣе, чѣмъ черезъ мѣсяцъ послѣ этихъ торговъ, состоялось постановленіе гражданскаго отдѣленія ставропольскаго окружнаго суда, упомянутое нами выше и заключавшее въ себѣ отказъ опредѣленію банка въ его искѣ къ Безмѣновымъ. Но для Безмѣновыхъ это постановленіе пришло слишкомъ поздно. Лишившись возможности, благодаря потерѣ заготовленныхъ ими сѣмянъ, обсеменить свои поля, они были уже раззорены.

Кромѣ того, событія 22-го августа въ усадьбѣ Безмѣновыхъ имѣли для послѣднихъ еще и другой результатъ. Они были привлечены къ суду по обвиненію въ сопротивленіи властямъ, „выразившемся, по словамъ обвинительнаго акта, въ томъ, что они, не допуская явившихся къ нимъ должностныхъ лицъ во дворъ и къ амбарамъ съ хлѣбомъ, отказались отпереть замки и отталкивали отъ воротъ и дверей амбара полицейскихъ служителей, причемъ Николай Безмѣновъ ударилъ помощника исправника кулакомъ по рукѣ и полицейскаго сотскаго Герасима Ласкова кулакомъ въ грудь, а Иванъ Безмѣновъ толкнулъ рукою въ грудь полицейскаго служителя Прокофія Козлитина“. Сверхъ того, къ Безмѣновымъ было предъявлено обвиненіе въ томъ, что они „нанесли оскорбленія словами всѣмъ названнымъ выше должностнымъ лицамъ, находившимся при отправленіи обязанностей службы, назвавъ ихъ разбойниками и грабителями и, сверхъ того, помощника исправника Прицкера—атаманомъ шайки разбойниковъ, а полицейскихъ урядниковъ, полицейскихъ служителей и волостного старшину Нѣшту—ослами и дураками“.

Дѣло Безмѣновыхъ разбиралось уголовнымъ отдѣленіемъ ставропольскаго окружнаго суда 10-го и 11-го іюня 1900 г. и въ этомъ судебномъ разбирательствѣ въ свою очередь было немало любопытнаго. Прежде всего, изъ 12 свидѣтелей обвиненія лишь двое, въ томъ числѣ и самъ Прицкеръ, показали, что Ник. Безмѣновъ ударилъ помощника исправника, но и эти двое разошлись въ своихъ показаніяхъ относительно времени и мѣста удара; остальные свидѣтели обвиненія, въ томъ числѣ и четверо сотскихъ, державшихъ Безмѣнова въ моментъ нанесеннаго имъ якобы удара Прицкеру, этого удара не видѣли. Свидѣтели же защиты—

живущіе на землѣ Безмѣновыхъ арендаторы и ихъ рабочіе— „единогласно удостовѣрили, что Безмѣновы никого изъ представителей какъ общей, такъ и сельской полиціи не били и не толкали и что все сопротивление ихъ состояло въ томъ, что они держались руками за замки; что отъ замковъ ихъ оттащили грубымъ насиліемъ; что ихъ держали все время, пока ломали замки и отбивали двери въ амбарахъ, а Ив. Безмѣнова держали и въ то время, когда происходила повѣрка хлѣба въ амбарахъ,—около полутора часа; что держали каждого изъ братьевъ Безмѣновыхъ человѣка по четыре и болѣе; что Ив. Безмѣновъ кричалъ: „караулъ“, „душать“, „задушили“; что кричалъ онъ прямо нечеловѣческимъ голосомъ, такъ что его слышно было въ третьей колонкѣ, а колонки (поселки) отстоятъ другъ отъ друга на 1½ версты; что просьба Ник. Безмѣнова допустить его въ амбаръ, для присутствія при повѣркѣ хлѣба, не была уважена полиціей и онъ силкомъ ворвался въ амбаръ, таща на себѣ четырехъ державшихъ его полицейскихъ; что въ амбарахъ, на которыхъ были сломаны замки и изъ которыхъ затѣмъ былъ проданъ хлѣбъ, были ленъ, сурьпа, горчица, ячмень, кубанка, гирка, но не было озимой пшеницы, и что у обоихъ Безмѣновыхъ послѣ происшествія руки оказались пораненными. Къ этому одинъ изъ свидѣтелей защиты присоединилъ показаніе, что Безмѣновы кричали о томъ, что здѣсь производится грабежъ и разбой, и называли кого-то изъ властей „атаманомъ шайки разбойниковъ изъ банка“, а другой упомянулъ о томъ, что Безмѣновы кричали: „разбойники! грабители!“.

Впрочемъ, не меньшій интересъ, хотя и съ другой точки зрѣнія, представили и показанія полицейскихъ чиновъ, данныя ими на судебномъ слѣдствіи. Становой приставъ Васильчиковъ „откровенно заявилъ, что длинные переговоры съ Ник. Безмѣновымъ велись полиціей лишь потому, что чины полиціи боялись кинжала, висѣвшаго на поясѣ у Безмѣнова. Еслибы кинжала не было, то „съ вами мы не такъ бы расправились“, — заявилъ откровенно приставъ, обращаясь на судѣ къ Ник. Безмѣнову... По существу дѣла свидѣтель заявилъ, что онъ не знаетъ, былъ ли на хуторѣ Безмѣновыхъ хлѣбъ, заложенный въ государственномъ банкѣ, что этимъ вопросомъ, какъ и вообще вопросомъ о законности своихъ дѣйствій, онъ, свидѣтель, совсѣмъ не интересовался. „Мнѣ предписано было оказать содѣйствіе, ну, я и оказалъ“... Въ такомъ же родѣ было и показаніе главы полицейской арміи, взявшей приступомъ хуторъ Безмѣновыхъ, помощника исправника Прицкера. „По его словамъ, онъ получилъ предписаніе отъ и. д. ставропольскаго губернатора объ оказаніи содѣйствія чиновнику государственнаго банка при продажѣ съ торговъ хлѣба Безмѣновыхъ, заложеннаго въ этомъ банкѣ. Былъ ли на хуторѣ Безмѣновыхъ хлѣбъ, заложенный банку, и были ли Без-

мѣновы что-либо должны государственному банку, онъ, свидѣтель, не знаетъ и этимъ вопросомъ не интересовался. Чтобы оказать содѣйствіе чиновнику банка и судебному приставу, свидѣтель счелъ нужнымъ взять съ собою двухъ приставовъ, трехъ урядниковъ и около 30 полицейскихъ сотскихъ и десятскихъ“. Бывшее у Прицкера, по его словамъ, предписаніе онъ отказался, однако, предъявить Безмѣновымъ. „О причинахъ этого отказа свидѣтель далъ три различныхъ объясненія. Сперва онъ заявилъ, что не предъявилъ предписанія потому, что полиція не обязана предъявлять частнымъ лицамъ свои полномочія и можетъ входить, куда ей угодно, и дѣлать все, что найдетъ нужнымъ, не объясняя частнымъ лицамъ, по какому праву она это дѣлаетъ. Такія права, по мнѣнію свидѣтеля, предоставлены полиціи закономъ. Затѣмъ свидѣтель при дальнѣйшемъ допросѣ указалъ уже совершенно другую причину своего отказа предъявить свое полномочіе. Причиной этой было то, что свидѣтеля и другихъ приѣхавшихъ должностныхъ лицъ Ник. Безмѣновъ траетовалъ, какъ частныхъ лицъ, и свидѣтель изъ самолюбія отказалъ въ представленіи уполномочія. Въ концѣ концовъ свидѣтель заявилъ, что онъ не предъявилъ предписанія потому, что оно было оставлено въ дѣлахъ полицейскаго управленія и при немъ не находилось. Предписанія ломать замки и тащить Безмѣновыхъ, не пускать ихъ въ амбары и т. п. у свидѣтеля не было“.

Какъ видно, не только во Владивостокѣ полиція убѣждена въ томъ, что она „можетъ входить, куда ей угодно, и дѣлать все, что найдетъ нужнымъ“. Но и не однимъ лишь чинамъ полиціи свойственно такое убѣжденіе. Оно встрѣчается и въ другихъ сферахъ нашего общества, даже въ такихъ, въ которыхъ, казалось бы, уже по самому ихъ характеру должно существовать болѣе близкое знакомство съ закономъ. По крайней мѣрѣ, представитель обвиненія въ процессѣ Безмѣновыхъ, товарищ прокурора Хмѣликовскій, всецѣло воспринялъ указанный взглядъ и подробно развилъ его въ своей рѣчи на судѣ. Въ дѣйствіяхъ Безмѣновыхъ въ день 22-го августа 1899 г. онъ различалъ двѣ стороны. „Одна сторона дѣла, по его словамъ, можетъ вызывать только улыбку,—это, такъ сказать, комическій элементъ въ этой трагикомедіи“. „Гг. Безмѣновы,—говорилъ обвинитель,—очевидно, вдохновились примѣромъ буровъ, противодѣйствующихъ съ такимъ успѣхомъ несмѣтнымъ полчищамъ англичанъ, задумали вдвоемъ оказать сопротивление пѣлой арміи полицейскихъ чиновъ. Соотвѣтственно этому комическому намѣренію, Безмѣновы и устроили на своемъ дворѣ даровой концертъ, собравшій множество зрителей изъ лежащихъ рядомъ съ ихъ усадьбою поселковъ. Безмѣновы исполняли свой концертъ то соло, то дуэтомъ, вопя „караулъ“, „грабятъ“, „разбойники“ и т. п. Не обошлось дѣло и безъ дивертисмента, такъ какъ Иванъ Безмѣновъ

счесть нужным прочесть собравшимся лекцію изъ уголовного права, вооружившись для этого уложеніемъ о наказаніяхъ“. Разъ ставъ на такую точку зрѣнія, съ которой чтеніе закона нарушающимъ его агентамъ администраціи является не болѣе, какъ „комическимъ дивертисментомъ“, можно, конечно, уйти далеко. И, дѣйствительно, г. Хмѣликовскій зашелъ очень далеко. „Комическая сторона дѣла, по его словамъ, не должна закрывать предъ судомъ другой, важной стороны. Эта серьезная сторона дѣла состоитъ въ томъ, что сопротивленіе властямъ было оказано гг. Безмѣновыми предъ толпою народа, что это преступленіе противъ порядка управленія имѣло мѣсто на глазахъ народа, на который оно не могло не произвести вліянія, и это вліяніе должно быть парализовано должнымъ возмездіемъ по отношенію къ виновнымъ“.

Въ чемъ же, однако, состояло „преступленіе противъ порядка управленія“, совершенное Безмѣновыми? На судѣ представитель обвиненія всецѣло поддерживалъ положенія обвинительнаго акта. Принимая изъ свидѣтельскихъ показаній лишь тѣ, которыя безусловно подтверждали всѣ занесенныя въ обвинительный актъ дѣйствія Безмѣновыхъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшительно отказывался видѣть въ этихъ дѣйствіяхъ проявленіе законной самообороны. „По вопросу о правѣ обывателей сопротивляться дѣйствіямъ власти существуютъ, по словамъ г. Хмѣликовскаго, двѣ теоріи, два различныхъ взгляда. По одному взгляду, принятому въ законодательствахъ Западной Европы, власть всегда обладаетъ презумпціей законности, почему всякое сопротивленіе дѣйствіямъ власти считается незаконнымъ и потому наказуемымъ. По другой теоріи, принятой законодательствомъ Америки, обыватели имѣютъ полное право сопротивляться незаконнымъ дѣйствіямъ власти“. Цитируемый нами судебный отчетъ, къ сожалѣнію, не сообщаетъ, указалъ ли обвинитель суду тѣ источники, изъ которыхъ онъ почерпнулъ столь удивительныя свѣдѣнія. Какъ бы то ни было, по его словамъ, „теорія уголовного права признаетъ оба эти взгляда крайними и потому несостоятельными. Для рѣшенія вопроса о томъ, имѣетъ ли право обыватель сопротивляться дѣйствіямъ власти или такое сопротивленіе будетъ неправомѣрно и поэтому караемо, необходимо разсматривать каждый разъ отдѣльный случай. Нельзя отрицать, что бывають случаи, когда сопротивленіе незаконнымъ дѣйствіямъ власти позволительно. Напримѣръ, если какая-нибудь власть вздумаетъ высѣчь женщину, тутъ сопротивленіе будетъ вполне умѣстнымъ и законнымъ. Но если оказано сопротивленіе дѣйствіямъ судебного пристава, приводящаго въ исполненіе рѣшеніе суда, хотя бы и неправильное, въ подобномъ случаѣ сопротивленіе явится противозаконнымъ и наказуемымъ. Нужно различать два вида несправедливости въ дѣйствіяхъ власти: несправедливость сомнительную и поправимую, и несправед-

ливость явную, невыносимую и непоправимую. Высѣченной женщиной нанесена несправедливость непоправимая, и для избѣжанія этой непоправимой несправедливости женщина имѣла бы полное право сопротивляться сѣченію. Точно также, еслибы полиція взяла на себя обязанность судебного слѣдователя и стала производить судебное слѣдствіе, такому явно-незаконному дѣйствію полиція можно сопротивляться. Иное дѣло, когда полиція хочетъ войти въ домъ частнаго лица: здѣсь сопротивленіе неумѣстно, такъ какъ зло, причиняемое дѣйствіями полиціи, хотя бы и незаконными, въ данномъ случаѣ можетъ быть поправимо, ибо незаконныя дѣйствія полиціи могутъ быть обжалованы“.

Читатель видитъ, что вопросъ, поставленный въ началѣ нашей статьи, вопросъ не совсѣмъ праздный. Еслибы г. Ремезову случилось не впустить полицеймейстера въ свою квартиру въ г. Ставрополѣ, онъ нашелъ бы для себя въ лицѣ г. Хмѣликовского рьянаго и краснорѣчиваго обвинителя, не останавливающагося даже передъ своеобразнымъ юридическимъ творчествомъ. Трудно даже сказать, разрѣшилъ ли бы г. Хмѣликовскій почтенному редактору „Владивостока“ уклониться отъ повиновенія дальнѣйшимъ распоряженіямъ владивостокскаго полицеймейстера. Вѣрнѣе, что не разрѣшилъ бы. Сѣченіе женщины онъ призналъ „непоправимой несправедливостью“ и женщину разрѣшилъ сопротивляться этой операци, но о мужчинѣ благоразумно умолчалъ.

Исходя изъ такихъ соображеній объ отношеніяхъ полиціи къ обывателямъ, г. Хмѣликовскій, конечно, долженъ былъ признать, что „власти 22 августа 1899 г. на хуторѣ Безмѣновыхъ дѣйствовали вполне законно“. „Онѣ—говорилъ обвинитель—имѣли извѣстное предписаніе своихъ начальствъ и должны были ихъ выполнить. То обстоятельство, что Безмѣновы разсчитались съ государственнымъ банкомъ и не были ему должны, для настоящаго дѣла не имѣетъ никакого значенія. Въ самомъ дѣлѣ,—побѣдоносно спрашивалъ г. Хмѣликовскій,—какое дѣло было судебному приставу и полиціи до расчетовъ Безмѣновыхъ съ банкомъ? Въ уставѣ государственнаго банка имѣется статья, которая предоставляетъ банку продавать заложенное ему имущество безъ суда, и потому судебный приставъ и полиція дѣйствовали вполне законно, содѣйствуя представителю банка въ дѣлѣ продажи хлѣба Безмѣновыхъ, согласно указанной статьѣ. Безмѣновы не могли не понимать, что власти дѣйствовали въ данномъ случаѣ вполне законно... Такъ какъ агентъ банка и судебный приставъ предъявили Безмѣновымъ свои полномочія, то у Безмѣновыхъ не было рѣшительно никакихъ основаній сомнѣваться въ законности дѣйствія властей, а потому они сознательно шли на незаконное сопротивленіе“. Въ виду этого, равно какъ и того обстоятельства, что „оставленіе безъ наказанія дѣяній Безмѣновыхъ было бы небезопасно и въ

общественномъ отношеніи“, г. Хмѣликовскій просилъ приговорить Безмѣновыхъ къ тюремному заключенію.

Безмѣновы защищались на судѣ сами. Ник. Безмѣновъ началъ свою защиту съ установленія того факта, что въ августѣ 1899 г. ни онъ, ни братъ его ничего не были должны государственному банку, покончивъ всѣ счета съ послѣднимъ, и не имѣли у себя заложенного ему хлѣба и что это обстоятельство, равно какъ существованіе гражданскаго иска отдѣленія банка къ Безмѣновымъ, было извѣстно какъ губернской администраціи и предсѣдателю суда, такъ и всѣмъ участникамъ событія 22-го августа. Указанная обвинителемъ 107 ст. устава государственнаго банка, дѣйствительно, даетъ ему право, не обращаясь къ суду, продавать просроченный и невыкупленный залогъ. Но подобныя статьи имѣются въ уставѣ каждаго кредитнаго учрежденія и, однако, онѣ не даютъ этимъ учрежденіямъ права продавать безъ суда не состоящее у нихъ въ залогъ имущество, объявивъ его лишь своимъ залогомъ. При отрицаніи существованія залога со стороны лица, признаваемого банкомъ за своего должника, власти имѣли лишь право составить протоколъ о „сокрытіи залога“ для привлеченія виновныхъ къ отвѣтственности по ст. 1684 ул. о нак. Но ни 107 и никакая другая статья государственнаго банка не даетъ „законнаго“ основанія для дѣйствій, подобныхъ тѣмъ, которыя были совершены на хуторѣ Безмѣновыхъ.

Чиновникъ банка Яхонтовъ—продолжалъ обвиняемый—былъ командированъ въ имѣніе Безмѣновыхъ для продажи за долгъ ихъ банку заложенного послѣднему хлѣба. Судебный приставъ и помощникъ исправника прибыли для содѣйствія Яхонтову при исполненіи имъ этого порученія. Но разъ оказалось, что не существуетъ ни долга Безмѣновыхъ банку, ни заложенного хлѣба, командировка всѣхъ названныхъ лицъ сама собою оканчивалась у воротъ усадьбы Безмѣновыхъ и, если они тѣмъ не менѣе пожелали во чтобы то ни стало войти въ эти ворота, то это было дѣйствіемъ уже не властей, находящихся при отправленіи обязанностей службы, а частныхъ лицъ. Уставъ государственнаго банка требуетъ при торгахъ на продажу залоговъ предварительнаго оповѣщенія владѣльцевъ этихъ залоговъ. Безмѣновы получили такое оповѣщеніе о торгахъ на 15-е августа, но о назначеніи торговъ на 22-е августа они не были оповѣщены и уже на одномъ этомъ основаніи они должны были считать явившихся къ нимъ въ этотъ день чиновниковъ лишь своими гостями, которыхъ однако они принять не пожелали. Это убѣжденіе Безмѣновыхъ могло быть лишь подкрѣплено отказомъ помощника исправника предъявить свои полномочія. Мнѣніе г. Прицкера, будто полиція вообще не обязана предъявлять своихъ полномочій частнымъ лицамъ, совершенно неосновательно. „Въ своей обычной дѣятельности полиція основывается на положительномъ законѣ,

знаніе котораго обязательно для всѣхъ, и потому въ такихъ случаяхъ, конечно, полиція не имѣетъ надобности предъявлять своихъ уполномочій. Совсѣмъ иное положеніе дѣла, когда полиція получаетъ специальное или „особое“ порученіе. Тутъ уже знаніе существа этого особаго порученія или даже самаго существованія его, разумѣется, для обывателя необязательно, да въ большинствѣ случаевъ и невозможно, такъ какъ оно, это „особое порученіе“, не представляетъ изъ себя закона, хотя, конечно, на практикѣ довольно часто такими особыми порученіями отмѣняются существующіе законы. И вотъ существованіе такого порученія и его свойства и опредѣляются подлиннымъ предписаніемъ, предъявленіе котораго является поэтому безусловно обязательнымъ, такъ какъ иначе обыватель и не можетъ быть оповѣщенъ относительно какъ существованія, такъ и свойствъ и предѣловъ особаго порученія, возложеннаго на чиновника, въ томъ числѣ и полицейскаго. Но во всякомъ случаѣ предписаніе и. д. ставропольскаго губернатора лишь поручало г. Прицкеру лично присутствовать при торгахъ въ имѣніи Безмѣновыхъ и оказать содѣйствіе агенту банка при этихъ торгахъ. Оно не уполномочивало г. Прицкера ни собирать со всего уѣзда армію полицейскихъ чиновъ, ни совершать такіа правонарушенія, какъ взломъ замковъ въ усадьбѣ и на амбарахъ, назначеніе въ продажу хлѣба, явно незаложеннаго банку, устройство стачки между покупателями и т. п. Всѣ эти дѣйствія, далеко выходя за предѣлы служебнаго порученія властей, являлись уже дѣйствіями частныхъ лицъ, которымъ Безмѣновы имѣли полное право сопротивляться.

Фактъ оскорбленія Безмѣновыми бывшихъ на ихъ хуторѣ лицъ Ник. Безмѣновъ рѣшительно отвергалъ. „Мнѣ ставятъ въ вину,—говорилъ онъ на судѣ,—что я будто бы ударилъ г. Прицкера по рукѣ. Но—удивительное дѣло!—рѣшительно никто, кромѣ г. Прицкера, этого удара не видѣлъ; не видѣли его даже тѣ четверо полицейскихъ, которые держали меня въ тотъ самый моментъ, когда я будто бы ударилъ г. Прицкера. Я полагаю, не будетъ ошибочнымъ отнести этотъ ударъ къ числу явленій отнюдь не реальнаго свойства, а лишь воображаемыхъ. Удары сельскимъ полицейскимъ тоже оказались на судебномъ слѣдствіи болѣе, чѣмъ сомнительными. Выяснилось только, что я вырывался изъ рукъ державшихъ меня и протискивался сквозь нихъ. Неужели такіа дѣйствія также могутъ быть трактуемы въ качествѣ оскорбительныхъ для должностныхъ лицъ? То, что я называлъ грабежъ—грабежомъ, едва-ли можетъ быть признано за оскорбленіе. Не я выдумалъ этотъ терминъ. Я взялъ его изъ уложенія о наказаніяхъ, къ защитѣ котораго я и брать прибѣгали противъ насильственныхъ дѣйствій. Неужели запрещено даже ссылаться на законъ и содержащіяся въ немъ выраженія? Даже и въ томъ случаѣ, еслибы дѣйствія должностныхъ лицъ 22 августа 1899 г.

были лишь исполненіемъ данныхъ имъ инструкцій отъ начальства, эти дѣйствія не утратили бы своего противозаконнаго характера. „Полиція, обязанная охранять обывателей и ихъ имущество отъ обидъ и расхищеній, забыла эту прямую свою обязанность, разгромила цѣлый хуторъ, учинила насиліе надъ личностью собственниковъ, взявъ въ основаніе своихъ дѣйствій не законъ, а произволъ и личныя отношенія. Неужели—спрашивалъ г. Безмѣновъ—и такого рода дѣйствіямъ полиція я не имѣлъ права оказать проидводѣйствіе“? По мнѣнію г. Безмѣнова, онъ имѣлъ это право даже съ точки зрѣнія теоріи, выдвинутой обвинителемъ, такъ какъ дѣйствіями властей 22 августа 1899 г. Безмѣновымъ было причинено именно непоправимое зло: они понесли тяжкія матеріальныя потери, а сверхъ того Ник. Безмѣнову изуродовали палецъ на рукѣ. Но и самая теорія непоправимаго зла, какъ единственнаго основанія для права обывателей сопротивляться незаконнымъ дѣйствіямъ власти, создана, по указанію обвиняемаго, исключительно товарищемъ прокурора г. Хмѣликовскимъ и не раздѣляется другими юристами. Г. Таганцевъ, напримѣръ, мнѣніе котораго въ данномъ вопросѣ особенно интересно, какъ мнѣніе члена высшаго кассационнаго суда, въ своемъ курсѣ уголовного права признаетъ, что для обывателя обязательно повиновеніе лишь тѣмъ дѣйствіямъ властей, которыя являются вполнѣ законными, и лишь противодѣйствіе такого рода дѣйствіямъ считаетъ наказуемымъ. Такъ какъ дѣйствія властей на хуторѣ Безмѣновыхъ не только не были основаны на законѣ, а составляли даже прямое нарушеніе его, то Безмѣновы имѣли право прибѣгнуть къ активному сопротивленію, но въ дѣйствительности они не вышли изъ положенія пассивной самообороны. „Представитель обвиненія—закончилъ свою рѣчь Ник. Безмѣновъ—требуетъ моего обвиненія въ общественныхъ интересахъ. И я, именно въ этихъ интересахъ, въ интересахъ поддержанія законности въ нашей жизни и обузданія произвола и насилія, прошу о полномъ оправданія. Но мнѣ оправданія мало: и я прошу судъ меня оправдать, а о противозаконныхъ дѣйствіяхъ гг. Прицѣра и прочихъ сообщить кому слѣдуетъ для возбужденія противъ нихъ уголовного преслѣдованія“. Ив. Безмѣновъ въ своей защитительной рѣчи развивалъ въ общемъ тѣ же доводы, что и братъ его.

Окружный судъ сталъ однако на точку зрѣнія обвинителя и, признавъ обоихъ Безмѣновыхъ виновными въ активномъ сопротивленіи властямъ, сопровождавшемся явно насильственными дѣйствіями, и въ оскорбленіи властей дѣйствіемъ и словами, приговорилъ ихъ къ аресту при тюрьмѣ на три недѣли cadaго. По протесту товарища прокурора, просившаго объ усиленіи наказанія, и по апелляціонному отзыву самихъ Безмѣновыхъ дѣло было перенесено въ уголовный департаментъ тифлисской судебной палаты. Здѣсь оно слушалось 7 марта текущаго года и окончилось

утвержденіемъ приговора ставропольскаго окружнаго суда. Безмѣновыми приговоръ палаты обжалованъ въ сенатъ, которому и предстоитъ теперь разрѣшить вопросъ о томъ, на чьей сторонѣ право въ этомъ удивительномъ процессѣ.

Мы не станемъ предугадывать характеръ ожидаемаго сенатскаго постановленія. Но, каково бы оно ни было, нельзя не видѣть, что оно должно получить крайне важное значеніе въ виду того серьезнаго общественнаго интереса, который связанъ съ дѣломъ Безмѣновыхъ и вытекающими изъ него юридическими вопросами. Вся обстановка этого дѣла представляетъ собою нѣчто поразительное, живо возстановляя въ воображеніи тѣ далекія времена, когда провинціальныя обыватели горько и трогательно жаловались въ Москву на воеводскую доуку, насилие и раззореніе. Трудно придумать болѣе яркую и болѣе поучительную картину послѣдствій той замѣны суда административнымъ усмотрѣніемъ, прелести которой такъ настойчиво—и, нужно сказать, далеко небезуспѣшно,—восхваляетъ наша реакціонная печать. Дѣло, не только само по себѣ ясное какъ день, но и рѣшенное уже судомъ, оказалось возможнымъ при помощи этого усмотрѣнія перерѣшить столь неожиданнымъ образомъ, что должнику удалось получить фиктивный долгъ съ своихъ кредиторовъ, и попутно раззорить послѣднихъ. Мало того,—когда обиженные и негодующіе кредиторы задумали отстаивать свои права, надъ ними нависла угроза тюремнаго заключенія. И стоитъ отмѣтить, что это случилось съ лицами, не принадлежащими къ той народной массѣ, которая у насъ такъ часто не можетъ охранять свои права уже потому, что не знаетъ доподлинно объ ихъ существованіи и не обладаетъ необходимыми матеріальными средствами. Нѣтъ, гг. Безмѣновы лица, занимающія привилегированное положеніе: они—дворяне, состоятельные и образованные люди, сами умѣющіе хорошо разбираться въ юридическихъ вопросахъ, но все это не измѣнило ихъ положенія, не помогло имъ отклонить отъ себя ударъ меча слѣпой Гемиды административнаго усмотрѣнія. Въ виду этого не трудно представить себѣ, съ какою силою этотъ мечъ долженъ обрушиваться на людей, менѣе подготовленныхъ къ защитѣ. Если уже въ дѣлѣ, касающемся дворянъ и крупныхъ землевладѣльцевъ, для администраціи оказалось возможнымъ вмѣшаться въ неподлежащій ея вѣдѣнію споръ и рѣшить его особыми средствами, не считаясь съ прямыми требованіями закона, то еще менѣе основаній для подобныхъ счетовъ, когда рѣчь идетъ о людяхъ, занимающихъ не столь видное общественное положеніе и, тѣмъ болѣе, принадлежащихъ къ сѣрой народной массѣ.

Наряду съ указанной въ дѣлѣ Безмѣновыхъ есть еще и другая сторона, равнымъ образомъ имѣющая принципиальное значеніе и заслуживающая самаго пристальнаго вниманія. Никто

изъ участниковъ этого дѣла не сомнѣвался въ томъ, что требованія, обращенныя къ Безмѣновымъ, являлись по существу своему несправедливыми и незаконными, и тѣмъ не менѣе всѣ настаивали на безусловномъ повиновеніи Безмѣновыхъ именно этимъ незаконнымъ требованіямъ. Когда Ник. Безмѣновъ сталъ объяснять прибывшимъ на его хуторъ властямъ незаконность ихъ дѣйствій, его никто не пожелалъ слушать. „Мои хъ заявленій—показывалъ онъ на судѣ—чиновники даже и не опровергали, говоря лишь, что они—власть и начальство, а мое дѣло—не разсуждать и повиноваться“. „Не разсуждать и повиноваться“—лозунгъ, хорошо знакомый нашему времени и еще недавно съ большимъ трескомъ и громомъ провозглашенный „Моск. Вѣдомостями“ въ качествѣ цѣлой программы поведенія русскаго общества. Въ этомъ смыслѣ главные герои процесса Безмѣновыхъ, начиная съ полицейскихъ чиновъ, наивно убѣжденныхъ въ томъ, что „полиція можетъ входить, куда ей угодно, и дѣлать все, что сочтеть нужнымъ“, и кончая ученымъ юристомъ, создающимъ особую теорію для оправданія этого убѣжденія, могутъ быть названы, если и не гороями, то все же въ нѣкоторомъ родѣ центральными фигурами нашей эпохи. Вопросъ только въ томъ, насколько эти фигуры и ихъ лозунгъ соотвѣтствуютъ требованіямъ закона и правового самосознанія общества.

Какъ мы видѣли выше, даже первоначальный обвинитель въ процессѣ Безмѣновыхъ, г. Хмѣликовскій, не рѣшается утверждать, что всѣ незаконныя дѣйствія представителей власти должны встрѣчать со стороны обывателей безусловное повиновеніе. Критеріемъ онъ ставитъ въ этомъ случаѣ размѣры зла, причиняемаго такими дѣйствіями. Когда зло поправимо, обязательно повиновеніе; когда ожидаемое зло непоправимо, тогда можно сопротивляться. Но гдѣ лежитъ граница между поправимымъ и непоправимымъ зломъ и кто будетъ опредѣлять эту границу въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ? Г. Хмѣликовскій въ примѣръ перваго приводитъ вторженіе полиціи въ частный домъ, въ примѣръ второго—сѣченіе женщины. На этихъ самыхъ примѣрахъ возможно, однако, убѣдиться въ чрезмѣрной субъективности и шаткости предлагаемаго критерія. Положимъ, г. Хмѣликовскій самоотверженно готовъ держать свой домъ всегда открытымъ для полиціи, но вѣдь не трудно представить себѣ и существованіе людей съ настолько развитымъ нравственнымъ чувствомъ, что для нихъ насильственное вторженіе въ ихъ интимную жизнь явится не менѣе ощутительнымъ, не менѣе непоправимымъ зломъ, чѣмъ грубое физическое насиліе. Очевидно, столь произвольный критерій не можетъ быть примѣненъ въ жизни. Но и самая честь его изобрѣтенія всецѣло принадлежитъ г. Хмѣликовскому. Всѣ наиболѣе извѣстные наши юристы не знаютъ подобныхъ ухищреній, единогласно признавая единственнымъ критеріемъ обяза-

тельности распоряжений властей для обывателя законность этих распоряжений. „Каждый отдѣльный органъ государственной власти—гсворить, напрымѣрь, проф. Коркуновъ—имѣть власть лишь въ предѣлахъ закона. Разъ въ своихъ распоряженіяхъ онъ переступаетъ эти границы, дѣйствуетъ въ нарушение закона, велѣнія его не могутъ быть признаваемы обязательными... Законъ есть выраженіе воли государственной власти. Принуждать къ исполненію незаконныхъ распоряженій значило бы принуждать къ тому, что противорѣчитъ собственной волѣ государства, что самую властью признается несправедливымъ, неразумнымъ, вреднымъ. Признаніе обязательности и незаконныхъ распоряженій органовъ власти приводило бы къ замѣнѣ начала законности въ государственной жизни господствомъ ничѣмъ не регулируемаго произвола“. „Ненаказуемость простого неисполненія незаконныхъ требованій органовъ власти, говоритъ тотъ же авторъ, стоитъ внѣ сомнѣній... Оно достаточно лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда органъ власти ограничивается одними незаконными требованіями. Когда же онъ самъ совершаетъ незаконныя дѣйствія, пассивное неповиновеніе не достигаетъ цѣли... Тутъ является надобность уже въ активномъ повиновеніи.. Какъ необходимая оборона противъ незаконнаго нападенія частныхъ лицъ не противорѣчитъ нисколько монополизациі принужденія государствомъ, такъ точно и необходимая оборона противъ незаконныхъ дѣйствій органовъ власти“, хотя въ этомъ случаѣ „обороняться можно только противъ такихъ дѣйствій, которыя имѣютъ характеръ прямого нападенія на личность или имущество“ *). Напомнимъ къ слову, что Безмѣновымъ пришлось считаться именно съ такого рода дѣйствіями, которыя носили характеръ прямого нападенія на ихъ имущество, а затѣмъ и на ихъ личность.

Наше дѣйствующее законодательство, правда, не заключаетъ въ себѣ прямого указанія на право самообороны обывателей противъ незаконныхъ дѣйствій представителей власти. Тѣмъ не менѣе правомѣрность такой самообороны, несомнѣнно, предполагается и существующими законоположеніями. Прежде всего, уже тѣ статьи уголовного законодательства, которыя устанавливаютъ наказуемость неповиновенія и сопротивленія властямъ (ст. 270—272 ул. о нак.), содержать въ себѣ указаніе на законность распоряженій и дѣйствій этихъ органовъ, какъ на необходимое условіе такой наказуемости. Съ другой стороны, ст. 101-я уложенія о наказаніяхъ, трактующая о ненаказуемости вынужденной самообороны, изложена въ совершенно общей формѣ и не оговариваетъ никакихъ исключеній изъ устанавливаемаго ею правила. Въ виду этого какъ только что цитированный нами авторъ, такъ

*) Н. М. Коркуновъ. Русское государственное право. Т. I, стр. 396, 401—2.

и другіе спеціалисты по русскому государственному и уголовному праву сходятся въ утверженіи, что наше законодательство допускаетъ сопротивленіе незаконнымъ дѣйствіямъ органовъ власти. Въ самомъ дѣлѣ, обратный порядокъ, обязывающій гражданъ государства безпрекословно повиноваться всякимъ распоряженіямъ, исходящимъ отъ органовъ власти, на практикѣ неминуемо имѣлъ бы своимъ послѣдствіемъ полное изгнаніе правовыхъ началъ изъ жизни государства и подчиненіе обывателя ничѣмъ не ограниченному произволу. Возможность обжалованія незаконныхъ распоряженій и дѣйствій сама по себѣ еще не является достаточной гарантіей противъ такого произвола. Въ отношеніяхъ обывателя къ органамъ власти, какъ и въ отношеніяхъ его къ частнымъ лицамъ, бывають случаи, когда ему для дѣйствительной охраны своихъ правъ необходимо немедленно отразить направленное на нихъ покушеніе, и законъ предусматриваетъ эти случаи. Тѣ лица, которыя, подобно г. Хмѣликовскому, игнорируютъ это обстоятельство и высказываютъ опасенія по поводу вреднаго вліянія, производимаго на народныя массы открытымъ сопротивленіемъ власти, сознательно или безсознательно упускають изъ виду гораздо болѣе глубокое деморализующее вліяніе, оказываемое на массы зрѣлищемъ открытаго торжества безправія и произвола.

Указанный взглядъ не составляетъ исключительнаго достоянія однихъ теоретиковъ права. Пороку, по крайней мѣрѣ, онъ находитъ себѣ примѣненіе и въ практикѣ нашихъ судовъ. Между прочимъ, любопытный примѣръ такого примѣненія данъ былъ лѣтомъ текущаго года владивостокскимъ окружнымъ судомъ, разсматривавшимъ дѣло по обвиненію редактора газеты „Дальній Востокъ“, В. А. Панова, по статьѣ 1029-й ул. о нак., за помѣщеніе въ одномъ изъ вышедшихъ номеровъ газеты замѣтки, зачеркнутой цензоромъ.

Названное дѣло возникло по слѣдующему поводу. Въ одномъ изъ номеровъ „Дальняго Востока“ была напечатана замѣтка, являющаяся полною и точною копіей одного официальнаго документа, вывѣшеннаго на заборѣ во всеобщее свѣдѣніе и официально подписаннаго. Содержаніе этого документа было таково: „Объявленіе по Посѣтскому гарнизону. Сентября 4-го дня, 1900 г., п. Посѣтъ. До свѣдѣнія моего дошло, что какой-то негодяй позволяетъ себѣ заниматься рисованіемъ и писаніемъ гадостей въ дамской купальнѣ. Предваряю всѣхъ, что перваго виновнаго, пойманнаго въ этомъ, выдеру на мѣстѣ, кто бы онъ ни былъ, всыпавъ ему 50 плетей. Вмѣстѣ съ тѣмъ прошу гг. жителей п. Посѣта оказать мнѣ содѣйствіе въ отысканіи виновнаго. И. об. коменданта п. Посѣта капитанъ Филимоновъ“. Отъ себя редакція газеты прибавила къ этому документу лишь одну вступительную строчку: „помѣщается нижеслѣдующій курьезный документъ“. Мѣстный цензоръ зачеркнулъ всю эту замѣтку, но она тѣмъ не менѣе была напечатана

въ газетѣ и тогда противъ г. Панова, какъ редактора „Дальняго Востока“, было возбуждено судебное преслѣдованіе. Дѣло это разбиралось во Владивостокѣ 12-го іюня настоящаго года *).

Обвиненіе поставило на судѣ весь вопросъ на чисто формальную почву: цензору закономъ предоставлено право не пропускать статьи; обвиняемый, напечатавъ зачеркнутую цензоромъ статью, тѣмъ самымъ нарушилъ цензурное запрещеніе, а такъ какъ такой проступокъ точно предусмотрѣнъ 1029-й статьей уложенія о наказаніяхъ, то виновный и долженъ быть подвергнутъ устанавливаемой этою статьею карѣ. Обвиняемый Пановъ не призналъ однако себя виновнымъ въ совершеніи противозаконнаго поступка. Въ своей защитительной рѣчи онъ прежде всего указалъ на то, что законъ нигдѣ не смѣшиваетъ цензора съ цензурой и не считаетъ требованія цензора всегда равнозначными съ требованіями цензуры. Напротивъ, законъ предусматриваетъ и возможную неосмотрительность цензора въ ущербъ цензурѣ, и возможность произвола и злоупотребленій въ ущербъ печати. Задачи цензуры опредѣляются статьею 4-й цензурнаго устава, а специально для цензоровъ существуютъ особыя „Правила въ руководство цензурѣ“, созданныя, какъ это явствуетъ изъ сопоставленія отдѣльныхъ ихъ статей, именно въ предупрежденіе излишней цензурской придирчивости. Печать обладаетъ извѣстными правами, какъ духовными, такъ и моральными, нуждающимися въ охранѣ и находящими ее себѣ въ законѣ. Законодатель, „разрѣшая положительными законами существованіе печати, не могъ поставить ее въ практическомъ примѣненіи внѣ закона. Онъ долженъ былъ дать ей не милость и усмотрѣніе только со стороны цензоровъ, а осязательныя, положительныя права, также заключенныя въ законѣ. Законы, касающіеся этого предмета, носятъ названіе „Устава о цензурѣ и печати“. Это законы общіе для цензоровъ и редакторовъ, одинаково для нихъ обязательныя, и незнаніемъ ихъ ни тѣ, ни другіе отговариваться не могутъ“. Съ этой точки зрѣнія опредѣляется и законное положеніе цензоровъ между цензурой, т. е. велѣніями закона, и печатью, т. е. объектомъ этихъ велѣній. Уставъ о цензурѣ и печати называетъ цензоровъ чиновниками, обязываетъ ихъ „отправлять свою должность по словамъ и разуму цензурнаго устава“ и возлагаетъ на нихъ личную отвѣтственность за произвольное запрещеніе чего-либо, что по правиламъ этого устава не должно быть запрещаемо, иначе говоря, ставитъ ихъ по отношенію къ специальнымъ цензурнымъ законамъ въ такое же положеніе, какое занимаетъ всякій другой чиновникъ по отношенію къ законамъ общимъ.

*) Дальнѣйшія свѣдѣнія о судебномъ разбирательствѣ мы заимствуемъ изъ №№ 68, 69 и 70 газеты «Дальній Востокъ».

„Къ сожалѣнію,—указывалъ далѣе г. Пановъ,—въ обществѣ установился ложный взглядъ, что цензоръ „все можетъ“, что въ печати онъ „всевластенъ“ и что красная черта его карандаша во всѣхъ случаяхъ равнозначна закону“. Этотъ взглядъ ложенъ уже потому, что въ такомъ случаѣ устранялся бы самый законъ. Въ дѣйствительности, государство ни одному изъ своихъ чиновниковъ не даетъ права замѣнять законъ личнымъ усмотрѣніемъ. Къ печати вполнѣ примѣнимо общее правило, по которому обыватели обязаны исполнять лишь законныя требованія властей, а противъ незаконныхъ ихъ дѣйствій обладаютъ правомъ самозащиты. Мало того, — „неизбѣжность случаевъ законной самозащиты противъ незаконныхъ дѣйствій органовъ власти въ области печати выступаетъ острѣе и назойливѣе, чѣмъ гдѣ-либо. Печать сталкивается съ цензурою непрерывно, изо дня въ день, въ нервной, срочной притомъ работѣ. Для цензора соблазнъ незаконнаго „запрещенія“ естественно усиливается уже самою простотою, легкостью и большою безконтрольностью проявленія произвола, при обычной слабости отпора съ другой стороны и, во всякомъ случаѣ, при полной несоразмѣрности силъ въ его пользу. Для цензора произвольное запрещеніе—это только линія, проведенная краснымъ карандашомъ, въ рѣдкихъ только случаяхъ влекущая за собою административное напоминаніе или указаніе. Для нарушителя же запретительнаго смысла этой красной черты, насколько бы онъ ни чувствовалъ на своей сторонѣ право, все таки окончательное слово произнесетъ только судъ. Шансы далеко не равны. Естественно поэтому, что практически давленіе цензорскаго карандаша всегда перевѣшиваетъ собою встрѣчный отпоръ и продолжаетъ поддерживать въ массѣ ложную увѣренность, что и „по закону“ цензоръ „всевластенъ“. На этой же почвѣ нелегальныя отношенія цензоровъ къ печати, конечно, только приобрѣтаютъ болѣшую и болѣшую увѣренность,—и чѣмъ дольше и безпрепятственнѣе они воспитываются въ такомъ направленіи, тѣмъ труднѣе печати отстоять свое законное право“. Такимъ путемъ для печати создается крайне ненормальное и тяжелое положеніе, особенно для печати провинціальной, подчиненной надзору не специальныхъ цензоровъ, а обыкновенныхъ чиновниковъ, которые, занимая двойственное положеніе между общей и цензурной администраціей, въ силу этого особенно доступны постороннимъ соображеніямъ и вліяніямъ.

Переходя отъ общихъ соображеній къ тому случаю, который явился предметомъ судебного разбирательства, г. Пановъ путемъ остроумнаго юридическаго анализа доказывалъ, что статья 1029 ул. о нак., устанавливающая кару „за допущеніе въ періодическихъ изданіяхъ мѣсть, недозволенныхъ цензурою“, должна быть понимаема слѣдующимъ образомъ: она караетъ за нарушеніе цензорскаго запрещенія въ томъ случаѣ, когда противоцензурность

напечатаннаго не предусмѣтрѣна какою-либо другою спеціальною статьею Уложенія, но всетаки лишь при томъ непремѣнномъ условіи, что напечатанное по существу противно правиламъ цензурнаго устава. Между тѣмъ инкриминированная замѣтка „Дальняго Востока“, воспроизводя объявленіе, вывѣшенное на заборахъ во всеобщее свѣдѣніе властью, имѣвшею на то право, не заключала въ себѣ ничего противоцензурнаго. „Огласка заключающагося въ объявленіи факта—говорилъ г. Пановъ—совершена была гораздо ранѣе редакціи и совершенно независимо отъ нея. За содержаніе объявленія редакція также не отвѣтственна, такъ какъ оно принадлежит не ей и оффиціальнымъ авторъ извѣстенъ. Самое объявленіе, наконецъ, обращается къ общественному содѣйствію, т. е. просить, между прочимъ, и дальнѣйшей огласки... Газета, съ этой стороны, оказывала очевидную услугу оффиціальному лицу, обращавшемуся къ отзывчивости общества съ несомнѣннымъ правомъ такого обращенія. Съ другой же стороны, газета, естественно усматривая въ этомъ обращеніи нѣкоторое „несоотвѣтствіе“ между общаемою виновнику „поркою въ 50 плетей“ и законами Россійской имперіи, несла и ту часть своей общественной и государственной службы, которая, неоспоримо, предоставлена ей самимъ закономъ и санкціонирована послѣднимъ, какъ нѣчто ей присущее“. Запрещеніе такой замѣтки, подобныя которой постоянно являются въ печати, не будучи воспрещаемы ни цензурнымъ уставомъ, ни спеціальными циркулярами цензурнаго вѣдомства, очевидно, могло быть только произвольнымъ. Подтвержденіе этому г. Пановъ усматривалъ и въ самой формѣ состоявшагося запрещенія. Ст. 58-я цензурнаго устава требуетъ при воспрещеніи цѣлой статьи отмѣтить представившему ее, что она „не дозволена къ напечатанію на основаніи такой-то статьи устава цензурнаго“. Такая отмѣтка необходима, между прочимъ, „для сужденія о легальности дѣйствій органа власти по существу, ибо знаніе законовъ вмѣнено въ обязанность каждому. Отсутствие статьи закона равносильно въ данномъ случаѣ отсутствію законнаго права запретить печатаніе, а потому и самое запрещеніе не можетъ почитаться обязательнымъ къ исполненію“. Въ данномъ случаѣ никакой статьи цензурнаго устава указано не было: „замѣтка просто на просто была только перечеркнута, безъ всякихъ объясненій“...

Имѣя передъ собою незаконное дѣйствіе цензора, г. Пановъ, конечно, могъ пойти путемъ обжалованія этого дѣйствія по цензурной инстанціи. Но развѣ изъ существованія этого пути—спрашивалъ онъ на судѣ—„слѣдуетъ, что другой путь—путь самозащиты законныхъ правъ противъ незаконныхъ на нихъ посягательствъ—становится незаконнымъ, когда его допускаетъ даже самъ законъ? Путь самообороны при извѣстныхъ условіяхъ столь же легаленъ, какъ и путь обыкновенной жалобы. Винить только

за выборъ того, а не другого, отнюдь нельзя, потому что это дѣло наличныхъ обстоятельствъ. Одинъ путь несравненно тернистѣе, но за то при избраніи его нужно гораздо большее сознаніе своей правоты; другой, правда, гораздо глаже, но слишкомъ неудовлетворителенъ по результатамъ“. Въ данномъ случаѣ газета, выбирая второй путь, „рискуетъ самымъ своимъ существованіемъ, печатая статьи мѣстнаго интереса лишь послѣ того, какъ онѣ побываютъ на разрѣшеніи въ Петербургѣ и вернутся оттуда почтою. Идя этимъ путемъ, можно, конечно, очень часто получить нравственное удовлетвореніе, но вмѣстѣ съ тѣмъ практически, имѣя всѣ законныя права изданія, оказаться вынужденнымъ прекратить его по волѣ одного только цензора“. „Я не нарушилъ никакого закона—сказалъ г. Пановъ въ заключеніе своей защиты.—Я не отождествлялъ только (и совершенно правильно) цензорскую пометку съ закономъ, не призналъ ея обязательности; но она и не обязательна, потому что во всѣхъ отношеніяхъ произвольна—и по внутреннему, и по внѣшнему своему содержанію. За что же тогда меня карать? И я поэтому спокойно жду нелицепріятнаго приговора, убѣжденный, что законность и правомѣрность столь же обязательны въ цензурѣ, какъ и всюду“.

Владивостокскій окружный судъ согласился съ доводами редактора „Дальняго Востока“ и вынесъ ему оправдательный приговоръ.

Дѣло г. Панова, разбивавшееся во Владивостокѣ, представляетъ не мало аналогій съ дѣломъ дворянъ Безмѣновыхъ, разсматривавшимся въ Ставрополѣ и Тифлисѣ. Но рѣшеніе этихъ двухъ дѣлъ судомъ оказалось существенно различнымъ. Такое различіе судебной практики зависитъ, конечно, не только отъ различія географической широты и долготы. Источника его, намъ кажется, въ значительной мѣрѣ приходится искать въ самомъ законѣ, въ недоговоренности, чтобъ не сказать—неясности, послѣдняго, благодаря которой онъ не вполне удовлетворяетъ потребностямъ современной жизни общества. Уровень правового самосознанія нашего общества постепенно повышается. Какъ ни медленно идетъ этотъ процессъ, онъ все же существуетъ и результаты его обнаруживаются въ жизни. Наряду съ людьми, склонными рѣшительно предпочитать закону административное усмотрѣніе и, отрицая самыя элементарныя права обывателя, надѣлять представителей этого усмотрѣнія самыми широкими полномочіями, все въ большемъ количествѣ выступаютъ и люди другого типа, сознающіе все значеніе закона и личныхъ правъ и готовыхъ отстаивать ихъ отъ неправильныхъ покушеній. Этотъ ростъ гражданской личности, совершившійся въ нашемъ обществѣ, остается, однако, неучтеннымъ въ дѣйствующемъ законодательствѣ. Последнее даетъ обывателю слишкомъ мало гарантій безпретятственнаго пользованія даже тѣми правами, которыя обез-

печены за нимъ закономъ, и, съ другой стороны, обставляетъ отвѣтственность представителей администраціи рядомъ такихъ формальныхъ условій, которые на практикѣ сильно суживаютъ значеніе этой отвѣтственности, если даже не дѣлаютъ ее проблематичной. Отсюда и возникаетъ рядъ тѣхъ противорѣчиво разрѣшающихся конфликтовъ, образцы которыхъ мы видѣли выше. При такихъ условіяхъ очередною задачей, на которой должно сосредоточиться общественное вниманіе, является измѣненіе правового положенія обывателя въ смыслѣ предоставленія ему болѣе широкихъ правъ и болѣе самостоятельности въ дѣлѣ ихъ охраны. Только на этомъ пути можно найти дѣйствительное разрѣшеніе назрѣвшаго вопроса, только этотъ путь обѣщаетъ и радикальное устраненіе тѣхъ противорѣчій между закономъ и практикой жизни, которые существуютъ въ настоящее время и порою такъ больно даютъ себя чувствовать обывателю.

II.

Весною нынѣшняго года въ печати много и горячо говорилось о „сердечности“, которая въ ближайшемъ времени должна стать отличительнымъ атрибутомъ нашей школы. Казалось, для послѣдней внезапно наступила новая эра, озаменованная совершенно иными порядками, совсѣмъ инымъ отношеніемъ къ ученикамъ. Голоса немногочисленныхъ скептиковъ, раздававшіеся порою въ прессѣ, терялись въ громкомъ хорѣ восторженныхъ восклицаній. Но прошло лѣто, начался учебный сезонъ,—и вмѣстѣ съ лѣтними цвѣтами поблѣднѣли и увяли эти розовыя ожиданія и надежды. На столбцахъ столичныхъ и провинціальныхъ газетъ одно за другимъ стали появляться извѣстія, свидѣтельствующія о томъ, что въ различныхъ углахъ нашего обширнаго отечества школьная жизнь идетъ по старому, десятилѣтіями проложенному руслу. Старые порядки этой жизни съ ихъ жесткимъ формализмомъ оказались весьма мало поколебленными приказами, трактовавшими о необходимости сердечнаго отношенія къ учащимся. По прежнему двери школы туго открываются передъ ищущими образованія, по прежнему внутри ея стѣнъ практикуются подчасъ удивительные педагогическіе приемы и полное пренебреженіе къ личности учащихся, по прежнему, наконецъ, между школою и семьей лежитъ глубокая, непреходимая пропасть. Недавно еще одна петербургская газета *) передавала, со словъ „Новаго Обозрѣнія“, любопытныя подробности о совѣщаніи родителей учащихся, созванномъ директоромъ владикавказской мужской гимназіи „для ознакомленія—какъ значилось въ повѣсткахъ—съ началами

*) «Спб. Вѣд.», 27 сент. 1901 г.

и пѣлями преобразуемыхъ гимназій и требованіями, откуда вытекающими, и для совмѣстнаго обсужденія вопросовъ о воспитаніи дѣтей“. Совѣщаніе это, на которое собралось много представителей мѣстнаго интеллигентнаго общества, открылось рѣчью директора, въ которой онъ „указалъ, что главныя силы новой школы должны быть устремлены на борьбу съ разными тлетворными вѣяніями, губящими молодежь, а потому прежде всего нужно насадить въ дѣтяхъ религіозно-нравственныя чувства“. Послѣ того директоръ предложилъ прибывшимъ на совѣщаніе лицамъ высказаться по этому вопросу. Но, когда одинъ изъ нихъ, слѣдуя такому приглашенію, сталъ говорить, что, по его мнѣнію, о душѣ ребенка должна заботиться не только семья, но и школа, которой предстоитъ для этого отказаться отъ формализма и проявить на дѣлѣ любовь къ дѣтямъ, директоръ прервалъ эту рѣчь. Онъ категорически заявилъ, что не позволитъ передавать дѣятельность служебнаго персонала на судъ общества; что онъ пригласилъ родителей совѣщаться объ общихъ принципахъ воспитанія, а не частныхъ явленій и случаевъ; что, наконецъ, владикавказская гимназія всегда отличалась духомъ сердечности и гуманности, и довѣрять рассказамъ дѣтей нельзя. Затѣмъ директоръ предложилъ присутствовавшимъ еще высказаться. Такъ какъ никто болѣе не изъявилъ желанія говорить, то собраніе было сочтено закончившимся и всѣ безмолвно разошлись. Чувствовалась—прибавляетъ газетный корреспондентъ—общая неловкость—точно всѣ какъ-то сконфузились и не знали, что теперь полагается дѣлать“. И, дѣйствительно, не легко сказать, что „полагается дѣлать“, когда людей приглашаютъ „для совмѣстнаго совѣщанія“ и вмѣстѣ съ тѣмъ зажимаютъ имъ ротъ. Всего вѣрнѣе, что въ этомъ случаѣ полагается именно разойтись съ совѣщанія, обращающагося въ монологъ одной стороны... Какъ бы то ни было, рассказанный фактъ можетъ служить недурною иллюстраціей современнаго „сближенія“ школы съ семьей.

Не менѣе характерный фактъ школьной жизни сообщенъ въ одномъ изъ послѣднихъ номеровъ „Астраханскаго Вѣстника“. 25 сентября въ названной газетѣ появилось слѣдующее „письмо въ редакцію“:

«М. г., г. редакторы! Въ послѣднемъ № вашей газеты, въ отчетѣ о публичномъ актѣ реальнаго училища, я прочелъ, что сынъ мой Александръ Лурье переведенъ изъ приготовительнаго класса въ 1-й классъ съ наградой второй степени. Считаю нужнымъ дополнить этотъ отчетъ тѣмъ, что сынъ мой, удостоенный въ маѣ мѣсяцѣ награды, въ августѣ еще до начала занятій былъ исключенъ изъ реальнаго училища. Одно какъ будто противорѣчить другому, но объясненіе кроется въ еврейскомъ происхожденіи моего сына. Для людей, не посвященныхъ въ глубокія тайны еврейскихъ правъ или, вѣрнѣе сказать, безправія, придется сдѣлать нѣкоторое поясненіе. Въ маѣ мѣсяцѣ у сына моего въ послѣдней четверти было выведено четыре, а потому мнѣ было заявлено, что онъ переведенъ безъ экзамена въ 1 классъ

съ наградой 2 степени, тутъ же ему былъ выданъ отпускной билетъ, въ которомъ онъ былъ названъ ученикомъ 1 класса. Въ августѣ мѣсяцѣ въ 1 кл. реальнаго училища держало экзаменъ еще нѣсколько еврейскихъ мальчиковъ и получили лучшія отмѣтки, чѣмъ мой сынъ. Въ виду этого на педагогическомъ совѣтѣ постановили изгнать моего сына изъ училища, а вновь державшіе экзамены были приняты. Мнѣ было заявлено, что процентное отношеніе, дозволенное циркуляромъ для числа еврейскихъ учениковъ, заполнено и поэтому для моего сына нѣтъ больше мѣста.

«Не имѣя возможности вдаваться въ критику существующихъ узаконеній относительно евреевъ, я удивляюсь только тому, какъ начальство училища не нашло нужнымъ предупредить меня весною, что сынъ мой, хотя и переведенный въ 1 классъ съ наградой, всетаки войдетъ въ конкурсъ съ новопоступающими. Вѣдь переводя его безъ экзамена, начальство училища этимъ самымъ лишило его возможности участвовать въ конкурсѣ. Если для поступленія въ 1 классъ нуженъ конкурсный экзаменъ, то здравый смыслъ говоритъ, что нужно, по крайней мѣрѣ, всѣмъ желающимъ предоставить право держать этотъ экзаменъ.

«Не предупредило же меня начальство училища потому, что, по его словамъ, всякій человекъ обязанъ знать циркуляры и законы и, слѣдовательно, съ формальной стороны оно поступило правильно.

«Приходится, видимо, утѣшаться тѣмъ, что сынъ мой лишенъ возможности учиться «по всѣмъ правиламъ».

«Какъ въ данномъ случаѣ проявилось истинное пониманіе педагогами своего призванія и нравственной отвѣтственности, предоставляю судить другимъ. Цѣль моего письма—предупредить тѣхъ родителей, которые на будущее время захотятъ своихъ дѣтей опредѣлять въ реальное училище, такъ какъ само начальство, вѣроятно, опять не найдетъ нужнымъ сдѣлать это.

М. Лурье».

Мы позволимъ себѣ, основываясь на полученныхъ нами свѣдѣніяхъ, сдѣлать кое-какія дополненія къ сказанному въ этомъ письмѣ. Послѣ исключенія сына г. Лурье послѣдній получилъ отъ директора реальнаго училища объясненіе, что согласно имѣющемуся циркуляру, ученики приготовительнаго класса при переходѣ въ первый подвергаются конкурсу. Спрашивается, однако, могло ли училищное начальство,—по крайней мѣрѣ, безъ соответствующаго предупрежденія родителей,—освобождать ученика отъ экзаменовъ при томъ условіи, что благодаря этому его годовыя отмѣтки должны войти въ конкурсъ съ отмѣтками державшихъ конкурсный экзаменъ? Освобожденіе отъ экзаменовъ дается не каждому ученику: оно является извѣстной льготой для болѣе преуспѣвающихъ. Но плоха та льгота, въ результатъ которой ученикъ можетъ оказаться исключеннымъ изъ школы. Съ другой стороны, родители учащихся обязаны знать лишь законы, но не должны, да и не могутъ знать циркуляровъ учебнаго вѣдомства. Мы не будемъ уже говорить о томъ, что начальство училища, выдавая сыну г. Лурье отпускной билетъ, въ которомъ онъ названъ ученикомъ перваго класса, тѣмъ самымъ вводило его отпа въ заблужденіе. Но какъ назвать тотъ фактъ, что г. Лурье было объявлено объ исключеніи его сына въ августѣ, одновременно съ врученіемъ похвального листа, выданнаго его сыну „за отличные успѣхи, поведеніе и прилежа-

ніе“? Награда, даваемая въ такихъ условіяхъ, обращается въ злую насмѣшку.

Къ этимъ общимъ соображеніямъ не мѣшаетъ присоединить еще одно, специально касающееся даннаго случая. Г. Лурье—врачъ и въ качествѣ такового въ теченіе двухъ лѣтъ безвозмездно занимался медицинскими осмотрами учениковъ какъ реальнаго, училища, такъ и другихъ учебныхъ заведеній г. Астрахани. Имѣя въ виду это обстоятельство, нельзя не сказать, что учебное вѣдомство нѣсколько страннымъ и неожиланнымъ способомъ отблагодарило г. Лурье за его услуги. Послѣдній обращался съ прошеніемъ и къ попечителю казанскаго учебнаго округа, ходатайствуя объ обратномъ приѣмѣ своего сына въ реальное училище, но получилъ отвѣтъ, что это не зависитъ отъ попечителя. Неужели, однако, власть попечителя, столь широкая въ другихъ отношеніяхъ, недостаточна для разрѣшенія такого простого казуса? И неужели то отношеніе къ еврейскому юношеству, какое сказалось въ изложенномъ эпизодѣ, входитъ въ рубрику „сердечнаго отношенія“ къ учащимся? Вѣдь даже старая, не-„реформированная“ школа знала не такъ ужъ много случаевъ, подобныхъ разсказанному.

III.

Въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“ опубликованы Высочайше утвержденныя 15-го сентября 1901 года „временныя правила объ участіи населенія пострадавшихъ отъ неурожая мѣстностей въ работахъ, производимыхъ распоряженіемъ вѣдомствъ путей сообщенія и земледѣлія и государственныхъ имуществъ“. Правила эти въ главныхъ своихъ пунктахъ сводятся къ слѣдующему. Сельскимъ обывателямъ пострадавшихъ отъ неурожая мѣстностей „предоставляется участіе въ производствѣ работъ“, предполагаемыхъ или особо для этого назначаемыхъ названными вѣдомствами. Подобныя работы — „преимущественно на мѣстахъ недорода, а въ случаѣ необходимости — въ иныхъ мѣстностяхъ“ — производятся „распоряженіемъ подлежащихъ управленій, примѣнительно къ установленному въ законѣ порядку, съ тѣми отъ онаго отступленіями, которыя будутъ вызываться необходимостью“. При этомъ выбираются такія работы и тѣ способы ихъ выполненія, которые наиболѣе отвѣчаютъ потребностямъ населенія въ заработкахъ. Работы открываются на средства, отпущенныя по смѣтамъ подлежащихъ вѣдомствъ, а въ необходимыхъ случаяхъ на особые, ассигнуемые для этого изъ государственнаго казначейства, кредиты. Общее завѣдываніе устройствомъ такихъ работъ и попеченіе о населеніи, для котораго онѣ устраиваются, принадлежитъ министру внутреннихъ дѣлъ, для приведенія же въ исполненіе распоряженій названнаго

министерства по примѣненію настоящихъ правилъ на мѣстахъ „могутъ быть назначаемы особые уполномоченные, порядокъ дѣйствія и предѣлы власти которыхъ опредѣляются министромъ“. Для разсмотрѣнія тѣхъ, касающихся работъ, вопросовъ, которые требуютъ взаимнаго соглашенія отдѣльныхъ вѣдомствъ, при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ образовывается совѣщаніе по продовольственному дѣлу изъ представителей министерствъ внутреннихъ дѣлъ, финансовъ, путей сообщенія, земледѣлія и государственныхъ имуществъ, государственнаго контроля и другихъ подлежащихъ вѣдомствъ, подъ предсѣдательствомъ товарища министра внутреннихъ дѣлъ, причемъ заключенія этого совѣщанія представляются на утвержденіе министра внутреннихъ дѣлъ и тѣхъ министровъ и главноуправляющихъ отдѣльными частями, предметовъ вѣдомства которыхъ они касаются. Къ обязанностямъ названнаго совѣщанія „ближайшимъ образомъ относятся: а) разрѣшеніе необходимыхъ по заявленію вѣдомствъ отступленій отъ установленнаго порядка производства работъ или правилъ счетоводства и отчетности; б) обсужденіе предположеній о назначеніяхъ, вызываемыхъ устройствомъ работъ съ продовольственной цѣлью; в) установленіе предѣльныхъ размѣровъ вознагражденія рабочихъ, а равно опредѣленіе другихъ условій предоставленія населенію участія въ означенныхъ работахъ; г) распредѣленіе рабочихъ партій по районамъ работъ и д) завѣдываніе передвиженіемъ этихъ партій къ мѣстамъ производства работъ“.

Самая организація работъ на мѣстахъ получаетъ по правиламъ 15-го сентября слѣдующій видъ. Выясненіе численности нуждающагося въ заработкахъ населенія въ отдѣльныхъ сельскихъ обществахъ, волостяхъ и уѣздахъ, указаніе работъ, къ которымъ оно наиболѣе пригодно, и представленіе этихъ свѣдѣній губернаторамъ возлагаются на обязанность земскихъ начальниковъ. Губернаторы сообщаютъ полученныя свѣдѣнія со своимъ заключеніемъ министерству внутреннихъ дѣлъ и, по его указанію, распоряжаются черезъ земскихъ начальниковъ отправленіемъ рабочихъ къ мѣстамъ производства работъ. „При устройствѣ работъ въ мѣстахъ осѣдности нуждающагося населенія наемъ рабочихъ совершается на общемъ основаніи. Въ случаѣ привлеченія сельскихъ обывателей неурожайныхъ мѣстностей къ работамъ, производящимся внѣ районовъ ихъ осѣдности, рабочіе образуютъ, подъ наблюденіемъ земскаго начальника, отдѣльныя артели. Для завѣдыванія въ нихъ хозяйственною частью и надзора за порядкомъ избираются особые старосты, утверждаемые земскимъ начальникомъ. При образованіи артели рабочимъ объявляются мѣсто и родъ предлагаемой работы, размѣръ заработной платы и правила, коимъ они обязаны подчиняться, выдаются, въ случаѣ необходимости, задатки и составляется поименный спи-

сокъ образующихъ артель рабочихъ съ обозначеніемъ объявленныхъ имъ условій найма и размѣра полученныхъ задатковъ. Списокъ этотъ, утвержденный мѣстнымъ земскимъ начальникомъ, по удостовѣреніи въ правильности его составленія и въ добровольномъ согласіи включенныхъ въ оный лицъ, имѣетъ силу обязательства по договору найма. Тотъ же списокъ замѣняетъ для внесенныхъ въ оный рабочихъ—при передвиженіи и на время участія въ работахъ—установленные закономъ виды на жительство и хранится до прибытія на мѣсто у чиновника, сопровождающаго рабочихъ въ пути, или, въ случаѣ его отсутствія, у артельного старосты, а затѣмъ—у завѣдующаго производствомъ работъ лица“. Передвиженіе рабочихъ артелей, заботы объ обезпеченіи ихъ въ пути продовольствіемъ и возможною врачебною помощью, равно какъ о сохраненіи порядка во время пути, и передача доставленныхъ партій рабочихъ завѣдующимъ работами ввѣряются особо командируемымъ отъ министерства внутреннихъ дѣлъ чинамъ, причемъ перевозка рабочихъ партій и продовольствіе ихъ въ пути принимаются на счетъ казны. Распределеніе рабочихъ по отдѣльнымъ работамъ, устройство для нихъ жилыхъ помѣщеній, обезпеченіе продовольствіемъ и возможною врачебной помощью, равно какъ расплата съ ними возлагаются на обязанность должностныхъ лицъ производящаго работы вѣдомства. „При этомъ означенныя должностныя лица, по сообщенію губернскаго начальства мѣстностей, гдѣ остались семьи рабочихъ, удерживаютъ, въ случаѣ возможности, часть заработной платы и отсылаютъ ее по принадлежности для поддержки этихъ семействъ“.

Наконецъ, „надзоръ за сохраненіемъ рабочими должнаго порядка въ мѣстахъ производства работъ возлагается, по распоряженію министра внутреннихъ дѣлъ, на мѣстныхъ земскихъ начальниковъ, офицеровъ отдѣльнаго корпуса жандармовъ, полицейскихъ чиновниковъ или особо для сего назначенныхъ лицъ“ (ст. 16 правилъ). Сверхъ того правила устанавливаютъ для участниковъ работъ особый, непредусмотрѣнный общими законами, порядокъ наложенія взысканій и особые виды каръ. „Въ случаяхъ нарушенія общественной тишины и спокойствія, явно недобросовѣстнаго отношенія къ работѣ или неисполненія законныхъ требованій лицъ, завѣдывающихъ производствомъ работъ или наблюдающихъ за порядкомъ на оныхъ, виновные въ томъ рабочіе могутъ быть подвергаемы безъ особаго судебного производства, по распоряженію чиновъ, упомянутыхъ въ ст. 16, аресту до трехъ дней при волостныхъ и полицейскихъ управленіяхъ, или въ особо приспособленныхъ для сего помѣщеніяхъ, либо въ земскихъ арестныхъ домахъ; за упорное же уклоненіе отъ работы они, по распоряженію тѣхъ же чиновъ, могутъ быть отправляемы поэтапу въ мѣсто постоянного ихъ жительства. Въ каждомъ случаѣ принятія указанныхъ мѣръ должностнымъ лицомъ, ихъ примѣняющимъ, со-

ставляется о семъ постановленіе, съ краткимъ изложеніемъ его основаній. Означенное постановленіе приводится немедленно въ исполненіе“. Общее попеченіе о находящихся въ предѣлахъ губерніи рабочихъ и устраненіе могущихъ возникнуть недоразумѣній возлагаются правилами на обязанность губернаторовъ. На первоначальные расходы по устройству работъ министромъ внутреннихъ дѣлъ будутъ отпущены изъ общаго продовольственнаго капитала въ распоряженіе подлежащихъ должностныхъ лицъ и учреждений необходимыя денежныя средства съ тѣмъ, что позднѣе они будутъ возмѣщены изъ подлежащихъ источниковъ. Распространеніе дѣйствія правилъ 15 сент. 1901 г., полностью или частью, на работы, устраиваемыя другими вѣдомствами или частными желѣзнодорожными обществами, „зависитъ—гласитъ заключительная статья этихъ правилъ—отъ соглашенія сихъ вѣдомствъ и обществъ съ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ. При этомъ размѣръ участія казны въ уплатѣ устанавливаемого совѣщаніемъ по продовольственному дѣлу вознагражденія рабочимъ, принимаемымъ на работы означенныхъ обществъ, опредѣляется соглашеніемъ министровъ внутреннихъ дѣлъ и финансовъ, по предварительномъ разсмотрѣніи этого вопроса въ названномъ совѣщаніи“.

За мѣсяцъ, истекшій со времени предъидущей нашей хроники, состоялись слѣдующія административныя распоряженія по дѣламъ печати: 1) 13 сентября: „министръ внутреннихъ дѣлъ опредѣлилъ: вновь допустить розничную продажу номеровъ газеты „Петербургскій Листокъ“, воспрещенную распоряженіемъ отъ 6 сентября сего года“; 2) 13 сентября: „на основаніи ст. 178 уст. о ценз. и печ., св. зак., т. XIV, изд. 1890 г., министръ внутреннихъ дѣлъ опредѣлилъ: воспретить розничную продажу номеровъ газеты „Русское Слово“ на одну недѣлю“; 3) 16 сентября: „министръ внутреннихъ дѣлъ опредѣлилъ: вновь допустить розничную продажу номеровъ „Петербургской газеты“, воспрещенную распоряженіемъ отъ 9 сентября сего года“.

Сверхъ того, по сообщенію „Финляндской газеты“, и. д. финляндскаго генералъ-губернатора, по предложенію особаго совѣщанія по дѣламъ печати, постановилъ прекратить изданіе слѣдующихъ финляндскихъ газетъ: 1) шведскихъ—„Dagligt Allehanda“, „Borja Nya Tibning“, „Jakobstads Tidning“; 2) финскихъ—„Savo Karjala“, „Savonlinna“, „Vnoksi“. Slѣдующія газеты приостановлены на три мѣсяца: шведская—„Björneborgs Tibning“, финская—„Kaleada“. Предостереженіе объявлено слѣдующимъ газетамъ: „Abo Underrätelser“, „Uusi Suometar“, „Väpuri“ и „Työmies“.

Наша текущая жизнь.

(Журнально-газетное обозрѣніе).

«Гражданинъ» за три четверти года (съ января по сентябрь включительно).— «Міръ Божій», Вѣстникъ Европы и «Русская Мысль» за іюль, августъ сентябрь.

Нѣтъ, по истинѣ надо извѣстное самообладаніе, чтобы удержаться отъ комическаго тона, когда говоришь о князѣ—„Гражданинъ“ и его публицистически-обличительныхъ твореніяхъ. Вся наша печать потѣшается надъ сіятельнымъ литераторомъ; для всѣхъ, держащихъ у насъ перо въ рукахъ, онъ притча во языцѣхъ; и враги, и друзья его направленія считаютъ пріятнымъ долгомъ пробовать силу своихъ полемическихъ мускуловъ на этой бѣдной „головѣ турка“ и пожинать дешевые лавры въ борьбѣ съ симъ внукомъ Карамзина. И, дѣйствительно, все въ кн. Мещерскомъ вызываетъ его критиковъ на такое отношеніе. Сочетаніе смертной охоты писать и горькой участи не уметь связно выражать свои мысли; претензія на послѣдовательное и стройное—скажемъ, консервативное—міровоззрѣніе и неожиданныя выходки противъ своихъ же идоловъ, которымъ столько разъ почтенный сочинитель разбивалъ носы неумѣренными размахами кадилъницы; самый языкъ, представляющій ни русскую, ни французскую рѣчь, а ту знаменитую смѣсь французскаго съ нижегородскимъ, надъ которою такъ смѣются образованные европейцы, слыша ее изъ устъ нашихъ „свѣтскихъ“ людей.

Подумайте же, какую благодарную тему для бойкаго газетчика представляетъ издѣвательство надъ безграмотностью князя, который, по неподражаемой ироніи судьбы, въ рѣдкой изъ своихъ статей не обличаетъ въ свою очередь именно „безграмотныхъ борзописцевъ“, въ особенности же въ лагерѣ ненавистныхъ ему „либераловъ“. Предоставимъ, однако, литературнымъ собратьямъ „Гражданина“ справлять дешевыя граматическія побѣды надъ кн. Мещерскимъ. Насъ болѣе интересуеетъ, о чемъ пишетъ онъ, чѣмъ то, какъ онъ пишетъ. Да насмѣшки въ данномъ случаѣ и не могутъ подѣйствовать: князь хочетъ писать, и пишетъ цѣлыми годами, не лучше и не хуже, не связнѣе и не толковѣе, чѣмъ теперь, — и въ этомъ смыслѣ слѣдуетъ признать за нимъ темпераментъ литератора. Онъ полагаетъ, что у него есть о чемъ повѣдать міру, и онъ упорно „вѣдаетъ“ чернымъ по бѣлому, нисколько не смущаясь криками, издѣвательствами, руганью, ироническими поощреніями и т. п. Онъ пишетъ—и самъ же при

знается, что мало у него есть друзей читателей не только вообще, но даже и въ его собственномъ лагерѣ. Онъ пишетъ—и великодушно-незлобиво сравниваетъ тихо прошедшій четыре года тому назадъ свой собственный юбилей съ шумно-прошедшимъ въ этомъ году юбилеемъ А. С. Суворина, съ которымъ онъ полемизируетъ, но котораго считаетъ теперь въ общемъ симпатичнымъ писателемъ. Очевидно, это—человѣкъ идеи, служитель ея, готовый претерпѣть за нее всевозможныя злоключенія и пожертвовать если не всѣмъ, то многимъ, напр., литературнымъ самолюбіемъ и т. п...

Но тутъ меня беретъ раздумье, не преувеличилъ ли я величіе этой жертвы. Стоицизмъ великолѣпенъ, поскольку человѣкъ ощущаетъ страданія и подавляетъ боль силою воли. Но кн. Мещерскій если чѣмъ страдаетъ, то идейной анестезіей. У него, напр., совсѣмъ отсутствуетъ чувство литературнаго стыда. Иной, казалось бы, совершенно оголѣлый человѣкъ постыдится сказать публично что-нибудь непотребное; ну, а вырвалось слово, постарается какъ-нибудь замазать его, придать ему нестыдное значеніе. Даже птенцы гнѣзда Каткова, прижатые обстоятельствами къ стѣнѣ, порою прекращали свой злобный пискъ. А возьмите типичнаго нововременца, такъ тотъ при случаѣ спиралью изовьется, чтобы только выскочить изъ непріятнаго положенія, куда его столь часто ставить красное словцо, изъ-за котораго, какъ извѣстно, откровенная газета отпа съ матерью не пожалѣетъ. Но кн. Мещерскій чуждъ этой робости: онъ, по истинѣ, Роландъ безстыдства; и если съ кончика его французско-нижегородскаго пера сорвется какое-нибудь непотребство, онъ снова и снова возвратится къ нему, онъ усугубитъ его, и десять разъ пройдетъ по загаженному имъ мѣсту, вмѣняя даже себѣ это въ особую заслугу. И, конечно, эта анестезія даетъ ему громадное преимущество передъ прочими выразителями того же міровоззрѣнія, а вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаетъ чтеніе кн. Мещерскаго очень поучительнымъ. Я остановлюсь особенно на одной сторонѣ этой поучительности.

У насъ принято считать издателя „Гражданина“ за литературнаго юродиваго. О словахъ спорить нечего. Но если подъ этимъ названіемъ вы разумѣете человѣка, который не смущается публично говорить и дѣлать то, о чемъ другіе лишь помышляютъ или въ крайнемъ случаѣ бесѣдуютъ келейно съ друзьями, то кн. Мещерскій, дѣйствительно, юродивый консервативнаго лагеря. И, однако, въ этомъ смыслѣ его разсужденія, взвизгиванія и причитанія—или, чтобы употребить его любимое выраженіе, „элюкубраціи его мозга“—имѣютъ гораздо большее значеніе, чѣмъ обыкновенно у насъ думаютъ...

Читатель, вѣроятно, помнитъ, что кн. Мещерскій въ свое время получилъ отъ російскихъ либераловъ презрительно-

насмѣшливый титулъ „Князя - Точки“; и данъ былъ ему этотъ титулъ за то, что князь-„Гражданинъ“ настойчиво приглашалъ тѣхъ, кому о семъ вѣдать надлежитъ, поставить „точку“ къ реформамъ, слѣдовавшимъ за 19-е февраля. О, сколько веселыхъ насмѣшекъ надъ наивнымъ княземъ было въ то пригнопамятное время, когда Россія шла по пути прогресса съ нестерпимой, можно сказать, быстротой семимильныхъ сапоговъ... повѣшенныхъ, впрочемъ, ея у себя за спиной на исторической палкѣ „Пантелея-Цѣлителя“, а въ тактъ громыхалъ и звонилъ „мѣдный тазъ либерализма“ (выраженіе Н. К. Михайловскаго)! Но вотъ утихъ звонъ либеральнаго таза, и даже нѣжную свирѣль, которой наши Маниловы мирнаго преуспѣянія вздумали было укрощать доморощенныхъ „элефантовъ и леонтовъ“, пришлось спрятать въ карманъ рядомъ съ негодующимъ кукишемъ. Теперь въ свою очередь могъ посмѣяться и князь, ибо къ реформамъ была поставлена если не точка, то хорошее многоточіе. Да и по сіе время мы топчемся на семъ знакѣ препинанія, какъ читатель можетъ убѣдиться изъ бемольныхъ фіоритуръ уже упомянутыхъ Маниловыхъ, либеральныя статьи которыхъ теперь пишутся — если вообще пишутся — съ обычнымъ вступленіемъ: „къ сожалѣнію, не смотря на наше, казалось бы, скромное и солидное прошлое, насъ не балуютъ вотъ уже сколько лѣтъ своимъ довѣріемъ“ и т. д.

А „князь-точка“ вотъ что пишетъ теперь по поводу „періода великихъ реформъ“:

Но шутки въ сторону, неужели когда въ разныхъ городскихъ думахъ, изъ дна людской либеральной пошлости выходитъ это излюбленное лицемѣрное предложеніе ходатайствовать объ установленіи 19-го февраля какого-то праздника изъ праздниковъ, ни изъ чьей души чистой и честной не возысится голосъ, чтобы сказать этимъ непрошенымъ глашатаямъ народныхъ чувствъ, что когда было бы возможно смыть изъ исторіи русскаго государства то 1-е марта, которымъ Россія (а не убійцы) отблагодарила своего Царя за 19-е февраля, тогда будетъ возможно, не оскорбляя ни русское сердце, ни русскую совѣсть, мечтать о превращеніи 19-го февраля во всенародное торжество. Пока на Руси живъ одинъ человѣкъ, помнящій, какъ съ 19-мъ февралемъ русскіе люди соединили все то скверное, разрушительное и лицемѣрное, что привело къ 1-му марту, 19-е февраля, подобно 1-му марту, должно оставаться днемъ очистительной и покаянной молитвы русскаго народа, и ничѣмъ больше *)...

Особая пикантность этой горячей тирады заключается въ томъ обстоятельстве, что вся эта отповѣдь читается „Россіи, а не убійцамъ“ по поводу постановленія нѣкоторыхъ думъ ходатайствовать объ освобожденіи крестьянъ отъ тѣлеснаго наказанія! Такъ вотъ и скажите теперь, точно ли ужъ кн. Мещерскій есть такой юродивый, съ мнѣніями котораго нечего справляться? Право, человѣкъ, который съ такою вѣрою, надеждою и любовью

*) См. «Дневники» въ № 23-мъ «Гражданина» отъ 25-го марта 1901 г.

взываетъ къ „точкѣ“, какъ исторически-необходимому знаку препинанія, долженствующему завершить „періодъ великихъ реформъ“, и который видитъ, что фатумъ не остался непреклоненъ къ его пожеланіямъ и упованіямъ; человѣкъ, который столько лѣтъ былъ апологетомъ, философомъ и поэтомъ розги и который не можетъ не замѣтить, что розга и по сіе время является осью мірозданія, вокругъ каковой вращается жизнь десятковъ милліоновъ человѣческихъ существъ; такой человѣкъ отнюдь не можетъ считаться чѣмъ-то въ родѣ полоумнаго чудака, произносящаго исключительно безсвязныя и не имѣющія никакого смысла слова, какъ то неоднократно пытались утверждать флюгеры нашего откровеннаго направленія, ужасно боящіяся, какъ бы ихъ не смѣшали съ почтеннымъ издателемъ „Гражданина“. Наоборотъ, изъ этихъ безсвязныхъ словъ составляются „рѣчи консерватора“, въ которыхъ безтолково, но упорно развивается цѣлыми годами одно міровоззрѣніе; и этотъ полоумный чудакъ можетъ гордиться, что равнодѣйствующая нашей общественной жизни, не смотря на всѣ свои зигзаги, никогда особенно не отклонялась отъ направленія, въ которомъ цѣлыми же годами идутъ мысли, мечты и пожеланія княжескихъ „Дневниковъ“.

Вотъ если что смущаетъ въ кн. Мещерскомъ людей одного съ нимъ образа мыслей, такъ это, дѣйствительно, феноменальная беззащитность и прямолинейность, съ какою „Гражданинъ“ кладетъ на столъ карты нашей консервативной „политики“. Эти-то приемы и сбиваютъ съ толку, и вызываютъ порою досаду, а то и прямо негодованіе въ болѣе ловкихъ носителяхъ и выразителяхъ идеала кн. Мещерскаго.

Кн. Мещерскій предпочитаетъ вести съ читателемъ разговоръ на чистоту, къ великому смущенію единомышленниковъ называя, по рецепту Буало, вещи своими именами:

J'appelle un chat un chat, et Rollet un fripon!..

Возьмите вотъ хоть бы ее, спасительную розгу, играющую такую роль въ міросозерцаніи князя. Какой-нибудь нововременецъ соскочить, напр., порою съ колеи національно-фиглярнаго направленія да и „вавакнетъ“, словно перепелъ, что-нибудь неподходящее на счетъ свѣченія во благовременіи. Но тутъ сейчасъ же пріятель начнетъ дергать за полу проштрафившагося публициста, замечать и забрасывать слѣды учиненнаго имъ неприличія, объяснять и комментировать трансцендентный смыслъ его выкрика, по обыкновенію валить съ больной головы на здоровую и по обыкновенію же ругательски ругать собратьевъ, подхватившихъ и пустившихъ на смѣхъ перепелиную мудрость. И, смотришь, самъ „душа-человѣкъ“ явится на выручку и начнетъ стыдить публику, какъ, молъ, это она могла усомниться въ отрицательномъ отношеніи „Новаго Времени“ къ розгѣ, когда самъ

онъ, А. С. Суворинъ, вышелъ, можно сказать, изъ народа или почти изъ народа, т. е. сѣкомаго субъекта.

Не то кн. Мещерскій. Прочитаетъ онъ этакое приглашеніе къ сѣзку и сейчасъ же одобрить, и мало того одобрить, обопрется съ тактомъ и легкостью реакціоннаго мастодонта на нововременскую птицу, и давай угощать ее комплиментами, и давай все тяжеле и тяжеле давить на нее этими привѣтствіями, и обобщать и распространять эту грузную симпатію на родственныхъ писателей. И, смотришь, отъ бѣдной птахи и близкихъ ей пернатыхъ слѣда не останется, вотъ хотя бы послѣ такихъ стопудовыхъ ласокъ и выраженій сочувствія:

Что сіе значить? Читая въ «Новомъ Времени» фельетоны Сигмы, хочется иногда крикнуть: браво, Сигма; читаю всегда оригинальныя въ той же газетѣ статьи г. Петерсена, и нахожу въ нихъ рѣчь о полезности въ иной разъ розогъ для исправленія дѣтей... Но этого мало. Читаю «Недѣлю», болѣе четверти вѣка слышущую за органъ ультра-либеральный, и въ умныхъ статьяхъ г. Меньшикова нахожу глубоко консервативныя рѣчи...

Что сіе значить, спрашиваю я? Случайность или знаменіе дѣйствительно новаго времени, признакъ слабѣющаго либерализма и усиливающаго консерватизма?..

Пока не нахожу отвѣта, ибо, если бы дѣйствительно консерватизмъ усиливался въ нашемъ обществѣ, а либерализмъ въ немъ сталъ ослабѣвать, то прежде всего это явленіе времени отразилось бы на «Гражданинѣ», и онъ съ своими безспорно талантливыми сотрудниками имѣлъ бы больше друзей, чѣмъ какое-нибудь либеральное изданіе безъ всякихъ талантливыхъ сотрудниковъ...

Но все же фактъ остается фактомъ: страницы изданій, на которыхъ еще недавно главные тезисы проповѣди «Гражданина» предавались осмѣянію, говорятъ теперь тоже, что говорить «Гражданинъ» *).

Вы не смѣйтесь, пожалуйста, читатель, надъ этими жалобами „Гражданина“ на малое количество „друзей“ и надъ превосходнымъ мнѣніемъ кн. Мещерскаго о самомъ себѣ и своихъ „безспорно талантливыхъ сотрудниковъ“, которые носъ, молъ, утрутъ всякому „либеральному изданію“: это своего рода психозъ, какъ разъ соответствующій той удивительной безцеремонности, съ которой князь—„Гражданинъ“ проводитъ и защищаетъ свои идеалы. Но посмотрите, съ какимъ грузнымъ одобреніемъ онъ садится на нововременскій и недѣльный „либерализмъ“, „говорящій теперь тоже, что говорить „Гражданинъ“; и какимъ неумолимымъ, хотя и неуклюжимъ жестомъ онъ вытаскиваетъ на яркій свѣтъ дня кувыркающихся при бенгальскомъ освѣщеніи клоуновъ „патріотизма“ съ ихъ „всегда оригинальными статьями о полезности розогъ для исправленія дѣтей“.

Самъ кн. Мещерскій видитъ, конечно, въ розгѣ настоящую панацею противъ всяческихъ золъ и неустройствъ жизни и готовъ

*) «Рѣчи консерватора» въ № 10, отъ 4 февраля 1901 г.

прописывать ее не только дѣтямъ, но и родителямъ, но и цѣлымъ сословіямъ, но и всему народу, выводя за скобки этой всеобщей сѣкомости единственно лишь должнствующаго сѣчь всѣхъ и вся дворянина. Неужодно-ли будетъ читателю' остановиться на слѣдующей краснорѣчивой апологіи розги:

«Не мытьемъ, такъ катаньемъ»,—пошла входъ, какъ я слышу, новая идея для осуществленія завѣтной мечты нашихъ либераловъ отнять у волостного суда единственное наказаніе, котораго крестьянинъ боится—тѣлесное наказаніе. Идея эта, изволите видѣть, педагогическая и высказывается такъ: поелику надо поднять нравственный уровень крестьянской школы, то слѣдуетъ учащихся въ ней крестьянскихъ дѣтей освободить отъ *унизительнаго* для нихъ факта, что ихъ отцовъ можно подвергать тѣлесному наказанію...

Какъ ловко и ехидно придумано...

Съ точки зрѣнія либерализма, нашего доморощенного, стремящагося къ распатыванію основъ нашего строя и существующаго порядка, это лицемѣріе вполне логично, ибо съ исчезновеніемъ въ крестьянской средѣ послѣдняго страха наказанія исчезнутъ остатки уваженія къ семьѣ, къ собственности и къ власти, а слѣдовательно отъ такого порядка вещей до анархіи въ крестьянскомъ быту, столь желательной нашими либералами, будетъ рукой подать, но чтобы съ педагогической точки зрѣнія можно было такъ лицемѣрно пытаться разрушать послѣднія препоны для крестьянской разнузданности и для крестьянскаго своеволія, это совсѣмъ уже недопустимо. А, между тѣмъ, объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія по приговору волостного суда—именно съ этой лицемѣрной точки зрѣнія—разсуждаютъ, какъ я слышу, ex officio земскіе начальники.

Прискорбно удивительная вещь: точно въ силу какого-то проклятія, наложеннаго на русскую жизнь, никто, ни съ педагогической, ни съ какой-либо иной точки зрѣнія не озабоченъ тѣмъ ужаснымъ паденіемъ нравственнаго уровня, которое теперь почти вездѣ царитъ въ русской деревнѣ. происходящимъ отъ множества мелкихъ мѣръ, ограничивающихъ силу всякой власти и всякаго наказанія; никто и знать не хочетъ тѣхъ искреннихъ, горько правдою проникнутыхъ рѣчей миллионовъ крестьянъ порядочныхъ и хорошихъ, которые громко протестуютъ противъ отмѣны тѣлеснаго наказанія, точно желаніе порядка въ деревнѣ и страха наказанія суть преступныя желанія, а когда либералы, враги порядка, въ трогательномъ единеніи съ крестьянскими пьяницами, озорниками и негодами кричатъ: долой тѣлесное наказаніе, тогда изъ всѣхъ жизненныхъ трущобъ и помойныхъ ямъ берутся какіе-то мязмы благоговѣнія, въ туманѣ которыхъ создается какой-то уродливый долгъ этотъ вопросъ считать государственнымъ, и никто не смѣетъ противъ него вооружаться во имя интересовъ правительства и всего государственнаго порядка *).

Этой oratio не только pro domo sua, но pro virga sua; этой защитѣ вотчинной розги, раздаяніемъ которой долженъ заниматься, конечно, дворянинъ (см. изумленіе князя, адресованное выше „земскимъ начальникамъ“), являющійся естественнымъ судьей крестьянской нравственности, какъ онъ являлся таковымъ въ дни крѣпостнаго права; этому властному, безцеремонному, патетическому исповѣданію вѣры плантатора въ социальное-политическое могущество розги, которая одна, по мнѣнію кн. Мещерскаго, спасаетъ „весь государственный порядокъ“, вы не можете

*) «Дневники» въ № 13, отъ 18 февраля 1901 г.

отказать въ послѣдовательности, энергій и размахѣ. Здѣсь въ „рѣчахъ консерватора“ и „дневникахъ“ вы должны изучать психологію „нашего доморощенного“—какъ выражается кн. Мещерскій—охранителя. Здѣсь вскрываются передъ нами тайны его души, его религія, его мораль, его политическій и общественный идеалъ, его основной взглядъ на вещи и людей. И въ этомъ смыслѣ „Гражданинъ“ имѣетъ громадное преимущество передъ прочими охранительными органами, которые, не исключая даже „Московскихъ“, не всегда такъ прямолинейны и не всегда такъ откровенно развиваютъ свое основное мировоззрѣніе. Безъ умолчаній, безъ оговорокъ, безъ застѣнчивости кн. Мещерскій рисуетъ намъ состояніе души привилегированнаго консерватора, который въ сущности смотритъ на весь великій народъ русскій, какъ спартанецъ смотрѣлъ на илота, и также считаетъ себя окруженнымъ безчисленной стаей враждебныхъ и нравственно павшихъ двуногихъ звѣрей, отъ которыхъ нѣтъ иного спасенія, кромѣ вѣчнаго свиста розги. За эту откровенность мы должны быть признательны нашему безстрашному и беззастѣнчивому Роланду охранительства, ибо мы больше всего, страдаемъ отъ пафосной риторики, которою болѣе искусные и менѣе откровенные политики реакціи смазываютъ острые, больно рѣжущіе глубоко возмущающіе сердце углы нашей дѣйствительности.

Подлежащій сѣченію обыватель, этотъ *taillable, corvéable et fouettable à merci*, долженъ, по крайней мѣрѣ, имѣть право держать къ сѣкущему такую рѣчь: сѣки, но проще, но скорѣе, но безъ лишнихъ фразъ; сѣки и не уподобляйся тому смотрителю изъ „Мертваго Дома“ Достоевскаго, который продѣлывалъ съ арестантомъ длинную комедію и даже заставлялъ его въ ожиданіи помилованія читать „Отче нашъ“, пока паціентъ не доходилъ до словъ „на небеси“, вызывавшихъ моментальный крикъ начальства: а ты ему поднеси... Словомъ, розга безъ пафосной риторики! — но вѣдь это и есть одинъ изъ параграфовъ обнародованной кн. Мещерскимъ Декларациі правъ чело-вѣка (въ смыслѣ обитателя людской) и „Гражданина“, и за откровенное признаніе этого „естественнаго права“ мы должны скинуть шапку и низко поклониться беззастѣнчивому публицисту.

Не безъ огорченія поэтому мы замѣчаемъ, что совсѣмъ недавно съ кн. Мещерскимъ приключился чуть-ли не единственный въ его жизни приливъ ложнаго стыда; и что, онъ цокорно отказался отъ защиты розги именно тогда, когда апологію ея нужно было бы вести въ самомъ рѣшительномъ и безапелляціонномъ тонѣ. Дѣло происходило заграницей, въ басурманскомъ Эксъ-ле-Банѣ, на территоріи нечестивой французской республики. Здѣсь кн. Мещерскому пришлось встрѣтиться и разговориться съ „однимъ умѣреннымъ республиканцемъ и очень порядочнымъ чело-вѣкомъ“ (см. „Дневникъ“ въ № 66-мъ „Гражданина“ отъ 30-го

августа), который противопоставил „тираннизируемую“ Вальдэ-комъ-Руссо „бѣдную Францію“ далекой и счастливой Россіи, гдѣ „кнутъ уже давно легенда“, да и пошелъ и пошелъ... Я ждалъ, зная откровенность князя, съ трепещущимъ сердцемъ, когда же, наконецъ, эксъ-ле-бѣнскій гость прерветъ неумѣренную болтовню умѣреннаго республиканца и откроетъ „очень порядочному чело-ловѣку“ изъ Франціи идеалы „очень порядочнаго чело-ловѣка“ изъ Россіи, напр., взгляды его на единоспасающее значеніе ну, скажемъ, не кнута, а розги... Увы, я такъ и не дождался этой пламенной проповѣди; а какъ бы было кстати, казалось, развернуть передъ западно-европейцемъ прелести вотъ хотя бы трѣхъ восточной Декларациі, которая вылилась изъ-подъ пера кн. Мещерскаго въ „Дневникѣ“ № 13-го. И обидное раздѣлье охватываетъ душу, и невольно шепчешь: и ты, Брутъ!

Не будемъ, впрочемъ, строги къ чело-ловѣку, пріучившему насъ вообще къ откровенности и беззащитности, и вспомнимъ, что и „добрый Гомеръ порою засыпаетъ“ *quandoque dormitat bonus Homerus*. А тутъ еще тлетворное дыханіе Запада, которое даже дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ Дыбу и Удава превращаетъ за рубежомъ въ либераловъ. У себя дома и съ соотечественниками сіятельный публицистъ никогда, во всякомъ случаѣ, не допуститъ такихъ компромиссовъ и сдѣлокъ съ рабовладельческой совѣстью. Вотъ хотя бы взгляды на женскій вопросъ и женское образованіе. Въ сущности наши стоящіе на виду охранители не менѣе кн. Мещерскаго враждебно относятся къ всему тому, что можетъ изъ женщины сдѣлать дѣйствительно чело-ловѣка, дѣйствительно разумное существо и товарища мужины въ горѣ и радостяхъ. Но у этихъ господъ не хватаетъ духа публично развернуть свое міровоззрѣніе. Отсюда тѣ безчисленные оговорки, умолчанія, ограниченія, которыми ловкіе выразители реакціонныхъ взглядовъ стараются выбрать и отнять у васъ по частямъ то, на что они якобы согласились въ цѣломъ. Не такъ кн. Мещерскій. Вы хотите знать, какъ онъ смотритъ на образованную женщину? Вотъ какіе обличительные аккорды звучатъ въ „рѣчахъ консерватора“ (№ 65-й отъ 26 августа 1901):

Съ каждымъ днемъ все сильнѣе раздаются голоса жизненной правды, требующіе для русской жизни хорошую жену и хорошую мать, а рядомъ съ этимъ съ каждымъ днемъ все громче и наглѣе полуграмотные умы російской либеральной интеллигенціи требуютъ освобожденія женщины, во имя призванія ея быть современной, отъ обязанностей жены и матери, какъ препятствій для ея самостоятельнаго приобщенія къ общественной жизни.

Вслѣдствіе этого мы присутствуемъ на зрѣлищѣ быстрого процесса разрушенія семьи и дошли до такого уже низкаго нравственнаго уровня въ оцѣнкѣ женщины, что во имя прогресса разрѣшаемъ женщинѣ развратъ, подъ условіемъ, чтобы она его украшала цинизмомъ современной женщины и свою проституцію оправдывала самостоятельнымъ служеніемъ обществу или науцѣ...

Въ этомъ отношеніи, надо признаться, мы сдѣлали колоссальные шаги впередъ на пути прогресса для женскаго вопроса. Недавно было то время, когда развратная женщина считалась погибшею и клеймилась позорнымъ званіемъ проститутки; теперь, подъ кличкою современной женщины, она не только гордо и нагло требуютъ себѣ мѣста и почета, но изъ разврата дѣлаетъ себѣ право спасать современное общество... И между проституткою по ремеслу и проституткою по званію современной женщины различіе только въ томъ, что первая только губить себя и униженно прячется отъ дневнаго свѣта, а вторая губить своимъ развратомъ другихъ и нагло выступаетъ въ роли женщины прогресса...

Коротко и ясно: образованная женщина, посвящающая себя „самостоятельному служенію обществу или наукъ“ (слова самого кн. Мещерскаго) есть проститутка, и проститутка, болѣе презрѣнная, чѣмъ обыкновенная продажная женщина, потому что она наглѣе этой и „губить своимъ развратомъ другихъ“. Я привожу это опредѣленіе и эту аргументацію, конечно, не затѣмъ, чтобы полемизировать съ издателемъ „Гражданина“: полемика возможна только тогда, когда есть какіе-нибудь общіе пункты міровоззрѣнія или, крайней мѣрѣ, хоть нѣкоторые точки касанія; но мы съ кн. Мещерскимъ варвары другъ для друга, мы говоримъ непонятнымъ другъ другу языкомъ, какъ замѣтилъ въ свое время Лассаль представителю обвиненія. Приведенная же мною цитата важна въ томъ отношеніи, что ярко рисуетъ, выдаетъ, такъ сказать, намъ по рукамъ и ногамъ истинные идеалы болѣе ловкихъ и болѣе сдержанныхъ выразителей русскаго консерватизма, стоящихъ на виду и оказывающихъ вліяніе на ходъ общественной жизни. Они въ сущности думаютъ такъ же, какъ князь Мещерскій. Но, испуганные самымъ анахронизмомъ своего міровоззрѣнія для XX-го вѣка, чувствующие всю непрочность защищаемой имъ позиціи противъ напора свѣжихъ элементовъ мысли и жизни, они стараются „господствовать, раздѣляя“; они разбиваютъ свой общій идеалъ обскурантизма на частности и нюансы и, приманивая часть своихъ противниковъ отдѣльными уступками, пытаются противопоставить ихъ другой части оппозиціи, болѣе прямолинейной, болѣе нетерпливой, а потому болѣе опасной...

Кн. Мещерскій—юродивый! Да, но почему же высшее женское образованіе выливается у насъ въ такія формы, которыя заставляютъ думать, что, дѣйствительно, тутъ мы совершаемъ нѣчто постыдное, что мы нуждаемся въ массѣ стѣсненій, ограниченій, регламентацій, на манеръ тѣхъ, которыя употребляются для канализированія „проституціи“, выражаясь беззащитнымъ языкомъ сіятельнаго публициста? Кн. Мещерскій—юродивый! Да, но почему же у современной женщины отнимается такое множество, казалось бы, совершенно естественныхъ правъ пользоваться своимъ трудомъ, подобно тому, какъ теперешнее лицемѣрное общество лишаетъ продажную женщину возможности быть равноправнымъ членомъ общественной ассоціаціи, обрекая ее на роль

рабыни и орудія односторонняго инстинкта? Я бы могъ продолжать безъ конца эту серію вопросовъ и сближеній. Но самъ читатель, надѣюсь, восполнить недостающее и убѣдится, что кн. Мещерскій заслуживаетъ большаго вниманія, чѣмъ ему обыкновенно удѣляется печать.

Вотъ почему я не привожу, напр., такихъ соображеній кн. Мещерскаго по женскому вопросу, которыя уже прямо отзываются болѣзненною развращенностью воображенія и въ извѣстномъ смыслѣ напоминаютъ упражненія маркиза де-Сада: читатель, конечно, помнить, что недавно, когда рѣчь зашла о допущеніи студентокъ въ университетъ, нашъ блюститель нравственности распространялся съ такимъ смакующимъ ужасомъ о „колѣняхъ“, на которыя студенты будутъ сажать учащіяся женщины тутъ же на лекціяхъ, что свѣжему человѣку просто было бы противно дотронуться до этой обличительной литературы, пропитанной запахомъ раствора изъ шпанскихъ мухъ. Съ насъ достаточно тѣхъ мѣстъ и тѣхъ разсужденій сіятельнаго публициста, которыя, не превосходя эксцентричною грязью обычныхъ взглядовъ нашихъ охранителей, лишь выпуклѣе и отчетливѣе рисуютъ общественные идеалы русскаго консерватизма.

Возьмемъ еще одинъ излюбленный конекъ кн. Мещерскаго и посмотримъ, каковы въ этомъ вопросѣ соображенія и пожеланія тѣхъ лицъ, нескладнымъ, но рельефнымъ выразителемъ которыхъ является издатель „Гражданина“: я разумію вопросъ о дворянствѣ, его исторической судьбѣ, его теперешней роли и его словенныхъ стремленіяхъ. Прислушайтесь къ нижеслѣдующему плачу Ярославны по Игорю—читай, благородномъ сословіи,—увлеченномъ въ плѣнъ злыми половцами въ лицѣ распорядителей дворянскаго банка (изъ „Дневниковъ“ № 9-го отъ 1-го февраля 1901 г.):

Намедни опять видѣлъ слезы, жгучія и горькія: онѣ пролиты были еще одною жертвою неумолимаго дворянскаго банка!

Тѣмъ не менѣе, когда этотъ несчастный недоимщикъ ушелъ, я почти засмѣялся отъ овладѣвшихъ мною размысленій. Мнѣ вдругъ почему то показалась смѣшною историческая судьба того государства, гдѣ все, что хочетъ разрушать его устои, его основы, его преданія, его лучшее, какъ его сила и опора, откуда то получаетъ мощь, а все, что хочетъ это разрушаемое сохранять—обрекается на безсиліе.

Слѣдуютъ по обыкновенію нескладныя и по обыкновенію выразительныя размысленія о судьбѣ помѣстнаго сословія за послѣдніе сорокъ лѣтъ, въ теченіе которыхъ „русское земельное дворянство лишилось до половины своей земли и болѣе половины своихъ семействъ“. Затѣмъ авторъ придвигается къ нашимъ временамъ, находя и въ нихъ подтвержденіе неумолимаго фатума:

Однимъ изъ самыхъ выразительныхъ проявленій этого рокового закона, обрекающаго на безсиліе все, что пытается отстаивать дворянскую силу на

землѣ, явился дворянскій земельный банкъ. Онъ созданъ былъ съ единственною цѣлью облегчить невыносимо тяжелое положеніе земснаго дворянства, созданъ по волѣ русскаго государя, и что же?..

Дѣйствіе такового закона продолжаетъ быть неумолимо. Это именно дѣйствіе рока, ибо въ дворянскомъ банкѣ нѣтъ ни Робеспьеровъ, ни Маратовъ, а, между тѣмъ, духъ, царящій въ немъ, проявляется безпощаднымъ отношеніемъ къ идеѣ спасенія земельного дворянства. Какъ я не разъ говорилъ, новая политика дворянскаго банка будто-бы основана на мысли заставить заемщиковъ дворянскаго банка быть аккуратными плательщиками, но это только *de jure*, *de facto* же нынѣшняя политика дворянскаго банка сводится роковымъ образомъ къ скрытой задачѣ уничтожить все то земельное дворянство, которому трудно въ нынѣшнее время быть исправнымъ плательщикомъ, а такъ какъ этого рода заемщики составляютъ огромное большинство, то на дѣлѣ выходитъ, что нынѣшняя политика дворянскаго банка имѣетъ какъ будто цѣлью уничтоженіе того именно дворянства, для облегченія положенія коего онъ созданъ покойнымъ Государемъ, такъ какъ, очевидно, не для тѣхъ земельныхъ дворянъ онъ былъ созданъ, которымъ легко платить. И вотъ противъ этой-то силы роковаго закона все безсильно.

Что такова политика нынѣшняго дворянскаго банка, увѣ, въ томъ трудно сомнѣваться. Вопросъ о сердечномъ участіи къ той или другой судьбѣ заемщика изгнанъ изъ банка съ громкимъ надъ нимъ смѣхомъ... Крестьянскій банкъ получаетъ миссію изображать собою для заемщиковъ дворянскаго банка въ критическую минуту торговъ по всей Россіи того кулака для крестьянина, который пользуется его временнымъ несчастіемъ, чтобы все его имущество пріобрѣсти за безцѣнокъ...

Вотъ до чего мы дожили... Крестьянскому сословію всѣ льготы, всѣ облегченія, это понятно, но вотъ что совсѣмъ непонятно, крестьянскому банку дана роковая инструкція стараться быть единственнымъ покупателемъ дворянскаго имѣнія на торгахъ. А дворянину заемщику дворянскаго банка никакой льготы, никакого облегченія, никакой пощады, никакого исхода...

Разумѣется, съ этою новою политикою дворянскаго банка,—роковая сила закона судебъ довершитъ свое дѣло, и черезъ немногo лѣтъ—виѣсто русскаго земельного дворянства останется нѣскольکو богатыхъ дворянъ...

Кто отъ этого выиграетъ, кто проиграетъ, покажетъ будущее.

А, между тѣмъ, какъ легко было бы исполнить волю трехъ Русскихъ Государей относительно сохраненія земельного дворянства, какъ преданія, охраняющаго ихъ преданія. Только не много сердца въ дѣятеляхъ дворянскаго банка, только небольшой приливъ мысли, что дворянство на землѣ есть не только историческое преданіе, но есть исконная охранительная сила, охранительная для Власти, его создавшей, и что, слѣдовательно, уничтоженіе земельного дворянства неизбежно должно привести рано или поздно къ ослабленію всего, что оно исторически призвано охранять.

Ужасно, ужасно! Совсѣмъ какъ у старинныхъ русскихъ переводчиковъ нѣжнаго Тибуллы:

Плачьте, Амуры и Граціи!—

Дашенькинъ умеръ вробушекъ...

„Дворянство погибаетъ, дворянство погибло!“ слышится изъ каждой строки отходной, которую кн. Мещерскій читаетъ надъ сословіемъ, коего лучшимъ украшеніемъ онъ является. И, однако, слыша всѣ эти вопли и надгробныя рыданія, иной читатель, мало-мальски знающій исторію и разбирающійся въ современныхъ экономическихъ условіяхъ, нетерпѣливо отмахнется рукой отъ крѣпостническихъ „Амуровъ и Грацій“ и не безъ язвительности

произнесетъ: а преобжорливая таки птица былъ и есть этотъ „воробушекъ!“ Дѣйствительно, не будемъ забираться въ глубь и ночь времени, хотя и по этой части, т. е. въ области исторической роли дворянства, насъ снабжаютъ любопытными и многозначительными фактами люди, отнюдь не являющіеся систематическими врагами благороднаго сословія, напр., хотя бы г. Романовичъ-Славатинскій въ своей извѣстной книгѣ о русскомъ дворянствѣ. Оставимъ въ сторонѣ и болѣе близкія къ намъ по времени тенденціи дворянства, обнаруженныя имъ, какъ классомъ (не говорю о высоко гуманныхъ и благородныхъ личностяхъ, составлявшихъ хотя и довольно многочисленныя, но все же исключенія), при отмѣнѣ крѣпостного права.

Но обратимся къ судьбѣ дворянства за послѣднее время, заставляющее кн. Мещерскаго пѣть сугубаго Лазаря, печалуясь о злословіяхъ, постигающихъ теперь благородное сословіе. „Плачьте, Амуры и Граціи!“ Что-жь, плачьте—но позвольте же плакать и тому, чья социальная роль плательщика выражена яркой формулой „ѣнъ достанить“. „Плачьте, Амуры и Граціи“.— Плачьте, но хоть отъ времени до времени утирайте глаза и бросайте отуманенные грустью взоры на цифры, которыя, напр., свидѣлствуютъ, что въ то время, какъ сумма ссудъ, выданныхъ дворянскимъ банкомъ, перешла за 600 милліоновъ рублей, крестьянскій банкъ не выдалъ своимъ кліентамъ и половины этой суммы (250 милліоновъ по сентябрь 1901 г.), и въ то время, какъ привилегированные заемщики платятъ не болѣе 4% вмѣстѣ съ погашеніемъ, мужикъ вноситъ 5 $\frac{1}{4}$ % даже при самыхъ долгихъ срокахъ ссуды. По истинѣ, какъ выражается выше кн. Мещерскій, „вотъ до чего мы дожили: крестьянскому сословію всѣ льготы, всѣ облегченія; а дворянину заемщику никакой льготы, никакого облегченія, никакой пощады, никакого исхода“. Словомъ, мужикъ эксплуатируетъ барина, мужикъ слопалъ барина и только развѣ по недоразумѣнію да упорству прибѣгаетъ къ инымъ менѣе деликатнымъ родамъ пищи чуть не въ двухъ десяткахъ губерній, официально объявленныхъ теперь „неблагополучными“ и „постигнутыми недородомъ“.

Попробую прибавить еще два—три шриха къ литературно-публицистической фizioноміи кн. Мещерскаго, заставляя автора по возможности говорить самого за себя. Вотъ, напр., взгляды на земство („Дневники“, № 32 „Гражданина“ отъ 3-го мая):

Всѣ эти дни у министра внутреннихъ дѣлъ были вечернія собранія, посвященныя обсужденію проекта измѣненія земско-хозяйственнаго управления въ губерніяхъ, которыхъ постигло счастье быть лишенными земскаго представительства. Разумѣется, эти засѣданія идутъ подъ аккомпаниментъ протестующихъ и ворчащихъ симфоній нашей печати, которая никакъ не мо-

желть примириться съ мыслью, чтобы гдѣ бы то ни было въ Россіи что-либо правительственное могло быть лучше земскаго, и которое (!), разумѣется, при обсужденіи этого вопроса, знать не хочетъ двухъ бездѣлицъ, во-первыхъ: той степени, до которой опротивѣло земство 36 губерніямъ, имъ осчастливленныхъ и имъ раззоренныхъ, и, во-вторыхъ, той степени, до которой населенію неземскихъ губерній антипатична мысль быть осчастливленными земскими учрежденіями, и признаетъ авторитетными только мнѣнія своихъ либераловъ-писакъ, о жизни въ Россіи не имѣющихъ никакого понятія.

А, между тѣмъ, по „авторитетному мнѣнію“ самого князя,

опытъ привелъ къ тому, что 36 губерній Россіи изнемогаютъ и стонутъ подъ ненавистнымъ имъ игомъ земскаго управленія, и съ другой стороны всякій землевладѣлецъ губерніи, гдѣ нѣтъ земства, съ ужасомъ отрещивается отъ этихъ земскихъ учреждений.

Вотъ-вотъ, именно: весь реакціонный символъ вѣры здѣсь налицо въ сгущенномъ, сконцентрированномъ видѣ; и насъ можетъ удивлять въ данномъ случаѣ лишь то обстоятельство, что люди, держащіеся взглядовъ кн. Мещерскаго, не обратились еще до сихъ поръ къ населенію „36 губерній, осчастливленныхъ и раззоренныхъ земствомъ“, съ поголовнымъ опросомъ, не слѣдуетъ ли совсѣмъ упразднить это гибельное учрежденіе, а все больше уповаютъ на административное осуществленіе своихъ идеаловъ до-реформенной Руси. Помилуйте, имѣтъ возможность этимъ своеобразнымъ референдумомъ разъ навсегда заткнуть глотку „либераламъ-писакамъ“ и не попробовать—это ли не робость, это ли не постоянное недоувѣріе къ кн. Мещерскому и его доскональному знанію стремленій и завѣтныхъ думъ населенія? Ужъ не попробовать ли, о, сіятельный собратъ? Кстати вы очень остроумно доказываете низкій нравственный уровень людей земства ссылкой на то, что въ ихъ средѣ почти нѣтъ случаевъ привлеченія къ отвѣтственности за хищенія, тогда какъ между чиновниками это сплошь и рядомъ бываетъ. Въ пику „либераламъ“, вы, дѣйствительно, говорите („Дневники“ въ № 36-мъ отъ 17 мая):

Я иначе обращаюсь съ своими читателями, и считаю ихъ не глупыми, а умными, и потому въ полной увѣренности быть понятымъ и заслужить вѣру своимъ словамъ исповѣдую, что самое убѣдительное доказательство того, насколько при всѣхъ своихъ человѣческихъ недостаткахъ правительственная среда лучше земской, служить то, что могу привести рядъ примѣровъ пойманныхъ и уличенныхъ татей и взяточниковъ въ правительственной средѣ, и затрудняюсь за 25 лѣтъ привести хоть одинъ фактъ пойманнаго вора въ земствѣ, ибо это значить, что въ земствѣ нѣтъ ни надзора, ни контроля, ни отвѣтственности, а въ правительствѣ есть.

Думаю, что этотъ способъ аргументаціи не нуждается ни въ какихъ дальнѣйшихъ комментаріяхъ: было бы недурно пустить его въ ходъ при томъ проецируемомъ мною референдумѣ „населенія 36 губерній“, который долженъ посрамить „либераловъ-писакъ“ по вопросу о существованіи земства. Воруйте, гг. земцы, и садитесь на скамью подсудимыхъ, а не то дѣло плохо!.

Приведу еще читателямъ взгляды кн. Мещерскаго на печать, къ которой онъ долженъ былъ бы, казалось, относится съ болѣею продуманностью и серьезностію хотя бы уже потому, что самъ не одинъ десятокъ лѣтъ занимается литераторствомъ и видимо любить писательскую профессію. Но вотъ, напр., проходить слухъ объ организаціи празднованія 200-лѣтняго юбилея періодической печати, и сіятельный собратъ отзывается на этотъ слухъ („Дневники“ № 36-го отъ 17-го мая):

ни одинъ юбилей не представляется мнѣ столь мало симпатичнымъ, какъ юбилей современной печати, ибо если начнешь думать, сколько за 200 лѣтъ эта печать надѣлала огромнаго и непоправимаго вреда русскому обществу, и какъ сравнительно съ этимъ временемъ мала доза принесенной ею пользы, то разумѣется неоткуда взять чистоплотной охоты ее праздновать...

...въ обществѣ трехъ-четырехъ человѣкъ, даже одинъ передъ самимъ собою человѣкъ не рѣшится все сказать, что думаетъ, что-то его останавливаетъ слишкомъ солгать, слишкомъ оскорбить чужой слухъ, слишкомъ надругаться надъ чѣмъ-либо святымъ и что же: какъ только онъ беретъ перо въ руки, чтобы писать въ газеты, представляя себя въ обществѣ тысячъ людей, которые его будутъ читать, у него является цинизмъ все говорить, что ему подсказываютъ худшіе инстинкты, ничего и никого не щадить, лгать безъ мѣры, позорить кого угодно, быть безчестнымъ безъ границъ, и даже писать то, что онъ навѣрно знаетъ, вредить интересамъ родины...

Итакъ вотъ: ни оговорокъ, ни ограниченій, ни даже простой попытки выяснить себѣ роль прессы; печать для кн. Мещерскаго это въ своемъ родѣ ящикъ Пандоры, изъ котораго выскочили на свѣтъ божій всевозможные ужасы. Немудрено, поэтому, что когда такіе благонамѣренные органы, какъ „С.-Петербургскія Вѣдомости“, констатируютъ нелегкое положеніе современной прессы и высказываютъ пожеланіе болѣею свободой и болѣею прочностью для печатнаго слова, „Гражданинъ“ продѣлываетъ въ негодованіи настоящую пляску святаго Витта („Рѣчи Консерватора“, № 71, отъ 16-го сентября):

Мнѣ кажется, что почтенная газета очень увлекается. Я понимаю это увлеченіе, ибо кому, какъ не писакамъ ея, должно хотѣть, чтобы ничто, никакое veto, никакое опасеніе не могли мѣшать ихъ перламъ краснорѣчія изливаться на полнѣйшемъ просторѣ, и на этомъ просторѣ играть роль не только обличающаго, но и бичующаго правительство трибуна слова и пера! Какъ не понять наслажденія какого-нибудь поднадзорнаго нигилиста, который будетъ въ надеждѣ на снисходительность суда разыгрывать ежедневно варіаціи на современные темы и называть губернатора сатрапомъ, исправника мошеникомъ, земскаго начальника опричникъ, солдата пѣшкою, правительство деспотомъ и т. п. и считать себя выразителемъ общественнаго мнѣнія и двигателемъ прогресса...

Очевидно, нужна не свобода печати, но свобода злоупотребленія печатью, свобода для разрушительнаго вольномыслія, свобода для проявленія неуваженія къ правительству, къ церкви, къ арміи, свобода для проповѣди социализма и анархизма, свобода для разжиганія страстей, и т. д.

Нѣтъ, зачѣмъ эти попытки кого-то обманывать и кому-то заговаривать зубы?

Желающіе свободы печати, отвѣтственной только передъ закономъ и судомъ, очевидно, ее требуютъ, какъ самое вѣрное средство разрушать госу-

дарственный строй Россіи, ибо достаточно видѣть эту свободу печати во Франціи, чтобы ужасаться ея растѣвающей силы, но потому самому смѣшно полагать, что правительство этому желанію своихъ враговъ пойдетъ когда-либо на встрѣчу.

Или былъ, напр., поднятъ въ прессѣ вопросъ о замѣнѣ цензуры вице-губернатора для мѣстной печати цензурой специальныхъ цензоровъ. И тутъ, и въ этомъ, можно сказать, чисто техническомъ вопросѣ кн. Мещерскій усмотрѣлъ Сеничкинъ ядъ и рѣшилъ дать надлежащее противоядіе. Въ „Рѣчахъ Консерватора“ въ № 72-мъ отъ 20-го сентября, дѣйствительно, читаемъ:

Ценаура для провинціальной газеты должна быть внимательна и строга, во-первыхъ, потому, что главные сотрудники газеты почти вездѣ поднадзорные либералы, а во-вторыхъ потому, что будучи дешевле столичной и будучи въ центрѣ губерній, она ближе къ грамотнымъ слоямъ простонародья и легче попадаетъ въ эти слои...

Извѣстное количество провинціальныхъ газетъ, проходя черезъ вице-губернаторскую цензуру, поражаетъ читателя столичныхъ газетъ необузданностью рѣчи и вреднымъ направленіемъ пускаемыхъ въ оборотъ мыслей..

Недобросовѣстность въ исполненіи вице-губернаторомъ цензурныхъ обязанностей—явленіе нежелательное, но въ то же время легко устранимое. Стоить только сдѣлать отвѣтственность вице-губернатора за недобросовѣстное отношеніе къ газетной цензурѣ строгою: двухъ, трехъ примѣровъ такой строгой отвѣтственности было бы достаточно, и, безъ всякаго сомнѣнія, у каждаго вице-губернатора не только найдется свободное время для внимательнаго прочтенія газеты, но найдется охота эту цензуру дѣлать добросовѣстно, ставя интересы правительства выше опасенія показаться недовольно либеральнымъ, и все это найдется изъ опасенія строгой отвѣтственности.

Какъ видите, сѣятельный собратъ всегда и всюду видитъ въ упражненіи своей профессіи страхи, ужасы, злоупотребленія, крамолу, заговоръ противъ всякихъ основъ божескихъ и человѣческихъ. Недаромъ же онъ недавно доказывалъ, что 1-е марта выросло изъ „свободы печати“, которая якобы пользовалась при гр. Лорисъ-Меликовѣ неосторожнымъ покровительствомъ властей и благодаря этому успѣла подорвать, рѣзслабить „мускулы“ правительства и стерла въ обществѣ всякую разницу между либерализмомъ и анархизмомъ. Читая эти вѣчныя іереміады на чрезмѣрную распущенность нашей прессы—бѣдная пресса!—и эти безпрестанныя приглашенія сократить, подтянуть, запретить, внушить, начинаешь, положительно, думать, что, еслибъ то зависѣло отъ одного издателя „Гражданина“, въ Россіи долженъ былъ бы выходить единственный органъ печати, а именно органъ „талантливыхъ сотрудниковъ“ кн. Мещерскаго и продуктъ его „честнаго и искренняго пера“, какъ въ приливъ благородной гордости внукъ Карамзина аттестовалъ свою же собственную писательскую дѣятельность. Подумайте только, что порою сами „Московскія Вѣдомости“ представляются кн. Мещерскому орудіями преступной и рѣзслабляющей „мускулы“ правительства пропаганды. Не обнаружилось ли сіе довольно неожиданное обстоятельство въ началѣ этого года по вопросу о волостномъ судѣ, каковой

сподвижники г. Грингмута проектировали упразднить въ качествѣ „лапотнаго суда“, тогда какъ кн. Мещерскій съ негодованіемъ отвергъ сей злокозненный даръ Артаксеркса со Страстного бульвара, во время вспомнивъ, что отмѣна „лапотнаго суда“ могла бы, пожалуй, повести за собою и отмѣну волостной розги... Ну кому же удѣлѣть въ такомъ случаѣ изъ собратовъ сіятельнаго литератора? Кому выйти чистымъ изъ трибунала грознаго судіи и цензора нравовъ печати, когда даже духовные сыны и наслѣдники Михаила Никифоровича заподозрѣны бывають кн. Мещерскимъ въ неблагонадежности и кривомысліи?

Позволю себѣ еще привести мнѣніе „Гражданина“ о либералахъ, какъ о политическихъ противникахъ кн. Мещерскаго. Нѣтъ въ самомъ дѣлѣ ничего характеристичнѣе для нашихъ носителей реакціонныхъ идеаловъ, какъ ихъ огульное отношеніе къ сторонникамъ иного міровоззрѣнія. Въ самомъ началѣ „Дневниковъ“ № 56-го „Гражданина“ (отъ 26-го іюля) кн. Мещерскій признается читателю, что „въ воздухѣ онъ чувствуетъ теперь что-то новое“, что „подкрадывается воевать съ режимомъ“; что онъ замѣчаетъ всюду „стремленіе усилить давленіе на него либерализма“. Уже самая удивительная неуклюжесть этого введенія, превосходящая обычную неуклюжесть княжеской литературы, свидѣтельствуетъ объ экстраординарномъ гнѣвѣ „Гражданина“ и о сугубомъ же его желаніи отразить нападеніе враговъ, выведя ихъ на чистую воду. Эти враги — русскіе либералы, народъ, какъ извѣстно, самый отчаянный, безнравственный и преступный, если вѣрить характеристикѣ людей этого направленія, характеристикѣ, которою кн. Мещерскій, можно сказать, дробить въ порошокъ злокозненную либеральную армію („Дневники“, № 56, отъ 26-го іюля):

всякій трезвомыслящій человекъ въ Россіи знаетъ, что если, не дай Богъ, опять начнется приливъ либерализма—Россія, какъ народъ, со своимъ духовнымъ и экономическимъ міромъ поступить въ кабалу къ либераламъ той французской школы, которые требуютъ ослабленія монархической власти только для того, чтобы успѣшнѣе сдѣлать народъ рабомъ ихъ грубыхъ и невѣжественныхъ инстинктовъ...

Это и есть главная причина, почему я имъ не могу сочувствовать. Я никогда въ эти 25 лѣтъ, за рѣдкими исключеніями, не видѣлъ соприкосновенія либерала съ человекомъ изъ народа, не имѣвшего послѣдствіемъ растлѣнія этого простого человека посредствомъ разрушенія въ немъ всѣхъ его идеаловъ и преданій; и чѣмъ больше я видѣлъ примѣровъ этого растлѣвающего дѣйствія нашего либерала на людей изъ народа, тѣмъ сильнѣе росла во мнѣ ненависть къ этому русскому либерализму.

Наши либералы творили огромный вредъ, потому что либераловъ, въ правдѣ значенія этого слова, почти не было, а была сѣрая масса квази-либераловъ всѣхъ видовъ отрицанія и разрушенія, гдѣ не было авторитетовъ, способныхъ мѣшать сліянію либерала-конституціоналиста съ либераломъ-анархистомъ, и между теорією самоуправленія и похотью всеразрушенія не только

не было непроходимых преградъ, но были всегда соединительные пути совершенно такъ же, какъ въ политической жизни нашихъ учителей-французовъ, у которыхъ никогда не знаешь, кто станетъ у власти: либераль-республиканецъ, или либераль-коммунаръ.

Оттого, не отвергая того, что есть отдѣльные либералы у насъ порядочные люди,—очень немного,—я же, какъ консерваторъ и какъ русскій чело-вѣкъ, сынъ своего народа, изъ любви къ нему, буду всегда предостерегать отъ уступокъ нашимъ либераламъ, потому что эти уступки не порядочныхъ, нѣсколькихъ людей изъ либераловъ приведутъ къ власти, а именно ненасытную въ своихъ разрушительныхъ стремленіяхъ сѣрую массу русскихъ либераловъ французской школы.

А потому надо знать, помнить и предвидѣть съ увѣренностью, что если завтра правительство дастъ себя склонить къ такому шагу и къ такой формѣ самоуправленія, которые отъ него потребуютъ извѣстнаго ограниченія самодержавія, то именно потому, что наши квазилибералы—дѣтище французской школы,—первымъ послѣдствіемъ этой новой формы самоуправленія будетъ признаніе либераловъ себя неудовлетворенными и требованіе новаго дальнѣйшаго ограниченія самоуправленія, и такъ до безконечности...

Впрочемъ, безконечности тутъ никакой не будетъ. Требованія ограниченій самодержавія останутся только послѣ окончательнаго разрушенія монархіи... Въ этомъ ни малѣйшаго нѣтъ сомнѣнія, ибо не надо быть ясно-видящимъ пророкомъ, чтобы предвидѣть, что либералы, благодаря тому, что ихъ политическою школою была Франція, никогда на пути либерализма и нивеллировки не остановятся въ своихъ мечтаніяхъ на конституцію, но неизбежно пойдутъ далѣе, до анархіи включительно.

Къ сожалѣнію, объ этихъ свойствахъ нашихъ либераловъ, неизбежно призванныхъ къ разрушенію русскаго государственнаго строя въ силу своихъ инстинктовъ, не подчиненныхъ никакимъ принципамъ, мало, или вѣрнѣе, вовсе у насъ не думаютъ. Оттого такъ легко говорить о самоуправленіи.

Вамъ не страшно, читатель? А у меня волосы встаютъ дыбомъ и дрожь пробѣгаетъ по спинѣ: помилуйте, мнѣ неоднократно приходилось встрѣчаться съ русскими „либералами“ и обмѣниваться мыслями. И, признаюсь, они всегда производили на меня впечатлѣніе тихихъ и скромныхъ людей, которые съ большимъ чувствомъ говорили о законности, о порядкѣ (о правовомъ, конечно, но вѣдь не о безправномъ же порядкѣ толковать?), вздыхали насчетъ тяжелыхъ, крутыхъ временъ, постигшихъ—де ихъ не по заслугамъ, но отъ „нивеллировки“ отреклись съ несвойственною имъ вообще энергіею, а отъ слова „анархія“, пожалуй, въ обморокъ бы упали. Славные люди, почтенные люди, совсѣмъ какъ знаменитые „Стрижи“ 60-хъ годовъ:

Въ роцѣ поживали, смирно толковали,
Смирно толковали, въ роцѣ поживали...

Но вотъ, подите-жъ, оказывается, это одинъ обманъ, одно гнусное притворство: кн. Мещерскій, который проникъ въ адски-мрачную душу либераловъ, рисуетъ ихъ намъ страшными адептами „всеразрушенія“, исчадіями „анархіи“, каковыя, увы, „не остановятся въ своихъ мечтаніяхъ на конституцію“, но пойдутъ еще дальше, все дальше „и такъ до безконечности“. А я-то, я-то, который безъ всякаго опасенія пожималъ имъ руки, оставался

бесѣдовать съ ними наединѣ и даже иронизировалъ порою надъ курянымъ полетомъ ихъ политической фантазій! Подумайте, какъ должны были смѣяться надо мною въ душѣ, въ своей темной, преступной, готовой на всякія злодѣйства душѣ эти соперники Равашоля и Казеріо!.. Въ томъ порукою проникательный кн. Мещерскій, который пылаетъ такимъ святымъ гнѣвомъ противъ либераловъ, что даже ради нѣсколькихъ праведниковъ (да и то какихъ праведниковъ? „очень немногихъ отдѣльныхъ порядочныхъ людей“) не соглашается пощадить никого изъ всей „сѣрой массы“, населяющей либеральные Содомъ и Гоморру, и проливаетъ на нее сѣру и огонь своего негодующаго обличенія.

До сихъ поръ мы имѣли дѣло съ кн. Мещерскимъ, какъ съ наиболѣе крайнимъ и яркимъ выразителемъ русскаго „консерватизма“. Но у него есть другая сторона: издатель „Гражданина“ лишенъ царя въ головѣ, лишенъ того объединяющаго, координирующаго логическаго начала, которое придаетъ извѣстную цѣльность отдѣльнымъ взглядамъ человѣка, а въ случаѣ внутренняго противорѣчія самого міровоззрѣнія (напр., русскаго „охранительства“, потрепаннаго бурями времени и естественнымъ развитіемъ страны) помогаетъ хоть внѣшнимъ, хоть призрачнымъ образомъ склеить разсыпавшіеся куски отживающаго свой вѣкъ идеала. Кн. Мещерскій — человѣкъ импульса, и подъ вліяніемъ извѣстнаго настроенія, извѣстнаго непродуманнаго аффекта, можетъ нанести такіе удары своей основной точкѣ зрѣнія, отъ какихъ разсуждающій реакціонеръ всегда уберется. Поэтому-то кн. Мещерскій не только *enfant perdu*, но и *enfant terrible* реакціи.

Спрашивается, напр., логична-ли, совмѣстима-ли съ принципомъ государственнаго „охранительства“ слѣдующая критика бюрократической централизаціи и чиновничества? Кстати сказать, при сей вѣрной оказіи кн. Мещерскій „разносить“—да проститъ мнѣ сіятельный собратъ это плебейское выраженіе—„чиновника“ наряду съ „либераломъ“, устанавливая такимъ образомъ курьезное дѣленіе людей по профессіямъ и убѣжденіямъ сразу *). Итакъ, слушайте:

Тѣсенъ и близокъ союзъ либерала съ чиновникомъ: либералъ лѣзетъ къ чиновнику, какъ муха къ сахару, и чиновникъ любитъ либерала, какъ Филемонъ любилъ Бавкиду. Напротивъ, консерваторъ никогда не бываетъ милъ чиновнику, и чиновникъ никогда не милъ консерватору. Почему? Вкратцѣ

*) Кн. Мещерскій имѣетъ вообще очень оригинальныя представленія о логической классификаціи: такъ если онъ дѣлитъ своихъ враговъ на чиновниковъ и либераловъ, то учающуюся молодежь онъ дѣлитъ на «марксистовъ» и «курсистовъ». Что сказалъ бы старикъ Аристотель, обучавшій человѣчество болѣе 2000 лѣтъ тому назадъ въ своей «Аналитикѣ», какъ расчленять родовое понятіе на виды!..

разрѣшаю загадку. Нашъ либераль (и французскій тоже, вся наша политическая жизнь, увы, копія съ французской), прежде всего стремится къ политическому центру съ доминантною мыслью когда-нибудь имъ завладѣть, чтобы править Россіею вмѣсто самодержавнаго единодержавія. Это стремленіе его духовнаго существа имѣетъ два двигателя: одинъ—властолюбивое желаніе захватить частицу власти, а другой—полное презрѣніе ко всѣмъ проявленіямъ нужды и свободы народной жизни...

Это духовно-политическій міръ cadaго либерала. Затѣмъ возьмите тотъ же міръ петербургскаго чиновника, анализируйте его и вы увидите, что совершенно тѣ же два двигателя: стремленіе къ захвату наибольшей власти и презрѣніе ко всѣмъ видамъ свободной народной жизни составляютъ основу и душу его міровоззрѣній и принципа его дѣятельности... Оттого вы ошибаетесь жестоко, если подумаете, что чиновникъ врагъ политическихъ стремленій либерала сдѣлаться однимъ изъ сомонарховъ-представителей Россіи: нисколько; онъ ему милѣе консерватора по той простой причинѣ, что чиновникъ (какъ и французскій чиновникъ) ничего не потеряетъ въ своемъ бумажномъ царствѣ при конституціи и найдетъ въ либераль, захватившемъ власть своего Совіа относительно нескончаемыхъ и ненасытныхъ инстинктовъ и задачъ централизаціи, то-есть обезсиленія всѣхъ органовъ свободной и народной жизни. Не сговаривавшись никогда, они инстинктно союзники въ этой задачѣ будущаго. («Дневники», № 30, отъ 26-го апрѣля).

Читатель, можетъ быть, удивится, найдя въ „Гражданинѣ“ критику централизаціи съ точки зрѣнія „свободной и народной жизни“. Но его удивленіе уступитъ мѣсто невольной улыбкѣ, когда онъ узнаетъ, что эта терминологія прикрываетъ у кн. Мещерскаго представленіе о „губернаторѣ—хозяинѣ губерніи“ и о „власти“, свободной отъ „безчисленныхъ порядковъ ревизіоннаго, кассационнаго и контрольнаго производствъ“. Однако, и при такой подстановкѣ надлежащихъ терминовъ вмѣсто страннаго политическаго словаря „Гражданина“, кн. Мещерскому предстоитъ рѣшить невозможную задачу: какъ, при усложненіи общественной жизни до безконечности, современный государственный строй въ состояніи выполнять всѣ свои функціи, не опираясь на строго централизованную армію столь критикуемыхъ кн. Мещерскимъ чиновниковъ, т. е. не будучи бюрократическимъ по самому существу своему? Смѣю увѣрить привилегированнаго публициста, что еслибъ осуществился его планъ „свободной власти хозяевъ—губернаторовъ“, то Россія была бы отброшена за реформы Петра въ эпоху кормленія воеводъ. Иное дѣло—децентрализація, основанная на самостоятельности и самоуправленіи населенія; но кн. Мещерскій блистательно доказалъ, что въ этомъ случаѣ намъ грозятъ всевозможные ужасы вплоть до „всеураженія“ и до „анархіи“ включительно. Итакъ, вся княжеская словесность сводится на сей разъ къ жесточайшей критикѣ чиновничества, каковую нашъ enfant terrible реакціи продѣлалъ на свой страхъ, не сообразивъ, что этимъ онъ наноситъ лишь ударъ тому міровоззрѣнію, которое защищаетъ и пропагандируетъ. Вонъ в. Грингмутъ, небось, не допуститъ на столбцахъ „Московскихъ“ такого забавнаго политическаго паралогизма.

Еще рѣзче и беспощаднѣе „Гражданинъ“ обрушивается на весь лагерь своихъ единомышленниковъ, рисуя русскихъ „консерваторовъ“ слѣдующими непривлекательными красками:

У насъ нѣтъ консерваторовъ, въ видѣ сплоченной и убѣжденной политической партіи. Есть отдѣльныя лица, которыхъ можно по убѣжденіямъ назвать консерваторами, вѣроятно, ихъ можно найти между подписчиками «Гражданина», но и они, я убѣжденъ, въ политическомъ смыслѣ не могутъ быть названы консерваторами, потому что они консерваторы про себя, спокойнаго свойства, которые одного желаютъ, чтобы ихъ оставили въ покоѣ, и отъ воинствующей политической роли убѣгаютъ какъ отъ чумы... На земскомъ или дворянскомъ собраніи, когда либеральствующіе выступаютъ со своими безшабашными требованіями, консерваторы или притворяются дрслющими, или сосутъ бульдегомъ, или удираютъ въ буфетъ, а если кто-нибудь не на шутку воспламенится консервативнымъ пыломъ, то непременно нѣсколько консерваторовъ его обступятъ, и станутъ его охлаждать словами: ну ихъ, бросьте, чортъ съ ними съ этими либералами, вѣдь все равно васъ никто не поддержитъ. И если убѣжденный консерваторъ не дастъ себя охладить и начнетъ бой, то первые, которые удираютъ изъ залы, чтобы его не поддерживать,—непремѣнно консерваторы. Это земскіе консерваторы, провинціальныя консерваторы...

Столичный консерваторъ,—тотъ тоже въ своемъ родѣ интересный субъектъ. Если онъ въ чаюніи что-нибудь хапнуть отъ казны,—онъ консерваторъ; если надежда хапнуть лопнула, если штука сорвалась, если не удался планъ воздушнаго полета, то онъ сразу дѣлается либераломъ и разноситъ правительство на всѣ корки. («Рѣчи консерватора», № 56, отъ 26-го іюля).

Читателю остается только поблагодарить кн. Мещерскаго за мастерской портретъ во весь ростъ столь хорошо знакомой ему реакціонной клики, претендующей на руководство Россіей, и посоветовать автору „Милліона“ вспомнить о своихъ лаврахъ драматурга и написать для Михайловскаго театра раздирательную траги-комедію на французскомъ языкѣ: *Les conservateurs russes peints par eux-mêmes ou l'on n'est jamais trahi que par les siens!* „Охранитель“ отечества, „сосущій бульдегомъ“ или „чающій что-нибудь хапнуть отъ казны“, можетъ явиться очень жизненнымъ типомъ на подмосткахъ, какъ онъ является, впрочемъ, и въ дѣйствительности, и дать благодарный сюжетъ обличительному таланту великосвѣтскаго автора.

Но особенно импульсивность нашего *enfant terrible* охранительства проявилась въ оцѣнкѣ такъ называемой классической системы образованія, связанной съ именемъ гр. Д. Толстого.

Весною этого года, когда вся учащаяся Россія переживала тяжелые дни, кн. Мещерскій, рядомъ съ обычными дикими мыслями, высказалъ рядъ вѣрныхъ соображеній по поводу господствовавшей у насъ школьной системы и въ пылу критическаго увлеченія далъ самый уничтожающій отзывъ объ учебномъ режимѣ послѣдняго тридцатилѣтія. По обыкновенію онъ забылъ, что эта оцѣнка шла въ разрѣзъ съ символомъ вѣры „охранительства“, такъ какъ нашъ классицизмъ былъ прежде всего политическимъ орудіемъ насажденія извѣстныхъ идеаловъ

въ юношества, если только можно употреблять слово „идеаль“ для обозначенія усиленной культивировки самых низменных инстинктов молчалинства. И по обыкновенію же критика кн. Мещерскаго, увлеченнаго непродуманнымъ аффектомъ, нанесла больныя раны его основному міровоззрѣнію. Почти наканунѣ перелома въ нашей системѣ образованія онъ писалъ:

можно-ли организмъ, разрушающійся отъ зараженія всѣхъ его жизненныхъ органовъ, спасти или укрѣплять примочками извнѣ, и приемомъ употребительныхъ лѣкарствъ внутрь? Графъ Толстой создалъ эту искусственно и мертво классическую восьми-классную гимназію, основанную на раннемъ разобщеніи съ русскою жизнью въ ея прошедшемъ и въ ея настоящемъ, какъ фабрику, гдѣ сушеніе мозга было признано средствомъ подготовленія къ университетскому образованію и 15 почти лѣтъ эта средняя школа готовила тупицъ и сухарей для университетскихъ аудиторій. Затѣмъ графъ Деляновъ веселымъ добродушіемъ замѣнилъ угрюмую суровость завѣтовъ гр. Толстого, но процесса духовнаго омертвѣнія и растлѣнія учащейся молодежи не остановилъ.

И вотъ въ этомъ безысходномъ состояніи стоятъ передъ нами наша гражданская школа...

Ее, а съ нею Россію можетъ спасти только перестройка всего зданія, начиная съ фундамента («Дневники» № 21 отъ 18 марта).

А вотъ какъ „Гражданинъ“ аттестовалъ выходъ изъ министерства народнаго просвѣщенія того человѣка, который являлся столпомъ русскаго классицизма, поддерживавшимъ 30 лѣтъ на своихъ плечахъ эту ужасную систему калѣченія подростающихъ поколѣній:

Членъ совѣта министерства народнаго просвѣщенія *А. И. Георгіевскій*—пожалованъ въ сенаторы—и вышелъ изъ министерства народнаго просвѣщенія!..

Уфъ, скажу я, чувствуя въ этомъ событіи какой-то камень, свалившійся съ груди любимаго существа, наконецъ-то...

Радоваться, и даже сильно радоваться этому событію вполне возможно: 1) потому что это не есть бытіе по лежачему, а есть радость по получившемъ въ заключеніе своей службы почетное повышение, 2) потому что дорогое существо, съ груди котораго свалился камень, душившій его болѣе 30 лѣтъ, есть не болѣе и не менѣе какъ все гражданское юношество въ Россіи...

Въ лицѣ г. Георгіевскаго ушелъ изъ министерства совсѣмъ необыкновенный человѣкъ, представлявшій собою тридцать лѣтъ нескрушимый авторитетъ, гипнозу котораго подчинялись съ рабскою покорностью всѣ министры народнаго просвѣщенія, начиная съ графа Толстого, и подчинялись въ самомъ невѣроятномъ и въ самомъ существенномъ; въ примѣненіи ко всей гражданской школѣ ужаснаго принципа безличія, благодаря которому, во-первыхъ, изъ школы было изгнано воспитаніе юношества, какъ задача государства, во-вторыхъ, введена система средняго классическаго образованія на началахъ желѣзнаго педагогизма и мертваго формализма, и въ третьихъ, совсѣмъ изгнано изъ школы сердечное участіе къ судьбѣ учащагося юноши..

Этому гипнотизму подчинялось все вѣдомство министерства народнаго просвѣщенія и не было директора гимназій, инспектора, учителя въ вѣдомствѣ гражданской школы, который въ теченіе этихъ 30 лѣтъ не подчинялъ свою душу догмъ, усердію по службѣ и исполненію воли начальства видѣть въ атрофіи сердца къ учащемуся юношеству. И тотъ ужасный типъ вицъ-

мундирнаго педагога, который за эти 30 лѣтъ создался на всемъ пространствѣ русской земли, типъ человѣка, превратившаго учащагося юношу въ балльную отмѣтку, насажденъ на почвѣ русской школы этимъ необыкновеннымъ человѣкомъ. («Рѣчи консерватора», № 37, отъ 20 мая).

И прахъ нашъ со строгостью судьи и «Гражданина».

Князь оскорбилъ язвительнымъ стихомъ!

по праву воскликнуть любой изъ педагоговъ толстовской школы. Согласитесь, въ самомъ дѣлѣ, что такъ третировать цѣлый школьный режимъ, избобрѣтенный именно въ видахъ „охранительства“, и третировать-то, будучи самому охранителемъ, представляетъ собою подвигъ по плечу развѣ лишь импульсивному темпераменту сіятельнаго публициста. Вотъ почему, ради этой правдивой и мѣткой характеристики теряющихъ теперь свой искусственный престижъ идей классицизма, мы можемъ простить кн. Мещерскому его послѣдующее раскаяніе и его комичныя попытки защитить отживающую систему противъ „неучей-либераловъ“. Когда издатель „Гражданина“ распространяется, напр, теперь о развивающихся и облагораживающихъ свойствахъ греческаго и латинскаго языковъ, мы можемъ смѣло сказать, что въ качествѣ бывшаго правоведа кн. Мещерскій воздвигаетъ, на подобіе афинянъ въ дѣяніяхъ апостоловъ, храмъ „невѣдомому богу“, и тѣмъ уподобляется гр. Толстому, который тоже, какъ извѣстно, не пошелъ въ греческомъ дальше нѣсколькихъ уроковъ о *spiritus asper* и *spiritus lenis* и споткнулся на энклитикахъ, но за то съ необыкновеннымъ апломбомъ заставилъ всю Россію преклоняться передъ алтаремъ совершенно неблагоклоннаго къ нему идола. Въ новой позиціи, занятой кн. Мещерскимъ, надо видѣть, впрочемъ, лишь результатъ развѣдающей его рефлексіи, которая отравляетъ порою первыя, всегда любопытныя и поучительныя движенія души нашего *enfant terrible* реакціи.

Возвращаясь по ассоціаціи идей къ затронутому нѣсколько выше вопросу о нашей отживающей классической школѣ. Чтобы судить, насколько она была популярна, достаточно обратить вниманіе на то, какъ рѣдки голоса, защищающіе ее. Теперь эту школу, можно сказать, только мертвый не пинаетъ. Когда поднялись хоть нѣсколько шлюзы, сдерживавшіе публичное выраженіе мнѣній о ней, обличительная литература противъ классицизма хлынула цѣлымъ потокомъ, и потокъ этотъ поднимается все выше. Журналъ и газета, ученые общества и спеціальныя коммиссіи, публицистика и беллетристика,—все занято теперь вопросомъ о реформѣ школы, и громадное большинство пишущихъ и говорящихъ рѣшительно осуждаетъ систему образованія, безраздѣльно парившую у насъ съ самаго начала 70 годовъ. Большая публика съ жадностью прислушивается къ этимъ толкамъ и съ жаромъ поглощаетъ все, что появляется по этому поводу въ прессѣ. Одновременное печатаніе въ нашемъ журналѣ

„Гимназическихъ очерковъ“ г. Б. Никонova и „очерковъ“ же „недавняго прошлаго“ „Изъ гимназической жизни“ г. А. Яблоновскаго въ „Мірѣ Божіемъ“ наглядно показываетъ, между прочимъ, какимъ наболѣвшимъ вопросомъ стала для нашего общества необходимость коренной школьной реформы. Литературные обычаи не позволяютъ, къ сожалѣнію, мнѣ говорить о произведеніи моего собрата по журналу, и даже проведеніе параллели между двумя одинаковыми по темѣ вещами было бы въ данномъ случаѣ, пожалуй, нарушеніемъ общепринятаго литературнаго кодекса:

Обычай—деспотъ межъ людей!..

Поэтому я принужденъ ограничиться оцѣнкой этюдовъ г. Яблоновскаго, начатыхъ въ іюньской книжкѣ „Мира Божія“ и оконченныхъ въ сентябрьской. Произведеніе г. Яблоновскаго встрѣчено вообще сочувственно публикой; и, дѣйствительно, ему нельзя отказать въ извѣстномъ талантѣ и въ живости, съ какой обрисованы нѣкоторые типы и изображено нѣсколько сценъ. Мнѣ хотѣлось бы, однако, указать автору на существенный, по моему, пробѣлъ, который замѣчается въ картинѣ этой гимназической жизни, и пробѣлъ тѣмъ болѣе ощутительный, что онъ не можетъ ускользнуть отъ вниманія всѣхъ тѣхъ читателей, которые если не сами лично, то, благодаря своимъ сыновьямъ и младшимъ братьямъ, переиспытати прелести толстовской школы, начиная съ ея величія и кончая ея паденіемъ. Я хочу сказать, что г. Яблоновскій черезчуръ идеализировалъ среду гимназистовъ и оставилъ въ тѣни громадный процентъ тѣхъ несчастныхъ, на вѣки искалѣченныхъ существъ, которыя неумолимо размалывались и бросались по дорогѣ хитрой педагогической механикой, занимавшейся производствомъ „зрѣлыхъ юношей“, т. е. школьниковъ, снабженныхъ пресловутымъ аттестатомъ зрѣлости. Эта безжалостная фабрикація классиковъ оставляла, дѣйствительно, по себѣ массу изгари, шлаковъ и отброса, который, по аналогіи съ выраженіемъ англійскихъ промышленниковъ, мы могли бы назвать „чортовой пылью“, devil's dust. Къ несчастію, этотъ отбросъ состоялъ не изъ мертвой матеріи, а изъ молодыхъ жизней, которыя нашимъ одуряющимъ классицизмомъ выбивались изъ колеи, мялись и растапывались, можно сказать, на корню.

Сколько въ теченіе гимназическаго курса, этого новаго хожденія бѣдныхъ душъ по мукамъ, злой демонъ толстовской школы губилъ такихъ, подчасъ цѣнныхъ существованій, заставляя однихъ зарабатывать и зазубриваться до одуренія, до чахотки, до смерти, другихъ бросая въ пьянство и грязныя похождения, третьихъ доводя до самоубійства! Можно смѣло утверждать, что изъ 100 мальчиковъ, поступавшихъ въ первый классъ, до аттестата зрѣлости врядъ-ли добиралось 5—10 счастливыхъ, особенно въ героическій періодъ толстовскаго режима, такъ съ половины 70-хъ го-

довъ и до конца 80-хъ. Да и между этими счастливыми сколько было жалкихъ, навсегда оглуленныхъ существъ, преимущественно изъ той категоріи „первыхъ учениковъ“, которая удерживалась на этихъ гимназическихъ высотахъ не столько благодаря способностямъ, сколько ослиному терпѣнію, вѣчной зубристикѣ и благонаравію, т. е. усердному подлаживанію къ правамъ, обычаямъ и даже тикамъ педагоговъ! Сколько между все этими же счастливыми было людей, на вѣки испорченныхъ, безвозвратно утеравшихъ образъ человѣческій изъ-за многолѣтняго приспособленія къ ужасающей и лицемерной вмѣстѣ съ тѣмъ дисциплинѣ толстовской школы и изъ-за продолжительнаго преслѣдованія идеала „благонравнаго юноши“!

Право, если сравнить съ классической гимназіей нашу страшную дореформенную бурсу, описанную Помяловскимъ, то все же окончательный результатъ этого сравненія оказался бы въ пользу бурсы. Ибо тамъ царили дикіе нравы, ужасающая грубость, дерка, ничѣмъ не скрашенная физическая сила; но, за немногими исключеніями, не было того іезуитскаго подхода къ душѣ ребенка, того вытравливанія изъ нея всякой индивидуальности, той выработки „добровольнаго рабства“, какая составляла суть классическаго „воспитанія“. Ну, а образованіе то же не далеко ушло отъ бурсы, по крайней мѣрѣ, какъ разъ по главнымъ предметамъ гимназическаго курса, напр., древнимъ языкамъ, которые зубрились цѣлыми годами и самымъ схоластическимъ способомъ, но въ концѣ концовъ оставались для громаднаго большинства „классиковъ“ книгой съ семью печатами и только помогали бѣднымъ жертвамъ педантизма забывать русскій языкъ, благодаря безграмотно-дикимъ переводамъ подъ руководствомъ невѣжественныхъ и самоувѣренныхъ „братушекъ“-филологовъ.

Вотъ этой-то безотрадной, ужасающей картины русскаго классицизма я и не нашелъ въ очеркахъ г. Яблоновскаго, написанныхъ, повторяю, не безъ таланта и не безъ живости. Авторъ, правда, очень удачно рисуетъ типы толстовской школы, участвовавшихъ въ этомъ новомъ избиеніи младенцевъ. Чего стоитъ хотя бы фигура директора Чеботаева, въ молодости считавшагося „краснымъ“, но затѣмъ такъ основательно раскаявшагося и такъ умѣло вошедшаго въ виды начальства, что къ сорока годамъ онъ далеко уже обошелъ по службѣ своихъ товарищей! Или умно задуманный и искусно выполненный типъ „добродѣтельнаго семьянина“, но свирѣпаго педагога, Харченки, который, благодаря тонкому нюху карьериста, забѣгалъ впереди желаній директора и сейчасъ же умѣлъ нащупать слабую сторону этого Юпитера гимназическаго Олимпа!

Но, въ противовѣсъ этимъ отрицательнымъ типамъ учителей, г. Яблоновскій изображаетъ на другомъ полюсѣ толстовскаго классицизма почти исключительно положительные типы учениковъ:

и живого талантливого Трубчевскаго; и общественнаго человѣка Дорошенка, исполненнаго, не смотря на свой рангъ перваго ученика, пылкаго энтузіазма къ товарищеской ассоціаціи и не менѣе пылкой ненависти къ противоположному, учительскому лагерю; и вдумчиваго „сочинителя“ и главнаго героя кружковыхъ рефератовъ Савицкаго; и всегда правдиваго Харламова; и т. п. Лишь мелькомъ онъ ставитъ передъ глазами читателя фигурку шалопая Кривцова, но все же надѣляя ее, подобно прочимъ, чувствами симпатіи къ товарищамъ и желаніемъ всячески нагадить педагогамъ. Словомъ, подъ перомъ г. Яблоновскаго гимназисты составляютъ въ борьбѣ съ начальствомъ одинъ крѣпкій и дружный лагерь людей, отстаивающихъ свою душу живу и свое право на человѣческое развитіе; и иной читатель изъ этой картины можетъ вывести то заключеніе, что толстовская система, именно благодаря своему отталкивающему характеру, сослужила хорошую службу русскому юношеству, возбуждая въ немъ по закону контраста, симпатію къ тѣмъ идеямъ и стремленіямъ, которыя хотѣлъ вытравить офіціальный классицизмъ.

Но тутъ, къ сожалѣнію, явное преувеличеніе. Нашъ классицизмъ имѣлъ такое вліяніе лишь на наиболѣе одаренное и энергичное меньшинство учащихся: такіе люди, дѣйствительно, закалялись въ ненависти къ духовному гнету, да и то если не раздавливались имъ; большинство же на всю жизнь выходило изуродованнымъ, безъ энергіи, безъ жажды знанія, безъ чувства достоинства, безъ любви къ идеалу и безъ ненависти къ умственнымъ тиранамъ, за то съ обильнымъ запасомъ низкопоклонства и подхалимства. Достаточно припомнить характеръ подроставшихъ поколѣній по періодамъ.

Семидесятые годы были ознаменованы, напр., въ Россіи удивительнымъ подъемомъ альтруистическихъ и вообще общественныхъ чувствъ въ молодежи. Но тонъ ей давали старшіе товарищи которыхъ толстовская „реформа“ не застала уже въ школѣ или застала лишь въ высшихъ классахъ и которые успѣли вырваться, такимъ образомъ, изъ подъ ея развращающаго вліянія; младшіе же участники въ идейномъ движеніи, ставшіе „классиками“ по неволѣ, шли за бодрымъ авангардомъ интеллигенціи, пока ихъ выносила на себѣ живая волна общественнаго прогресса. Но когда наступили 80-е годы, особенно вторая половина ихъ, тогда мы могли видѣть воочию, какъ мизеренъ и жалокъ былъ персоналъ интеллигенціи, созданный классицизмомъ.

Пресловутый восьмидесятникъ, да, вѣдь, это законное дитя, любимѣйшій сынъ толстовскаго режима: о „малыхъ дѣлахъ“ и о „свѣтлыхъ явленіяхъ“ заговорили сначала какъ разъ тѣ мудрые старцы, изнемогавшіе подъ бременемъ своихъ двадцати пяти лѣтъ, которые были прогнаны черезъ весь строй „реформы“ съ перваго класса и до послѣдняго. Это имъ, нравственнымъ и физиче-

ческимъ калѣкамъ, показался непомѣрно быстръ ходъ мучительно-тягучаго русскаго прогресса, и это они, люди безъ вѣры и идеаловъ, совѣтовали обществу стреножить себя путами микроскопическихъ дѣлишекъ и переступать лишь мелкими шажками, давая, такимъ образомъ, полутора вершковымъ реформаторамъ возможность не только поспѣвать за страной, но даже идти своими большими ногами въ первыхъ рядахъ топтавшейся на мѣстѣ арміи „трезвыхъ“ и „серьезныхъ“ культурниковъ.

Девятидесятиникъ, привѣтствованный въ свое время Н. В. Шелгуновымъ и привѣтствованный по праву, ибо онъ былъ много лучше своего непосредственнаго предшественника, являлся уже продуктомъ классицизма, утратившаго вѣру въ себя, начавшаго помышлять о частной перестройкѣ гордаго, но нелѣпо уродливаго храма школьной схоластики, словомъ классицизма, который самъ чувствовалъ свое внутреннее банкротство и функционировалъ только по инерціи. Къ тому же общество успѣло хоть нѣсколько отдохнуть отъ реакціи, испугалось своего собственного паденія, и само развитіе историческихъ условій выдвинуло впередъ болѣе живые элементы и подняло настроеніе интеллигенціи. Но и здѣсь самая быстрота и неожиданность идейныхъ поворотовъ довольно краснорѣчиво свидѣтельствуютъ о слабости критической мысли девятидесятниковъ. Давно ли, напр., они всѣ почти клялись „экономическимъ матеріализмомъ“ и, по странной аберраціи ума, свою собственную роль, роль интеллигенціи, сводили почти на нѣтъ. Теперь многіе изъ нихъ клянутся кантовскимъ или даже фихтеанскимъ идеализмомъ, и интеллигенція съ ея „категорическимъ императивомъ“ и метафизическими разсужденіями о „я“, о „вѣчномъ добрѣ“, объ „абсолютной правдѣ“ придаютъ чрезмѣрное, горделиво-претенціозное значеніе. Что это, какъ не навыки толстовской школы, основывавшей все на зубристикѣ, на механическомъ усвоеніи и очень мало развивавшей критическую мысль? Что этотъ экономическій матеріализмъ и что это метафизическое кантіанство, какъ не та же внѣшняя ассимиляція чужихъ, когда-то живыхъ и свѣжихъ мыслей, какъ не тотъ же *rapis, piscis, ignis, cinis* и т. п?..

Словомъ, воздавая должное интересной попыткѣ г. Яблѣновскаго, я жду, чтобы кто-нибудь изъ нашихъ беллетристовъ развернулъ передъ нами цѣльную картину хоронимаго теперь обществомъ классицизма съ его ужасающимъ расточеніемъ человеческихъ жизней, съ его калѣченьемъ цѣлаго ряда подроставшихъ поколѣній, съ его губительнымъ вліяніемъ на весь ходъ нашей исторіи.

Изъ прочей беллетристики, заключенной въ лежащихъ предо мною трехъ книжкахъ „Міра Божія“, упомяну о произведеніяхъ г-жи Гишпіусъ и г. Вересаева. Признаюсь, къ разсказу г-жи Гип-

піусъ „Чистая сердцемъ“ (напечатанному въ августовскомъ номерѣ) я приступилъ не безъ любопытства. Не смотря на вымученный, нестерпимо-манерный жанръ своихъ твореній, характеризующій русскую школу декадентовъ, символистовъ, эстетовъ и какъ ихъ еще тамъ, г-жа Гиппіусъ, по моему, не лишена нѣкотораго таланта. Мнѣ напр., невольно вспоминается нѣсколько отдѣльныхъ интересныхъ страницъ, написанныхъ ею въ тѣ вѣроятнo, моменты, когда она забывала корчиться на своемъ пидѣйскомъ треножникѣ и умышленно выламывать руки и ноги у обыкновеннаго здраваго смысла и вмѣстѣ съ тѣмъ у русскаго языка. Я, конечно, не назову этихъ страницъ: такъ какъ російская вдохновенная Сафо упражняется и въ прозѣ, и въ стихахъ исключительно для „избранныхъ“, то указать на эти страницы—вѣрное средство заставить нашу музу декадентства съ презрѣніемъ отрясти прахъ своихъ крылатыхъ сандалій на эти по нечаянности общепонятныя вещи и съ сугубымъ рвеніемъ принятыся за несообразности. Какъ бы то ни было, за „Чистую сердцемъ“ я принимался, повторяю, съ нѣкоторымъ любопытствомъ. Меня смущали лишь неумѣренныя похвалы, расточаемыя г-жѣ Гиппіусъ за ея послѣдній рассказъ присяжнымъ критикомъ „Московскихъ“, г. Басаргинимъ, который упрекаетъ автора за незнаніе великопостной молитвы (sic!) но за то отъ „духа“ произведенія въ большомъ восторгѣ. Зная обычную привычку нашихъ „охранителей“, вопреки ихъ восторженнымъ признаніямъ въ любви къ „чистому искусству“, опѣивать художественныя произведенія съ точки зрѣнія „духа“, я боялся, что на сей разъ г-жа Гиппіусъ перестала макать свое перо въ растворъ изъ луннаго свѣта только съ тѣмъ, чтобы погрузить его въ масло изъ замоскворѣцкой лампадки.

Но, отогнавъ всякія такія соображенія и опасенія, я взялъ „Чистую сердцемъ“—смѣю увѣрить читателя—безъ всякаго предубѣжденія и съ искреннимъ желаніемъ найти въ рассказѣ г-жи Гиппіусъ что-нибудь, имѣющее общій интересъ. Увы! прочитавъ „Чистую“, я понялъ, почему „Московскія“ сочли долгомъ привѣтствовать вступленіе автора на новый, симпатичный имъ путь. Въ произведеніи г-жи Гиппіусъ почти нѣтъ,—за исключеніемъ слабыхъ, подавленныхъ нотъ,—того, что называется декадентствомъ. Но за то въ немъ очень много банально-мелодраматическаго элемента, основаннаго, кромѣ того, на крупной психологической невѣрности. „Чистая сердцемъ“ это, видите-ли старѣющая дѣвица, Серафима Родіоновна Глѣбова, дочь купца, воспитаннаго въ строгихъ нравахъ „древняго благочестія“, но затѣмъ перешедшаго въ православіе. У Серафимы есть младшая сестра, идиотка, которую отецъ со смерти жены сдалъ на руки и попеченіе старшей, превративъ Серафиму окончательно въ сидѣлку больной дѣвочки и даже въ завѣщаніи заранѣе распорядившись

лишить ее всякихъ средствъ, если она выйдетъ замужъ и перестанетъ всю жизнь свою отдавать, какъ теперь, уходу за сестрой Любой. А Серафима какъ разъ влюбляется на свое горе въ бѣднаго провизора, который и радъ бы взять ее за себя, но не можетъ въ виду безжалостнаго завѣщанія купца Глѣбова. И вотъ Серафима въ промежутокъ между хожденіями въ церковь, посѣщеніями матери любимаго человѣка и уходомъ за сестрой внезапно приходитъ къ мысли отравить Любу, сбросить съ плечъ эту „обузу“ и такимъ образомъ устроить свой бракъ съ избранникомъ сердца. Но также внезапно, взглянувъ во время на икону, „свѣтлый ликъ, веселый и грустный“, разбиваетъ стеклянку съ ядомъ и рѣшаетъ принести себя и свое счастье въ жертву бѣдной идиоткѣ. Финалъ: торжество добродѣтели и радостно-горестныя слезы Серафимы, встрѣчающейся послѣ такого рѣшенія съ милымъ сердцу, которому она и объявляетъ свою „не судьбу замужъ идти“. При семъ апоэозѣ дѣйствующими лицами, кромѣ Серафимы и молодого человѣка, являются еще „небо и земля“, ставшіе для сего случая „вокругъ нихъ чистыми-чистыми, и казалось, что ничего другого и нѣтъ на свѣтѣ, кромѣ чистоты, тишины и счастья“; да еще читатель, который, покончивъ съ этой мелодрамой, спрашиваетъ себя: и какъ это только возможно, чтобы Серафима, воспитанная въ вѣчномъ подчиненіи отцу, привыкшая къ традиціонной жизни, пропитанная набожностью, сжившаяся со своею ролью сидѣлки, не обнаруживавшая никогда возмущенія противъ окружавшаго ее гнета, вдругъ превратилась въ „сверхчеловѣка“, рѣшающаго преступленіемъ осуществить свои планы? Не говорите намъ также о „взглядѣ“ на „свѣтлый ликъ“, играющій въ данномъ случаѣ роль настоящаго Deus ex machina, чтобы вывести изъ психологической неправдоподобности автора „Чистой сердцемъ“. Такія рѣшенія, какъ Серафимино, людьми этой категоріи не принимаются: они могутъ плакать, горько жаловаться на судьбу; но какъ далеко отъ этихъ сѣтованій и причитаній до жеста Серафимы, подносящей ядъ къ губамъ сестры! Мы, конечно, понимаемъ восторги г. Басаргина, но гдѣ же тутъ психологическая правда, обосновывающая дѣйствія людей сообразно ихъ общему характеру?

Я бы прибавилъ, пожалуй, что г-жѣ Гиппиусъ удался въ этомъ разсказѣ типъ купца, бывшаго старообрядца. Но въ нашей литературѣ этотъ типъ разрабатывался столько разъ и съ такими подробностями, что и тутъ затруднишься сказать, насколько это лицо создано личной наблюдательностію и творчествомъ автора, и насколько въ немъ чужого, заимствованнаго и, стало быть, чисто книжнаго матеріала.

„Маленькіе разказы“ г. В. Вересаева (см. сентябрьскую книжку „Мира Божія“), пожалуй, вызовутъ нѣкоторое разочарованіе въ читателѣ, который привыкъ встрѣчать подъ перомъ автора болѣе

интересную обработку и болѣе значительныхъ сюжетовъ. Самъ г. Вересаевъ, очевидно, не долженъ придавать большое значеніе этимъ сценамъ и картинамъ „изъ лѣтнихъ встрѣчъ“; и, пущенные фельетонами въ газетъ, рассказы эти были бы прочитаны съ удовольствіемъ и забыты безъ особаго огорченія. Но, напечатанные одинъ вѣлѣлъ за другимъ въ журналъ и дѣйствующие на читателя своимъ ансамблемъ, они поневолѣ вызываютъ и болѣе строгую критику, въ особенности потому, что *poblesse oblige*, и чего, напр., нельзя требовать отъ г-жи Гипсіусъ, то приходится требовать отъ г. Вересаева. „Маленькіе рассказы“, дѣйствительно, невелики по содержанию да, пожалуй, и по своему художественному значенію. Это мелкія сценки, случайные эпизоды, два—три этюда—нельзя даже сказать, портрета—фигуръ косарей, гонщиковъ, переселенцевъ. И становится жаль, что г. Вересаевъ тратитъ свой живой и симпатичный талантъ по мелочамъ: и безъ того въ нашей литературѣ теперь, кажется, кромѣ микроскопическихъ картинокъ, эскизовъ, отрывковъ, ничего не найдешь. Изъ четырехъ рассказовъ лишь одинъ, второй („На холоду“), производитъ опредѣленное, а мѣстами и довольно сильное впечатлѣніе: разговоръ деревенскаго лавочника и его спутника, по всей видимости изъ категоріи „хозяйственныхъ мужичковъ“, ярко и выпукло рисуетъ отношеніе зажиточныхъ людей современной деревни къ рядовой, страдающей теперь отъ голода бѣднотѣ; и типы собесѣдниковъ, въ особенности энергичнаго и безжалостнаго Трифона Иванова, который жестко отвѣчаетъ на болѣе мягкія разсужденія лавочника, живо вырисовываются передъ читателемъ. И опять-таки жалѣешь, что авторъ не развернулъ шире этой картины застигнутой бѣдою деревни, разрываемой на части враждебными интересами богатыхъ и бѣдныхъ, а тутъ же оборвалъ свой второй рассказъ и перешелъ къ третьему („Исправилась“), который сначала вызываетъ недоумѣніе, а затѣмъ невольную улыбку. Жила-была, видите-ли, „молодая, красивая баба, удивительно крѣпкая и здоровая“, по имени Пелагея; но часто на эту бабу находили припадки гнѣва, злобы, истерики, когда она нещадно била своего сынишку, свирѣпо металась на всѣхъ и собирала вокругъ себя толпу соболѣзнующихъ товарокъ, тщетно пытавшихся излѣчить ее отъ „порчи“. Былъ у Пелагеи и мужъ, но видался съ нею рѣдко: почти круглый годъ въ Москвѣ работалъ... И вдругъ Пелагея „исправилась“ и прекратила всѣ эти истерики и неистовства, а г. Вересаеву пришлось въ это время видѣть ночью, такую сцену:

Сдержанно переговариваясь, къ рѣкѣ спускались двѣ фигуры. Я узналъ голосъ барскаго работника Климентія. Въ заломанной на бекрень бѣлой фуражкѣ онъ шелъ, обнимая за плечи женщину въ красномъ платочкѣ; она тѣсно и счастливо прижималась къ нему всѣмъ тѣломъ. Эти крѣпкія круглыя плечи подъ кисейными рукавами, круглая щека подъ платкомъ... Да, это Пелагея!

Надо замѣтить, что Климентій, какъ предупредительно сооб-

щаетъ тремя страницами выше авторъ, было „отставной драгунъ“. Да здравствуетъ же доблестная армія, производящая такіе подвиги умиротворенія! Спасибо тебѣ, Климентій, за Пелагею, за сынишку Пелагеи и за читателя, который находитъ, что *tout est bien qui finit bien* и даже рассказъ г. Вересаева, напоминающій нѣсколько манеру французскихъ натуралистовъ, подражающихъ Мопассану!..

Изъ небеллетристическихъ вещей „Міра Божія“ заслуживаютъ, по обыкновенію вниманія „Очерки по исторіи русской культуры“, г. Милюкова, новая глава которыхъ появилась въ августовской книжкѣ журнала. Въ этотъ разъ авторъ изображаетъ тотъ періодъ русскаго культурнаго развитія, который, совпадая приблизительно съ царствованіемъ Елизаветы, представлялъ собою переходъ отъ „безыдейнаго реализма“ петровскаго времени къ литературно-жизненному направленію вѣка Екатерины. Этотъ елизаветинскій фазисъ культурнаго прогресса Россіи авторъ характеризуетъ какъ господство „условнаго безпредметнаго идеализма“. Поколѣніе, выражавшее собою эти стремленія, взяло своимъ отъ правнымъ пунктомъ „культъ утонченныхъ удовольствій сердца“, но на этой почвѣ „создало свое болѣе отвлеченное, болѣе далекое отъ жизни, но и за то болѣе идеальное представленіе о цѣляхъ и о сущности новаго просвѣщенія“. Авторъ показываетъ, какъ это направленіе, распространенное сначала при дворѣ, постепенно „вышло изъ тѣснаго круга правительственныхъ лицъ“ и захватило хоть и близкіе къ нему, но все же болѣе широкіе слои молодежи недавно открытыхъ въ то время высшихъ учебныхъ заведеній: академическаго университета, затѣмъ въ особенности сухопутнаго шляхетскаго корпуса и, наконецъ, московскаго университета. Къ концу же царствованія Елизаветы литературное движеніе „рѣшительно вырастаетъ изъ этихъ придворныхъ рамокъ, продолжая все время оставаться въ рукахъ учащейся молодежи“. Развивающееся просвѣщеніе избираетъ своими орудіями, кромѣ школы, книгу, затѣмъ любительскій спектакль, а еще позже и періодическій журналъ. Г. Милюковъ даетъ характеристику этихъ различныхъ каналовъ образованія въ изображаемый имъ періодъ и показываетъ „высшую точку, на которую смогла подняться русская общественная мысль въ елизаветинскую эпоху“. Эта высшая точка была далеко не высока сама по себѣ: она была

достигнута лишь небольшимъ кружкомъ лицъ, которыхъ можно было бы всѣхъ пересчитать по спискамъ высшихъ учебныхъ заведеній того времени. Этотъ кружокъ писалъ и печаталъ почти исключительно для самого себя... Такое отношеніе къ издательству какъ нельзя лучше подчеркиваетъ характеръ періода, когда русское просвѣщеніе ограничивалось кругомъ добрыхъ знакомыхъ, употреблявшимъ на пользу этого просвѣщенія лишь свои школьные годы и свое праздное время (стр. 23).

Читая детальное изображеніе г. Милюковымъ различныхъ сто-

ронъ этого первоначальнаго этапа русской культурной мысли и сопоставляя его съ послѣдующей исторіею идейныхъ теченій, невольно приходимъ къ заключенію, что въ то время, какъ первые шаги нашихъ просвѣтителей напоминали дѣятельность одного изъ комическихъ персонажей Диккенса, писавшаго письма къ самому себѣ ради удовольствія получать хоть что-нибудь, дальнѣйшая работа русскаго сознанія обрекла потомковъ этихъ просвѣтителей на роль восточнаго мага, который вызвалъ своимъ словомъ могучаго духа, но не въ силахъ уже прогнать его заклинаніями и въ смущеніи и страхѣ трепещетъ передъ этимъ враждебнымъ отнынѣ ему гениемъ,—гениемъ свободной критики.

Іюльская, августовская и сентябрьская книжки „Вѣстника Европы“ гораздо болѣе интересны своими такъ называемыми „серьезными“ статьями, чѣмъ произведеніями художественнаго творчества. Съ первыхъ я и начинаю. Очень поучительна по части матеріаловъ „Страница крестьянскаго дѣла на юго-западѣ“, написанная „по личнымъ воспоминаніямъ“ г. О. Воропанова. Когда кн. Мещерскій распространялся (см. выше) о роли дворянства, о его историческомъ значеніи, о незаслуженной имъ печальной судьбѣ, мнѣ нѣсколько разъ припоминалась именно эта правдивая и краснорѣчивая голыми фактами „страница“ одного изъ видныхъ участниковъ реформы. Какою жизненною и тяжелою правдою вѣетъ, напр., отъ подольскаго губернатора, подъ начальствомъ котораго долженъ былъ служить авторъ въ качествѣ мѣстнаго мирового посредника! Губернаторъ этотъ былъ плоть отъ плоти и кость отъ кости благороднаго сословія, и вотъ какіе взгляды высказывалъ онъ относительно великой реформы, и замѣтите гдѣ же высказывалъ? въ той части Россіи, гдѣ политическія обстоятельства заставляли даже самыхъ заядлыхъ нашихъ реакціонеровъ разыгрывать роль демагоговъ: можете себѣ представить, какъ бы дѣйствовалъ этотъ губернаторъ не на окраинахъ, а въ центрѣ! Я позволю себѣ привести слѣдующій діалогъ между подольскимъ администраторомъ и подначальнымъ дѣятелемъ:

Губернаторъ замѣтно разошелся, впавъ въ негодующій тонъ, и тутъ осталось прималчивать и внимательно слушать.

— Для мужика уже довольно сдѣлано,—продолжалъ онъ.—Освободили, дали обязательный выкупъ,—теперь онъ собственникъ своей земли,—скинули 20 процентовъ повинности—все это прекрасно, все это я понимаю; конечно, надо было зацѣпить его отъ пановъ,—но чего жъ еще больше? Нѣтъ, видите, надо еще чего-то, нужно его совсѣмъ избаловать, отучить отъ порядка—вотъ и пошли вопросы да разсужденія, такъ что голова кругомъ идетъ... То-и-дѣло недоимки. Нажму полицію, а она оправдывается: мужики платить не хотятъ, и тутъ—поблажка отъ мировыхъ посредниковъ. Спрашиваю посредниковъ—тѣ печалуются: тяжело, молъ, платить, не привыкли, всякіе тамъ неурожаи, градобитія и т. д. Я говорю, конечно, не про всѣхъ,—есть и исправные посредники, которые полицію поддерживаютъ,—однако, хлопотъ съ этимъ много.

— Не происходить ли затрудненія отъ новизны денежной повинности, на которую вездѣ разомъ перешли съ издѣльной, или отъ высоты самихъ платежей?—рѣшился я вставить.

— Нѣтъ, батюшка, и не задавайтесь такими мыслями. Просто,—неохота платить. Я вѣдь самъ изъ тульскихъ помѣщиковъ, и мужика хорошо знаю. Безъ толчка, безъ острастки исправень не будетъ, а на снисхожденіи и ба-ловствѣ не далеко уѣдешь... Обращаю ваше вниманіе на то, что теперь главная заслуга посредниковъ—взысканіе выкупныхъ платежей въ срокъ и согласное дѣйствіе въ этомъ съ полиціею. Нечего слушать, какъ мужики заговариваютъ зубы, потому что здѣсь простое упрямство. Они думаютъ, что стоять имъ не захотѣтъ платить, такъ это такъ и будетъ. Значить, они про-пьютъ, а мы считайся съ недоимками? Нѣтъ, такъ нельзя. Вотъ ваше дѣло—переломить ихъ, приучать къ платежу въ срокъ безъ отговорокъ и т. д. (іюль, стр. 104—105).

Вообще, я рекомендую читателю эти безхитростныя, но тѣмъ болѣе интересныя воспоминанія изъ той эпохи, „когда еще не угасла надежда на законодательныя и административныя улучшенія“, и когда „хотя трудно было идти впередъ, однако, казалось возможнымъ сдерживать попятныя движенія и оберегать отъ искаженій примѣненіе началъ положеній 19-го фѣвраля“ (ibid., стр. 98). Съ тѣхъ поръ, признаться, мы сдѣлали крупный шагъ назадъ, и роль помѣстнаго элемента въ настоящее время, вѣроятно, заслужила бы ободрительный отзывъ со стороны губер-натора 60-хъ годовъ, аттестовавшего свои сословныя симпатіи многозначительной фразой: „и не задавайтесь такими мыслями. Я самъ изъ тульскихъ помѣщиковъ“.

Родственнымъ вопросомъ, касающимся другой изъ „великихъ реформъ“, занимается тускло написанная, но добросовѣстно со-ставленная статья г. Ник. Шишкова „Наше земство, его труды и недочеты (1864—1900)“, напечатанная въ сентябрьской книжкѣ „Вѣстника“. Смыслъ и содержаніе этого этюда достаточно вы-ясняются въ слѣдующихъ строкахъ, на которыя можно смотрѣть, какъ на увертюру къ умѣренно-либеральной симфоніи во славу нашего бѣднаго урѣзаннаго, окургуженнаго самоуправленія:

Еслибы мы желали выразить отношеніе центральнаго правительства къ земству, то назвали бы'его непостояннымъ, неопредѣленнымъ... Такое неустой-чивое, нетвердое отношеніе къ земству какъ нельзя болѣе напоминаетъ отно-шеніе заботливыхъ, но слишкомъ нервныхъ родителей къ своему подростку, начинающему проявлять признаки нѣкоторой самостоятельности. Ихъ радуютъ его способности и энергія, но страшитъ неожиданно быстрое развитіе. По-этому его то хвалятъ и поощряютъ, то всѣми силами стараются увѣрить, что онъ еще не «большой», и все упрасиваютъ гувернера построже за нимъ слѣдить. Такое неровное отношеніе бываетъ одинаково бесполезно и дѣтямъ, и учрежденіямъ (стр. 321).

Можетъ быть, я выбралъ бы нѣсколько иное сравненіе... Однако не буду препираться по поводу большей или мень-шей точности сравненія съ г. Ник. Шишковымъ и отсылаю чи-тателя къ его статьѣ, въ которой толково указаны условія, при каковыхъ приходится работать земству. Наиболѣе живо изображены авторомъ препятствія, лежащія на пути къ удовле-творительному выполненію земствомъ задачъ народнаго образо-ванія и вообще народнаго развитія (стр. 331—332).

Эти двѣ-три страницы получаютъ особенно краснорѣчивый смыслъ, если читатель потрудится сопоставить ихъ съ статьей г. Н. В. К. — вича, напечатанной въ сентябрьской же книжкѣ „Вѣстника“ и посвященной очерку „Церковно-школьнаго дѣла въ Россіи“. И эта статья не блещитъ особыми достоинствами изложенія и не увлечетъ публику ни страстностью тона, ни яркостью мыслей. Но она представляетъ собою умѣлое резюмирование официальныхъ данныхъ о церковной школѣ въ 38 губерніяхъ; и читатель не безъ пользы для себя познакомится съ тѣми конкретными фактами, которые даютъ право автору придти къ слѣдующему окончательному выводу:

Наростаніе негодныхъ школъ нужно считать только минусомъ для народнаго образованія: дѣти, наполняющія такія школы, не получаютъ въ сущности никакого образованія, никакихъ прочныхъ знаній, а тысячи этихъ фиктивныхъ рассадниковъ просвѣщенія существуютъ безъ всякой пользы, мѣшая только возникновенію въ тѣхъ же мѣстахъ дѣйствительно полезныхъ школъ. Поэтому съ тревожнымъ опасеніемъ за дальнѣйшую судьбу нашего народнаго просвѣщенія смотримъ мы на растущее съ каждымъ годомъ значеніе церковныхъ школъ (стр. 247).

Теперь къ беллетристикѣ „Вѣстника“. Если я упоминаю о повѣсти Ѳ. Ѳ. Ромера „Въ средѣ образовъ звѣринныхъ“ (августъ и сентябрь), то лишь потому, что самъ помѣстившій ее журналъ счелъ долгомъ отозваться объ этой вещи, какъ объ особенно „выдающемся“ произведеніи недавно умершаго автора, бывшаго, по словамъ „Вѣстника Европы“, „большимъ знатокомъ сельскаго хозяйства“, „талантливымъ публицистомъ“ и „беллетристомъ, далеко не лишеннымъ дарованія“. Не вдаваясь въ полемику съ почтеннымъ журналомъ по поводу открытаго имъ у Ромера публицистическаго „таланта“, мы съ удовольствіемъ готовы признать вслѣдъ за „Вѣстникомъ“, упомянутаго автора „большимъ знатокомъ сельскаго хозяйства“. Но въ беллетристическомъ дарованіи покойнаго позволимъ себѣ усомниться и такъ и скажемъ: *Guter Mensch, aber schlechter Musikant*, — можетъ, Ѳ. Ѳ. Ромеръ агрономъ былъ хорошій, но художественный писатель очень посредственный. Что такое, въ самомъ дѣлѣ, вотъ хотя бы его „Въ средѣ образовъ звѣринныхъ“? Что изображаетъ его герой, ищущій въ деревнѣ успокоенія отъ чаръ одной изъ петербургскихъ свѣтскихъ сиренъ и находящій не только искомое успокоеніе, но даже въ придачу къ нему и искреннее увлеченіе хозяйствомъ? Тутъ пахнетъ какъ будто не то Левинымъ, не то Штольцомъ, занявшимся по агрономической части, не то однимъ изъ добродѣтельныхъ героевъ дворянской литературы г. Евгенія Маркова. У Ѳ. Ѳ. Ромера есть, впрочемъ, въ данномъ случаѣ одно существенное (съ точки зрѣнія читателя) преимущество: г. Евгеній Марковъ напоминаетъ если не качествомъ, то количествомъ старца Гомера, и, напр., безконечныя его „Черноземныя поля“ развертывались, помнится, въ покойномъ „Дѣлѣ“ — на протяженіи долгихъ мѣсяцевъ,

доведя читателей до изнеможенія и чуть не ненависти къ плодovitому автору; а Ѳ. Ѳ. Ромеръ гораздо болѣе кратокъ: отзвонилъ въ двухъ номерахъ да и съ колокольни долой!..

Упомянувъ „Сборщицу“ покойнаго Ив. Ивановича (августъ) рядъ мелкихъ, но недурныхъ сценокъ-столкновений сборщицы по общественнымъ дѣламъ съ различными типами жертвователей, отмѣтивъ „Милушу“ г-жи Дмитриевой (сентябрь), на сей разъ менѣе интересной, чѣмъ обыкновенно, такъ какъ ея умно задуманный рассказъ,—можетъ быть, по щекотливости сюжета—скоро размѣнивается на мелкую монету, серію калейдоскопическихъ картинокъ изъ жизни обитателей дешевыхъ меблированныхъ комнатъ; указавъ, наконецъ, на красиво написанный, но банальный по темѣ рассказъ г-жи Микуличъ „Въ Венеціи“ (августъ)—дама на возрастѣ, отбивающая у своей пріемной дочери ея жениха,—я, какъ мнѣ кажется, исчерпалъ мало-мальски заслуживающую вниманія беллетристику трехъ книжекъ «Вѣстника Европы».

Не богаче произведеніями „изящной словесности“ и три книжки „Русской Мысли“ за тѣ же самые мѣсяцы: іюль, августъ и сентябрь. Укажу на вещи, представляющія, по моему мнѣнію, наибольшій интересъ. Недурно задумана и не безъ искусства развивается до сихъ поръ неконченная пока повѣсть г. А. Алпатыина „Лыбинское дѣло“ (августъ и сентябрь). Ея сюжетъ—изображеніе одного изъ распространеннѣйшихъ и зауряднѣйшихъ типовъ того слова, которое такъ дорого кн. Мещерскому. Герой ея и главное дѣйствующее лицо—Николай Николаевичъ Лыбинъ, въ пріятельскомъ кругу такихъ же, какъ онъ, субъектовъ, „Кокоша“, безхарактерное, безвольное, легкомысленное, ребячески-наивное и въ сущности незлое существо, которое напоминаетъ вымирающія особи какого-нибудь вида паразитовъ, переставленнаго въ новыя тяжелыя условія среды и не могущаго бороться за существованіе за отсутствіемъ необходимыхъ органовъ, атрофировавшихся отъ чужероднаго образа жизни пѣлаго ряда предковъ. Кокошѣ надо было бы родиться среди обитателей Елисейскихъ полей, что не знаютъ, если вѣрить поэтамъ Эллады, ни снѣга, ни зимнихъ бурь, ни грозъ, но овѣваются дуновеніемъ чистсго зефира, или, по крайней мѣрѣ, въ крѣпостной Россіи, гдѣ роль зефира игралъ Ванька-казачекъ, стоявшій за стуломъ господина и обмахивавшій его зеленой вѣткой. Увы! Кокошѣ всего сорокъ лѣтъ, и онъ явился, стало быть, на свѣтъ божій и живетъ въ этой юдоли плача, уже когда Елисейскія поля пошли съ молотка или были проѣдены въ формѣ выкупныхъ свидѣтельствъ и закладныхъ листовъ земельныхъ банковъ вплоть до дворянскаго. И вотъ Кокоша въ качествѣ безпечальнаго и наивнаго ребенка съ лысиной, заслужившей ему другую товарищескую кличку „Лысаго“, живетъ среди подобныхъ

же ему Лотофаговъ, спуская въ карты и на шампанское остатки своего и женина состоянія и, наконецъ, опять таки по наивности и безопасности, попадая на скамью подсудимыхъ по обвиненію въ поджогъ застрахованной имъ фабрики. Тутъ пока дѣйствіе обрывается; но и въ незаконченномъ видѣ повѣсть г. Алпатына даетъ уже рядъ недурно нарисованныхъ сценъ и типовъ провинціальной жизни, вызывающей у автора не желчный, а чуть замѣтный добродушный юморъ, который не лишенъ своеобразной гуманности и показываетъ, что г. Алпатынъ желаетъ не столько бичевать кнутомъ добродѣтельной морали отдѣльных лицъ, сколько ясно представить читателю внутреннее разложеніе и беспомощность отживающаго класса. Въ „Лыбинскомъ дѣлѣ“ есть мѣста, которыя въ этомъ смыслѣ сдѣлали бы честь и болѣе крупному художнику. Я обращаю вниманіе читателей на сцену посѣщенія Кокوشي въ тюрьмѣ пропившимся княземъ Вресскимъ, который не забылъ своего друга, когда прочіе отшатнулись отъ него, и выпросивъ свиданія съ бѣднымъ узникомъ, сидитъ возлѣ него и хочетъ, да не умѣетъ хоть чѣмъ-нибудь утѣшить злополучную жертву новыхъ временъ и старыхъ сословныхъ привычекъ:

Князь засопѣлъ и началъ тоже глядѣть въ окно. Какъ много ему хотѣлось сказать своему другу въ утѣшеніе, когда онъ ѣхалъ къ нему, и вотъ теперь здѣсь, подлѣ него, онъ не находилъ ни словъ, ни мыслей. Вресскій невольно вздохнулъ свободнѣе, когда, наконецъ, вышелъ изъ воротъ тюрьмы. Онъ быстро зашагалъ по обледевшему тротуару, тяжело дышалъ и хмурился брови. «Въ темницѣ былъ, и вы пришли ко мнѣ!»—вспомнилось ему, и вдругъ, что-то такое странное, непонятное, чудное сдѣлалось съ нимъ. Ему сжало сердце, въ его груди томительно сладко заняло. Ему, наконецъ, захотѣлось плакать, и онъ, широко улыбнувшись, поскорѣе кликнулъ извозчика и приказалъ везти себя домой (сентябрь, 104).

Въ „Разсказахъ о прошломъ“ г. С. Елпатыевского на сей разъ (іюль и сентябрь) проходитъ рядъ живыхъ фигуръ прежняго (да только ли прежняго?) провинціального причта, фигуръ, которыя обрисовываются каждая съ своими особенностями на веселомъ фонѣ деревенскихъ „праздниковъ“, такъ способствовавшихъ проявленію индивидуальности всѣхъ этихъ батюшекъ и матушекъ: тутъ и витіеватый о. Платонъ, Цицеронъ въ этомъ скромномъ сонмѣ деревенскихъ попиковъ; и шеголеватый, отдающій уже „вольнымъ духомъ“ о. Николай; и злобный деспотъ о. Демидъ; и изображенный уже въ болѣе будничной печальной обстановкѣ дьячокъ Вавила, когда-то первый ученикъ семинаріи, исключенный за продерзости, и такъ и оставшійся на всю жизнь „отчаяннымъ“, неграмотнымъ искателемъ правды и ходатаемъ за мужицкій міръ. Интересна въ общемъ смыслѣ глава „Наши мѣста“, слегка напоминающая эпическую манеру покойнаго Печерскаго, но построенная на вдумчивомъ и трезвомъ объясненіи тогдашнихъ особенностей деревни. Я думаю, появивъ эта глава „Разсказовъ“—года три тому назадъ, когда марксизмъ былъ у насъ

своего рода умственнымъ гипнозомъ, наши „экономическіе матеріалисты“ съ удовольствіемъ бы причислили къ своему лагерю г. Елпатьевского и немилосердно цитировали бы его вкрявъ и вкось, въ пику „народникамъ“, какъ они это сдѣлали одно время съ Чеховымъ и его „Мужиками“: я разумѣю талантливое и живое изображеніе г. Елпатьевскимъ всего тогдашняго строя деревни, державшагося на домашнемъ натуральномъ хозяйствѣ,— въ особенности же параграфъ, начинающійся словами:

До и незачѣмъ было далеко ѣздить деревенскому человѣку, не очень много нужно было ему, а то, что нужно, онъ дома находилъ. Тихо внутри своего села, много-много волости и уѣзда, текла крутогорская жизнь. Ъли все свое, домашнее и т. д. (сентябрь, стр. 131).

Кстати о нашихъ марксистахъ, которые тоже съ нѣкоторыхъ поръ занимаются натуральнымъ хозяйствомъ, тоже ѣдятъ свое, домашнее, „ѣдятъ другъ друга и съ того сыты бываютъ“, какъ говаривалъ одинъ русскій дѣятель XVIII вѣка о своихъ современникахъ. Теперь, какъ извѣстно, русскій марксизмъ раздробился на массу маленькихъ сектъ и превратился въ настоящую пыль всевозможныхъ воюющихъ между собой ученьицъ и міровоззрѣнницъ. И эта идейная микрологія до такой степени изощрила тонкость чувствъ у полемизирующихъ, что есть такіе искусники, которые находятъ, напр., даже разницу между социологическими воззрѣніями г. Струве и г. Туганъ-Барановскаго и собираются одни стать подъ знамя струвистовъ, а другіе пополнить ряды тугановцевъ. Въ общихъ чертахъ, однако, и отвлекаясь отъ расщепливанія тончайшихъ волосковъ на мелкія части,—что удовлетворяетъ развѣ литературному самолюбію маленькихъ папъ маленькихъ единоспасающихъ церквей,—мы можемъ свести эту „гражданскую войну“ между марксистами на столкновение „ортодоксовъ“ съ „критиками“. И вотъ изъ этой войны, дѣйствительно, могло бы выйти нѣчто полезное, если бы та и другая стороны, за немногими исключеніями, не отвѣчали мимо да около существенныхъ вопросовъ и не тратили время и полемическій пылъ на неважныя частности или даже личные счеты.

Я съ удовольствіемъ прочелъ поэтому въ іюльской книжкѣ „Русской Мысли“ статью г. Ф. Берсенева „Нѣчто о „критеріи истины“,— статью, которая, если и не свободна отъ упомянутыхъ личныхъ счетовъ относительно того, кто „hat geschoben“ и кто war geschoben“, (стр. 126) т. е., проще, относительно того, кто произнесъ марксистское „э“ въ Россіи, представляетъ собою тѣмъ не менѣ попытку затронуть суть нашихъ разногласій. Говорю „попытку“, ибо статья невелика и уже въ силу этого не можетъ значительно продвинуть положеніе спора впередъ. Но она ловко и умѣло написана и заслуживаетъ того, чтобы на нее обратили вниманіе,

хотя бы лишь для указанія основного слабого пункта въ обычной аргументаціи тѣхъ марксистовъ, которые стоятъ на точкѣ зрѣнія нашего автора. Г. Ф. Берсенева—„ортодоксъ“ и, надо отдать ему справедливость, надъ метафизическими тенденціями нашихъ „критиковъ“ подсмѣивается не безъ основанія и не безъ остроумія. Слѣдуетъ вообще замѣтить, что въ то время, какъ російскіе критики пишутъ по большей части такъ тяжелоугодно и неудобопонятно, уснащаютъ свою рѣчь такими „объективациями“ и „мотивациями“, что у читателя глаза выскакиваютъ на лобъ и безнадежно-растерянно вращаются по касательной, наши ортодоксы прибѣгаютъ къ болѣе человѣческому языку и по ясности и искусству изложенія далеко оставляютъ за собою критиковъ. Это, напр., можно было сказать о статьѣ ортодокса г. Адамовича въ покойной „Жизни“, какъ это же я констатирую на сей разъ по отношенію къ статьѣ ортодокса г. Ф. Берсенева. Но ловко писать еще не значитъ обладать монополіей истины; и если я укажу въ статьѣ г. Берсенева на пункты, которые мнѣ представляются достаточно обоснованными, то я считаю полезнымъ обратить вниманіе читателя и на вещи, которыя г. Берсенева утверждаетъ голосовно и какъ адвокатъ извѣстнаго міровоззрѣнія: адвокатскіе приемы вообще изобилуютъ въ этой статьѣ.

Позволить-ли мнѣ кстати г. авторъ сдѣлать ему одно-два замѣчанія по поводу „выпадовъ“, которыми онъ удостоиваетъ лично меня? Г. Берсенева упрекаетъ меня въ томъ, что я „величаю“ г. Струве Бѣлинскимъ, и находитъ это „крайне безвкуснымъ“ въ виду „мучительнаго исканія истины“ у неистоваго Виссаріона и „эпикурейскаго порханія въ области мысли“ у г. Струве. Винавать, г. Берсенева, но г. Струве Бѣлинскимъ я не „величалъ“, а сказалъ лишь, что „онъ мнѣ нѣкоторыми сторонами своей литературной фizioноміи напоминаетъ въ очень маломъ видѣ, конечно“ Бѣлинскаго. „Очень малый видъ“—несомнѣнно, это количество; но вы хорошо знаете, что большая количественная разница, по Гегелю, превращается и въ качество: я сравнивалъ, но не отождествлялъ г. Струве и неистоваго Виссаріона. Отъ того же, что г. Струве ищетъ искренно истину,—ищетъ во всякомъ случаѣ больше, напр., чѣмъ ловкій авторъ статьи „Нѣчто о научномъ критеріи“—я и теперь не отказываюсь.

На г. Берсенева произвели „куръезное впечатлѣніе“ и мои „возгласы“ и ироническія соображенія по поводу обилія марксистскихъ „толковъ“: это, молъ, показываетъ, лишь мое „совершенное непониманіе“ того, что „именно“ въ этомъ обиліи и выражается „побѣда“ марксизма. Неужели, г. Берсенева? Такъ, „побѣда“? А, по моему, въ этомъ обиліи выражается вотъ какой процессъ, изображенный уже давно однимъ нѣмецкимъ философомъ, и не изъ особенно мелкихъ:

Почти во всякое время, какъ въ искусствѣ, такъ и въ литературѣ, то или другое ложное воззрѣніе, или способъ, или манера, составляютъ предметъ всеобщаго употребленія и восхищенія. Банальныя головы ревностно стараются усвоить ихъ себѣ и пускать въ ходъ. Человѣкъ проникательный распознаетъ ихъ и презираетъ; за то онъ и остается внѣ идейной моды. Но по истеченіи нѣсколькихъ лѣтъ и большая публика отдаетъ себѣ отчетъ въ этомъ кропаньи и видитъ, что оно такое собою представляетъ, и смѣется теперь надъ нимъ; и столь восхищавшія раньше румяна спадаютъ со всѣхъ этихъ манерныхъ вещей, какъ плохой завитокъ изъ штукатурки со стѣны: и онѣ стоятъ теперь обнаженными. Поэтому-то должно не сердиться, но радоваться, когда какое-нибудь уже долго дѣйствующее въ тиши ложное воззрѣніе разъ навсегда будетъ выражено рѣшительно, громко и ясно; ибо теперь вся фальшь его скоро будетъ почувствована, признана и, наконецъ, также рѣшительно выражена. Это все равно, какъ еслибъ прорвался нарывъ.

Я не хочу этимъ сказать, ни что Марксъ былъ кропателемъ подрумяненныхъ фальшивыхъ теорій, ни что его основное міровоззрѣніе представляло собою сплошную ошибку: Марксъ былъ мыслитель, нѣкоторыми сторонами, дѣйствительно, гениальный; а его идеи заключали въ себѣ важную долю отыскиваемой, но еще далеко не отысканной истины въ области социологіи. Но за то можно смѣло утверждать, что русскій марксизмъ, свирѣпствовавшій всего нѣсколько лѣтъ тому назадъ, былъ дѣйствительно поверхностной, чисто модной манерой мысли, подрумяненной претензіями на „научность“; что между его сторонниками кишѣли „банальныя головы“, которыя всѣмъ восхищались въ модномъ ученіи вплоть до гегельянскаго жаргона; что люди самостоятельной и критической мысли презирались этимъ теченіемъ, которое выдвигало наоборотъ цѣлую армію доморощенныхъ трехвершковыхъ геніевъ. Но какъ только этотъ марксизмъ завладѣлъ, повидимому, умами, такъ и началось его паденіе. Сначала робкое, затѣмъ все крѣпнющее сомнѣніе коснулось самыхъ, казалось еще недавно, незыблемыхъ истинъ; и теперь, можно сказать, нѣтъ ни одного важнаго теоретическаго или практическаго вопроса, по которому мнѣнія „русскихъ учениковъ“ не расходились бы до безконечности. А, замѣтьте, процессъ этотъ только что начался. Очевидно, недалеко то время, когда „плохой завитокъ“ упадетъ со стѣны, и русская интеллигенція выйдетъ окончательно изъ состоянія гипноза, сдѣлавшись доступною критикѣ и разсужденію. Жаль лишь, что немалая часть ея, какъ мы уже не разъ констатировали, пробуждается изъ догматическаго сна марксизма лишь затѣмъ, чтобы перевернуться на другой бокъ и погрузиться въ метафизическія сновидѣнія *).

*) Охотно признаю, что въ русскомъ марксизмѣ было и есть очень здоровое зерно практической дѣятельности. Но наши «русскіе ученики» зарыли это зерно въ такую шелуху теоретическихъ преувеличеній и пытались съ такимъ упорствомъ оборвать всякую нить исторической преемственности теченій, что, вѣроятно, не этимъ теоретикамъ придется играть роль въ ближайшемъ.

Г. Берсенева остроумно высмѣиваетъ (стр. 135 — 136) актъ идеалистической вѣры, обнаруживаемой г. Бердяевымъ, который долженъ признавать возможность „трансцендентальнаго сознанія“ чуть не безъ сознающаго субъекта подѣ тѣмъ предлогомъ, что это мудреное сознаніе существуетъ до опыта (правда, не въ хронологическомъ, а въ логическомъ, молъ, смыслѣ). Но почему же самъ г. Берсенева совершаетъ въ свою очередь актъ діалектическо-матеріалистической вѣры, утверждая, что „Марксъ открылъ тѣ формы борьбы за существованіе—производственныя отношенія—которые оказываютъ рѣшающее вліяніе на социальную исторію человѣчества, а вмѣстѣ съ тѣмъ и на каждого индивидуума въ отдѣльности“ (стр. 138). Было-ли хоть когда-нибудь путемъ доказано марксистами это положеніе? Нисколько. Попытки были сдѣланы, но не совсѣмъ удачныя, въ результатѣ которыхъ лишь оказывалось, что производственныя отношенія играютъ въ жизни людей важную роль, а это не одно и то же, что „рѣшающее вліяніе“. И выходитъ, что „экономическій матеріализмъ“ есть истиннѣ—чтобы говорить языкомъ Канта—„синтетическое сужденіе а priori“ марксистской метафизики. Г. Берсенева, правда, слѣдуя нѣкоторымъ русскимъ ученикамъ, напр. г. Каменскому, говоритъ все время о діалектическомъ, а не объ экономическомъ матеріализмѣ. Но, вѣдь, это такъ, простой логическій фокусъ. Ибо, скажите на милость, что это за опредѣленіе „діалектическаго матеріализма“: „діалектическій матеріализмъ“, какъ истинный дарвинизмъ, разсматриваетъ всѣ явленія, какъ движущуюся цѣль (вѣроятно, надо читать цѣль. В. П.) причинъ и слѣдствій“ (стр. 139). Чортъ возьми, подѣ это опредѣленіе подойдетъ цѣлая масса міровоззрѣній и ученій, если только вы не прибавите, что въ этой игрѣ причинъ и слѣдствій „рѣшающее вліяніе“ оказываютъ „производственныя отношенія“. И такимъ образомъ мы благополучно вѣзжаемъ чрезъ боковыя ворота на знакомый дворъ „экономическаго матеріализма“.

Очень любопытно при этомъ актѣ вѣры со стороны г. Берсенева,—который желаетъ, однако, смотрѣть сверху внизъ на „декретированныя формулы критической философіи“, — что онъ и не замѣчаетъ, до какой степени его формула человѣческой исторіи есть тоже формула не доказанная, а декретированная. Прямо можно подуматъ, что споръ идетъ между жрецами двухъ различныхъ религій, изъ которыхъ каждый упрекаетъ другого въ произвольности его вѣрованій, тогда какъ самъ считаетъ свои выраженіемъ верховной истины. Въ этомъ смыслѣ г. Берсенева довольно наивно полагаетъ, что марксизмъ уже успѣлъ своими „производственными отношеніями“ объединить и объяснить весь міръ органическій; и что для окончательнаго торжества монистическаго міровоззрѣнія осталось лишь одно: „перекинуть мостъ между міромъ неорганическимъ и органическимъ“ (стр. 139). Я

думаю, централистическій декретъ, изданный къ свѣдѣнію и исполненію органическаго міра, нуждается еще, — сказалъ-бы какой-нибудь „критикъ“, — „въ мотиваціи“, а таковой мы не нашли въ бойкой и ловкой защитительной рѣчи г. адвоката „діалектическаго материализма“.

Но и на ортодоксальномъ г. Берсеневѣ все же сказался процессъ разложенія русскаго марксизма: нѣтъ уже той теоретической удали, и порою слышатся новые аккорды въ честь этого ученія, якобы отнюдь не догматизирующаго. Мы съ истиннымъ удовольствіемъ цитируемъ слѣдующее мѣсто:

Какой безграничный просторъ работѣ мысли даетъ міросозерцаніе діалектическаго матеріализма, для котораго все живетъ, все движется, все развивается, и для котораго поэтому не существуетъ никакихъ готовыхъ шаблоновъ, никакихъ трафаретовъ, никакихъ «абсолютовъ». Дайте какую угодно «абсолютную» формулу, и изъ нея уже легко чисто-спекулятивнымъ путемъ развить догматическія сужденія на всѣ возможные случаи. Но діалектическій материализмъ не даетъ такихъ формулъ; онъ даетъ своимъ послѣдователямъ только методъ и говоритъ имъ: наблюдайте, изучайте, ищите! Съ однимъ методомъ въ рукахъ нельзя составить себѣ готовыхъ сужденій о незнакомыхъ явленіяхъ. Каждый конкретный случай нужно изучать, нужно самостоятельно мыслить, чтобы понять его въ конкретности. Вотъ почему такъ трудно объяснить какое-нибудь выхваченное на удачу, напр., историческое явленіе (излюбленный приемъ въ спорахъ!) съ точки зрѣнія діалектическаго матеріализма и такъ легко «объяснить» его съ точки зрѣнія обладателей всяческихъ «формулъ». Для послѣдователей діалектическаго матеріализма необходимы точныя наблюденія, изученіе фактовъ, пытливая работа ума, — необходимы, словомъ, спеціальныя знанія, которыхъ въ примѣненіи къ данному случаю у него можетъ и не быть; для обладателя «формулы» надобно только умѣнье строить силлогизмы. И вотъ эту-то систему, не знающую покоя, непрерывно толкающую своихъ послѣдователей при каждомъ возникающемъ вопросѣ къ изученію фактовъ, обвиняють въ «догматизмѣ!» (стр. 141).

Разсужденіе, дѣлающее честь краснорѣчію г. адвоката! Только какъ же это намъ все-таки быть съ „производственными отношеніями?“ Что это „формула“, или простая игра ума? Удостоите отвѣтомъ, г. Берсеневъ, сомнѣвающагося, но вмѣстѣ съ тѣмъ любующагося на вашу „діалектическую“ ловкость читателя!..

В. Г. Подарскій.

Редакторы-Издатели:

{ *Вл. Г. Короленко.*
Н. Е. Михайловскій.

Дозв. ценз. 25 октября 1901 г.

Типографія Н. Н. Клубунова, Пряжка, 3.

(10)

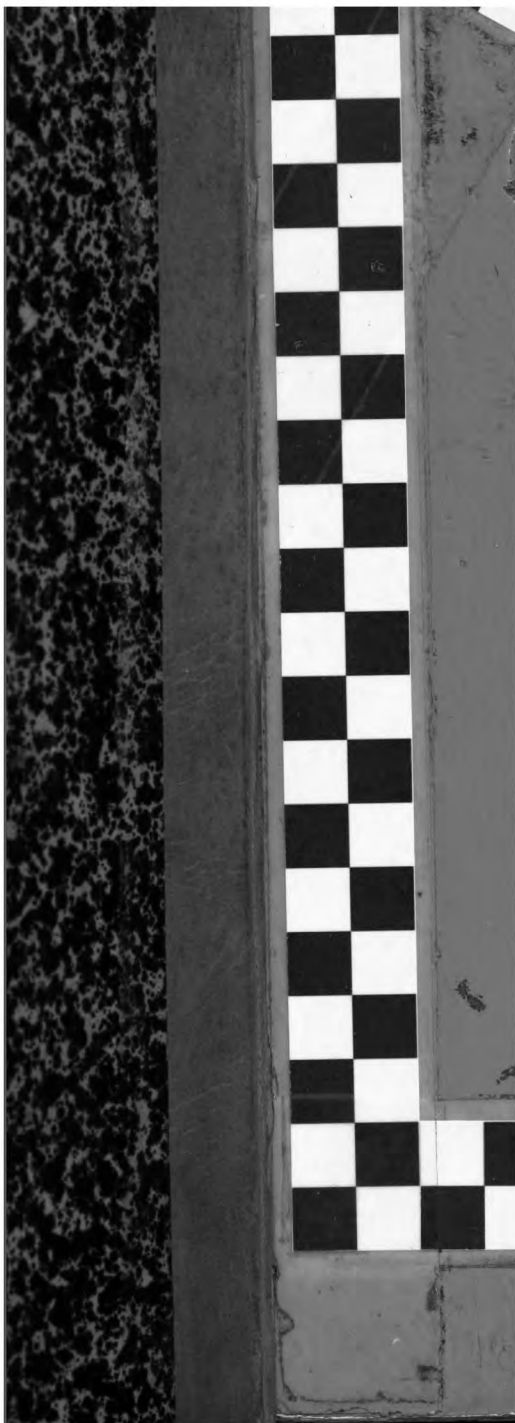
AP
50
.R94

RUSSKOE BOGATSTVO
Oct., 1901

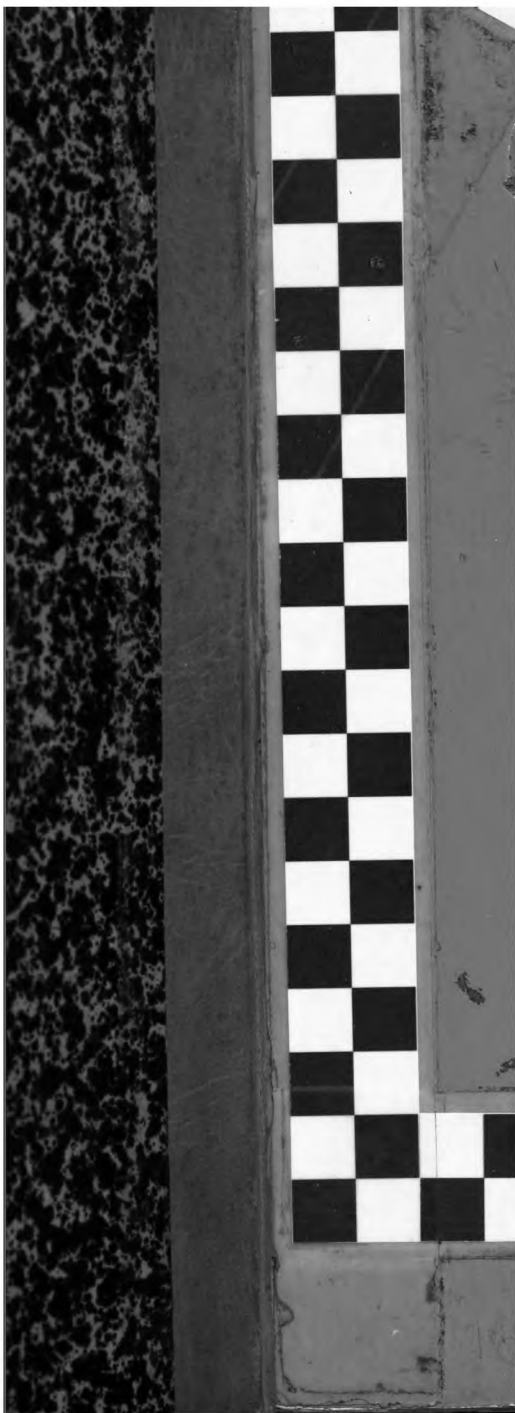
AP
50
.R94

Russkoe bogatstvo.
Oct., 1901









UNIVERSITY OF CHICAGO



78 797 803